

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ТРУДЫ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Выпуск 3

Москва 2011

ББК 63.3(2)
Т 78

Центр россиеведения

Редакционная коллегия:

И.И. Глебова – д-р полит. наук, главный редактор, *А. Берелович* – проф. (Франция), *В.П. Булдаков* – д-р ист. наук, *Ю.И. Игрицкий* – канд. ист. наук, *В.Н. Листовская* – отв. секр., *Е.И. Пивовар* – чл.-корр. РАН, *Ю.С. Пивоваров* – акад. РАН, *Д. Свак* – проф. (Венгрия)

Ответственные за выпуск – *М.А. Арманд*, *С.В. Мельник*

Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.
Т 78 Центр россиеведения; Гл. ред. И.И. Глебова. – М., 2011. –
Вып. 3. – 490 с.
ISBN 978-5-248-00640-3

Основная тема выпуска – социальная свобода и реформаторство в России. Российские и зарубежные исследователи пытаются понять, какое место эта проблема занимает в отечественной истории, как она решается современным обществом. С этим связаны и малоизвестные работы мыслителей прошлого, опубликованные в «Трудах». В издание также вошли материалы семинара, проведенного Центром россиеведения ИНИОН РАН в 2010 г.

Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.

ББК 63.3(2)

Содержание

От редактора.....	6
Россия в зеркале русской поэзии.....	11

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

Ю.С. Пивоваров

Русское настоящее и советское прошлое. (Размышления с позиций «civic culture»)	25
--	----

В.П. Булдаков

Россия и/или свобода	79
----------------------------	----

Ю.Н. Афанасьев

Возможности и реальности примирения России и Европы	103
---	-----

СВОБОДА И РЕФОРМЫ В ИСТОРИИ РОССИИ

А.Б. Каменский

К вопросу об эволюции смысла концептов «свобода» и «вольность» в русском политическом дискурсе XVIII в.	115
--	-----

В.В. Лапкин

Метаморфозы российской свободы в контексте политических трансформаций XIX–XXI веков	132
---	-----

С.В. Беспалов

Наследие освободительной реформы Александра II и выбор стратегии аграрных преобразований в российских политических дебатах конца XIX – начала XX в.	164
--	-----

В. Дённингхаус

«Что русскому хорошо, то немцу – смерть?»: Земельные отношения и аграрная реформа в немецких колониях Поволжья (1900–1914)	181
--	-----

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ

И.И. Глебова

Отечественная война в русской культуре	199
--	-----

М.М. Минц

СССР и начало Второй мировой войны: Дискуссии о событиях 1939–1941 годов в современной исторической науке 286

Д. Стратиевский

Образ советского военнопленного в исторической памяти немецкого общества и в историографии ФРГ: Общественный и политический аспекты 312

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

За пределами тоталитаризма: Сравнивая сталинизм и нацизм. (Реферат) 323

Россия в эпоху позднего сталинизма: Общество между реконструкцией и изобретением. (Реферат) 339

СЕМИНАРЫ ЦЕНТРА РОССИЕВЕДЕНИЯ

В.И. Ленин и ленинское наследие: Основные параметры дискуссии 347

Ю.И. Игрицкий. Ленин как воспоминание 371

Современники о Ленине. (Предисловие Ю.С. Пивоварова) 377

НАСЛЕДИЕ – НАСЛЕДНИКАМ

Предисловие Ю.С. Пивоварова 397

Б.Н. Чичерин

Конституционный вопрос в России. (Предисловие Ю.С. Пивоварова) 398

А.С. Алексеев

Начала современного правового государства и русский административный строй накануне 6 августа 1905 г. (Предисловие И.Л. Беленького) 417

Е.В. Спекторский

Что такое конституция? (Предисловие И.Л. Беленького) 431

РЕЦЕНЗИИ

Свак Д. Русская парадигма: Русофобские заметки русофила (Д.В. Ефременко) 447

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА**М. Горбачев**

Неюбилейные вопросы перед 80-летием 457

Е. Примаков

Россия на перепутье 464

И. Яковенко	
Сталин – культурная проблема	469
Г. Янс	
Нюрнберг–2 шагает по Европе	476
Л. Млечин	
Победители и побежденные	480
Б. Орлов	
«Стояние на Болотной» в историческом контексте	484
Сведения об авторах	488

ОТ РЕДАКТОРА

Настоящий выпуск «Трудов по руссиеведению» строится вокруг двух блоков проблем:

– свобода и реформаторство в России – история и современные перспективы;

– Отечественная война 1941–1945 гг. как историческое явление и «место памяти» советского и постсоветского обществ.

Нам представляется, что именно эти проблемы формируют «повестку дня» России 2010-х. Являясь основой социальной идентификации, они не только консолидируют, но и разделяют: это своеобразные линии размежевания/раскола российского общества.

В материалах сборника акцентируется связь тем свободы и войны/памяти, на первый взгляд, весьма друг от друга далеких. Самоопределяясь в их отношении, российское общество формирует собственные перспективы: будет ли оно конституироваться на принципах личной ответственности и правового регулирования или «уложится» в рамки традиционной формулы «самодержавие – православие – советскость/народность» и соответствием ей станет измерять собственную стабильность/успешность.

Разговор о свободе требует предварительного пояснения. Свобода/несвобода – вовсе не абстрактные категории. Говоря о социальной свободе, мы имеем в виду расширение зоны личной ответственности, обеспеченной правом. При этом речь идет о всех сферах жизни общества – экономике, политике, культуре и т.д. Свобода – это не вольница, а правовой порядок, где социальная жизнь регулируется правом (а не через иные формы – религиозные или властно-насильнические), установлено правовое равенство (все являются равными правосубъектами) и правовая однородность (действует одна для всех правовая система). Залог свободы – наличие свободы выбора. Организация общественной жизни на началах свободы предполагает достаточный уровень экономического развития.

Социальная несвобода, в нашем представлении, это расширение табуизированной зоны, где действует система автоматических табу/запретов, обеспеченная произволом. Несвобода – всегда насилие (одного над всеми или всех над одним), т.е. отрицание договора/компромисса как принципа

социального регулирования, а значит, и разнообразия общественных интересов; всегда неравенство («держатели» несвободы приобретают преимущества в разных социальных сферах, распределение/иерархия которых в любой момент могут быть поставлены под сомнение и пересмотрены); всегда ограничение выбора, отказ от личной ответственности и нейтрализация правовых норм (Конституция в несвободном обществе не работает – ей нечего обеспечивать, так как не действует правопорядок; «управляют» правом в своих интересах те, кто обладает социальными преимуществами); всегда упрощение (социальное, управленческое, культурное, антропологическое и т.п.) – вплоть до элементаризации; всегда тяготение к закрытости – закрытому типу отношений, институтов и проч.

При этом в условиях несвободы можно чувствовать себя вполне комфортно: здесь сняты темы индивидуальной инициативы и ответственности, но действительны формы коллективного взаимодействия и защиты, а порядок достигается почти автоматическим, как в армии или тюрьме, следованием нормам господства/подчинения, общего жизненного распорядка (показательно, что одна из определяющих черт советского человека – ожидание установки «сверху»). Свобода же, связанная с постоянным, подчас сложным выбором, рождает чувства страха и неуверенности. Движение от несвободы к свободе – глубокий преобразующий процесс, который не ограничивается созданием институтов, подготовкой судей, изданием юридических текстов, оснащением судов и полиции современными техническими средствами. Это прежде всего сложная культурно-ментальная перестройка.

В настоящем выпуске «Трудов по руссиеведению» делается попытка рассмотреть тему свободы в России ретроспективно, причем как в историческом, так и в конкретно-историческом отношении. В работах Ю.С. Пивоварова и В.П. Булдакова прошлое выступает своеобразной призмой для анализа современной российской жизни, «исходной площадкой» для обсуждения социальных перспектив. Их дополняют материалы рубрики «Наследие – наследникам», посвященные проблеме конституционализма в пореформенной России. Современная ситуация в стране придает этой «ретроспекции» неожиданно острую актуальность.

История освоения Россией темы свободы – это рассказ о том, как формируется современное, т.е. построенное на началах свободы и взаимной ответственности, общество. Вариантов такого рассказа, как показывают материалы выпуска, может быть множество. Весьма перспективным представляется изучение истории понятия «свобода» («воля»/«вольность») – скажем, в политико-правовом дискурсе XVII–XVIII вв. (см. статью А.Б. Каменского). Такого рода исследования вносят определенность в общий разговор о России: проблема категорий/языка, на котором мы говорим, – это проблема адекватности/качества разговора. В работах

В.В. Лапкина, С.В. Беспалова, В. Дённингхауса тема свободы конкретизируется через анализ «механизмов» великих реформ конца XIX – начала XX в. Из тех вопросов, которые поднимают авторы, особое значение имеют, на наш взгляд, следующие: об ответственности элит – инициаторов преобразований и характере адаптации к ним массового человека (в данном случае – российского крестьянина; отсюда такое внимание к аграрной реформе); о росте в обществе в ответ на эмансипационную «перестройку» потенциала несвободы и возможностях его компенсации/сдерживания; о критериях оценки прошлых реформ каждой новой современностью (иначе говоря, об основаниях различения «неудачников» и «героев» в истории страны).

О последнем вопросе скажем несколько слов. Эпоха трех последних царствований – не только ее люди, но и тенденции, в ней действовавшие, – имеет едва ли не самую устойчивую в нашей истории репутацию неудачной. Реформы/перемены рубежа XIX–XX вв. дискредитировала революция. Почти все XX столетие взгляд на то время формировали «победители» (те, кто воспользовался «неудачей»), а также те, кто числил (и числит) себя среди пострадавших от «исторического поражения». «Победители» и «пострадавшие» выносят эпохе обвинительный вердикт, одинаково оценивая ее в «перспективе» конца. Позднеимперское реформаторство не признано «нашим» (подходящим/адекватным данному типу социума и потому результативным) типом преобразований; мы по-прежнему ищем «великих реформаторов»/«героев» в начале XVIII или в середине XX в. Правда, современные исследователи уже не только объясняют, оперируя фактами, как эпоха шла к гибели, но и пытаются понять, каким образом она эволюционировала и с чем не справилась, на чем надломилась. Однако освободиться от убеждения в предопределенности (исторической закономерности) неудачи не могут. Здесь, как мне кажется, работает наш опыт – концентрированный, страшный, навязчивый опыт несвободы, сформировавший русского человека XX–XXI вв.

Собственно, в конце XIX – начале XX в. решалось, на каких основаниях будет строиться массовое общество в России. История становления советского общества – это история того, как исключить свободу практически из всех сфер человеческих отношений, задвить архаикой те культурно-ментальные вызовы, которые принесла с собой современность. Большую часть XX столетия русско-советский человек прожил в условиях несвободы (хотя, конечно, и в советской системе присутствовали какие-то элементы выбора, какие-то альтернативы). Это отучило его от личной ответственности, самоуправления и самоорганизации (в смысле не только социальном, но и индивидуальном – даже по отношению к самому себе). По своим доминирующим культурно-ментальным параметрам постсоветский человек – человек несвободный. Это проявляется не только в равно-

души к проблеме политических прав и их реализации. Для нашего массового человека, к примеру, «нормативным» является государство как распределяющая («дающая», «кормящая»), контролирующая и «поучающая» (воспитательная) инстанция. Ему крайне дискомфортно в условиях «ухода» такого государства, сворачивания им социальных обязательств – он чувствует себя одиноким, брошенным, «лишенцем». Здесь разгадка крайне противоречивых, необъяснимых с точки зрения обычной логики его отношений с современным государством.

Несмотря на давление опыта несвободы, во второй половине XX в. наше общество накопило массовый эмансипационный потенциал. Отчасти он реализовался в перестройку и, как бы ее ни оценивать, был ею подпитан. Этот потенциал неизбежно будет искать возможности для дальнейшей реализации. Иначе говоря, наше общество попытается освоить имеющиеся свободы и нарастить их объем. Это, в свою очередь, потребует выработки в отношении него более сложных управленческих решений. Однако в целом современная Россия – формально свободная страна, которую «держит» память недавнего рабства. Сейчас именно это – главный барьер на пути появления в ней массового свободного человека, субъекта социальных преобразований/развития, и свободного общества.

Русский опыт несвободы так или иначе анализируется во многих материалах выпуска. Это главная тема рубрики «Взгляд со стороны», в которой рассматриваются современные зарубежные исследования по истории сталинского СССР (рефераты О.В. Большаковой). По существу об этом же материалы семинара Центра россиеведения, «героем» которого стал В.И. Ленин. Как интеллектуал, он оставил значительное теоретическое наследие, о котором на семинаре говорил наш гость – венгерский профессор Т. Краус, но с социально-политической точки зрения явился «псевдонимом» темы несвободы в России. Ленин – творец, персонификатор главного социального «проекта» XX в., в котором человек был изъят и от личной ответственности, и от личных прав.

И этот же «проект» оставил по себе воспоминания, составляющие предмет национальной гордости постсоветского человека. Главное такое воспоминание – Великая Отечественная война, изучению образов которой посвящен специальный раздел выпуска. Повторю, мы видим непосредственную связь Великой войны с темой российской свободы. Она дала советскому человеку ощущение стояния за национальные интересы, ценой которого была его жизнь. Не случайно именно тогда в советском обществе возродилась тема свободы, связавшая его с предреволюционной Россией, всей русской историей и новым, современным миром. Отечественная, несмотря на ужасы, горе, насилие, жертвы, и Победа – опыт обретения свободы советским человеком, давший толчок процессу раскрепощения советского общества. В современной России как-то не принято рассматривать

войну с этой точки зрения, что указывает на качество нашего социального порядка.

И, наконец, в материалах выпуска присутствует «внешний», сопоставительный контекст. Парадоксально, но недавний опыт свободы, открытия СССР/России миру имел следствием приступ культурно-ментального «замыкания» россиян в (и на) себе, своего рода отрицание ими внешней перспективы. В этой ситуации адекватный сопоставительный анализ России с современным (тем, что и задает основные параметры современности) миром представляется особенно важным. Тема «Россия и Европа» связывает работы, помещенные в рубриках «Современная Россия» и «Рецензии».

Завершает выпуск «Трудов по россиеведению» «Публицистическая мозаика», построенная на тех же темах, что и основные его материалы. Главным в «избранных местах» современной публицистики является для нас не обсуждение отношений власти и общества, а вопрос о качестве современного порядка: насколько он терпим к проявлениям и росткам свободы, способен ли выдержать испытание разными точками зрения, «нагрузку» разнообразием, множественностью, плюральностью и эволюционировать в эмансипационном направлении. Собственно, это вопрос о будущем – о том, какими быть нам и стране в ближайшее время.

И.И. Глебова

РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В этом выпуске «Трудов...» мы продолжаем нашу стихотворную рубрику. На этот раз ее составляет поэтическая подборка, объединенная темой «свобода/несвобода»¹. Нам представляется, что в этих стихах чувствуется не просто живая причастность к истории России XX в., к советской эпохе. Это и есть наша история, переданная поэтическим языком: ее надежды и разочарования, ужасы и победы, заблуждения, страхи и прозрения. Это не только историческое самооправдание советского человека, но и самоанализ: рассказ о том, что случилось со страной, с нами.

Моральный кодекс

На равенство работать и на братство,
А за другое – ни за что не братья.
На мир трудиться и на труд,
все прочее – напрасный труд.
Но главная забота и работа
подневно и пожизненно – свобода.

* * *

В тетрадочки уставя лбы,
в который раз, какое поколение
испытывает успокоение
от прописи: «Мы – не рабы!»

Б. Слуцкий

¹ Печатается по изд.: А. Галич «Возвращение» (М., 1989); И. Деген «Стихотворение» (Радуга, 2007, № 5/6); Н. Коржавин «Время дано: Стихи и поэмы» (М., 1992); Б. Окуджава «Стихи» (Новый мир, 1995, № 7); Б. Пастернак «Доктор Живаго: Стихотворения» (М., 2009); К. Симонов «Стихи, поэмы, вольные переводы» (М., 1964); Б. Слуцкий «Я историю излагаю...»: Книга стихотворений» (М., 1990); М. Цветаева «После России: Стихотворения» (СПб., 2010).

* * *

А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину.

Являйте из тел распластанных
Звезду или свасты крюки.

М. Цветаева
1934

Гуляли – целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

Н. Коржавин
1944

* * *

Я живу в ожидании краха,
унижений и всяких утрат.
Я, рожденный в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове
раз, наверное, по сорок на дно...
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

Б. Окуджава
1979

Словно смотришь в бинокль перевернутый...

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение,
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.

К. Симонов
1941

* * *

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей!
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони,
Ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит.

Ион Деген
1944

Терпенье

Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост – и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпенье!

Это был не просто тост
(здравницам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
Вытерпели вы меня, – сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.

Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили власть.

* * *

Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только чудаки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война – была
Четыре года.
Долгая была война.

Б. Слуцкий

Я выбираю свободу

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И – свистите во все свистки!

И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут!

Я выбираю Свободу, –
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.

И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота –
Как мне поладить с ней.

Не слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.

Я выбираю Свободу,
Я пью с нею нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты.

Где вновь огородной тяпкой
Над спинами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут.

Но славно звенит дорога,
И каждый приют, как храм.
А пуля весит немного –
Не больше, чем восемь грамм.

Я выбираю Свободу, –
Пускай груба и ряба,
А вы, валяйте, по капле
«Выдавливайте раба»!

По капле и есть по капле –
Пользительно и хитро,
По капле – это на Капри,
А нам – подставляй ведро!

А нам – подавай корыто,
И встанем во всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!

Я выбираю Свободу,
И знайте, не я один!
И мне говорит «свобода»:
«Ну, что ж, – говорит, – одевайтесь
И пройдемте-ка, гражданин».

А. Галич
1970

* * *

Июнь был зноен. Январь был зябок.
Бетон был прочен. Песок был зыбок.
Порядок был. Большой порядок.

С утра вставали на работу.
Потом «Веселые ребята»
в кино смотрели. Был порядок.

Он был в породах и парадах,
и в органах, и в аппаратах,
в пародиях – и то порядок.

Над кем не надо – не смеялись,
кого положено – боялись.
Порядок был – большой порядок.

Порядок поротых и гнутых,
в часах, секундах и минутах,
в годах – везде большой порядок.

Он длился б век и вечность длился,
но некий человек свалился
и весь порядок развалился.

* * *

Госудáри должны государить,
государство должно есть и пить
и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положение,
и хотя я трижды не прав,
но как личное поражение
принимаю списки расправ.

Б. Слуцкий

Душа

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их.

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покоющей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц...

Б. Пастернак
1956

Без названия

Посвящается Р. Беньяш

Вот пришли и ко мне седины,
Распеваётся воронье!
«Не судите, да не судимы...» –
Заклинает меня вранье.

Ах, забвенья глоток студёный,
Ты охотно напомнишь мне,
Как роскошный герой – Буденный –
На роскошном скакал коне.

Так давайте ж, друзья, устроим
Наших сил золотой запас,
«Нас не трогай, и мы не тронем...» –
Это пели мы! И не раз!..

«Не судите!»
Смирней, чем Авель.
Падай в ноги за хлеб и кров...
Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его – делов!

«Не судите!»
И нет мерила,
Все дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле – делов!

«Не судите!»
Малюйте зори,
Забивайте своих козлов...
Ну какой-то там «чайник» в зоне
Все о Федре кричал – делов!

– Я не увижу знаменитой Федры
в старинном, многоярусном театре...

...Он не увидит знаменитой Федры
В старинном, многоярусном театре! –

Пребывая в туманной черноти,
Обращаюсь с мольбой к историку –
От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику!

Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному!
Успокой меня, беспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому!
А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю...»

Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом,
Те, кто выбраны, те и судьи,
Посторонним вход воспрещен!

Ах, как быстро, несусветимы
Дни пошли нам виски сидеть...
«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?!

Так вот, значит, и спать спокойно,
Опускать пятаки в метро?!
А судить и рядить – на кой нам?!
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран. Но я – судья!

1967

Ночной дозор

Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все – похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одинокий шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,

То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное,
«Гений всех времен и народов!»
И как в старое время доброе
Принимает парад уродов!

И бьют барабаны!..
Бьют барабаны,
Бьют, бьют, бьют!

Прет стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей,
Вот сапог громыкает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока – скрипеть, да поругиваться,
Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится еще при случае.

И будут бить барабаны!
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая,
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие,
Им бы гипсовым человечины –
Они вновь обретут величие!

И будут бить барабаны!..
Бить барабаны,
Бить, бить, бить!

А. Галич
1962–1964

* * *

Крепостное право, то, что крепче
и правее всех его отмен,
и холопства старая короста,
отдирать которую не просто,
и довольство паствы рабством,
пастыря – кнутом и монотонность
повторенья всякого такого
на любой странице
кратких курсов, полных курсов
всех историй.
Это было? Это есть и будет.
Временами спящего разбудит
пьяного набата голошенье
или конституций оглашение.
Временами словно в лихорадке
на обычной огородной грядке
вырастит история бананы
или даже ананасы.
Вырастит, но поздно или рано
скажет равнодушно: «А не надо!»

* * *

Я был либералом,
при этом – гнилым.
Я был совершенно гнилым либералом,
увертливо скользким, как рыба налим,
как город Нарым – обмороженно вялым.

Я к этому либерализму пришел
не сразу. Его я нашел, как монету,
его, как билетик в метро, я нашел
и езжу, по этому езжу билету.

Он грязен и скомкан. С опаской берет
его контролер, с выражением гнева.
Но все-таки можно проехать вперед,
стать справа и проходить можно слева.

О, как тот либерализм ни смешон,
я с ним, как с шатром переносным, кочую.
Я все-таки рад, что его я нашел.
Терять же покуда его не хочу я.

Б. Слуцкий

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

Ю.С. ПИВОВАРОВ

РУССКОЕ НАСТОЯЩЕЕ И СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
(Размышления с позиций «civic culture»)

Не исключено, что 2011 год впоследствии назовут рубежным. Во всяком случае, сейчас у многих ощущение конца чего-то старого и начала чего-то нового. Вопрос в том, от какого старого Россия, возможно, собирается перейти и к какому новому? – Сохраняя осторожность, сделаем предположение. Наше общество переросло то устройство, которое сложилось у нас в послевоенный хрущевско-брежневский период, во многом трансформировалось в ходе революции конца 80-х – начала 90-х годов и обрело свой нынешний вид в путинское десятилетие. Я настаиваю на том, что русская социальная эволюция шла именно таким образом. Ленинско-сталинский режим тотальной переделки, суицидального террора, беспримерно-насильственной мобилизации и отказа от универсальных человеческих ценностей сошел на нет в ходе Отечественной освободительной войны и мракобесных судорог середины века. После XX съезда начинают завязываться основы гражданского общества, а победившая Сталина номенклатура переходит от людоедства к более естественным формам социального питания. Иными словами, на смену мобилизации и террору являются медленно-противоречивая эмансипация и скромное потребление. Горбачевско-ельцинский период проводит полную демобилизацию и отдает Россию на разграбление наиболее витальной и современной части советской номенклатуры. Историческое значение Владимира Путина состоит в создании эффективного механизма по эксплуатации материальных богатств России в пользу небольшой части общества. В сфере политики и идеологии устанавливается уникальный строй – самодержавно-наследственное (или преемническое, или сменщицкое) президентство, опирающееся на авторитарно-полицейско-криминальную «систему» и отказавшееся от правовой и исторической легитимности.

Так вот, кажется, этот порядок перестал «соответствовать» русскому обществу даже минимально. И оно готово перейти к другим социально-властным отношениям.

Собственно говоря, этому и посвящена предлагаемая работа. Внешне, как и в первом, и втором выпусках «Трудов...», она носит эклектический,

мозаичный характер. Но внутренне стягивается попыткой понимания некоторых ключевых тем: как возможна русская свобода; в чем и зачем реформы; каковы природа советского и советизма; основные черты наличного социального порядка; некоторые «архетипы» русской эволюции и др.

О русской свободе и некоторых важных датах – юбилеях 2011 г.

Ключевая (но не единственная) тема этого выпуска «Трудов» – свобода в России, русская свобода, движение к освобождению и т.п. Выбор этой темы в текущем году не случаен. Исполнилось 150 лет со дня освобождения крестьян от крепостного состояния. Это событие В.О. Ключевский полагал величайшим в отечественной истории. Мы же теперь понимаем, что это было не только высшим достижением русского эмансипационного дела, но и началом трагического перегона России «от села Бездна к станции Дно» (В.В. Набоков). Действительно, пореформенная Россия (1861–1917), с одной стороны, стала золотым веком русской социальности, а с другой – прелюдией советского большевизма. Кстати, в этом же году исполняется 20 лет с момента краха коммунистического режима. И это тоже важнейший повод говорить о свободе.

Но есть даты менее заметные, менее громкие, хотя по своей внутренней силе заставляющие помнить их. 90 лет назад молодой ленинский режим впервые открыто пошел на русский народ. И если поведение коммунистов в Гражданской войне хоть как-то может быть оправдано стремлением к установлению социальной справедливости, которая, с их точки зрения, отсутствовала в царской России, то зверское подавление Кронштадта и Антоновского восстания не имеет объяснений даже с помощью большевистской демагогии. Ведь ленинцы выступали от имени народа (как они утверждали) – здесь же народ явно сказал им: «Нет!» То есть это событие – одновременно начало борьбы режима с собственным народом и начало народного сопротивления этому режиму, которое – мы должны помнить – не прекращалось никогда. И даже если оно в целом не вылилось в открытое противостояние (а все-таки бывало и такое), то находило себе другие формы. Напомним хотя бы результаты переписи населения 1937 г., когда огромное число советских граждан не побоялось открыто назвать себя верующими.

О 70-летию начала Великой Отечественной войны в этом году сказано, видимо, все, сполна. Но для нас также важен скрытый смысл этой скорбно-торжественной даты. Заключается он в том, что, казалось бы, уже поваленный наземь, уже раздавленный германскими танками русский народ нашел в себе силы восстать, а значит, как модно говорить нынче в науке, вновь обрести историческую субъектность. Он не захотел быть той самой «популяцией» из той самой «русской системы». Кстати, раз мы

упомянули эту концепцию, подчеркнем и то, что «лишний человек» тоже в те исторические мгновения сумел освободиться от своей «лишности». И уж точно власть, как это ни парадоксально – поскольку в этот момент персонифицировалась самым жестким ее персонификатором, – не была тогда моносубъектом. И потому, скажем мы со всей прямотой, те, кто сегодня хочет отдать Победу Сталину, автоматически отнимают ее у русского народа. И хотя этот вывод может показаться слишком категоричным, в нем, представляется нам, больше исторической правды, нежели во «взвешенных» суждениях сегодняшних «попутчиков истории» (выражение Г.В. Федотова).

И еще о войне. Эта тема в обозримом будущем останется в поле самого острого внимания сотрудников нашего Центра. По двум причинам. Во-первых, появляются новые поколения ученых, не отягощенных никакими идеологическими травмами, спокойно исследующих войну. Им даже в голову не приходит с помощью какого-то нового знания о войне начать орудовать им как погромной дубиной. Эти молодые люди открывают такие страницы войны, которые были недоступны предшествующим поколениям. То есть это свободное знание – знание, повторим, не связанное с идеологической борьбой (оправданием, развенчанием, возвеличиванием и проч.). Говоря иначе, это война глазами людей XXI в. Во-вторых, не стихающий яростный спор вокруг войны в нашем образованном обществе (и полуобразованном тоже). Здесь мы тоже скажем совершенно прямо. Это не спор о войне. Это спор о коммунистическом режиме. Если мы признаем, что Сталин-сталинцы-сталинизм непростительным образом «проспали» войну, варварски по отношению к собственному народу воевали, не считаясь ни с какими жертвами (чего только стоит постоянно повторяемая Н.Н. Губенко цифра сирот на 1945 г. – 19 млн.; и вина за это лежит не только на человеконенавистническом гитлеровском режиме, но и на нашем тоже), то, следовательно, мы вынесем приговор коммунистической системе как неэффективной, дефективной, преступной. Если же наоборот, то, значит, наоборот. И никаких компромиссных, «взвешенных» оценок быть не может.

Но, подчеркиваем, при этом мы не закрываем глаза на то, что коммунистический режим и русский народ были, если можно так сказать, слиты воедино. Более того, режим был порождением русского народа. И, говоря это, мы понимаем всю, если угодно, дьявольскую диалектику этой ситуации. В ней невероятно сложно разобраться. Но придется, как пришлось немецкому народу. Этот народ признал, что гитлеризм был его собственным выбором, и в течение мучительных десятилетий освобождался от этого выбора. На этих путях он обрел и свободу, и порядок, и благосостояние. Конечно, немцам было легче, чем нам, – ведь это они были наглыми и вероломными агрессорами, ведь это они никогда не скрыва-

ли своих преступных планов, ведь это они открыто заявили о «проекте» по уничтожению людей в соответствии с одним (расовым) принципом и обратились к его реализации. Нам сложнее, потому что мы были народом, подвергшимся страшной агрессии, мы сломали хребет вермахту и всей нацистской Германии, мы освободили народы Восточной Европы, мы понесли неисчислимые жертвы. И при этом мы должны признать, что тоже несем ответственность за развязывание Второй мировой войны, за начало советско-германской войны, за неготовность к ней, за – повторим это в которой раз – запредельно высокую цену, которую заплатили, за те диктатуры, которые принесли в страны Восточной Европы, только что освобожденные нами, и многое, многое другое. И вот от этого мы должны освободиться. – Не от советской истории, не от побед и поражений, а от того преступного, что было в советской истории и что теснейшим образом связано с началом войны. Иначе говоря, спор о войне – это спор тех, кто по-прежнему готов потакать злу в себе, и тех, кто не готов. В конечном счете это тоже спор о свободе современного общества.

Исполняется 100 лет со дня смерти П.А. Столыпина. Это одна из тех исторических фигур, которые в постсоветское время переживают ренессанс. Он занял одно из центральных мест в общественном мнении, да и власть открыто назначает себя его преемницей. Готовятся пышные торжества, связанные со 150-летием Петра Аркадьевича. Совмин придумал медаль имени Столыпина, которая присуждается за патриотическую деятельность. Широко обсуждается строительство его памятника, которому нашли место не где-нибудь, а рядом со зданием российского правительства. То есть он как бы назначается таким светским покровителем настоящих и будущих «премьеров». Вообще, Столыпин – фигура, действительно необходимая нынешней России. Ведь у каждой большой страны в XX в. есть один самый эффективный ее руководитель: Рузвельт, Черчилль, де Голль, Аденауэр. При всей исторической спорности эти фигуры бесспорны в том, что занимают первые места в сознании их сограждан. А у нас такой фигуры не было. Мне возразят – как, а Сталин? В том-то и дело, что Сталин – не историческая, не политическая, не административная фигура. Сталин – это темы добра и зла, ненависти и любви, насилия и смирения и пр. Сталин был псевдонимом Джугашвили, а стал псевдонимом этих тем. Иосиф Виссарионович так распорядился своей жизнью и нашей судьбой, что его нельзя помещать в этот ряд. А Столыпин – можно. Он невероятно удобен, причем удобен всем – либералам и консерваторам, общественникам и государственным, почвенникам и западникам. А в нем и было всё: и стремление дать России свободу и благосостояние, и умение жестко и эффективно «пресечь крамолу», и вкус к социальному новаторству, и абсолютная укорененность в русской традиции, и органический аристократизм, и сродненность с поднимающейся русской демократией.

Да и звучит как – Петр Аркадьевич Столыпин! (не менее, а может быть и более, великий Витте с ходу проигрывает своим «Сергей Юльевич Витте»). Тоже, вроде бы, неплохо, но есть в этом какая-то неизлечимая второразрядность – типа Барклай де Толли, Беннигсен, Бенкендорф, Клейнмихель, Нессельроде). Вот Столыпин и будет русским Рузвельтом, Аденауэром и т.п. Ведь власть нуждается не только в опереточном культе опереточного Александра Невского (просим не путать с реальной фигурой князя Александра Ярославича) или культе Петра Великого. Заметим: историческое обожествление Медного всадника несколько поувяло. Это говорит о том, что всякому божеству необходимы новые жертвоприношения, иначе оно проголодается и потеряет былые витальность и креативность. Вообще, по нашим наблюдениям, Петру Алексеевичу в последнее время не везет. Тут и грандиозный Сталин, несомненно превзошедший его в крутости и державности, тут и историки, превратившие его чуть ли не в первого нашего западника, что ныне не модно. А Столыпин – фигура мощная, чистая, исторически осязаемая, принявшая за Россию смертную муку. (При этом и убийца у него вполне «подходящий» – еврей-революционер из богатеньких, – несомненно, будущий троцкист, оппозиционер, противник Сталина. Это, конечно, вслух не произносится, но как бы подразумевается.)

Столыпин еще и потому хорош, что является полной индульгенцией за тайную страсть к Сталину. Г.В. Флоровский в своих гениальных «Пути русского богословия» (Париж, 1937 г.) (12) писал об эффекте двоеверия, возникшем в Киевской Руси после принятия христианства. В обществе, в людях сосуществовали две веры – дневная и ночная, по терминологии о. Георгия. Дневная – официальная, единственно допускаемая – христианская; ночная – языческая, запрещенная, но желанная и связанная с какими-то важнейшими тайниками души, неустранимыми влечениями, высшим счастьем. Две веры – ума и сердца, духа и души, сознательного и бессознательного. Эта тема неплохо, кстати, раскрывается в известном фильме А. Тарковского «Андрей Рублев». Столыпину, по всей видимости, и уготована персонификация дневной государственной веры. Ночная, бесспорно, принадлежит Сталину. Но откровенно признаться в исповедании этой ночной веры опасно, неосторожно и не очень прилично, не все поймут. Поэтому чем больше мы будем любить и возвеличивать Столыпина, тем меньше обратят внимания на нашу «ночную любовь». Боюсь, что при этом и в таком контексте Петра Аркадьевича опять убьют – исторически. А ведь он действительно наш Рузвельт.

...Но отвлечемся на время от дат–юбилеев, поговорим о сути наших реформ, т.е. об эмансипации русского общества. Все пятьдесят с лишним лет, от Великих освободительных деяний Александра II до столыпинских преобразований, можно рассматривать как единую историческую эпоху. Собственно говоря, так и делается: в науке принято говорить о порефор-

менном периоде. Нам же представляется, что точнее было бы назвать его периодом реформ. Они ведь не прекращались с 1861 г. по Февральскую революцию. Даже 1880-е годы («дальние, глухие», по выражению А. Блока), которые принято называть контрреформами, были временем некоей естественной приостановки для того, чтобы прийти в себя, осмотреться, успокоиться – и двигаться дальше. При этом в экономической, социальной и правовой сферах реформы продолжались (имеются в виду развитие капитализма и введение передового трудового законодательства). И для всего периода характерен, как сказали бы в советские времена, комплексный подход. Реформы затронули практически все сферы жизнедеятельности русского общества. Это было наступление широким фронтом с продуманной программой мер. Они были связаны друг с другом; какая-то одна реформа влекла за собой другую в иной сфере и т.д. Правда, когда мы говорим об эпохе Великих реформ, мы всегда подчеркиваем их комплексность (крестьянский вопрос, сельское и городское самоуправление, суды, образование – начальное, среднее и высшее, военное дело), а применительно к столыпинским реформам мы заикливаемся на вопросе общины. Но ведь план Столыпина, обнародованный им 6 марта 1907 г. в Государственной думе, включал в себя вопросы реформирования государственного управления, прав человека, социального законодательства и т.д. Более того, Столыпин совсем не был тем самым прогрессивным разрушителем консервативной общины, каким он рисуется многим. В этом вопросе он занимал позицию золотой середины: те, кто хочет и может, пусть выходят, а те, кто не хочет и не может, пусть остаются. Обратим внимание: большинство осталось.

Что еще важно в понимании эпохи реформ? В нашей науке и, соответственно, в сознании недоучитывается та громадная повседневная работа, которую вели русское государство и русское общество по узнаванию своей страны (помните неожиданные слова Ю.В. Андропова, что мы своей страны не знаем), упорядочиванию этого знания и, так сказать, упорядочиванию самой страны. Мы имеем в виду гигантский труд отечественных статистиков – они создали «банк данных» о России, без которого ее существование в современном мире было бы невозможно. Это касается и наследника Российской империи – СССР. Была также произведена кропотливая, тяжелейшая работа по межеванию земель. Тогда же произошел подъем архивного дела в России, т.е. началось формирование социальной памяти. Переживают расцвет фольклористика и археология. Всем известен также взлет русской науки этой эпохи. В известном смысле слова, Россия тех лет стала палатой мер и весов, лабораторией по самоосознанию и созданию нового знания.

И еще одно. У времени реформ был совершенно определенный вектор – эмансипация (или *самоэмансипация*) российского общества. Успеш-

ное движение в этом направлении обеспечивалось следующими принципами: реформы – 1) должны проводиться в соответствии с русскими историческими традициями; 2) опираться на положительный опыт передовых европейских государств (Германия, Франция, Австро-Венгрия, Соединенное Королевство); 3) это дело не только государства, но и общества; 4) их смысл – в постоянном, несмотря ни на что, расширении круга участников принятия кардинальных решений; 5) они способствуют еще более тесной интеграции с Западом; 6) не должны привести к «растворению» России в современном мире в форме того или иного сырьевого придатка (донора) этого мира; 7) на заключительных стадиях (или этапах) реформ самое пристальное внимание стало уделяться «восточному» направлению русской политики и экономики (здесь речь идет и о подъеме Сибири и Дальнего Востока, и о понимании грядущей роли Азиатско-Тихоокеанского региона, и о проблемах, связанных с выходом России в самое сердце Центральной Азии); 8) они проводились на общеконсенсусной основе – и это при громадных противоречиях, существовавших между тронем, бюрократией, дворянством и поднимавшимся гражданским обществом. Несмотря на трагизм этих противоречий, компромиссно-консенсусное начало нарастало. (Тем более трагическим представляется срыв с этой линии зимой 1916–1917 гг. Но даже это не отменяет факта усиления компромиссно-консенсусного типа развития.)

Смысл реформ–эмансипации заключается еще и в следующем. Настоящая реформа, – а мы признаем реформы эпохи трех последних царствований настоящими – не крушит наличный мир, а преобразовывает его, совершенствует. По своей природе она нацелена не на уничтожение каких-то, казалось бы, устаревших форм, а на развязывание возможностей для становления тех сил, что зреют в рамках этого мира. Иными словами, настоящая реформа создает институты и процедуры, в которых актуализируется скрытое в старых формах новое, потенциальное. Реформа – это упорядочивание новых возможностей, нового баланса сил и проч. Повторим, таковыми по преимуществу были реформы второй половины XIX – начала XX столетий. Но именно здесь и таится опасность: раскрывая широко окно возможностей, реформаторы, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, создают основу для новых конфликтов, новых противоречий, новых вопросов. И в этом смысле всякая реформа, всякая эмансипация – всегда и увеличение социальных рисков. Перефразируя известные слова Ленина, можно сказать: реформа порождает новые конфликты. То есть период свободы требует новой, более высокой цены за социальный порядок. Поэтому для проведения реформ необходимы социальное мужество и социальная ответственность...

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти В.О. Ключевского. То, что он – великий русский историк, знают

все. А вот то, что это совершенно неповторимое порождение русской культуры середины и конца XIX в., — об этом мы как-то не думаем. Теперь уже ясно, что русская литература создала ту Россию, в которой мы живем. Именно писатели придумали основные русские типы, сформулировали основные русские вопросы, «сконструировали» основополагающие русские мифы (в основе всех мировых культур лежат жизнеобразующие мифы). Но литература, даже обращаясь к прошлому, всегда творит настоящее и будущее. К примеру, Тарас Бульба и его сыновья важны нам не как персонажи малороссийско-польской вражды XVII столетия, а как определенные социопсихологические типы, с которыми мы сталкиваемся в повседневности и одновременно через них понимаем других.

Но было два писателя, которые, как представляется, глубже и тоньше других и, самое главное, с безграничной теплотой показали нам сущность русского, собственно русского. Это Василий Ключевский и Василий Розанов. То, что сделал Розанов в области социокультурной и психологической, литературной и эстетической, то Ключевский — в исторической сфере. Русская история была «написана» до него; ее основные темы и направления определили Карамзин и Соловьев, Чаадаев, славянофилы и западники. И в этом смысле Ключевский не привнес ничего совершенно нового, хотя ему и принадлежал ряд выдающихся исследований, много давших нашей науке. Однако главное значение Ключевского состоит в том, что он обратился к историческим сюжетам и персонажам с позиций частного человека. Не мифотворца, не схемостройца, не государственника и даже не общественника. Он берет события и персонажи и оживляет, и одуховляет их. Он делает наше прошлое не чередой фактов, эпох, героев, но живой жизнью. Причем Ключевский — как-будто вышедший из лесковского мира, — смотрит на русскую историю глазами и душой человека допетровской России. Да, он чрезвычайно умен и отлично обучен европейскому профессиональному знанию. Да, он современен, но и все равно по сути своей остается человеком XVII столетия. Вот это уникальное сочетание и позволило ему прочесть русскую историю как родную. И даже его увлечение всякими социоэкономическими объяснениями пахнет чем-то замоскворецко-посконным, а не европейско-политэкономическим.

Он как будто знал, что вот-вот этот, его русский исторический мир уйдет в небытие. Впрочем, может, и знал; ведь утверждал же, что «это царствование последнее» и Алексей править не будет, а на важнейшем, стратегическом Петергофском совещании высших правящих лиц (лето 1905 года) вел себя пассивно, незаинтересованно и отделался незначительными словами. Может быть, действительно, чувствовал, что конец. И как раз перед концом этого мира он и создал русскую историческую вселенную и с этого момента русская история, по Ключевскому (или клю-

чевская русская история), занимает в нашем сознании место рядом с литературой. То есть это еще один русский мир. Нет сомнений в том, что работа Ключевского не менее важна и значима, чем работа Пушкина, Достоевского, Толстого.

Влияние Ключевского на русскую культуру шире даже, чем то, о котором мы только что сказали. XX век, несмотря на все его ужасы, стал одновременно поразительным взлетом русского гения. Сегодня можно прямо сказать: культура XX в. не потеряла темпа, который был набран в XIX. И одним из самых ярких проявлений этого взлета стала поэзия. Берем на себя смелость утверждать, что творчество двух московских поэтов, имеющее мировой масштаб, – Пастернака и Цветаевой – было бы невозможно без того мира русской истории, который создал Ключевский. Разумеется, это не единственный источник их творчества, но абсолютно необходимый среди других.

Сегодня история, по Ключевскому, нужна прежде всего не как источник профессиональных знаний, но как воздух, которым должны дышать легкие нашей культуры. Это особенно важно потому, что вот уже почти столетие мы дышим воздухом отравленным. Во-первых, Ключевский дает сегодняшнему человеку безусловное и понятное ощущение живой причастности к русскому делу. Человек, принявший в свою душу Ключевского, навсегда проникнется русской исторической сущностью. Во-вторых, чтение Ключевского – это сильнейшее гигиеническое средство от современных социальных болезней.

О реформах, контрреформах, опричнине и земщине

И вновь возвращаемся к теме реформ (и свободы). Еще один важный аспект в их понимании: не все то, что делается по переустройству общества, можно квалифицировать как реформы. Реформой, видимо, следует считать такие действия, которые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях расширения зоны свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, личной ответственности. При таком подходе деяния Петра Великого, к примеру, не попадают под эту характеристику. Все те громадные новации, которые внес в русскую жизнь этот человек, имели своим главным результатом дальнейшее закабаление населения России. И даже если признать за Петром – а мы признаем – заслугу в деле русского просвещения, то и это не отменяет главного результата его действий. Более того, трагическое несоответствие просвещения и крепостничества и стало основным взрывным элементом русской революции и гражданской войны. Причем социальная опасность одновременности просвещения и закрепощения не была преодолена даже Великими реформами.

Реформа – это всегда конфликт; повторим: настоящая реформа не уничтожает его. Но создает легитимные и эффективные процедуры протекания. Реформа – это политика осознанного принятия социальной конфликтности как фундамента для нормального, здорового развития общества. Реформа – это отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа «кто не с нами – тот против нас»; отказ от понимания другого/иного как врага. Реформа – это то, что сегодня американский политолог Джозеф Най называет «soft power». В своей последней книге (14) Най говорит, что смысл soft power в том, что в ходе ее применения увеличивается количество друзей и уменьшается количество врагов. «Hard power» действует наоборот. Реформы – это также то, что Най квалифицирует как «smart power». Смысл этого последнего заключается в том, что настоящий реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных социально ответственных сил, включая и противостоящие ему, способствует их усилению.

Одним из заблуждений русского сознания является уверенность в том, что реформы может проводить власть и только власть. Нет, опыт последних 100 лет показывает: реформирование практически всегда есть дело рук и власти, и общества. Там, где общества нет – в том смысле, что оно еще не готово взять на себя часть бремени социальной ответственности, – реформы, даже блестяще задуманные и продуманные, не удаются. Пример: Михаил Сперанский. Его гениальный проект преобразований оказался не по плечу тогдашней России. И Александр I мгновенно и болезненно свернул робкие начинания и громкие обещания. Оказалось, что Сперанский предложил России план «на вырост». А когда русское общество подросло, тогда оно в тесном союзе с властью и одновременно в жестком противостоянии с ней реализовало план Михаила Михайловича.

Говоря сегодня о реформах как об эмансипации, мы не можем не затронуть вопроса о том, что является прямой противоположностью реформы, но в массовом сознании именно это противоположное нередко полагается высшим достижением русской цивилизации. Мы хотим сказать о трех персонажах, несомненно, любимых, нередко даже и бессознательно, многими русскими людьми. Это Иван Грозный, Петр Великий и Иосиф Сталин. Их обычно противопоставляют «гнилым и неудачливым» либералам-интеллигентам. Так вот, в нашем обществе усиливается убеждение, что высшие русские успехи – это всегда жесткая, не щадящая никого, «варварская» модернизация. Причем варварство оправдывается одними потому, что «так было всегда и у всех», другими потому, что «с русскими по-иному нельзя». Главное – в том, что одержаны великие победы, создана великая страна.

Мы не будем полемизировать с ними. И для нас неважно даже то, что сразу после физического исчезновения этих людей все их великое по-

чему-то рушилось. Нам эти люди и их действия важны, повторим, тем, что они суть не реформаторы и реформы, а нечто им противоположное и что в результате этих действий трижды в нашей истории возникала по существу одинаковая и по существу тупиковая ситуация. При всем естественном различии исторических эпох, в которые действовали эти персонажи, они приходили к одной и той же социальной конфигурации. Мы бы ее назвали так: опричнина-земство.

Отказавшись от экспериментов Избранной Рады, поскольку они не обеспечивали усиления собственной власти, а, напротив, «демократизировали» социальный порядок (мы понимаем всю условность используемой терминологии), Иван IV придумал следующий механизм. Большая – в количественном отношении – часть страны живет вроде бы как и жила: в рамках привычных, традиционных форм. А рядом создается новое общество, которое освобождено от этих форм и которому «все позволено». Таким образом, перед нами феномен расколотого социума, где одним велено изображать жизнь в старых ее формах, а другим дозволено делать с этой земщиной все, что захочется и что прикажут. По-своему такая расстановка сил выгодна, как это ни парадоксально, обеим сторонам. Она на самом деле воспроизводит властно-социальную диспозицию, к которой Русь привыкла, адаптировалась за два примерно с половиной столетия монгольского ига. То есть это ордынский порядок, где в роли опричнины Орда, а земщины – Русь. И когда мы сказали, что и земщине выгоден такой порядок, мы имели в виду то, что другой был и непредставим, и неизвестен.

Почему же он провалился? Иван Грозный не сделал главного шага – того, который удался его наследнику Петру. Он не придумал этому сконструированному им расколу культурно-мировоззренческого антагонизма, который, кстати, предполагала классическая ордынская модель. С одной стороны, кочевая, языческая, затем мусульманская, по преимуществу тюркская Орда, с другой – земледельческая, христианская, славянская Русь. К концу же XVII столетия у Петра Алексеевича на руках уже были все козыри, полный инструментарий для конструирования этого самого культурно-мировоззренческого антагонизма. Причем, как и в случае с Иваном Грозным, новой ордынизации России предшествовал период «демократических» экспериментов другой Избранной Рады – «правительств» Федора–Софьи–Голицына. И потому будущему мореплавателю, академику и плотнику уже не надо было проводить самому «демократические» опыты, которые, ясное дело, вели всю систему к большей социальной плюрализации и расширению зоны свободы.

Два десятилетия Петр создавал новую опричнину, говорящую по-немецки, и новую земщину, которая вроде бы живет по-старому – ведь никто не отменял Соборного Уложения его папы. Повторим: Петр учел историческую недоработку Ивана Грозного. Он ведь хорошо помнил, как

земщина разгулялась в начале XVII в. и, несмотря на усилия прадеда, деда и отца, в общем, для русских условий довольно вольготно гуляла до конца столетия. Петровская европеизированная опричнина хорошо знала и эффективно делала свое дело. Это было связано еще и с тем, что и здесь Петр пошел дальше своего великого предшественника (Ивана IV). Иван Васильевич, расколов правящий слой, не довел до логического конца начатое. То есть не истребил поголовно не принятых в опричнину крупных, мелких и средних «феодалов», которые, как мы знаем, и учинили на развалинах грозненского ордунга «лихие нулевые». А Петр сделал все правильно. Сначала в качестве социального предупреждения он порубил головы «оппозиционерам» и, тем самым запугав и усмирив свое правящее сословие, превратил его скопом в новых опричников. То есть заставил отречься от своего феодализма и от своей земской русскости (заставил их считать себя «немцами»).

Дело Петра простояло дольше, но в целом недолго. Не случайно русская история после смерти Петра называется постпетровской. Но для нас эта неслучайность другая, нежели общепринятая. Сразу после его смерти начался, по сути, хотя это и не было так заметно, другой период. Оказалось, что и петровская опричнина не столь крепка и, как ему хотелось, эффективна. Внутри ее мгновенно разгорелась свара, она раскололась на враждебные группировки и имела дерзость менять людей на троне. В конечном счете доигралась до того, что получила свободу. И это было мщением Петру...

Схожим образом действовал Иосиф Виссарионович. Его опричницей, как мы понимаем, была верхушка советского общества, составленная из партийных, чекистских, хозяйственных номенклатурщиков. Им тоже было все позволено по отношению к той части общества, которая в нее не вошла. Никаких ограничений не существовало. Советской же земщине дали все, чтобы она считала себя самой счастливой: и лучшую в мире конституцию, и лучшее образование, и самую справедливую систему социальной защиты, и бесплатное жилье, и поразительно комфортное оптимистическое мироощущение. Разумеется, поскольку в этот раз земщина была так щедро благодетельствована, сталинская опричнина — орда — для того, чтобы ей самой существовать и дальше (заметим, в русской истории земщина всегда могла существовать без опричнины, а наоборот — никогда), была вынуждена ввести некоторые ограничения/изъятия. Так, табуизировалось любое, кроме утвержденного на сегодня, мировоззрение (здесь очень важно «на сегодня»: верность тому, что было «на вчера», квалифицировалась как смертное преступление). Временно, до момента окончательной победы коммунизма, отменялись все права человека. И даже те, которыми ему разрешали пользоваться, он мог пользоваться только по разрешению. Навсегда отменялись выборы. Но здесь иного и быть не мог-

ло: ведь в социалистическом обществе не было антагонистических противоречий – значит, не было и конфликта интересов. Впрочем, мы не будем дальше перечислять те небольшие ограничения, которые, повторим, была вынуждена ввести сталинская орда-опричнина. Удивляет лишь одно: что этот творец нового, небывалого так много восстановил в русской жизни старого, привычного. В первую очередь, конечно, крепостное право для крестьян. А во вторую, для горожан.

Приметой сталинского ордунга было то, что он, подобно Петру, который учел недостатки эксперимента Грозного, учел недостатки эксперимента Петра. А у Петра они были существенными. Он ведь, в лице своих опричников, ввел Россию в Европу, а опричники – они тоже ведь люди – подверглись тлетворному влиянию Запада, что привело к тому, что они стали как-то осыпаться к своему основному предназначению и все больше увлекаться идеями, стишками, – в общем, всей этой разлагающей русского опричника «материей». Сталин, хотя и говорят, что у него одна рука была повреждена, быстро и властно самолично опустил железный занавес. И, надо признать, сталинские и даже большинство послесталинских опричников оказались вне сферы тлетворного влияния Запада.

Далее. Сталин понимал, что настоящим, подлинно боевым и соответствующим эпохе модернети опричником нельзя быть в нескольких поколениях. Сомнителен уже сын опричника – тем более внук. Почему-то инерционно не удерживается главное предназначение опричника – бороться с врагами России (сталинского СССР). А вот Петр этого не знал и однажды, создав касту опричников, дал ей социально-физиологическое право плодить опричников во многих поколениях. Конечно, этот петровский недосмотр не мог не привести к вырождению опричного начала. Но Сталин понимал, что даже один человек в течение всей своей жизни не мог быть всегда опричником – несколько лет мог, а потом нет. И он ввел практику постоянного уничтожения опричных кадров с целью обновления и усиления опричного потенциала. Знаменитое кагановичевское: «Мы снимаем людей слоями». И надо сказать, этот новаторский для мировой истории прием принес небывалые плоды. Режим сталинской опричнины доказал свою полнейшую эффективность в решении тех задач, которые ему ставились, прежде всего в отношении земщины.

Но Сталин пошел еще дальше. Он многократно сообщал земщине и следовал этому сообщению, что кадры будущей опричнины рекрутируются из земщины, а не из рядов нынешних опричников. Тем самым он сделал свою опричнину общенародной. Теперь каждый советский человек в принципе мог стать опричником. К сожалению, он не учел двух обстоятельств (но в оправдание скажем, что их и невозможно было учесть). Первым обстоятельством стала война, в условиях которой непрекращающийся и прогрессивный по своей исторической сущности процесс обновления

опричничества стал невозможен. Сталин, как трезвый государственный стратег (это А.И. Солженицын о нем; не верите? Да вот сноска¹), отказался на время войны, в отличие от Гитлера, вести войну на два фронта – с фашизмом и своим народом. Он сосредоточил все силы на борьбе с фашизмом и в этой войне победил. И начал проигрывать в борьбе со своей же опричниной, а поскольку каждый советский человек являлся потенциальным опричником, то и со всем советским народом.

Второе обстоятельство – это его смерть, которая до конца обнажила антагонистическое противоречие сталинской конструкции опричнины. Соотношение «Сталин–опричник» было таковым: вечный Сталин и опричник на краткий исторический миг. Но оно было заморожено, пока он жил. Когда он умер, началась оттепель. Опричники решили тоже стать вечными. И всё – сталинская система была обречена.

Подведем итоги. Все три опричные системы обязательно гибнут после смерти своих демиургов. Но какой-то исторический период они существуют в более мягких, размытых формах. Выход из этих исторических тупиков бывает различным: через Смуту и искания XVII в. – к возвращению вновь к опрично-земской модели; через Великие реформы и трагедию революции – к новой опрично-земской модели и вот ныне – то, что перед нашими глазами – процессы, соучастниками которых мы являемся. Чем это закончится, неизвестно.

Есть еще три вещи, о которых необходимо сказать. Опрично-земская система в России не случайность, но историческая традиция. Опрично-земская система недолговечна и заканчивается либо крахом, либо попыткой перейти к какой-то иной модели. Возвращение к опрично-земской системе в условиях современного мира представляется маловероятным. Если же попытки будут предприняты, то, по всей видимости, они закончатся небывалым историческим поражением, поскольку принципы этой системы полностью несовместимы с вектором мирового социального развития. Кроме того, эти попытки столкнутся с фундаментальным сопротивлением в самом русском обществе, которое, как представляется, переросло это конструкцию и вполне готово к социальному творчеству и реформам.

А теперь немного истории...

В скобках: буквально несколько слов о генезисе русского опрично-земского орднунга

Как же происходило его формирование? – Об этом весьма убедительно пишет современный отечественный историк Н.С. Борисов. «Со вре-

¹ Солженицын А.И. Россия в обвале. – М.: Русский путь, 1998. – С. 137.

мен Ивана Калиты московский князь играл роль общерусского «сельского старосты». Орда возложила на Даниловичей обязанности по сбору дани, поддержанию повседневного порядка и организации разного рода «общественных работ» главным образом военного характера» (2, с. 8). Вообще-то должность общерусского сельского старосты была многотрудной, но в то же время исторически благодарной, поскольку был приобретен бесценный опыт. «Великий князь Владимирский отвечал перед ханом за все, что происходило в «русском улусе». Он имел множество недоброжелателей, завистников и клеветников. Остерегаясь козней врагов, он должен был быть всегда начеку, иметь надежную охрану и не жалеть средств на разведку. (Представляю, с **каким пониманием** прочли бы эти строки позднейшие русские правители. – Ю.П.) Однако всякий труд предполагает вознаграждение. Даниловичи уже в силу своего первенствующего положения получили ряд преимуществ перед другими князьями. Через их столицу шли «финансовые потоки» – дань в Орду со всей Северо-Восточной Руси. Они имели исключительное право на аудиенцию у хана и, пользуясь этим, могли устранять своих соперников руками татар. Эти две привилегии великие князья охраняли как зеницу ока» (там же, с. 9). Автор подчеркивает: «В роли «общерусского старосты», назначенного Ордой, московские князья... накопили большой организаторский опыт, научились добиваться неуклонного исполнения своих требований, наладили обширные личные и династические связи. Весь этот сложный механизм до поры до времени работал в интересах и на благо Орды (там же).

Но вот пришли иные времена. «Ослабление Орды, начавшееся после кончины хана Джанибека (1357), поставило московских князей перед нелегким выбором. «Приказчик» вдруг остался без «барина». Сбирать дань уже было незачем. Москве приходилось выходить из ордынской тени и начинать свою собственную игру» (там же, с. 10). И далее: «Московские князья могли либо смиренно “отказаться от должности” и вернуться на положение рядовых членов княжеского сообщества, либо использовать находившийся в их руках отлаженный татарами механизм великокняжеской власти для собственных целей» (там же). Как мы знаем, был избран второй путь. Приказчик сам стал барином. Ханская ставка была перенесена в Кремль (Г.В. Федотов). С этого момента (рубеж XV–XVI вв.) отлаженный татарами механизм великокняжеской власти заработал на нового хозяина, т.е. на самого себя. Соответственно, потребовалось и создание новой орды, уже русской, православной. Ведь «барина» без орды не бывает. Вопрос теперь стоял только в формах реализации барина–орды. Как только очередной вариант ослабевал, начинался кризис (смута). В результате разрешения которого **всегда** являлось на свет новое издание орды (барина).

...И буквально несколько слов о понимании опричнины.

Ода в прозе Александру Зимину

Один из наиболее талантливых историков второй половины XX столетия А.А. Зимин в своей замечательной книге «Опричнина» (4) ищет и находит истоки этой самой опричнины. Их три: добить удельщину князя Андрея Старицкого, полностью подчинить Новгород и, говоря современным языком, окончательно этатизировать церковь. Ивану IV (по Зимину) это удается. Но последняя фраза исследования звучит так: «Россия стояла в преддверии грандиозной крестьянской войны...» (4, с. 286). Получается как раз обратное: Ивану Грозному ничего не удалось. В начале XVII столетия налицо была не удельщина, а полный развал Руси. Не отличный от Москвы Новгород, а Новгород, ушедший добровольно под шведов. Не церковь под государством, а церковь в лице Гермогена как единственно русский голос. Тиран-преобразователь потерпел полное поражение...

Да нет, конечно, он победил. А.А. Зимин был полноправным – и в научном, и в моральном смысле – наследником русской историографической традиции. Однако ни он, ни его учителя не учли в русской истории главного. Причем традиция была еще «молода» и ничего не «знала» про русскую революцию, а Зимин, видимо (это предположение), по каким-то неизвестным для меня причинам экзистенциально не пережил второго в XX в. великого русского исторического события – войны. Ее смысл для русских был не в победах или в поражениях («но пораженья от побед ты сам не должен отличать»), а в начале восстановления русской жизни.

Во Франции реставрация победила революцию после окончательного поражения Наполеона. Поскольку Наполеон, а не Робеспьер, был настоящей революцией. **В России реставрации не произошло** (об этом см. следующий раздел этой работы. – Ю.П.), **но в ходе великой войны мы приступили к изживанию революции**. Настоящей революцией в России был Сталин, а не Ленин. Ленин, подобно Робеспьеру, был отброшен историей. Как говорил Троцкий, на свалку истории.

Вот этого, как мне кажется, не учел замечательный русский историк А.А. Зимин. Он пытался понять XVI век, преодолевая «феодализм», «классовую борьбу», «централизацию» и, как сказали бы сегодня, формирование территориальных политий. Но историю нельзя понимать, как ее понимают профессиональные историки. Ее просто невозможно понять так, как ее понимают профессиональные историки. По одной простой причине. И эту причину назвал не историк, а стихотворец: «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».

А.А. Зимин – единственный, кто прочел русскую историю глазами свободного русского, оставшись в рамках тоталитарного советского. Величие его именно в этом, поскольку ему это удалось. Те из его современников, кто вышел за рамки советского, были вынуждены оказаться за пре-

делами науки. Так вот, А.А. Зимин положил всю свою вдохновенную жизнь на попытку понять первую половину фразы Б. Пастернака. Он, увы, как мы уже сказали, не имея экзистенциального «восстановительного» опыта (в отличие, скажем, от деятелей французской Реставрации Шатобриана и Бенжамена Констана, породивших две основные ветви современного мышления – консервативное и либеральное), отдал свой гений выяснению отношений с Беляевым, Чичериним, Ключевским, Платоновым, Покровским, Лешковым, Тихомировым, Скрынниковым и т.д. Подобно им, он думал, что найдет причины и объяснения опричнины в тщательнейшем прочтении грамот и прочих документов той эпохи. Он был, конечно, громадный талант – и советский человек. Изучение ростовских князей не привело его к пониманию эссенции русской истории, экзистенциальному ее осмыслению.

Здесь мы скажем прямо и грубо. У нас, русских, есть потребность только в этом. Если археологические, архивные, историографические «революции» не ведут к этому, не являются поводом для этого, то все их содержание сводится к... А.А. Зимин – еще раз скажу, – один из лучших советских историков – ничего об этом не знал. Он поразительным образом дышал воздухом архивов, а не истории.

Так чего же не учел А.А. Зимин? Главного: опричнина не была против Новгорода, против уделов и даже против церкви. Опричнина не была против боярства, против государственных измен, против примитивного западного влияния. Она вообще не была против; она была за. За что? Она была не способом формирования русского централизованного государства; она была великим реставрационным зачином воссоздания ордынского ордунга в моей и А.А. Зимина стране. В ходе этой реставрации сформировалось не централизованное русское государство, а безотказно-безответственная технология по эксплуатации населения и природы нашей страны. Никакого иного смысла опричнина не имела. Новгород, Андрей Старицкий и даже церковь – это «мелочевка». Их можно было задушить с помощью технологий дедушки – Ивана III. Здесь игра шла по самому высокому счету. На кон была поставлена, говоря выпренок, судьба России. И, к чести России, она сказала И.В. Грозному: «Нет!»

Смута, которую проклинали все мыслящие русские люди, стала великим опытом противостояния реставрации ордынско-грозненского ига на Руси. Смута – это подвиг русских в борьбе за свое христианское, арийское бытие. Арийское только в одном смысле: мы – европейцы. Мы не между Европой и Азией, Европой и Евразией. Мы – европейский народ. Как это связано со Смутой? Да прямо. Если мы сами способны были только на ордынскую власть, – пусть придут европейцы, шведы и поляки. Смута – это по негативу наш европейский выбор. Именно поэтому она так ненавидима адептами «централизованного государства».

Но А.А. Зимин этого не мог знать. У него не было этого, повторю, экзистенциального опыта, содержание которого в следующем. Русские в очередной раз (по крупному – во второй) победили европейцев. И что же? Русский ум, русская энтелехия поняли это, как всегда, по-своему. Мы одолели «немца», который со времен Петра правил нами 300 лет. Так значит мы не хуже немцев. И после этого начал разлагаться советский панмонголизм и формироваться русский европеизм.

Итак, Иван Грозный полностью уничтожил то, что сделал его дедушка. Вернее, то, что приписывается его дедушке. Собственно говоря, между дедом и внуком такое же историческое соотношение, как между Лениным и Сталиным. Это неожиданное даже для меня самого сравнение не столь необязательно, как это может показаться на первый взгляд. Я усилию: Иван Грозный – настоящий генсек в «правительстве» предсовнаркома Ивана III. То, что у дедушки было интенцией, у внука стало главным. Как говорил ленинградский поэт Бродский – «рзать». А ленинградский кэзэбэшник Путин – «мочить».

Чтобы понять опричнину Грозного, А.А. Зимину надо было понять опричнину Сталина. Но и мы не поймем того режима, который складывается сегодня, если повторим опыт великого советского историка А.А. Зимины. И знание этого опыта говорит нам только одно: хотите понять современную Россию, вспомните сталинизм, петроградизм (выражение Герцена) и грозненский орднунг.

Загадка СССР

А теперь обратимся к «советскому», к природе «советизма» (этот разговор мы ведем уже в третьем выпуске «Трудов...»).

Как же стал возможен советский коммунизм? Неужели это результат (или следствие) русской истории? Ничего похожего в прошлом не было. Смута начала XVII в.? Ну, какие-то черты одинакости просматриваются. Однако не более того. Так, может, это реакция на вхождение России в современный мир? Если это так, почему же в такой страшной форме?

Предреволюционная Россия была вполне успешной. Росло благосостояние народа, эффективно развивалась экономика, преодолевался аграрный кризис, демократизировалась политическая система, культура и наука переживали расцвет. Война? На фронте ничего выходящего за рамки войны не произошло. И дело шло к победе, и количество жертв было сопоставимо с потерями главных участников всемирной бойни. Разумеется, имелась масса проблем, все они требовали решения. Но ничего, ничего фатального, predeterminedного не было и в помине. Однако грохнуло.

Через семьдесят четыре года также внезапно коммунизм-советизм развалился. «Мое основное наблюдение сводилось к тому, что Советский

Союз был отменен из-за отсутствия интереса к его существованию. И никто не хотел выступить в его защиту», – говорил Джеймс Коллинз (в 1991 г. – первый зам. посла США Джека Мэтлока, в 1997–2001 гг. посол США в России)¹.

«Таинственное» появление, «таинственное» исчезновение. Между ними – нигде никогда небывалый строй. Который оценивается в диапазоне: суицид русского народа – величайший в истории подъем России.

В начале 80-х годов Эдгар Морен писал: «СССР – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (так у автора. – Ю.П.) и главный вопрос для современного Человечества» (6, с. 15). Наверное, в этих словах содержится определенное преувеличение, но то, что СССР один из самых больших экспериментов и вопросов – точно. Во всяком случае, для русской науки нет вопроса важнее. Скажу больше: настоящее и будущее (обозримое) России зависит от того, как мы ответим на все эти вопрошания.

Но неужели ответы еще не найдены? Ведь советскому коммунизму посвящены тома и тома работ. Скоро уж столетие Октября, а это означает, что ровно столько же этот феномен анализируется. Чего же нам неизвестно? – Да всё. И только с этой позиции исследователь должен начинать. Конечно, изучить тонны ранее написанных трудов. И после этого – с чистого листа.

Вот, скажем, тема: революция. То, с чего все началось. Казалось бы, Великая французская задала норму. Отныне и навсегда все революции меряются по ее стандарту. А этого решительно делать нельзя. Там революция поднялась ради частной собственности для всех, а у нас ради отмены частной собственности для всех. Там революция вдохновлялась идеями мыслителей Просвещения, mainstream-ом интеллектуальной культуры, у нас – большевистско-марксистским «дайджестом», который никогда не входил в русский мейнстрим, был периферийным продуктом. Между Наполеоном и Сталиным тоже ничего общего... Там революция позволила утвердиться новому порядку, формировавшемуся в недрах старого. У нас революция раздавила этот новый порядок и ревитализировала многое из того, что вроде бы уже уходило.

Маркс назвал революции локомотивами истории. Для Европы это, может быть, и верно. Они тащили это самое новое в настоящее и будущее. А вот для нас и нашей революции звучит двусмысленно. Ведь если и она локомотив истории, то, побивая современное, новое, она влетала в прошлое, традицию и беспощадно давила их своими колесами. Этот «локомотив» лишал нас не только настоящего, но и прошлого. Лишь наивные простаки полагали, что он мчит нас в будущее. – Мы-то оказывались у

¹ Коллинз Дж. «Мы обменивались информацией с Ельциным, но не помню, чтобы предлагали укрыть его в американском посольстве» / Интервью: Совершенно секретно. – 2011. – Август, № 8/267.

разбитого корыта... И эта футуристическая мания («будущее!», «все для будущего!», в «будущем будем жить счастливо!») была, конечно, платой за разбитые прошлое и настоящее. Большевики как будто убежали от ими же устроенных развалин. Поэтому они и кричали: «догнать», «перегнать». Гонщики!..

И вдруг, другими словами мы уже говорили это, гонка оборвалась. Исчез СССР, как и родился, тоже совершенно по-своему. Поэтому наряду с «революцией» тема россиеведения – «почему погиб советский режим». Попробуем сказать об этом. Итак...

Почему погиб советский режим (краткий эссе-памфлет)

Почему погиб советский режим? – Он не мог нормально существовать в условиях спокойствия. Советская система была создана (сконструирована) для функционирования в чрезвычайных условиях: для того, чтобы обрушивать террор, вести тотальные войны, постоянно взнуздывать население (через беспощадные мобилизации). Но никакой социальный порядок в истории человечества долго этого выдержать не может. Устает.

Металлические конструкции нередко рушатся внезапно, без, казалось бы, видимых на то причин. Специалисты говорят: усталость металла. Ее, насколько мне известно, практически невозможно вовремя диагностировать. Это же произошло с советской системой. В Маяковский мечтал: «Гвозди бы делать из этих людей». – Сделали. Но гвозди устали. Сломались.

Советская система представляется мне прямой противоположностью городу Венеции. Венеция стоит на лиственничных сваях, которые со временем не гниют, а, наоборот, приобретают устойчивость, сравнимую с камнем. Здесь же металл устал – постройка рухнула. Но режим был далеко не так «глуп», как полагали многие, в том числе и автор этой работы. Даже в период расслабления, когда вроде бы его руководство отбросило курс на безжалостное достижение непонятного и неведомого коммунизма и погрузилось в банно-охотничью *dolce vita*, он вдруг пускался на совершенно авантюрные, безумные действия. Но это лишь казалось, что они таковы. Ярчайший пример – афганская война. Или сверхзатратная поддержка уголовного режима братьев Кастро. Или африканские затеи. И т.д.

На самом деле система пыталась взбодрить себя, вновь окунуться в атмосферу «и вечный бой, покой нам только снится». Это как ушедший на «пенсию» спортсмен пытается вернуть себе былую форму. С одной стороны, мы знаем, что спортсмен, прекративший тренировки, снизивший нагрузки на организм, особенно уязвим для всякого рода болезней. С другой – если он переусердствует, исход может быть гибельным.

Видимо, что-то подобное происходило и с нашим режимом. Это доказывает: социальные порядки подобного типа не реформируемы – они против природы человека.

Между прочим, и предшественники советской системы (опричнина грозненская и петровско-крепостническая) проделали тот же путь. Правда, грозненская рухнула сразу же после кончины ее творца. И в России началась война всех против всех. Она стала возможной не только как естественная реакция различных общественных групп на ужас опричного строя, но еще и потому, что сами эти группы были еще недостаточно закрепощены, не «научились» еще безмолвствовать.

А вот после смерти Петра смута не началась. Всё уже было под замком (это Герцен говорил, что предшественники Петра, особенно папа его, заковывали народ в кандалы. А замкнул их замком немецкой работы Петр Алексеевич). Бунтовала только гвардия (а не всё дворянство – оно тоже большей частью своей было превращено в рабское сословие). То есть право на бунт оставили у совершенно незначительной части населения. И это было единственным из прав человека в тогдашней России.

С советской системой оказалось сложнее. Сами ее начальники начали постепенный демонтаж. Главным (основным) проявлением этой политики стало относительное раскрепощение населения. Тем самым они отсрочили обвальное падение системы и одновременно заложили мину в ее фундамент. Смута все-таки пришла. Но уставшие за 70 лет люди в основном занялись не взаимным убийством, а приватизацией.

Кстати, эта приватизация была **подлинной**, т.е. не той, которую связывают с министром Чубайсом. Эта приватизация стала всеобщей: в ней участвовало все население. То есть она имела характер общенародный – и не случайно. Идеологи советской системы настаивали на общенародном характере своей системы. И в этом смысле народ имел полное право, когда она рухнула, взять себе все. В таком контексте приватизация по Чубайсу выглядит как контрприватизация, как узурпация общенародного кучкой проходимцев. В этом главное содержание смуты конца XX – начала XXI в. И хотя по видимости победили чубайсы, на самом деле и народная приватизация достигла громадных успехов.

Обратим внимание: мы ничего не сказали о событиях революции, Гражданской войны и первых лет становления системы. А ведь по видимости они схожи с постгрозненской и постсоветской смутами. Но именно по видимости, а не по сути. Октябрь и последовавший за ним исторический период – это не реакция на гибель, разложение насильнической системы. Напротив, это реакция на появление в России открытого общества. Это отказ от замаячившей свободы. Солидарный протест тех социальных групп и тех модальных типов личности, для которых свобода – что-то типа морской болезни. И они предпочитают сжечь корабли, чтобы не иску-

шать судьбу. К сожалению, тогда такие группы и личности составляли большинство.

Конечно, советская система намного сложнее, чем грозненская и петровская. Поэтому и история ее тоже богаче. Материальной метафорой этой системы являются тракторные заводы. Они хоть и строились как тракторные, но подлинной целью было создание танков. Объявлялось: в сельском хозяйстве переход к социализму будет осуществлен (помимо прочего) посредством его (сельского хозяйства) коренной технической модернизации. В реальности же готовились к войне. Поэтому и для настоящих нужд сельского хозяйства создавались тракторы, так сказать, с танковой основой. То есть неэффективные, малопригодные для сельского хозяйства. С помощью этих танков-тракторов режим вел постоянную битву за урожай. Благодаря такой политике система, хоть и с трудом, выиграла войну, но проиграла битву за урожай.

Особенность советской системы также и в следующем: в 1956 г. ее руководство решилось на самоубийственный шаг. Оно провело свой Нюрнбергский процесс. Я настаиваю на том, что XX съезд был СОВЕТСКИМ Нюрнбергом. И потому никакого другого Нюрнберга в России уже не будет. При всей внешней (с нынешней точки зрения) скромности и робкости саморазоблачения это было именно саморазоблачение. Замечу в скобках, что это одно из самых морально достойных событий в русской истории за все ее тысячелетие. Даже, вероятно, притом, что оно стало возможным в результате острой внутривластной борьбы. То есть такая цель – саморазоблачение – не ставилась. Но после этого Нюрнберга система была обречена. Начался процесс эмансипации.

И потому в Смуте конца XX – начала XXI в. наряду с прогрессивной общенародной приватизацией началось контрэмансипационное реакционное движение. Парадокс истории заключался в том, что его вождем стал человек, добивший советскую системы, – Б. Ельцин. Кому русские поставили памятник как человеку, прекратившему Смуту начала XVII в.? – Козьме Минину. Кого сегодняшняя власть начинает облекать в памятки? – Бориса Ельцина. Козьма Минин спас русскую систему в момент ее становления. Борис Ельцин – в минуту ее, казалось бы, умирания. Это он отдал то, что принадлежало всему народу, на разграбление кучке бандитов. При этом нанес удар и по традиционалистско-советским силам, которые в своей наивности и невежестве надеялись на реставрацию советизма. Он освободил историческую сцену России от массовки, претендовавшей на свою долю в переделе. И от непрогнозируемых экстремистов старого и нового образца. И совершенно не случайно, что он передал власть единственной пока еще в русской истории не разлагавшейся (не в моральном, а в социально-организационном смысле) корпорации спецслужбистов.

Парадоксальным образом Б. Ельцин является одновременно и героем русской свободы, и героем русской несвободы.

Далее: о спецслужбе и наиболее употребительном в русском языке наряду с «правдой» слове «коррупция».

О роли коррупции и КГБ в новейшей русской истории

У Алена Безансона есть сборник статей «Советское настоящее и русское прошлое» (1). Все тексты написаны до перестройки. По-русски эта книга вышла в 1998 г. И казалось, что ее содержание имеет, так сказать, ретроспективное значение... Прошло тринадцать лет, и совершенно очевидно, что анализ Безансона по-прежнему актуален. Правда, при одном условии: необходимо поменять угол зрения. Сегодня это выглядит так – «Русское настоящее и советское прошлое». Иначе говоря: в каком соотношении находятся ушедшее советское и наступившее русское? И действительно ли советское кануло в Лету? Или современное русское есть инобытие советского?

Итак, в начале 70-х годов Безансон писал: «...Токвиль отметил, что революция завершила государственную эволюцию старого режима. В префекте он видел очевидного наследника интенданта. Но вряд ли он мог обнаружить прямую связь между интендантом и Карьером, который топил подвластных ему граждан, или Фуше, который их расстреливал. Для того чтобы связь не прервалась, необходим отказ от утопических целей. Только реставрация (наполеоновская или монархическая) позволяет восстановить историческую преемственность, включить в нее революцию. Однако до сих пор ни одна большевистская революция не закончилась реставрацией» (1, с. 76). «Ни одна» – значит не только русская, но и, к примеру, китайская и другие. Не будем обсуждать тему «не только русская», напротив, сосредоточимся на самих себе.

Французский исследователь прав: в рамках советского коммунизма реставрации не произошло. В отличие от хода событий на его родине и в Англии, где историческая преемственность была восстановлена. А что же у нас? Безансон (мы не входим сейчас в разбор его концепции; важны выводы) отвечает: «...Советское государство... превращается в революцию абсолютную» (там же, с. 75). Вместе с тем оно «карикатурно имитирует исторические формы русского деспотизма» (там же)¹. Да, большевистская революция была абсолютной. И в смысле того, что полностью, «до основания» разрушила дооктябрьскую русскую эссенцию (прежде всего осно-

¹ Этот имитационный характер позднесталинского режима неплохо зафиксирован в строчках Георгия Иванова: «...Двухсотмиллионная Россия, – / “Рай пролетарского труда”, / Благоухает борода / У патриарха Алексея. / Погоны светятся, как встарь, / На каждом красном командире, / И на кремлевском троне “царь” / В коммунистическом мундире» (3).

вы христианской культуры, традиционные социальные группы, находившееся на несомненном подъеме гражданское общество), и в смысле того, что никак не могла закончиться, остановиться (правда, в хрущевскую «оттепель» и брежневский «застой» она потеряла свою зверскую интенсивность, перешла в более щадящую человека фазу). Что касается имитации, то это хоть и близкая, но все же иная тема. Оставим ее для последующего рассмотрения.

Однако реставрация произошла... На наших глазах. Антикоммунистическая и антисоветская революция конца 80-х – начала 90-х годов «диссоциировалась» в реставрационном режиме Владимира Путина. При этом это восстановление коснулось всех сфер жизнедеятельности общества: властной, хозяйственной, гражданской, интеллектуальной, символической и т.д. Подчеркнем: речь не идет о тотальном возвращении, скажем, в 70-е годы. Такого никогда ни у кого не было. И у нас. Имеется в виду следующее: советская субстанция, советское *per se* сумело не просто сохраниться и вновь развернуться. Случилось как раз то, о чем говорил Токвиль: «...Революция завершила... эволюцию старого режима». Таким образом, ленинско-сталинская революция была полным сломом *ancien régime*, а горбачевско-ельцинская завершила эволюцию советизма.

Этот вывод для меня очевиден (да об этом пишет всяк кому не лень...). Но его необходимо не то чтобы доказать – объяснить. Почему, к примеру, русская революция не прошла фазу реставрации? Почему хрущевско-брежневская система, разрушенная было Горбачевым–Ельциным, ренессансировалась в путинскую эпоху? А ведь это ключевой вопрос не только научного познания, но и политики. Одно дело, когда мы констатируем очередную неудачу России на путях к свободе, другое, когда описываем «удачу» в восстановлении эссенциально-советского. При этом сама революция конца XX в. понимается как необходимое действие для перехода в новое, более современное и боевое состояние и становится воплощением того, против чего она вроде и была направлена... И почему, когда ушло коммунистическое (которое совершенно не равно советскому; мы поговорим еще об этом), не вернулось русское? И в каком соотношении находятся русское и советское?

Впрочем, давайте не торопиться. Начнем не то чтобы издавека, но не с главного. И пусть Алан Безансон по-прежнему остается нашим чичероне в странствиях вокруг советского. Когда-то в середине 70-х он написал работу, которая широко известна в России, весьма часто цитируется (в том числе и мною). Правда, только теперь становится понятна феноменальная глубина этого текста. Он называется: «Похвальное слово коррупции в Советском Союзе» (см.: 1, с. 177–200). Примечательно, что это – предисловие к французскому изданию книги И. Земцова «Коррупция в Советском Союзе». Илья Земцов был зав. Отделом информации ЦК КП

Азербайджана, профессором научного коммунизма в одном из вузов Баку, социологом, связанным с КГБ (по собственному признанию). В конце 1973 г. он эмигрировал в Израиль. Впоследствии написал несколько книг о советской политике и советских вождях. Его очень ценят в современной России. Живет он в США, в 2011 г. избран иностранным членом РАН. То есть его признали те, которых он разоблачал, которыми он возмущался...

В общем перед нами безансоновский аналитический комментарий к земцовской фактуре (богатой, важной, интересной): «Коррупция есть болезнь коммунизма, и потому в рамках противопоставления между “ними” и “нами”, между партией и обществом коррупция для последнего есть признак здоровья. Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. В ней проявляется возрождение частной жизни, ибо сама фигура есть победа личности, индивидуальности. Отношения между людьми вместо того, чтобы выливаться в искусственные формы идеологии, возвращаются на твердую почву реальности: личной выгоды, спора о том, что положено мне, что – тебе, сделки, заключаемой в результате соглашения между сторонами, пользующимися определенной автономией. Фальшивые ценности, существующие лишь на словах, и чье принудительное хождение обязано лишь непрочной магии идеологии, быстро оказывается погруженным в “ледяную воду” эгоистического расцвета... Это возрождение общества, идущее окольным путем коррупции, может быть охарактеризовано в терминах экономики как возрождение рынка» (1, с. 186–187).

Конечно, этот гимн коррупции как возрождению общества по крайней мере странен. Ведь мы знаем: это болезнь общества. Кстати, Безансон этого не отрицает. Но болезнь коммунизма, настаивает он, есть, пусть и идущее «окольным путем», выздоровление общества. Что же, не будем (пока) оспаривать эту «негативную диалектику». Тем более сам автор мгновенно снижает пафос гимна «животворящей» коррупции: «Однако это возрождение принимает столь разнузданные формы, что у нас возникает искушение позаимствовать у Маркса не только его громоподобные нападки на подобную систему, но даже его методы анализа. То, что процветает в Азербайджане (как мы знаем, и во всем СССР. – Ю.П.) под застывшей коркой социализма, – разве это не капитализм эпохи молодого Маркса, «дикий» капитализм? Ни во времена Гизо, ни Пальмерстона рыночная экономика не охватывала такого количества различных секторов, которые даже в годы наивысшего разгула свободной конкуренции и свободы торговли в XIX в. находились в ведении публичного права, под надзором государства, и развитие которых определялось соображениями общественной пользы. Система государственных учреждений (в СССР. – Ю.П.), призванных удовлетворять потребности всего общества, стала

пленницей озверелого взяточничества и практики купли-продажи должностей» (1, с. 188).

Далее А. Безансон говорит, что все это напоминает начальный процесс формирования капитализма – марксистское «первоначальное накопление». «В самом деле, ученый автор «Капитала» не преминул бы подметить докапиталистический и даже «феодальный» характер советской экономики. Разумеется, существует также и целая система хитроумного бухгалтерского учета, «проведения» денег по другой статье, фиктивных счетов и накладных, которая, как иногда может показаться, сближает эти операции с «современными методами» уклонения от уплаты крупных налогов и подпольным бизнесом американской мафии. Однако в советской системе доминируют архаические черты, и главная из них – это то, что Маркс назвал «феодальными поборами». Действительно, согласно марксистской доктрине, капитал должен возникать по перераспределению в результате «свободной игры» факторов рынка, а не за счет изъятий в процессе внеэкономического принуждения. Однако азербайджанский (т.е. советский. – Ю.П.) капитализм существует за счет собственного паразита – партии, которая взимает с него феодальную дань на всех уровнях» (там же).

И потому, подчеркивает французский исследователь, «торговцы (или, если угодно, спекулянты) не смогут оформиться в самостоятельный класс. Партия бдительно следит за тем, чтобы их деятельность оставалась противозаконной, и пользуется ее противозаконным характером, чтобы безжалостно грабить их же спекулянтов... Более того, для партии было бы весьма заманчиво взять эту подпольную экономику под свое начало. Однако по мере того, как она проникает в глубь этого рынка, рынок проникает в нее. Партийная иерархия, вместо того чтобы подчиняться своим собственным принципам, начинает подчиняться законам, управляющим системой купли-продажи должностей. Теперь уже не только технические должности (ректор университета, председатель колхоза) или должности, связанные с аппаратом власти (в системе судопроизводства и в милиции), оказываются включенными в эту систему – рыночную стоимость приобретают внутренние посты в самой партии (секретарь обкома, райкома и т.д.). Нравы внутри партии заражаются стилем экономического «подполья» и в результате смягчаются и цивилизуются. Между партийными товарищами устанавливается нечто вроде солидарности и неписанные корпоративные законы преступного мира, подобные тем, которые управляют поведением американских «мафиози»... Возникает острая политическая проблема.

Действительно, партия не может раствориться в формирующемся классе частных предпринимателей без того, чтобы изменить свою природу и исчезнуть. Она это прекрасно понимает, и потому замешанные в коррупции работники ее аппарата... тщательно скрывают свои богатства...

с удвоенным рвением демонстрируют свою лицемерную приверженность идеологии. Они не чувствуют себя в безопасности и они правы, ибо они ставят под угрозу власть, безопасность всей партии...» (1, с. 189).

Кстати говоря, коммунисты столкнулись в 70-е – начале 80-х годов с подобной ситуацией не впервые. Так уже было, по мнению Безансона, в 1929 г. (после нэпа) и в 1945 г. (после великой освободительной победы народа). И «партия... сумела найти средства для нанесения ответного удара» (там же, с. 192). То есть была «восстановлена непреодолимая пропасть между партией и обществом, реставрирована идеология в качестве абсолютной нормы... Чтобы проделать это, потребовалось провести радикальную чистку в партии. И поставить общество на отведенное ему место, систематически уничтожая те структуры, в которое оно оформлялось, и разрушая недозволенные узы солидарности. Это оказалось возможным лишь ценой огромных опустошений» (там же).

Собственно говоря, в этом и есть суть той системы, которую создал Сталин и которую в предыдущем выпуске «Трудов по россиеведению» я назвал Коммунистическим режимом–1 (КР–1). Но «после смерти Сталина обществу были сделаны определенные уступки, и оно бурно восстанавливается под прикрытием длительного нэпа, хотя и в патологических формах. Оно окружает партию со всех сторон, заставляет ее понемногу войти в свою сферу и начинает поглощать ее и переваривать» (там же). А это, по моей классификации, – Коммунистический режим–2 (КР–2).

А. Безансон усиливает: «Теперь можно себе представить, перед лицом какой угрозы оказывается сама суть партии, если она начинает углубляться в общество, если она вступает с ним в контакт на равных, на уровне общих интересов. Однако именно это она и делает, участвуя, будь то в качестве вымогателя или надсмотрщика, в жизни экономического общества, которое создано не ею, которое выросло за ее спиной, естественно и органично, помимо ее контроля» (там же, с. 191–192). Несколько забегаю вперед, хочу напомнить мою гипотезу о земско-опричном устройстве русского социума. Классический вариант этой диспозиции – взаимоотношения Орды (опричнины) и Руси (земщины). Здесь все построено на дистанционном принципе: нельзя сближаться, причем в прямом, физическом смысле. Иначе опричнина начинает терять свои главные качества. Вот это-то и имеет в виду Безансон, но, разумеется, на языке и в рамках своей концепции...

Что же делать? Что делать коммунистам в такой ситуации? По А. Безансону, вроде бы два пути. Первый – новое издание сталинщины, возвращение в КР–1; второй – пусть все идет своим чередом, и постепенно в России возродится более или менее приличный, нормальный, «как везде и всегда», порядок. То есть страна со временем (не скоро) вылечится от худших язв коммунизма.

Однако советские лидеры выбрали третий путь. «Земцов позволяет нам проследить за политической линией, которой партия следует в действительности, на примере подробно описываемой им карьеры Алиева (Гейдар Алиевич Алиев, председатель КГБ Азербайджана, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана, первый зампред Совмина СССР; впоследствии президент Республики Азербайджан. — Ю.П.). Его взлет, начавшийся в 1969 г., до сих пор не исчерпал всех скрытых в нем возможностей (напомним: этот текст писался в 1976 г. — Ю.П.). На последнем съезде КПСС в 1976 г. Алиев поднялся еще на одну ступень партийной иерархии. Эксперимент был местного значения, но накопленный опыт годится не только для Азербайджана. Это старый метод российской администрации, существовавший еще в царское время... затем перенятый большевиками: проводить испытания какой-либо новой политики в локальном масштабе, перед тем как распространить ее на всю Империю. Таким образом, карьера Алиева знаменует собой начало того, что автор называет “бесшумной революцией”, уже осуществленной во многих местах на периферии, хотя она еще не одержала победу в центре. Как ее описать? Она стремится избежать как опасностей жесткого курса, так и опасностей линии попустительства, невмешательства в ход событий, и исходит из чисто прагматических соображений. Сторонники этой линии констатируют, что в партии царит коррупция, и хотят ей положить конец. Для этого нужно найти в партии внутренние резервы, “людей с чистыми руками”, элиту неподкупных, способных восстановить порядок и утвердить law and order. Этот лозунг американской демократии напрашивается сам собой, но в советском случае неподкупных требуется отыскать внутри самой мафии» (1, с. 197).

А. Безансон вопрошает: «Где же взять этих “железных рыцарей с чистыми руками”?» (там же). И ответ молниеносно приходит сам собой: «Конечно же, это наши славные чекисты. В КГБ существуют, и в достаточно большом количестве, прекрасные экземпляры “нового человека”, которого партия сумела создать за шестьдесят лет. Строгий отбор, незаурядный корпоративный дух, безупречное коммунистическое воспитание, полученное в специальных школах, наконец (и прежде всего) материально обеспеченная, интеллектуально интересная и морально престижная карьера, — все это делает КГБ подходящей для этой цели организацией, состоящей не только из преданных коммунизму людей, но еще и способных его любить» (там же, с. 197–198).

Ну, на счет «любить», конечно, преувеличение. Теперь мы это знаем. Но главное не в этом. Добились ли они, «наши славные чекисты», успеха? Нет, им не удалось спасти СССР и коммунистический режим. Однако они сумели спасти «советское», «советизм» (об этом еще поговорим). То есть алиевщина, а в рамках всей страны это явление, видимо, правиль-

но было бы назвать андроповщиной, была инструментом, с помощью которого коммунисты попробовали сохранить и обновить свою систему. Оказалось же: у Истории на чекистов свои планы.

Кстати, а что за программа была у Г.А. Алиева (Ю.В. Андропова)? Весьма простая, говорит А. Безансон: «Доверить максимальное число постов работникам КГБ, провести чистку наиболее скомпрометировавших себя сотрудников аппарата, а остальных пропустить через курсы повышения квалификации в школах того же КГБ» (1, с. 198). Безусловно, все это было обречено на неудачу. Нельзя опрличнине сближаться с земщиной. Дистанция и еще раз дистанция! И «рыцари с чистыми руками» оставались справными опрличниками, «покуда пребывали в асептической и находящейся под неустанным надзором среде государственной полиции. Подвергнувшись вредоносным испарениям жизни общества, они не замедлили сами включиться в механизм коррупции» (там же). К тому же в их среде начали устанавливаться «компромиссные» отношения, вытеснявшие привычные: «человек человеку волк», «если враг не сдается...»; в общем нормальный ленинско-сталинский комплекс взаимного человеконенавистничества, основанный на единственно верном учении и его «этике», постепенно размягчался, дряхлел.

«Но поражения от победы ты сам не должен отличать». Вскорости окажется, что чекистская неудача на самом деле есть захват плацдарма для скорой победоносной операции. Так сказать, социального блицкрига.

Однако оставим пока Алена Безансона, оставим с громадной благодарностью, ведь он немало и славно потрудился для того, чтобы мы с вами лучше понимали самих себя (при этом попутно: далеко не все у этого блистательного исследователя равноценно, не все его подходы и выводы приемлемы). Обратимся к отечественному специалисту (кстати, он с большим уважением относится к А. Безансону и в значительной степени продолжает и развивает его) – Льву Михайловичу Тимофееву. В 2000 г. в издательстве РГГУ был издан сборник его работ «Институциональная коррупция: Очерки теории» (11). И тогда эта книга, безусловно, привлекла к себе внимание. Но сегодня, спустя десятилетие, с «сюрреалистической» очевидностью ясно, какой мощной объяснительной силой обладают его идеи. И особенно в контексте концепции А. Безансона, созданной чуть ранее теоретического прорыва Л. Тимофеева. Однако в историю науки они, наверное, пойдут дуэтом: Безансон–Тимофеев.

В статье «Зачем приходил Горбачев» (11, с. 223–235) Лев Михайлович пишет: «Не экономические проблемы тревожили коммунистов, но их политическая подоплека. В этом смысле партийная стратегия не изменилась со сталинских времен. Сталин в своих речах и выступлениях никогда не говорил об экономике, но о власти над экономикой. И в начале восьмидесятых его партийные наследники озаботились не кризисом экономики,

но КРИЗИСОМ ВЛАСТИ: за явлениями нараставшего экономического спада коммунисты – после шестидесяти пяти лет безраздельного правления в России – явно различили мощную и все нарастающую оппозицию своему режиму» (11, с. 223).

Говоря об «оппозиции», Л. Тимофеев, конечно, имеет в виду и явный подъем коррупционного комплекса, и широкое распространение инакомыслия (пусть, и в пассивной форме, т.е. не в противостоянии), и практически общее неверие и недоверие коммунистической системе, и т.п. Началась перестройка, обернувшаяся «катастрофкой» (выражение А.А. Зиновьева) советского коммунизма. И вот на рубеже веков автор подводит итоги ельцинским 90-м. «...Вспомним, реформы Горбачева начались ради сохранения власти над человеком, над работником. И власть сохранили. В политике, в экономике распоряжаются те же люди и те же структуры. Но теперь в их руках не столько вожжи политической или административной власти над личностью работника, сколько кнут власти экономической – через монопольно контролируемую систему банков, бирж, ключевых отраслей крупной промышленности. Вполне определилась власть крупного капитала над мелким, экономическая власть крупного капитала над собственником рабочей силы – человеком, работником.

Конфликт между властью и обществом обрел черты хоть и новые для России, но в общем-то традиционные для рыночной экономики: если общество – как потребитель – заинтересовано в свободной игре конкурирующих производителей, то монопольный владелец крупного капитала заинтересован в полном контроле над экономикой. Потребитель заинтересован в изобилии товаров и услуг, в стихийном развитии производства под напором общественного спроса..., но тому, кто монопольно владеет крупным капиталом, вовсе не нужна неуправляемая экономическая стихия, ему нужно как можно более строго упорядоченное, плотно контролируемое производство и распределение. Конфликт этот имеет отражение и в политических категориях – как конфликт между демократией и авторитарным или даже тоталитарным режимом.

В обществах западного типа обострению подобных конфликтов препятствует мощный, гибкий, замечательно жизнеспособный “средний класс”. Этот слой общества – с его неиссякаемыми предпринимательскими амбициями – истинный мотор рыночной конкуренции и основа политической демократии. В сегодняшней России “среднего класса” нет. Планомерно и целенаправленно его уничтожают всюду, где он мог бы появиться: в виде ли крупного фермерства или в лице новых предпринимателей в промышленности, строительстве, торговле. Для убийства все средства оказываются хороши: и бандитская налоговая политика правительства, и круговая порука взяточников-чиновников, и социальная демагогия радетелей о судьбах народа» (там же, с. 233).

Прокомментируем сказанное Л. Тимофеевым. Да, антикоммунистическая номенклатурная революция победила. И бывшие функционеры-бессобственники («пролетарии») захватили «общенародное» имущество СССР в собственность (на разграбление, на самом деле). Еще в 90-е Г.А. Явлинский поставил точный диагноз: «Ключевой вопрос 1992 года заключался в том, какой путь избрать: освободить старые советские монополии или освободить общество от старых советских монополий? Надо ли полностью освободить коммунистическую номенклатуру от всякого контроля, сказать директорам-коммунистам и коммунистической номенклатуре: вы свободны, делайте, что хотите?» (цит. по: 13, с. 82).

Теперь о «среднем классе». Сколько ожиданий, надежд, стенаний! И ничего. Не получилось. А ведь, как мы знаем, вернее, еще много лет назад узнали от таких людей, как Ральф Дарендорф (всемирно известный британско-германский социолог второй половины XX в.), средний класс есть основа «социальной плазмы». В свое время Р. Дарендорф, создавая теорию социального конфликта (во многом дискутируя с марксизмом), утверждал, что внимание следует концентрировать не на причинах, а на формах конфликта. Ни в коем случае вообще нельзя посягать на причины конфликтов, так как они суть одна из форм существования общества. Конфликты должны сохраняться. Но поскольку они все же опасны для стабильности и устойчивости общества, их необходимо поместить в некую среду, которая не поглотит их окончательно, но минимизирует разрушительную силу. Конфликты локализуются и перестанут носить интенсивный характер. – Основной элемент этой среды, или «социальной плазмы», и есть, напомним, обширный средний класс. Главные характеристики – сохранение определенного общественного неравенства, наличие различных интересов и воззрений. Важнейшие организационные принципы – институты и процедуры по регулированию конфликтов, внятные правила игры для всех.

А что же у нас?

В известном смысле, современная Россия столкнулась со схожими проблемами (т.е. **такими**, которые вызывают необходимость «социальной инженерии» дарендорфовского типа). Если коммунистический режим был ориентирован на уничтожение причин конфликта (хотя на последней стадии своей эволюции был вынужден смириться с фактом их неизбежности), то нынешний уже не может и не хочет бороться с конфликтами **как таковыми**. Он вынужден существовать в условиях острых общественных противоречий. И потому стремится их минимизировать.

Путинские новации первого десятилетия наступившего века (партия власти, властная вертикаль, сокращение полномочий субъектов Федерации, создание президентских округов, административная реформа, изменения в избирательном законодательстве и т.д.) и есть создание русской

плазмы, в которой конфликты будут протекать, но не разрушать общество. Только если на Западе эта плазма – социальная, то здесь – **властная**. «Властная плазма» есть принятие конфликта «в себя». Там: его внутреннее сгорание и одновременно – энергетическая подпитка.

При этом, если «социальная плазма» функционирует, как уже отмечалось, с помощью четких процедур и обязательных для всех правил игры, то «властная плазма» строится на основе коррупции. Именно коррупционный механизм, механизм передела финансовых и материальных средств является важнейшим измерением «властной плазмы». В известном смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты – переделы. Коррупция – это среда, в которой развертывает себя в пространстве и времени «государство». По всей видимости, сегодня мы проживаем эпоху перманентной коррупции (она пришла на смену эпохе «перманентной революции»), которая не есть девиантность, но норма нашего бытования¹...

Однако вернемся к Л.М. Тимофееву. Послушаем его: «В России нет сегодня социальной основы для демократии. Намеренно и расчетливо ей не дают возникнуть. Ее подавляют как раз те силы – явные и тайные, – которые так ловко сумели расстаться с мертвой коммунистической доктриной, но сохранили право безраздельно распоряжаться всеми богатствами страны. Теперь они хотят не только контролировать экономику, но и в прежних объемах восстановить свой контроль над обществом. И, видимо, это им удастся. Они многому научились. Они дадут возможность мелким собственникам накормить страну. Они прекрасно понимают, что сегодня прямо и грубо отвергать интересы общества нельзя. Но хотя “человеческий фактор” по-прежнему нельзя изъять из политических расчетов, оказывается, сегодня им проще манипулировать.

Вновь зазвучало: “Отечество в опасности!” Но если прежде опасность была мнимой, то теперь она вполне реальна: развал прежнего Союза, конфликты межнациональные и межгосударственные создают угрозу и самой российской государственности... Экономический кризис грозит непредсказуемыми социальными столкновениями и беспорядками – это ли не реальная опасность для Отечества? Добавим, что национальная «русская идея», пребывающая прежде как бы в состоянии некоей политической дремы, теперь получает священную силу охранительного знаменья...

Все! Перестройка успешно завершилась. Цели, ради которых властные структуры начала восьмидесятых годов решились на реформы, теперь достигнуты: экономические и политические связи и структуры, возникшие и укрепившиеся в условиях черного рынка, все чаще узакониваются открыто. Искаженные отношения собственности выправляются в процессе приватизации... Какой же режим в ближайшем будущем установят в Рос-

¹ Норма нашего большого бытования.

сии... те силы, которые сохранили в своих руках основные структуры государственной власти, сохранили монополию распоряжаться экономикой и контроль над социальными процессами? Судите сами. Можно было бы сказать, что это будет фашизм или что-то похожее на фашизм... Но в истории рискованно давать названия, оперируя опытом прошлого. Если и фашизм, то «нашенский», российский, еще не виданный в истории человечества, еще не названный, – фашизм, выросший в процессе легализации всеобъемлющей системы черного рынка.

“Человеческий фактор” – это мы с вами. Мы и будем фашистами. Мы и будем до последнего дыхания противостоять фашизму, как некогда противостояли коммунистической доктрине. Каковы будут формы этого противостояния, покажет время» (11, с. 233–235).

Подведем итоги. – Когда-то А. Безансон открыл нам: коррупция хотя и болезнь, но через нее, пусть и окольным путем, идет выздоровление коммунистического общества. Продолжатель его дела Л. Тимофеев показал, что ныне коррупция гробит наш социум, нас с вами. К тому же она может завести страну в ловушку «русского фашизма».

И еще одно соображение. И при советском режиме, и при нынешнем, постсоветском, для их спасения призываются чекисты. Причем по тем же примерно соображениям. Именно они должны восстанавливать порядок, эффективность, справедливость, честность и чистоту, наконец. Поэтому мы с полным правом можем назвать их наиболее эффективным морально-хозяйствующим субъектом России конца XX – начала XXI столетия. И если коммунистический эксперимент в конечном счете оказался неудачным, то гебешно-фээсбешный проект – пока – реализовался на славу (нам и на страх врагам...).

...Решимся все-таки еще раз заговорить о «советском», его исторических корнях, содержании. Для этого совершим небольшой экскурс в европейскую и русскую историю. И сколь «экзотичным» он бы ни показался, не сомневаюсь в его значении для нашей темы.

О бюргерском и черносотенном

Раскол западной церкви произошел в начале великого перехода от традиционного общества к современному; более того, он был одним из важнейших (если не важнейшим) первых актов этого перехода. Далее раскол вылился в кровопролитную войну, а затем завершился компромиссом. «Север» и «Восток» Европы склонились к протестантизму, ушли в «раскол». «Юг» и «Запад» остались верны католической конфессии. Югу не нужна была Реформация, первоначальный импульс которой – возвращение к аутентичному первохристианству. У «южан» (латинян) было свое

возвращение – Ренессанс. Так, актуализируя прошлое, Европа двинулась вперед.

Протестантизм – это и есть изменение вперед, это – самоограничение ради самореализации, это психологизация, т.е. индивидуализация веры, поведения, это – индивидуализированная полисубъектность. Короче, это новый человек, порождающий новый мир. «Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредничестве для общения с Богом, он (Лютер. – Ю.П.) заложил основы европейской демократии, ибо тезис “Каждый сам себе священник” – это и есть демократия»¹. Каждый сам себе священник – это приватизация сакрального. Человек создает **свой потусторонний мир**.

В 1516 г. (чуть-чуть раньше Лютера) выступает Томас Мор (вот кому всегда были отданы моя любовь и восхищение) со своей «Утопией». Происходит переход из пространства в U. Toros (место без, вне пространства). Развязывается связность «места» и «порядка». Согласно К. Шмитту, эта связность и была основой феодализма, на ней он покоился (ср.: А. Токвиль «Старый порядок»). Происходит снятие сакрально-властной локальности (это и есть феодализм; Средние века), раскрепощение пространства и выход из него. Отныне социальная жизнь человека не связана с локальным пространством. Ему принадлежит весь мир. В нем пространство психологизировано, т.е. индивидуализировано. Индивид обретает возможность выбора в пространстве. **Человек создает свой посюсторонний мир.**

В эти годы Макиавелли (1513–1520 гг. – расцвет его творчества) движется в том же направлении, что Лютер и Мор. Но опыты флорентийца касаются не веры и пространства, а власти. В «Рассуждениях» он говорит: «Судьба всегда на той стороне, где лучшая армия». А «лучшая армия» у того нового типа власти, который возникал тогда в некоторых южных и западных частях Европы. Макиавелли дает ему название – «stato» (вот она триада раннего Нового времени: «sola fide», «Utopia», «stato»). Это – динамический компромисс борющихся «начал» (различных социальных сил) и одновременно деуниверсализация властного, его, так сказать, конкретизация. А также психологизация, т.е. индивидуализация власти.

Но эпоха Лютера–Мора–Макиавелли этим не исчерпывается (мы намеренно ничего не говорим о живописи, архитектуре, скульптуре: это увело бы нас далеко...). В 1510 г. в Нюрнберге созданы первые карманные часы со стальной пружиной (на мой взгляд, по силе социального и психологического воздействия это не менее значимо, чем Лютерово открытие). В 1522 г. завершено первое кругосветное путешествие (ср. с открытием Мора). В 1525 г. в битве при Павии испанцы разгромили французов

¹ Манн Т. Собр. соч. – М., 1961. – Т. 10. – С. 311.

(пленение Франциска I). Это была первая победа ручного огнестрельного оружия (фитильные мушкеты)¹ над холодным. Начинаясь новая эра – эффективных убийств, «лучших армий», современных государств (Макиавелли).

Вернемся к Лютеру. И отметим – нам это понадобится впоследствии, – что протестанты, отколовшись от Рима и его вселенской власти, нашли опору в местных властях, формирующихся «*stati*». Раскольники оказались в рамках союза трона и алтаря...

А что у нас на Руси о те же времена? Русский раскол произошел на самых последних, завершающих стадиях Великой самодержавно-крепостнической революции. Соответственно, он не мог повлиять на становление нового порядка (другое дело, что нанес смертельный удар по Московской Руси и «породил» Петра I). Правда, в Лютеровы примерно годы у нас тоже был раскол (хотя эти события никто так не квалифицирует). Речь идет о знаменитой пре между иосифлянами и нестяжателями. Конечно, он был иным, чем в конце XVII в. Однако в нем проглянули черты будущего. В иосифлянах нетрудно обнаружить прообраз никониан, а нестяжатели – это, безусловно, порыв к автономии личности, выявлению индивидуальности, выход из-под тотального контроля формирующейся Власти. Но раскол рубежа XV–XVI вв. закончился победой сторонников привластной церкви (как, впрочем, и раскол-2); к тому же настоящего раскола как результата этой дискуссии удалось избежать. Арбитром выступила власть. Победил тот, кого она поддержала.

И здесь явился Филофей. Если его идеи поставить в контекст тогдашней Европы, мы узнаем в нем анти-Лютера, анти-Мора и анти-Макиавелли. Перефразируем Т. Манна: когда Филофей сказал, что царь есть главный священник, тогда началось самодержавие. Москва последняя (другой не будет) хранительница истинной веры, а на Москве – царь. Рождается сакральный монособъектный мир. Москва – единственный в мире сакральный топос, все остальные земли «нечестивые». То есть и пространство сводится в сингуляр, в монотопос, монолокус. И Власть не предполагает никаких компромиссов соперничающих «начал», социальных сил. Она их искореняет.

Кстати, и у нас в начале XVI в. возникает своя триада: «Мнение есть падение» (Иосиф Волоцкий), «Москва – Третий Рим» (четвертому не быть), «Царь–Священник».

¹ Интересно: как быстро в те вроде бы небыстрые времена оружие распространялось по миру. Уже в 1552 г. при взятии Казани отличились стрельцы с фитильными пищальями и мастера минного дела (тоже *now how*) (последними командовал Иван Выродков – во фамильяла!; это когда въезжаешь из Латвии в Ленинградскую область, первая железнодорожная станция – «Пыталово»; так сказать, «Добро пожаловать!»). А через семь лет (1559) фитильные ружья стали производить в Японии...

Через некоторое время приходит Иоанн IV. В известном смысле — мечта Филофея. Таким должен был быть чаймый им царь-священник. Важна и фигура Ивана Пересветова. Его властно-социальный идеал Н.Н. Алексеев, выдающийся политический и правовой теоретик 20–50-х годов ушедшего века, называл «своеобразным московским фашизмом», «восточным фашизмом». Сам же Пересветов, как мы знаем, ориентировался на находящуюся тогда в расцвете и экспансии Османскую империю, ее порядки. Он хотел строить в России социальную народную монархию (Н.Н. Алексеев). Все это было прямо противоположно тому, что с легкой руки Макиавелли (и других, скажем, Бодена) делалось в Европе.

Повторим и усилим: в XVI в. Европа освобождает индивида от крепостной зависимости локусу («закрепощенное пространство», «закрепощенный пространство») и крепостной зависимости Вечности (через Римскую церковь). Отныне путь европейца — социальная темпоральность и завоевание нелокализованного мирового пространства. В России идет процесс освобождения власти из-под Земства и Традиции (народ-в-пространстве), т.е. становления Власти (Орды). Ключевую роль здесь играет опричнина. Итак, в Европе рождается Человек, здесь Власть. Эпоха Гуманизма и Кратизма. Там действует инквизиция, казнят «еретиков» — за веру. Идут кровавые религиозные войны — за веру. Здесь казнят «еретиков», отпавших от Самовластия. Там за желание быть Человеком (за религиозный выбор), здесь — не быть на сто процентов под Властью.

Важным этапом нашего созревания была Смута (мы уже говорили об этом, но — повторим...), которая обычно сводится к бессмысленно-беспощадному бунту, войне всех против всех и т.п. Но наряду с этим у Смуты была и своя «правда». Это ведь был бунт и против Самодержавия, и крепостного порядка, а также движение к ограничению власти и т.п. Однако это эмансипационное начало в конечном счете было задавлено. Дорога к установлению полного, завершенного крепостнического самодержавия оказалась открытой.

Церковный раскол, с определенной точки зрения, был продолжением этой тенденции. Русь как бы «очищалась» от тех, кто не вполне соглашался с установлением такого порядка. Старообрядцев, людей твердых, страстных, мужественных, столь же и узких, фанатичных, нередко экзальтированных, но не «стандартных», вышибли из русской истории на двести с лишним лет. Конечно, безо всяких натяжек мы найдем общее как в этике протестантизма, так и в этике старообрядчества. Не случайно запоздавший русский капитализм во многом вышел из старообрядческих общин и во многом был ими оплачен. Тем не менее двести лет в «резервациях», на обочине исторической жизни — не лучший вариант для рождения «человека открытого», человека современного.

Никониане, взяв верх в церкви, нашли полную опору в государстве, а затем и вовсе были этатизированы. Они же обладали монополией на истину. А «истина» в конце XVII в. уже предполагала «прогресс», «новое». Петр, будучи «следствием» результатов раскола, сделал то, что должны были – по европейской логике – русские протестанты–старообрядцы. Но победы они, мирское еще больше подпало бы под сакрально-бытовое. – А первому императору Русь была не нужна, он строил Россию–Империю, ее же и секуляризировал. А ту, московскую, посконную, черносотенную задвинул в рабство.

Мы еще забыли сказать про «Домострой», который во многом вылепил русского человека. Он его и дисциплинировал, и ограничил, и закабалил, и воспитал. Это было обуздание варвара и решительный шаг в деле превращения русского в раба. Это был апофеоз обязанностей, без каких-либо прав. И здесь прочитывается нечто протестантское, но превалирует все-таки esprit крепостническо-самодержавного порядка.

Что же получилось в Европе? Т. Манн полагал определяющим **бюргерскую культуру**. Культуру свободного городского человека. Кстати, великий писатель явился и ее глубочайшим критиком; ей он выставил счет за нацизм и многие другие германские уродства. Конечно, Европа больше и сложнее Германии, но в целом ситуация была схожей.

В России в XX в. историческим наследником и того, о чем мы уже сказали, и того, о чем будет сказано дальше, стала **черносотенная культура**. Подчеркну: одноименные радикально-погромные организации начала XX столетия лишь небольшой «раздел» этой культуры. Черносотенство есть социальный мейнстрим русского общества при переходе его из традиционалистско-сельского к современно-городскому. Это культура масс, рвущих со своим прошлым, чуждых идей и ценностей «Hochkultur» и духа модерности. Это социальный феномен, как бы застрявший (если смотреть с европейской точки зрения) между традиционализмом и современностью. Но это европейский взгляд. У нас это именно мейнстрим. Черносотенец принадлежит не деревне и не городу (советские деревни и советские города не деревни и не города ни в каком, в том числе и в русском, смысле). Советизм есть воплощенное черносотенство. Революция в России окончилась победой черносотенцев. Причем возобладал красный, а не белый вариант (впервые это различие дано П.Б. Струве в еще дореволюционные годы).

Итак, наше черносотенство есть органический продукт русского месторазвития. Оно и победило как середина (западный средний класс XX столетия помните?) отечественной социальности, победило на руинах двух субкультур, вобрав в себя соки обеих. Но не только... П.Б. Струве писал: «Сущность и белого, и красного черносотенства заключается в том, что образованное (культурное) меньшинство народа противопологается

народу, как враждебная сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому как марксизм есть учение о классовой борьбе в обществах, – черносотенство обоих цветов есть своего рода учение о борьбе культурной» (10, с. 16).

Итак: вот что здесь главное – «культурная борьба». Между Россией (с XVIII в.), стремившейся быть современной по-европейски, и Россией, обреченной на сохранение «своей», не-современной, «старомосковской» идентичности. То есть черносотенство – это социально-культурная реакция на насильственную модернизацию – вестернизацию страны. Это – и следствие раскола на две «России», и выражение инстинктов и интересов «старомосковской» субкультуры.

Впервые же на исторической сцене черносотенство появилось в годы Смуты начала XVII столетия. Появилось и спасло Русь – от интервентов, тушинцев, болотниковых и т.п. И вместе с тем от первых «западников», желавших ограничить самодержавие (и при Василии Шуйском на четыре года это удалось; удалось и с королевичем Владиславом – правда, в Москву его не пустили) и несколько озападнить нашу жизнь. Это был героический, легендарный, «мифопоэтический» период вызревания черносотенства. Но оно так бы и не дозрело, если бы не революция Петра. Так бы и осталось нормальной, здоровой, узкой, кондовой, «физиологической» силой самосохранения русского этноса. В совсем не плохом смысле слова консервативной, даже пусть реакционной функцией народного организма. Подобное «черносотенство» имеется в любой национальной культуре.

У нас же – после Петра – «черносотенство» было обречено не на жизнь и борьбу «в рамках» и по принципу «и–и», и не на в конечном счете компромисс с modernity и сосуществование в условиях консенсусного полисубъектного социума, «смешанного правления», политики. Но – на перманентную тотальную войну с другой, «петербургской», субкультурой. «Или – или». Хотя поначалу эта война была малозаметна. Поскольку протекала не просто в «холодной» форме. Она была замороженной, подмороженной, загнанной в подполье – жесточайшим крепостным режимом. Когда же в эпоху «великих реформ» этот режим ушел в небытие, война стала обретать иные формы. К началу XX в. – вполне горячие.

Обычно под «черносотенством» полагают известные организации и настроения, оппозировавшие эмансипационному процессу между 1905–1917 гг. (мы уже вскользь упомянули это). Это то, что П.Б. Струве квалифицирует как «белое черносотенство» («Союз русского народа» etc.). Его идеология представляла собой комбинацию антикосмополитических, антиурбанистических (притом что движение развивалось в крупных и средних городах), антибюрократических, антикапиталистических, антилиберальных, антисемитских взглядов, одобренных традиционным и очень

поверхностно-вульгарно трактуемым «позитивом» – «православие, самодержавие, народность».

П.Б. Струве указал на существование другого черносотенства – красного. Это, по его словам, «народнический» социализм эсеров и большевиков. «...Наш народнический социализм перекрещивается с черносотенством, образуя с ним некоторое внутреннее духовное единство» (10, с. 11). То есть он настаивает на одноприродности, единых корнях и того и другого черносотенства. При этом красное, подобно белому, порождено расколом русской цивилизации, культуры. Но в отличие от белого, оно в конце концов отлилось в псевдосовременные формы. Оно упаковало себя в европейское платье. Научилось говорить на немецко-французском социалистическом языке. Предложило «старомосковской субкультуре» способ выживания в современном (modern) мире. Более того, сумело – в течение семи с лишним десятилетий – выдавать эту субкультуру за современность. Ловко, жестко и молниеносно (по историческим меркам), заgrimировав ее, придав ей черты чуть ли не «будущего» («будущего» – в смысле прогрессистского миропонимания).

Вдогонку буквально два слова о «месторазвитии». Как известно, этот термин введен в науку евразийцем П.Н. Савицким. В нем объединены исторический, пространственно-географический и природно-климатические измерения социальной эволюции. Другими словами, – **то и где это происходит.**

Европа всегда жила в геоисторической нише Римской империи. Каролинги, Священная Римская империя германской нации – это все римейки Первого Рима. Но внутри этой открыто-закрытой целостности шла работа по обустройству этнонациональных сообществ. Процесс привел к двум результатам. С одной стороны, постоянная тяга и работа над интеграцией, с другой – nation-state-building. Но имелось еще одно измерение европейских геоисторических дел. Крестовые походы орденов, сужение католического европейского ареала и «уравновешивание» этого распространением римской веры по всему свету (португальцы, испанцы). А затем и колониальные инвазии. К стати, у кого не было материальных сил распространяться по земного шару, те, в первую очередь немцы, углублялись в метафизические пространства ума, души, сердца (философия, музыка, поэзия). Так называемая феодальная раздробленность и ее дальнейшие последствия в виде федерализма позволили европейцам объютить и очеловечить свои микроместоразвития.

А у нас? – Киевский вождеплеменной союз во главе с прибывшими из Скандинавии викингими-германцами в середине XIII в. с помощью татар развалился на три части. Западная ушла в Литовскую Русь, была отчасти европеизирована (в Киеве стоит памятник Магдебургскому праву, а вот в Москве – Лобное место, где столетиями казнили людей; задумайтесь

об этом, возлюбленные современники!; ведь сегодня в центре нашей Родины лежит убийца в окружении своих учеников-негодяев, а чуть поодаль от них «вечная память» смертному месту). Эта часть Руси в общем не была под монголами. Северо-Запад создал уникальное народовластие (Новгород, Псков, Вятка) с разными идентичностями – своей собственной, русско-татарской, ганзейской. Восток Руси на 250 лет стал прочной частью Золотой Орды¹. После ее разложения этот самый Восток во главе и в лице Москвы начал возрождение Монгольской империи. Это как раз и есть русский Ренессанс (я не шучу, а предлагаю вдуматься в смысл этой метафоры). За всем этим не хватало и не хватило сил на обустройство именно своего месторазвития. Однако кто точно назовет его – наше месторазвитие?

О собственности и власти, о властесобственности

Поговорим о других «эссенциях» нашего исторического пути и современного состояния. Поговорим о том, что всегда считалось ключевым для понимания социальных порядков – власти и собственности.

В книге «Россия при старом режиме» Ричард Пайпс пишет: «В своем анализе я делаю особый упор на взаимосвязи между собственностью и политической властью. Акцентирование этой взаимосвязи может показаться несколько странным для читателей, воспитанных на западной истории и привыкших рассматривать собственность и политическую власть как две совершенно различные вещи (исключение составляют, разумеется, экономические детерминисты, для которых, однако, эта взаимосвязь везде подчиняется жесткой и предопределенной схеме развития). Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл, и что отсутствие такого разграничения составляет главное отличие правления западного типа от незападного. Можно сказать, что наличие частной собственности как сферы, над которой государственная власть, как правило, не имеет юрисдикции, есть фактор, отличающий западный политический опыт от всех прочих. В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в Древнем Риме), чтобы она раздвоилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность.

Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит *par excellence* к той категории государств, ко-

¹ Автор «Задонщины» прямо называет Восточную Русь той эпохи Залесской Ордой.

торые политическая и социологическая литература обычно определяет как “вотчинные” (patrimonial). В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель является одновременно и сувереном государства, и его собственником. Трудности, с которыми сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множащихся контактов и соперничества с Западом, имеющим иную систему правления, породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое не удалось преодолеть и по сей день» (7, с. 9–10).

Действительно, в античном мире (в Греции как тенденция, в Риме как факт) произошло разделение единого до этого феномена на власть и собственность. То есть стала возможна экономическая собственность вне системы властных отношений. Это было зафиксировано в римском праве (появились публичная и частная сферы); философское обоснование имеется в индивидуалистической интенции греческой философии. Христианское мировоззрение, основывающееся на личном начале, по сути дела, тоже работало на эту тенденцию. Протестантизм, Возрождение, капитализм все это закрепили. Хотя надо признать, что и в западном мире тема контроля власти над собственностью не была закрыта. В XX в. это вылилось в политику сменяющих друг друга национализаций–приватизаций.

В России же – здесь Р. Пайпс абсолютно прав (впрочем, об этом писали и до него и после) – патримония (властесобственность) сохраняется. Причем в весьма разнящихся вариантах. Но при всех различиях главное при изучении этой темы: во-первых, «ограничена»¹ ли субстанциальность власти «внутри» властесобственности, во-вторых, если ограничена, то чем, какими средствами.

Россия в ходе своей эволюции пережила три формы властесобственности (третью переживает).

1. Условно назовем ее **самодержавной**. Правда, в тот период, который нас особенно интересует, – предреволюционная Россия (конец XIX – начало XX в.) – ни самого самодержавия в прямом смысле этого слова, ни самодержавной властесобственности в том же смысле, казалось, уже не было. А если и существовали, то в весьма ослабленном и уходящем виде. – Главным ограничителем субстанциальности власти в рамках властесобственности было общество – довольно развитое, дифференцированное, со множеством действующих лиц (субъектов), существующее не только по указке властесобственности, но и в силу своего собственного развития (саморазвития).

¹ Я пишу это слово в кавычках, потому что, строго говоря, субстанция не предполагает никаких ограничений. Однако такова теория, реальная жизнь полна самых непредставимых в мышлении явлений.

Далее, она была ограничена религиозными и культурными традициями. Правящая бюрократия (ядро власти) независимо от того, были ли ее представители лично верующими или нет, все-таки была вынуждена соотносить свои хищнические амбиции и эгоизм с официально господствующими в обществе религиозными ограничителями (типа «креста на тебе нет»). Значительными были и культурные ограничители. Поколения и поколения мастеров властного дела воспитывались на традициях высокой гуманистической культуры. И, безусловно, был сформирован тип властителя как человека культурно-гуманистического общества.

К системе ограничений принадлежала также и весьма качественная профессиональная подготовка этих людей. Профессионал, как правило, рационален и умеет просчитывать будущее, он склонен к компромиссам и договоренностям.

Все это, вместе взятое, ставило под угрозу дальнейшее существование феномена властесобственности. И в тот момент, когда он приблизился к точке своего перерождения в нечто иное – не будем сейчас гадать, во что, но точно это был уход от классической властесобственности, – раздался мощный взрыв революции. Попутно заметим (нам это потом понадобится) – разложение самодержавной властесобственности в целом происходило под знаменами либеральной идеологии.

Прежде всего, новый режим уничтожил противоречие самодержавной властесобственности – то самое, которое подтачивало и подточило его устои. Это противоречие заключается в следующем. Сам по себе феномен властесобственности, как мы хорошо знаем, отрицает собственность, отдельную от власти. Но хозяева царской России – кто на практике, кто в любой момент, если бы захотел, – были частными собственниками.

В этом контексте реформа 1861 г. видится совершенно в ином свете. Это не только освобождение крестьян от крепостной зависимости, но и уничтожение самодержавно-крепостнической частной собственности помещиков. То есть парадоксальным образом это пролог будущей коммунистической революции, что гениально почувствовал Ленин и выразил в словах: реформа породила революцию, 61-й год – 1905-й. Этого провидчески боялся Николай I, утверждая, что крепостное право помещиков над крестьянами есть русская форма частной собственности, а бороться с ней нельзя, поскольку частная собственность – это прогресс человечества¹.

Александр II и его окружение не только пустили Россию по дороге рыночной экономики и демократизации-либерализации, но и резко усилили общинное владение землей как **народную форму властесобственно-**

¹ У А.И. Герцена есть замечательная работа 1853 г. – «Крещеная собственность» (см.: Герцен А.И. Крещеная собственность. – СПб.: Основа, 1906. – 34 с.). Она о том, что первой русской частной собственностью стала собственность помещиков на крепостных.

сти. Макс Вебер назовет это в 1905 г. патриархальным аграрным коммунизмом.

Взамен государство, используя эту ситуацию, стало создавать под водительством С.Ю. Витте государственный капитализм, который был в известном смысле не только прорывом России вперед, но и реваншем традиционной (самодержавной) властесобственности. Потеряли в одном – найдем в другом. Не случайно Ленин всегда испытывал нежные чувства ко всем формам госкапитализма и даже считал свой нэп одной из таких форм.

2. Итак, в стране утверждается **коммунистическая властесобственность**. Большевики, повторим, исправили фундаментальное противоречие предшествующей формы и создали правящее сословие бессобственников, т.е., казалось бы, непротиворечивую форму властесобственности. В связке «властесобственность» собственность уменьшалась до ничтожной величины. Взамен правители получили иные возможности, но это другая тема (к примеру, ничем не ограниченную ситуативную власть человека над человеком). При этом ограничили власть суровой, агрессивной, жесткой коммунистической идеологией. Лозунгом этого ограничения были известные слова: «У тебя что, два партбилета?»

В конечном счете большевики пришли к такой формуле властесобственности – «общенародная собственность». То есть все принадлежит народу. Конечно, на самом деле всё принадлежало номенклатуре. Но это «все» было в высшей степени ограничено. По наследству не передашь, пользоваться можно тайно. В целом – не твое. Или: твое – временно, твое – неофициально...

В 1936 г., практически достигнув автаркии¹, идеальная замкнутая властесобственническая система была построена. И эта «идиллия» существовала бы поныне, если бы СССР действительно сумел реализовать мировую революцию (в масштабе земного шара). Однако не получилось. Мир же в XX столетии пережил серию не только социальных катаклизмов, но и научно-технических, экономических и прочих революций. Чтобы выживать в действительно враждебном окружении, СССР должен был развивать науку, очень сложную экономику, мощный ВПК и др.

Так в 50–80-е годы был создан многочисленный советский «средний класс» – достаточно культурный, неплохо образованный, худо-бедно осведомленный в мировых делах. И этот «класс» стал претендовать на большую долю в социальном пироге, на больший доступ к информации, на большее участие в принятии решений и т.д. Да и сама номенклатура

¹ Между прочим, забывают, что за 20 лет до этого, в 1916 г., Россия тоже стала практически автаркическим государством. Два отличия: без варварской эксплуатации собственного народа и без отказа самому этому народу в основных сущностно необходимых «источниках» поддержания жизни.

подустала от высоких этических идеалов типа «как закалялась сталь». Ей тоже захотелось, что вполне понятно, сладкой жизни.

Вообще, должен заметить, большевики недооценили гедонистическое начало в человеке. Они, как теперь ясно, ошибочно полагали, что человек может удовлетвориться сладкими сказками о сладком будущем его внуков и возможностью периодически поедать другого. Людям же сегодня хотелось, по словам Виктора Астафьева, каши и колбасы. Этот гедонистический правозащитный (всем же хотелось прав) массовый подъем русского общества, который вновь, как в начале XX в., имел либеральный по своей сути характер, смел коммунистическую властесобственность.

3. Так родилась третья в XX в. Россия (или третья Россия XX в.). Несмотря на все кажущуюся уверенность в том, что с властесобственностью будет покончено и страна пойдет к рыночной экономике и разделению власти и собственности, этого не произошло. Более того, феномен властесобственности на этот раз возродился в самой чистой, еще более чистой, чем та, о которой мечтали первокоммунисты, форме – безо всяких ограничителей. Сегодня мы не обнаружим ни агрессивно жесткого мировоззрения, обуздывающего властесобственность, ни тех или иных религиозно-культурно-профессиональных «запретов». Подобное наблюдается впервые, поэтому не вполне ясно, куда все это пойдет.

Хотя отдельные определенности просматриваются уже сегодня. Во-первых, налицо гедонистически-потребительская ориентация нынешних властителей – естественное продолжение советской эпохи. При этом оно многократно усилено и тем, что «всё позволено», и хорошим знакомством с западными стандартами потребления. Во-вторых, властители сами стали собственниками в особо крупных размерах. Но не частными собственниками в классическом смысле. Поскольку, если они начинают выпадать из Власти или, упаси Боже, конкурировать с нею, их гонят вон. Или сажают, или еще что-то из этой оперы. Все это, конечно, вызывает вопросы: что же будет с властесобственностью? Вместе с тем указывает на органическую необходимость системы ограничителей. В-третьих, впервые этот феномен смог замкнуться, так сказать, на себе. Он абсолютно не нуждается в подавляющем большинстве населения.

Можно сформулировать иначе. Властесобственники часто говорят о том, что, к сожалению, в России плохой инвестиционный климат. Подразумевается совершенно понятное нежелание западного капитала идти в русскую экономику. На самом деле это утверждение имеет прямое отношение к самой русской ситуации. Для властесобственности именно Россия и русский народ – «плохой инвестиционный климат», и она не хочет сюда идти. Это, кстати, тоже ставит под вопрос ее дальнейшее существование.

Что же исторически оказалось? Высшей формой развития властесобственности является властесобственность без ограничителей, т.е. сего-

дняшня. Но в этом и ее смертельная опасность. Видимо, «внутри» властесобственности существуют некоторые органические пропорции, которые должны соблюдаться, границы, которые нельзя переходить, социальные обязательства, которые должны выполняться. Даже в такой форме: нет еды – разрешаю, пойдешь, съешь другого. Или: потерпи – завтра коммунизм. Или: шаг в сторону – побег, стреляю. Чистая властесобственность в своем гедонистическом экстриме об этом даже не «задумывается».

Современная властесобственность может развалиться, когда власть сожрет всю собственность, когда все эти властесобственники (частные собственники от властесобственности) потеряют последний интерес к эксплуатации России, когда вдруг «опомнятся» и устроят какой-нибудь русский национал-социализм или когда толпы «пролов» зальют кровью Кремль и т.д.

Одно понятно: современная «чистая» и без всяких ограничителей властесобственность не сможет долго существовать. Ей все равно придется как-то меняться. На мой взгляд, вряд ли в сторону полного исчезновения. Скорее, она «придумает» себе какой-нибудь доселе неизвестный самоограничитель.

Вдогонку подчеркну: современная социальная наука считает абсолютно необходимой для любой социальной системы ту или иную форму самоограничения, самообязывания. На Западе это прежде всего право. Современный исламский мир настаивает на религии. У России те же проблемы, что и у всех.

... Да, мы забыли дать название властесобственности третьей России. Но ей-Богу ничего на ум не приходит. Помогите!

А теперь вновь поговорим о «просто» власти. Подобно властесобственности, она тоже прошла несколько фаз (этапов) эволюции.

Власть–Моносубъект довольно подробно описана в «Русской Системе» (8). Но, оставаясь моносубъектной, в разные эпохи она далеко не одна и та же. Попутно заметим: Россия знала времена, когда власть стремительно теряла свою моносубъектность и страна вставала на путь, ведущий к полиархическому порядку. Однако этот путь пока не стал магистральным...

Ключевыми вопросами для власти являются следующие: **чем** она ограничена (и ограничена ли вообще) и **как** она формируется. Русская история знала различные варианты сочетания этих **чем** и **как**.

1. До семнадцатого года. С Андрея Боголюбского до Ивана Грозного (XII–XVI вв.) складывается, с большими перерывами, существованием иных властных моделей, уникальный феномен моносубъектности. Суть этого явления в том, что власть – единственная социальная субстанция, все остальное – функции. Исторически это называется самодержавием.

Здесь источник власти в ее носителе. Поэтому она не только самодержавная, но и самозванная. До Павла I все русские цари – «самозванцы». То есть в определенную эпоху самодержавие предполагает самозванничество. Следует обратить внимание на то, что наряду с монособъектностью русская власть вырабатывает наиболее эффективный, как считают специалисты, способ трансляции – примогенитиру («от отца к старшему сыну»). Точнее, преемство, наследование развились от лестничного принципа («старший брат – младший брат») до примогенитиры. Важнейшим ограничителем власти была религия (Бог). Наряду с Ним в различные периоды существовали и иные ограничители. Так, с середины XVI в. по конец XVII ими были Земские соборы.

Своей экстремы власть-монособъект достигла в двух ее персонификаторах – Иване IV и Петре I. Последний нанес страшный удар по ограничителю. Он секуляризировал власть и отменил обычай примогенитиры. Как хорошо известно, наследника престола, согласно Указу императора от 1721 г., назначал сам венценосец. Иными словами, источником формирования власти был ее носитель на данный момент. Однако живая жизнь подправила Медного всадника. В дело «назначения» царей вмешалась русская гвардия – вооруженный авангард аристократии. Они-то и были весьма реальным ограничителем власти в XVIII в.

Автором важнейшей реформации власти-монособъекта стал Павел I. Его «Учреждение об императорской фамилии» 1797 г. превратило примогенитиру из отброшенного обычая в господствующий институт и закон трансляции власти. Собственно говоря, это было первое правовое обрамление русского кратоса. Вследствие этого самодержавие избавилось от самозванничества. Конституция 1906 г. включила этот документ Павла в свой состав – первой, главной статьей. Сама же она создала политико-правовую конструкцию, в которой власть начинала терять свой монособъектный, субстанциальный характер. Во всяком случае, была существенно ограничена, возникли узлы новой власти (властей).

Вдогонку напомним: власть последние три столетия принадлежала династии Романовых. Это было их внутреннее дело. Власть была ограничена от всех остальных институций и людей, т.е. этим и ограничена. Вместе с тем общество уже свыклось с идеей разделения властей, смысл которой не только в идее разделения, но и в том, что никакой Власти-Субстанции вообще быть не может.

2. Советский период. Коммунистическая идеология выступает здесь и в качестве легитимизирующей силы, и в качестве силы, формирующей власть, и одновременно, как бы это ни было парадоксально, ее ограничивающей. Ведь ни один из всемогущих вождей-генсеков (включая Сталина) не мог выйти за границы этой идеологии. То есть, конечно, выходили, поскольку она никаких границ не признает и готова включать в

себя то, что ей выгодно. Но это по существу. Внешне же, формально это было исключено. Как ни странно, эта внешность, формальность оказывалась важнее всех сущностей. И держала советских деспотов в рамках, ограничивала их всевластие. Действительно, нельзя себе даже представить у них хоть какой-нибудь «ревизионизм». Они были обязаны «ходить» под ее императивами.

Порядок трансляции власти коммунисты толком не продумали. Ведь они были убеждены в неизбежности отмирания государства¹. В связи с этим смерть любого вождя открывала маленькую войну за власть. Победа в ней венчалась Пленумом ЦК, который ее «утверждал».

Важно и то, что вождь-генсек не имел никакого юридически-релевантного статуса. Это, с одной стороны, вроде бы и давало ему беспредельную широту маневра и абсолютное могущество, с другой – ограничивало его амбиции. Ведь никакой правовой бастион не защищал его позиций. Пока успех сопутствует тебе, народ и привластные группы покорно и с восторгом бегут за твоей колесницей, но если он отвернется от тебя, неровен час придут за твоей головой. Никакого же внятного иммунитета у тебя нет. Кто ты такой?!

Вообще-то подобная власть недолговечна. Даже удивительно, что она продержалась семь десятилетий.

3. Современная Россия. Пожалуй, здесь вновь складывается уникально-парадоксальная ситуация. По-своему не менее своеобразная, чем дореволюционная и советская. Власть формирует действующий президент. Ельцин – Путина. Путин – Медведева. Затем возникает тандем (Владимир Владимирович не захотел далеко уходить от власти). Правительствующий тандем, он же – электорат. Выборы следующего президента сведены к формуле: «сядем и договоримся»². Нам, обывателям, отводится роль одобряющих это «договоримся». То есть, по известному выражению, нас там не стояло. Конечно, ситуация тандемности в 2012 г. может закончиться. Тем не менее обычай преемничества уже сложился.

¹ Это, кстати, свидетельствует об ограничительной силе марксистско-ленинской идеологии. Маркс, в своих жалких высокомерии и самоуверенности, был убежден: государство в будущем не станет (об их исчезновении заявляют и теоретики глобализации; на nation-state поставлен крест, теперь другие actors заказывают музыку; всю эту дребедень невозможно слушать, они просто дети нашего Владимира Лукича, который в своей эсдеской безкультурности как-то ляпнул нечто схожее про материю, помните?; все дело в том, что государства суть имманентные формы – сущности современной социальной эволюции; они, безусловно, меняются сами, но, подобно языку, семье, праву, религии, принадлежат к «вечным ценностям», подверженным изменениям, но не исчезновению; их действительное исчезновение приведет к исчезновению человека).

² И договорились. В конце сентября Медведев выдвинул Путина. Точнее, Путин устами Медведева выдвинул себя. Высший пилотаж!

На первый взгляд, все это похоже на XVIII в., от Петра I до Павла I. Однако только на первый. Мы живем в массовом современном обществе, в котором главным регулятором функционирования социума является право (другие – историко-культурные традиции и обычаи, социопсихологические стереотипы и т.п.). Основная норма права – Конституция. Она во всех смыслах основной закон общества. И именно Конституция отброшена. Вместо равного, тайного, прямого и т.д. – «договоримся». Мне, впрочем, могут возразить: выборы никто не отменял, будут и другие кандидаты, «выбор» же внутри тандема – есть внутреннее дело этих двух. В том-то все и дело, что это не так. Система выстроена под простое преемничество («я тебя назначаю»), но может выдержать и тандемность.

При этом отброшена, растоптана не только Конституция. Весь уклад современной жизни, который – хочешь не хочешь – построен по принципу выбора. Мы в нашей жизни выбираем все: профессию, жен–мужей, еду, одежду, досуг, круг чтения, телепрограммы и т.д. Это и есть Modernity или, тоже на выбор, Postmodernity. И лишь в вопросе о власти мы лишены этой возможности. И это во властечетричной культуре, которая остается таковой несмотря ни на что! А времена-то, повторим, совсем иные, чем в XVIII в.

Теперь об ограничителях. По сути их нет. Впервые в русской истории. Ни религии, ни идеологии. Право? – См. выше. Оно отброшено. Более того, даже единственный **временной** ограничитель де-факто похерен. Ведь возможность президентствовать двенадцать лет подряд – совершенно невероятный подарок в сегодняшнем кипящем мире. А применительно к ВВП вообще дух захватывает! Это может стать 8+4 тандемных + 12 = 24 года.

О конституционных противоречиях

В общем волей-неволей мы пришли к вопросу о Конституции. После ее принятия в 1993 г. я постоянно (письменно и устно) утверждал, что этот продукт нашей политико-юридической мысли вполне органичен для русского исторического развития и одновременно адекватен нынешнему состоянию общества и институтов власти. Действительно, Конституция 1993 г. в значительной мере есть продолжение проекта М.М. Сперанского, «Основных государственных законов Российской империи...» 23 апреля 1906 г. и проекта российской Конституции, которые готовили юристы Временного правительства к Учредительному собранию. Адекватность же этого продукта заключалась в том, что предложенная правовая конструкция позволяла уйти от «вечного проклятия» русской политики – двоевластия. Это самое двоевластие неоднократно в русской истории, особенно в

ее переломные моменты, угрожало самим основам общества. И ситуация 1992–1993 гг. наглядно это подтверждала.

Кроме того, я полагал, что сверхпрезидентская система правления (президент, поставленный над системой разделения власти) хотя и является, с европейской точки зрения, нонсенсом, у нас вполне честно и точно фиксирует реальное положение дел. И это «грубая» и «наглая» правда казалась мне честнее псевдодемократической псевдопарламентской лжи системы двоевластия, которая сложилась у нас в первые два послесоветских года.

Но вот прошло уже почти 20 лет с момента принятия Основного закона. Россия находится в тяжелейшем политическом кризисе, который, разумеется, есть «отражение» и кризиса общесоциального, и экономического, и ментального и т.д. «Отражение» в том смысле и потому в кавычках, что, собственно говоря, Россия переживает просто общий кризис, а не какой-нибудь частичный. Но наиболее ярко и отчетливо проявляется он в политико-правовой сфере. И вот почему.

Конституция Сперанского и «Основные законы» 1906 г., скроенные по лекалам Михаила Михайловича, вполне подходили для России XIX столетия. Однако уже в начале XX в., конструкция Сперанского отчасти устарела. В этом, кстати, одна из причин катастрофы 1917 г. Но сейчас мы не о прошлом – о настоящем. Хотя, по-видимому, анализ сегодняшней ситуации поможет нам лучше понимать и события почти столетней давности.

Итак, Конституция 1993 г. есть «римейк» в основном и в целом конституционных идей и практики дореволюционной России. В особенности это касается организации функционирования власти. Главное сходство конституций 1906 и 1993 гг. (и в то же время главное отличие от основных законов европейских стран) заключается в поставленной над системой разделения властей фигуре императора – президента. Но между двумя русскими конституционными текстами XX в. существует и громадное (метафорически, можно сказать, бесконечное) различие, которое, должен признать, я совершенно не принимал во внимание. Хотя все это лежит на поверхности.

В Конституции 1906 г. суверенитет принадлежит императору: он есть источник всей и всякой власти, всех и всяких законов в стране. В Конституции 1993 г. суверенитет принадлежит народу, т.е. не президент, как ранее император, а народ является источником власти и законов. Таким образом, внешне, формально схожая конструкция власти на поверку оказывается «лишь» прикрытием совершенно отличных друг от друга сущностей.

Не удержимся и все-таки скажем несколько слов о «лжи» Конституции 1906 г. В ней, как мы помним, появляется законодательное учреждение – Дума, которая, хоть и в ограниченных объемах, но управляла стра-

ной через процесс законодательства. Ко всему прочему Дума избиралась – пусть и не на основе всеобщего и равного права, но избиралась. А это означало, что она имела современно-демократическую легитимность. Следовательно, в политико-правовую конструкцию России 1906–1917 гг. были «втиснуты» два прямо противоположных друг другу института и принципа.

Первый – императорская власть, обладавшая суверенитетом, т.е., повторим, монопольно владевшая источником всех властей и законов, иначе говоря, сама и бывшая этим источником. Имевшая также все мыслимые виды легитимностей: сакральной (от Бога), «демократической» (Романовы избраны на царство Учредительным Земским Собором 1613 г.), исторически- преемственной (правили страной более 300 лет) и формально-юридической (закон о престолонаследии Павла I). Основные законы 1906 г. закрепляют все эти типы легитимности в конституционном тексте современного образца. Тем самым придают ей еще один вид легитимности – конституционно-правовой.

Второй – Дума, имевшая демократическую легитимность, т.е. по избранию, конституционно-правовую (по Основным законам) и издающая общеобязательные для всех без исключения россиян законы. Если к этому добавить, что в рамках тогдашнего законодательства Российской империи Судебный Сенат – высшая судебная (кассационная) инстанция – обладал правом принимать решения, которые никем, включая императора, не могли быть обжалованы, то получается, что Дума плюс Сенат составляли вместе систему власти, потенциально альтернативную императорской. И хотя юридически в рамках Основных законов 1906 г. императорская власть была сильнее, чем «законодательно-судебная», социальный расклад, т.е. ситуация в обществе, менялся явно в пользу новой системы власти. Это сознавали и представители традиционной императорской власти, и сторонники новой, парламентско-судебной.

Недаром В.А. Маклаков в своих воспоминаниях (5) назовет Конституцию 1906 г. историческим компромиссом между короной и обществом. Так оно и было. Но сама Конституция явилась не только юридическим воплощением этого компромисса, но и одновременно возможным потенциальным источником нового взрыва. То есть февраль 17-го был юридически заложен в Конституции 1906 г. Другое дело, что можно было этим источником и не воспользоваться. Но для нас главное не это – не выяснение причин Февраля, а то, что Февраль был «запрограммирован» творцами Конституции 1906 г. И именно Временный комитет IV Государственной думы уничтожил императорскую власть.

Этот краткий исторический экскурс предельно важен для понимания сегодняшнего положения дел. В Конституции 1993 г. «запрограммирована» ситуации конца 2011 г. Мы должны это отчетливо представлять себе.

«Мы» – это и сторонники власти, и ее оппоненты. – Но что же произошло с нашей нынешней Конституцией в течение двух десятилетий ее существования? Отвечая на этот вопрос, уместно вспомнить мысль классика политической и конституционной мысли XX в. М. Дюверже: в рамках всякой конституции заложены потенциальные возможности для существования различных политических режимов. Это означает, что нормальная современная конституция (российская в целом является таковой) предполагает вариативность политического развития. Вместе с тем и ограничивает его неким коридором возможностей. В силу различных, но совершенно реальных социальных и прочих причин все три российских президента (Ельцин, Путин, Медведев), – разумеется, с разной интенсивностью и последовательностью – резко ограничили, так сказать, демократические, либеральные возможности Конституции и усилили власто-авторитарные. При этом, используя свои практически неограниченные полномочия (по той же Конституции), они произвели ряд принципиально недемократических и даже отчасти антиконституционных (по духу) нововведений, естественно, закрепив их юридически.

К чему же это привело? К крайне резкому обострению конфликта между принципом суверенитета народа и почти неограниченной властью президента, к превращению законодательных, исполнительных и судебных органов власти в некие комиссии при президенте. При этом мы лично не виним никого из трех российских президентов. Это совершенно разные люди (разных биографий, возрастов и т.д.). Объединяет их лишь одно (включая даже молодого Медведева) – это советские люди. Советский же человек органически, экзистенциально воспринимает власть как насилие (в жесткой или мягкой форме – это неважно), социальное согласие (консенсус) – как то, что все согласны со мной, объективный социальный конфликт – как заговор «темных сил» против меня и олицетворяемой мною правды, наличие чужого мнения – как проявление крамолы. Надо сказать, что этими качествами отмечены в той или иной степени не только наши высшие должностные лица, но и практически все мы с вами. В этом еще одно фундаментальное противоречие современного отечественного социума – между демократической политико-правовой системой и недемократическими «актерами» (это касается и оппозиции).

Вернемся к конституции. Основой всякой демократии являются выборы. Именно в выборном процессе и реализуется народный суверенитет. Практически уничтоженные выборы не дают народу реализовать это свое главное социальное право. Следовательно, наличная политическая система, выросшая из авторитарных потенциалов конституции (и отказавшаяся от ее демократических потенциалов), не оставляет места для оппозиции. Всякое, в том числе российское, общество основано на конфликте интересов. Это признак любого живого социума. И всякое общество, чтобы не

саморазрушиться, создает институты и процедуры, в рамках которых происходит конкуренция и согласование этих конфликтных интересов. В первую очередь имеются в виду, конечно, представительные учреждения. К сожалению, нынешняя российская политическая система не оставляет ни единой возможности для реализации иных, не господствующих интересов.

Еще раз об оппозиции. В современном русском политическом языке существуют два ее определения – системная и несистемная. Что касается «системной», то она олицетворяется партиями, допущенными в Думу. Именно «допущенными», поскольку их судьба зависит от Власти. Это касается и коммунистов с их довольно широкой социальной базой и хорошей организацией. Но если бы Власть по какой-либо причине решила элиминировать КПРФ из властного пространства, несомненно, это задача была бы так или иначе выполнена. Это означает, что КПРФ, СР и ЛДПР имеют по преимуществу властную легитимность. Другими словами, они «в системе» по разрешению начальства. Хотя, конечно, реальная жизнь сложнее моделей, «идеальных типов». И совокупная легитимность «допущенных» – конечно, в различных пропорциях – включает в себе и легитимность «от народа». Но определяющей, господствующей является, вне всякого сомнения, властная.

Тогда можно ли полагать «системную оппозицию» оппозицией по своей сути. Нет, нельзя. Дело в том, что оппозиция не может быть назначена. Право на этот «титул» завоевывается в борьбе за голоса избирателей, а не за «разрешение» властителя. Далее, оппозиция противостоит в парламенте не Власти, а другой партии (партиям). В последних трех Думах доминирует «Единая Россия». Это не партия, а думский псевдоним Власти, приводной ремень Власти, порученец Власти и т.п. И «системная оппозиция» допущена оппозиционировать этому властному порученцу. Все они – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР – поют по одной партитуре, написанной в одном месте. В общем и целом наша партийно-политическая система, наш парламент суть подделки. Но – абсолютно необходимые для Власти. – Тогда почему? И зачем ей эта «паленая» политика?

Советская власть, а наша, безусловно, советская по своей природе, инстинктам, повадкам, разводкам, отбросила коммунистическое обличье, требуху, прикид, однако осталась властью-моносубъектом, властью-насилием, властью-полицейским, властью-«отцом родным», властью-«строгим учителем» и пр. Так вот, эта самая советская власть, если вспомнить ее историю, всегда имела оппозицию. Сама ее конструировала, «назначала», а затем и поедала. Оппозиция была тем, что поедается в ходе жертвоприношения. Иным языком: внутренним источником питания. – Ныне советская власть тоже нуждается в оппозиции. Но не для жертвоприношения и постоянной подпитки витальностью. Изменились «очеред-

ные задачи» советской власти. Она нашла себе иные жизнетворящие источники, отказалась от всех этих людоедских жертвоприношений. Стала более современной, «цивильной», гедонистичной. Однако без оппозиции все же не может. «Системная» призвана быть «операцией прикрытия». Ну, как миролюбивая внешняя политика бывает прикрытием наглых, авантюристичных империалистических замыслов.

Фальшак системной оппозиции в том, что она никогда не сможет стать властью. Не предусмотрено. Место занято. И в этом смысле нынешняя русская политическая система есть закрытый клуб, куда не допускают несистемных (не возвращенных или прощенных властью) и где все функционирует по мановению палочки дирижера-председателя.

Что же, спрашивается, делать остальным, нам? – Тем, которые все-речь полагают, что всякая власть от народа, что народный суверенитет основа жизнедеятельности русского общества. Что Конституция (и система права) – единственный регулятор политики, экономики, всего общества. Что мы правовое государство, а не посткоммунистические расконвоированные зеки в полицейско-авторитарном поселке-поселении. Что нам нет места в наличной властно-политической системе.

Возможны два варианта развития событий. Либо общество и власть договорятся об изменении Конституции и приведении ее в соответствие с принципом народного суверенитета, либо в России в той или иной форме начнется гражданская война. Значит, остается единственный путь – изменение Конституции. При этом надо иметь в виду, что, если в поисках нового, более совершенного и адекватного политико-правового устройства хотя бы потенциально будет возрождена конструкция двоевластия, мы вновь заложим мину замедленного действия. Ревизия действующей Конституции не есть только перераспределение власти в пользу законодательных и судебных органов, не только «вписывание» института президента в систему разделения властей. Это сложная и тонкая работа по созданию очень дифференцированного, извиняюсь за тавтологию, очень сложного механизма сдержек и противовесов. Но перед нами богатейший мировой опыт, богатейший опыт наших собственных успехов и провалов.

Вместо заключения

Эпиграфы принято помещать перед авторским текстом. Мы же нарушим это правило. И дадим отрывки из русской прозы и русской поэзии *après*. Вот что, мне кажется, подходит уходящему одиннадцатому году.

А.И. Солженицын: «Соотношение между ними («русским» и «советским». – Ю.П.) такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянем за нее...» (9, с. 306). «Слово “Россия” для сегодняшнего дня может

быть оставлено только для обозначения угнетенного народа, лишенного возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры – и для обозначения его будущего, освобожденного от коммунизма» (там же, с. 307). «Все народы Советского Союза нуждаются в долгом выздоровлении после коммунистической порчи, а русскому народу, по которому удар был самый истребительный и затяжной, нужно 150–200 лет выздоровления, мирной национальной России» (9, с. 323).

А. Галич: «Будьте ж счастливы, голосуйте, / Маршируйте к плечу плечом». «Но особо встал вопрос / Про Отца и Гения». «Вовсю дурил двадцатый век». «В двадцатый век!.. / Как в темный лес, Ушел однажды человек / И навсегда исчез». «Граждане, Отечество в опасности! / Граждане, Гражданская война!». «И все так же, не проща, / Век наш пробует нас – ...»

Г. Адамович: «Россия! Что будет с Россией! / Как страшно нам жить, как темно!»

Заметим: все это было писано многие десятилетия тому назад.

Список литературы

1. Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое: Сб. статей. – М.: МИК, 1998. – 333 с.
2. Борисов Н.С. Возвышение Москвы. – М.: Русский Мирь, 2011. – 576 с.
3. Иванов Г.В. Стихотворения / Сост., вступ.ст., примеч. В. Смирнова. — М.: Эксмо, 2008. – 384 с.
4. Зимин А.А. Опричнина. – М.: Территория, 2001. – 448 с.
5. Маклаков В.А. Воспоминания: Лидер московских кадетов о русской политике 1880–1917. – М.: Центрполиграф, 2006. – 352 с.
6. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, 1995. – 220 с.
7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М.: Независимая газета, 1993. – 421 с.
8. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система // Политическая наука: Теория и методология. Вып. 2. – М., 1997. – С. 82–194; Вып. 3. – С. 64–190.
9. Солженицын А.И. Публицистика: Статьи и речи. – Париж: YMCA-PRESS, 1981. – 365 с.
10. Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм: Сб. статей за пять лет (1905–1910). – СПб.: Жуковский, 1911. – 619 с.
11. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция: Очерки теории. – М.: РГГУ, 2000. – 365 с.
12. Флоровский Г. Пути русского богословия. – Париж: YMCA-PRESS, 1983. – 600 с.
13. Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. – М.: Детектив-Пресс, 2002. – 304 с.
14. Nye J. The Future of Power. – N.Y.: Public Affairs, 2011. – 303 p.

В.П. БУЛДАКОВ

РОССИЯ И/ИЛИ СВОБОДА

Чем чаще произносится у нас слово, слаще всего звучащее для человека подневольного, тем больше хочется цитировать строки поэта, «восславившего свободу»:

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...*

Концовка этого стихотворения (1823) звучит как адресное обвинение:

*К чему стадам дары свободы?
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.*

Эти слова перекликаются со строками М. Волошина, написанными столетием позже (1919):

*Вчерашний раб, усталый от свободы, –
Возропцет, требуя цепей...
Цареву радуясь бичу...*

Круг замкнулся. К свободе мы не были готовы ни двести, ни сто лет назад. То же самое наблюдается вновь. «Выдавить из себя раба» никак не удастся.

Разумеется, проблема не/свободы вовсе не относится к числу исключительно российских неразрешимостей. Вчитываясь в тексты родной истории, поневоле вспоминаешь дневниковые строки Ф. Кафки: «Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода – направо, налево, в любом направлении...» (6). Не менее категоричен был М. Мамардашвили, вызывающе сформулировав кардинальный вопрос человеческого бытия: «Какого диктатора я хочу?»

В круговороте не/свободы

В любом случае ясно, что в видах собственного выживания человек, изначально наделенный свободой совести и воли, всегда стремился к поиску ближайшего «диктатора», освобождающего его от «сложностей» принятия самостоятельных решений. Строго говоря, личность нуждается не в свободе как таковой, а в относительно независимом выходе творческой, а то и просто «дурной» энергии – как правило, социально «избыточной». Не случайно запреты, ограничивающие спонтанные выплески своей воли, острее всего воспринимаются в детстве и юности. Столь же закономерно, что проблема свободы редуцируется, когда общество находит баланс между практиками культурного насилия и индивидуалистическими устремлениями.

Вопрос о свободе возникает обычно в связи с острым ощущением социзтальной скованности. В традиционном обществе, в отличие от модернизирующейся социальной среды, он, я думаю, вообще не стоит. Однако в любом случае человек, в отличие от животного, – существо творческое. И по-настоящему он может реализовать себя не через обычай, привычку и тем более ритуал – этот поглотитель моральной энергии, а только через свободу самовыражения, в большей или меньшей степени выходящую за их рамки.

Кажется, не приходится доказывать, что человеческий прогресс опирается на свободную личность, ее творческий потенциал, возможности обмена инновационной информацией и ее коммуникативного освоения. Между тем в онтологическом смысле человек несвободен с момента своего рождения. Следовательно, проблема не/свободы может быть сведена к балансу между системой внутрисоциумных и общественных табу и уровнем энергетической неупорядоченности человеческой индивидуальности. Теоретически эту проблему можно решать либо на путях тотального диктата, либо методом нивелирования индивидуальностей. В том и другом случаях предполагается та или иная степень обуздания человеческого Я. Другое дело, откуда этот процесс идет: сверху, от власти, или снизу (сбоку), от общества. Во втором случае пространство свободы все же оказывается шире, а главное – появляются соответствующие иллюзии.

Европейская традиция допускает лишь такой уровень индивидуальной свободы, который не ограничивает свободу другого. Это не что иное, как поведенческий императив гражданского общества. Такая не/свобода понятна, многообещающа и потому терпима, хотя и здесь возникает потребность в дополнительных гарантиях вроде «прав человека». Но когда усекновение естественных прав личности осуществляется сверху во имя удобств государства, несвобода может стать невыносимой. В любом случае человек вынужден разменивать «избыточные» свободолюбивые порывы

вы на безопасность существования. Если социальные гарантии отсутствуют или дают сбой, включается «чувство справедливости»: протест против навязанной несвободы оборачивается бунтом против деспотии (реальной или мнимой), а заодно и против всякого препятствия на пути пробудившегося инстинкта своеволия.

В России ощущение перманентного «зажима» настолько основательно вьелось в человеческие умы, что, похоже, творческий человек не сможет прожить ни дня, не мечтая о неведомой свободе. А потому стоило бы принципиально разделить собственно свободу (то ли абсолют, то ли призрачный антипод рабству) и мечту о ней (своего рода творческий стимул и социальный релаксант). Конечно, наибольшую свободу самореализации предоставляет демократия. Но у нас забывают, что демократия возможна только в среде культурно отформатированных людей. Звучит странно, но *демократия пригодна только для демократов*: предоставление внутри нее свободы для ее противников создает ситуацию, чреватую торжеством несвободы.

Процесс демократизации на Западе шел преимущественно снизу – от общества, пережившего и инквизицию, и Возрождение, и Реформацию. В результате сформировался не «свободолюбивый», а скорее конформистски-компромиссный тип личности. Это вовсе не идеал свободолюбия, но просто возможность формирования сообщества людей, независимых ровно настолько, насколько они терпят свободу других. И эта форма самодисциплинирующего диктата в известные времена показала себя наиболее эффективной в хозяйственно-предпринимательском отношении. Впрочем, экономически состоятельным может быть и традиционное общество с высоким уровнем производственно-технологической дисциплины. Деспотическая система также может продемонстрировать известного рода народнохозяйственные достижения. Разница лишь в кратковременности ее мобилизационного «успеха», не говоря уже о человеческой цене тотальной несвободы.

Наивно думать, что всякий человек любого социума остро и ежеминутно нуждается в свободе самовыражения. Если индивидуальность растворяется в стадности (а так было многие тысячелетия), то личная – как творческая, так и агрессивная – энергия естественно вливается в коллективную устремленность, направляемую «вождем». Деспот может «приручить» человеческие порывы к свободе. И не следует относить данный феномен к примордиалистским временам – XX век особенно преуспел в этом отношении. В современных условиях нечто подобное осуществляется методом «слива» избыточной человеческой энергии в «параллельное» виртуальное пространство.

В России издавна свобода отождествлялась с волей – возможностью абсолютной независимости от чего и кого угодно, особенно от деспотич-

ного государства. В масштабах большого исторического времени это выглядит «врожденной патологией», пороком асоциальности, деструктивным стремлением переkreить всю общественную ткань соответственно мнимым «первозданным» идеалам. Это образчик перверсии синкретического сознания, не разделяющего воображаемое и сущее, идеальное и реальное, символическое и практическое. Для такого сознания соблазн воли становится поистине неодолимым в связи с ощущением несправедливости «своей» (которой на деле никогда не бывало) власти.

Синкретическое сознание, спутанное узами обычного права, продуцирует бесконечные ряды бинарных оппозиций, среди которых свобода непременно противостоит необходимости. Совсем не случайно ощущение не/свободы в России было особенно острым дважды: в процессе крушения самодержавия и развала СССР. Патерналистская система, скованная бюрократией, непременно породит чувство тотального протеста. Но историческая память влед за тем обязательно оживит и воспоминания о «комфорте» безответственной несвободы.

На идеологическую историю советского коммунизма можно взглянуть как на парад симулякров – расхожих псевдоназваний, отделяющих слова от смыслов и переворачивающих саму реальность с ног на голову. Этот сумасшедший марш начался сразу после прихода большевиков к власти: «свобода» (точнее, суррогат воли) понималась как возможность неограниченного насилия над «эксплуататорами». В начале 1920-х годов «предрассудком» назывались представления о том, что трудовая повинность – это измена «коммунистическим принципам свободы». Символично, что большевиков искреннее благодарили члены секты... скопцов, заверявших о своем «полном подчинении Власти, которая дает свободу совести человека». Боюсь ошибиться, но, как мне кажется, публичное злоупотребление словом свобода достигло своего апогея в 1930-е годы – термины свобода и демократия превратились в заклинания, подпитывающие ничем не ограниченную репрессивность власти. Вся советская история пронизана принципом «добровольно-принудительного» истолкования свободы. Символично, что в так называемые годы застоя свобода вообще стыдливо ушла из российского лексикона.

Как известно, в современной России свобода и свободы отождествляются с демократией и демократизмом. Это далеко не одно и то же, хотя очевидно, что движение к свободе за пределами привычно обновляющегося правового поля может обернуться охлократией. Все известные виды политической демократии – всего лишь ситуационные диктатуры большинства над меньшинством. Правда, в современной западной демократии обозначилась ее либертарианская перверсия, когда права меньшинства ставятся выше прав большинства. Но эта тенденция вряд ли исторически конструктивна; сомнительно, что социальное пространство, выстроенное

на таких основаниях, окажется жизнеспособным, ибо прогресс всегда достигался за счет «нормальных» креативных личностей *авторитарного*, увы, склада. И хотя отождествление демократии со свободой некорректно, в контексте российской исторической аксиологии оно не только символично, но и оптимистично. Россияне не находят пространства самовыражения, а государство, со своей стороны, упорно лишает их такой возможности. Отсюда элиминирование базовых ценностей и смыслов человеческого существования, прорывающихся время от времени чередой больших и малых «иррациональных» бунтов. Такое чередование «неволи-воли» бесперспективно с поступательно-эволюционистской точки зрения, но не безнадежно онтологически.

Сколько свободы нужно человеку?

Возникает вопрос: почему российская государственность столь упорно подавляет свободу творческого самовыражения? Ответ очевиден: власть требует и добывается свободы *только для самой себя*. Информационная революция намного увеличила ее возможности. В современных условиях государство готово предоставить людям взамен свободы выбора свободу воспроизводства прихотей и пороков – разумеется, в четко очерченных пределах. Оказывается, призывы к свободе можно направить в некую культурную резервацию, отведя ей определенный субкультурный этаж, а демократию подменить ее балаганным суррогатом. В таких условиях власть и квазиобщество привыкают вести «параллельное» сосуществование. Но это противоестественно: свобода индивидуальной и групповой порочности противостоит свободе общественной самодеятельности – особенно, если над всем этим стоит государство с его извечными претензиями на самодержавный волюнтаризм. К тому же «параллели своеобразия» рано или поздно – в «неэвклидовом» пространстве человеческого бытия это неизбежно – пересекутся с известными для России «бунташными» последствиями. И не надо надеяться, что ситуация, когда одни делают вид, что работают, а другие, что управляют, а не обворовывают, может продолжаться долго.

Человек изначально несвободен. Но его отличие от животного заключается в том, что он постоянно стремится расширить границы своей свободы внутри существующих общественных отношений. Это дает, по меньшей мере, иллюзию свободы. Когда-то марксисты взяли на вооружение формулу: «Свобода есть осознанная необходимость». Увы, она подходит только для гражданского общества. За его пределами она непременно вырождается в нечто противоположное – примерно в то, что описал Чехов в «Палате № 6». Большевики почти материализовали художественный вымысел: всякий человек, стремящийся к свободе, едва ли не автоматически

воспринимался как сумасшедший. Это было не чем иным, как легитимизацией *свободы принуждения* со стороны государства. Удивительно, но сегодняшние «демократически избираемые» правители считают это нормой. Электорат, со своей стороны, готов им поддакивать в той мере, в какой несвобода политическая сочетается со свободой потребления.

Вопрос о том, какой свободы мы хотим и чем готовы заплатить за свое желание, остается открытым. В современной России от свободы в ее естественном либеральном понимании отвернулись почти все, что без труда можно подтвердить данными социологических опросов и результатами избирательных кампаний. Однако люди вновь требуют *свободы от* надоевшего «порядка» и лживых физиономий – в условиях информационной революции они слишком быстро устают от идолов и фетишей. Положение усугубляется привычной российской потребностью в социальных гарантиях. «Классическая» демократия их не предоставляет, а «демократия деспотов» способна только имитировать (например, сказками о «суверенной» демократии). Но если нынешний псевдолиберальный порядок в России не обеспечивает ни социальной защищенности, ни ощущения справедливости, его можно считать обреченным.

Мне многократно приходилось писать о кризисной цикличности русской истории. Ее можно трактовать в известной, описанной Достоевским, парадигме – «от абсолютной свободы к абсолютному принуждению». 400 лет назад в процессе преодоления последствий грандиозной Смуты, где-то к середине XVII в., россияне признали единственным гарантом общественного порядка царя. Соборное уложение 1649 г. – это памятник тотальной несвободы человека. С другой стороны, его можно рассматривать как форму сакральной защиты личности от посягательств «врагов» – даже тело человека представлялось неприкосновенной собственностью Великого государя. «Порядок несвободы» закреплялся церковью. Сына *избранного* монарха поставили на один уровень с Господом, объявив своего рода «земным богом». Человека заставили верить во всемогущество власти, отказав ему в свободе совести. Какими крепостническими последствиями, а затем и Расколом это обернулось, хорошо известно.

Почти 100 лет назад Россия пережила «красную смуту». Ее последствия переросли рамки даже худших форм исторического крепостничества. Для «самого свободного в мире» *homo rossicus*'а была создана, причем при его непосредственном участии, своего рода псевдодинастическая идеократия, внушающая человеку, что «царев бич» – главное орудие свободы. В этих условиях ощущение собственной несвободы люди пытались компенсировать злорадной иллюзией обуздания своеволия других. Именно в силу «шкурнического» психологического закона этот «монолитный» режим никто не свергал. Однако, как и 100 лет назад, система, выстроенная на бюрократических основаниях, развалилась сама, ибо противоречила

природе человеческого творческого естества. Ирония судьбы, однако, в том, что сегодня многие убеждены: имел место некий заговор – слабые умы не могут жить без конспирологии. Такие представления – симптом врожденной несвободы и несамостоятельности российского «политического класса». Но это не только наша проблема. Как отмечал Ф. фон Хайек, «распространенная иллюзия, что свобода может быть предоставлена сверху, представляет действительную проблему. Необходимо понимание, что должны быть созданы условия, которые позволяли бы людям творить собственную судьбу» (11). В России снизу это невозможно *sui generis*. Сверху движение в таком направлении также всякий раз блокировалось. В подобных обстоятельствах приходится мечтать скорее о воле, нежели о свободе.

Ситуация парадоксальна. При взгляде со стороны можно подумать, что демократия в России победила. Либеральные реформы в экономике вроде бы удалась. Политический режим – по крайней мере внешне – заметно изменился. Существует Конституция, гарантирующая свободы и права человека. Легализована частная собственность. На деле же все это существует с характерными, типично российскими «оговорками». Демократия в России «суверенна» от любых попыток трактовать ее иначе, чем это делает государство. Экономический либерализм превратился в «свободу предпринимательства» коррумпированных госчиновников и/или госолигархов. Конституция никем не воспринимается всерьез, зафиксированные в ней права человека нарушаются на каждом шагу. Но это не частный случай извращения идеи демократии и идеалов свободы – налицо очередной сюрреалистический пик российского исторического бытия.

Ситуация тем более парадоксальна, что, согласно социологическим опросам, никакого отказа и отката россиян от либеральных ценностей за истекшее десятилетие не произошло: подавляющее большинство из них по-прежнему выше всего ставит индивидуальные свободы и интересы личности, отводя государству роль гаранта их соблюдения. Но сходные данные можно было получить и во времена Брежнева. Очевидно, дело не в «демократических» или «авторитаристских» приоритетах россиян, а в отсутствии у них навыков к самоорганизации и взаимодействию. Они попросту не знают, что делать с нежданно свалившейся на них свободой – тащить тяжело, но и выбросить жалко.

Провал демократизации России – дело не новое. На протяжении только XX столетия это произошло дважды: в течение нескольких месяцев 1917 г., после чего к власти пришли большевики, и в 2000-е годы, когда политическое пространство стала неуклонно заслонять фигура Путина. В чем причины столь странных, на первый взгляд, переворотов в истории громадной страны? Почему свобода всякий раз проигрывает? Без ответа на этот вопрос вряд ли можно всерьез говорить о перспективах демократии в России.

Думается, не стоит сводить проблему к просчетам вождей российской демократии, в чем нас часто уверяют так называемые политологи. В 1917 г. либеральные и правосоциалистические политики были поражены удивительным политическим недугом – властебоязнью. В 1990-е годы демократы, в свою очередь, думали главным образом о возможности реализовать свои проекты под крылом Ельцина или хотя бы засесть в парламенте. Как бы то ни было, российский «политический класс» не смог распорядиться доставшейся свободой, ибо заранее готов был разменять ее на парламентские кресла. Но не стоит, однако, кивать и на хронические болячки российских элит, поглощенных бесконечными словопрениями. Действительные причины того, почему традиционная Россия поглотила демократию, лежат глубже.

Лично я не вижу особых секретов – следует лишь взглянуть в череду взаимозависимостей, уходящих в далекое российское прошлое. Но прежде всего необходимо уточнить: что понимается под демократией в России, если отказаться от наивных попыток буквального перевода термина? Представляется, что ответ может быть только один: освобождение человека от удушающих объятий государственности. И это притом, что в России все делалось и делается *через* власть; демократию также пытались и пытаются внедрить сверху.

Между свободой и необходимостью

Историческая российская власть, каким бы освободительным иллюзиям ни предавались ее верховные носители, всегда была по-настоящему озабочена только одним – *самосохранением*. События 2000-х годов в очередной раз это подтвердили. Поэтому перечисленные ниже культурно-исторические факторы российского сдерживания свобод граждан латентно действуют и поныне.

Территориально-хозяйственный. Демократию можно рассматривать как технологию: возникнув в одной сфере человеческой жизнедеятельности, она требует соответствующей технологизации других ее областей. Технологии обычно рождаются в ограниченном (безальтернативном) пространстве из природной недостаточности, нужды, нехватки, необходимости. Но российское пространство, в отличие от Европы и Азии, заведомо нетехнологично в силу его «безграничности»; во всяком случае, оно порождает экстенсивные, а не интенсивные технологии хозяйствования. Способ технологизации человеческого общежития, в свою очередь, связан с типом аграрного хозяйствования. Не случайно родиной современной демократии стала Британия, бывшая в свое время житницей Римской империи: в данном случае аграрно-управленческий технологизм был направлен на интенсивное производство и эффективное изъятие прибавочного про-

дукта. Нынешние высокотехнологичные «азиатские тигры» – порождение качественно иного, «азиатского способа производства», связанного с интенсивными «рисопроизводящими» технологиями, невозможными без жесткого управленческого диктата. Отсюда феномен «восточной деспотии».

В России, напротив, так называемое мигрирующее земледелие изначально являлось преградой для развития технологий управления, зато стимулировало укоренение примитивных форм аграрного самоуправления. Изолированные сельские общины основывались на производственно-потребительском балансе. Строго говоря, они не нуждались ни в развитых рыночных отношениях, ни в городских формах технологизации вообще. В известном смысле на российских просторах длительное время отсутствовала потребность в *государстве как таковом*. Если некая нужда и возникала, то, скорее, имелось в виду государство как величина метафизическая, существующая рядом с Богом, а не с человеком. Российская власть была оторвана от производства и технологий – за исключением «технологии» изъятия практически отсутствующего прибавочного продукта. В итоге законсервировался вотчинно-общинный тип хозяйствования и управления (советская система была его гипертрофированным продолжением), над которым возвысилась сакрализованная государственность.

Так или иначе, российские пространства потребовалось упорядочить. Что же из этого получалось? Если попытаться отбросить известного рода идейные табу, то можно сказать, что и призвание варягов, и монгольское иго, и последующие наплывы иностранщины во власть составили феномен так называемого внутреннего колониализма – бесконечных попыток унификации чрезвычайно подвижного, разреженного, пластичного и даже «непредсказуемого» географического и социально-ресурсного пространства силами государства в его собственных интересах. Последние, разумеется, выдавались за всеобщую потребность и «общественное благо». Правами человека и ростками демократии здесь и не пахло. То же самое происходило в азиатских деспотиях с той лишь принципиальной разницей, что в них государство зависело от интенсивности производства, а не только от собственной фискальной эффективности. Неудивительно, что со временем даже права человека в России стали понимать в контексте своего рода просвещенного государственного крепостничества. Вопреки этому, говоря словами героя романа Б. Пильняка «Голый год», русский народ только и делал, что «бегал от государственности, как от чумы», на Дон и Яик, ибо та несла в себе «татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину» (7). Европейское понятие свободы и порядка в российских пространствах казалось чужеземным игом. Здесь не могло естественным путем сложиться «разумного» баланса между свободой и необходимостью.

Государственный. В основе мифа о происхождении российской государственности, как известно, лежит легенда о «призвании варягов» –

проблема управления решалась как «согласие» на привнесение в бесконечное пространство мощного *силового* начала извне. Разумеется, варягов не призывали – просто подчинились незваным захватчикам, что, в общем, в истории случалось постоянно. Эту легенду можно трактовать и как согласие народа на внешнее управление – феномен исторически также ничуть не уникальный. Другое дело – почему он законсервировался. Между прочим, варяги так и не смогли решить проблему *регулярного* сбора налогов – пространство оказалось слишком велико для их малочисленных отрядов. Зато эту задачу помогли решить сменившие их кочевники-монголы, словно специально предназначенные историей для покорения географических пространств. Но они несли с собой порядок, полностью исключаящий понятие свободы. Характерно, что они решили не только фискальную задачу, но и проблему *общегосударственных* коммуникаций.

Ордынское (силовое) начало пронизывает всю российскую историю (хотя многие западники уверяют, что традиции конституционализма были не менее сильны). Не случайно московская власть, перехватив эстафету у монголов, успешно осуществила так называемое собирание (на деле это была этатизация территорий) так называемых русских (в действительности это были этнически не самоопределившиеся популяции) земель, пришедшее на смену былой «раздробленности» (в реальности имевшей мало общего с феодальными уделами). Возникшую систему Г. Федотов именовал «православным ханством» (10, с. 283). Однако со временем «кочевническая» форма господства вызвала отчуждение от нее массы автохтонного аграрного населения. Внешнее (кризисное) управление не может быть постоянной величиной – ему противится само человеческое естество, несмотря на иллюзии патернализма. Этот феномен дает знать о себе и поныне: государство умеет властвовать над холопами, но не умеет управлять свободными людьми. Оторванность государства от непосредственного производства, а производства – от прогрессивных технологий со временем обернулась всевозможными формами крепостничества: стремлением власти связать работника с контролируемым и насаждаемым ею производством.

Стоит обратить внимание и на то, что управленческие верхи Российской империи длительное время оказывались иноэтничными (частично это прослеживается и сегодня, что открывает простор шовинистической демагогии). Варягов и монголов сменили британцы, немцы, французы, евреи – более технологичные и законопослушные «чужие» этносы. Но, с другой стороны, российские подданные искренне гордились военными успехами «своей-чужой» государственности. Именно эти сомнительные достижения не только порождали иллюзию защищенности, но и возводили ее на некую онтологическую высоту. Однако метафизика российского патернализма вызывала и другое – способность к перемещению народного недовольства

с врага внешнего на «врага внутреннего», включая государство с его «чувшим» наполнением.

Разумеется, проблема сдерживания свободы граждан государством не является чисто российской. «Государство допускает, чтобы граждане играли в свободу, но серьезно помышлять о свободе не стоит: нельзя забывать о государстве», – писал М. Штирнер (12). Современный западный человек чувствует себя в обществе, как палец в перчатке: ему комфортно, он может даже независимо двигаться – создается *иллюзия свободы* (которая на деле существует внутри навязанной несвободы). При этом он оказывается лишенным непосредственности мироощущения, что парализует его креативный потенциал. Он не может снять «перчатку», а потому вынужден приноравливаться к ней, убеждая себя, что это и есть норма человеческого существования. Именно по этой причине ему становятся ненавистны все иные («недемократические») формы исторического существования. В его сознании они превращаются не просто в продукт «другой» истории, а в угрожающие всему роду человеческому злые выдумки. Аналогичным образом россиянин реагирует на «русофобское» окружение. Стоит нашему соотечественнику напомнить о «врагах», как он тут же начнет мысленно отыскивать «свое» государство. Всякое покушение на собственные иллюзии человек парадоксальным образом воспринимает как угрозу порабощения.

Геополитический. Как ни странно, в России геополитический фактор также непосредственно влиял на систему взаимоотношений государства и его подданных. Причем дело не ограничивалось страхами внешней угрозы со стороны «чужих». Для государства геополитика – это проблема превращения «необъятных» пространств в управляемое (причем закрытое) пространство власти. Российский «колониализм» – это вовсе не агрессивная экспансия и не культуртрегерский мессионизм. Для русского государства это проблема овладения контролируемым (безопасным извне и внутри) пространством. Не случайно Иван Грозный был поначалу против колонизации Сибири; она была ему навязана не вполне контролируемым казначеством. Алексей Михайлович отнюдь не стремился к войне с Польшей ради Украины. По этой же причине была продана Аляска Америке, Россия отказалась и от Гавайев. Все это продиктовано стремлением сузить пространство территориальной свободы, столь мешающей управлению, что, однако, не помешало российской власти в конце XIX в. начать *копировать* худшие образцы тогдашней мировой империалистической политики. Это произошло в крайне невыгодной ситуации: резкий рост народонаселения внутри страны, с одной стороны, крайняя международная нестабильность – с другой. Совершенно не случайно внешний фактор (русско-японская и мировая войны) вызвал грандиозные выплески внутренних противоречий империи. Со стороны это могло показаться подвиж-

ками в сторону демократии. На деле всякое разочарование в государственности в экстремальных обстоятельствах активировало в России *стадный* (квазиобщинный), а не гражданский тип социального поведения; оборачивалось деструкцией и хаосом, а не консолидацией общественного целого. А потому российские правители, как бы они ни назывались, в очередной раз смогли использовать охлократию и страхи перед внешней угрозой для укрепления вертикали власти.

В связи с этим не следует связывать возможности и перспективы российской свободы с федерализмом. Советский федерализм родился из вынужденных уступок этнической нестабильности, вызванной развалом империи. Нынешний федерализм – своего рода постимперская форма поддержания стабильности в интересах государства, вполне сравнимая со «свободами» квазифеодального существования. Он создает иллюзию племенной (противоположной индивидуальной) свободы, да и то лишь до тех пор, пока власть не утратит своего сакрального ореола.

Поскольку всякий социальный катаклизм влечет за собой архаизацию общественного сознания, «гарантом порядка» всегда выступает наиболее близкий и сильный, но непременно «свой» вождь (от «отца народа» до авторитета иного рода). При этом любые его авторитарные действия будут терпеть – в них даже увидят «конструктивную» альтернативу недавней вакханалии свободы. Человек страшится хаоса, хотя постоянно порождает его своим своеволием. Хаос российских пространств могла усмирить только империя; ее призрак постоянно присутствует в подсознании россиянина как невидимая преграда демократии.

При этом россиянин убежден, что империя – едва ли не крайний антипод демократии. До такой нелепости мог додуматься только запуганный и несвободный человек. На деле империя, как порядок управления сложноорганизованной системой, способна расширить пространство свободы. Во времена Полибия принято было считать, что только имперское устройство государства способно спасти монархию от вырождения в тиранию, аристократию – в олигархию, демократию – в охлократию. Нечто подобное наблюдалось в Британской империи. Увы, эпоха всеислия бюрократии требует – по крайней мере в России – расставания с подобными иллюзиями. Империя – всего лишь внешняя форма, в которую облакает себя культурная экспансия. Она выстраивает своего рода цивилизационные «этажи» демократии и свободы: один уровень – для аристократии, другой – для плебеев; один – для метрополии, другой – для колонии или периферии. В процессе эволюции империи культурные «верхи» «освобождают» «низы», подтягивая их до своего уровня овладения имперскими дарами «свободы». Напротив, в свое время большевики под завесой «освободительных» лозунгов сначала разрушали, а потом воссоздавали подобие имперской иерархии – именно это и породило геополитический симулякр

в виде СССР. И надо быть по-советски наивным человеком, чтобы удивляться произошедшему и мечтать о воссоздании разбитого вдребезги.

В любом случае следует иметь в виду, что истощение витальности имперского ядра порождает «эллинизацию» бывшего территориального целого на охлократически-вождистской основе. Вместе с тем постимперские страхи при всей их кажущейся социзальной деструктивности открывают для власти дополнительный канал манипулирования массовым сознанием, «задержавшемся» в имперском прошлом. Характерный тому пример ноябрьская (2011) угроза президента Медведева выйти из стратегических договоренностей с Америкой; одних это изумило, других – подбодрило. Остается только гадать, до какой степени этот предвыборный «геополитический» трюк сказался на российском электорате.

Институционный. Государственность – это не просто порядок, дарованный сверху на вечные времена, а система институтов, так или иначе связанных с самоорганизационными потенциями и интенциями основной массы населения. Самоуправленческие возможности русского крестьянина *sui generis* не простирались далее сферы общинного хозяйствования. Но со временем община, с одной стороны, была превращена в «государственно-общественный» институт сбора налогов, с другой – выродилась в архаичное сообщество, противостоящее, пусть пассивно, бюрократической государственности (вплоть до сталинской коллективизации). При этом нельзя забывать, что урбанизация в России происходила в условиях отсутствия опыта городской самоорганизации. Правители использовали западные образцы самоуправления для того, чтобы превратить их в *приводные ремни* управления населением и/или контроля над его поведением. Более того, российская власть в процессе совершенствования процедур самообслуживания перекраивала социальное пространство, превращая его в систему управляемых *закрепощенных* псевдосословий. Эти этатизированные социумы делились на *служилые* (армия и бюрократия) и *тягловые* (крестьянские). Последние несли основную массу налоговых повинностей.

Государство стремилось к тотальному контролю над сословиями, неуклонно их формируя. Даже «феодаль» кормились главным образом от короны. Отсюда же столь упорная борьба с беглыми крепостными. Городское самоуправление, введенное Петром I, нельзя назвать самоуправленческим в полном смысле слова – оно было подотчетно государству в лице губернаторов, генерал-губернаторов и наместников. С того времени Российская империя встала на путь *декоративной* вестернизации. Последняя – еще один источник «демократического» самообмана, которым поражена историческая память россиян. Символично, что демократы начала 1990-х годов избрали своим символом фигуру «медного всадника» – конную скульптуру первого российского императора, на двусмысленную знаковость которого указал еще Пушкин.

Российский «административный федерализм» многолик и асимметричен – он напоминает старую приказную систему. А она, в свою очередь, вынуждена была учитывать и территориально-управленческий, и международный, и ресурсный, и военный, и конфессиональный, и этнофискальный факторы существования государственности на бесконечных и разноплеменных российских пространствах. Интересы населения рассматривались как часть этой *государственной* задачи.

На Западе развитие государства шло по схеме сила-власть-порядок, в которую был естественно вписан фактор интенсивно-инновационного саморазвития. Предпочтение отдавалось эволюционному типу сосуществования государства и граждан (что, разумеется, не стало панацеей от революций и Реформации). В России фактор саморазвития (как и самоуправления) до сих пор существует в зачаточной форме. Отсюда, как говорил М. Волошин, «взрывы революции в царях» (2). Напротив, западный эволюционизм базируется на принципе поэтапного вовлечения граждан в «свободный» производственно-инновационный процесс: высшие сословия помогают освобождению низших. У нас это оказывается невозможным; бюрократия, со своей стороны, всякий раз добивается укрепления «вертикали власти», к которой «прикрепляются» различного рода сурrogаты самоуправления и свободы – от федерации до прав человека.

Примечательно, что наследники престола иной раз опасливо взирали на перспективу обладания самодержавной властью. Зато в моменты шаткости государственности сверху особенно часто звучали заклинания типа «все для человека, все для его блага». Такова генетическая особенность «бюрократически-патерналистской» демагогии, призванной убажить холуя. Российский Левиафан готов воспользоваться любой идеологической «вывеской» ради самосохранения.

Большевики упростили социальную стратификацию под «классовыми» знаменами. Фактически государство оставило только тягловые сословия в виде «рабочего класса» (объявленного «гегемоном» общественного развития) и «колхозного крестьянства» (фактически прикрепленного к земле). Труднее было с интеллигенцией, но и ее в конце концов статусно уравнили со служащими, – и они «служили» единственному суверену в лице государства. Чем это закончилось, известно. Однако признаться в том, что попытки обуздать тех, кто в силу профессиональных обязанностей нуждается в свободе самовыражения, самоубийственны, тупая бюрократическая машина никак не может.

Культурно-антропологический. Особенности российской политической культуры чаще связывают с византийским православием. Сомнительно, чтобы это воздействие было особенно сильным – российская власть нуждалась в *государственной* вере и *послушной* церкви. Г. Федотов, идеализируя потенции свободы в Киевской Руси, игнорирует

укорененность традиций язычества в массе населения (10, с. 247–249). Восточнохристианское *религиозное* начало повлияло главным образом на культурные верхи, особенно на летописцев, стремившихся к библейской (моральной) интерпретации исторических событий. Именно они сочинили легенды о призвании варягов, а затем и о крещении Руси, якобы ставшей тотально «святой». В действительности основная масса населения вплоть до XX в. пребывала в состоянии «двоеверия» (православие и язычество) или, что точнее, обрядоверия, довольствовавшегося *ритуальной* частью христианства. В деревне господствовал примитивный тип мировосприятия, в котором реальное, воображаемое, символическое слились в неразрывное целое. Этот тип ментальности напоминает о себе до сих пор.

Средневековая Россия не знала ни римского права, ни борьбы императоров и пап, ни независимого университетского знания, ни Возрождения – фактически она не пережила Средневековья, так и не обрета в результате европейского гена *саморазвития*. Это тоже препятствовало формированию *общества* в европейском смысле слова. Значительного слоя самостоятельных граждан (дословно по-русски – горожан) также сложиться не могло. Гражданами официально считались подданные государства, втиснутые им в *служилые* сословия. Именно поэтому интеллигенции – людям относительно независимым от государственной службы – и пришлось сыграть столь значительную роль в «непредумышленном» противостоянии государственности. Этот процесс продолжается до сих пор – не стоит обольщаться относительно вроде бы автономных научных и общественных организаций, партий. Вместе с тем следует иметь в виду, что интеллигенция, как и народ, не любит слабую власть и презирает недееспособных правителей. Современная российская интеллигенция – это вовсе не известный на Западе *креативный класс* (creative class), как сегодня многим нравится думать. К сожалению, российская интеллигенция в большей или меньшей степени соответствует худшим сторонам менталитета современного информационного общества, воспроизводящего с помощью «передовых» технологий слабости и пороки синкретического сознания.

На человеческом уровне история столь же «прогрессивна», сколь и «регрессивна». Привычка замечать только ту историю, импульсы которой задаются либо «сверху» (вождями и правителями), либо «снизу» (заговорщиками и революционерами), – признак недостатка в обществе демократических потенций или веры в собственные силы. По-настоящему свободный человек не склонен считать правителей демиургами собственного бытия; рожденный среди свободных людей писатель находит главных персонажей истории не среди «спасителей» или «злодеев», а среди простых людей, составляющих народ. К россиянину с его предельно этатизированным сознанием это не относится.

Стало общим местом говорить, что верхи и низы Российской империи существовали в разных культурных измерениях. При этом низы представляли именно тот тип политической культуры, который вызывал столь горестные реакции Пушкина. Вскоре после большевистского переворота З. Гиппиус недоумевала: «Какому дьяволу, какому псу в угоду / Каким кошмарным обуянный сном, / Народ, безмолвствуя, убил свою свободу, / И даже не убил – засек кнутом!» (см.: 5). Удивляться не стоило: регламентированная «буржуазная» свобода народу была не нужна. Как результат, европеизированные верхи были «срезаны», «демократизация» культурного пространства развернулась по линии подавления низами «высокой культуры». Правда, не следует недооценивать эвристического потенциала низов: не подлежит сомнению, что русский человек в лице немалых своих представителей «избыточно талантлив», ибо не подвергался унифицирующему диктату городской культуры. Как бы то ни было, кризис конца XX в. вызвал очередное «проседание» российского культурного пространства. Сомнительно, что в условиях современной информационной революции удастся восстановить культурно-эвристический потенциал России. То же самое можно сказать о перспективах отечественной свободы.

Мне порой кажется, что «генотип» русской не/свободы заложен в легенде о «призвании» варягов. Норманнские завоевания – дело для былых времен обычное, однако никто добровольно не призывает разбойников и тем более не возводит на этой основе культа «1500-летней» государственности. «Долгое рабство – не случайный факт, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера, – писал в свое время А.И. Герцен. – Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она» (4). Так не напоминает ли русская история сплошную цепь поклонений покладистых холуев всевозможным «разбойникам», сменяющим друг друга на троне?

Ментальный. Хотя собственно ментальную составляющую российского культурного пространства практически невозможно отделить от эмоциональной сферы, формально она так или иначе должна обнаружить себя в государственно-правовых представлениях и практиках. При этом надо учитывать, что эти практики имеют мало общего с политикой в европейском смысле слова. Дело в том, что вера в государство превратилась в России в своего рода *имперскую религию*, определяющую весь спектр бытийственных представлений. Россиянин не верил в индивидуальное творческое начало, ему претили навязанные сверху коллективистские усилия. Русский крестьянин «бегал» от плохого помещика, но готов был пойти на поклон к государству, особенно возглавляемому «сильным» лидером. Но такого рода вера не только не исключала, но и предполагала склонность к *ситуационному* бунтарству под влиянием сиюминутных эмоций,

вызванных «слабостью» патерналистской власти (сегодня такая ситуация ощущается довольно остро).

Отсюда стремление государства к овладению *информационным* пространством империи, что в свое время достигло апогея в большевистской «пропагандистской» государственности. Сталин – это «тихий» деспот, который осторожно вползал в души революционно-романтических холуев: именно в этом кроется *ноу-хау* российского псевдототалитаризма. Возможности воздействия власти на социализацию россиян с помощью современных «свободных» *массмедиа* многократно возрастают. Но не стоит видеть в этом устойчивую тенденцию к бесконечному воспроизводству ментально одномерных, социально пассивных существ. Любая пропаганда, расходящаяся с реалиями, провоцирует волну безверия и хаоса. Современная российская ментальность отнюдь не отдает предпочтения закону перед насилием во имя недостижимой и потому тем более желанной «справедливости». Зато россиянин испытывает перманентное недоверие к «чужому» закону, писанному вроде бы вовсе не для него.

Господство такого типа ментальности открывает путь не только свободе демагогии, но и беспредельности легковерия. И не надо думать, что тому и другому подвержены в основном негодяи и дураки. Если вспомнить о волнах конспирологических теорий и футуристических прощечств, в известные времена захлестывающих Россию, то станет очевидно, что вера в утопии и заговоры – две стороны одной и той же медали. Интеллигенция верит в «чудо будущего», народ – в злодеев прошлого и настоящего. «Ученые» и «невежественные» предрассудки переплетаются до такой степени, что уже не важно, кто нас ведет – ангелы или демоны. Важно, что, привыкнув к роли ведомого, мы непременно вновь забредем в застойное болото несвободы.

Человеку далекого прошлого была неведома свобода, зато он верил в справедливость, отождествляемую с сытостью, которую призвана была обеспечить традиция и ее суверенный хранитель. В России соотношение между свободой и справедливостью всегда было неустойчивым. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всем современном мире. Попросту говоря, сытая «справедливость» подавляет «голод» свободы.

Соответственно сомнительной традиции «справедливости» в России народ облагался обязанностями – правами располагало только государство. Законы писались для подданных, а не для правителей. Вероятно, из этого выросла системообразующая «вертикаль ментальности» россиян, которую безуспешно нанизывали на «вертикаль власти». Сегодня не случайно выше всего стоит «телефонное право». Как выясняется, до сих пор можно безуспешно напоминать людям об обязанностях, не гарантируя соблюдения их конституционных прав. И это делается с помощью

церкви, вроде бы признающей свободу совести, но ухитряющейся до бесконечности поддакивать заведомо бессовестному государству.

Настоящее правовое государство – это просто диктатура закона. Однако попытки внедрения в России всеобщей формально-юридической правовой системы всякий раз наталкивались на инерцию обычного права. Последнее судит «по совести»: торжествует субъективно-эмоциональный принцип «хороший – плохой». Отсюда воспроизводство «неформальных» представлений о справедливости, блокирующих действие «несовершенных» законов и заодно открывающих простор судебному произволу.

Права личности – это всего лишь одна из исторических форм, с помощью которых создаются известные гарантии свободы самовыражения человека *вопреки* традиционным ментальным установкам (но в пределах конвенциональной политкорректности). Права личности, политические свободы не обеспечивают ни справедливости, ни тем более сытости. Они не гарантируют даже социального выживания в примордиалистском смысле слова, но поддерживают свободу творчества – концентрированное воплощение надежд на свободу как единственно достойный звания человека идеал.

Между прочим, сообщество троглодитов «защищало» своих членов соответственно императивам видového выживания, но принципиально исключало защиту прав личности. Соплеменник мог «качать права» на биосоциальном (стадном) уровне, но о ментальной независимости от социума не могло быть и речи. Тем самым исключалось понятие прогресса, связанного с выходом за пределы традиции. Ныне в России происходит нечто подобное с той лишь разницей, что прогресс отождествляется с комфортом, а планка вполне традиционных представлений о справедливости странным образом «модифицировалась». Так, мне не раз приходилось наблюдать, как солидные ученые мужи (отнюдь не коммунисты) горячо обижались на нынешнюю власть за ее неспособность превратить Россию в подобие Саудовской Аравии. О политической свободе они, кажется, забыли навсегда – им достаточно вовремя «выговориться» перед властью прежращими.

Вероятно, все дело в том, что постановка вопроса о правах личности возможна лишь после утверждения незыблемости права собственности. До этого следовало говорить только о правах групп людей – сословий, корпораций, этносов. Мы как-то стесняемся признать, что современное квазиуниверсалистское признание прав человека – всего лишь производное от универсализма рынка, своего рода побочный продукт информационно-потребительской унификации. В России мы пока что имеем дело с явлением иного исторического порядка. Правосознание россиянина и поныне не готово к внедрению демократических свобод. Почему-то никто не замечает, что нынешняя тотальная коррупция – в значительной степени

деформированная эманация обычного права, компенсирующая «несвободу» формальной законности. Очевидно, что всякий суррогат привычной справедливости с ростом общественного достатка трансформируется в меритократическую иерархию распределения. Не признавая диктатуры закона, не уважая прав личности, мы превращаемся в заложников собственной потребительской необузданности – еще одного, возможно, самого коварного врага свободы.

Морально-психологический. Стало общим местом говорить об особой эмоциональности россиян. И это справедливо. Там, где логическое и прагматическое начала ослаблены, бал правят эмоции. Но дело не только в этом: государство, ограничивая возможности самовыражения человека, тем самым «перенапрягало» его нравственную сферу. Более того, отвергая со времен Петра I традиционные обычаи и ритуалы, власть упорно навязывала народу «чужих» идолов, отравляя его душу. Феномен великой русской литературы XIX – начала XX в. поэтому не случаен – он связан с императивом моральной переоценки действительности, ставшим уже неведомым для западного общества. Этим Россия обязана интеллигенции, которая (по понятиям государства) представляла собой «лишний», принципиально ненужный социальный слой. Отсюда гонения на нее со стороны самодержавной власти, а затем и попытка большевиков создать вместо нее свою («рабоче-крестьянскую») *служилую* интеллигенцию. И тем не менее образованные люди по-прежнему составляли единственный слой, который пытался мыслить рационально. Другое дело, что они вполне некритично и излишне эмоционально ориентировались при этом на те или иные западные образцы.

Как бы то ни было, интеллигенция оставалась, в сущности, тем же субкультурным продуктом, что и бюрократия, европеизированная (пусть чисто внешне) Петром I. Рациональное начало разлагало чиновничий слой (отсюда распространение масонства), а тем временем сознание интеллигенции деформировалось моральным ригоризмом (феномен народничества). Разум оказывался в неладах с чувством: эмоции рождали «теории»; теории приобретали характер нравственных императивов. В том и другом случаях культурные верхи отчуждались от массы населения (вопреки подчас искреннему стремлению сблизиться с ним), что придавало эмоциональному перенапряжению системный характер. «Казенная» церковь с ее «недоразвитой» приходской жизнью, разумеется, не могла сдержать нарастающий кризис.

В этих условиях художественная литература (а в широком смысле область творческого вымысла) стала объектом почти религиозного поклонения со стороны интеллигенции. «Толстой и Чехов, Достоевский – надрыв и смута наших дней», – писал М. Волошин в 1919 г. (3). Разрыв между реальным, воображаемым и символическим расширился, создавая ситуацию

непредсказуемости. А последняя, между прочим, – главный душитель роцков свободы. Такое положение при господстве авторитарного архетипа властвования может повторяться до бесконечности.

Парадоксально, но в России упорно не замечают, что государственность никогда не ощущала себя достаточно сильной, зато всегда стремилась казаться таковой. Со своей стороны, интеллигенция, отчаянно пытаясь найти путь к народу, со второй половины XIX в. вольно или невольно стала толкать его на бунт. Взаимообман вел к взаимопровоцированию. Это и породило революционный кризис начала XX в. Впрочем, по своему психологическому наполнению он был вполне изоморфен Смуте XVII в., а равно и новейшей «революции» конца XX в. И эта последняя смута – пусть кто-то по недомыслию именует ее реформами, «транзитом» или стабилизацией – продолжается.

В горбачевской перестройке не было ничего принципиально нового сравнительно с политико-модернизационными потугами начала XX в. Не случайно и то, что перестройка заметнее всего проявила себя в «гласности» – людям попросту надо было выговориться, об остальном они почти не задумывались. При этом довлекло «моральное» осуждение прошлой истории и нынешней власти. Преобладание эмоций над правом позволяет подбираться к власти диктаторам. Путин не случайно так же вкрадчиво, но уверенно двинулся к авторитаризму, как Сталин во времена нэпа. Первая личина тиранов почти всегда демократическая – это было известно со времен Сократа.

В России эмоционально заквашенная «смута в умах» имеет куда большее значение, чем «политические» кризисы. Общественные психозы во имя освобождения от какого бы то ни было «засилья» по своей охлократической природе не могут породить ничего, кроме худшего воплощения несвободы. И этот соблазн особенно велик в критических ситуациях. В свое время А. Тойнби заметил: «Если и немцам не удалось устоять перед Гитлером в XX в. христианской веры, то могут ли другие народы мира – христиане, мусульмане, евреи, буддисты или индусы – быть уверенными, что в один прекрасный день они не повторят опыта немцев..? Должно быть, существует нечто вроде первородного греха в человеческой натуре, к которому как к магниту притягиваются идеи Гитлера. Мораль заключается в том, что человеческая цивилизация никогда и нигде стопроцентно не защищена. Она всегда лишь тонкая корочка традиций над кипящей лавой пороков, в любой момент готовой вырваться на свободу. Цивилизацию никогда нельзя воспринимать как должное, цена за нее – вечная бдительность и непрерывные духовные усилия» (9, с. 274).

В России нет надзирателя над государством, а оно само способно лишь заставить одних бюрократов делать вид, что они следят за другими. И когда главный узурпатор свободы в лице государства предстает банкро-

том, бунт «бессмысленный и беспощадный» – этот апофеоз несвободы, порожденный стремлением к освобождению от власти, ставшей «чужой», – ставится в повестку дня. При этом лишний раз обнаруживается, что россиянин никогда не уважал свободы другого. Поэтому от русской смуты не приходится ничего ждать, кроме деспотии.

Следует учитывать и то, что русский крестьянин, этот носитель «национального духа», издавна привык придуливаться перед бариним и/или перед властью. Со временем это выросло до «двоемыслия» и даже «двоедушия»: люди говорили и делали вовсе не то, о чем думали и чего им хотелось. Именно этот тотальный (само-)взаимообман доводит эмоциональное перенапряжение до критической точки. И тогда возникает соблазн «легких решений».

Бывают времена, когда рыхлое, не структурированное естественным путем, лишненное своих органичных институтов и ценностных ориентиров, «смущенное» социальное пространство уподобляется губке, впитывающей в себя не только достижения, но и отходы человеческой истории. Такое в истории России уже случалось. Трудно сказать, чего оставалось больше, но получалось «как всегда». Это связано с устойчивостью типа личности, не привычной к свободе и самостоятельному выбору. «В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства» (1), – заметил еще в 1905 г. М. Волошин. Вероятно, потому «усталый раб» Пушкин в конце жизни жаждал «покоя и воли». Создается ощущение, что это почти стандартная форма эскапизма от российской государственности и производного от нее «общества». Г. Федотов некогда писал, что воля торжествует или в уходе от общества, или в насилии над людьми (10, с. 280).

Увы, сегодня мы стоим на грани повторения невыученных уроков прошлого.

Сумерки свободы

Россию 1990-х годов трудно было назвать свободной. Наблюдалось лишь ослабление патерналистских и деспотических интенций государственности, вызвавшее выплеск охлократии. В 2000-е годы государство вновь взяло реванш: отмена выборов губернаторов, голосование только по партийным спискам, повышение процентного барьера для партий на выборах в парламент, наконец, удлинение президентского и депутатского сроков. Апофеозом «демократии деспотов» стало заявление Путина о том, что они с Медведевым давно договорились о президентской рокировке.

В результате в России в очередной раз было подорвано доверие к демократическим институтам и политическим партиям. Сегодня простые граждане опять вытеснены из сферы принятия решений. А это усиливает рост «фрустрационной агрессивности» в низах, с одной стороны, утвер-

ждение бюрократического цинизма в верхах – с другой. Реальный итог – стилизация авторитаризма под демократию и модернизацию.

С чем связаны перспективы демократии, т. е. творческой свободы, в таких условиях? Увы, первоочередное значение приобретает способность и готовность самой власти «поумнеть», а вслед за тем отыскать оптимальную технологию *демократизации*. Но, учитывая предыдущий опыт, вряд ли стоит на это надеяться. В демократической парадигме – примате закона и прав граждан – сила государства. Однако в российской политической традиции укоренилось нечто противоположное: человек для государства. Поэтому люди слишком легко разменивают свои свободы на государственные гарантии, пребывая в наивном убеждении, что власть «может все». Фактически из этого рождается антипод настоящему социальному государству.

Ориентировано ли российское общество в демократическом направлении? Базовой жизненной ценностью советских людей (*вопреки* ценностям, навязываемым государством) еще в годы застоя стало материальное благосостояние. На рубеже 1980–1990-х годов идеалы (или иллюзии) свободы могли создать лишь видимость сплочения граждан, которые на деле жаждали равенства *в распределении и достатке*. Утратившие эти архаичные (советские) представления россияне по-прежнему не представляют собой ни нации, ни даже общества в западном понимании этого слова – существует *население*, но нет *граждан*. При этом ни власть, ни россияне не понимают – в основе любой системы лежит труд, а не распределение и/или проедание неведомых богатств, что делает ситуацию безвыходной. Это в очередной раз чревато социальным хаосом, а не политической революцией, устремленной к идеалу свободы.

Путинская «стабильность» породила у россиян ложное ощущение, что, несмотря на развал и застой в каждой конкретной области, страна в целом движется в правильном направлении. Всякие трудности воспринимаются как кратковременные, которые власть поможет перетерпеть. Такое состояние умов вновь чревато разочарованиями, перерастающими в отчаяние. Ситуация усугубляется тем, что в условиях свободной миграции населения диссипативные личности группируют вокруг себя всевозможных маргиналов, провоцирующих этнические конфликты.

Может ли существовать подлинная свобода там, где власть не озачинена личным достоинством своих граждан? Где правительство не интересуется населением, а население равнодушно к тому, *как* власть принимает те или иные решения? Демократии не бывает там, где человек не верит, что от него что-то зависит. До тех пор пока государство не отделено от собственности, а его институты не поставлены под контроль общества, о расширении пространства свободы можно забыть.

Сегодняшняя светская власть одной рукой готова ввести преподавание закона Божия в школах, а другой терпит вакханалию вседозволенности в средствах массовой информации. Голоса церкви не слышно. Кто же защитит человека – упорно *верующего* в справедливость – от такого издевательства над его правами? Специальное бюрократическое ведомство?

Что такое современная российская «свобода слова»? Это перемещение известного рода «кухонных» разговоров на телеэкран. Поневоле задумаешься: не являются ли инсценировки, подражательно именуемые токшоу, всего лишь одной из форм мониторинга (более эффективного, чем былые подслушки КГБ) общественных настроений? Давно уже нельзя и мечтать о том, чтобы произнести с телеэкрана то, что думаешь. Однако у зрителя возникает иллюзия, что «там» можно говорить все, что угодно. А если так, то мы вновь упираемся в тупик несвободы саморазвития.

Российская история – настоящий круговорот несвободы, подпитываемый отчаянным стремлением к воле. Это находило свое воплощение в бегстве от идола государственности. В онтологическом смысле это бегство от самого себя, от собственной «недееспособности».

Некогда Н.Е. Салтыков-Щедрин иронизировал над российским либералом, не понимающим, чего он на самом деле хочет: «...не то конституции, не то севрюжатины с хреном, не то кого-нибудь ободрать» (8, с. 580). Современный россиянин также не может понять, что важнее: научиться жить самостоятельно или довольствоваться жидкой дармовой похлебкой. Воспроизводится ситуация буриданова осла. Власть по недомыслию старается ее поддерживать. В результате инстинкт самосохранения встает на пути движения к свободе.

«Тупики» исторического существования – не новость для России. Увы, все они оборачивались охлократией, которая заводила страну в диктатуру. Можно ли выбраться из избитой колеи российского блуждания в пространстве и времени? Безусловно. Но решение лежит не в правовой и не в административной плоскости. Не стоит особенно рассчитывать и на агрессивные формы властного культуртрегерства – они дают ложный эффект. Все человеческие проблемы решаются на одном пути – образовательном. Это, в свою очередь, предполагает решительное избавление от патерналистских иллюзий. Только на этой основе и можно говорить о продуманных технологиях продвижения к такому общественному устройству, которое стало бы естественным гарантом прав и свобод личности, а не механизмом безмозглой эксплуатации ее государством.

Список литературы

1. Волошин М. Пророки и мстители: Предвестия Великой революции // Перевал. – М., 1906. – № 2. – С. 12–27. – Режим доступа: http://az.lib.ru/w/woloshin_m_a/text_0320.shtml

2. Волошин М. Северовосток. – Режим доступа: <http://voloshin.ouc.ru/severovostok.html>
3. Волошин М. «Я был, я емь...»: Поэзия. Проза. Статьи. Дневники.– СПб.: Росток, 2007. – 638 с.
4. Герцен А.И. К развитию революционных идей в России. – М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 132 с. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gercen_a_1/text_0360.shtml
5. Гиппиус З. Опыт свободы. – М.: Панорама, 1996. – 528 с. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0500.shtml
6. Кафка Ф. Отчет для академии // Кафка Ф. Избранное. – СПб.: Кристалл, 1999. – С. 617–628. – Режим доступа: <http://www.kafka.ru/rassakasy/read/otchet>
7. Пильняк Б. Голый год // Пильняк Б. Собр. соч.: в 6-ти т. – М.: Terra-Книжный клуб, 2003. – Т. 1. – С. 40–41.
8. Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20-ти т. – М.: Худ. лит., 1965. – Т. 12. – 750 с.
9. Тойнби А. Лекция, прочитанная Гитлером // Диалог со временем. – М., 2004. – № 12. – С. 259–276.
10. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – СПб.: «София», 1992. – Т. 2. – 352 с.
11. Хайек Ф. фон. Судьбы либерализма в XX веке. – М.: Челябинск: Мысль, ИРИСЭН, 2009. – 337 с. Режим доступа: http://www.libedu.ru/haiek_fridrich_avgust/p/18/sudby_liberalisma.html
12. Штирнер М. Единственный и его собственность. – СПб.: Азбука классика, 2001. – 259 с. – Режим доступа: http://avtonom.org/old/lib/theory/stirner/the_one_and_its_ego.html

Ю.Н. АФАНАСЬЕВ

***ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ ПРИМИРЕНИЯ
РОССИИ И ЕВРОПЫ***¹

Qui prodest?

Насколько достижимо в принципе примирение России и Европы? При такой постановке проблемы неизбежно возникает необходимость уточнить, а скорее, даже прояснить и понять самое главное: о примирении кого, с кем и на каких основаниях пойдет речь?

Если рассматривать эту проблему в плоскости господствующего ныне восприятия реальности сквозь призму двусмысленности и лживости таких норм, как Realpolitik и политкорректность, исключительно в плоскости интересов властвующих элит и, шире, в государственных интересах задействованных стран, то никакой, собственно, проблемы здесь давно уже не существует. Ни с той, ни с другой стороны.

Для России ее нет с тех пор, как после распада Советского Союза сформировалась и выявилась сущность ельцинско-путинского режима. Он сложился в ходе распада, но и на базе оставшихся от Союза ССР государственных институтов, его системы, способов и технологии властвования. С тех пор примирение между Россией и Европой на основе их интересов оформилось в виде негласного, неформализованного и, следовательно, не проясненного с позиций права, морали и нравственности консенсуса между ними, суть которого следующая.

– Мы (Россия) вам (Европе) будем поставлять сырье, энергоресурсы, нефть, газ. Кроме того, мы даже закроем вместе с вами глаза на ответственность западных демократий за мировые кризисы и войны в XX–XXI вв. и за последствия этих кризисов и этих войн в нашем сегодня. А вы закройте глаза на наше (российское) понимание и нашу практику реализации свободы, собственности, демократии и прав человека. И сохраните тайну и

¹ Статья основана на материалах выступлений на XXI Экономическом форуме «Европейские дилеммы: партнерство или соперничество», организованном варшавским Институтом восточных исследований (7–9 сентября 2011 г., Крыница-Здруй, Польша).

неприкосновенность наших (правителей и владельцев России) авуаров в ваших банках.

Тогда проблемы действительно нет. Но в таком случае из всех многочисленных смыслов слова «reconciliation», внесенного в повестку одного из семинаров XXI Экономического форума, его лучше, точнее и полнее всего будет выражать синоним этого слова на иврите – киппур, термин иногда переводят на русский как «примирять», но по смыслу он означает нечто совсем иное – покрывать (имеется в виду: скрыть от кого-то грешника (или его грех)).

Что конкретно это означает применительно к России сегодня? Если исходить из реального содержания и смысла ее нынешнего примирения с Европой – на основе взаимных интересов, а вовсе не гуманистических ценностей? Что именно приходится при этом покрывать, прятать в тени, каких грешников или чьи и какие именно грехи требуется непременно скрывать? И возможно ли вообще взаимное умиротворение, избавление от демонов, от многочисленных скелетов в русских и в европейских шкафах, если скрывать смыслы наших отношений, а консенсусы выстраивать исключительно на интересах? Пусть эти консенсусы остаются такими, какие они есть – негласными, как правило, неформализованными и даже невербализованными, а потому зачастую и сомнительными, даже лживыми, а в итоге всегда хрупкими.

Легенды и мифы новой России

Что касается России, то здесь надо удерживать в тени, скрывать, оставлять в зоне забвения и непонимания следующее.

1. С легкой руки победителей, пришедших к власти с Ельциным, в сознании значительной части наших сограждан и в академических кругах утвердилась мифологема об историческом транзите. Ее суть такова: в 1991 г. в России произошла мирная демократическая либеральная революция. К власти пришли, соответственно, либералы и демократы и под их руководством начался трехфазовый переход: а) от самовластия и диктатуры к демократии; б) от плановой экономики к рынку; в) от империи к национальному государству и открытому обществу. Словом, произошел исторический транзит: от плохого к хорошему, из несвободы в свободу, от азиатского деспотизма и сталинского тоталитаризма – к западной демократии с конкурентной экономикой и всеобъемлющей транспарентностью.

Подобная мифологема пришлась по вкусу не только самим автонным триумфаторам. Ее восприняли как реальность и победители в холодной войне – США и их европейские союзники. Еще бы! За что боролись... Глобальное противостояние двух миров закончилось, началась эпоха всеобщего примирения. Россия движется в направлении западной

цивилизации, встает типологически, т. е. по типу своей исторической динамики, в один ряд со всеми остальными странами Центральной и Восточной Европы.

Если разделять эту иллюзию в отношении России, то все скелеты в шкафах должны остаться на своих местах. В этом случае обеим сторонам придется скрывать, упрятывать, извращать основополагающие истины и самые важные положения, необходимые для подлинного примирения России и Европы на основе гуманистических ценностей.

Распад СССР и становление новой России действительно представляют собой важный момент, очередной этап, знаменательное событие. Но – момент или событие – чего..? Ответ очевиден – углубления распада СССР, разложения его не только как страны, но и как определенного типа экономики, общественного устройства, системы властвования и государственности. То есть этот процесс представляет собой не движение по восходящей, не переход к положительной социальной динамике, а продолжение все того же русского кружения, когда с каждым витком углубляется вековечная колея в болотной трясине.

2. Необходимо скрывать и сущность установившейся в России власти, ее грешников и грехи. Вполне достаточно оснований (демография, экология, экономика, социальность, медицина, мораль, нравственность), чтобы характеризовать нашу сегодняшнюю власть не только как продукт деградации и явного разложения прежней советскости. Ее можно определить и как результат возрождения (по глубинному родству) в иных условиях, в другой социокультурной среде, в новых формах и почти неузнаваемых одеждах все того же сталинского тоталитарного режима. Это неототалитаризм.

Чтобы за новыми одеждами, во всех существенных и разнообразных изменениях внутренней и международной среды разглядеть неототалитарную сущность нынешнего общественно-государственного устройства, надо погрузиться на предельно возможную глубину взаимоотношений власти и социума, увидеть их вместе как сообщающиеся сосуды. Тогда становится очевидным: природа и суть российского неототалитаризма – в его античеловечности.

Человек как личность, суверен и гражданин ельцинско-путинскому строю не нужен. Его надо расчеловечить, довести до архаики выживания, до животных инстинктов. В сталинские времена расчеловечивания индивида достигали насильственным усреднением всего социума – созданием искусственной социальности, где все население было превращено в служащих государства и таким образом посажено на короткий поводок полной от него зависимости. С одинаковым для всех жалованьем, на которое нельзя было жить – только существовать.

Теперь аналогичной цели – расчеловечивания – достигают по-другому. Общество столь же целенаправленно атомизируется и превращается в бесформенную массу, так же искусственно формируется, но теперь уже современными методами: «политтехнологически» – устранением большей части населения от самостоятельного, активного участия в экономической и политической жизни. Если в сталинском тоталитаризме обескультуривание социума, превращение людского сообщества в аморфную массу, движимую инстинктами, достигалось посредством бессудных убийств, массовых репрессий, угрозой смерти, тотальным физическим и идеологическим террором, то сегодня произошли важные изменения. Довольно часто звучащее наивно-утешительное возражение: «Ну, ведь теперь же не убивают», – не должно вводить в заблуждение. Устрашить людей, довести их до состояния перманентного страха и безмолвной покорности вполне можно, как показывает практика наших дней, регулярными, «точечными», громкими и никогда не раскрываемыми убийствами.

Растление совершеннолетних

Главное злодеяние путинской власти, которое ей самой очень хотелось бы скрыть и за которое с ней нельзя входить в какое-либо примирение, – это не прегрешение и даже не преступление на языке обычной юриспруденции, но нечто большее. Хотя обвинений и в смысле уголовного права не счесть. Все СМИ заполнены сообщениями о том, как власть расхищает национальное достояние России, приватизирует собственность страны и само государство, о «переделах», рейдерских захватах приглянувшейся нашей «элите» собственности и имущества, о ее дворцах и замках по всему свету, об офшорах. Власти предъявляют (пока не в судах) обвинения по квалификации Нюрнбергского трибунала – военные преступления и преступления против мира.

Даже если все это когда-нибудь будет доказано юридически, отвечать нынешней власти перед историей придется за гораздо более серьезное – превращение России в сырьевой придаток остального мира и последствия этого превращения. В погоне за личным обогащением и несменяемостью, чтобы овладеть и распоряжаться финансовыми потоками, власть саботировала диверсификацию российской экономики. Экспорт сырья стал главным источником и основанием дохода сросшихся бизнеса и власти. А большая часть населения оказалась просто ненужной, лишней для такой экономики. Отсюда безработица, дотационные регионы, приток иммигрантов, отток мозгов и капиталов, разбухшие бюрократия и карательные структуры.

Присвоение *de facto* финансовых потоков и национальных ресурсов привело к созданию сложной многоуровневой иерархии рентодержателей

и рентополучателей. Архаизация социальных отношений до самых примитивных – патримониальных, рентных, а способов регулирования этих отношений – до бандитских (по договоренностям, «по понятиям») сделала коррупцию главным и единственно эффективным средством управления и удержания стабильности. Если говорить языком современного российского Уголовного кодекса, наша власть превратилась в огромную – на всю страну – «организованную преступную группу», втянув в подвластные криминальные структуры значительную часть населения. Ложь и незаконные стали государственной нормой. Правоохранительные органы и государственные силовые структуры сделали главными вершителями и «крышевателями» преступлений. Произошла всеохватывающая структуризация власти и значительной части населения на зоологической, инстинктивной, криминальной основе.

Если в свете сказанного определить результат воздействия ельцинско-путинской власти на российское общество (точнее население), то его можно выразить в двух словах: эскапизм и энтропия.

Эскапизм – то состояние, в которое власть насильно загнала подавляющую часть населения России. Еще Герцен заметил, что государство расположилось в России как оккупационная армия. Сегодня враждебность русской власти к своему населению в очередной раз достигла апогея. Ответная враждебность тем не менее пока массово не выплескивается наружу, поскольку у общества (населения) еще нет способности к организованному протесту и уже нет воли для протеста стихийного. Каждый ищет и находит свою нору.

Энтропия, постоянно нарастающая в обществе, свидетельствует уже не об очередном кризисе, а об умирании, уходе с исторической сцены русского социокультурного типа самодержавного властвования и рабского жизнеустройства. Но нынешней власти удалось все-таки в интересах самосохранения и на сей раз сыграть на русских архаизмах, которые актуализировались в условиях глубочайшего кризиса последних двух десятилетий. Особенно удалась игра на древнейших и наиболее устойчивых струнах – на патернализме и способности выживать в социальном пространстве за пределами морали, нравственности и человеческого достоинства, не различая добро и зло, на уровне животного существования, на грани жизни и смерти.

Обе эти сущности – эскапизм и энтропия – наиболее наглядно проявляются в том, что мы предстали сегодня страной манекенов и симулякров. Параллельно со стихийным самоструктурированием России на основе теневых отношений и коррупции власть осознанно и целеустремленно занималась строительством здесь же, на той же стройплощадке, второй – виртуальной, мнимой – реальности. За два десятилетия страна покрылась густой сетью всевозможных институтов, партий, общественных советов,

комитетов содействия, судов, прокуратур, академий, фондов, комиссий, полиций и министерств. Мир не знал еще такого размаха в созидании пустоты и столь глубокой пропасти между мнимым и действительным в одном и том же учреждении, в одной и той же жизни, в каждом человеке. Только гениальные Гоголь и Булгаков оказались способны подсмотреть из своего далекого прошлого фантазмагорическую реальность и холодящий кошмар нынешней России.

Опасные недомолвки

Вот такая получается невеселая картина, если смотреть на Россию из России и на возможность ее примирения с Европой с точки зрения европейских же гуманистических ценностей, а не сквозь призму государственных интересов обеих заинтересованных сторон.

Но так оценивать происходящее можно, только будучи одержимым поиском истины. И ничем другим, включая чьи бы то ни было интересы. Однако история показывает: человек всегда жил и продолжает жить не истиной, а необходимостью выживания. Случались, правда, исключения. Один ради истины пошел на Голгофу. Другие решались проделать «путь наверх» через костры инквизиции. Может быть, мы потому и живем, что исключения все-таки были. Допускаю, что и само выживание возможно только через постижение истины.

С такими мыслями я перечитываю Варшавскую декларацию по случаю Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов от 23 августа 2011 г. Она вызывает у меня противоречивые чувства и мысли.

Если вдуматься в Декларацию с позиций истины, испытываешь естественное удовлетворение от того, что теперь с одобрения всех общеевропейских структур – Европарламента, Совета Европы, Евросоюза – такая дата в календаре есть. Это во-первых. Кроме того, вполне обоснованно коммунизм, национальный социализм или любой другой тоталитарный режим в тексте Декларации оказались в одном ряду. У подобных режимов есть, разумеется, много различий, в том числе и существенных. Но их делает типологически сопоставимыми и объединяет самая главная, глубинная сущность – античеловечность. Все они поэтому «ответственны за большинство позорных актов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений»¹.

Однако есть два важных положения в этой Декларации, вызывающих у меня в одном случае несогласие в порядке дискуссии, а в другом – идейное возражение и даже решительный протест по существу.

¹ Режим доступа: <http://gelios-ya.livekuban.ru/blog/407530>

Первое: о возможном возрождении тоталитарных режимов говорится гипотетически, как о назидании для будущих поколений, способных из-за недостаточного понимания и короткой памяти повторить ошибки предшественников. Возможно, подписавшие Декларацию остались в плену все той же политкорректности, и им оказалось неудобно назвать кошку кошкой в чужом доме. Но сегодняшняя Россия с возрождающимся и пока что неопознанным Западом тоталитаризмом – уже факт. Для Европы и всего мира этот неопознанный и неназванный факт – такая же опасность, как терпящий аварию самолет с атомной бомбой на борту.

Второе возражение – идейного содержания; я бы даже сказал, исторического смысла. Говоря о жертвах тоталитарных режимов, подписавшие Декларацию обходят проблему ответственности самих западных демократий за мировые кризисы и войны в XX–XXI вв. Тем самым умалчивают о своей ответственности, пусть опосредованной, за жертвы тоталитарных режимов. Ведь эти режимы явились следствием и продолжением именно мировых кризисов и войн. Этим возражением я хочу сказать, что постижение истины о страданиях, причиненных людям теми или иными странами, о человеческих жертвах – не в выяснении степени вины. Речь идет о нетленных ценностях, о системе нравственных координат. Если начала нравственности человека – в его способности различать добро и зло, то ее апогей в истории человечества – в двух словах, сказанных на все времена великим Мартином Лютером: *mea culpa* (моя вина).

У мирового кризиса 2008 г. не только вполне вероятное «большое будущее»: сегодня весь мир замер в тревожном ожидании его еще более глубокого и бурного продолжения. У кризиса не менее грандиозная, весьма продолжительная и поучительная история – история становления и самоуничтожения капитализма. Начало этой истории просматривается уже в английской политике «меркантилизма» XV в. и в учении французских физиократов XVIII в. Продолжение складывается из следующих знаменательных вех: мировой кризис 1929 г. и Великая депрессия, «новый курс» президента Ф. Рузвельта, модель государства «всеобщего благосостояния» на основе бюджетного дефицита, разработанная британцем Дж.М. Кейнсом и проводившаяся в США с прямым государственным участием вплоть до начала 1970-х годов. Далее – сменившая ее неолиберальная, или, точнее, либерально-монетаристская, модель невмешательства государства в экономику, «рейганомика» с «тэтчеризмом», опирающиеся на теории Ф. Хайека и М. Фридмана. Следствием и продолжением мировых качелей «вмешательства-невмешательства» было сначала высвобождение доллара от его соотнесенности с золотым содержанием, а затем и от соотношения труда и капитала в финансовых операциях вообще. Тогда и были заложены основания для «надувания пузыря».

Уже в период между двумя мировыми войнами проявилась потребность капитала в Европе и во всем мире в независимости от национальных границ. Такая потребность воплотилась тогда в политике «умиротворения» по отношению к гитлеровской Германии, в Мюнхенском соглашении, в пакте Риббентропа – Молотова. И все это вместе имеет прямое отношение к развязыванию Второй мировой войны.

Окончание этой истории сегодня видится по-разному. Кто-то говорит, что капитализм в очередной раз уперся в непреодолимую стену или снова зашел в тупик. Другие (как, например, российский исследователь А. Пелипенко) полагают, что современный Запад – это не исторически неизменный светлый берег окончательного решения всех цивилизационных проблем. Пути его собственных трансформаций неясны, и перспективы не столь оптимистичны. Похоже, поезд западного либерализма... прибыл-таки на конечную станцию.

В любом случае, если держаться истины, а не политических или идеологических предпочтений, надо признать: внутри самого либерализма в эпоху модерна, в пятисотлетнем состязании между стремлением к свободе и стремлением к прибыли историческую победу одержало второе. Такая сокрушительная победа, собственно, и предопределила самоуничтожение капитализма – даже если воспринимать ее не как итог, а лишь как выраженную тенденцию. Этот вывод из истории либерализма делают сегодня многие исследователи самых разных научных направлений. Сошлюсь на одного из наиболее видных – Нуриэля Рубини, либерального экономиста, специалиста в области прикладной макроэкономики, профессора экономики Нью-Йоркского университета и председателя совета директоров консалтинговой фирмы «RGE Monitor». По его мнению, Карл Маркс был отчасти прав, когда утверждал, что глобализация и финансовое посредничество способны выйти из-под контроля, а перераспределение дохода и богатства от труда к капиталу может привести капитализм к самоуничтожению (хотя его мнение о том, что социализм будет лучше, оказалось ошибочным).

Оставим в стороне суждение Нуриэля Рубини о марксовом мнении относительно будущего. Аргументация согласия или несогласия с ним увела бы нас далеко в сторону от темы. Но о крахе неолиберальной или либерально-монетаристской экономической политики на Западе и о будущем России в связи с этим сказать надо.

Именно такая или очень схожая политика последние 20 лет проводилась (и проводится до сих пор) у нас. Изгнанный президентом Медведевым с поста министра финансов Кудрин «пострадал» вовсе не из-за нее, а совсем по другим причинам, не имеющим к этой политике никакого отношения. Наоборот! Только что «удаленного» Кудрина все, включая президента, со всех сторон и на все лады, публично, по всем телеканалам ста-

ли расхваливать как ярчайшее олицетворение такой политики, как лучшего специалиста, ни с кем не сравнимого профессионала неолиберальной монетаристской макроэкономики. «Поделом вору и мука...». Ведь именно на этой политике он лично сумел интегрироваться в западную мировую финансовую структуру. А благодаря ему, вслед за ним и на той же самой его – а лучше сказать, путинской – политике туда же интегрировалась на личном уровне и вся остальная российская «элита». Но и это полбеда.

Пережила бы Россия такую утрату, обошлась бы без своей «элиты», даже, наверное, без ее авуаров в западных банках. В том-то и дело, и беда в том, что не только «элита» в личном качестве интегрировалась в западные структуры. Руководствуясь личными интересами (обогащение и минимизация рисков), отечественная властная верхушка и денежные тузы, «породнившись» с Западом на основе именно монетаристской макроэкономики, обеспечили интеграцию с Западом не только для себя (в качестве залога), но и для всей уродливой экономики России, ее финансовой системы. На унижительных для нашей страны и нашего народа условиях финансово-экономического обслуживания Запада – сырьевого и внешнеполитического (с приставного стульчика).

Привычная «модернизация» архаики как приговор

Но и такими печальными констатациями не исчерпывается и даже толком не обозначается проблема «Россия и Европа сегодня».

Еще с допетровских времен Европа была для России своего рода «светом в окошке». Поэтому и осталось навсегда в нашей исторической памяти воспоминание об «окне», которое Петр туда прорубил. Даже когда ненавидели Европу со всем ее «латинством», мы продолжали ею восхищаться. И сегодня, когда наши правящие и думающие «классы» говорят о реформах (точнее, пока только грозят, что они будут непопулярными), они воспроизводят весьма смутное представление о либеральных реформаторстве и о либерализме – лишь как о повторении западного пути.

В России пока что остается за пределами понимания важнейшее обстоятельство. Западный либерализм, как его толкуют и 20 лет на практике навязывают россиянам наши либерал-демократы, в корне несовместим с русскими национальными традициями и прямо им противоречит. Подобно всем Романовым и всем генсекам, наши «реформаторы» подсматривают в то самое «окно» и выискивают: что бы там позаимствовать? (А лучше – украсть...) Какие наиболее привлекательные формы – технологии, учреждения, техники внедрения, способы организации? Формы, с помощью которых можно было бы потом побольнее ударить по той же Европе. Вникать в смыслы и постигать их генетику нашим «реформаторам» недосуг. С учетом особенностей русской ментальности, а также того печального

опыта европейского либерализма, о котором шла речь, можно было бы подумать об основательно русифицированной версии европеизма. И здесь совсем не все безнадежно... За исключением того, что время, к сожалению, не просто течет, но стремительно утекает.

На становление европейского модерна ушло 500 лет. За это время оказалось наработано не только то, что опрокидывает сегодня западный либерализм, т. е. не только глобальный капитализм. Европейский Модерн — это еще и становление Нового времени, а оно, в свою очередь, вобрало в себя столетия Античности, иудеохристианства и Средневековья. В плане предметной содержательности предшествующих модерну эпох это было время становления права, морали, нравственности и религии. Основные вехи европейского модерна — эпохи Реформации, Возрождения и Просвещения. Цивилизационным содержанием каждой из них является, соответственно, утверждение трудовой этики, личности как основной ячейки и основы общества и разума вместо всеподавляющего господства мифов, мистики и религии.

У нас не было западных Античности и Средневековья, нет и пятисот лет, чтобы пройти Новое время сначала, но по-русски. И перепрыгнуть через все блага цивилизации, наработанные за это время, тоже никак не получится.

Остается слабая надежда, скорее, даже фантазия, что решить накопившиеся к Новому русскому времени задачи можно одним махом, за несколько лет, мощным рывком. Освободить пространство, на котором бы началось не просто очередное изменение, а развитие России. Да сделать этот рывок не поголовным уничтожением одних другими, а отысканием принципиально нового, «срединного» начала. Нетрудно догадаться, что в данном случае речь идет — ни много, ни мало — о смене самой русской парадигмы. Но за 76 + 20 лет наш социум исковеркан так, что в нем уже нет ни способности хотя бы помыслить такой рывок, ни тем более хотения и воли, чтобы на него решиться.

**СВОБОДА И РЕФОРМЫ
В ИСТОРИИ РОССИИ**

А.Б. КАМЕНСКИЙ

***К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ
СМЫСЛА КОНЦЕПТОВ «СВОБОДА» И «ВОЛЬНОСТЬ»
В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ XVIII в.***

В мифологии русского национального характера понятия «свобода» и «вольность/воля» занимают едва ли не столь же почетное место, как «соборность», «духовность», «щедрость» и некоторые иные абстрактные понятия, в отличие от «свободы», не имеющие, впрочем, юридического основания. Свободолюбие, как считается, искони присуще русскому человеку, чему, как опять же принято считать, не могли не способствовать бескрайние просторы среды его обитания (см.: 10; 13; 15). Подобные образы национальной мифологии находятся в резком противоречии с историческими реалиями или по крайней мере с представлениями о них в исторической науке. Большинство ученых сходятся во мнении, что несвобода была присуща русскому обществу на всех этапах истории России гораздо в большей степени, чем свобода, хотя, например, точного, разделяемого всеми определения характера Московского государства XV–XVII вв. в историографии не существует, а о сути политической власти в имперский период ведутся ожесточенные споры. И дело не только в том, что до 1861 г. основная масса населения находилась в крепостной зависимости, но и в том, что, как принято считать, несвободны были и все остальные слои русского социума, гражданского общества в дореволюционной России так и не сложилось, а гражданские права были впервые гарантированы лишь Манифестом 17 октября 1905 г.

**Современная историография о соотношении понятий
«воля/вольность» и «свобода»**

Впрочем, в России последних лет наблюдается тенденция представить отечественную историю как «нормальную» на том основании, например, что ужасы опричнины Ивана Грозного не идут ни в какое сравнение с кошмарами испанской инквизиции, а крепостное право было

отменено на два года раньше, чем рабство в США¹. В то же время и в западной историографии России, в первую очередь опять же в США, появилась своего рода ревизионистская концепция, поставившая под сомнение всемогущество русского государства на разных этапах его существования и, в частности, его способность контролировать все сферы жизни своих подданных². И если аргументы первой группы находятся преимущественно за рамками научного дискурса, то основанные на эмпирическом материале исследования западных коллег, предлагающие альтернативную доминирующей в западной историографии точку зрения, игнорировать, конечно же, невозможно. Эти исследования показывают, что, с одной стороны, в условиях ограниченности ресурсов государства существовали неконтролируемые им и весьма значимые пространства личной свободы, а с другой – в силу той же ограниченности государство старалось поддерживать своего рода консенсус между отдельными группами населения, которые были далеко не так бесправны, как принято считать. Причем, правами обладали все слои населения – от высших до низших – и это делало их частью единого целого.

Подобные попытки пересмотра и переосмысления привычных историографических штампов находятся в русле характерного для современной исторической науки стремления понять прошлое через его же, прошлого, реалии и категории, всячески избегая модернизации смысла используемых понятий. Применительно к теме данной статьи очевидно, что если в современном нам обществе степень личной свободы определяется фиксацией гражданских прав в законах, имеющих, как правило, достаточно четкие дефиниции, а также тем, как они исполняются, то в отдаленном прошлом действовали другие механизмы, создававшие иную социальную реальность. Собственно, Россия, в частности в раннее Новое время, была не хуже и не лучше своих западноевропейских современников. Она была попросту *иной*, а потому к ней неприменим привычный понятийно-категориальный аппарат, используемый для характеристики государства и общества того же времени в Англии или во Франции. Это один из основных тезисов упомянутой выше ревизионистской концепции современной западной историографии³.

¹ Примечательно, что подобные рассуждения можно обнаружить у таких разных авторов, как С. Кара-Мурза (см.: 8) и В. Аксютин (см.: 1).

² Наиболее характерный пример – исследование Н. Коллмана (см.: 20). Противоположная, традиционная линия новейшей западной историографии представлена работами М. По (см.: 21).

³ Убедительность, перспективность и научная обоснованность подобного подхода не вызывает сомнений. Однако он, на мой взгляд, порождает и ряд методологических проблем, в частности, ставя под вопрос возможность компаративных исследований и в принципе каких-либо оценочных суждений.

Попытка преодоления противоречия между двумя полюсами западной историографии представлена в статье В. Кивелсон с характерным названием «“Гражданство”: Права без свободы» (19). Используя принятую дефиницию понятия *гражданство*, автор доказывает, что подданные московских царей в XVI–XVII вв. обладали практически всем набором прав и возможностей, описываемых этим понятием, но при этом у них не было свободы. Кивелсон полагает, что в Московской Руси «во многих (хотя и не во всех) контекстах слово свобода имело сильную негативную коннотацию» и, будучи «важным элементом московского политического дискурса», ассоциировалось с беспорядком, нарушением покоя, разрушительной силой, а также, что очень важно, с индивидуализмом, в то время как московское общество было основано на коллективизме. «Московиты, – пишет Кивелсон, – просили о коллективной защите, а не о личных правах, и стремились быть зависимыми от царя – его холопами или сиротами – в большей степени, чем свободными гражданами. <...> Они жили в рамках культуры, в которой свобода была скорее отрицательной ценностью» (19, с. 484, 487, 488).

Предлагаемый В. Кивелсон путь примирения двух полярных точек зрения, несомненно, заслуживает внимания, однако показательно, что, постулируя отношение русских людей к свободе, она не подкрепляет свои утверждения ссылками на эмпирический материал. Между тем понятия свобода/несвобода – это тоже понятия исторические, их смысловое наполнение менялось с течением времени, причем не только у русских, но и у англичан, с которыми Кивелсон их сравнивает. Одно из направлений изучения этой проблематики, очевидно, находится в плоскости истории понятий. Особость ситуации придает то обстоятельство, что помимо слова *свобода* и всех от него производных в русском языке имеются слова *воля* и *вольность*.

Рассуждения об их соотношении в изобилии встречаются в сочинениях представителей русской общественной мысли, причем *воля/вольность*, как правило, трактуется как нечто исконно русское, а *свобода* – как понятие скорее чужеродное, в большей степени юридическое, связанное с правами человека и, соответственно, имеющее западное происхождение. В действительности же слова *свобода* и *воля* имеют древнерусское происхождение. При этом, если слова, однозвучные русской *свободе*, мы находим преимущественно в славянских языках и языках балтийской группы, то аналоги *воли* обнаруживаются и в языках западноевропейских народов (16, т. 1, с. 347–348; т. 3, с. 582–583). А.М. Песков отмечает, что «исходное слово – *воля* – кроме синонимичности слову *свобода* имеет и другие значения: *желание, власть, способность или возможность осуществить свои желания, демонстрировать свою власть*. Подобное значение имеют в других европейских языках слова, этимологически родственные русской

воле: volo, volui (лат.) – желать, хотеть; *volonté* (франц.) – воля, желание; *will* (англ.), *Wille* (нем.) – воля» (14).

Однако одновременно слово *воля* парадоксальным образом воспринимается как нечто символизирующее русский национальный дух и потому непереводаемое ни на один другой язык, в то время как свобода «переводится на все языки и всеми народами понимается». Автору этого утверждения филологу А.Г. Лисицыну принадлежит диссертационное исследование «Анализ концепта свобода-воля-вольность в русском языке». По его мнению, все дело в «ограниченности свободы законом и незаконности воли» (9). Развивая эту мысль, можно прийти к выводу, что русский национальный дух характеризуется неприятием законности. Ничего неожиданного в этом нет, если не считать того, что упомянутые выше работы западных коллег, настаивающих на наличии у москвитов гражданских прав, основываются на наблюдениях за функционированием права и работой судебной системы.

По мнению Лисицына, «расхождение слов свобода и воля с точки зрения социальных сфер употребления» начинается после установления крепостного права. С этого времени слово *воля* обозначает утраченное и потому желанное народное право. Слово широко употребляется в речи простого народа. Понятие же личной свободы актуально лишь «для власть имущих». При этом «слово свобода... не сразу становится основным именем концепта в дворянской культуре. В XVIII веке наблюдается конкуренция имен свобода и вольность. Концепт свобода приобретает общественно-политический смысл. Происходит это в процессе общего оформления общественно-политической лексики в XVIII веке и связано с развитием идей Просвещения в России» (9)¹.

«Воля» и «освобождение» в Соборном уложении 1649 г.

Если следовать этой логике и исходить из того, что институт крепостного права сложился к концу XVI в., то «внезаконность» воли, как кажется, должна была бы привести к исчезновению этого слова из юридического языка. Однако обращение к Соборному уложению 1649 г. показывает, что это не так. Слово *воля* встречается здесь в главе XX «Суд о холопех». Так, ст. 15 гласит:

«А будет кого судом Божиим не станет скорою смертию, а после его останутся кабалные люди, а жена и дети, или братия того умершаго тех кабалных людей от себя отпустить не похотят, и отпусных им не дадут, и те люди о том учнут на них бити челом государю, и по тому их

¹ Примерно об этом же со ссылкой на работу А.Д. Шмелева (17) пишет и А.М. Песков (см.: 14).

челобитью, сыскав про то допряма, что они у боярина своего служили по кабальному, а не по старинному холопству, и их того умершаго боярина от жены и от детей и от братии **свободить**, и **дати им волю**. И кому они **учнут с воли бити челом в холопство**, и тем людям на них дати кабалы, по сыску, и без отпускных» (здесь и далее выделено мной. – А.К.) (12, с. 210–211).

Аналогичные сочетания производных от слов свобода и воля находим в ст. 47 («А кто на холопа возьмет кабалу отец с сыном, или брат з братом или дядя с племянником вместе, и учнут на тех людех по тем кабалам холопства искати, и тем исцом по таким кабалам отказывати, и таких людей, на кого они такая кабалы в суде положат, от них **свободити на волю...**») и 64 («Да будет на тех спорных людей в кабалных записных книгах кабалы в записке объявятся, а иманы на них те кабалы имянем того, кто их в духовной напишет жене и детем, и тех холопей того умершаго от жены и от детей **свободити, и дать им волю**») (12, с. 216, 218).

В приведенных примерах *воля* – это состояние отсутствия юридически оформленной зависимости. Обретение воли осуществляется через *освобождение*. Однако не всякая юридическая зависимость влечет за собой неволю. Так, в ст. 33 главы XIX «О посадских людех» говорится:

*«А которые московские и городовые тяглые люди жили на тягле сами, или тяглых отцов дети, а были в полону в разных местех, и тем жити, где кто похочет, для того, что они от тягла **свободилися полною**»* (12, с. 206–207).

В данном случае речь не о личной, полной зависимости, или, выражаясь юридическим языком, отсутствии правосубъектности, которое предполагало состояние холопства, но лишь об определенном виде обусловленной социальным статусом повинности, несение которой не означает неволи. Одновременно важно заметить, что производные от слова *свобода* употреблены здесь именно в связи с актами юридической зависимости, т.е. в сугубо правовом контексте.

Однако в той же главе XX Соборного уложения встречается и пример иного рода (ст. 100):

*«А которые купленные люди татаровя новокрещеные останутся после кого умершаго, а духовных после умерших не останется, или духовных и останутся, да тех новокрещеных в тех духовных никому в надел будет не написано, а как они куплены, и в купчих про них того будет не написано же, что их тот, после кого они останутся, купил себе и жене своей и детем, а жены или дети тех умерших на **волю** их не отпустят для того, что они их купленные люди, а те купленные люди учнут бити челом государю о них **о свободе** потому, что они им в духовных и в купчих не написаны, и тем купленным людям по смерти тех людей, кто их купит, быти у жон их и у детей...»* (12, с. 226).

Этот пример интересен тем, что, на первый взгляд, существительное *свобода* употреблено здесь как синоним *воли*. В действительности же это не существительное, но редуцированная глагольная форма, и соответствующий текст может быть прочитан, как *бити челом государю о них об освобождении*.

Примечательно, что в приведенных примерах понятия воли/неволи употреблены исключительно применительно к холопам, т.е. к той категории населения, чье положение, согласно утверждениям западных историков – сторонников представлений о несвободе как характерной черте всей русской истории, было аналогом рабства (см.: 18).

Категории свободы и вольности в законодательстве Петра I и его наследников

Полсотни лет спустя в одном из ранних указов Петра I мы вновь встречаемся с подобным словосочетанием, но уже в ином контексте:

«По указу Великого Государя велено свободных людей и крестьян, которые будут от помещиков и вотчинников своих освобождены на волю, и которым доведется отпускныя дать из приказу Холопья суда, отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в солдаты, и тех иметь в солдаты»¹.

В данном случае речь идет уже не о холопах, а о крестьянах. Это заставляет предположить, что спустя полвека крепостное состояние также стало восприниматься как полная личная зависимость, предполагающая потерю правосубъектности, и связываться с понятиями *воли* и отсутствия таковой. При этом стоит заметить: согласно тому же указу, холопы фактически имели право записываться в солдаты без разрешения их хозяев, в то время как крепостных крестьян было велено возвращать помещикам, которые взамен должны были поставлять в армию даточных людей из дворовых.

С точки зрения интересующей нас темы примечателен также петровский Манифест о вызове иностранцев в Россию 1702 г., особенность которого в том, что он был адресован именно иностранцам. В тексте этого документа неоднократно встречаются слово *свобода*, производные от него и слово *вольность*:

«И понеже здесь в столице нашей уже введено свободное отправление богослужения всех других, хотя с нашею церковию несогласных христианских сект, того ради и оно сим вновь подтверждается...

И буде при наших армиях отдельные офицеры или же целые корпуса, состоящие из полков и рот обретаются, при коих находятся пропо-

¹ Указ о наборе в солдаты вольноопределяющихся 23 декабря 1700 г. // ПСЗРИ [Полное собрание законов Российской Империи]. – СПб., 1830. – Т. 4. – № 1820. – С. 93.

ведники, то и они имеют без сомнения пользоваться всеми теми выгодами, преимуществами и **вольностями**, каковыя мы даровали таковым церквам здесь в столице, в Архангельске и в иных местах...

*А дабы все те, которые в нашу службу вступят, уверены были, что они не будут лишены **свободы** оставлять нашу службу, того ради мы их сим обнадеживаем...*» (7, с. 535–537).

Особенно примечательны два последних примера. В обоих случаях речь по существу идет о правах – неправославных проповедников и военнослужащих-иностранцев – и при этом слова *вольности* и *свобода* употреблены фактически как синонимы. Применительно к *вольности* подобное словоупотребление прямо противоречит отмеченному А.Г. Лисицыным одному из значений этого слова как «недозволенности, престаупающей определенной нормы», в чем, по его мнению, и выражена «внезаконность» воли (9). Слово *свобода* как обозначение права можно обнаружить и в других законодательных актах петровского времени.

Так, к примеру, в Указе «Об отмене рядных и сговорных записей» 1702 г. читаем:

*«А буде кто дочь или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова сговорит замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за шесть недель, и буде обручатся, а после сговору и обрученья жених невесты взять не похочет или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть **свободе**, по правильному Святых Отец разсуждению...»* (7, с. 718).

В Воинском артикуле 1716 г.:

*«...Таковому обиженному **свободно** есть о понесенном своем безчестии и несправедливости Его Величеству, или в ином пристойном месте учтиво жалобу свою принести, и тамо о сатисфакции и удовольствовании искать и ожидать оныя»* (артикул 24).

*«Хотя он, сверх своей очереди, иногда с досады от своего офицера на работу командирован, однако ж не надлежит от оной укрываться и отбыть, но надобно оное исправить. А по окончании той работы **свободно** есть ему о неправом командировании жалобу принести, что и во всех других командированиях смотреть надобно»* (артикул 52) (11, с. 84, 90).

В Генеральном регламенте 1720 г.:

*«Также каждому члену **свобода** даетца, ежели голос его принят не будет, а он ко интересу Его Царского Величества благооснованным, и полезным быть разсудит чрез нотариуса в протокол велит записать...»* (11, с. 172).

Вместе с тем социальная политика Петра объективно, как известно, была направлена на усиление несвободы всех слоев населения. Так, характеризую указ 1721 г., разрешавший мануфактуристам покупать крестьян

для работы на фабриках и заводах, Е.В. Анисимов отмечает, что «были резко сужены возможности найма на предприятия свободных людей: состояние вольного, не связанного тяглом, службой или крепостью человека было признано криминальным» (2, с. 294). Окончательный удар по этой категории населения, по его мнению, был нанесен уже аннинским Указом от 7 января 1736 г., закрепившим за владельцами всех работавших в данный момент на предприятиях рабочих. Согласно Указу, принимать на работу разрешалось только «вольных с пашпортами»¹. Анисимов также обращает внимание на Указ Анны Иоанновны о судьбе кн. А.А. Черкасского, в котором предписывалось: «Из Сибири его свободить, а жить ему в деревнях своих *свободно без выезда*». «Вот так, – иронизирует историк, – которое уже столетие, и живем мы – “вольными с паспортами” и “свободными без выезда”» (2, с. 295).

Действительно, образный язык аннинских указов как нельзя лучше описывает ситуацию многовековой несвободы русского человека, но несвободы в современном ее понимании. С точки зрения законодателя первой половины XVIII в., наличие паспорта, очевидно, эту свободу не только не ограничивало, но, напротив, давало право найма на работу, и, значит, состояние вольности по-прежнему ассоциировалось с правами.

Для того чтобы выяснить, изменилось ли значение категорий *свободы* и *вольности* в эпоху Просвещения, стоит обратиться к текстам, вышедшим из-под пера Екатерины II, и в первую очередь к ее Наказу Уложенной комиссии – своего рода политическому кредо императрицы. Однако прежде необходимо упомянуть о законодательном акте ее предшественника, императора Петра III, в котором оба интересующие нас слова фигурируют в единой связке. Речь идет о знаменитом Манифесте «О вольности дворянства» 18 февраля 1762 г. В тексте его говорится:

*«...Жалуем всему Российскому благородному Дворянству **вольность и свободу**, кои могут службу продолжать в Нашей Империи, так и в прочих Европейских союзных Нам Державах...»*².

Сама эта формулировка указывает на то, что, с точки зрения законодателя, до появления данного Манифеста дворянство вольностью не обладало, и, следовательно, составитель этого документа, кто бы он ни был, еще не рассматривал ее в духе концепции Просвещения как естественное право человека. А раз это право не естественное, не данное от рождения, то, значит, оно может быть пожаловано монархом. Но для чего потребовалось ставить в один ряд слова *вольность* и *свобода*? В качестве гипотезы можно предположить, что мы имеем дело с не слишком удачным грамма-

¹ ПСЗРИ (Первое собрание). – СПб., 1830. – Т. 9. – № 6858. – С. 709.

² Там же. – Т. 15. – № 11 444. – С. 913.

тическим оборотом и читать процитированные слова надо следующим образом: вольность и свободу (т.е. право) службу продолжать.

Екатерининский Наказ о свободе и о вольности/неволе

На страницах Наказа Екатерины II и слово *свобода*, и слово *вольность* встречаются неоднократно, однако с разной частотой. Если слова с морфемой *свобод* употреблены 15 раз, то вольность – 35 раз. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, какое в принципе значение имел данный концепт для политической доктрины Екатерины, основанной на идеях Просвещения, а с другой – о том, что явное предпочтение по-прежнему отдавалось слову *вольность*. При этом надо иметь в виду, что Наказ первоначально был написан по-французски и затем переведен на русский язык Г.В. Козицким, С.М. Козьминым и Н.Н. Могонисом, хотя не вызывает сомнений, что Екатерина этот перевод прочитала и согласилась с принятым в нем словоупотреблением. Одновременно с этим от Наказа, который, в сущности, был первым русским текстом правового характера и в котором предлагалась трактовка политической свободы, трудно ожидать полной терминологической ясности.

В Наказе слова с морфемой *свобод* употребляются в нескольких смыслах. Во-первых, это лишение личной свободы посредством заключения под стражу и тюремного заключения:

*«Но ежели законодательная власть мнит себя быти в опасности по некоему тайному заговору противу Государства или Государя, <...> то она может <...> дозволити власти, по законам исполняющей, под стражу брать подозрительных граждан, которые не для иного чего теряют свою **свободу** на время, как только чтоб сохранить оную невредимую навсегда»* (ст. 136).

*«...Людей, кои порук по себе сыскать не могут, законы во всех землях лишают **свободы**, покамест общая или частная безопасность того требует»* (ст. 137).

*«Тот погрешит против безопасности личной каждого гражданина, кто правительству, долженствующему исполнять по законам и имеющему власть сажать в тюрьму гражданина, дозволит отымать у одного **свободу** под видом каким маловажным, а другого оставляти **свободным**, несмотря на знаки преступления самые ясные»* (ст. 160).

*«Быть под стражею не должно признавать за наказание, но за средство хранить опасно особу обвиняемого, которое хранение обнадествивает его вместе и о **свободе**, когда он невиновен»* (ст. 172).

«Смерть злодея слабее может воздержатъ беззакония, нежели долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного

своей свободы для того, чтобы наградить работою своею, чрез всю его жизнь продолжающуюся, вред, им сделанный обществу» (ст. 212)¹.

Другое встречающееся значение – это уже знакомое нам по более ранним законодательным актам освобождение от личной зависимости, предполагающей потерю правосубъектности. В этом смысле слова с морфемой *свобод* употреблены дважды и прежде всего в знаменитой ст. 260 главы XI, где речь идет о рабстве, но, как было понятно всем современникам Екатерины, в действительности – о крепостном праве:

«Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных».

Стоит обратить внимание на то, что освобождение в этой главе прямо противопоставляется неволе:

«...Когда закон естественный повелевает Нам по силе Нашей о благополучии всех людей пеущися, то обязаны Мы состояние и сих подвластных облегчать, сколько здравое рассуждение дозволяет.

Следовательно, и избежать случаев, чтоб не приводить людей в неволю...» (ст. 252, 253).

Как известно, именно глава XI Наказа стала объектом жесткой критики первых читателей Наказа и подверглась серьезной правке. Сохранившийся первоначальный текст этой главы, написанный рукой Козицкого и с правкой Екатерины, дает возможность восполнить некоторые пробелы. Так, слово *неволю* в приведенной выше ст. 253 было вставлено императрицей вместо слова *рабство*. Не вошедшие в окончательный текст Наказа статьи разъясняют:

«Два рода покорностей: одна существенная, другая личная, то есть крестьянство и холопство.

Существенная привязывает, так сказать, крестьян к участку земли, им данной. <...>

Личная служба или холопство... принадлежит больше лицу или особе. <...>

Какого бы рода покорство ни было, надлежит, чтобы законы гражданские... злоупотребление рабства отвратили...» (5, с. 196–197).

Последняя из приведенных цитат показывает, что в понимании Екатерины состояние и собственно крепостных крестьян, и холопов (в терминологии того времени – дворовых) является состоянием неволи, рабства. Далее в этом тексте несколько раз употреблено слово *освобождение* и *свобода* в контексте освобождения от рабства:

«Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имуществва, и привести их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу. <...>

¹ Здесь и далее Наказ Екатерины II цит. по: 5, с. 115–189.

*Надлежит, чтобы законы гражданские определяли точно, что рабы должны заплатить за **освобождение**...*

*Если государственная какая причина или польза частная не дозволяет в некоторых державах сделать земледельцев **свободными**...» (5, с. 199)¹.*

Другое значение слов с морфемой *свобод*, встречающееся в Наказе, связано с физическими возможностями и разного рода обязательствами:

*«Чувствование боли может возрасти до такой степени, что совсем овладев всею душою, не оставить ей больше никакой **свободы** производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали» (ст. 194).*

*«Некоторые Правительстве **освобождают** от наказания сообщника великого преступления, донесшего на своих товарищей» (ст. 203).*

*«Во многих городах в Европе оные сделаны **свободными** в том, что не ограничено число; а могут вписываться в оные по произволению, и примечено, что то служило к обогащению тех городов» (ст. 402)².*

*«Жены у германцев не могли быть без опекуна никогда. Август узаконил, женам, имевшим троих детей, быть **свободным** от опеки» (ст. 436).*

«... Должно прилагать тщание о нижеследующем:

*...Безопасность и твердость зданий, и правила к наблюдению, в сем случае потребные для разных художников и мастеровых, от которых твердость здания зависит, содержание мостовой, благолепие и украшение городов, **свободный** проход и проезд по улицам, общий извоз, постоянные дворы и проч.» (ст. 556.5).*

В последнем случае очевидно, что речь идет не о праве на проход и проезд, а о том, чтобы на улицах строителям не мешали никакие препятствия. Однако в двух статьях Наказа интересующий нас концепт использован в несколько отличном значении. Так, в ст. 517 говорится:

*«Еще бы сие великое было несчастье в Государстве, если бы не смел никто представлять своего опасения о будущем каком приключении, ни извинять своих худых успехов, от упорства счастья происшедших, ниже **свободно** говорить своего мнения».*

На первый взгляд, мы имеем тут дело не с чем иным, как со свободой слова, однако очевидно, что она декларируется тут не как право, а как возможность. Несколько иначе обстоит дело со ст. 98:

¹ В этом же значении слово употреблено в ст. 456 Наказа: «Закон одного Императора Греческого наказывать велит смертию того, кто купит *освобожденного*, как будто раба, или кто такого человека станет тревожить и беспокоить».

² Речь здесь идет о ремесленных цехах.

*«Власть судейская состоит в одном исполнении законов и то для того, чтобы сомнения не было о **свободе** и безопасности граждан».*

В данном случае есть все основания считать, что слово *свобода* тут подразумевает политическую, гражданскую свободу как естественное право человека и один из важных концептов идеологии Просвещения. Но в тексте Наказа оно вступает в неравную борьбу со словом *вольность*, которое служит основным обозначением этого права:

*«Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у людей отнять естественную их **вольность**...»* (ст. 13).

*«И так правление, к сему концу достигающее лучше прочих и притом естественную **вольность** меньше других ограничивающее, есть то, которое наилучше сходитствует с намерениями, в разумных тварях предполагаемыми...»* (ст. 14).

*«Но от сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, который в Державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовати благополучию поданных, как и самая **вольность**»* (ст. 16).

*«Общественная или Государственная **вольность** не в том состоит, чтоб делать все, что кому угодно»* (ст. 36).

*«В Государстве, то есть в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, **вольность** не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, чего хотеть не должно»* (ст. 37).

*«Надобно в уме себе точно и ясно представить: что есть **вольность**? Вольность есть право все то делати, что законы дозволяют; и, ежели бы где какой гражданин мог делати законами запрещаемое, там бы уже больше **вольности** не было; ибо и другие имели бы равным образом сию власть»* (ст. 38).

*«Государственная **вольность** во гражданине есть спокойство духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственно наслаждается безопасностью; и, чтобы люди имели сию **вольность**, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов»* (ст. 39).

*«Гражданская **вольность** тогда торжествует, когда законы на преступников выводят всякое наказание из особенного каждому преступлению свойства»* (ст. 67).

Перед нами – краткое изложение просветительской концепции политической свободы. Как известно, все приведенные статьи Наказа были заимствованы Екатериной у французских просветителей, прежде всего, у Монтескье. Далее в Наказе объясняется, что «проести и волокиты», которые гражданам приходится претерпевать, добываясь в судах защиты своих прав, есть не что иное, как плата за вольность и безопасность (ст. 112); чем

больше государство заботится о защите гражданской вольности, тем сложнее судебные процедуры (ст. 115); судебное решение, вынесенное на основании показаний только одного свидетеля или «ложного какого рассуждения», есть нарушение права вольности (ст. 119, 153); доказательства вины должны быть определены общеизвестными законами, поскольку судебный приговор всегда стремится к ограничению вольности (ст. 158, 165) и более того: «*Вольность* гражданина ни от чего не претерпевает большего нападения, как от обвинений судебных и сторонних вообще; сколь же бы ей великая настояла опасность, если бы сия столь важная статья осталась темною: ибо *вольность* гражданина зависит, во-первых, от изящества законов криминальных» (ст. 467). Наказ предписывает соблюдать особую осторожность в делах о волшебстве и еретичестве, поскольку опыт показывает, что они могут быть угрозой вольности граждан как их естественному праву (ст. 497). Наконец, самые тяжкие преступления – это «беззаконные предприятия противу жизни и *вольности* гражданина» (ст. 231).

Обращает также на себя внимание ст. 379 из главы XVI «О среднем роде людей», который, согласно Наказу, «пользуясь *вольностию*, не причисляется ни ко дворянству, ни ко хлебопашцам». Формирование среднего, или третьего, сословия было одной из важнейших политических задач Екатерины, и подчеркивание его вольного статуса в данном случае вполне естественно. Однако несомненна и определенная двусмысленность: то ли это надо понимать как то, что средний род людей обладает вольностью наравне с дворянством и крестьянством, то ли так, что какой-то род людей этим свойством не обладает, что противоречит представлению о вольности как естественном праве.

Проблема вольности как естественного права человека, согласно Наказу, тесно связана с проблемой смертной казни. Как уже ясно из приведенной выше ст. 212, Екатерина прониклась идеями Ч. Беккариа о бессмысленности смертной казни, но, в отличие от итальянского правоведа, не отвергала ее вовсе, рассматривая как исключительную меру. «Смерть гражданина, – пишет она в ст. 210 Наказа, – может в одном только случае быть потребна, сиречь: когда он, лишен будучи *вольности*, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойство. Случай сей не может нигде иметь места, кроме, когда народ теряет или возвращает свою *вольность*, или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов». При первом взгляде на эту статью можно подумать, что под лишением вольности имеется в виду арест, однако, скорее, вольность здесь надо понимать шире – как лишение гражданских прав. Не случайно состояние «безначалия», согласно Екатерине, означает потерю народом вольности, поскольку в таких условиях государство не может гарантировать соблюдение законов, и противопоставляется в данной статье «обыкновенному обществу состоянию», при котором «не может в том быть ни-

какой нужды, чтоб отнимать жизнь у гражданина». На подобное широкое толкование вольности наводит и знакомство со ст. 212, в которой автор Наказа со свойственной эпохе Просвещения верой в человеческий разум утверждает, что никакой соблазн выгоды от преступления не может перевесить «всцелое и со жизнью кончающееся лишение *вольности*». Иначе говоря, арест еще не лишает естественной вольности – она отнимается с самой жизнью. Подтверждение подобному толкованию находим в ст. 135, которую имеет смысл сопоставить с уже цитировавшейся ст. 137.

Статья 137	Статья 135
<p>Но всего лучше означить точно в законах важные случаи, в которых по гражданине порук принять нельзя: ибо людей, кои порук по себе сыскать не могут, законы во всех землях лишают свободы, покамест общая или частная безопасность того требует.</p>	<p>Если властям, долженствующим исполнять по законам, позволить право задержать гражданина, могущего дать по себе поруки, то там уже нет никакой вольности, разве когда его отдадут под стражу для того, чтоб немедленно отвечал в доносе на него такой вины, которая по законам смертной подлежит казни. В сем случае он действительно волен; ибо ничему иному не подвергается, как власти закона.</p>

Сравнение двух этих статей показывает, что арест, содержание под стражей, согласно Наказу, лишает человека *свободы*, но не *вольности* как естественного права, поскольку он остается под защитой и во власти закона.

В некотором противоречии с такой трактовкой находится ст. 236, в которой речь идет о «проторговавшихся, или выступающих с долгами из торгов». «Для каких бы причин вкинуть его в тюрьму? – вопрошает Екатерина. – Ради чего лишить его *вольности*..? Ради чего подвергнуть его наказаниям, преступнику только приличным, и убедить его, чтоб он о своей честности раскаивался? Пускай почтут, если хотят, долг его за неоплатный даже до совершенного удовлетворения заимодавцев; пускай не дадут ему *воли* удалиться куда-нибудь без согласия на то соучастников; пускай принудят его употребить труды свои и дарования к тому, чтобы прийти в состояние удовлетворить тем, кому он должен: однако ж никогда никаким твердым доводом не можно оправдать того закона, который бы лишил его своей *вольности* безо всякой пользы для заимодавцев его». В данном случае очевидно, что тюремное заключение, означающее потерю свободы, приравнивается к лишению вольности как совокупности гражданских прав, в то время как сам факт финансовых долгов не рассматривается в качестве преступления, влекущего за собой подобное наказание.

Еще одно значение, в котором слово *вольность* употреблено в Наказе, связано со свободой торговли. Как и *вольность* вообще ограничена законом, так законом же должна быть ограничена и свобода торговли. При этом отсутствие таких законов обращается своей противоположностью:

«Вольность торговли не то, когда торгующим дозволяется делать, что они захотят; сие было бы больше рабство оной» (ст. 321).

Необходимо заметить, что сравнение русского текста Наказа с французским показывает, что словоупотребление, несмотря на отмеченные неясности, безусловно, было осмысленным, поскольку русские *свобода* и *вольность* во французском тексте соответствуют слову *liberté*, и, значит, Екатерина и ее помощники не могли не задумываться о том, каким именно словом воспользоваться в определенном контексте. Совершенно не случайно поэтому, как упоминает А.М. Песков, при публикации в 1789 г. в русских газетах «Декларации прав человека и гражданина» *liberté* вновь перевели как *вольность*, тем более что соответствующий текст («Всякое общество обязано иметь главным предметом бытия своего соблюдение естественных и забвению не подлежащих прав человека. Права сии суть: Вольность, Собственность, Безопасность и Противуборство угнетению <...>. Вольность состоит в том, чтобы делать все то, что другому вреда не наносит») имел явную перекличку с Наказом (14).

С учетом колоссальных размеров письменного наследия Екатерины II изучение того, как она употребляла понятия *свобода* и *вольность* и менялся ли со временем их смысл, может стать темой серьезного самостоятельного исследования. Здесь же ограничимся еще несколькими наблюдениями. За четыре года до Французской революции на свет появилась Жалованная грамота дворянству, ст. 17 которой провозглашала: «Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному дворянству *вольность* и *свободу*» (6, с. 34). На первый взгляд, здесь императрица явно отошла от словоупотребления Наказа. Однако ключевым словом данной статьи следует считать слово *подтверждаем*. Подтверждалась норма Манифеста Петра III 1762 г. и, соответственно, Екатерина не могла не воспроизвести употребленную там формулу, ведь речь шла о действующем законодательном акте. Не случайно и следующая ст. 18 Грамоты посвящена тому же сюжету, что и приведенный выше соответствующий текст Манифеста, – праву дворян поступать на службу в союзных России странах.

Однако есть основания полагать, что именно события Французской революции, оказавшие в целом значительное влияние на переосмысление ценностей Просвещения, привели к расхождению смыслов понятий *свобода* и *вольность*, на которые указывают лингвисты. В политическом языке революции *liberté* было частью единой триады «свобода, равенство, братство». Между тем второе слово – равенство – вызывало симпатии далеко не у всех. Так, в письме к А.А. Безбородко, перефразируя слова Вольтера о том, что равенство есть «самая естественная и самая химерическая вещь», Екатерина писала, что масоны пытаются переустроить общество «под ви-

дом незбыточного и в естестве несуществующаго мнимаго равенства»¹. Чуть позднее, имея в виду уже непосредственно события во Франции, императрица замечала, что «равенство – чудовище, которое во что бы то ни стало хочет сделаться королем» (цит. по: 3, с. 678)². Тень от равенства (*egalité*), по-видимому, легла и на его соседку *liberté* в значении *вольность*. И вот уже спустя два года после смерти Екатерины в «Записке о составлении законов российских» ее бывший статс-секретарь, а теперь канцлер Российской империи А.А. Безбородко считал необходимым оговориться, что не имеет в виду «какую-либо излишнюю *вольность*, которая под сим невинным названием обращалась бы в *своеволие* и подавала повод к притязанию на какое-либо равенство всеобщее и суще химерическое»³. Именно с этого времени, т.е. с конца XVIII в., *вольность*, судя по всему, оказалась вне закона, а *свобода*, наоборот, обрела исключительно юридическое значение.

Список литературы

1. Аксютин В. О русском национальном характере // Интернет-журнал Православие.ru. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/87.htm>
2. Анисимов Е.В. Россия без Петра. – СПб.: Лениздат, 1994. – 496 с.
3. Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1885. – Т. 1–2.
4. Гегель Г. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
5. Екатерина II: Избранное. – М.: РОССПЭН, 2010. – 952 с.
6. Законодательство Екатерины II. – М.: Юрид. лит., 2001. – Т. 2. – 984 с.
7. Законодательство Петра I. – М.: Юрид. лит., 1997. – 880 с.
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: От начала до Великой Победы. – М.: Алгоритм, 2004. – Т. 1. – Режим доступа: http://www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a_content.htm
9. Лисицын А.Г. Анализ концепта свобода-воля-вольность в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1995. – 259 с. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/analiz-kontsepta-svoboda-volya-volnost-v-russkom-yazyke>
10. Лосский Н.О. Характер русского народа. – М.: Посев, 1957. – Кн. 1. – 98 с.
11. Петр Великий: Избранное. – М.: РОССПЭН, 2010. – 488 с.
12. Российское законодательство 10–20 вв.: В 9 т. / Под общ. ред. Чистякова О.И. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 3: Акты земских соборов. – 511 с.
13. Сунь Яньвэй. Типичные черты русского национального характера и их отражение в русских пословицах и поговорках // Университетская книга. – М., 2003. – № 1. – С. 28–29.
14. Сэндоу А. [А.М. Песков]. Свобода и воля // Полит.ру. – М., 2009. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2009/01/30/svoboda/>

¹ РГАДА [Российский государственный архив древних актов]. – Ф. 5. – Оп. 1. – Д. 120. – Л. 157об.

² Это высказывание Екатерины перекликается с написанным много позже Г. Гегелем об эпохе якобинского террора, когда свобода личности стала новой добродетелью, заменяя мораль, нравственность и традиции (см.: 4, с. 466–467).

³ Русский архив. – М., 1873. – Кн. 3. – С. 299.

15. Трофимов В.К. Душа русского народа: Природно-климатическая обусловленность и сущностные силы. – Екатеринбург.: Банк культурной информации, 1998. – 159 с.
16. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.: Пер. с нем. – Т. 1; 2. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 3; 4. – М.: Прогресс, 1987.
17. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 224 с.
18. Hellie R. Slavery in Russia, (1450–1725). – Chicago: The Univ. of Chicago press, 1982. – Рус. пер.: Хелли Р. Холопство в России, 1450–1725. – М.: Академия, 1998. – 712 с.
19. Kivelson V. Muscovite «Citizenship»: Rights without Freedom // J. of modern history. – Chicago, 2002. – N 74, Sept. – P. 465–489.
20. Kollmann N.S. By honor bound: State and society in early modern Russia. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 1999. – XIII, 269 p. – Рус. пер: Коллманн Н.Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России раннего Нового времени. – М.: Древнее хранилище, 2001. – 463 с.
21. Poe M. «A people born to slavery»: Russia in early modern European ethnography, 1476–1748. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 2000. – 304 p.

В.В. ЛАПКИН

**МЕТАМОРФОЗЫ РОССИЙСКОЙ СВОБОДЫ
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
XIX–XXI ВЕКОВ**

«...Паситесь мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?...»

А.С. Пушкин «Свободы сеятель пустынный...», 1823

*«Фирс: Перед несчастьем то же было: и сова кричала,
и самовар гудел бесперечь.*

Гаев: Перед каким несчастьем?

Фирс: Перед волей!»

А.П. Чехов «Вишневый сад», действие второе, 1903

«...Устами каждого воскликну я: “Свобода!”,

Но разный смысл для каждого придам...»

М.А. Волошин «Ангел мщения», 1906

*«...Врали: “Народа – свобода, вперед, эпоха, заря...” –
и зря»*

В.В. Маяковский «Хорошо», 1927

«Итак, по плодам их узнаете их»

(Мф. 7, 20)

Согласно современной российской историографии, унаследованной нами от идеологов так называемого освободительного (или революционно-демократического) движения и окончательно закрепившейся в нашем национальном сознании в виде прогрессистских схем, затверженных в советский период, траектория движения России к свободе прочерчивается посредством знаковых событий, привязанных к датам, символическое значение которых всем нам понятно:

1825 – **1861** – 1881 – 1905 – 1917 – 1953 – 1991...

Каждая из этих дат, безусловно (быть может, лишь за исключением 1881 г., «освободительный» смысл которого не очевиден и не является общепризнанным), обозначала очередной рубеж продвижения российского общества по пути к свободе (продвижения практического или по крайней мере изменяющего сознание его авангарда, устремленного к скорейшему «освобождению»). Но...

Но каждый такой шаг (и здесь, я думаю, кроется самое интригующее) – при известном воображении – мог бы послужить прекрасной иллюстрацией известной максимы Дж. Оруэлла: «Свобода – это Рабство!». Не стану останавливаться на пояснении очевидных случаев. Напротив, обращусь к самому неочевидному, самому спорному – к Освобождению, с заглавной буквы вписанному в отечественную историю. Как хорошо известно, оно сопровождалось целым, как сказали бы сегодня, пакетом фундаментальных модернизирующих российское общество реформ в судебной-правовой, образовательной, экономической, военной, административной и иных сферах, широко распространяющих, а порою и насаждающих практики правовой ответственности, инициативы, самоуправления, гражданского самосознания. Произведенный этими реформами эффект в кратчайшее время проявился в оживлении культуры, подъеме творческого потенциала в сферах науки и искусства, в активизации общественной деятельности, предпринимательской инициативы, в интенсификации деловых и культурных контактов с Европой и пр., и пр.

О каком же пресловутом «рабстве» в таком случае может идти речь?

Вопрос риторический. И ответ на него всем нам хорошо известен.

Речь – о том, *что* было положено в фундамент пореформенного прогресса, *что* стало судьбой еще нескольких поколений бывших частновладельческих крестьян, а затем – на долгие годы советского режима – судьбой всей страны.

Наше восприятие исторических, как, впрочем, и любых других взаимосвязей, наблюдаемых в окружающем мире, парадоксально. Многие из них представляются нам вполне естественными, привычными, как бы сами собой разумеющимися, притом что объяснения им мы не находим или не хотим искать по той, далеко не такой уж «простой» причине, что объяснение этих «элементарных взаимосвязей» порою грозит нам полным переворотом привычных представлений об окружающем (вспомним казус Галилея–Коперника).

В рамках того же рода взаимосвязи (подчеркну еще раз, представляющейся нам практически тривиальной) оцениваются Крестьянская реформа 1861 г. и революционная катастрофа 1917–1918 гг. Связь между этими двумя ключевыми событиями современной российской истории практически очевидна для всех и каждого, однако ее причинность (*каузальность*) и фундаментальная природа остаются до настоящего времени

не вполне ясными и вызывают горячие дискуссии концептуально-мировоззренческого порядка. СВОБОДА, дарованная российским самодержцем рабам своих подданных (*частновладельческим*, или крепостным, *крестьянам*¹), выглядела таковой лишь с позиции эмансипаторов – самодержавной власти и помещичьего сословия, что отразилось в соответствующей риторике «освободительной эпохи» и в традиции формально-правовых оценок свершившегося. Реакция самих крестьян была, как известно, по меньшей мере, неоднозначной. Но если первоначальное разочарование прежде частновладельческого крестьянства сосредоточивалось в основном на систематическом и повсеместном завышении выкупной цены крестьянского надела и практике пресловутых «отрезков», то со временем стало доминировать ощущение кабальности нового (пореформенного) положения, растянувшегося на десятилетия фискального *закрепощения* крестьянина в общине².

Некоторый пересмотр этих позиций произошел, как известно, лишь под давлением событий 1905 г. Общинный строй, который прежде, по традиции, представлялся опорой самодержавия, с этого момента стал с точки зрения *русской власти* не вполне благонадежным и подлежал, по мнению значительной части ее представителей, решительному преобразованию. Реформы Столыпина обозначили вынужденное согласие власти перестать опекать общину – основной инструмент фискального и поли-

¹ Два этих термина, используемые зачастую как синонимы, несут в себе принципиально различные смыслы: то – личную зависимость крестьянина от частного лица, его хозяина; то – его «крепость», жестко контролируемую государством связь с землей, с обрабатываемой им пашней. И это смысловое разногласие, коренящееся в не всегда отчетливом различении природы зависимости–несвободы наиболее массовой группы российского крестьянства, сплошь и рядом привносит смысловую зыбкость и двусмысленность в наше понимание существа аграрного вопроса в России XIX–XX вв., а в более широком смысле – в понимание природы современного российского общества и особенностей его формирования в последние полтора столетия. Подробнее см. ниже.

² Общинно-передельная практика крестьянского землепользования вводится в качестве альтернативы подворному землевладению лишь по мере нарастания дефицита земель (роста малоземелья). Причем зачастую довольно поздно – лишь в начале, а порой и в середине XIX в., вытесняя прежний обычай наследственного пользования земельными участками. Это видно на примерах, скажем, удельных крестьян, особенно в северных и приуральских губерниях (характерно, что вводилась такая практика, как правило, по распоряжению удельного управления). Реформа 1861 г. резко усилила «земельный голод» крестьянства. Это происходило отчасти за счет практики «отрезков» и «сиротских наделов», отчасти – в результате «демографического взрыва» в пореформенной российской деревне, дополнительно иммобилизованного политикой консервации общины. В итоге реформа стимулировала усиление общинно-передельных практик, в конечном счете фактически стремясь легализовать и кодифицировать их (см. соответствующий Закон 1893 г.), но тем самым подрывая возможности развития частного (семейного) крестьянского землеустройства, равно как и распространения и укоренения частной собственности и наследственного права в сфере аграрных отношений.

цейского закрепощения «освобожденного» крестьянства. А в судьбу самого реформатора вторглась раздраженная реакция власти на это вынужденное согласие.

Понимание неблагонадежности общины, характерное для наиболее дальновидных защитников самодержавия (таких как, например, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, А.И. Гучков, во всем прочем, как правило, расходившихся), было, безусловно, небезосновательным. Живи Архимед в начале XX в., он мог бы сказать: «Дайте мне доведенную до отчаяния передельную общину, и я переверну Россию!» В.И. Ленин, как известно, ничего такого не говорил, но он прекрасно осознавал уникальные возможности этого «социального рычага» и в полной мере использовал их для обретения власти и разрушения российской государственности.

Прав ли был Ильич, когда рассуждал о декабристах, «разбудивших Герцена», вопрос спорный. Но ясно, что в период революционной смуты лета-осени 1917 г. ставка большевистского лидера на радикальное решение аграрного вопроса, всемерное поощрение и разжигание *общинно-передельной революции* (21, с. 36–48) обеспечила большевикам решающее преимущество в борьбе с многочисленными протобуржуазными политическими движениями за политическую гегемонию в утратившем чувство самосохранения обществе. В одной из своих публикаций известный исследователь крестьянской реформы Л.Г. Захарова констатировала, что в 1861 г. не был решен земельный вопрос, но завязан «гордиев узел», который не сумели развязать две буржуазно-демократические революции (8, с. 42). Однако в полном соответствии с духом *метафоры* большевики, идущие своим, особым путем в политике, не стали тратить время попусту и развязывать старые узлы, шадить все еще непрочную социальную ткань. Они дали стране образец иной, радикальной практики, «разрубив» узел аграрных проблем путем национализации земли и предоставив на первых порах (в самый критический момент своей борьбы за власть, в которой их шанс на победу был обусловлен беспощадным разрушением прежнего социального порядка) именно *общине* «эсклюзивное право» решать вопросы землепользования на местах.

И вот что поразительно: вопреки самоотверженным усилиям и очевидным успехам самодержавных реформаторов начала XX в., ставка большевиков на общину в преддверии Гражданской войны оказалась чрезвычайно эффективной. Между тем с формально-правовой и либерально-демократической точек зрения община была рудиментом прошлого, причем – уже фактически преодоленным. Тем не менее потенциал «преодоленной» общины оказался достаточным не только для инициации и проведения радикальных аграрных преобразований и тотального «поравнения» в деревне с последующим введением в ней режима продразверстки (январь 1919 г.). Именно с помощью общины большевистский режим «по-

ставил на колени» российский «город» и обеспечил себя ресурсом для проведения не только в «деревне», но и в стране в целом политики *военно-го коммунизма* (с конца 1917 по март 1921 г.). Именно используя разрушительный для страны общинный «эгоизм» краткого периода «вакханалии земельных переделов» (12, с. 132), большевики создали предпосылки для утверждения в России *коммунистического* самодержавного режима.

Автору представляется чрезвычайно важным попытаться найти ответ по крайней мере на три по-прежнему актуальных (пусть и не находящихся, как повелось, разрешения) вопроса российской политической истории.

1. Хорошо известно, что практика аграрных преобразований, инициированных реформой 1861 г., во многом предопределила конфликтный характер пореформенной эпохи. Первые признаки усиливающегося социального неблагополучия обнаружили довольно скоро: знаменитые петербургские пожары 1862 г., следовавшие затем первые эксцессы террора, «нечаевщины», крах авантюры «хождения в народ», бесовство народовольцев, жестокое, роковое по своим последствиям убийство «царя-освободителя». И уже при новом государе Россию потряс голод 1892–1893 гг., «подготовленный» предыдущей аграрной политикой и спровоцированный новой государственной стратегией накопления финансовых ресурсов (о чем подробнее будет сказано ниже). Сквозь полосу кризисов и социальных потрясений страна вступала в XX в., раскручивая маховик «Красного колеса» и культивируя фантазмагорию подполья радикальных социалистических партий в безбуржуазной России.

При этом необходимо принять во внимание тенденцию, системно взаимосвязанную с обозначенной выше. Параллельно (особенно в 1890-х годах и с новой силой в 1910–1914 гг.) наблюдался бурный рост тяжелой индустрии, казенного железнодорожного строительства, промышленного производства, пролетариата, отчетливые признаки финансовой стабилизации, укрепления рубля и грядущего экономического расцвета. В чем же разгадка (секрет) этой поразительной и в известном смысле противоестественной взаимосвязи – *de facto* весьма эффективного симбиоза социального неблагополучия сельских масс и расцвета городской промышленно-финансовой цивилизации в России начала XX в.?

2. Как произошло, что переделная община, на которую как на естественную опору государственного строя России сделали ставку самодержавные реформаторы-освободители 1861 г., по мере реализации реформы превращалась в основную революционную, более того, тотально разрушительную силу, подобно нашествию гуннов уничтожающую прежний социальный порядок? Чем объяснить тот удивительный факт, что именно немудимо влекомая властью и обстоятельствами к своему окончательному разложению община в своем как бы «предсмертном порыве» смогла стать мощнейшим, глобального масштаба фактором социальных перемен?

В чем секрет столь резко возросшей в пореформенную эпоху ресурсной мощи этого «отмирающего» института?

3. Как, наконец, объяснить то обстоятельство, что, решительно упразднив частновладельческое крепостничество, реформа, рассматриваемая в контексте ее неотвратимых и практически непреодолимых последствий, подготовила семь десятилетий спустя тотальное государственное закрепощение российского общества, которое в сфере аграрной политики приняло формы пресловутого Второго крепостного права (большевиков), ВКП(б)?

В силу того самоочевидного (во всяком случае, для автора) обстоятельства, что ответы на поставленные вопросы взаимосвязаны, структура последующего изложения будет определяться не столько самими вопросами, сколько логикой проблемных узлов эволюции аграрного кризиса в России периода ее индустриализации (хронологически охватывающего интересующий нас событийный континуум).

Общий формат реформы. Проблемы и противоречия аграрного вопроса

В середине XIX в. к крестьянскому сословию в России причислялось около 80% ее 57-миллионного населения. При этом, по данным девятой ревизии 1851 г., из проживающих в стране 29 млн. лиц мужского пола владельческие крестьяне составляли 37%, государственные (без учета Закавказья и сибирских губерний и областей) – 31, удельные – 3% (11, с. 215–216).

Основным актом реформы 19 февраля (3 марта) 1861 г. – «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» – бывшие крепостные (или, как их еще называли, частновладельческие) крестьяне переставали числиться таковыми и объявлялись «временнообязанными» и получающими права «свободных сельских обывателей»¹. В одной этой (вполне банальной и исчерпывающе объективной фразе) содержатся все три ключевых момента «лукавства» реформаторов, завязавших, как уже упоминалось, «гордиев узел» российского аграрного вопроса. Начну с момента самого «невинного» момента.

1. Термин «частновладельческое крестьянство» в определенном смысле даже более одиозен, нежели понятие «крепостные», поскольку в первом случае речь впрямую идет о *владении людьми* (т.е. о *рабстве*), тогда как во втором – лишь о закрепощении, т.е. ограничении прав и сво-

¹ Всего от личной крепостной зависимости, согласно «Общим положениям...», подписанным Александром II, было освобождено 22,5 млн. крестьян (см., например: 17).

бод¹. Этот терминологический «разной» примечателен, так как «частновладельческое крестьянство» – термин, соответствующий «юридической точке зрения на предмет» с позиций господствующего землевладельческого класса и фиксирующий желательную для него оценку положения вещей². Однако в общественной традиции, чувствительной к понятиям морали и справедливости, закрепился термин «крепостные»; более неопределенный и расплывчатый юридически, он соответствовал неопределенности во взаимоотношениях крепостных и их господ, а также в подходах самодержавия к разрешению противоречий во взаимоотношениях и правовом статусе этих двух важнейших сословий исторического Российского государства. Самодержавие, заботясь о своем европейском имидже, предпочло отказаться от одиозного рабства («людьмивладения»), в любом облики и выражении неприличного в Европе середины XIX в. Но оно не могло «разом» отказаться от крепостнического порядка, намертво связавшего помещиков-землевладельцев, социальную опору режима, и обрабатывающих их земли крестьян – главную даровую рабочую силу империи³. Собственно, решающим в понимании сути произошедшего в ходе реализации крестьянской реформы стало принуждение крестьян к принятию особого пра-

¹ Важнейшим ограничением был запрет покидать то сельское общество, к которому принадлежал каждый член крестьянского сословия, без письменного разрешения (паспорта), получаемого от помещика (для частновладельческих крестьян) или местной администрации (для государственных или удельных крестьян). Впрочем, на протяжении всего крепостнического периода и особенно со второй половины XVIII в. это ограничение в массовом порядке преодолевалось практикой отходничества.

² Говорить в России о частной собственности помещиков на крепостных, как, впрочем, и об иных видах частной собственности, следует, по меньшей мере, с осторожностью. Крепостное право фактически было административным поручением самодержавия своим доверенным лицам, своему служилому классу – дворянам-помещикам. И даже после освобождения Екатериной II от обязательной службы в армии или в структурах государственного управления (Жалованная грамота дворянству от 21 апреля 1785 г.) они отнюдь не были избавлены от обязанности хозяйственно-административного управления на территории своих поместий; более того, их обязательства перед правительством лишь усиливались. «Благодаря новым обязанностям, возложенным государством на помещика, он сам входит в состав административного механизма и заслоняет своей фигурой крестьянина от государства» (2, с. 59).

³ А.Н. Медушевский, ссылаясь на одно из положений «Наказа» Екатерины II, приводит суждение императрицы о возникновении в ходе исторического развития аграрных отношений тупиковой ситуации, скреплявшей «цепью великой» «барина» и «мужика» (18, с. 74). Возможно, внутренним посылом самодержавного реформатора было именно стремление разорвать эту «цепь великую», преодолеть тупиковость прежних попыток бесконфликтного или по крайней мере ограниченно конфликтного разрешения аграрного вопроса в стране. История знает только два гарантированно результативных средства разрыва «социальных цепей» – деньги, рынок, товарное обращение либо же власть, государственное принуждение. Надо признать, российское самодержавие не чуждалось денег, но все же, выбирая путь реформ, отвело *деньгам* роль вспомогательную, усиливающую *принуждение* к существованию в общине, что позволяло ей до высшего предела увеличивать изъятие прибавочного, а порою и необходимого продукта сельского производителя.

вового и владельческого статуса членов поземельной общины, связанных круговой порукой, – иначе говоря, лиц, выведенных из-под общей юрисдикции и со временем отданных под попечительное усмотрение земского начальника. Их положение С.Ю. Витте в свое время детально соотнес с «положением взрослых детей (существ особого рода)» (4, с. 515–516).

Иными словами, для частновладельческих крестьян 1861 год стал лишь моментом отмены их личной зависимости от помещика, но не крепостной зависимости, привязывающей крестьянина к его тяглу, к его земельному наделу (в абсолютном большинстве интересующих нас случаев – в рамках системы общинного землевладения, что было особо закреплено «Общим положением...» 1861 г.). По существу, в 1861 г. крепостная зависимость была не отменена, а лишь отчасти смягчена – возможность де-юре выхода из крепости упростилась (де-факто отходничество и раньше представляло многим крепостным такую возможность). Но это «ослабление» компенсировалось усилением налогового бремени крестьянства, остающегося в общине, и увеличением принудительного изъятия (как абсолютного, так и относительного) производимого в общине продукта. Упразднялось лишь *частновладельческое состояние*, право помещиков на владение этим *особым видом частной собственности* (крестьянами), тогда как крепостное состояние крестьянства – пусть и в «мягкой» форме – сохранялось. Предметом реформы стал лишь этот частновладельческий статус крестьян. Крепостная независимость была более фундаментальным элементом «русской системы». От нее отказались лишь спустя столетие, когда окончательно завершился переход к новому, индустриальному формату существования. В качестве механизма контроля на смену архаичной «крепости» пришла «прописка», предполагающая обязательное наделение всего населения теми самыми *паспортами*, которые прежде требовались покидающим свое сельское общество отходникам.

2. Вторым моментом «лукавства» реформаторов стало введение «временнообязанного» состояния. «Общим положением...» 1861 г. срок временнообязанных отношений установлен не был, но их характер зафиксирован в «уставных грамотах»¹ размерами общинных наделов и крестьян-

¹ Их в основном составили к середине 1863 г., практически и юридически закрепив «центры» противостояния в пореформенной деревне. Дело в том, что обязывающие условия «уставных грамот» оговаривались не с отдельным крестьянином, домохозяином, а с крестьянским «миром» как целым. Тем самым именно «мир» целенаправленными усилиями власти превращался в нового крупного российского землевладельца, хозяина неотчуждаемой общинной земли, становился альтернативной помещику силой российской деревни, живущей в условиях *особого* правового режима. Вместе с тем этот роковой выбор власти (о его мотивации см. ниже) на многие годы, вплоть до первой русской революции, задал своего рода *mainstream* развитию аграрных отношений в стране, когда «мир» и поземельная община (в обеих ее формах: передельной и, что встречалось реже, практикующей подворное землевладение) рассматривались как норма, основа стабильности российской деревни, а *частное* крестьянское землевладение, – в лучшем случае, как курьезная девиация.

янскими повинностями в рамках общинной круговой поруки. На время этого состояния помещики, остающиеся собственниками земли, были обязаны, согласно «Общему положению...», предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (небольшой участок земли, окружающий их жилище), а полевой надел – в *коллективное пользование сельскому обществу*. Пользование земельным наделом (до заключения выкупной сделки) предполагало сохранение за крестьянской общиной, скрепленной круговой порукой, прежних (слегка смягченных) повинностей в пользу помещика (оброка и барщины). Причем в течение девяти лет крестьяне не могли отказаться от пользования наделной землей. Помещик становился «попечителем» сельского общества временнообязанных крестьян, наделенным в своей вотчине фактически полицейскими функциями и правом решительного вмешательства в действия новой сельской администрации. Крестьяне при этом считались лично свободными.

Предусматривались различные варианты прекращения временно-обязанного состояния и перехода на выкуп. Принято считать, что общим правилом было наличие взаимного добровольного соглашения между помещиком и крестьянами. На деле это было далеко не так. Интерес помещиков заключался в получении от правительства процентных бумаг в счет оплаты земель, переходящих в собственность крестьянской общины. Крестьянская община при этом принимала на себя обязательства уплаты правительству процентов и погашения по выданным выкупным ссудам из расчета 6% в год в течение 49,5 лет. Предоставление ссуды было обусловлено приобретением крестьянской общиной усадебной оседлости *вместе с* полевыми землями и угодьями¹. К тому же община должна была накопить ресурсы (зачастую не в денежной, а в натуральной форме так называемых отработок) для разовой выплаты помещику 20% выкупной суммы – пресловутого дополнительного платежа, являющегося условием перехода на выкуп по взаимному соглашению (подробнее см., например: 24, с. 136–137).

Если же крестьяне не хотели договариваться с помещиком, то у них была возможность выкупить лишь усадьбу; при этом выкупную сумму они должны были внести самостоятельно и сполна. Кроме того, отказываясь от права выкупа, крестьяне могли получить бесплатно так называемый дарственный надел в размере четверти от надела, подлежащего выкупу. Такая практика была распространена в черноземных губерниях, где высокая цена земли, назначаемая помещиками, часто делала выкуп полного надела разорительным для крестьян. В свою очередь, помещик также мог, не договариваясь, обязать крестьян выкупать землю без достижения со-

¹ При этом полевой надел мог в зависимости от выгод помещиков уменьшаться (посредством «отрезков», которыми стимулировались барщинные отработки), или (гораздо реже и в областях, где рыночная стоимость земли была невысока) увеличиваться в сравнении с дореформенным.

гласия с ними. В этом случае выкупная сумма определялась оброком, капитализированным из 6% годовых, а дополнительный платеж крестьянами не вносился¹.

Наконец, предусматривалась и возможность внесения в полном объеме выкупной суммы отдельным домохозяином, после чего крестьянин имел право требовать выдела ему соответствующего участка в частную собственность. Со временем власть стала рассматривать эту возможность как расшатывающую общинное землевладение и отменила ее в 1893 г. Впрочем, большинству крестьян было затруднительно ею воспользоваться. К концу 1880-х годов таким способом было выкуплено немногим более 100 тыс. душевых наделов.

Несмотря на множественность вариантов перехода на выкуп, он не был завершен до начала 1880-х годов. Потребовалось вмешательство правительства, специальным законом от 28 декабря 1881 г. установившего обязательный выкуп наделов временнообязанных крестьян с 1 января 1883 г.² Только с переходом на выкуп обязательства крестьян перед помещиками по поводу их полевого надела прекращались. Иными словами, **выход из личной зависимости (частновладельческого состояния) de facto растянулся более чем на 20 лет.** Итак, непосредственная личная зависимость крестьян от своих бывших владельцев была в конце концов упразднена, «полномочия владельцев, носившие гражданско-правовой характер, были совершенно отменены, не безвозмездно... но безостаточно. Правомочия же помещика публично-правового характера, например, его власть применять “исправные” наказания и ссылая, перешли почти полностью к органам управления, частью к общегосударственным органам, а главным образом, к “миру”, к сословному крестьянскому обществу. Последнему была дана почти безотчетная власть над личностью своих членов...» (5, с. 31–32; цит. по: 22, с. 51).

3. Наконец, по поводу прав и статуса «свободных сельских обывателей», в просторечии – крестьян. От прочих (в том числе и податных) со-

¹ К концу 1870-х годов число сделок по требованию помещиков почти вдвое превышало число сделок по обоюдному соглашению. Это особенно характерно для губерний и уездов, где было сильно развито отходничество, которое стимулировало резкое увеличение размера оброка, не связывая его с плодородием земли. Но поскольку размер выкупных платежей исчислялся, исходя из установленного оброка, в регионах массового распространения отходничества – вблизи крупных, особенно промышленных городов, торговых путей и пр. – эти платежи могли порой в разы превосходить рыночную стоимость земли. В этой ситуации для помещиков весьма заманчивой представлялась возможность «преодолеть» несогласие крестьян путем *принудительного* перевода их на выкуп. При этом потеря крестьянского дополнительного платежа с лихвой компенсировалась существенно завышенной ценой земли, включенной в стоимость процентных бумаг, получаемых ими от правительства.

² К концу XIX в. временнообязанные крестьяне оставались лишь в Закавказье.

словий в юридическом отношении они отличались сохранением норм обычного права в отношениях между членами «общества» и попечительства над ними местных властей (сельского старосты, волостного старшины, позднее – земского начальника) – «в целях их хозяйственного обустройства и нравственного преуспеяния», а также обязательностью приписки к определенному сельскому обществу или волости – она давала право пользования земельным наделом, выделяемым сельскому обывателю его обществом.

Более того, вслед за реформой положения частновладельческих крестьян началось реформирование удельных (26 июня 1863 г.) и государственных (24 ноября 1866 г.) крестьян, которые переводились в разряд крестьян-собственников в рамках все того же общинного землевладения и путем обязательного выкупа земли. При выкупе земли удельными крестьянами также практиковались отрезки (как и в случае с помещичьими), но в существенно меньших объемах (тем не менее сокращение земельных наделов стимулировало движение и среди этого класса крестьян к *передельной* общине). За государственными крестьянами в целом сохранялись все земли, находившиеся в их пользовании до реформы. В итоге с точки зрения размеров душевых земельных наделов бывшие государственные крестьяне оказались в наиболее, а бывшие частновладельческие – в наименее благоприятном положении. К тому же и выкупная цена земли для удельных, и особенно государственных, крестьян оказалась существенно ниже и гораздо более соответствовала рыночной. Это давало дополнительные аргументы тем, кто связывал выкупную цену земли для частновладельческих крестьян с «ценою» выкупа самих «крестьянских душ».

В целом же власть, приступив к реформам, затронувшим все классы крестьянского населения России, изначально и последовательно, почти на протяжении столетия делала ставку на крестьянскую общину как на наиболее эффективный инструмент своей политики в деревне. *Община*, скрепленная *круговой порукой*, представлялась реформаторам почти идеальным компенсаторным механизмом перехода подавляющего большинства российского населения от рабства к свободе.

Существует обширная литература, исследующая мотивы властного выбора. В основном они сводятся к острым и представлявшимся безотлагательными, но, по сути, сиюминутным, прагматическим потребностям поддержания спокойствия в деревне и преодоления острейших финансовых затруднений правительства в конце 1850-х – начале 1860-х годов. О.В. Большакова в аналитическом обзоре англоязычной историографии по отмене крепостного права в России так резюмирует выводы С. Хока (25, с. 91–98): «Реформа готовилась в условиях финансового кризиса, суть которого составляли растущий государственный долг, инфляция, отрицательный платежный баланс, неблагоприятный климат для внешних зай-

мов, невозможность восстановить обратимость рубля и, наконец, крах государственных кредитных учреждений летом 1859 г.» (3, с. 210). Необходимо было одновременно реструктурировать долги, вкладывать средства в развитие транспортной сети, подготавливать крестьянскую реформу и выкупную операцию, развивать сельскохозяйственный кредит... (там же). В результате специально созданная Финансовая комиссия, в состав которой вошли и Н.А. Милютин, и Н.Х. Бунге, и М.Х. Рейтерн, ввиду затруднительных условий банковского кризиса «сочла возможным ограничить миссию правительства ролью посредника, а не кредитора: все процентные и основные выплаты, все административные и непредвиденные расходы должны были покрываться за счет крестьянских платежей» (там же, с. 211).

Сам С. Хок резюмирует еще более саркастически: «Царское правительство не потратило ни копейки на проведение великой реформы по превращению более 20 млн. бывших крепостных крестьян в собственников» (25, с. 98)¹. Реализовать такой вариант реформы можно было, сковав крестьянство круговой порукой и общинным землевладением. Только так, заперевав крестьянина в общинной неволе, реформаторы могли решить все проблемы сразу: и поправить финансовое состояние государства, и обеспечить оставшихся без крепостных помещиков средствами существования, и найти решение (пусть и формальное) проблемы крестьянской собственности на землю.

Иными словами, поворачивая страну на путь модернизирующих реформ, призванных обеспечить ее органичное вхождение в число современных держав, власть сделала стратегический выбор. «Оплачивать расходы», связанные с этими преобразованиями, должно было «освобождаемое» общинное крестьянство. Чтобы гарантировать платежи по расходам, его наделили особым, кабальным правовым и социальным статусом, заложив основы фактически «внегосударственного» состояния крестьянства

¹ На деле ситуация была еще более одиозной. Правительство сделало все возможное, чтобы максимально полно и даже с избытком компенсировать помещикам их материальные и моральные потери изъятия большей части крестьянской земли из помещичьей собственности и 20 млн. крепостных душ из помещичьего «ведения». При этом, по мнению Н.М. Дружинина, сотрудники редакционных комиссий в большинстве своем «стремились совместить юридическую свободу личности с фактическим “прикреплением” крестьян к земле, причем многие придавали этому “прикреплению” юридический титул собственности» (7; цит. по: 22, с. 167). Суть вопроса с точки зрения помещичьих интересов заключалась в том, чтобы «отвести крестьянам такой надел, который не устранил бы у них потребности в подсобном заработке. Таким образом, вопрос о выкупе сводился к следующему основному вопросу реформы: о размерах отводимого полевого надела...» (там же). В итоге, заключает на сей раз Д. Филд, «законодательные акты об освобождении крестьян представляли собой компромисс между крепостничеством и идеалами свободы...» (цит. по: 22, с. 240), а члены редакционных комиссий «заложили в законодательных актах такие преимущества для дворянства, каких едва ли могли потребовать самые горячие защитники их прав» (там же).

(повторю, подавляющего и быстро растущего большинства населения), его институциональной и правовой изоляции, «сословной обособленности» (см., например: 22, с. 214). Власть оказалась неспособной предусмотреть «завтрашние последствия сегодняшних решений» – понять, что своими действиями она формирует социальную силу, исключенную из процесса общенационального развития и потому способную перевернуть с ног на голову устоявшийся социальный порядок.

Крестьянская реформа обозначила и еще один тектонический сдвиг в обустройстве самодержавного государства. Власть попыталась отказаться от управленческих услуг помещиков, откупиться, отправить их «на заслуженный отдых». Реформа сохраняла все необходимые условия для последующей внеэкономической (принудительной, во многом по-прежнему крепостнической) эксплуатации крестьянства, но без прежней патриархальной ответственности помещика за его судьбу. Положившись на возросшую в первой половине XIX в. силу своей бюрократической машины, власть настолько уверилась в своем могуществе, что попыталась лишить дворянство одного из ключевых элементов его политического влияния в стране – права выступать попечителем (смотрителем) многомиллионного крепостного крестьянства. Политическое значение дворянско-помещичьего сословия резко пошло на убыль – синхронно с сокращением общего массива помещичьих земель, а также с заметным снижением доли дворянства (как потомственного, так и личного и служилого) в общей численности российского населения. Даже некоторая коррекция эпохи «контрреформ» Александра III и возврат к практике более пристального помещичьего надзора и попечительства над «освобожденной» общинной деревней не изменили ведущего тренда перемен.

Более того, бюрократия к тому времени уже не только становилась, но и начинала осознавать себя силой, предназначенной для реализации куда более амбициозных задач, иной стратегии развития. Удел исполнителя «аграрно-колониационного проекта» был ей уже неинтересен. Впереди маячили задачи индустриальной колонизации России, в свете которых крестьянство выглядело лишь второстепенным и почти ничего не стоившим ресурсом.

Итак, повторю: приступив к реформе в условиях глубокого финансового кризиса, власть с ее помощью *разом* решала все свои проблемы (и финансовые, и управленческие, и политические) путем усиливающегося закабаления крестьянства мерами преимущественно фискального характера, причем напрямую, уже без посредничества помещика. Реформа существенно укрепила передельную общину, поскольку именно на нее в условиях растущего крестьянского малоземелья государство возложило многочисленные фискальные и надзорные функции, ранее исполнявшиеся помещиками. Мир стал *сам для себя* и сборщиком налогов, и полицейским...

Первые результаты и последствия реформы. Коррекция периода Александра III. Переориентация стратегических приоритетов самодержавия из аграрной в индустриальную сферу

Из трех возможных стратегий ориентированного на внешний рыночный спрос хозяйственного развития пореформенной деревни: крестьянского предпринимательства, крупного частновладельческого предпринимательства, наконец, хозяйствования с использованием традиционных полукрепостнических методов, дополненных впоследствии «государственным предпринимательством» (при земельной «закрепленности» работника, но отсутствии его формальной личной зависимости от землевладельца), – преимущество получила третья. Это определялось как приоритетами государственной политики, так и предпочтениями большей части помещичьего сословия. Привлекательность такого пути обуславливалась прежде всего расчетом на «сохранение социальной стабильности», но стратегически к началу XX в. этот «расчет» обернулся чудовищным просчетом российской власти и олицетворяющих российскую цивилизацию элит. Дополнительным фактором, отягчающим развитие страны, стало то, что реформа резко усиливала ответственность государства (самодержавия), одновременно снижая политический вес и участие помещичьего сословия, оставляя ему по преимуществу лишь протестную альтернативу.

Отметим некоторые предварительные (к концу 1870-х – началу 1880-х годов) итоги аграрных преобразований. С 1858 по 1880 г. государственный долг России увеличился с 1759 млн. руб. до 4698,5 млн. руб., при этом 2472,8 млн. руб. были употреблены на военные расходы и покрытие дефицитов, 796,8 млн. руб. – на железнодорожные цели, 488,8 млн. руб. – на отверждение (обслуживание) текущего долга и 496 млн. руб. – на выкупную операцию. Тяжесть выкупных платежей дополнялась усилением податного бремени, возложенного на крестьянское население. Если в 1856 г. подушная и оброчная взимаемая с государственных крестьян подати с питейным и соляным налогами давали 142,9 млн. руб., или 40,4% всех обыкновенных доходов казны, то к 1881 г. подушная подать с акцизом (без соляного налога) давала уже 313,9 млн. руб., или 48,2% доходов казны (23, с. 192). Сравнительно небольшая доля выкупной операции в общем объеме госдолга (менее 12%)¹ характеризует подход правительства к проблеме: на начальном этапе реформы рост фискального давления на крестьянство не вызывал его беспокойства, решение обеспечить бюджет

¹ Напомним, крестьянские выкупные платежи должны были с лихвой покрывать расходы правительства по обслуживанию процентных бумаг, которыми оно расплачивалось с помещиками за выкупленные у них крестьянами земли. Поэтому объем актуальной крестьянской задолженности по выкупным платежам в целом соотносится с соответствующей частью госдолга.

дополнительными поступлениями на многие десятилетия вперед представлялось весьма удачным¹. Но усиливающийся фискальный гнет и растущее малоземелье ухудшали потенциал развития крестьянского хозяйства, изымали из его оборота не только прибавочный, но и заметную часть необходимого продукта, подрывая хозяйственные перспективы российской деревни. «Переход на выкуп форсировал обнищание основной массы крестьян», – резюмирует Б.Г. Литвак на основании исследования ситуации в Черноземной области России (16, с. 412).

Лишь в начале 1880-х годов правительство обратило внимание на ухудшение положения освобожденного крестьянства. В 1880–1881 гг. М.Т. Лорис-Меликовым была разработана программа действий, предусматривавшая отмену подушной подати (реализовано в 1880 г.; подать продолжала взиматься только в Сибири), прекращение временнообязанного состояния (инициировано в 1881 г. Александром III, осуществлено в 1883 г.) и отказ от дополнительного 20%-ного платежа в пользу помещиков, а также сокращение размера выкупных платежей². В целом же мерами, предпринятыми в начале царствования Александра III (снижение на 12 млн. руб. выкупных платежей и отмена подушной подати), налоговое бремя крестьянства было снижено на 53 млн. руб.³, т.е. на 1/6 часть (23, с. 193). Кроме того, политика министра финансов Н.Х. Бунге предполагала равномерное распределение налогового бремени путем обложения более имущих классов населения, «до тех пор изъятых от прямого обложения или недостаточно обложенных» (там же), введение налогов на наследство и дарение, на торговые и промышленные предприятия и на денежные капиталы, повышение налогов на недвижимые имущества в городах и поме-

¹ Принудив крестьянскую общину к согласию на завышенную стоимость получаемой от помещиков земли и успешно взвалив на нее *de facto* обслуживание правительственного долга под установленный самим правительством довольно высокий процент (в течение длительного срока погашения), власть провернула выгодную долгосрочную кредитно-финансовую операцию. Она получила с нее солидный доход и возможность десятилетиями напоминать обществу и бывшим крепостным о «недоимках», а в конечном счете – «простить» остаточные долги. Выбор в качестве формы выкупного платежа аннуитета (фиксированного по сумме ежегодного платежа) с параметрами 6% и 49,5 года был, безусловно, не случаен. Так, несложный подсчет показывает, что увеличение процента на один пункт (до 7%) снижает выкупной период до 29 лет, а совокупную сумму платежей за весь период выплат – в полтора раза.

² Последние «ослабления» были явно ориентированы на помощь беднейшей части временнообязанного крестьянства, не способной к аккумуляции средств, требуемых для перехода на выкуп. Напротив, более состоятельное крестьянство, уже выплатившее требуемое, было тем самым «наказано» за договороспособность и законопослушное поведение.

³ Отмена подушной подати компенсировалась повышением платежей, взимаемых с бывших государственных крестьян (законом от 12 июня 1886 г. они переводились на выкуп; их платежи также были рассчитаны на 49,5 года и в сравнении с оброчной податью возрасли почти в полтора раза), и введением акциза на водку.

мельного и пр. Правительство взяло курс на введение со временем единого подоходного налога.

Тем не менее все эти, по сути, реактивные действия власти, притом что они снижали фискальный гнет для наименее адаптированных к новой ситуации страт общинного крестьянства, представляли собой инерцию старых подходов к аграрной проблеме. Во второй половине 1880-х годов происходят важные перемены в политической стратегии Российского государства. Разочаровавшись в частнопредпринимательских возможностях формирования стратегически важных для страны отраслей индустрии, самодержавная власть переходит к политике казенного предпринимательства и индустриализации «сверху». Прежнее фритредерство сменяется протекционизмом, пересматриваются приоритеты государственной внешней и внутренней политики, для повышения «инвестиционной привлекательности» проводится санация финансовой системы и уникальная по мировым меркам того времени реструктуризация внешней российской задолженности (так называемые конверсии Вышнеградского), «насаждение» крупной индустрии подкрепляется перераспределением национальных ресурсов. Начинается «*индустриальная революция*» Александра III (подробнее см.: 13, с. 193–194; 14, с. 46).

На фоне этой трансформации аграрный вопрос становится вопросом эффективности использования потенциала пореформенной деревни в качестве ресурса индустриального развития. Некоторое смягчение фискального давления на крестьянство (начала 1880-х годов) сменяется в конце 1880-х усилением мер прямого вмешательства правительства в крестьянские дела. В 1889 г. вводится должность земского участкового начальника, обязанного контролировать деятельность сельских обществ и волостей, ориентируясь на дополнительное укрепление общины и сдерживание процессов дифференциации в общинной деревне. Совершенствуются механизмы принудительной «товаризации» производимых деревней натуральных сельхозпродуктов, отчуждаемых в счет выкупных и налоговых платежей. Катастрофических масштабов голод 1892–1893 гг. (накануне рост хлебного импорта достиг рекордных 20% от общероссийского сбора) становится своего рода символическим «рубежным знаком», маркирующим смену стратегических ориентиров российского самодержавия. Отвергается окончательно подорванная и скомпрометированная реформой¹

¹ Реформа сломала основной механизм аграрной колонизации, который был срщен с системой закрепощения, включающей обязанность помещиков обеспечивать своих крепостных (кроме дворовых) соответствующим полевым наделом. Реформа освободила помещиков от такой обязанности, заложив в систему сформированных ею аграрных отношений (особая юрисдикция сельского общества, неотчуждаемые общинные земли, круговая порука и пр.) «часовой механизм» растущего аграрного перенаселения в условиях дефицита капитализации, необходимой для роста производительности сельского труда, продуктив-

(а прежде фундаментальную для государства) стратегия внутренней аграрной колонизации (подробнее см.: 14, с 35–42); формируется политика внутренней *индустриальной* колонизации¹, в интересах которой реконфигурируется вся ресурсная мощь самодержавия и в рамках которой аграрная сфера все в большей степени превращается лишь в *объект фискального интереса*.

Этим фундаментальным переменам предшествовал и им сопутствовал нарастающий конфликт охранительного и праволиберального подходов власти к аграрному вопросу. Сторонники первого настаивали на продолжении сосуществования крестьянского и помещичьего землевладения «в разных правовых пространствах», игнорируя задачу выработки «надсловной концепции частной земельной собственности» (6, с. 151–152). Их оппоненты (в числе которых был – в тот момент уже председатель Кабинета министров – Н.Х. Бунге) полагали, что политика, «призванная обеспечить *сословную замкнутость* крестьянского землевладения и *неотчуждаемость* крестьянских земель, нарушала “в корне установленное приведенным законом понятие о *крестьянах-собственниках*”, т.к. *все временные ограничения права собственности крестьян на землю* устанавливались авторами реформы 1861 г. лишь в интересах казны, “ввиду необходимости обеспечить лежащий на крестьянской земле выкупной долг”. Но в 1893 г. большинство членов Госсовета отвергли предложения Бунге...» (1, с. 97), а «предоставление крестьянам права распоряжения земельными наделами было признано большинством сановников неприемлемым...» (там же). В итоге Закон 1893 г., подтверждая незыблемость общины и неотчуждаемость крестьянского надела (запрет продажи и залога надельных земель), резко ограничивал (вопреки «Общему положению») право крестьян на досрочный выкуп своего надела в частную собственность. Для этого помимо внесения сполна выкупной суммы требовалось еще и получение на это разрешения сельского схода и коронной администрации в лице земского начальника. Семейные разделы разрешались теперь только с согласия схода. Очередные переделы земель можно было проводить не чаще, чем каждые 12 лет.

Ответом власти на усиливающийся аграрный кризис в тот момент, когда негативные последствия выбранной стратегии реформы проявились

ности хозяйства, агрокультуры, урожайности и пр. Все это создавало колоссальные препятствия формированию рыночной альтернативы прежней стратегии. Сельское население, являющееся основным поставщиком натурального продукта на рынок, в массе своей по-прежнему оставалось вне рыночных отношений.

¹ Если индустриализация Великобритании опиралась на ресурсную мощь ее грандиозной колониальной империи, а индустриализация континентальных держав Европы ввела мир в эпоху *империализма*, то *российская индустриализация* ресурсно обеспечивалась преимущественно процессами *внутренней колонизации*, прежде всего – выведенного за рамки общегражданской юрисдикции общинного крестьянства.

со всей отчетливостью, стала еще более определенная поддержка курса на упрочение и закрепление сословной сегрегации общинного крестьянства (лишенного, напомним, общегражданской правосубъектности). Эта политика оказалась эффективным тормозом процессов модернизации, а затем в дело реализации модернизационного императива история подключила революционный фактор. Впрочем, забегая вперед, отметим, что и революция смогла упразднить лишь прежний формат такой сегрегации, но не сам этот фундаментальный принцип российской политики «догоняющего развития».

Пересмотр аграрной политики по итогам первой русской революции.

Новый подход к разрешению аграрного кризиса.

Столыпинская аграрная реформа:

тактические достижения и стратегическая неудача

Анализируя эволюцию пореформенной деревни, Б.Н. Миронов в своем капитальном и широко известном труде «Социальная история России периода империи...» подчеркивает высокий темп приобретения крестьянами земли в личную собственность за пределами общины. За 40 пореформенных лет рост составил 1,5 раза по числу продаж (в год) и 15 раз – по площади земельных участков, приобретаемых крестьянами в частную собственность (19, с. 481). Весьма характерное различие этих показателей, напротив, указывает на сравнительно небольшое и крайне медленно увеличивавшееся в пореформенное время число зажиточных крестьян, имевших желание и возможность приобретать дополнительную (помимо общинной) землю в личную собственность. Увеличение числа продаж в 1,5 раза за 40 пореформенных лет – это безусловный провал политики хозяйственной эмансипации крестьянства и стимулирования его перехода к частному землевладению, симптом глубочайшей хозяйственной стагнации пореформенной деревни. Дело в том, что за тот же период численность соответствующих категорий сельского населения увеличилась (за счет ускорившегося в этот период демографического роста) более чем в полтора раза, по авторской оценке – в 1,6–1,7 раза. Тем самым в расчете на сельскую «душу населения» ежегодное число продаж в пореформенный период сократилось. В качестве характеристики «тяги крестьян к частной земле» Б.Н. Миронов обращается, что вполне резонно, к подсчету числа домохозяйств, воспользовавшихся правом выхода при досрочном выкупе своего общинного надела и легально вышедших из общины: по его оценке, таковых было – 140 тыс. (там же, с. 481). Если к этому присовокупить 490 тыс. крестьян, купивших землю в личную собственность за пределами общины, на стороне, то итог будет немногим более 600 тыс. из 9,5 млн. крестьянских домохозяйств (там же, с. 479–481).

Учитывая преграды, которые ставило правительство процессу хозяйственной эмансипации крестьянства (в частности, закон 1893 г.), следует признать, что реформаторы очень старались, чтобы максимально ограничить число крестьян, способных реализовать «тягу к частной земле». Подавляющее большинство крестьян в первые четыре пореформенных десятилетия (вплоть до первой русской революции и столыпинских преобразований) такой возможности не имело, и реформа им такой возможности не предоставила, несмотря на стремительно сокращавшийся размер их земельного надела в расчете на душу крестьянского населения. Вместе с тем резкое (по разным оценкам, 10–15-кратное за 40 лет) увеличение площадей приобретаемых земельных участков указывает на то, что пореформенные порядки стимулировали поляризацию крестьянства и укрепляли позиции сельских «мироедов».

При этом помещики «поколения реформы» обеспечили себе безбедное и по большей части беспроblemное, гарантированное государством существование. Проблемы, собственно, начались лишь по мере того, как крестьянство, закрепощенное реформой в общине, но на протяжении десятилетий настойчиво рвавшееся к СВОБОДЕ, на «выходе из» выкупных платежей осваивалось в новом состоянии. «Дотянув» к началу XX в. до вожделенной «свободы» и вкусив ее первые плоды, крестьяне перешли из состояния *надежды* в состояние *отчаяния*. Пореформенное малоземелье выбивало почву из-под ног крестьянства, расшатывало многосотлетнюю веру в незыблемость его единства с самодержавием и православием. «Отказ» от прежних верований, их «разрушение», тем более если оно «революционно» и «тотально», разлагает всяческие основы человеческого самостояния и обращает человека в тотальное рабство, «тоталитаризм». *Свобода*, воспринятая как разрыв прежней взаимозависимости, превращается в *рабство*, тотальную зависимость от чуждого и неподконтрольного личности внешнего принуждения. Воплощением этого нового *рабства* и стал последующий советский социальный эксперимент, в котором «граждане освобожденной России» оказались в полной зависимости от посюстороннего произвола своих вождей-властителей, а вместе с тем обрели вмененную в ходе этого эксперимента веру в «рукотворный рай на земле».

Но первый приступ крестьянского отчаяния в канун русской революции начала века принял формы массовой, спонтанной, во многом бессознательной и иррациональной ненависти к символу прежней «крепости» и нынешнего малоземелья, ложной «свободы» и новых общинных и казенных пут – к помещичьей усадьбе. С этого времени, и особенно с 1905–1906 гг., поджоги и погромы помещичьих усадеб стали подлинным общенациональным бедствием. Неблагополучие ситуации в деревне многим российским сановникам, включая ключевые фигуры правительства (такие, например, как С.Ю. Витте), было очевидно задолго до событий 1905 г.

В 1903 г. было принято решение об отмене круговой поруки (распространялось на 46 губерний Европейской России). Но именно с этого момента уступки власти, ее готовность к послаблению установленных законом правил и поборов лишь распалили сельское общество, стимулировали крестьянские беспорядки.

Собственно, беспрецедентный характер последних в 1905 г. и побудил власть к радикальному пересмотру приоритетов аграрной политики. Община, прежде рассматриваемая в качестве гаранта стабильности в русской деревне, предстала в глазах и власти, и общественности главным «мотором» крестьянских беспорядков, притом абсолютно непонятым правительству и неконтролируемым им. Эффект крестьянского бунта был столь впечатляющ, что уже 5 ноября 1905 г., не дожидаясь завершения работы совещаний по аграрному вопросу, правительство Витте приняло решение об отмене выкупных платежей и накопившихся недоимок. Институт круговой поруки отменялся повсеместно. Власть теперь делала ставку на крепкие индивидуальные крестьянские хозяйства, и в рамках этой новой стратегии стимулировала их выход из общины. Налогообложение крестьян становилось индивидуальным (посредством государственных податных инспекторов), участие в нем волостных и сельских управлений отныне не предусматривалось. Свобода, обещанная крестьянам в 1861 г., наконец, казалось бы, пришла в российскую деревню.

В августе–ноябре 1906 г. в период между I и II Государственными думами выходит ряд указов: о продаже крестьянам государственных земель, об улучшении гражданско-правового статуса крестьян, наконец, о праве крестьян на выход из общины и закрепление в собственность своих наделных земель. Законодательное (через Думу) подтверждение положений этих указов затянулось на длительный срок (до 1910–1911 гг.), а правительственные законопроекты по реформе местного самоуправления так и не смогли пройти через законодательные учреждения вплоть до Февральской 1917 г. революции.

Столыпинские преобразования ориентировали деревню на переход от общинной к частной крестьянской собственности. Практиковалось кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для последующей перепродажи крестьянам на льготных условиях и пр. Фактически эти преобразования разворачивали аграрную политику самодержавия на 180°, от прежнего всемерного поощрения и укрепления сельского общества к его постепенному изживанию. Многочисленные меры были направлены на поддержку кооперативного движения. После принятия в 1911 г. Закона о землеустройстве преобразования получили дополнительное ускорение и не прекращались, несмотря на очевидные трудности, даже в период Первой мировой войны.

Помещичьи хозяйства превращались во второстепенный элемент общего хозяйственного потенциала российского агропроизводства. В 1916 г. крестьяне уже засевали (на собственной и арендуемой земле) 89% земель и владели 94% сельскохозяйственных животных. Создавалось ощущение вступления страны в период устойчивого аграрного роста, интенсификации сельского хозяйства, увеличения спроса на современный сельхозинвентарь, знания и технологии.

Однако стоит более внимательно проанализировать совокупные итоги аграрных преобразований 1906–1916 гг., связанных с освобождением крестьян от принудительного пребывания в общине. С 1907 по 1916 г. официально порвали с передельной общиной 3,1 млн. из 10,9 млн. общего числа крестьянских дворов, т.е. лишь 28% (19, с. 481). Между тем это существенно меньше того, что дают расчеты по фактическому предпочтению подворного землевладения накануне 1905 г., проведенные Б.Н. Мироновым с использованием статистики Министерства внутренних дел и данных К.Р. Качоровского (10). По данным двух этих источников, к 1905 г. в общинах, числившихся передельными, но на самом деле не производивших переделов земли с 1861 г., состояло от 2,8 млн. до 3,5 млн. дворов (см.: 19, с. 479–480). Суммируя эти цифры с приведенным ранее числом домохозяйств, выкупивших свой общинный надел или прикупивших землю на стороне (в сумме немногим более 600 тыс.), Б.Н. Миронов делает вывод: «39% всех крестьян – членов передельных общин в 1905 г. разочаровались или не доверяли вполне передельной общине...» (там же, с. 481). Более того, «общинные порядки не были насильственно сломаны столыпинской реформой: как до реформы, так и после нее проходил естественный процесс разложения общины и социальных отношений общинного типа» (там же, с. 482).

Усилим вывод Миронова. В течение 1861–1905 гг. «естественный процесс разложения» последовательно сдерживался самодержавным правительством и тщательно камуфлировался насаждаемыми сверху институтами передельной общины, которые весь пореформенный период оставались чуждыми более чем трети российского крестьянства. При этом движение в сторону подворного хозяйствования в остальной части крестьянства в тот период оказалось минимальным, и нет свидетельств, что оно усилилось (либо как-то активизировалось) в период столыпинских преобразований. Иными словами, власть в течение почти полувека делала в аграрной политике то, чего не следовало бы делать (сдерживала движение крестьянства к хозяйственной самостоятельности и подворному землевладению), и занималась тем, что давало ей стратегический шанс на выживание (не способствовала преодолению общинно-передельных практик и дифференциации крестьянства, не стимулировала переход от передельного к подворному землепользованию). В целом же суммарное количество

тех, кто легально вышел к 1905 г. из передельных общин путем досрочного выкупа наделной земли (1,5%), приобрел землю в собственность «на стороне» (5%) и устойчиво склонялся к подворному землевладению, формально пребывая в передельной общине (около 33%), составляет немногим менее 40% дворов. Это количество соотносится с итоговыми результатами (к 1916 г.) столыпинских преобразований в части выхода из общины, заметно перекрывая число крестьянских хозяйств, реально успевших к этому времени закрепить землю в частную собственность.

Результат преобразований заключался в том, что подавляющему большинству крестьян, желавших перейти от передельного к подворному землевладению, такая возможность была в конце концов предоставлена. Тем не менее те, кто накануне 1905 г. оставался верен передельно-общинному принципу землепользования (а это около трех пятых всех крестьянских дворов), в массе своей сохранили свои предпочтения вплоть до 1917 г. Столыпинские преобразования лишь проявили, сделав очевидным и *политическим*, размежевание передельной и подворно-хозяйствующей деревни и создали тем самым предпосылки будущей «гражданской войны» (закавычим, поскольку то была «гражданская война» при отсутствии граждан – точнее, при отсутствии у большинства ее участников представлений о гражданственности, гражданского самосознания как такового). Более того, они подготовили и облегчили переход этого социально-политического противостояния из «деревни» на страну в целом.

В ходе преобразований *был легализован раскол деревни*, а конфликт между различными социальными стратами крестьянства выведен за рамки локальной крестьянской общины. Ответственность за разрешение до той поры внутреннего, запертого в сельском мире конфликта легла теперь на плечи правительства и государства в целом. Поэтому, когда в 1917 г. правительство «пало», а государство утратило отчетливость своих прежних властных очертаний, «крестьянский вопрос» стал ключевым политическим вопросом всего российского общества, главным в повестке дня российской социальной революции. Конфликт общины и ее разрушителей превратился в силу, обрушившую всю Россию. При этом ни община, ни разрушители в конфликте не уцелели, поскольку, начавшись, конфликт не угас до тех пор, пока обе стороны не истребили друг друга, «вскормив» своей борьбой «третью» силу, которая и подчинила страну новому социальному порядку.

Характерно, что до 1861 г. именно частновладельческий компонент крепостничества выполнял ключевую функцию консолидации самодержавного строя, чутко реагируя на его проблемы. С его упразднением прежняя крепостническая система, охватывающая практически все российское крестьянство и эффективно встроенная в петровский проект самобытной модернизации России, адаптирующий ее к императивам ино-

родного Запада, была обречена на глубокую и принципиальную трансформацию. Все совпало, вызвав взрыв того надстроенного над общиной порядка, основанного на праве, рынке, коммерции и частной собственности, защитники которого так и не смогли преодолеть пропасть между городской протобуржуазной цивилизацией, интегрированной в мировую культуру, и многомиллионным российским сельским миром. Что же до большевиков, то они лишь выступили эффективным детонатором «общинной», т.е. основанной на потенциале массовых нерыночных социальных слоев, революции, а впоследствии эффективно канализировали ее энергию в конструирование нового социального строя.

**Революционное разрешение аграрного вопроса в России.
Поэтапная ликвидация общинно-передельных отношений
в российской деревне. «Долгое эхо» крестьянской реформы 1861 г.
Актуальные аспекты проблемы**

Крах самодержавного государства и олицетворяемого им порядка стал концом столыпинских преобразований и крестьянской (аграрной) реформы как политического проекта старой власти. С новой силой возобновляются поджоги и погромы помещичьих усадеб. Война лишь усилила копившиеся в стране несовместимость и взаимное отторжение. С одной стороны, современная городская цивилизация склонялась к сохранению политического *status quo*. Квинтэссенцией этого подхода стала позиция самодержавной власти, которая предпочла неправовой отказ от престола возможности *правовой реформы* самодержавного строя, его трансформации в конституционную монархию. С другой же стороны, российская деревня, стимулируемая очевидным бессилием власти в деле защиты правового порядка, отвергла путь формально-правовых решений в пользу обычного (традиционного) права распоряжения всей пригодной для сельхозэксплуатации землей России. Более того, уже с начала XX в. в сельской среде культивировалось подспудное состояние «гражданской войны» с ненавистным городом и теми реформами, которые он последовательно и решительно вторгал в крестьянский мир.

Два этих сердца в едином социальном организме России, не связанные уже общими верованиями и ценностями, не совместимые и отторгающие друг друга (*discordia*), предрекали, согласно яркой метафоре Х. Ортеги-и-Гассета (20, с. 37), борьбу сторон до полного уничтожения противника. Упразднение либеральной элитой в феврале-марте 1917 г. самодержавия было воспринято крестьянством как прецедент, символ распада прежнего общероссийского согласия, знак того, что теперь «все дозволено» – состоятельные, защищенные правом «городские классы»,

символизировавшие вековое угнетение крестьянства, должны быть уничтожены «до основания»¹.

Но наряду с сошедшимися в смертельном противоборстве российской городской цивилизацией, возникшей как результат петровских преобразований, и общинной деревней на авансцену российской истории со всей решительностью вступила и «третья сила» – большевизм. Причем успех этой силы облегчался важным обстоятельством, которое тот же Ортега-и-Гассет сформулировал так: «Ни для кого не тайна, что если в России большевизм победил, то победил потому, что в России не было буржуазии» (20, с. 160)². Иными словами, в России не было массовой социальной силы, способной защитить правовой социальный порядок от посягательств политических радикалов. Поэтому большевикам требовалось лишь правильно сориентировать, подчинить своим политическим целям разрушительный потенциал общинно-передельной революции.

Как известно, стихия передельно-общинного крестьянства уже с весны 1917 г. используется большевиками в качестве своего рода тарана, низвергнувшего старый социальный порядок. А декрет «О земле», принятый 8 ноября 1917 г., фактически легализовал уже свершившийся «на местах» поворот к практике уравнительного землепользования, периодических переделов и поравнений, перечеркнувший все результаты столыпинской аграрной реформы. По-прежнему преобладающее в России общинное землевладение в ходе «революционного передела» окончательно взяло верх над односельчанами, выделившимися из поземельной общины в ходе столыпинских преобразований, принудительно втягивая их в общину, практикуя уравнительный передел участков земель, их запашку, потравы – вплоть до разгрома и поджога усадеб. По словам очевидца тех событий, община стала «главнейшим аграрно-революционным ферментом в деревне, важнейшим аппаратом земельной реформы» (цит. по: 24, с. 163).

Именно этот первоначальный успех тактического союза большевиков с общинным крестьянством обеспечил выживание большевистского режима на начальном этапе его существования, вплоть до лета 1918 г. Поглощенное переделами и поравнениями крестьянство привнесло в жизнь страны столько хаоса и беспорядка, что фактически нейтрализовало всякое сопротивление большевистской политике экспроприации промышленности, финансов

¹ Фактически об этом писал Х. Ортега-и-Гассет: «Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что вновь – право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности...» (20, с. 83).

² См. свидетельство М. Волошина – его стихотворение «Буржуй» 1919 г. из цикла «Личины».

и торговли со стороны имущих городских слоев. Это позволило окончательно разгромить российский внутренний рынок и вплотную подойти в рамках политики «военного коммунизма» к формированию режима единой политической и хозяйственно-распределительной монополии.

В свою очередь, комплекс мероприятий, связанных с политикой военного коммунизма, стал логическим следствием разрушения системы товарно-денежных отношений в городе и деревне, доводя процесс натурализации хозяйства до крайних пределов. Главные элементы хозяйственной политики этого периода (продразверстка и подавление товарно-денежных отношений, торговли) явились итогом глубочайшего кризиса национального хозяйства и общества в целом и вместе с тем надежнейшим инструментом утверждения нового военно-коммунистического социального порядка. Лишь сельская община, в 1917–1918 гг. – ключевой союзник новой российской власти, оставалась тогда неодолимым препятствием на пути всеобъемлющего огосударствления.

Аграрная революция, неслыханно укрепившая господствующее положение общины в деревне, сгладила для нее остроту последствий развала рынка, раскрепостив резервы натурального уклада. Этот уклад смог приспособиться и к крайне извращенному натуральному обмену времен военного коммунизма, и к «черному рынку», к спекуляции и мешочничеству, по-прежнему обеспечивая (помимо разверстки и реквизиций) значительную часть потребляемого городами продовольствия. Но натурализованное хозяйство было лишено внутренних стимулов производства отчуждаемых излишков. Новой революционной власти пришлось возрождать (во многом усилиями местных продорганов) такой, казалось бы, забытый с 1905 г. общинный институт, как круговая порука. Тем не менее окрепшая в ходе революции община оказалась крайне неудобной для реализации продразверстки. Она всеми силами сопротивлялась попыткам проникновения государственных органов в механизм ее внутреннего хозяйственного регулирования, а реквизиции подрывали процесс воспроизводства.

В период военно-коммунистического террора большевикам не удалось расколоть общину и путем селективных реквизиций уравнивать в потреблении зажиточных и безлошадных, бобылей и многосемейные хозяйства. Зато увеличилось общее число безлошадных и беспосевных, усилилось обнищание деревни, сократились посевные площади и поголовье скота. Власть предпринимала отчаянные попытки вмешательства в сам процесс крестьянского труда путем его директивного регулирования – вплоть до установления «государственной повинности обсеменения земли» и провозглашенного специальным декретом проведения сельхозкампании 1921 г. «по единому плану и под единым руководством». Однако ни путем непосредственного проникновения в общину или созданием внеобщинных колхозов и совхозов, ни посредством «сельскохозяйственных

трудовых армий» военно-коммунистический режим не смог овладеть ситуацией в деревне. Результатом его политики стало лишь стремительное падение общего уровня сельскохозяйственного производства.

Попытка построить новый военно-коммунистический хозяйственный порядок на основе старой сельской общины не удалась. С того момента ликвидация общины становится приоритетом аграрной стратегии большевизма. Первым шагом на этом пути явился декрет ВЦИК от 20 марта 1921 г. о введении продналога, которым отменялась коллективная порука и вводилась индивидуальная ответственность за исполнение налога. *Рынок*, допущенный нэпом, понадобился большевикам в том числе и затем, чтобы одолеть общину. Ведь лучшего средства ее разложения изнутри история еще не придумала.

К началу нэпа доминирование общинного землепользования в российской деревне было налицо¹. Вместе с тем к тому времени крестьянство прошло процесс национализации и социализации земли, утратило стимулы к расширению хозяйственной деятельности и, наконец, попросту разорилось, вернувшись к натуральным формам воспроизводства. В 20-е годы, как и во времена Столыпина, был запущен и постепенно стал набирать обороты механизм внутренней дифференциации деревни. С 1927 г. бедняков освободили от налогов, зажиточных буквально душили растущим налоговым бременем. В деревне нарастала социальная напряженность. В логике времен военного коммунизма производящая деревня ответила снижением поставок товарного зерна. Власть воспользовалась кризисом хлебозаготовок и под предлогом борьбы с «крестьянским бунтом» стала возрождать отдельные элементы политики продразверстки: реквизиции зерна, поиски «излишков», использование сельской бедноты как агентов власти. Казалось, страна ускоренно проходила этапы аграрного кризиса периода военного коммунизма.

Два принципиально новых момента отличали ситуацию конца 1920-х годов от первых пореволюционных лет. В ходе нэпа старая община, повторно лишённая института круговой поруки, подверглась глубокому разложению. Реквизиции и разверстка носили сугубо адресный характер и целенаправленно били по «кулаку», который уже не мог, как в 1918 г., рассчитывать на то, что сельский мир разделит с ним бремя новых поборов. С нарастанием аграрного кризиса, ростом цен, снижением покупательной способности населения, усилением дефицита продуктов питания, появлением в городах в феврале 1929 г. хлебных карточек – все условия для осуществления «великого перелома» оказались налицо.

¹ «...К 1922 г. в Советской России 85% всей земли находилось в общинной собственности, в 67% общин произошел передел земель...» (19, с. 483).

Последующее хорошо известно. На смену беспощадно уничтожаемой общине пришла новая форма сельского «коллектива» – колхозы образца 1930-х годов, отличающаяся от прежней тем, что воспроизводила общинное землепользование, лишив его всяких признаков индивидуального хозяйствования. Это позволило до немислимых размеров увеличивать долю отчуждаемого продукта. Ранее «естественным» пределом нормы отчуждения служила квота, изнурительная для беднейших, но вполне сносная для «справных» хозяйств. Само сохранение индивидуальных крестьянских хозяйств в рамках общинного землепользования обеспечивало предпосылки дифференциации доходов и тем самым ставило предел норме отчуждения. В колхозах этот принцип отчуждения был решительно преобразован: кто больше производил, у того больше и отнималось. Рыночные механизмы хозяйствования были окончательно подорваны, всецело возобладали тотальный государственный контроль над производством, потреблением и распределением рабочей силы между аграрной сферой и промышленностью. Со становлением нового аграрного порядка эпоха российской истории, связанная с развитием товарно-денежных отношений, фактически завершалась. «Великий перелом» положил начало процессу формирования «нового человека», утратившего способность жить частным образом и саму потребность в этом. Человеческое «Я» все более последовательно отрицалось и растворялось во всеобъемлющем «Мы».

Вместе с тем эта грандиозная социальная драма явилась лишь *особой попыткой* решения проблем развития страны, длительное время отдававшей предпочтение в аграрном вопросе общинной альтернативе. Тем самым культивировались тенденции, разрушительные с точки зрения эволюционных потребностей современного государства. «Государство как общественную форму человек не получает готовым и без усилий, но должен ковать его, не щадя сил... Государство возникает, когда человек стремится выйти из того природного общества, в котором его держат узы крови... Над зоологическим многообразием оно воздвигает абстрактное единообразие закона» (20, с. 137). Между тем в процессе конструирования современного государства Россия с конца XIX в. стала испытывать всевозрастающие трудности, связанные не только с имитационным освоением его политических форм, но и с формированием единой и целостной в правовом и культурном отношениях нации. В этой новой ситуации главной проблемой оказывалась *инерция* исключенности из процесса строительства российской нации общинного крестьянства, что, учитывая его масштабы, ставило перспективу развития национального проекта в зависимость от стратегии преодоления этой инерции.

Сохранение «внегосударственного» сословия в условиях индустриальной трансформации и перехода от сословной структуры к частноправовому и общегражданскому универсализму замыкало его в общинном гетто

и предрекало роль ресурса, невозобновимо расходуемого на обслуживание потребностей государства. Более того, само наличие этого сословия ставило под вопрос перспективу национального проекта в рамках и логике петровских преобразований. Только радикальное, революционное переформатирование, осуществленное большевиками, позволило придать новый импульс специфическим процессам российской модернизации (подробнее см.: 13). Однако ценой этого продвижения стало большевистское «раскрестьянивание», за три десятилетия уничтожившее крестьянство «как класс». При этом в рамках переформатированного большевизмом национального проекта изначально предполагалось колоссальное расширение границ новой «советской нации» (до «мирового пролетариата», «всемирной республики Советов»). Предполагалось, что в «нацию интернационала» войдут не только «пролетарии Запада», но и Индии, Китая и прочих «угнетаемых мировой буржуазией стран». «Всемирный интернационал» как высшая, предельная форма имперской экспансии российского протонационального государства¹ в течение определенного времени оставался для всего «цивилизованного мира» «нежелательной альтернативой» западноевропейскому проекту современности.

Заключение

Весь комплекс реформ 1860-х годов может быть соотнесен со своего рода программой «новых петровских преобразований». Однако реальное их осуществление оказалось для царизма непосильной задачей, поскольку в нем еще в эпоху Великого Петра было заложено единство городской европеизированной цивилизации, ориентированной на право и рынок, и натуральных сельских укладов, сцементированных общинным землепользованием и крепостной зависимостью. Глубочайшая включенность этого государства (с конца XIX в.) в капиталистическое предпринимательство вела к тому, что экономические риски последнего легко конвертировались в политические риски самого государства. Мировая война 1914–1918 гг. воочию продемонстрировала критическую шаткость Российского государства. Его гарантии обесценились. Прежняя модель государства оказалась неспособной к последовательной реализации проекта *нерыночной индустриализации*. Потребовалось новое радикальное преобразование всего социального и государственного механизма самодержавия, что удалось осу-

¹ Эффективность этой экспансии во многом определялась тем, что в силу радикального культурного «упрощения» социального строя, целенаправленно осуществляемого большевиками в первые десятилетия существования советского режима, она была лишена многих «классических» внутренних ограничителей роста. Принципы консолидации народов в парадоксальную «нацию интернационала» долгое время успешно работали «на идею» СССР.

ществить лишь в итоге большевистского переворота¹. Основной новацией этой «зрелой фазы» пореформенного развития России стало создание системы капиталистического накопления *без буржуазии*, когда монопольным субъектом такого накопления выступало государство.

Концлагеря Гулага, тотальная война и заградотряды (с «подвигов» Тухачевского 1921–1922 гг. и времен Голодомора 1930-х до повседневности войны 1941–1945 гг.), штрафники, раскрестьянивание. Все эти специфические формы были востребованы и усовершенствованы русской властью при переходе к стратегии внутренней индустриальной колонизации, тотальном распространении практик «социального исключения» на все социальные страты, кроме особых слоев «управленцев» (номенклатуры), актуально задействованных в реализации ее планов «преобразования общества».

При этом по-прежнему сохранялось различие в подходах власти к «городу» и к «деревне». В первом случае подход был «штучным», репрессии осуществлялись хоть и в массовом порядке, но *выборочно*. Природа «города» в первые два пореволюционных десятилетия радикально изменилась, он превратился в большой производственный цех страны, а вместе с тем в «кузницу кадров» для нужд власти. Прежние важнейшие характеристики городской жизни (рыночный обмен, финансовые операции, образовательные и культурные инициативы, политическая активность) сошли на нет, либо совсем исчезнув, либо став маргиналиями, либо заместившись симулакрами, характерными к тому же преимущественно для столичной жизни. Судьба «деревни» оказалась принципиально иной. Новая власть по-прежнему не различала в ней отдельных «лиц», практикуя методы круговой поруки. Репрессиям подвергались целые семьи, а то и «неблагонадежные поселения» целиком. Поводом для репрессий служило смутное подозрение (в «утаивании хлеба», нежелании «обобществлять имущество», во «вредительстве» и т.п.). Более того, вопрос ставился о ликвидации целых «классов» сельского населения, на которых во многом держался весь социальный порядок российского крестьянства. С их упразднением оно было обречено на «медленное, мучительное вымирание...»².

Тем не менее деревня послужила власти дармовым ресурсом, уберегая ее от неизбежного – в перспективе – социально-политического краха:

¹ В частности, лишь большевики сумели довести до логического завершения военную реформу Александра II, совместив всеобщую воинскую повинность с неукоснительной дисциплиной и освоив формы и методы тотальной мобилизации. И лишь они смогли на практике разделить административные и хозяйственные аспекты разложения общины, что стало залогом их стратегической победы в борьбе с крестьянством.

² По едкой иронии истории точнее любого иного суждения итог этой эволюции российского крестьянства резюмирует фрагмент известного высказывания Ильича, обличавшего аграрную политику царизма 1890-х годов (см.: 15).

не только миллионами убитых на войне, но, что может быть еще важнее, внося решающую лепту в формирование «нового, советского человека», представителя пресловутой «новой социальной общности». И лепта эта не сводилась к банальному вкладу в прирост популяции: массовый приток в «города» счастливых, сумевших выбраться из «деревни» (колхоза, беспаспортного состояния), вел к принципиальному изменению городского социокультурного фона, распространению и утверждению в городских обществах принципов «передельной социальности» (по Ю.С. Пивоварову)¹.

Русская власть была жизненно заинтересована в этих переменах. Они давали ей шанс на продление существования в новых условиях урбанизированного и прошедшего первые этапы индустриализации общества. Они составляли ресурсный потенциал распространения ее тотального контроля и управленческого диктата на население «города», его поведение и мировосприятие. Они создавали предпосылки прекращения «гражданской войны» с «городом», утверждения в стране состояния «гражданского мира», эффекты которого – в формах социальной и политической апатии, добровольной отстраненности от «политики» и неучастия в гражданских инициативах – мы в полном объеме наблюдаем и переживаем сегодня.

Система безбуржуазного накопления, окончательно реализованная в годы первых пятилеток, стала основой промышленного и державного подъема СССР. В рамках этой системы общество, лишенное возможности распоряжения собственностью (средствами производства) и отчужденное от необходимых ему ресурсов развития, ресурсов собственной жизнедеятельности, оказалось один на один с государственной машиной, монопольно распоряжавшейся этими средствами и ресурсами. Государство с помощью органов принуждения и так называемых органов распределения и планирования (Госплан, Госснаб и пр.) централизованно и монопольно осуществляло мобилизацию необходимых для своего расширенного воспроизводства ресурсов путем их отчуждения у населения, а вместе с тем выполняло функцию индустриально-капиталистического целеполагания и целедостижения. Оно формировало инфраструктуру и новые производственные мощности, обеспечивало снабжение страны всем необходимым, развивало фундаментальные и прикладные исследования, научно-исследовательские и конструкторские разработки, создавало новую технику и готовило для нее новые кадры специалистов и пр., и пр.

¹ См., например: Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез. – М., 2004. – С. 222. Следует, безусловно, отметить и то обстоятельство, что успех большевиков стал возможен во многом благодаря их радикальному способу решения проблемы интеграции многомиллионных масс малоземельного и обнищавшего общинного крестьянства, отчужденного прежде от культурного, социального, экономического, правового и политического процессов, в индустриальную систему современного капитализма.

В итоге век спустя после реформ Александра II в России сформировалось невиданное более нигде в мире чудо **капитализма без рынка и буржуазии**. Система капиталистического накопления сформировалась в принципиально безбуржуазной среде советского общества (субъектом накопления капитала выступала непосредственно власть). Этот результат стал самым драматическим по своим социальным последствиям (т.е. по эффекту разложения основ общественной консолидации страны). Выход из этого ценностно-культурного, социально-политического и экономического тупика – тупика «освобождения» – не найден нашей страной и по сей день.

Список литературы

1. Беспалов С.В. Вопрос об «истинном значении» реформы 1861 года в российских политических дебатах конца XIX – начала XX века // Реформа 1861 г. в истории России (К 150-летию отмены крепостного права): Сб. обзоров и рефератов. – М., 2011. – С. 95–108.
2. Боголюбов В.А. Крепостное право в XVIII веке // Крепостное право в России и реформа 19 февраля / Под ред. Дживелегова А.К., Мельгунова С.П., Пичеты В.И. – М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – 399 с.
3. Большакова О.В. Отмена крепостного права в России. Англоязычная историография 1960–1990-х годов: Аналитический обзор // Реформа 1861 г. в истории России (К 150-летию отмены крепостного права): Сб. обзоров и рефератов. – М., 2011. – С. 210–211.
4. Витте С.Ю. Избранные воспоминания. – М.: Мысль, 1991. – 708 (11) с.
5. Вормс А.Э. Положения 19 февраля // Великая реформа. – М., 1911. – Т. 6. – С. 1–53.
6. Долбилев М.Д. Земельная собственность и освобождение крестьян // Собственность на землю в России: История и современность. – М., 2002. – С. 45–152.
7. Дружинин Н.М. Журнал землевладельцев. 1860–1868 гг. – М.: РОАНИОН, 1927. – Т. 2. – С. 251–310.
8. Захарова Л.Г. Самодержавие и реформы в России, 1861–1874: (К вопросу о выборе пути развития) // Великие реформы 1856–1874. – М., 1992. – С. 24–43.
9. Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». – М.: Наука, 1988. – 304 с.
10. Качоровский К.Р. Народное право. – М.: Молодая Россия. Тип. Г. Лиснера и Д. Собко, 1906. – 255 с. – Режим доступа: http://lavsite.naxx.ru/webmag/pay.php?agent=125386&id_d=525603
11. Кеппен П. Девятая ревизия: Исследование о числе жителей в России в 1851 г. – СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1857. – 298 с. – С. 175–216. – Режим доступа: http://books.google.ru/books?id=-6kbtV51dzkC&pg=PR13&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
12. Лапкин В.В. Община в предреволюционной и революционной России // Известия АН СССР. Серия экономическая. – М., 1989. – № 5. – С. 129–136.
13. Лапкин В.В. Проблемы российского развития в контексте структурных изменений миропорядка (конец XIX – начало XXI в.) // Труды по россиеведению: Сб. научн. тр. – М., 2010. – Вып. 2. – С. 185–210.
14. Лапкин В.В. Моделирование российской политической истории: Введение в теорию эволюционных циклов автохтонного развития России // Полис. – М., 2011. – № 6. – С. 33–51.

15. Ленин В.И. Рабочая партия и крестьянство // Полн. собр. соч. – Т. 4. – С. 431.
16. Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 г.: Черноземный центр, 1861–1895 гг. – М.: Наука, 1972. – 423 с.
17. Малая советская энциклопедия / Гл. ред. Б.А. Введенский. – 3-е изд. – М., 1959. – Т. 5. – С. 99–103.
18. Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России, XVIII – начало XXI века. – М.: Наука, 2005. – 639 с.
19. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. – СПб.: Дм. Буланин, 2003. – Т. 1. – LX, 548 с.
20. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды: Пер. с исп. – 2-е изд. – М.: Весь мир, 2000. – 704 с.
21. Пивоваров Ю.С. О русских революциях. Послесловие // Труды по русистике: Сб. научн. тр. – М., 2009. – Вып. 1. – С. 21–67.
22. Реформа 1861 г. в истории России (К 150-летию отмены крепостного права): Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отдел истории; Отв. ред. Коновалов В.С. – М., 2011. – 354 с. – (Сер.: История России).
23. Россия: Энциклопедический словарь. На основе материалов Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (тт. 54 и 55). – Л.: Лениздат, 1991. – 922 с.
24. Россия: Энциклопедический справочник / Под ред. А.П. Горкина, А.Д. Зайцева, В.М. Карева и др. – М.: Дрофа, 1998. – 592 с.
25. Хок С. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России, 1857–1861 // Великие реформы в России. 1856–1874: Сборник. – М., 1992. – С. 90–105.

С.В. БЕСПАЛОВ

***НАСЛЕДИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
АЛЕКСАНДРА II И ВЫБОР СТРАТЕГИИ АГРАРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТАХ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.***

В России конца XIX – начала XX в., в период выработки стратегии экономических, и прежде всего аграрных, преобразований, сопровождавшейся весьма острым социальным и политическим конфликтом, обратились к историческому опыту предыдущей аграрной реформы 1861 г. Это было вполне закономерно как в связи с очевидной значимостью события, так и по причине не менее очевидной незавершенности «Великой реформы» и ее внутренней противоречивости. С одной стороны, Положения 19 февраля 1861 г. открывали дорогу к превращению крестьян в полноправных собственников своих земельных наделов (пусть и по завершении весьма продолжительной выкупной операции). С другой – передельная община, сковывавшая инициативу крестьян, не просто была сохранена, но и существенно укрепилась – государство возложило на нее многочисленные функции, осуществлявшиеся прежде помещиком.

К тому же, как убедительно показал российский исследователь М.Д. Долбилов, «неопределенность концептуализации права земельной собственности, размытость воззрений на его экономические и социальные функции были тем контекстом, который плотно обрамлял предреформенные (а во многом и пореформенные тоже. – С.Б.) рефлексии и дебаты на тему будущности землевладения» (6, с. 50). Поскольку авторам «освободительной реформы» помещик и крестьянин виделись – не только в прошлом и настоящем, но и в будущем – «сосуществующими в разных правовых пространствах», реформа «не привела к выработке надсословной концепции частной земельной собственности» (6, с. 151, 152). При этом, по справедливому замечанию В.И. Герье, распространившееся в русском обществе накануне отмены крепостного права «предубеждение *в пользу* земледельческой общины имело не одно теоретическое значение, но повлияло на русское законодательство в великий момент освобождения кре-

стьян от крепостной зависимости». В результате «основная мысль великого переворота – освобождение крестьян с землею, была затемнена» (3, с. 10).

В конце XIX – начале XX в. в российском обществе активизировались дебаты о характере и значении реформы 19 февраля 1861 г. При их анализе необходимо учитывать следующие моменты. В тот период проявились наиболее характерные свойства общественного исторического сознания: во-первых, избирательность и, во-вторых, динамичность – известно, что со временем оценки некоторых исторических событий могут изменяться, причем весьма существенно. Кроме того, специалисты считают необходимым рассматривать этот феномен на уровне не только общенациональном, но и разных социальных групп, в сознании которых одни и те же исторические события нередко запечатлеваются совершенно по-разному. Наконец, события и образы прошлого зачастую используются представителями различных политических течений для обоснования своих программ и достижения собственных групповых целей (см., например: 9; 13 и др.).

Соответственно, опыт реформы 1861 г. и «истинное значение» преобразований Александра II интерпретировались по-разному сторонниками альтернативных стратегий развития аграрного сектора российской экономики и страны в целом. Многие общественные деятели, принадлежавшие как к консервативному, так и к либеральному лагерю, да и некоторые неонародники стремились представить именно себя продолжателями «Великих реформ». Таким образом они рассчитывали обеспечить дополнительную легитимацию своей позиции и в глазах царя, за которым оставалось последнее слово при определении аграрной политики, и в глазах значительной части общества.

Дебаты о характере крестьянского землевладения в бюрократических верхах в первой половине 1890-х годов

Праволиберальные и умеренно-консервативные концепции аграрных преобразований основывались на идее утверждения частнособственных отношений в крестьянском хозяйстве как важнейшем условии выхода сельского хозяйства из кризиса, решения проблемы аграрного перенаселения, повышения производительности труда крестьян. При этом правые либералы в большинстве своем отрицали существование проблемы малоземелья, хотя и считали, что разбросанность принадлежащих каждому домохозяйству участков и низкий уровень ведения хозяйства могут породить «относительное малоземелье». Приверженцы праволиберальных взглядов, в том числе и реформаторски настроенные чиновники, видели в реформе Александра II первый шаг к превращению крестьян в полноправных собственников земли и настаивали на необходимости логического

завершения этого процесса. В то же время консерваторы выступали за сохранение сословной замкнутости крестьянского землевладения, утверждая, что лишь таким путем можно предотвратить обезземеление крестьянства и сохранить за домохозяйствами наделы, полученные ими в результате отмены крепостного права. Две эти точки зрения были представлены не только в экономической и общественной мысли страны, но и в дискуссиях в высших эшелонах власти.

Достаточно жесткое столкновение приверженцев этих полярных позиций произошло в 1893 г. на заседании соединенных департаментов Государственного совета, где рассматривались предложенные Министерством внутренних дел меры к предупреждению отчуждения крестьянских наделных земель. Отдельные случаи отчуждения крестьянами выкупленными ими наделных участков вызвали в МВД «опасение, что в дальнейшем своем развитии указанное явление может привести к обезземелению крестьян»¹. Министр внутренних дел Н.И. Дурново посчитал необходимым ограничить свободу распоряжения выкупленными наделными землями – прежде всего запретить их залог, а также ввести запрет на продажу этих земель кому-либо, за исключением членов той же общины².

В ходе обсуждения этого вопроса девять участников заседания во главе с председателем Комитета министров Н.Х. Бунге высказали мнение: «Проектированная Министерством Внутренних Дел мера идет вразрез с одним из основных начал положения 19 Февраля 1861 года. Она нарушает в корне установленное приведенным законом понятие о *крестьянах-собственниках*», так как все временные ограничения права собственности крестьян на землю устанавливались авторами реформы 1861 г. лишь в интересах казны, «ввиду необходимости обеспечить лежащий на крестьянской земле выкупной долг»³. «Что останется у крестьян от этого права, если от него будут оторваны столь важные его составные части, как возможность залога этой земли или продажи ее лицам, предлагающим наиболее выгодную за нее цену? Очевидно, весьма небольшое»⁴. Меньшинство членов Государственного совета, выступившие оппонентом предложенной МВД меры, предположило, что подобный поворот в аграрной политике едва ли может быть понят крестьянами иначе, чем лишение их «одной из великих милостей, дарованных им при освобождении от крепостной зависимости»⁵.

Кроме того, противники проекта МВД справедливо полагали, что в результате такой меры в сознании крестьян появятся «сомнения относи-

¹ Российская национальная библиотека (далее – РНБ). – Ф. 781. – Д. 163. – Л. 1.

² Там же. – Л. 2–3.

³ Там же. – Л. 7–8.

⁴ Там же. – Л. 8.

⁵ Там же.

тельно устойчивости земельных прав и прочих сословий» (хотя, конечно, правильнее было бы говорить не о возникновении, а об усилении этих настроений), а также возродятся «толки и об увеличении надела», имевшие место накануне отмены крепостничества¹. И наконец, оппоненты проекта указывали, что предлагаемые МВД ограничения способны принести выгоду лишь кулакам, получающим в этом случае исключительную привилегию на приобретение надельных земель. Высказывались и обоснованные опасения по поводу того, что вследствие снижения количества потенциальных покупателей крестьянских земель, неизбежного в этом случае падения цен на землю и невозможности по этой причине для крестьян выгодно продать свои наделы будет если не полностью остановлено, то предельно затруднено развитие переселенческого движения².

Ряд членов Государственного совета отмечали также, что крестьянское землевладение в целом по стране в пореформенные десятилетия не только не сокращалось, но неуклонно росло. Если все же стремиться к минимизации продажи земли крестьянами, считали критики проекта МВД, то делать это следует «не насильственным прикреплением крестьян к наделу, а лишь устранением тех неблагоприятных условий, которые выгоняют крестьянина с его участка; возможно достигнуть этой цели без потрясения экономического быта народа»³. Среди неблагоприятных условий, предопределяющих крайне неблагоприятное состояние сельского хозяйства страны, числились чрепозносность крестьянских земель, чрезмерное их дробление, круговая порука и «другие темные стороны общинного пользования». Их устранение предлагалось признать целью намеченного пересмотра законодательства о крестьянах⁴. Выступая против запрета залога надельных земель, девять членов Государственного совета отмечали, что ни одна отрасль экономики не может существовать и развиваться без содействия кредита. Не может обойтись без него и мелкая сельскохозяйственная промышленность, в особенности крестьянская; кредит же должен быть обеспечен залогом недвижимости⁵.

Сам председатель Комитета министров Н.Х. Бунге счел необходимым еще более жестко сформулировать свою позицию в «Особом мнении». По убеждению Бунге, проект Дурново «отвергает значение фактов, доказывающих, что обезземеления крестьян на деле нет; отвергает в ущерб справедливости частную собственность...»⁶. Ограничив право продажи и залога имущества, а также приобретения земли в частную собст-

¹ РНБ. – Ф. 781. – Д. 163. – Л. 8.

² Там же. – Л. 8об.–9.

³ Там же. – Л. 9об.

⁴ Там же. – Л. 10.

⁵ Там же. – Л. 15об.

⁶ Там же. – Л. 30.

венность, государство тем самым пойдет на беспрецедентное стеснение общегражданских прав. «Единственный результат, достижимый в будущем вследствие неотчуждаемости крестьянской земли, ограничится тем, что крестьяне сочтут Правительство обязанным наделять их землею не только государственною, но и частновладельческою, – указывал Бунге. – Пошатнув в понятиях крестьян навсегда ясное представление о праве и о личной собственности, Правительство достигнет одного, что крестьяне не будут уважать поместной собственности и будут требовать наделов»¹. От этого проиграют и дворянство, и государство в целом. При проведении подобной политики, по убеждению Бунге, нет оснований рассчитывать ни на улучшение способов обработки земли, ни на повышение благосостояния крестьян. «Общины при каждом неурожае будут ждать, чтобы их Правительство кормило. Налоги будут поступать в размерах далеко ниже установленных окладов. Зато принцип неотчуждаемости будет спасен»².

Бунге настаивал, что никаких оснований опасаться обезземеления крестьянства нет. По его данным, за один лишь 1886 г. крестьянами было приобретено 294 688 десятин земли – в 2,5 раза больше, чем перешло от них в руки других сословий за три пореформенных десятилетия. Таким образом, отсутствовали какие бы то ни было причины, «чтобы сломать некоторые из главных начал положений 19 февраля 1861 г. и подвергнуть массы крестьян существенным ограничениям предоставленных им прав»³. По мнению председателя Комитета министров, следовало, напротив, «дать исход стремлению крестьян к приобретению более огражденного постоянного пользования землею»; стараться не обходить фундаментальные принципы, заложенные в Положениях 1861 г., а дать им практическое применение; «облегчить способ приобретения потомственного владения землею, потому что только при обеспеченном владении можно ожидать лучшей обработки земли и возрастания крестьянского благосостояния, а вместе с тем более полного удовлетворения общественных потребностей как местного, так и государственного (т.е. финансового) хозяйства»⁴.

Однако большинство (а именно восемнадцать) участников заседания Соединенных присутствий Государственного совета, в числе которых был и С.Ю. Витте, заняли противоположную позицию. По их мнению, проект Дурново не только не нарушал основных принципов Положения 19 февраля 1861 г., но, напротив, должен был «почитаться идущей в их подкрепление и развитие» мерою, поскольку при освобождении от крепостной зависимости крестьянам не только была дарована свобода – они наделялись

¹ РНБ. – Ф. 781. – Д. 163. – Л. 30.

² Там же.

³ Там же. – Л. 30–31.

⁴ Там же. – Л. 31.

землей. Поэтому «едва ли можно думать, что утрата крестьянским населением земли, данной ему с столь крупными жертвами как казны, так и помещиков, могла бы отвечать видам и надеждам основателей этого закона»¹. Соответственно, и залог земельных наделов был признан большинством Государственного совета формой распоряжения землею, «которая угрожает весьма серьезными опасностями земельному достоянию», а потому должна быть запрещена². Как видим, факты, свидетельствовавшие об отсутствии какой-либо опасности обезземеления крестьян, были попросту проигнорированы.

Итак, способ «решения» крестьянского вопроса, избранный властью в первой половине 1890-х годов, мог привести лишь к углублению аграрного кризиса в России. Неудивительно поэтому, что уже несколько лет спустя дискуссия о путях реформирования аграрных отношений разгорелась с новой силой.

П.Л. Ухтомский о необходимости ограничения всевластия общины

В ходе развернувшейся полемики противники общинного строя стремились привлечь внимание общественности к негативным последствиям передачи «миру» после отмены крепостного права целого ряда административно-полицейских функций. Достаточно широкий резонанс в российском обществе получил опубликованный в 1898 г. «Доклад о некоторых мерах к улучшению благосостояния населения Казанской губернии» князя П.Л. Ухтомского казанскому губернскому земскому собранию, акцентировавший внимание на негативных сторонах принятого несколькими десятилетиями ранее решения. Оговаривая, что «законодательному пересмотру в данном случае может подлежать лишь то, что самим законом и создано», Ухтомский тем не менее утверждал: *закрепленных законом проявлений власти общины над личностью крестьянина (бросающихся в глаза даже при самом поверхностном знакомстве с проблемой) более чем достаточно* (14, с. 43).

Ухтомский показал, что общине принадлежали колоссальные имущественные права: прежде всего полная власть над находящимися в пользовании крестьян землями (кроме усадебных), – и она «может переделывать эту землю по своему произволу и усмотрению». «Мир» имел право на часть доходов (в том числе заработков) каждого общинника, а также «право принудительного труда через отдачу недоимщика в заработки», т.е. значительные налоговые права (14, с. 43–44). Обладала община и «правами семейными – как личными, так и имущественными»: она, например, имела право вместо главы семьи назначать хозяином любого другого ее

¹ РНБ. – Ф. 781. – Д. 163. – Л. 11.

² Там же. – Л. 160б.

члена по собственному усмотрению. Правда, такая мера могла применяться лишь в отношении неплательщиков, но, по словам Ухтомского, «при круговой поруке и при желании быть исправным легко попасть в неисправные». Кроме того, община располагала правом производить семейные разделы вопреки согласию родителей и т.д. (14, с. 43).

Наконец, утверждал Ухтомский, «миру» принадлежала и полицейская власть, осуществлявшаяся «путем приговоров по различным предметам полицейского ведения» и через выборность должностных полицейских чинов. Имела община и обширную судебную власть, «или, лучше сказать, без суда – карательную»: Ухтомский имел в виду право старосты штрафовать и заключать под арест, право общины «ссылать в Сибирь тех членов, которые “миру” неуютны». Располагала община даже законодательной властью, поскольку, действуя на основании норм обычного права, никем не кодифицированных и не проверенных, «мир» руководствовался, в сущности, тем, что сам же и устанавливал. Таким образом, делал вывод П.Л. Ухтомский, община не просто обладает колоссальной властью над личностью крестьянина, не оставляя простора для какой-либо инициативы, и большинство крестьян не просто живут вне сферы действия норм гражданского права. «“Миру” принадлежат такие атрибуты власти, которые по государственному праву считаются атрибутами государственного верховенства, державными правами государственной власти» (14, с. 44). (Справедливости ради отметим, что многие из этих прав община практически никогда не использовала. – С.Б.)

Поэтому, полагал Ухтомский, не отвергая того, что было создано и поддерживалось самой жизнью, но лишь устранив всевластие общины, власть не допустит «никакого колебания устоев народной жизни, ибо естественные союзы не нуждаются и не должны искать искусственных поддержек извне». Первым шагом на этом пути, по убеждению Ухтомского, должна была стать отмена круговой поруки, в результате чего «община будет введена в общую систему гражданского быта». После этого крестьяне, «оставаясь по добровольному согласию общинниками, станут не по имени только, но и по существу дела, – гражданами земли русской» (14, с. 42, 43). Самой же общине будет расчищен путь для нормального развития. Конечно, одной отмены круговой поруки для осуществления всех этих благих целей было явно недостаточно, однако рассчитывать на большее в 1898 г. Ухтомский считал нереальным.

Правительственная пропаганда 1890-х годов: аграрный вопрос в России решен

Тем не менее вплоть до середины первого десятилетия XX в. консерваторы в правительственных структурах исходили из того, что новой

кардинальной аграрной реформы России не требуется. Поэтому официальные круги старались убедить население (прежде всего крестьянство) в том, что аграрный вопрос в России уже решен – в 1861 г. при освобождении крестьян, которые якобы встретили эту реформу едва ли не восторженно; все условия для грядущего благоденствия наиболее многочисленного российского сословия были созданы уже тогда. Во многом именно ради популяризации этой идеи в середине – второй половине 1890-х и в начале 1900-х годов издавались многочисленные брошюры о деятельности Александра II и об освободительной реформе, рассчитанные на массового читателя.

Так, в книге А. Царевского, текст которой был также напечатан в журнале «Православный собеседник», утверждалось, что «Александр II явился тем великим человеком, которого ждала история и призывало человечество, тем добрым сердцем, которое ничем не смутилось и ни перед чем не остановилось в исполнении этого векового долга. И миллионы рабов получили свободу и права человеческие, благодаря могучему духу и добрейшему сердцу Того, Кого история во веки веков будет величать *Освободителем*» (15, с. 17–18). Автор пытался убедить читателей в том, что реформой были сняты все социальные противоречия и созданы условия для бесконфликтного сосуществования основных классов сельского населения. Сделать это, по мысли автора, удалось только в России: Александр II «сумел всех и все расположить в пользу реформы и примирить с нею» – между тем как везде подобные преобразования не обходились без сопротивления и борьбы, а нередко и кровопролития. Царь обеспечил освобожденный народ собственностью, в то время как в других странах, по утверждению Царевского, бывшие крепостные превращались в безземельных пролетариев (15, с. 18).

Те же идеи проводились в брошюре С. Пономарева, подчеркивавшего, что в результате реформы «каждый добросовестный, работающий человек скоро стал бодрее духом, здоровее, зажиточнее»; крестьянам дарованы все гражданские права. «Таким образом Государь создал в России народ, которого – можно сказать – дотоле у нас не существовало» (10, с. 17). Авторы этих публикаций настаивали на том, что «дворяне сами изъявляли согласие отпустить крестьян на волю и наделить их на известных условиях землею»; принуждать их к освобождению крестьян государю вовсе не пришлось (см.: 12, с. 276)¹.

Такая «просветительская» работа среди крестьян не могла принести и не принесла ожидаемых властями результатов. Скорее каждое новое на-

¹ См. также: Богданович Е.В. Царь-Освободитель: Русскому народу на память? – СПб.: [Б.и.], 1898. – С. 13.

поминание об освобождении крестьян с землей при Александре II возбудило в крестьянском населении надежды на дополнительное наделение.

Преемственный курс правительственных преобразований: превратить крестьян в «полноправных собственников»

В условиях обострения аграрного кризиса к началу 1900-х годов все больше представителей высшей бюрократии начали осознавать необходимость новой аграрной реформы, которая сделала бы крестьян полноценными собственниками своих земель и в то же время обеспечила отток из деревни избыточной рабочей силы. Среди прочих проповедовал эти идеи С.Ю. Витте. Спустя десять лет после упоминавшегося обсуждения крестьянского вопроса в Государственном совете он именовал своих бывших единомышленников «поклонниками оставления крестьян в стадном состоянии»¹. В своей знаменитой «Записке по крестьянскому делу» Витте напоминал Николаю II о духе и букве Положений 19 февраля 1861 г. и призывал монарха предоставить крестьянам свободу в распоряжении земельными наделами, чтобы превратить их в полноправных собственников (см.: 1).

Особое значение преемственности преобразований 1860-х годов и начала XX в. придавал П.А. Столыпин. Он указывал, что Указ 9 ноября 1906 г. дал российскому крестьянину возможность «осуществить, наконец, обещанное еще при освобождении право стать хозяином, собственником своей земли», и только проводимая им политика способна гарантировать укрепление экономического положения «раскрепощенного от рабства крестьянства» (11, с. 130–131).

Сам Николай II не упускал случая заявить о себе как о продолжателе дела Александра II – создания «в лице русского крестьянина не только свободного, но и хозяйственно сильного собственника... В успехах прошлого Я вижу залог дальнейшего развития», – утверждал монарх, ранее поддерживавший сторонников идеи сословной неотчуждаемости крестьянских земель и защитников сельской общины. Кроме того, государственные органы, которые реализовывали столыпинскую реформу, Николай считал структурами, «преемственно осуществляющими» задачи, что определил еще Царь-Освободитель².

¹ Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). – Ф. 1622. – Оп. 1. – Д. 729. – Л. 15.

² РГИА. – Ф. 1622. – Оп. 1. – Д. 942. – Л. 134а.

«Проработка» левыми политиками опыта реформы 1861 г.

Однако к ссылкам на опыт реформы 1861 г. для «освящения» своей позиции прибегали не только идеологи и сторонники правительственной программы аграрных преобразований, но и их оппоненты. Многим крестьянам и политикам, претендовавшим на роль выразителей интересов российского крестьянства, события 60-х годов XIX в. представлялись прежде всего актом государственной власти, обеспечившим в принудительном порядке передачу крестьянству находившихся в собственности помещиков земель. Им казалось, что подобную готовность правительства пренебречь интересами крупных землевладельцев при наличии политической воли можно было повторить и в новых исторических условиях, но уже без тех неоправданных компромиссов с представителями «эксплуататорских классов», которые были допущены властью в 1861 г. (см., например, речь пермского депутата Зеленина в I Государственной думе: 7, с. 267).

Впрочем, в большинстве своем представители левых политических сил отнюдь не идеализировали Александра II и его главную реформу. Считая передачу в 1861 г. помещичьих земель крестьянам важным историческим прецедентом, они в то же время не упускали случая, подобно профессору Т.В. Локотю (депутату I Государственной думы, члену Трудовой группы), напомнить современникам о многих «несправедливостях», допущенных при отмене крепостного права (и в последующие годы) по отношению к крестьянству, на которое было наложено «ярмо выкупных платежей» (7, с. 190). Эти «несправедливости» левые политики требовали устранить в ходе новой реформы: коль скоро крестьянство (даже по признанию многих правительственных чиновников) «переплатило... в выкупных платежах, то, решая вопрос об условиях отчуждения на основе чисто объективной справедливости, мы могли бы сказать, что земля (вся земля, включая и государственную, и частновладельческую. — С.Б.) в настоящий момент по праву принадлежит крестьянам, даже без всякого выкупа». При этом вина за допущенные «несправедливости» возлагалась не на Александра II, а на его окружение и в целом на систему «бюрократического заведования экономической стороной жизни народа» (7, с. 190–191).

Для представителей левых сил разного рода исторические прецеденты, в том числе российский вариант отмены крепостного права, не являлись решающим аргументом для обоснования своей политической позиции. Гораздо важнее для них было то, что, как заявлял один из лидеров трудовиков С.В. Аникин, «все мужики хотят земли и всей земли» (7, с. 248). Эта воля народа и должна быть реализована, считали левые.

Интересно, что гораздо более позитивно, чем русское крестьянство и его «представители», оценил реформу 1861 г. и личную роль в ней Александра II «выразитель нужд курляндского крестьянства» депутат I Думы

Я.К. Крейцберг. Заявляя, что «русскому крестьянину (в 1861 г. – С.Б.) была дарована свобода и земля, а латышскому крестьянину (в 1817 г. – С.Б.) только свобода без земли; значит – птичья свобода», Крейцберг (косвенно – не упоминая имени Александра II) подчеркивал особую роль Царя-Освободителя. Монарх не позволил представителям дворянства выхолостить подлинно освободительное значение реформы, как это несколькими десятилетиями ранее сделала прибалтийская аристократия: «Что не удалось русским реакционным вельможам, наследникам временщиков Екатерины и Елисаветы, то удалось опытному в искусстве макиавеллизма немецкому дворянству» (7, с. 198).

Либералы: историческое обоснование «принудительного отчуждения»

Для большей части российской интеллигенции и выражавшей преимущественно ее воззрения либеральной оппозиции российский вариант отмены крепостного права также представлялся акцией, при осуществлении которой власть сумела дистанцироваться от эгоистических интересов поместного дворянства – своей основной социальной опоры – ради интересов общенародных. Они видели в Манифесте 19 февраля исторический прецедент нарушения неприкосновенности помещичьей собственности на землю, который оправдывал выдвигавшееся в 1905–1907 гг. требование принудительного отчуждения значительной доли частных владений в целях дополнительного наделения крестьян землей, что отвечало бы коренным интересам большей части населения России¹. Либералы предпочитали не вспоминать о том явном недовольстве (или даже возмущении), с которым российская деревня в свое время встретила реформу 1861 г., обманувшую ожидания крестьянства на безвозмездное получение всей (или, во всяком случае, большей части) помещичьих земель. Теперь реформа Александра II представлялась ими действительно освободительной.

Однако и в либеральном лагере высказывались иные мнения. Так, нижегородский депутат И.Ф. Савельев, член кадетской фракции Государственной думы, утверждал: «Тот узел, который приходится нам теперь развязывать и распутывать, завязан сорок лет тому назад, во время освобождения крестьян от крепостной зависимости». Крестьяне получили тогда земли недостаточно, к тому же им не было предоставлено свободы передвижения и возможности заниматься какой-либо иной (неземледельческой) деятельностью, что во многом и предопределило кризисные явле-

¹ Весьма характерными в связи с этим представляются слова П.Н. Милокова: «“Побольше земли” – это был за полстолетия (точнее, за четыре с половиной десятилетия, прошедших с момента отмены крепостного права. – С.Б.) постоянный плач русского крестьянина» (РНБ. – Архив Дома Плеханова. – Ф. 482. – Д. 92. – Л. 6).

ния в российской деревне (7, с. 193). Правда, подобные суждения представителями леволиберальных сил высказывались нечасто.

Гораздо более показательной для либерального лагеря представляется позиция другого депутата-кадета – В.П. Обнинского. По его мнению, в 1861 г. Александр II осуществил не просто великую, но «грандиозную, неслыханную в истории человечества» реформу, суть которой можно обозначить одним словом – *передел*, причем «со справедливым вознаграждением тех, которые поступились частью своих участков в пользу других. Если бы мы даже не переживали революционного периода, если бы все шло тихо и гладко на Руси, то тем не менее все же после 45 лет, прошедших после этой первой переделной реформы, следовало бы к этому (новому переделу. – С.Б.) приступить». Более того, новый передел, по убеждению Обнинского, неизбежен в любом случае. Вопрос лишь в том, окажется ли он «белым» (законным, осуществляемым по воле думского большинства) или «черным» – в случае, если правительство не сможет решиться на «продолжение» реформы Александра II (7, с. 200).

Аналогичную аргументацию приводил в I Думе и М.М. Ковалевский – член Партии демократических реформ, занимавшей по ряду вопросов более умеренную позицию, чем Партия народной свободы. Полемизируя с представителями правительства, настаивавшими на недопустимости принудительного отчуждения и требовавшими от думцев признать неприкосновенность земельной собственности, Ковалевский утверждал, что «этой неприкосновенности нимало не мешает государственный выкуп». Он заявлял: «Напомнить нам о неприкосновенности собственности приходят министры того государства, которое в 61 году произвело самый грандиозный акт выкупа земли в интересах общественной пользы и общественной необходимости. Если бы мы отвечали господам министрам теми же назиданиями, какими они удостоили нас..., то мы сказали бы: как вы смеее выступать против воли Царя-Освободителя, как вы смеее порицать самый великий акт русской истории – освобождения крестьян с землею!» (7, с. 158)¹.

Подобно многим представителям левых сил, либералы в ряде выступлений и публикаций противопоставляли «эмансипатора» Александра II его бюрократическому окружению, на которое возлагалась ответственность за незавершенность Великих реформ. Роковую ошибку царя они видели в том, что он окружил себя «замкнутым кругом царедворцев и бюрократов», не решившись при этом «довериться ни одному из общественных течений и направлений, им же самим пробужденных и вызванных к жизни» (8, с. 85).

¹ Отметим, что эти слова Ковалевского были встречены продолжительными аплодисментами думского большинства.

Выдвигая требование принудительного отчуждения частновладельческих земель, либеральные оппозиционеры надеялись обеспечить себе поддержку со стороны большинства избирателей и возглавить объединенную оппозицию (особенно активными были их попытки заключить союз с радикальными партиями в период работы I и II Государственной думы). Однако это привело к явной недооценке опасности создания прецедента нарушения принципа неприкосновенности собственности. В программе либеральной оппозиции фактически отрицалась роль частной собственности; очевидно стремление защитить от «посягательств» правительства явные пережитки феодализма (общину и семейную крестьянскую собственность) и не допустить дифференциации в деревне. Будь эта программа реализована, она вызвала бы неизбежное усиление зависимости крестьян от государства — при сосредоточении в его руках земельного фонда, образуемого из отчуждаемых частных владений.

Едва ли оправданными являлись надежды либералов на то, что крестьяне удовлетворятся лишь частичным отчуждением помещичьих земель, и подобной мерой можно будет добиться «успокоения» деревни. Наконец, сама постановка вопроса об абсолютном малоземелье как основной проблеме крестьянского хозяйства не была обоснованной в условиях, когда нерешенной оставалась проблема малоземелья относительного, порожденного раздробленностью владений крестьян. Вопрос же о земельной собственности большинство представителей либеральной оппозиции считало менее значимым, чем вопрос о размерах земель, находящихся во владении или пользовании крестьян.

Естественно поэтому, что либеральные оппозиционеры пытались представить предполагаемое принудительное отчуждение частновладельческих земель логическим продолжением реформы 1861 г. Тогда была осуществлена передача помещичьих земель крестьянам в размерах, явно превосходящих обычное (с точки зрения гражданского права) отчуждение в целях общественной пользы и на принципиально иных основаниях. В новых условиях «в таких же — или еще больших — размерах, на таких же основаниях и с таким же правом оно (отчуждение. — С.Б.) может быть повторено» (2, с. 754–755). При этом игнорировались серьезнейшие изменения, которые произошли в российской деревне в конце XIX в., принципиально иной характер правоотношений между крупными землевладельцами и крестьянами-общинниками, претендовавшими на земельную прибавку, и, наконец, экономическая несостоятельность принудительного отчуждения частных владений: многие помещичьи хозяйства при всей своей отсталости оставались и в начале XX столетия гораздо более производительными, чем хозяйства крестьянские.

Едва ли можно объяснить позицию значительной части российских либералов исключительно соображениями политического популизма —

стремлением получить на выборах максимум крестьянских голосов. Не меньшую роль играло желание нанести сокрушительный удар по основному оплоту ненавистного самодержавного режима – помещику дворянству.

С.Ю. Витте о реформе 1861 г. и аграрных преобразованиях начала XX в.

На наш взгляд, стремлением ослабить экономические и политические позиции дворянства руководствовался и С.Ю. Витте, поддерживавший (хотя и не слишком решительно) в конце 1905 г. проект аграрной реформы Н.Н. Кутлера, который исходил из необходимости принудительного отчуждения. Несколько лет спустя опальный премьер заявил, что именно аграрный проект большинства I Думы при очевидных недостатках в основных идеях и принципах был преемствен с великой освободительной реформой Александра II. Это был уже третий вариант интерпретации Витте исторического опыта реформы 1861 г.

Рассуждая в 1911 г., в дни полувекового юбилея Великой реформы, на страницах «Русского слова» о значении отмены крепостного права, Витте подчеркивал: «основным смыслом праздника 19-го февраля» явился триумф «идеи самодержавия», поскольку «только при самодержавии идеи 19-го февраля могли воплотиться в жизнь». В условиях иного политического строя «не мог бы осуществиться такой переворот, как переворот 19-го февраля, без революции, без потоков крови». «Самодержец сделал жест, – и все подчинились. При колоссальном противодействии девяти десятых правящего класса, при молчаливом протесте большинства помещиков, при неодобрении чиновничества, – Великий Самодержец освободил крестьян с землей» (5), – утверждал Витте, представляя таким образом Александра II своего рода «революционером на троне». Однако реализовать творческий потенциал самодержавия возможно лишь тогда, «когда при самодержавии есть и самодержец», заявлял Витте. Он, очевидно, подразумевал, что Николай II достойным монархом так и не стал.

Значение «переворота Самодержца Александра II», по мнению Витте, заключалось «не в том, что Он освободил крестьян (институт крепостного права “сам по себе уже истлел”), а в том, что Он освободил крестьян *с землей*». Такого масштаба преобразования, утверждал С.Ю. Витте, «может провести в жизнь только самодержавие или... революция». А та «уродливо-конституционная форма правления», которая сложилась в России после 1905 г., была не в состоянии справиться не только с задачами подобного масштаба, но и с существенно менее сложными проблемами: «Подумайте, может ли бледная тень такой реформы осуществиться в Государственной думе, может ли тень такой тени получить одобрение в Го-

сударственном совете?» (5) – вопрошал Витте, которого справедливо называли «конституционалистом поневоле».

Преисполненный скепсиса в отношении дееспособности политического руководства страны, Витте тем не менее призывал власть отказаться от провозглашенной Столыпиным «ставки на сильных» и вернуться к принципам, которыми якобы руководствовался Александр II, чью идею освобождения крестьян с землей Витте с пафосом провозглашал «одной из величайших гуманитарных доктрин человечества». При этом утверждал, что именно «наивные проекты» I Государственной думы «находились в той же плоскости, в какой происходило великое творчество Великого Самодержца Александра II». Витте настаивал: революцию в России способна предотвратить только такая политика, в основе которой будут лежать «идеи Самодержца Александра II... – ставка на справедливость, правду и величие русского народа», а не столыпинская «ставка на сильных» (5).

Позиция поместного дворянства в публичных дебатах об аграрных преобразованиях

Но и представители поместного дворянства, в большинстве своем без особого восторга встретившие отмену крепостного права, в 1900-х годах зачастую апеллировали именно к опыту преобразований сорокалетней давности для обоснования своей позиции. Дворянство надеялось, как минимум, на обеспечение юридической неприкосновенности частных земельных владений, как максимум же – на прекращение государством процесса перехода помещичьих земель в руки представителей иных сословий (начавшись еще в конце XIX в., этот процесс заметно ускорился в период осуществления столыпинской аграрной реформы). При этом дворяне обращали внимание на тщательную подготовку Александром II реформы 1861 г., на активное участие в этом процессе землевладельцев из всех российских регионов, имевших возможность через губернские комитеты доводить свою позицию до правительственных структур, а также на то, что власть руководствовалась стратегическими интересами России, а не соображениями политической конъюнктуры, и не уступила нажиму радикалов. Помещики призывали государственную власть и на этот раз не принимать принципиальных решений по аграрному вопросу, не согласовав их предварительно с представителями землевладельцев.

Так, выдающийся консервативный общественный деятель и публицист, участник первых съездов Объединенного дворянства, председатель II Государственной думы К.Ф. Головин в одной из своих последних работ подчеркивал, что участвовавшие в процессе подготовки отмены крепостного права представители дворянства из различных регионов России «были одушевлены искренним горячим желанием принести пользу, а не доис-

киваться личных выгод». При проведении же реформы в жизнь многие дворяне в качестве мировых посредников помогали правительству «ввести в жизнь ту самую реформу, от которой почти все помещики ожидали себе повального разорения» (4, с. 4–5). И в первом десятилетии XX в. представители российского дворянства руководствовались в большинстве своем не своекорыстными или узкоклассовыми, а общенациональными интересами, полагал Головин. Заслугой именно дворянства он считал то, что России удалось избежать крушения самих основ отношений собственности на землю ради достижения ложной цели – «передачи земли из рук более культурных в неумелые руки крестьян». Даже об истинной цели аграрной политики – интенсификации сельского хозяйства, по словам К.Ф. Головина, «впервые было заявлено на съезде Объединенного дворянства, собравшегося в Петербурге в мае 1906 г.» (4, с. 65). Конечно, столь политически осведомленный и экономически грамотный человек, как Головин, не мог не знать, что задачи и принципы аграрных преобразований обсуждались задолго до первого дворянского съезда, в том числе в ходе работы ряда правительственных совещаний.

Наряду с этим правые и центристы, в том числе среди высшей бюрократии, не упускали случая, подобно главноуправляющему землеустройством и земледелием (в 1906 г.) А.С. Стишинскому, напомнить своим оппонентам слева, что при проведении освободительной реформы крестьянам «отошли только те угодья, которые и при крепостном праве находились в постоянном хозяйственном пользовании крестьян». Это положение «красной нитью» проходило по всем актам 1861 г. Противники крайних мер указывали тем самым на качественно иную сравнительно с эпохой крепостного права правовую природу отношений между крестьянами-общинниками и частными землевладельцами в начале XX столетия (7, с. 204–205).

Подведем итоги. Эпохальность и колоссальное прогрессивное значение реформы 1861 г., вызвавшей в свое время далеко не однозначную реакцию в обществе, спустя несколько десятилетий стали очевидны представителям разных политических сил, конкурировавших между собой – сначала за благосклонность монарха в большей степени, чем за влияние на общественное мнение, а затем и наряду с этим – за поддержку избирателей. При этом, однако, все они обращали внимание на различные аспекты преобразований и считали возможным использовать их опыт для обоснования собственных позиций и подкрепления своих требований в стремительно менявшейся ситуации. В конечном счете опыт компромиссной по своей сути реформы Александра II не был использован в качестве основы для нового исторического компромисса.

Список литературы

1. Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу Председателя Высочайше утвержденного Особого Соединения о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1904. – 106 с.
2. Внутреннее обозрение // Вестник Европы. – СПб., 1907. – № 6. – С. 747–767.
3. Герье В. Второе раскрепощение: Общие прения по Указу 9 ноября 1906 года в Государственной Думе и в Государственном Совете. – М.: Т-во «Печатная С.П. Яковлева», 1911. – 232 с.
4. Головин К. Великая реформа 19-го февраля. – СПб.: Типо-литогр. Т-ва «Свет», 1911. – 66 с.
5. Граф С.Ю. Витте о 19 Февраля 1861 г. // Русское слово. – СПб., 1911. – № 40. – 19 февр.
6. Долбилов М.Д. Земельная собственность и освобождение крестьян // Собственность на землю в России: История и современность. – М., 2002. – С. 45–152.
7. Думский сборник: Государственная Дума первого созыва (27 апреля – 8 июля 1906 г.). – СПб., 1906. – Вып. 1. – 352, [29] с.
8. Общественное движение при Александре II (1855–1881): Исторические очерки. – Париж.: Изд. редакции «Освобождение», 1905. – 195 с.
9. Полянский В.С. Историческая память в этническом самосознании народов // Социс. – М., 1999. – № 3. – С. 11–20.
10. Пономарев С.И. Александр II – Царь-Освободитель. – СПб.: Гос. тип., 1898. – 64 с.
11. Председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин: по сообщениям прессы за три года (8 июля 1906 – 8 июля 1909 г.). – СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1909. – 278 с.
12. Татищев С.С. Император Александр II: Его жизнь и царствование. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1911. – Т. I. – 603 с.
13. Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология // Социс. – М., 1998. – № 5. – С. 3–7.
14. Ухтомский П.Л. Доклад о некоторых мерах к улучшению благосостояния населения Казанской губернии, составленный губернским гласным Кн. П.Л. Ухтомским по поручению Губернского Экономического Совета в исполнение постановления чрезвычайного Казанского Губернского Земского Собрания от 26 сентября 1898 г. Ст. 2. – Казань: Тип. Б.Л. Домбровского, 1898. – [2], 44 с.
15. Царевский А.А. Император Александр II-Освободитель в памяти народа своего (По поводу открытия памятника Александру II в Казани). – Казань: Тип. Императорского ун-та, 1896. – 78 с.

В. ДЁННИНГХАУС

«ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, ТО НЕМЦУ – СМЕРТЬ?»: ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И АГРАРНАЯ РЕФОРМА В НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЯХ ПОВОЛЖЬЯ (1900–1914)

«Куда бы немцы ни уходили – в Америку, Африку, Австралию, на Сандвичевы острова, – повсюду... они распространяли культуру, просвещение и не удавалось им это в одной лишь России, которая, сжав их в свои железные тиски, превратила в нищую, невежественную массу...» (12).

Сложившиеся в научной и мемуарной литературе представления о немецких колонистах в России не всегда соответствуют действительности. Особенно это касается немцев Поволжья. Образ зажиточного, трудолюбивого, дисциплинированного немца, живущего в огромной усадьбе, выгодно отличается от образа бедного, ленивого, расхлябанного русского крестьянина в старой избе. Такие описания, до сих пор встречающиеся в литературе, представляют собой клише, весьма далекие от реальности. Не последнюю роль в появлении подобных стереотипов играют ошибочные представления о развитии земельных отношений в колониях, об аграрной культуре переселенцев, их взглядах на нововведения в сельском хозяйстве и т.п. (см. более подробно: 33; 34).

Немецкие переселенцы в России не были однородной массой; они различались не только по вероисповеданию, регионам, из которых переселились в Россию, местам их нового проживания, но и по условиям существования – форме наследования земли, типу землепользования. Все эти различия определяли образ жизни колонистов, их материальный и культурный уровень.

В этой статье сделана попытка рассмотреть роль землепользования и земельных отношений поволжских немцев накануне и в годы революции 1905–1907 гг., проанализировать ход столыпинской аграрной реформы в немецкой деревне. Речь идет об исследовании специфической группы российского крестьянства – так называемых колонистов – на фоне кардинальных политических и экономических изменений. Главные вопросы иссле-

дования состоят в том, насколько специфическим был ответ колонистов на вызовы консервативной российской модернизации (в первую очередь в сравнении с окружавшим их русским населением); какие факторы на него повлияли; в какой степени выбор, сделанный поволжскими немцами, был вынужденным, а в какой – добровольным.

«Русский мир» у немецких колонистов

На основании Закона о единонаследии (Указ императрицы Екатерины II о распорядке в колониях 1764 г.) хозяйство после смерти колониста, со всеми правами и обязанностями, наследовал только младший сын. Старшие сыновья должны были заниматься ремеслом или торговлей, т. е. деятельностью, не связанной с земледелием. Этот порядок наследования имел место в Голландии, в ряде местностей Северной Германии и Франции (Бретань), где привел к хозяйственному расцвету на основе тесного взаимодействия фермерского сельского хозяйства и мануфактурной промышленности. Яркий пример влияния закона на жизнь немецких колонистов дают меннонитские колонии юга Украины, где система единонаследия была полностью сохранена. Этому процессу в южных колониях сопутствовало прежде всего то, что меннониты, являясь выходцами из Голландии и Северо-Западной Германии, издавна придерживались такой формы наследования земли. Для меннонитских колоний Новороссии было привычным явлением, когда только один из сыновей получал все 65-десятинное хозяйство, хотя при этом в колониях скапливалась большая группа безземельной молодежи (10, с. 139–140).

В колониях Поволжья вопрос о наследовании земли решался по-другому. Хотя закон о единонаследии первоначально распространялся и на поволжских колонистов, у них эта система не прижилась. Необходимые географические и социально-экономические предпосылки для интенсивного сельского хозяйства здесь отсутствовали. Засушливая степь была непригодна для развития молочно-сырного производства, города – слабо развиты и малочисленны. Изделия немецких ремесленников не могли конкурировать с более дешевыми товарами русских мастеров. Следуя предписанной системе наследования, подраставшие сыновья колонистов оказывались и без земли, и без работы. Запасы земли в колониях быстро закончились, молодежь не могла найти себе применения. Кроме того, колонисты Поволжья, выходцы из Юго-Западной Германии, не знали «голландских» правил наследования и не признавали их. Закон о единонаследии не нашел поддержки и среди колониальной администрации (10, с. 141).

Управлявший поволжскими колониями в 1783–1796 гг. И. Огарев предложил колонистам принять русскую передельную общину вместе с присущей ей круговой порукой. Это предложение колонистами было при-

нято. Таким образом, в Поволжье возникла настоящая русская община, или «мир», как ее называли и немцы. Старшие сыновья колонистов при этом, соответственно, получали земельные участки; все были обеспечены землей поровну. С ростом числа новых семей земли становились все меньше, и со временем колонисты были вынуждены все чаще ее арендовать. Большинство обедневших поволжских немцев владело небольшими и удаленными от сел наделами. Существование в Поволжье передельной общины не допускало накопления земли и капитала в руках богатого колониста и тормозило развитие свободного фермерского хозяйства. Следует отметить, что системы земледелия, сложившиеся в «материнских» колониях Поволжья и Причерноморья, были полностью перенесены и в «дочерние» колонии (10, с. 141).

Если к середине XIX в. на правом берегу Волги проживало около 95 тыс. колонистов, то, по переписи 1897 г., их численность достигла более 160 тыс. человек¹. Одновременно выросло и количество немецких семейств, что объяснялось не только общим приростом населения, но и раздроблением старых, «многолюдных» семей. Следствием этого явилось обнищание и части колонистов (за счет уменьшения в каждой семье рабочих рук, скота и инвентаря), и немецких колоний в целом². Оценивая положение немцев в Камышинском уезде Саратовской губернии в январе 1900 г., начальник 5-го участка Лавров констатировал: «Я, со своей стороны, никаких особенных отличий у них от русского населения указать не могу; так, условия землевладения и землепользования у тех и других положительно одни и те же: то же общинное владение землей, так же отжившая свой век трехпольная система, так же не удобряются поля и, наконец, те же хлеба возделываются»³.

Вследствие недостатка пахотных площадей для нормального существования и содержания семей колонисты, как и русские крестьяне, были вынуждены прибегать к регулярной аренде помещичьих земель. Это несколько смягчало остроту земельной проблемы, но не решало ее (см.: 32, с. 119). Так, например, только благодаря аренде существовали, точнее говоря выживали, немецкие поселенцы Ягодно-Полянской волости Камышинского уезда, где к началу XX столетия на число «наличных по развер-

¹ После отделения Заволжья в 1850 г. на территории Саратовской губернии остались лишь правобережные немецкие колонии. Немецкие поселения на левом берегу Волги отошли к Самарской губернии, где, по переписи 1897 г., проживало уже более 215 тыс. немецких поселян (см.: 2, с. 210; 32, с. 12).

² См.: ГАСО [Государственный архив Саратовской области]. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 10721 [Докладная записка земского начальника 5-го участка Камышинского уезда в Саратовское губернское присутствие 9 января 1900 г.]. – Л. 3(а) об. См. также: 21, с. 66–67.

³ Там же. – Л. 31 об.

стке душ» приходилось менее одной десятой пахотной земли¹. Причем, эта незначительная площадь совершенно не засеивалась пшеницей, а лишь картофелем, подсолнухами и рожью². Резкий рост цен за долгосрочную аренду земли и частые неурожаи привели к большим задолженностям среди населения Саратовской губернии, включая и немецких поселенцев. Многие колонисты были уже не в состоянии оплачивать землю на условиях аренды, что вынуждало их сеять «исполу», т.е. отдавая половину урожая владельцу земельного участка.

Проблема малоземелья вынудила, к примеру, колонистов Сосновской волости Камышинского уезда прибегнуть к побочному заработку – сарпиночному производству (14, с. 276–277)³. Причем, поселяне, всецело посвятившие себя ткачеству сарпинки (45% всех семей) (32, с. 157), сдавали душевые земельные наделы в аренду своим же нуждающимся землякам на весьма невыгодных для последних условиях «испольщины» (32, с. 123). Таким образом, наряду с обогащением одной части колонистского населения, другая постепенно скатывалась к нищете. В то же время исключить пользование надельной землей колонистов-ремесленников, остававшихся членами общин, не представлялось возможным⁴.

Рост малоземелья и необходимость поиска заработков на стороне вели к оттоку беднейшей части немецких колонистов, как и их русских соседей, в большие города – прежде всего в Саратов, Самару, Астрахань, Баку. Это нарушало сложившиеся патриархальные порядки, приводя к определенной «нравственной деморализации» этих членов общины⁵. Земский начальник 1-го участка Камышинского уезда, наблюдая такую тенденцию в «богатой» Сосновской волости, отмечал: «Эти городские рабочие, в особенности бакинские, возвращаясь назад, совершенно деморализуют местное население. С грустью должен установить факт, что прежний высоконравственный и строго честный строй поселян стал сильно изменяться; появились семьи, где дети совершенно выбрасывают из семьи родителей, нравственность молодого поколения значительно расшаталась...»⁶.

¹ В ряде документов встречается цифра еще меньше – 28,5 квадратных сажень на одну душу мужского пола (одна сажень составляет 2,13 метра).

² Именно пшеница являлась основным объектом сельскохозяйственной деятельности поволжских колонистов в предвоенные годы, занимая обычно около 45% посевных площадей (см.: 32, с. 83–84, 88; см. также: ГАСО. – Ф. 400. – Оп. 1. – Д. 1510 [Общий обзор о положении землеустроительного дела в Саратовской губернии 1 января 1915 г.]. – Л. 20).

³ См. также: ГАСО. – Ф. 400. – Оп. 1. – Д. 1510. – Л. 120 об.–121.

⁴ ГАСО. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 10721 [Докладная записка земского начальника 1-го участка Камышинского уезда в Саратовское губернское присутствие 17 декабря 1899 г.]. – Л. 9 об.

⁵ Там же. – Л. 25.

⁶ Там же. – Л. 9 об., 25.

Одним из последствий разорения поволжской деревни стало большое количество нищих в городских и сельских центрах Поволжья. Причем среди нищих все чаще встречались немцы, традиционно считавшиеся крепкими хозяевами (см.: 22, ч. 2, с. 27; ср.: 32, с. 79–80)¹. Постоянный недостаток средств неизменно отражался и на состоянии их здоровья. Показательно, что в немецких селениях в начале XX в. была чрезвычайно распространена трахома – глазная болезнь, неизменный спутник антисанитарных условий проживания и нищеты (17).

Монархисты, либералы или революционеры?

Голод 1901–1902 гг., частичные недороды в 1903 и 1905 гг., русско-японская война, лишившая крестьянство значительного количества необходимой в хозяйстве рабочей силы, вызвавшая дополнительные налоги и общий рост обнищания, резко ускорили развитие революционных настроений в Поволжье (см.: 22, ч. 2, с. 191–195). «Главных бедствий у нас, в крестьянской жизни, два, – зафиксировала резолюция крестьян Саратовской губернии в августе 1905 г., – первое бедствие это – малоземелье, второе – наше бесправие... И год от году становится все хуже и труднее, а деться некуда...» (цит. по: 1, с. 152). К лету 1905 г. брожение наблюдалось и в большинстве немецких колоний, также недовольных непопулярной войной в далекой Маньчжурии, мобилизациями, реквизициями повозок и лошадей и непомерными податями (32, с. 194–195).

В период первой революции крестьянское движение в Саратовском Поволжье значительно превысило по своему размаху средний общероссийский уровень. В деревне произошло свыше 1400 выступлений; основную массу участников движения составили бывшие помещичьи крестьяне. В уездах с преобладанием бывших государственных крестьян и немецко-колонистов крестьянское движение оказалось незначительным (см.: 22, ч. 2, с. 205; ср.: 6, с. 231; 9, с. 98; 37, с. 129). Попытка решения проблемы малоземелья в немецких селениях, несмотря на всю ее остроту, в отличие от соседних русских деревень, не шла дальше жарких дискуссий между бедными и богатыми поселянами, в крайнем случае выливаясь в мелкие потасовки и драки (см.: 19, с. 84; 38, с. 21). «Невозможное творится у нас в стране, – жаловался бывший староста колонии Таловка, – все разбилось на партии, идущие друг против друга. Мы, немцы-колонисты, до сих пор воздерживались от принятия участия в каких-либо партиях. У нас нет земли, нет порядка, а явись мы со своими требованиями, нас забудут, скажут: “Бунтовать вздумали, хотите заводить у нас свои немецкие порядки”».

¹ Аналогичная ситуация имела места и в Самарской губернии (см.: 40, с. 22).

И признают нас изменниками и казачьими полчищами сотрут с лица земли...» (11; 13).

Положение поволжских и причерноморских колонистов настолько различалось в материальном плане, что революция 1905 г. фактически развела их по разные стороны политических баррикад. Бедственное положение поволжских колоний, их общее неустройство и «невежество» большей части ее обитателей резко контрастировали с положением «богато наделенных землею» немцев южных регионов России (см.: 32, с. 129; ср.: 27). Не случайно южнорусские колонисты поддерживали буржуазные партии правого толка, прежде всего «Союз 17 октября» (26, с. 106–107). Это было невозможно для немцев Поволжья. «Удивительное дело, – отмечали поволжские колонисты, – мы с голоду умираем от безземелья, а нам советуют соединиться с балтийскими немцами – баронами, закрепостившими на своих землях латышей и эстонцев. Мы ждем нарезки земли для собственного пропитания, ждем освобождения от произвола бюрократии, скрывающейся за спиной монарха, а нам говорят: соединитесь, поддержите единство государства и укрепление монархии...» (30, с. 269–270; 32, с. 62).

Поволжские немцы поддержали российских либералов – кадетов, чья политическая программа достаточно точно отражала их чаяния (см.: 22, ч. 2, с. 240–241; 24, с. 290–292; 32, с. 199). Самого большого успеха эта «коалиция» – немецкие колонисты Поволжья и кадеты – достигла на сельском выборном съезде Камышинского уезда, где представителями поселян на губернский съезд были избраны исключительно члены кадетской партии (см.: 32, с. 208; см. также: 8). Затем все сельские делегаты-немцы, прибывшие на съезд Саратовской губернии, примкнули к «Трудовой группе»; крестьян привлекала приверженность трудовиков радикальной земельной реформе¹.

Хотя массовых выступлений немцев Поволжья в период первой революции не случилось, падение в их среде авторитета правительственной власти привело к нескоординированным, «распыленным» актам открытого неповиновения и протеста в колониях, направленным, в первую очередь, против выплаты пошлин и всевластия полицейских чиновников (см.: 3; 32, с. 198; 39, с. 301). Революционные настроения в колониях охватили в основном учителей, учащихся и студентов. Интересно, что социал-демократические деятели, как правило, уклонялись от пропаганды в немецких поселениях, сконцентрировав основные усилия на работе в русскоязычных деревнях.

¹ «Трудовая группа» представляла радикальную часть крестьян и отстаивала экспроприацию земель без компенсации ее владельцам.

В целом поволжские немцы остались почти незатронутыми революционными волнениями 1905 г.; не вступали, как правило, в открытый конфликт с властями. Даже на самом пике первой революции немецкие поселяне выступали лишь за кардинальные реформы местной власти, требуя предоставления самоуправления. Идеи политической автономии, конституционной монархии, организации национальных земств и партий среди поволжских немцев своих сторонников практически не нашли.

Аграрная революция в немецкой деревне

Столыпинскую аграрную реформу немцы встретили настороженно. Процесс купли-продажи земли нес в себе угрозу существованию не только общины, но и самой этнической целостности немецких поселений. Опасение, что в результате реформы в колонии могут вторгнуться «чужие», деформируя социально-этнические устои сложившегося общества, вынуждало часть немцев не только занять выжидательную позицию, но и противиться нововведениям (см.: 32, с. 133–134).

Вместе с тем в немецких колониях Поволжья не произошло раскола на два враждебных лагеря – «хуторян», с одной стороны, и общинников – с другой, как это было в русских селениях, где шла настоящая перманентная война (7, с. 24). В отличие от русских крестьян, бойкотировавших избрание своих кандидатов в землеустроительные комиссии и не являвшихся на сельские сходы, немецкие поселяне демонстрировали лояльность властям: среди 30% волостных сходов, не принявших участие в выборах, не оказалось ни одной немецкой волости (см.: 5, с. 221)¹.

Известно, что в целом по России самый значительный выход крестьян из общины пришелся на первые годы аграрной реформы. Эта тенденция характерна и для русских селений Саратовской губернии, где в 1906–1909 гг. было отмечено более 50% всех выделов (см.: 7, с. 15). Уже в 1909 г. фиксировались случаи возвращения выделенцев к общинному землепользованию, а к началу 1910 г. численность желающих покинуть общину резко снизилась. На вопрос о том, чем вызвано такое решение, крестьяне, как правило, отвечали: «Жить тяжело. “Мир” злобится на нас за то, что выделились...» (цит. по: 7, с. 21; см. также: 15, с. 25–31). К 1912 г. более или менее интенсивный выход крестьян Саратовской губернии из общины практически закончился. Если в 1906–1912 гг. укрепили землю в частную собственность и покинули общину более 87 тыс. домохозяев (90% от всех выходов), то за все остальные годы проведения реформы число выделенцев едва достигло 10 тыс. (22, ч. 2, с. 94). В общей сложности в Саратов-

¹ Ср.: ГАСО. – Ф. 400. – Оп. 1. – Д. 7 [Список волостей Саратовской губернии, принявших участие в выборах кандидатов в члены уездных землеустроительных комиссий на 1906/1907 гг.]. – Л. 5, 12–13.

ской губернии за 1906–1912 гг. укрепили землю в частную собственность около 25% всех крестьянских дворов (по России – только 17%) (7, с. 21; см. также: 4, с. 591–592).

Немецкие поселяне, напротив, на начальном этапе аграрных преобразований весьма инертно отнеслись к выходу из общины (см.: 5, с. 221–222; 32, с. 134–136; 39, с. 352–353). Большинство сельских обществ противилось переменам, предпочитая новому аграрному порядку традиционные переделы земли; численность немцев-выделенцев была минимальной. С момента введения указа 9 ноября 1906 г. и вплоть до 1910 г. лишь несколько немецких селений рискнули полностью перейти к частному владению землей. При этом не приняли решения выйти на отруба, что естественно сохраняло традиционную чересполосицу (5, с. 221–222). К 1910 г. только в шести из 57 немецких колоний на общинных сходах удалось набрать две трети голосов, необходимых для перехода к частной земельной собственности (см.: 32, с. 134–135).

Перелом в психологии поселян-собственников наступил лишь в 1910 г. После утвержденного Государственной думой закона от 14 июня начался массовый отток немецкого населения на отруба, нередко целыми селениями¹. Результаты разрушения немецкой общины Саратовского Поволжья весьма показательны. За время реформы только в Камышинском уезде общину покинули около 15,5 тыс. немецких домохозяев, что составило 71% от их общей численности. При этом около 11 тыс. из них (69,4%) вышли на отрубное и хуторское хозяйствование. В общей сложности община полностью прекратила свое существование в 32 из 51 колонии Камышинского уезда (см.: 5, с. 223)².

Для того чтобы вырваться из теплых объятий «мира» на хутора или отруба, необходимы были не только решительность и сила характера, но и капитал, достаточный для обзаведения хозяйством на новом месте. По заключению экспертов, создание индивидуального хозяйства на выделенном участке земли требовало немалых вложений – от 300 до 800 руб. (см.: 7, с. 10–11). Между тем наряду с обеспеченными хозяевами из общины массово выходила и деревенская беднота, воспользовавшаяся правом избавиться от надельных земель, чтобы уехать в город, переселиться в Сибирь

¹ Нужно учитывать, что Правила от 19 июня 1910 г. прямо предписывали землеустроительным комиссиям отдавать предпочтение разверстанию целых селений, а одиночными выделами заниматься в последнюю очередь (см.: 4, с. 591–592; 39, с. 352–355).

² См. также: ГАСО. – Ф. 400. – Оп. 1. – Д. 1506 [Расширенный список населенных пунктов Саратовской губернии на 1914 г.]. – Л. 242 об.–243. (Ср.: Там же. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 8057 [Сведения об укреплении земли в личную собственность в Саратовской губернии со времени издания указа от 9 ноября 1906 г. по 1 сентября 1915 г.]. – Л. 1 об.–2; 19, с. 90; 28, с. 443.) Необходимо учитывать и то обстоятельство, что оставшиеся члены общины увеличивали свои наделы в основном за счет тех поселенцев, которые переселялись на кулевные отруба.

или податься в эмиграцию¹. По различным подсчетам, около 24% выделенцев Саратовской губернии сразу продали свои участки (см.: 22, ч. 2, с. 95; ср.: 4, с. 592–592). Не были исключением и немецкие колонисты. Один из корреспондентов, описывая ситуацию в Камышинском уезде весной 1910 г., с горечью отмечал: «Верхняя Добринка, волею судеб посаженная чуть ли не в центре немецких колоний, круглый год, а в особенности в великие праздники, осажается немцами-нищими. Как в обыкновенное время, так особенно в праздники..., немцы-нищие во множестве шатаются по дворам и выпрашивают милостыню или же наполняют церковную ограду и здесь собирают подаяния...» (18).

Землевладение и эмиграция

Важным фактом и фактором жизни немецких колонистов на рубеже XIX–XX вв. была эмиграция. Только за период с 1900 по 1909 г. из Саратовского Поволжья эмигрировали более 20 тыс. немцев: свыше 17,5 тыс. из Камышинского и более 3 тыс. из Аткарского и Саратовского уездов². Основная часть эмигрантов направлялась в Северную Америку (США, Канаду, Мексику); лишь небольшая оседала в Южной Америке (Аргентине, Бразилии, Парагвае)³. Среди основных причин эмиграции можно назвать тяжелое экономическое положение (как следствие малоземелья и катастрофических неурожаев), отсутствие регулярных заработков и постоянный рост безработицы. Власти Усть-Кулалинской волости Камышинского уезда, например, так объясняли в декабре 1900 г. причины ежегодного оттока немецкого населения в страны Нового Света: «...Местное население имеет недостаток в пахотной земле, за последние годы впало в бедность, кругом задолжено и не имеет добросовестно оплачиваемых заработков..., а в Америке – труды земледельца оплачиваются хорошо и он может иметь там постоянно одинаково хорошие заработки»⁴.

Своеобразный пик эмиграционного движения в России вообще (см.: 16, с. 331–332, 334) и в Поволжье в частности пришелся на период первой

¹ См., к примеру: ГАСО. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 6989 [Докладная записка земского начальника 9-го участка Камышинского уезда саратовскому губернатору от 11 июня 1913 г.] – Л. 89–89 об.; Там же [Докладная записка земского начальника 6-го участка Саратовского уезда саратовскому губернатору от 19 июня 1913 г.] – Л. 115–115 об. См. также: 32, с. 128, 136; 36, с. 43; 41, с. 5; 35, с. 43; РГИА. – Ф. 1282. – Оп. 2. – Д. 112 [Показания коллежского секретаря П. И. Плеханова 21 января 1916 г.] – Л. 22 об.–23.

² См.: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Циркуляр Саратовского губернатора в отдел Торгового мореплавания 29 мая 1910 г.] – Л. 118–118 об.

³ Первый поток немецких эмигрантов из Нижнего Поволжья в Бразилию и Аргентину был отмечен в 1876 г. (см.: 22, ч. 1, с. 174; 31, с. 176).

⁴ ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 6128 [Докладная записка земского начальника 7-го участка Камышинского уезда саратовскому губернатору 16 декабря 1900 г.] – Л. 18 об.

революции. С одной стороны, это был побег из страны с подорванной массовыми выступлениями экономикой, в которой революция послужила дополнительным катализатором коренного изменения традиционного образа жизни. С другой – эмиграция представляла собой своеобразный способ выражения протеста и недоверия политике царского режима некоторыми национальными группами (евреями, немцами, поляками и т.д.), а также демонстрировала их полное неверие в результативность каких-либо реформ в России¹. Заметим, что эмиграционное движение, включая кратковременный выезд на заработки, затронуло не только исключительно земледельческие колонии, жителей которых на переселение толкал земельный «голод» и низкое качество наделных участков, но и регионы, где немало поселенцев существовало за счет кустарно-ремесленного производства².

Местные власти видели в эмиграции скорее пользу: она не наносила ущерба интересам местного населения – не вела к недостатку в наемной рабочей силе и не вносила «расстройств» в крестьянское хозяйство. Скорее наоборот, «остающиеся на родине, пользуясь земельными наделами отъезжающих за недорогое вознаграждение, поправляли свои хозяйства»³. Эмиграционное движение способствовало разделению больших немецких семейств, ослабляя тем самым катастрофические последствия роста населения в немецких колониях⁴. Местные власти утверждали, что немецкое население с «большой симпатией» относится к эмиграции целых семей, предполагая, что отъезжавшие оставят свою землю в пользу общины⁵.

Это не противоречило действительности. Отношение к эмигрантам в бывших немецких колониях было в целом терпимое: при общинном владении землей остающиеся односельчане получали существенную выгоду, пользуясь наделными участками эмигрантов за сравнительно низкую

¹ Так, например, на рост эмиграции малоземельных поселян непосредственно повлияла политика дискриминации со стороны руководства Крестьянского поземельного банка, отказавшегося предоставить им кредиты наравне с русскими крестьянами. Она ярче всего проявилась в период аграрных реформ и похоронила все иллюзии колонистов относительно возможности приобретения дополнительной земли с правительственной помощью (см.: 32, с. 128).

² ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции по 1-му земскому участку Камышинского уезда, б/д]. – Л. 57.

³ ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Докладная записка земского начальника 4-го участка Камышинского уезда саратовскому губернатору 17 мая 1910 г.]. – Л. 6–6 об.

⁴ См., к примеру: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции населения за границу по 5-му участку Камышинского уезда Саратовской губернии 25 марта 1910 г.]. – Л. 120 об.

⁵ См.: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции населения за границу по Усть-Кулалинской волости Камышинского уезда, б/д]. – Л. 66.

плату¹. Однако «симпатия» поволжских поселян к отъезжавшим сохранялась лишь до начала столыпинских аграрных преобразований. После издания указа 9 ноября 1906 г. у выезжавших за рубеж колонистов появилась возможность продать свои земельные наделы, что нередко приводило к конфронтации с однообщинниками².

Показательно, что после выхода указа в немецких селениях Поволжья усилилась тенденция к реэмиграции. Волостные органы Саратовской губернии отмечали случаи возвращения эмигрантов, желавших «посмотреть на открывающиеся новые условия владения землей в России и решить, что дальше делать»³. Но это желание не было единственным двигателем реэмиграции. «Возвращенцы» не хотели потерять свое право на владение надельными землями. Во время первой революции в немецких колониях получила хождение идея лишения земельных наделов всех эмигрировавших или выехавших на заработки односельчан. Она находила поддержку у российских властей⁴. Это объяснимо: подобная «экспроприация» позволяла снизить земельный голод в колониях без каких-либо кардинальных мер со стороны государства.

«Не предвидя в ближайшем будущем введения интенсивной системы хозяйства при общинном владении землей, некультурности массы немецкого населения, его национальной замкнутости и приверженности к старине, надо ожидать и желать дальнейшего развития эмиграционного движения в интересах как самих эмигрантов, так и всего населения», – прогнозировали уездные власти Камышинского уезда в 1910 г., в самый разгар коренных преобразований в российской деревне⁵. Они оказались правы: эмиграционное движение среди немецких поселенцев, включая краткосрочные выезды на заработки, не прекращалось весь предвоенный

¹ См., к примеру: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Рапорт исправника Камышинского уезда саратовскому губернатору 7 мая 1910 г.]. – Л. 11 об. См. также: 32, с. 31, 122–123.

² См.: ГАСО. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 4598 [Жалоба поселян села Семеновка Камышинского уезда в Саратовское губернское присутствие 21 апреля 1908 г.]. – Л. 2–3 об. Ср.: Там же. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции населения за границу по Усть-Кулайинской волости Камышинского уезда, б/д]. – Л. 66.

³ ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Докладная записка земского начальника 8-го участка Камышинского уезда (Котовская, Гусельская и Илавлинская волости) саратовскому губернатору 13 апреля 1910 г.]. – Л. 73 об.

⁴ См.: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции населения за границу по 8-му участку Камышинского уезда (Котовская, Гусельская и Илавлинская волости) 13 апреля 1910 г.]. – Л. 73 об.; РГИА. – Ф. 1282. – Оп. 2. – Д. 112 [Показание коллежского секретаря П.И. Плеханова 21 января 1916 г.]. – Л. 22 об. См. также: 5, с. 223; 20, с. 138.

⁵ См.: ГАСО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 8473 [Сведения об эмиграции населения за границу по 5-му участку Камышинского уезда Саратовской губернии 25 марта 1910 г.]. – Л. 120 об. Ср.: Там же [Сведения об эмиграционном движении рабочих по Аткарскому уезду, б/д]. – Л. 37.

период. Очень активным оно было в последние предвоенные (1912–1914) годы (см.: 16, с. 331–332, 334).

Впечатляющий рост эмиграции из немецких поселений с общинной системой землевладения – своего рода «голосование ногами» против общины, свидетельствовавшее об отсутствии у этой части поселян страха разрыва с ней. В момент ломки общинной системы это было, в общем, естественно. Однако наряду с этим возросло число эмигрантов из немецких селений, уже разделенных на отруба. Так, например, немецкие волости Камышинского уезда с отрубной системой хозяйствования за период 1910–1913 гг. дали 260 явных (официально заявивших о своей эмиграции) поселенцев и 4654 (!) «скрытых» (не вернувшихся с заработков) эмигранта (см.: 5, с. 226).

Эмиграционную волну российских немцев смогла остановить лишь Первая мировая война – точнее, закрытие государственных границ сразу после ее начала (см.: 16, с. 331–332, 334). По различным данным, с 1874 по 1914 г. за океан переселилось около 100 тыс. поволжских колонистов (см.: 22, ч. 1, с. 174; ср.: 29, с. 87; 31, с. 176).

Итоги

Аграрное перенаселение и как следствие этого малоземелье становятся к началу XX в. важнейшими факторами, влиявшими на социально-экономическое развитие как русской, так и немецкой деревни. Развитие товарно-денежных отношений, появление безработицы, рост отходничества и возможность переселения в новые регионы приводили к коренной ломке не только психологии отдельных колонистов, но и всего патриархального уклада жизни их обществ в целом.

Во время революции 1905–1907 гг. немецкое население Саратовского Поволжья фактически не принимало участия в аграрном движении, вылившемся в ряде уездов и волостей в столкновения крестьян с правительственными войсками. Поволжские немцы не были революционерами – в этом походили на государственных крестьян, проживавших по соседству. И разительно отличались от бывших помещичьих крестьян, занимавшихся поджогами, грабежами, захватом частных земельных угодий и проч.

Аграрная реформа в немецких селениях Саратовской губернии имела свои специфические особенности. Во-первых, основная волна выхода поселян-собственников из общины пришлась на 1910–1914 гг., в то время как по губернии – на первые три года реформы. Во-вторых, в целом из немецких общин вышло более двух третей домохозяев (71%), в то время как соответствующий общегубернский показатель не дотягивал и до одной трети (27,9%) (см.: 35, с. 43; 5, с. 227; ср.: 15, с. 21; 23, с. 76; 25, с. 47). В-третьих, в немецких волостях происходило массовое переселение целых

селений на отруба, что не было характерно для губернии в целом. Следует также учитывать, что немецкие земледельцы были лишены финансовой помощи Крестьянского поземельного банка¹. И наконец, переход поселян к наследственному землевладению не привел к коренному изменению их экономического положения. Одним из подтверждений слабой эффективности аграрных реформ в немецких волостях явился регулярный отток колонистов (включая жителей уже разверстанных на отруба селений) в Америку.

Отток беднейшего населения немецких волостей – в том числе молодежи, движущей силы любой революции, – за границу, как и сама возможность выезда из России, привели к тому, что в немецких колониях сформировался более мягкий по сравнению с русскими деревнями Поволжья социально-классовый «климат». Эмиграция явилась своеобразным клапаном, через который вырывалось недоловое количество немецких поселенцев имущественным и социальным положением, а также патриархальным характером общины, заимствованной ими от русских соседей.

Перефразируя известное высказывание Наполеона: «Политика – это судьба», – можно утверждать, что экономика стала судьбой поволжских немцев. Восприятие ими отсталой экономической модели землепользования существенно нивелировало к началу XX в. специфические особенности этой группы населения и привело к ее фактической «хозяйственной ассимиляции» или, если угодно, к экономической аккультурации. В результате поволжские немцы вполне могли повторить судьбу российского крестьянства в годы первой революции и столыпинской аграрной реформы. Только положение иноязычного национального меньшинства удержало их от радикального ответа на брошенный модернизацией вызов. Немецкие колонисты фактически уклонились от этого вызова, в том числе в форме эмиграции.

Список литературы

1. Антонов-Саратовский В.П. Красный год. – Ч.1: Отрывки по памяти и документам о событиях 1905 г. в Саратове и Саратовской губернии. – М.; Л.: Госиздат, 1927. – 211 с.
2. Булычев М.В. Социально-экономическое положение немецких селений Саратовской губернии в конце XIX – начале XX в. // Российские немцы: Проблемы истории, языка и современного положения. – М. 1996. – С. 210–219.
3. Верхняя Добринка Усть-Кулалинской волости // Камышинский вестник. – Камышин, 1906. – 15 янв. – С. 3.

¹ Ср.: РГИА. – Ф. 1291. – Оп. 120. – Д. 21 [Докладная записка Камышинского уездного предводителя дворянства Михаила Х. Готовицкого председателю Совета министров 17 сентября 1910 г.]. – Л. 9 об.; Там же [30 ноября 1910 г.]. – Л. 24 об. См. также: ГАСО. – Ф. 23. – Оп. 1. – Д. 8160 [Докладная записка управляющего Саратовским отделением Крестьянского поземельного банка саратовскому губернатору 17 июня 1915 г.]. – Л. 109.

4. Власть и реформы: От самодержавной к советской России / Отв. ред. Б.В. Ананьич. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2006. – 733 с.
5. Воронежцев А.В. Поселяне-собственники Саратовской губернии и столыпинская аграрная реформа // Российские немцы: Проблемы истории, языка и современного положения. – М.: Готика, 1996. – С. 220–231.
6. Геллер М. История Российской империи: В 3 т. – М.: МИК, 1997. – Т. 3. – 304 с.
7. Герасименко Г.А. Противодействие крестьян Саратовской губернии столыпинской аграрной реформе // Поволжский край: Межвуз. науч. сб. – Саратов, 1984. – Вып. 7. – С. 3–28.
8. Голос уезда // Приволжская газета. – Камышин, 1906. – 12 апр. – С. 2.
9. Гохлернер В.М., Харламова К.П. Из истории крестьянских революционных комитетов в Саратовской губернии в 1905 г. // Поволжский край: Межвуз. науч. сб. – Саратов, 1977. – Вып. 5. – С. 89–120.
10. Дённингхаус В. Безземельные [колонисты] // Немцы России: Энциклопедия Die Deutschen Russlands: Enzyklopädie / Под ред. В. Карева. – М.: ЭРН, 1999. – Т. 1. – С. 139–141.
11. Дитц Я. Путевые заметки // Камышинский вестник. – Камышин, 1906. – 2 февр. – С. 2.
12. Дитц Я. Путевые заметки // Приволжская газета. – Камышин, 1906. – 25 февр.
13. Дитц Я. Депутат Я.Е. Дитц в роли обвиняемого и его объяснение // Приволжская газета. – Камышин, 1906. – 6 июня. – С. 3.
14. Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов / Под ред. И.Р. Плеве. – М.: Готика, 1997. – 495 с.
15. Кабанов В.В. Крестьянская община и кооперация России XX века. – М.: Наука, 1997. – 55 с.
16. Кабузан В. Русские в мире: Динамика численности и расселения (1719–1989): Формирование этнических и политических границ русского народа. – СПб.: Рус.-балт. инф. центр «Блиц», 1996. – 352 с.
17. Камышинские вести. – Камышин, 1909. – 30 июля. – С. 3.
18. Камышинские вести. – Камышин, 1910. – 4 апр. – С. 3.
19. Малиновский Л. Немцы в России и на Алтае. – Барнаул: Барнаульский гос. пед. ун-т, 1995. – 82 с.
20. Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии. – Саратов; Тип. губ., 1898–1900. – Т. 1. – Вып. 4. – 302 с.
21. Население России в XX веке: Исторические очерки / Под ред. Жиромской В.Б. – М.: РОССПЭН, 2000. – Т. 1. – 463 с.
22. Очерки истории Саратовского Поволжья (1894–1917) / Под ред. И.В. Пороха. – Саратов: СГУ-ИИЦ АО «Заволжье», 1995. – Т. 2 – Ч. 1. – 318 с.; Т. 2. – Ч. 2. – 431 с.
23. Посадский А.В. Социально-политические интересы крестьянства и их проявления в 1914–1921 гг. (На материалах Саратовского Поволжья): Дис. ... канд. ист. наук. – Саратов, 1997. – 222 с.
24. Шацилло К.Ф. Русский либерализм в конце XIX – начале XX в. // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX века: Сб. ст. – СПб., 1999. – С. 285–296.
25. Шелохаев В.В. Национальные интересы России и конфронтационная борьба между властью и обществом в начале XX века // Проблемы политической и экономической истории России: Сб. ст. – М., 1998. – С. 23–59.
26. Brandes D. Die Rußlanddeutschen und der Staat // Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland / Hrsg. Stricker G. – В., 1997. – S. 101–110.

27. Brandes D. Von den Zaren adoptiert: Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neu-russland und Bessarabien, 1751–1914. – München: R. Olden-Bourg Verlag, 1993. – 549 S.
28. Hilfer M. Die deutschen Kolonien in Rußland und die neueste russische Agrarreform // Deutsche Monatsschrift für Russland. – Riga, 1914. – N 56. – S. 439–444.
29. Janssen S. Vom Zarenreich in den amerikanischen Westen: Russlanddeutsche Immigranten in North Dakota und Nebraska (1870–1928) // Deutsche in Russland / Hrsg. von Hans Rothe. – Köln, 1996. – S. 87–101.
30. Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung – Geschichte – Zerfall. – München: Verlag C.H.Beck, 1993. – 395 S.
31. Kloberdanz T.J. Die Auswanderung nach Amerika und ihre Auswirkung auf Identität und Weltanschauung der Wolgadeutschen in Rußland // Zwischen Reform und Revolution: die Deutschen an der Wolga, 1870–1917 / Hrsg. von Dittmar Dahlmann – Ralph Tuchtenhagen. – Essen, 1994. – S. 172–189.
32. Long J.W. From privileged to dispossessed: The Volga Germans, 1860–1917. – Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1988. – 337 p.
33. Neutatz D. «Musterwirte»: Zum Selbstbild der Schwarzmeerdeutschen, insbesondere der Mennoniten // Die Rußlanddeutschen in Rußland und Deutschland: Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit / Hrsg. Barbašina E. Detlef Brandes, Dietmar Neutatz. – Essen, 1999. – S. 73–83.
34. Neutatz D. Bäuerliche Lebenswelten des späten Zarenreiches im Vergleich // Gemeinsam getrennt. Bäuerliche Lebenswelten in multiethnischen Regionen des späten Zarenreiches: Am Beispiel des Schwarzmeer- und des Wolgagebietes / Hrsg. Herdt V., Neutatz D. – Lüneburg, 2010. – S. 7–24.
35. Raleigh D.J. Revolution on the Volga: 1917 in Saratov. – Ithaca (N.Y.): Cornell univ. press, 1986. – 373 p.
36. Rath G. Die Rußlanddeutschen in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika // Heimatbuch der Deutschen aus Russland. – Stuttgart, 1963. – S. 22–55.
37. Schippan M., Striegnitz S. Wolgadeutsche: Geschichte und Gegenwart. – B.: Dietz, 1992. – 240 S.
38. Schmidt C. Die Revolution von 1905 in den deutschen Kolonien an der Wolga // Freie Flur. Deutscher Bauernkalender für 1927. – Pokrowsk. – S. 21–22.
39. Schmidt D. Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen. – Teil 1: Seit der Einwanderung bis zum imperialistischen Weltkriege. – Pokrowsk; Moskau: Charkow, 1930. – 386 S.
40. Stojentin M. von. Ein deutscher Stamm auf fremder Erde // Landwirtschaftliche Wochenschrift für Pommern. – Stettin, 1908. – S. 19–31.
41. Stump K. Das Rußlanddeutschtum in Übersee // Heimatbuch der Deutschen aus Russland. – Stuttgart, 1963. – S. 5–21.

**ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА:
ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ**

И.И. ГЛЕБОВА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Посвящаю моему деду
Георгию Ильичу Глебову,
гвардии подполковнику,
Герою Советского Союза
(за форсирование Днепра)*

Этот текст посвящен не истории войны, а ее месту в национальном сознании. Мне хотелось бы понять, как память общества реагирует на важнейшие исторические события, какое символическое значение в них вкладывает. В работе предпринимается попытка выявления роли мифа войны, одного из определяющих для национальной культуры, в процессах конструирования легитимности современного режима и идентичности российского общества.

Механизмы постсоветской памяти: редукция и оправдание

Когда-то Н.М. Карамзин написал историю России, сведя ее к истории государства, власти. Этот подход утвердился в качестве господствующего в науке и общественном сознании. Известно, что в XIX в. при всем разнообразии мнений лидировала государственно-юридическая школа, где по преимуществу анализировались властные институты, но не история общества¹.

В постсоветское время сложилась своя конструкция ближайшей, т.е. советской, истории, тоже связанная с «усечением» прошлого. Это достаточно очевидно сегодня, в год не только 70-летия начала войны, но и 20-летия распада СССР и возникновения нового государственного образования – РФ. При анализе исторического сознания российского общества и «исторической политики» власти² становится очевидным, что итог в ос-

¹ Ею занимались славянофилы и некоторые историки, но сделать ее мейнстримом науки и общественного сознания не удалось.

² «Историческая политика» – многозначный термин, употребляемый в разных значениях. Некоторые исследователи видят в исторической политике «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы, <используя административные и финансо-

новном таков: история сведена к советской (досоветская, русская «интересна» по-прежнему как «пролог» к чему-то действительно важному, касающемуся впрямую ныне живущих; тот же Александр Невский, победитель шведов и псов-рыцарей, любим как герой именно сталинской эпохи, эдакий маршал–победитель германцев...), последняя же редуцирована к Великой Отечественной войне. Это, конечно, не значит, что общество и историки забыли все остальное. Но война, безусловно, стала главным историческим событием, на основе которого выстраиваются идентичность и легитимность постсоветского строя. В центре внимания общества и власти находятся те проблемы, которые связаны с войной (точнее, связываются войной) и ею же оправдываются.

К войне, как оказалось, можно «привязать» если не всё, то очень многое в советской истории (точнее, в массовых о ней представлениях – что и составляет историю в массовом сознании, в массовой культуре). Вторая установочная дата постсоветского календаря – 12 апреля, полет Ю. Гагарина – тоже имеет отношение к войне. Ведь именно в результате победоносного окончания Второй мировой СССР стал сверхдержавой, а космос еще одна (своего рода побочная) победа – в гонке вооружений, в холодной войне. С Гагариным связаны и другие космические достижения – прежде всего запуск спутников.

Мифом войны очень логично оправдываются, говоря принятым в СССР и всем еще (или опять?) привычным языком, «ошибки» и «недостатки» советской системы, т.е. травматические моменты советской истории. Так, даже неосталинисты (нынешние сторонники Сталина) признают, что в СССР были репрессии, но вводят их в контекст подготовки к войне. Массовый психоз разоблачения «пятой колонны», «предателей» в «рядах строителей социализма» объясняется происками внешних врагов и угрозой нападения. В конечном счете оказывается, что так страна готовилась к войне.

вые ресурсы государства», стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие», отличающихся в посткоммунистических обществах особым своеобразием» (44, с. 10). Существует другая точка зрения на историческую политику: ее предлагают не сводить к официальной трактовке истории, но трактовать в широком смысле – как процесс «формирования общественно значимых исторических образов и образов идентичности... которые реализуются в ритуалах и дискурсе, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды» (66, с. 90). В этом значении «историческая политика» практически неразличима с «политикой памяти» – так называют практики общественного бытования истории. Говоря об исторической политике, я имею в виду не «политику памяти» вообще и не использование истории в политических целях, а более частный случай: государственную политику «формирования» общественно-исторического сознания и коллективной памяти, государственную пропаганду официальной версии истории, влияние государства на политику памяти и исторические исследования с целью собственной легитимации и укрепления господства.

С той же точки зрения оценивается в официально-массовой истории и пакт Молотова–Риббентропа; благодаря ему удалось отодвинуть границы, выиграть время для подготовки к войне. В ту же логику встраиваются не только индустриализация, но и коллективизация: без нее СССР не выиграл бы войны – индивидуальный крестьянин поприжал бы хлеб, как он это делал в 1916–1917 гг. и 1920-е годы, что не позволило бы наладить снабжение армии. Да и послевоенное героическое восстановление тоже «идет» из войны. Тяжелая жизнь, голод (который, кстати, был и в Европе), даже послевоенные репрессии объясняются ее последствиями.

Так, через урезание, упрощение и оправдание советской истории новым режимом выстраивается единая историческая логика, определенная победой в войне. *Война является инструментом реабилитации советской истории, ее очищения от всего «ошибочного», «вредного», стыдного и преступного.* Благодаря ей можно легитимировать укорененность постсоветского порядка в советском, положительно интерпретировать и даже героизировать их связь. В этом остро нуждаются и постсоветский человек, ощущающий именно там корни своей идентичности, и постсоветская власть, видящая в советском основания своей легитимности. Через народный подвиг конструируется преемственность двух режимов.

И здесь возникает целая серия вопросов: почему постсоветская Россия в качестве основания идентификации и легитимации выбрала именно войну? По какой причине наши массовые сознание и культура оказались так привязаны к военному проекту? Какая версия войны оказалась органична постсоветизму? Казалось бы, на эти вопросы уже даны убедительные ответы (см.: 11, 13, 17, 18, 22, 39, 40 и др.). По-моему, однако, здесь еще есть о чем говорить.

Опыт истории – миф национальной культуры

Примем за основу постсоветский подход – не его оправдательную логику, но своего рода «завороженность» войной, центрированность на Отечественную. Действительно, «через» войну, ее историю, мифологию, память о ней многое можно понять – и не только в советской эпохе. Это один из «ключей» к нашей истории, культуре, порожденному ими человеку («элитарному» и «массовому»).

Употребление в связи с темой Отечественной войны термина «миф», конечно, требует пояснения. Он не используется мною в негативном значении – для того, чтобы «поставить под сомнение величие победы советского народа...» и т.п., как возопят (и, кстати, вопят) нештатные сотруд-

ники Комиссии о фальсификации и заинтересованная общественность¹. Привлекая этот термин для описания образа войны, утвердившегося в советско-постсоветском общественном сознании, я хотела бы подчеркнуть следующее. Историческое событие вообще не «укладывается» в массовое сознание как последовательная сумма фактов. При усвоении оно неизбежно мифологизируется, причем не только вследствие воздействия пропагандистских, легитимационно-социализирующих инструментов, но и под влиянием работы механизмов национальной культуры. Чем масштабнее событие, чем больше оно будоражит глубины данного типа культуры, тем вернее подвергнется мифологизирующей «проработке».

В ходе такой «проработки» не то чтобы страдает (искажается) фактологическая канва (историческая «действительность»); она вообще становится несущественной. Факт рожден определенным временем, вводит в него и с ним связан; миф темпорально не фиксирован – это способ самосуществления, существования культуры². Миф строится на фоне исторического факта и в связи с ним, но «вокруг него» нет времени – он выводится за временные рамки, ставится над временем. Миф больше говорит об определенностях культуры, чем о конкретике события, о метаморфозах массового сознания, чем о ходе истории. *Миф лишает событие временной адекватности, но обнаруживает в нем смысл, адекватный национальной ментальности, национальной культуре.* Поэтому воспринимать миф национальной культуры в значении фальсификации исторического события могут люди или совершенно неподготовленные (непросвещенные на этот счет), или политически ангажированные и идеологизированные.

Здесь уместно указать на разницу в отношении к мифу историка и этнолога (или антрополога). «Для историка мифологический образ исторического события является упрощающей действительность абстракцией. Для антрополога такой образ, безотносительно к тому, что произошло на самом деле, обладает собственной ценностью. Этнолога интересует не то, соответствует ли миф действительности, а то, как мифологические верования регулируют поведение человека, определяют собой мораль, соци-

¹ Одной из причин появления этого текста было удивление тем, какую власть над умами многих наших людей имеют слова «миф», «фальсификатор» – в особенности в отношении Отечественной войны.

² Миф – познавательный механизм культуры, обладающий объяснительной, регулятивной и психотерапевтической функциями. Под мифом понимается «один из древнейших, опробованных временем типов социального кодирования, свойственный не только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой цивилизации. Мифы «живут» и «вымирают», но и заново возникают, и степень их значимости все время меняется» (1, с. 10–11). Начало изучения мифа и мифического (мифологического) сознания было положено трудами Э. Дюркгейма, А. Юбера, М. Мосса; классический статус ему придали работы М. Элиаде, Г. Беккера, С. Брэндона и др. Заметный вклад в развитие темы внесли российские авторы – Е. Мелетинский, С. Аверинцев, В. Иванов, С. Токарев, В. Топоров и др.

альные институты, формы общественной жизни» (62, с. 40–41). Для меня предпочтительна именно эта точка зрения на миф, эта исследовательская перспектива. Причем здесь мифология важна даже не сама по себе, а в ее отношении к человеку, культурной традиции. Этот подход разрабатывал один из классиков мировой этнологии XX в. Б. Малиновский: «Мы должны изучать миф в его влиянии на жизнь людей. На языке антропологии это означает, что миф или священная история определяются своей функцией. Это та история, которая излагается для того, чтобы утвердить веру... засвидетельствовать прецеденты образа и ритуала или увековечить образцы морального или религиозного поведения» (42, с. 281).

Исторический миф есть отражение национальной истории в национальной культуре. Он рождается из переработанного культурой исторического опыта, а актуализируется в обстоятельствах, как-то этому опыту созвучных. Важнейшим для России оказался военный опыт; она по существу милитарная страна. И дело здесь не в частых войнах – в конце концов, воевали все и всегда. У нас социальная ткань, сама конструкция социальности во многом созданы войной, выросли из военных нужд, в удовлетворение военных потребностей (см. об этом: 34, 35)¹. Милитаризации подверглось сознание – и элит, и народа; милитарность – родовая черта ментальности «модального» русского человека.

В течение столетий мирная жизнь в России переживалась как короткая межвоенная передышка; гражданские отношения отягощала органика войны – безразличие, жестокость, даже безжалостность людей по отношению друг к другу. Об этом – розановское: «В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал» (53); от-

¹ Милитаризация, в интерпретации И.М. Клямкина, «это выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенно образа жизни» (41, с. 275). Здесь важно учитывать следующий момент, на который указал при обсуждении концепции Клямкина А. Пелипенко: «Милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах». Из этих установок рождался в культуре соответствующий мифоритуальный комплекс, главными компонентами которого являлись: образ врага («существа, самим своим существованием отрицающего единственно правильный миропорядок»), культ победы (она «отмечает точку в мифическом времени, связанную с сакральным обновлением космоса»), идентификация человека (мужчины) как воина. На переходе от архаики к цивилизации окончательно оформились универсальные функции этого комплекса: «консолидация социума; самоопределение (идентификация) по отношению к врагу (иному); мобилизация культурного ресурса» (41, с. 298–299). Это, так сказать, исходная база для размышлений. Далее, обращаясь к России, следует понять, что консервирует «милитаристские» установки в культуре; более того, обеспечивает им доминирующее положение, в результате чего социальность и система управления строятся в соответствии с ними. Это и делает И.М. Клямкин. Моя задача – выявить специфику военного мифоритуального комплекса русской культуры: его «статус», характер организации, назначение, механизмы актуализации.

сюда – сталинское: «Незаменимых у нас нет»¹. И царство, и империю отличали не то чтобы талант к войне (мы вовсе не так часто, как представляется нашему милитаризованному сознанию, побеждали), но неспособность избавиться от психологии войны с ее страхом врага и заворуженностью им, потребностью доминировать и самоутверждаться силой, а также какое-то странное отсутствие таланта к миру, к осмысленной организации жизни нации в мирное время. В государстве трудящихся все это приняло крайние, опасные с точки зрения национального самосохранения формы. Оно жило войной, даже когда не воевало; вся его история есть перманентная война (гражданская: с врагом явным, а затем «тайным» – мировая – холодная); мир строился на остаточные средства – те, что не съела война; тяготы быта казались не такими уж безнадежными в проекции архетипической советской формулы «только бы не было войны».

В процессе освоения такого исторического опыта русская культура выработала один из установочных своих мифов – миф «священной (жертвенной, справедливой, победоносной)» войны². Он зафиксирован как в народно-фольклорной, устной и письменной, так и в элитарной, церковно-государственной и интеллектуально-художественной традициях. Основные функции мифа – идентификационная и интеграционная, «нациопорождающая». Это миф национального единства, единения власти и народа во имя высшей цели – защиты Отечества. Под данную мифом архетипическую модель войны народным сознанием подверстывались (и верстаются теперь) реальные войны. Миф ориентирует на освященный традицией образец – то должное, чему подобало бы существовать. Его смысловая ткань чрезвычайно сложна, что предполагает разнообразие прочтений.

Война в мифе не то чтобы не осуждается, но предстает неким естественным состоянием – по крайней мере столь же естественным, сколь мир. Более того, война обеспечивает мир, является его условием. При этом речь идет вовсе не о той воинствующей милитарности, которая бросала в

¹ В данном случае несущественно, принадлежит ли высказывание Сталину или приписывается ему. Важно то, что оно прочно вошло в нашу речь, в наше сознание. А это значит, что советский человек адекватно понимал политику партии, ее ценностные ориентиры.

² Этот термин встречается в некоторых современных исследованиях, посвященных Отечественной войне. Немецкий историк И. Хёслер, например, отмечает: «Наряду с мифом об основании Советского Союза вторым столпом легитимности стал миф о «священной войне» (63, с. 90). Российский исследователь И. Кукулин пишет: «Война стала легитимирующим «мифом основания» – она-то и должна была обосновывать советскую идентичность» (36, с. 333). С конца 1980-х годов широко употребляемым стало понятие «государственный миф о войне» – это основополагающий элемент советской исторической мифологии, подменявшей историю (47). Однако это культурное явление связывается только с войной 1941–1945 гг.; оно лишено исторической перспективы и соответствующей исследовательской проработки.

грабительско-завоевательные походы дружины викингов или орды монголов. Война ради войны, военное «молодечество» как бунт/бурление молодой, не находящей себе иного применения силы – все это неорганично русской культуре. Возможно, поэтому в ней нет воинственно-гламурного культа рыцарства, но существует былинный культ богатырей – защитников рубежей Отечества, охраняющих/сберегающих русскую землю. *Война в русской культурной традиции – не нападение, а оборона*: отражение внешней агрессии, противостояние врагу, персонифицирующему мировое Зло («злой вражеской силе», «поганым», «воинству антихристову» из былин, сказок, летописных историй). *Миф войны внутренне мотивирован, если угодно, не избытком силы, а ощущением слабости, уязвимости.*

Такой тип освоения опыта войны обусловлен своеобразием истории и географии и связанными с ними особенностями культуры. Россия как государственная и культурно-историческая единица – это прежде всего территория (измерять мощь государства в километрах – типично русский алгоритм). Она мыслит себя пространственными категориями; «выстраивалась», организовывалась *в* и *для* освоения пространства. Об этом написано так много, что нет необходимости пояснять. Но география этого пространства явно не отвечала требованиям безопасности; исторически данная русским для колонизации территория открыта, не защищена естественными преградами. Землю, пригодную для жизни, столетиями приходилось отвоевывать у природы или отстаивать в противостоянии с легко проникавшими сюда завоевателями.

История о «начале» русской земли – это история о постоянном вторжении кочевников, о бесконечных волнах степных нашествий. Народ, живший на этой территории, очень долго был вовсе не завоевателем, а жертвой геополитических обстоятельств. Внешняя уязвимость, страх врага, напряжение от постоянного ожидания нападения компенсировались в мифе оборонительной войны. (Это вполне логичная находка доминирующего у нас типа сознания – военно-оборонного.) В том понимании, которое свойственно русской культуре, оправдана и справедлива именно она, а не внешняя агрессия. Правда, за которой сила, а значит, и Божественное покровительство/заступничество – на стороне тех, кто обороняет родную землю, защищает Отечество. Как бы ни был силен враг, в логике мифа он обречен – за ним нет Правды.

Истоки, драматургия и основные смыслообразы мифа

Миф оборонительной войны вырос из негативного опыта и имел прежде всего компенсаторную функцию, гася высокую тревожность русской культуры. Начальный опыт, переработанный в миф, получен из постоянных столкновений со степными кочевниками. Его сердцевина – на-

шествие татаромонгол, пожалуй, самое травматическое для древней и средневековой истории нашей страны событие. Именно в нем источник военного мифа; опыт иноземного нашествия и ига определил его сценарий.

Прежде чем описать мифологический сценарий, следует сделать важное предварительное замечание. Миф священной оборонительной войны складывается вовсе не в момент нашествия. Напротив, сам образ этого народного бедствия, созданный в современной ему летописной литературе, полностью противоречит мифологии¹. Суть традиционной для русской публицистики XIII – первой половины XIV в. концепции ига, восходящей к библейской Книге пророка Даниила, так толкуется современными исследователями: «Тяжелое наказание, ниспосланное свыше за согрешения Руси», предполагавшее «покорность» «беззаконному царю» как правителю, но «стойкость в защите своей веры» (15, с. 163, 269). Противостояние иноземцам рассматривалось как греховное и потому заведомо обреченное дело; христианину предлагались смиренное принятие «Божией кары» и покаяние (15, с. 168, 180). Мученическая смерть, а вовсе не сопротивление «поганым», по версии современников событий 1237–1242 гг., обеспечивала спасение. Такой настрой оборонявшихся был одной из причин неожиданно быстрого разгрома татарами Руси. И в то же время таково объяснение неспособности противостоять «поганым», найденное современниками и зафиксированное в культуре.

Единственное исключение из «пораженческой» традиции – *южно-русский* Ипатьевский летописный свод, где «борьба с ордынцами» <«безбожными»> выглядит как «наиболее предпочтительный способ поведения» (15, с. 151). Типичному случаю «непротivления» (или слабого, недостаточного, заранее «обреченного» сопротивления) – взятию татаромонголами Владимира-на-Клязьме – южнорусский летописец противопоставил подвиг жителей Козельска. Для него *это* – пример для подражания. Как вы понимаете, мотив противостояния захватчикам не случайно возобладал именно в южнорусских текстах. Это отражение того выбора, который сделали «элиты» разных русских земель – в пользу Орды или против нее. Властным персонафикатором антиордынской позиции является, как известно, галицкий князь Даниил Романович; его антиподом – наш «национальный герой» Александр Невский.

¹ По наблюдениям Г. Подскальски, В.В. Каргалова и В.Н. Рудакова, «в описаниях монгольского нашествия... в первые полтора века после Батыева нашествия в летописании... идеальной фигурой был вовсе не воин, “<не князь-защитник>”, сражающийся с работодателями, а смиренный страдалец Иов, само имя которого значит “угнетенный, враждебно преследуемый”». Основные темы летописных текстов, появившихся во времена установления ига, – отчаяние, «страх и трепет», покорность перед Божьими казнями (15, с. 206, 168, 169), но не борьба, сопротивление, оборонничество.

Тема борьбы с иноземными захватчиками и воспевание «беззаветного мужества народа» стали ведущими в летописании Северо-Восточной Руси позже¹. Возникли они на «негативной» основе – для размежевания с чужой землей, чуждым государством как с иными по вере. Источники показывают, что «ордынские» русские (жители «царева улуса», которые «и страх держали, и пошлины платили, и послов царевых чтили»²) впервые отчетливо поняли свою «отдельность» от Орды и временность ордынской власти после принятия в 1312 г. ислама ханом Узбеком. Анализируя «Повесть об убиении Михаила Тверского» – тверской памятник первой четверти XIV в., где впервые высказана антиордынская (т.е. освободительная) идея, И.Н. Данилевский предположил: «Установление в Орде государственной религии (несмотря на сохранение Узбеком всех льгот православному духовенству, данных предыдущими ханами) рассматривалось летописцем и его современниками как нарушение того состояния конфессиональной «нейтральности», которое делало ордынское иго до того приемлемым для русских земель» (15, с. 249). Интересы защиты веры, с точки зрения летописца, требовали уже не покорности, а сопротивления «беззаконному» ордынскому царю³.

Однако в целом древнерусские авторы середины XIII – первой четверти XIV в. еще не ставили под сомнение законность «Богом установленной» власти ордынских ханов. Переломной здесь стала победа «православного воинства» в Куликовской битве 1380 г., которую, по мнению русских книжников, обеспечило Божие Проведение (не случайно, рассказывая о ней, летописец вкладывает в уста русских князей слова: «Не в силе Бог, а в правде» (цит. по: 10, с. 220). Показательно, что со «Сказания о Мамаевом побоище» и других памятников Куликовского цикла понятия «Русская земля» и «православная вера» стали практически неразделимы⁴.

¹ По мнению исследователей, «для летописцев в первые полтора века после нашего Батюга» свойственно «примирительное отношение к татарскому владычеству» (15, с. 181). Сложный и продолжительный исторический процесс русского самоопределения и внутреннего отмежевания от Орды приходится на столетие 1340–1440 гг., «когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя». Тогда воспитались люди «куликовского поколения», «отваживавшиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды» (32, с. 72).

² Из грамоты эмира Едигея, пытавшегося в начале XV в. восстановить престиж Золотой Орды, московскому князю Василию Дмитриевичу, сыну Дмитрия Донского, 1408 г. (цит. по: 60, с. 78).

³ Летописец фактически отождествлял Русь с Иерусалимом и Царьградом, подчеркивая тем самым, что на нее снизошла «благодать Божия» (15, с. 253). Подтверждением этого «статуса» должно было стать избавление от ига.

⁴ Замечу: приблизительно в то же время, т.е. не ранее последней четверти XIV в., по мнению А.Л. Юрганова, формируется современное понимание Отечества как всей Русской земли (а не только своего княжества, как прежде). У «послекуликовских» книжников «Русская земля» начинает отделяться от Орды, противопоставляться «земле Половечьской и

Тогда и начинается формирование военного мифа, его текстовая реализация¹. Весьма показательно, что исторически «начала» православного царства/Русского государства и военной мифологии практически совпадают.

Сценарий мифа священной оборонительной войны кратко может быть описан так: нашествие – сопротивление/оборона – поражение/игло – возрождение/наступательная война – чудесная победа/полное торжество над врагом. Центральный для этого мифа *мотив завоевания/нашествия*, конечно, не уникален, свойствен общехристианской традиции. Но в русской культуре он решается особым образом, имеет свою драматургию. Нашествие предстает в мифе как внезапное, неожиданное и вероломное нападение врага. Оно полностью снимает с русской стороны ответственность за войну; более того, устраняет саму возможность обсуждения этой темы. Вся вина за войну перекалдывается на врага-завоевателя. Мы отводим себе роль жертвы – обороняющейся и страдающей.

Образ врага – один из центральных в мифе; его символическая нагрузка едва ли не значительнее, чем образ «своего» (хотя в конечном счете враг лишь выполнял функцию его антиобраза), поэтому он ярче, насыщеннее прописан. Русские в мифе имеют дело даже не с превосходящей их военной силой, а с мистическим суперврагом, воплощением всего мирового зла. Сила его безмерна – он непобедим. Этот образ вполне исторически оправдан: монгольское войско, послужившее его источником, было не просто лучшим для своего времени. Подчинив полмира, монголы на века стали образцовыми завоевателями. *Миф рассказывает о противостоянии с идеальным*, если так можно выразиться, *врагом*.

Другой прототип врага – воин Запада, трактуемый мифом прежде всего как иноверец, более того – воплощенная угроза утраты души народа, т.е. его «исконной» («правильной») веры². Такая интерпретация вполне

Татарской» (15, с. 278, 301). В то же время еще в «Задонщине» (памятнике конца XIV – начала XV вв.) в качестве синонима «Русской» или «Залеской земле» используется термин «орда Залеская» (там же, с. 282). После Куликовской битвы эти самоинтерпретации (Русь как Орда и Русь–не–Орда) активно борются в русском сознании.

¹ Тексты выступают трансляторами мифологической информации. При их анализе надо иметь в виду следующее: «Формулирование важнейших обобщений и идей различной степени отвлеченности (о времени и пространстве, космосе и хаосе, жизни и смерти, душе и судьбе и т.д.) через наглядные образы действительности приводит к их повышенному насыщению мифологической символикой, и они начинают функционировать как язык, выражающий мифологические или мифопоэтические смыслы (особенно в текстах фольклора, древних и средневековых литератур). Это обуславливает использование подобных образов для передачи мифологической информации (или даже вычитывание ее в текстах, в которых она первоначально не была заложена)... Иногда мифологические темы лишь косвенно отражаются в повествовательных мотивах, метафорах, эпитетах фольклора и литературы, причем их мифологический смысл обычно не осознается» (46, с. 28).

² С началом мировоззренческого – по вопросу о вере – противостояния русских «татарам» и в их описании утверждался конфессиональный мотив. «Антиправославие», «без-

объяснима: национальная мифология в значительной части создана церковной письменной традицией, несшей в себе идею религиозной войны. Этот тезис требует пояснения. Мифологический враг русского человека имеет двойственную сущность: это *иноземец* (человек другого, чуждого пространства) и *иноверец* (т.е. чужой по вере – иначе говоря, по мировоззрению, культуре). Война против него неизбежно приобретает не только «территориальный», но и религиозный характер. Это очень важный момент: в русской истории ведь не было религиозных войн – они являлись элементом общевойсковой истории, освящая войну идеей. И не случайно *в военный миф оказался встроен мотив религиозной войны*, источник которого – в монгольском завоевании и историческом противостоянии с Западом (военно-силовом и «идейном» мировоззренческом, начавшемся борьбой с «латинством»).

Воин Запада постепенно вытеснил степняка-кочевника из образа врага; так среди прочего было зафиксировано в культуре вхождение России в Новое время¹. В мифе преломился реальный опыт: с XVII в. противостояние/контакты с Западом стали важнейшей частью русской истории, с XVIII в. – элементом самоопределения, а два нашествия (наполеоновское и гитлеровское) и поражение в холодной войне навсегда сделали Запад врагом № 1 для массового сознания. Чрезвычайно важно, что Запад изначально представлен в национальной мифологии, народном сознании как угроза/искушение «своей» (т.е. истинной) вере. Этим архетипическим образом во многом определяется и современное массовое восприятие западной цивилизации: как источник необходимого для выживания в современном мире опыта и в то же время как врага-искусителя – внешней враждебной силы и дьявольского соблазна для души. Управа на такую угрозу должна быть мощной и неколебимой в вере. И не случайно персонификаторами такой управы стали «крутые» даже по меркам своего времени властители – благоверный князь Александр <Невский> и его современное воплощение И.В. Сталин. Всякие попытки развенчать их мифологические образы и дальше будут вызывать агрессивное неприятие традиционного, т.е. антизападного, по своим сути сознания.

Нашествие врага по своим неотвратимости и чудовищной разрушительности обретает в мифе сходство с природной стихией. От него не ук-

божие», «нечестивость» становятся устойчивыми характеристиками их восприятия в Северо-Восточной Руси. После поражения Золотой Орды и ее наследников – растянувшегося на столетия, но спрессованного мифом в мотив победы – у нас остался только один мифологический враг.

¹ Однако еще и в русской графике XVIII в. (карикатурах, популярных в народе лубочных рисунках) враг изображался «восточным человеком» – в чалме, шароварах и с кривой саблей. Конечно, исторически это объяснимо. «Отечественные художники начала XIX в. буквально на ощупь создавали кальку для визуального “овражения” европейца», – указывает современный исследователь (6, с. 189).

рыться; ему практически бесполезно сопротивляться. Тем не менее *мотив героической обороны* играет в мифе войны значительную роль¹. В нем не просто возникают темы жертвы/жертвенности и героизма/подвига, но происходит поиск их нормы. Иначе говоря, *миф предлагает свой вариант «правильной» жертвы и «правильного» героя*. Героизм и жертвенность осмыслены и оправданы в мифе необходимостью защиты родной земли, т.е. имеют как бы пространственную целесообразность. При этом миф настаивает на сакральной природе своей территории; таким образом дело ее защиты приобретает священный характер, значение миссии. Причем дело это общее; речь в мифе идет о массовых героизме и самопожертвовании, сопротивлении захватчикам ценой жизни, но не человека, а народа. Здесь все защитники, а значит, все герои; миф воспевает не индивидуальный, а народный подвиг. В мифе нет основы для персонализации трагедии (и жалости к ее жертвам). Миф священной войны как бы призывает осознать высокий смысл общей жертвы «на алтарь Отечества».

Самая трагическая часть мифа – *поражение/уго*. Несмотря на то что оборона сопровождается чудесами народной храбрости, мужества, стойкости в вере и жертвенной любви к родной земле, она обречена. Неизбежность поражения объясняется вовсе не слабостью защитников. Напротив, мифологический мотив сопротивления доказывает их особую силу, источник которой – в Правде защиты Отечества. Миф акцентирует особое мужество русских: из всех современных народов, подвергшихся «агрессии», только они оказываются способны на достойное сопротивление непобедимому врагу. Здесь мифический сценарий приобретает внешний ракурс. Оттягивая на себя вражеские силы, русские спасают «мир чужих» – иноверцев и инородцев, но не врагов (или еще не врагов). (В скобках замечу: в этой не слишком приглядной роли спасенных, а потому должников изначально выступал «Запад».) Правда, по логике мифа, враждебность этого мира к русским не исчезнет. «Чужие» не смогут оценить эту жертву. В лучшем случае забудут, в худшем – пересмотрят в свою пользу (как говорят сейчас, фальсифицируют, станут «отрицать вклад»). Отсюда в русской культуре возникнет тема «их» перед «нами» («внешнего») долга и «оправданности» нашего от них «отставания»².

¹ Уже в Ипатьевской летописи борьба с завоевателями рассматривалась «как праведная, а гибель при сопротивлении монголам – как христианский подвиг, обеспечивающий жизнь вечную» (15, с. 152). Правда, возобладали эта интерпретация в летописании с последней четверти XIV в.

² Классическую «формулу» этой темы дал А.С. Пушкин в письме П.Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.: «У нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно

Сюжет завершается тем, что захватчики («темные силы», «тьма» врагов) торжествуют, – устанавливается иноземное иго (исторический источник термина: монгольская система подчинения и управления Русским улусом, или «ордой Залеской»). Попираются исконные начала народной жизни, обессиленный борьбой народ претерпевает невиданные страдания. Страна полностью разрушена, везде царит «мерзость запустения». Организованный мир распадается, прежняя налаженная жизнь заканчивается – наступает хаос, торжествует неправда¹.

Этим кончается отрицательная часть мифологического сценария. Ее «уравновешивает» *мотив возрождения, определенный победной логикой*. Иго и борьба с ним противопоставлены как антагонистические начала: тьма/свет, зло/добро. Темные времена вражеского ига обременены многими неправдами. В тьме рабской жизни одинаково пораженные завоевателями «портятся» и народ, и власть. Народ разобщен, лишен воли к сопротивлению; власть служит завоевателю, попирая народные интересы. Опустошается не только пространство – пустеют, истончаются души. Но вера, которой единственно и держится жизнь, совершает чудо². К народу возвращается внутренняя убежденность в своей правоте. Встав вновь на защиту своего народа и правого дела, «исправляется» власть.

Фактически в мифе зафиксировано рождение (или возрождение) власти в ходе священной войны (это исторически адекватно: самодержавие обретает законченный вид на рубеже XV–XVI вв., в том числе в связи с падением ига и становлением национального государства). В соответствии с идеальной мифологической формулой *легитимация русской власти* –

чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех» (51, с. 155). Такой интерпретацией снималось элитарное ощущение скомпрометированности русских ордынским прошлым и их «вторичности»/периферийности по отношению к Западу, западной культуре.

¹ Упомянувшийся уже автор «Ипатьевского» варианта «Повести временных лет» считал завоевание Руси не просто военным поражением, но «погибелью Русской земли» (15, с. 152). Со временем эта интерпретация стала своего рода канонической.

² Чтобы «сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство.., русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, принижённые вековым порабощением и унынием», – отмечал В.О. Ключевский (32, с. 68). «Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения» русский народ получил в XIV в. Великий историк видел в этом влияние преподобного Сергия Радонежского, посвятившего свою жизнь «нравственному воспитанию народа». То, что ему удалось «оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня», уже тогда признавалось чудом, а источник «чудесного, творческого акта» – вера. Впечатление русских людей XIV в. «становилось верованием поколений, за ними следовавших». «Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое», – пишет Ключевский (там же, с. 74, 75).

в обеспечении победы народа над захватчиками; необходимое же условие победы – военно-оборонный союз с народом, освященный церковью (верой, идеей). Такая власть должна быть конкретна, осязаема – она требует себе персонификатора, соединяющего функции военного и религиозного лидера. На эту роль миф предлагает две исторические фигуры, «кызмая» их из более ранней эпохи, – князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского¹. Мифологический жанр не противится такой вольности – в пространстве мифа легко смешиваются разные времена. Главное – зафиксировать не исторический момент, а саму потребность народа в освобождении, борьбе с завоевателями, свободной самореализации в истории.

Война заканчивается в мифе чудесным избавлением – торжеством над всеильным прежде врагом. При этом речь идет не просто о военной победе, поражении в битве (или битвах) и бегстве врага. Мотив торжества над завоевателем, опять же не уникальный для христианской традиции, получает в русской культуре специфическое разрешение. Враг не просто уничтожается – он поглощается: победители восстанавливают сакральное пространство «своего» мира; в него втягивается и им перерабатывается «нечистая» вражеская территория. Утрачивая пространство, теряя тем самым силу, враг как бы перестает быть – во всяком случае, в прежнем своем качестве: субъекта, творца собственной истории. Он присоединяется к миру победителей на положении вассала, приобщается к его системе ценностей (переходом в «нашу» веру, т.е. своего рода мировоззренческим обращением, подчинением «нашей» власти). Тем самым «очищается», сменяя с себя вину.

Правда торжествует: побежденный становится победителем, раб – хозяином, творцом и собственной истории, и истории побежденных (это, кстати, типологически напоминает схему революционного мифа: «кто был ничем...»). «Вредоносный» вражеский мир разрушается. Хаос отступает – восстанавливается порядок. Так, в имперско-религиозном духе культура освоила реальный исторический опыт: многовековая порабощенность Степью сменилась в XVI–XVIII вв. завоеванием вражеских территорий (Казанского, Астраханского, Сибирского ханств, затем Крыма), их подчинением Русскому государству, религиозной и культурной ассимиляцией.

¹ Обращение к этим фигурам связано с тем, что мифологическое (сконструированное в мифе) освобождение от поработителей и создание собственного государства невозможны без решающей – тяжелой и кровопролитной – битвы. «Стояние на Угре» к решению этой задачи «приспособить» невозможно. Куликовская же битва – в особенности если вывести ее за пределы истории (с последовавшим за ней набегом на Русь хана Тохтамыша и разорением Москвы) и проецировать на нее результаты «стояния» – идеально подходит на роль решающего (возможно, не последнего, но «переломного») сражения священной оборонной войны. Поэтому она и стала «местом памяти» и источником самоидентификации русского человека.

Многотрудный и долгий исторический процесс был свернут в мифический мотив Победы, который в конечном счете определяет логику мифа.

Фактически в этом сценарии сталкиваются два главных смыслопорождающих мифологических начала: *в священной войне умирает и воскресает, возрождается народ*. Именно миф войны становится в нашей культуре ареной столкновения добра и зла, персонифицированных в конкретных силах. Через него проигрывается центральная для христианской культуры история конца света – апокалипсис, Страшный суд, установление Царства справедливости. Конец всего и начало всего, катастрофа разрушения мироустройства и созидание нового мира, невиданные народные жертвы и чудесное избавление – все эти мотивы присутствуют в мифологическом рассказе о великой войне. *Начавшись как оборонительная и потому справедливая, она – благодаря жертвенности и долготерпению народа – перерастает в победно-наступательную, в которой торжествует Правда*. В мифологической войне гибнет материальная, но спасается духовная, священная основа жизни – «душа» народа и Святая Русская Земля. Из нее и вырастает национально-государственное единство.

Специально укажем на одну из определяющих функций мифа священной войны – добиться приемлемого для культуры соотношения тем завоевания и победы. В мифе не просто оправдывается поражение – проигрыш оборонной войны и связанные с ним человеческие, материальные, территориальные потери. А ведь именно в этом – парадокс, главное противоречие военного мифа: он «поет» оборону как единственно оправданный сценарий начала священной народной войны и в то же время мирит с ее безуспешностью. *В контексте мифа поражение оказывается логически необходимым – таков сценарий священной войны*. Поражение и завоевание в мифологической логике еще не конец, а лишь некое переходное состояние; в то же время – необходимая для победы искупительная народная жертва. *Победой же снимается весь негатив неудач, «комплекс ига»*.

Такое проигрывание исторических нашествия и ига в культуре были, видимо, необходимы для ее выживания. Имея, безусловно, защитно-компенсаторный характер, миф священной войны нес положительный, жизнеутверждающий заряд. Он обещал победу после поражений, давая надежду в исторически безнадежной ситуации. Посредством мифа в пространстве культуры перерабатывались национальные страхи от увязимости территории перед внешней агрессией, шок от ощущения несостоятельности, вызванный военными неудачами.

В конечном счете миф наделяет войну высоким статусом, связывая ее с «предельными» ценностями культуры. Или, говоря иными словами, в русской традиции только через военный миф возможна (осуществляется) такая связь. Поэтому война у нас – время действия высшей нравственной меры. Показательно, что только в рамках военного интереса служба – этот

краугольный камень русского социального порядка – понималась как служение. Только на войне и в военном мифе она приобретала всеобщий характер, объединяя и уравнивая все сословия, нивелируя социально-статусные различия. Тем самым символически преодолевался традиционно иерархический характер нашей социальности, решалась важнейшая для нее проблема социальной справедливости. *В мифе и мифом оборонительная война, типологическая для русской военной истории, возвышалась до священной.* И требовала для своего описания высокого, героического и сурово-романтического языка.

Рост нации из «первой Отечественной»

В мифе дан сценарий нормативной для нашей культуры войны. Не случайно Россия всегда выигрывала войны, в которых он реализовывался: оборонительные и потому справедливые, сплывавшие людей разных сословий, состояний, статусных позиций в единый народ. В критической ситуации миф начинал работать; его энергетика проецировалась на реальность, а та, в свою очередь, подзаряжала его «правдой истории».

Логика мифа просматривается в событиях начала XVII в.; современная к ним апелляция явно не случайна. Вспомним: тотальная и всеобщая Смута закончилась противостоянием внешнему врагу, с нарастанием справедливой, оборонительной, спасительной для народа и потому священной войны. Именно в ней обнаруживается объединяющий, высший смысл; она – против логики Смуты, сильнее ее. Окончание Смуты типологически подобно завершению священной войны: ликвидируется «иноземное иго», (вос)создается государство, (воз)рождаются русская власть и народ как общность, субъект истории. Именно со Смутой (точнее, с патриотическим ее «мотивом») историки связывают окончательное закрепление в русском сознании понятия Отечества¹. И не случайно памятник гр-ну Минину и кн. Пожарскому появляется на Красной площади в Москве после войны 1812 г. (в 1818 г.) как напоминание об имеющемся в русской истории опыте отечественных. Кстати, в этом контексте подвиг Ивана Сусанина из проходного эпизода Смуты превращается в организующее пространство мифа событие². Конечно, мифологический сценарий не реа-

¹ Попутно заметим, что «слово... Родина (в значении “родная страна”) первым начнет употреблять Г.Р. Державин лишь в конце XVIII столетия» (15, с. 203).

² Отмечу странный, на первый взгляд, момент: образ Сусанина типологически и функционально схож с важнейшим для национальной памяти французов образом Жанны д'Арк. «Через» них культура представляет «сценарий» выхода из исторических катастроф – жертвенным служением, подвижничеством и мученической гибелью во имя общего спасения. В этом смысле образ Сусанина выше, значительнее образа «Минина-Пожарского»: они ближе, понятнее, но имеют, скорее, инструментальное значение (отвечают на вопрос

лизовался в Смуту в полной мере; тем не менее «химия» от столкновения мифа культуры с фактом истории возникла. А именно это давало жизнь мифу и очищало, оправдывало реальную жизнь.

С точки зрения логики мифа священной войны в народной культуре оценивались агрессивно-наступательные, экспансионистские эпохи нашей истории. С этих позиций петровский и екатерининский экспансионизм, в целом имперство XVIII – начала XIX в. еще могли быть оправданы идеей возвращения (у завоевателей – шведов, поляков, степных разбойников-крымцев) утраченных прежде территорий (отложенность процесса во времени в данном случае не нарушала целостности и логики мифа). Однако блестящие победы елизаветинских и павловских орлов, александровское участие в антинаполеоновских коалициях – на чужой территории и за чужой интерес – выглядели сомнительными, если не бессмысленными авантюрами¹. Их несправедливость, с точки зрения культурно-мифологической войны, объясняла неудачи и делала несущественными приобретения – особенно в том случае, если в войнах росли не пространства Отечества, а влияние и престиж власти.

Показательно, что агрессивно-наступательный, тщеславный и самоуверенный XVIII век со всеми его военными победами фактически стерся из народной памяти – точнее, не зафиксировался как военно-победоносный. Из военных героев в ней остался, пожалуй, только А.В. Суворов – да и то не как идеальный полководец, а скорее идеалтипический «отец солдатам» и в этом смысле «предтеча» М.И. Кутузова (речь, конечно, идет не о реальной фигуре, а о мифологической роли: главного военного деятеля Отечественной). В трактовке войн народное миропонимание входило в явное противоречие с государственной целесообразностью, государственными задачами.

Конфликт народного и имперско-государственного образов «правильной» войны был преодолен в 1812 г. В той войне, крепко отпечатавшейся в русской памяти, мистическим образом едва ли не «дословно» реализовался мифологический сценарий. *Миф стал реальностью, получив свое название на все времена – Отечественная война: народная, справедливая, победоносная, священная*², связанная с приращением территории и

«как делать?»), тогда как костромской крестьянин несет в себе смысл («что делать?»). Потому это идеальный персонаж русской культуры (как Дева – французской).

¹ Это народное ощущение, кстати, передано в главном мифологическом тексте о священной войне – толстовской эпопее. Мир в ней кончается только с наступлением Отечественной. Всё, что происходит до этого, – бессмысленная военно-царская игра ради игры, пустая и кровавая забава «вождей», культивировавших войну во имя собственного культа.

² Заметим, что категория «священная война», активно использовавшаяся в текстах о 1812 г., взята из лексикона западной культуры. В круге этих материалов тиражировались также метафоры «Россия – Священная империя славянской нации», «Освобождение Европы», русский император – «освободитель народов» (6, с. 216, 217).

мировым (тогдашняя Европа и была всем миром) доминированием. Следует заметить, что при всей своей случайности историческое событие пришлось на время, на удивление подходящее для окончательного утверждения мифа в национальной культуре. В наполеоновскую эпоху созидалась новая Европа: шло активное «государственное строительство», романтизировалась (и «придумывалась») национальная традиция, были заметны первые переживания национальной идентичности. В ходе общеевропейского процесса национального самоутверждения и у нас родилось Отечество – из войны, названной поэтому Отечественной. Вместе с появлением Отечества возникла патриотическая идея, стали складываться технологии ее продвижения.

Благодаря войне миф, лишь нащупанный, угаданный культурой, стал ее фактом и достоянием. *Разрозненные мифообразы сложились в миф национального уровня* – готовый фундамент для здания российской нации. Будучи воспет в литературно-художественной традиции, вершинами которой являются лермонтовское «Бородино» и толстовская «Война и мира», 1812 год и в народное историческое сознание вошел в мифологической форме. Этому способствовал тот факт, что после войны значительно расширился круг текстов, втянутых в поле притяжения мифа.

Современные исследователи считают, что процесс информирования о ходе военной кампании представлял собой не информационное обеспечение общества, а управление сознанием современников. Уже в ходе войны в опоре на опыт наполеоновской Франции «пропагандисты» (см. манифесты А.С. Шишкова, афиши Ф.В. Растопчина, публикации Н.И. Греча и др.) конструировали идеологию народной войны. Однако в послевоенной официальной версии события, созданной при Александре I и Николае I, в качестве коллективного героя фигурировал уже не «единый русский народ», а Российская империя – «наследница Священной империи германской нации». Русские представлялись в официозе неким священным воинством, орудием в «Божьем деле» – войне («великой брани») со «всемирным злом и неверием» (6, с. 160, 161, 168–169). В противовес официозу, представившему версию «наднациональной» священной войны, «определенный сегмент российской элиты интерпретировал... столкновение как борьбу за национальную независимость России» (там же, с. 167, 168). Не все смыслы, появившиеся в интерпретациях 12-го года, были приняты мифом. Главное – было отвергнуто представление о наднациональном характере войны. Отечественная осталась в памяти народа как внутреннее дело, имеющее тем не менее «всемирно-историческое» значение.

В начале XIX в. произошел важнейший, пожалуй, после монголо-татарского нашествия и ига взаимобмен исторического и мифологиче-

ского¹. Реальная история Отечественной «вошла» в миф, найдя в нем живой и непосредственный отклик. *С этого времени миф священной войны, постоянно питаемый множасимися текстами об истории 12-го года, составлял рамку национального восприятия войны вообще.* Этот культурный механизм точно описан Б. Малиновским – правда, в отношении «примитивного» общества: «Миф в том виде, в каком он существует в общине дикарей, т.е. в своей живой примитивной форме, является не просто пересказываемой историей, а переживаемой реальностью... <Она>, как верят туземцы... продолжает оказывать воздействие на мир и человеческие судьбы... Наше священное писание живет в наших обрядах, в нашей морали, руководит нашей верой и управляет нашим поведением; ту же роль играет и миф в жизни дикаря» (42, с. 98). Это описание верно и для общества современного; его во многом направляют мифы национальной культуры.

События 1812–1814 гг. были, с точки зрения мифа, нашей «правильной» войной. Более того, единственно правильной – «первой Отечественной»². Ее сложные «сюжеты» получали в текстах о ней (и благодаря им – в общественных представлениях) «правильное», т.е. соответствующее мифологической логике, объяснение. Пожалуй, самым травматичным военным событием для русского сознания оказалась сдача Москвы – кошмар гибели в пожаре столицы как бы вернулся из времен степных нашествий, Смуты. Травма «снялась» включением мифологической логики. В соответствии с ней событие выглядело как своего рода супержертва во имя победы³. Кроме того, его отчасти компенсировала трактовка решающего

¹ Современники, кстати, видели связь двух вторжений – монгольского и французского: «Отечество станет под игом новых татар», – писал патриотический журнал «Сын Отечества» (цит. по: 6, с. 169). У одного мемуариста известие о появлении французских войск в пределах империи вызвало воспоминание о том, что «Россия была некогда подвластна татарам»; он уже «вообразал себя пленником», и «эта участь устрасала» его (9, с. 172). По аналогии с нападением татар наполеоновская агрессия воспринималась как нашествие – неуклонное, неумолимое, ведущее к установлению «ига»: «Быстрое занятие неприятелем городов внушало опасение, что этот поток ничто не остановит и что он скоро дойдет до нас и поглотит» (там же, с. 173).

² Интересно, что последний всплеск текстов об Отечественной войне пришелся на начало XX в. К столетию 1812 года было собрано и записано немало «передававшихся из поколение в поколение, бытовавших безымянно-устных повествований, близких к историческим преданиям фольклорного типа» (59, с. 63–64). То есть именно этот пласт источников был в значительной степени мифологизирован. Ими транслировалось то представление о войне, которое утвердилось в культуре, став своего рода нормативным. Оно воспроизводилось и в научных исследованиях (см., например: 2 и др.). «Народная», «Отечественная» – так вспоминали о войне 1812 года накануне Первой мировой.

³ Управляющий III Отделением Императорской канцелярии и начальник штаба корпуса жандармов граф А.Х. Бенкендорф вспоминал: «Довольно долго русское общество не желало признавать, что Москву сожгли сами русские: еще в начале 1813 г. большинство было убеждено, что московский пожар – дело рук французов. Но с течением времени... полностью изменило свой взгляд... и французское вандализм превратилось в жертву, принесенную русским народом... для спасения отечества» (цит. по: 27, с. 283).

сражения оборонительной войны как победоносного. Во время войны это сражение, как известно, разочаровало русских. Вот одно из свидетельств: «Бородинский бой, составляющий славу русского оружия, не принес никакой отрады; он не обратил неприятеля назад, а этого-то желало робкое чувство безопасности. Напротив, как последствием его было отступление наших войск, то страх более усилился... Последний способ к защите: генеральное сражение, было дано и не послужило к лучшему» (9, с. 173). Однако в течение всего XIX в. русские стремились переинтерпретировать это событие в безусловную для себя победу. И сейчас в мифологизированной истории 1812 г. Бородино предстает чем-то средним между выигранным и «ничьей».

Ну, и конечно, все искупалось чудом Победы, религиозно-мистическая природа которой противилась, не поддавалась анализу. Классическую формулу этого «чуда» дал Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина»: «Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима, иль русский Бог?» Кстати, здесь наш великий поэт, сам ставший мифом национальной культуре («наше всё»), явно позволил себе вольность, «назначив» героем народной войны немца и отодвинув так подходящего мифу Кутузова. Большинство современников судило иначе. «Неодобрение, даже ропот выражался на Барклая де Толли за отступление армий; его считали изменником, называли французом и утверждали, что сын его служит в армии Наполеона против нас, – свидетельствует житель г. Касимова Рязанской губ., заставший войну мальчиком. – Вот как верны были тогда слухи и мнения. Было всеобщее нетерпеливое желание... чтоб на место Барклая де Толли назначили русского генерала, и особенно смотрели, как на надежный щит, на Багратиона» (9, с. 173).

Тема Барклая как антигероя Отечественной – пожалуй, первое достаточно явное проявление особого механизма: *активизации в массовой культуре в связи с войной мифологемы «внутреннего» (скрытого, тайного) врага – пособника внешнего* (возникла из проработки культурой исторического опыта ига, Смуты). Так объяснялись поражения; им придавался исключительный характер (они не обусловлены самой логикой войны и потому неизбежны, а как бы противоречат ей), а вина за них списывалась с русских и переносилась на «чужих» – даже не внешних врагов, что было бы естественно, а на «своих чужих» (внутренних «немцев»). Такова, видимо, реакция как «низовой», народной, так и «элитарной» традиционалистской культуры на неоднородность социума – сословно-статусную, экономическую, культурную, этническую.

Но вернемся к разговору о победоносно-экспансионистской логике мифа «первой Отечественной». Речь – в реальной войне и историческом мифе – шла о двойной победе над завоевателем: на своей территории и на европейском («чужом», занятом врагом) пространстве. «Освободительный

поход» русской армии 1813–1814 гг. остался в нашей национальной памяти как победоносно-героический и едва ли не романтический исторический эпизод. И не оттого (или не только оттого), что мы «владели» Европой, пытались решать ее судьбу, а потому, что этот опыт дал нам, русским, толчок к осмыслению собственного прошлого и настоящего, требовал «улучшения», преобразования себя. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что история «первой Отечественной» как бы подтверждала мифологическую связь победы над внешним врагом (агрессором) и расширения территории Отечества. Одно неизбежно влекло за собой другое: пространственный рост/державное величие интерпретировалось в культуре как воздаяние за военные жертвы, уничтожение никем прежде не побежденного врага и освобождение порабожденных им народов.

И наконец, следует указать на еще одну связующую линию мифа и истории Отечественной. Тема русской жертвы и неоплаченного долга <Запада>, ведущая в мифологическом сюжете нашествия/ига, соединилась в войне 1812 года и мифе о ней с темой превосходства над врагом, определявшей сюжет победы. Тема превосходства, столь необходимая для идентификационной полноценности образа русского – этого европейского «отстающего», «ученика» Европы, – впервые получила историческое обоснование в XVIII в. (благодаря военным победам Петра, Елизаветы, Екатерины). Но окончательно она подтвердилась историей 1812 г. Изгнание Наполеона и освобождение Европы давали русским повод думать, что их опыт, запечатленный в оригинальной культуре и общем прошлом, более весом и жизнеспособен, чем «европейский». Казалось, тем самым были дискредитированы не французские войска, а сами претензии Запада на лидерство/гегемонию/менторство. Война послужила «доказательством» глубинной правоты («правды») всего строя жизни русского народа¹. Ощущение этого превосходства и этой правды легло в основу новой идентичности, культивировавшей русское – не воспеванием достоинств этноса, а прославлением русской имперскости как милитаристского и культурного проекта.

Война 1812 года, открывшая лучший для русских – XIX – век, указала наш путь «нациостроительства». В отличие от европейского, он милитарный, а не гражданский: через всеобщие сплочение, службу («не за страх, а за совесть», не прислуживаясь) и самоограничение перед лицом внешнего врага. *Нация у нас выходит из горнила войны, пусть и священной; механизмы ее сплочения имеют милитарную природу.* Поэтому интеграция любого рода в России, видимо, невозможна без отсылок к военному опыту, чрезвычайным ситуациям, без актуализации страха внешней

¹ Не случайно, более того, закономерно, что «победа стала основой для официального утверждения легитимирующего мифа о правильности российской монархии и обеспеченного ею социального порядка» (6, с. 223).

агрессии и образа врага. Такой механизм сложился в момент рождения народа/государственности, закрепился в Смуту, сработал в начале XIX в. Однако специфика «первой Отечественной» была в том, что процесс национального самоопределения захватил прежде всего и в основном элиты.

Отечественная начала XIX в. была временем обретения Отечества «верхней», европеизированной субкультурой: появления у ее представителей национального чувства, горделивого осознания себя русскими и создания тем самым условий для роста из нее гражданского общества¹. *В 12-м году в России появилась национальная элита – еще до рождения нации.* Это не просто особенность русского «нациостроения», но его изъясн. Народ в войне получил лишь первое впечатление, первый опыт национального единения, который фактически не был отрефлектирован. Тогда еще не существовало массовых средств внесения этого опыта в народное сознание и его фиксации². Возможности церковной проповеди и народного творчества были в этом смысле ограничены. Но главное – отсутствовали внутренняя готовность принять этот опыт, способность выработать на

¹ В.О. Ключевский отмечал важную перемену, «совершившуюся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась... в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Ключевский называет это «настроением... поколения, которое сделало 14 декабря» (33, с. 420).

² Хотя попытки такого рода предпринимались уже во время войны. В «Сыне Отечества», например, для «обращения к простонародью» использовались возможности фольклорной речи и сатирических картинок. Военные истории «стилизовались под народные былины или сказания, сопровождалась а-ля лубочными иллюстрациями» (6, с. 160, 161). Существенно, что в текстах о 1812 г. «простонародье» (крестьяне и городские низы) не просто стало «видимым», оно и олицетворяло «истинно, подлинно, природно русского», весь сражающийся русский народ. Так образованные «верхи» пытались «снять остроту социального непонимания, тлеющего внутри отечественной культуры и препятствующего порождению всенародного и всеословного единства». Образ народного героя, описанный в категории крестьянской эстетики, являлся «манifestацией общей культурной идентичности «верхов» и «низов», «демонстрировал готовность элит общаться с социальными «иными» как с «себе подобными» (там же, с. 190, 195, 209). Правда, после войны, еще при Александре и особенно при Николае I, власть приостановила демократизацию памяти о ней (это, кстати, отличало Россию от Европы). Обобщенный образ героя войны был представлен, например, в Военной галерее Зимнего дворца – как священного воинства (там же, с. 220, 222, 223), своего рода сообщества избранных. Однако военное «послание» «верхов» о своей общности с народом получило живой и активный отклик «низовой» культуры. Так, в военном лубке, испытывавшем после войны 1812 г. бурный расцвет, обыгрывались (в «опрошенной», доступной народу форме) те же значения, что и в «Сыне Отечества» – о «народной победе»; о том, что «русская культура выше дьявольского зла» и т.п. В массовой развлекательной культуре военным героем стал человек из народа («вооруженные колымаги и вилами старостики василисы и их дочери, деревенские мужики, старики и дети») (там же, с. 254, 258–260). На этой проекции исторической реальности базировались представления о войне 1812 года как о всенародном деле, возобладавшем в общественном сознании.

его основе национальное самосознание, которые даются просвещением, долгой культурной работой, а также практикой свободной самореализации, самоощущением свободного человека.

Тем не менее война вызвала важные изменения и в народном (крестьянском) мироощущении. 12-й год напитал новой живительной силой «старомосковскую» народную веру в царя – защитника и заступника/покровителя, укрепив традиционную ментальную основу отношений массы народонаселения и власти. Снимались сомнения в народном характере верховной власти, порожденные петровскими новациями, всем «дворянским» (иными словами, «антикрестьянским») XVIII в. Из священной войны царская власть вышла как бы очищенной от неправд, «исправленной», а потому служба и покорность ей получали высшее обоснование. Крестьянская Россия и царь вновь слились в народном мировоззрении. *В победоносной Отечественной 1812 года – народная легитимация романовской империи; ею был поставлен крест на пугачевщине.* Эта символическая основа властенародного единства, стабилизировавшая общественный порядок, стала разрушаться только в ходе тиктанического социального сдвига последней трети XIX – начала XX в.

Парадоксальным образом из Отечественной вышел также могильщик монархии (как оказалось, и империи), получивший в войне эмансипационный заряд, необходимый для самоопределения. *С 12-го года начинается отсчет самостоятельного бытия элит, точнее их инобытия* – они внутренне освободились *от* (породившей их когда-то) *власти*. Ощувив свою отдельность от власти, разделив в сознании ее и Отечество, сделав антивластность основой собственной идентичности, элиты (для начала XX в. уместно объединять их термином «интеллигенция», но при этом следует понимать, что это не только «отщепенцы» «общественники» и «художественники», но и административно-управленческая, бизнес, военная и т.п. элита) вступили на путь, который привел к Февралю 17-го. Первой вехой на этом пути была попытка антидворцового – не дворцового, заметьте – переворота декабристов (или антисамодержавная революция дворянской аристократии).

Рождение нового мира: от «войны империалистической» – к войне гражданской

XIX век для России во многом был определен Отечественной войной, но вовсе не исчерпывался ею. В символическом универсуме «развитой империи» она не заняла того места, которое получила война 1941–1945 гг. в советском. Это свидетельствует о том, что Россия, вышедшая из 1812 г., не была сосредоточена исключительно на чрезвычайщине, военном интересе; зажила гражданской жизнью, занялась внутрен-

ним обустройством. Фактически век закончился для нее в 1914 г. – новой большой (европейской) войной. Сложись она по сценарию Отечественной, Россия имела все шансы выйти из нее гражданской нацией – одной из европейских. Но она вывалилась в Гражданскую войну – и до сих пор, считая ее проигранной, не желает о ней вспоминать. Первая мировая – наша забытая война. Кажется, что забвением и версией проигрыша прикрываются ущербность, «неправда» произошедшего, ощущаемые подсознательно.

Несмотря на патриотический подъем первых дней, Первая мировая изначально воспринималась народом как «непонятная» (за что, зачем воюем?). При этом, как указывают исследователи, в традиционном крестьянском сознании и в начале XX в. существовал сакрализованный «жертвенный» образ войны, что делало его восприимчивым к национал-патриотической идеологии (58, с. 417, 425, 433). В традиционном восприятии, в архетипах крестьянского сознания война прочитывалась с позиций жертвенного служения «Царю и Отечеству и святой нашей Руси». При этом согласие не жалеть «живота своего» в соответствии с традиционными представлениями о справедливом мироустройстве уравновешивалось ожиданием «забот» и «милостей», а главное – особой царской «награды» «за понесенные жертвы» («черного передела», по которому «вся земля» станет крестьянской). В войне крестьяне-солдаты традиционно видели и «очищающее» начало: ведь интересы защиты Отечества требовали преодоления внутренней розни, восстановления социального единства, исправления нравственности (там же, с. 385, 433). Война представлялась временем возрождения и укрепления привычных, традиционных основ жизни, разрушавшихся модернизационными процессами. *В войну, в идеале, сметались все «неправды», накопившиеся в эпоху мира.* Критическое несовпадение ожиданий и военных реалий было одним из двигателей общей смуты, традиционалистской крестьянской революции.

Первая мировая оказалась «неправильной», с точки зрения мифологизированного сознания простого человека, войной, и закончилась она неправильно. В ней сработал «закон» перерастания неудачной Отечественной в социальную. В этом смысле она перекликается с историей начала XVII в.: тогда Смута, расстроившую весь русский мир, «прикончила» удача Отечественной (в данном случае определение, конечно, условно); в начале XX в. Отечественная не удалась и началась Гражданская. Заметим, и в ней был элемент отечественной оборонительной, что придавало особый смысл ленинскому призыву «Все на защиту <социалистического> Отечества!»¹. Но борьба с интервенцией не выделилась и не стала смыслоопре-

¹ Особое значение в этом смысле имела советско-польская война 1920 г. Польское вторжение на Украину вызвало в Советской России взрыв патриотизма. Ленинская партия, преследовавшая и высмеивавшая лозунг «патриотизма» как буржуазный, взяла его на вооружение весной 1920 г. 29 апреля ЦК РКП(б) обратился с призывом защищать Советскую

деляющей в событиях 1918–1922 гг., а логично вписалась в социальную войну. Связь же «белых» с интервентами послужила веским основанием для того, чтобы записать их во враги. В большевистско-народной интерпретации они даже дважды враги: «классовые» и «пособники» внешнего врага.

И все же главный вопрос – почему в 1914 г. не удалась Отечественная? – до сих пор остается без ответа. Ведь тогда уже появились технологии и стратегии массового информирования, велась – и весьма активно – соответствующая пропаганда. Кстати, главным в пропагандистской кампании было определение, данное войне, – Отечественная. Это вносило (или должно было внести) определенный смысл в происходящее, создавало массовый настрой на жертвенную защиту Отечества. Не случайно уже в первые военные дни в прессе появились отсылки к текстам о войне 1812 года, в значительной степени мифологизированным (дело, напомним, облегчалось тем, что буквально накануне Первой мировой страна отметила 100-летний юбилей «первой Отечественной»).

На мой взгляд, причины неудачи среди прочего следует искать в мифологической области, в особенностях массового восприятия той войны (как сознательного, так и интуитивного). *Статус Отечественной в массовом российском сознании не могли получить (и не получали) войны, в которых отсутствовали мифологические сюжетные линии* – прежде всего сюжет нашествия, дававший ясное ощущение того, что наступила «решительная минута для Отечества» (формула начала XIX в.). Этого сюжета не было ни в большой войне 1914 г., ни в последующих «маленьких» войнах XX в. (начиная с финской и заканчивая афганской). Видимо, во многом поэтому они не стали для нас победоносными, о них почти не помнят. Без нашествия не возникало ощущения справедливости, а значит моральной оправданности войны, чрезвычайно важного для массового сознания. В отсутствии убежденности в правде войны не возникало то высокое напряжение, которое способно разрядиться в героическо-жертвенном, наступательном порыве – «убей врага!»; «все для фронта, все для победы!». Без этого не могла «заработать» магическая формула победоносной народной войны за Отечество: «Наше дело правое; враг будет разбит; победа будет за нами!».

В Феврале 17-го с уничтожением царской власти, которая для солдата-крестьянина только и делала осмысленной военную службу, Первая

Республику не только к «рабочим и крестьянам», но и к «уважаемым гражданам России». На некоторое время было воскрешено понятие – Россия, которое революция объявила уничтоженным. ЦК напомнил в Обращении о вековой польско-русской вражде, о других вторжениях – 1612, 1812, 1914 гг. и выразил уверенность, что «уважаемые граждане» не позволят польским панам навязать свою волю русскому народу (8, с. 89). «Патриотическая тревога» впервые объединила красных и белых – родина была в опасности.

мировая для народа России закончилась. Все остальное – история про «разложение фронта» (с нее стартовал у нас «век масс»). На первый план для солдатско-рабоче-крестьянской страны вышла другая, невоенная проблема – социальной справедливости, чрезвычайно важная для бедного социума с традиционно иерархическим устройством¹. *Народная* – городская и общинная – *революция была попыткой через социальную войну, т.е. милитарным способом, чрезвычайными методами, решить гражданскую проблему*. И вот здесь, казалось, все удалось: в гражданской красно-зеленые одолели белых – своих «немцев», «буржуев», «кровопийцев»². Произошла своеобразная *подмена одной победы другой*: народ не победил внешнего врага в «империалистической», но одержал верх над внутренним в гражданской. И способствовал утверждению у власти в стране (т.е. над собою) тех, кто на уровне государственной политики оправдал уничтожение этого внутреннего и организовал на борьбу с ним, – большевиков.

Первоисточником нашего массового (т.е. советского) общества оказались две войны – неудавшаяся Отечественная и Гражданская. А одним из решающих обстоятельств его формирования стало следующее: *тема врага сплелась в нем с проблемной социальной справедливости*. Уничтожение темы, т.е. не только реального врага, но и самой «почвы» для его появления, понималось как условие решения проблемы. Причем враг определялся по принципу не классовой, а социально-культурной чуждости.

¹ Под социальной справедливостью крестьянско-солдатские массы понимали всеобщее социальное (без статусов и иерархий) и имущественное равенство, «равномерное» распределение государством материальных благ, ограничение государственного насилия (в том числе податного/налогового бремени) над недвижимым большинством, репрессирование государством имущего меньшинства (и справедливое, т.е. поровну, перераспределение его «наследия»), снятие с человека внешних ограничений и обязательств (прежде всего формально-юридических), его «вольную» самореализацию (см.: 30, с. 104–129, 195, 198, 204–205). В революции и гражданской войне носители традиционного сознания пытались реализовать эгалитарный идеал. Причем субъектом такой реализации считали государство/власть, персонифицированных в «добром» начальстве (категория, скорее, воображаемая – из разряда вечно ожидаемого). Оно противопоставлялось начальству «злomu», выстраивавшему несправедливое общество (см. об этом: там же, с. 125). «Злым» после ухода самодержавия и ликвидации его репрессивно-принудительного аппарата стало начальство царских времен – его громили. «Добрым» считали новое, большевистское – пока оно одобряло погром. Но и потом большевики, особенно при Сталине, делали много такого, что давало простому народу основание не только проклинать их как «людоедов», но и воспевать за справедливое устройство мира.

² К концу Первой мировой главным врагом для солдатско-крестьянской массы стали внутренний «немец», «начальство», «офицер», «спекулянт», «тыловой» (даже свой, деревенский). В течение 1917 г. (в том числе с помощью большевиков) все враждебные крестьянину/солдату силы персонифицировались в образе «буржуя»/барина (см.: 58, с. 420, 434–439, 480–485). Апелляция к внутреннему «врагу» и его конкретизация («враги» – все, кто персонифицирует «старый мир») явились средством социальной мобилизации, двигателем Гражданской войны.

Этот образ мыслей (и тип «мироделания») торжествовал в Гражданскую войну, что понятно – на то она и гражданская. Но и с ее окончанием не был преодолен, потому что не только не преодолевался, но пестовался, поощрялся, воспитывался. И тем больше определял собой символическую политику, советскую пропаганду, чем понятнее становилось (всем – и массам, и новой власти), что в социальной практике он не работает.

В мирные 1920-е эйфория от победы над «классовым» врагом (иначе говоря, от удавшейся Гражданской) сменилась непониманием, разочарованием, апатией – общества социальной справедливости с его (врага) уничтожением не возникло (см. об этом, например: 30, с. 118–123). Социум 20-х годов отличали политическая апатия, подавленность нуждой, усталость от ожидания перемен. Он (в массе своей) не принимал обозначившегося социального расслоения (появления «новых советских»), остро реагировал на экономические кризисы и «болезни» нэпа (например, безработицу) (там же, с. 134). То было время массовых сомнений: а что, если ошиблись? Может, следовало оставить все, как было? Заметьте, такие сомнения настигли нас и в 1990-е – результатом стала массовая ностальгия по советскому. Совсем не случайно в 20-е уцелевшие «враги» за границами советской республики заговорили о возможностях реставрации имперского перерождения режима и т.п.

«Коренной перелом»: от перманентной гражданской – к Отечественной

Не поставь Советская власть предел этим сомнениям, ее не стало бы – в прежнем виде, в прежних лицах. Она и поставила, предложив конкретную программу построения идеального мира (индустриализация–коллективизация–культурная революция, но не по-ленински, а по-сталински¹), заговорив об истории (своими, конечно, словами¹) и вернувшись к

¹ Сталин действовал в принципиально иных, чем Ленин, условиях (но он, безусловно, «Ленин сегодня») – и в этом мера ленинской ответственности за то, что произошло в стране после него). К концу 20-х завершилась «революция во власти»: если сталинский «поворот» («отступление» и т.п.) и можно считать «Гермидором», то только по отношению к «элитам». Поселенинская советская власть – ее конструкция, лица, стратегия, порождаемая ею атмосфера – определилась. И пошла в наступление на социум, «взяв» его в «перделку». Социальная революция продолжилась. В ее ходе примитивными (т.е. насильственными) методами менялась традиционная (и очень устойчивая) структура социальности. Коллективизацией был сломан хребет крестьянству – как главной силе революции 1917–1918 гг. и традиционалистскому большинству общества. (Знаменательно, что, работая над «Кратким курсом», Сталин определил коллективизацию как «революцию сверху»: «Это был глубочайший революционный переворот, скачок от старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначный по своим последствиям революционному перевороту в Октябре 1917 г.» (цит. по: 43, с. 254).) Кроме того, она служила необходимым условием и источником индустриализации. Индустриализация –

вражеской теме. Идеал в общих чертах обрисовывал перспективы, в рамках исторического проекта моделировалось прошлое, а враг стал настоящим для каждого советского человека. *Теперь вражеская тема предлагалась не как временная, а как местная: гражданская – на все времена.* Объяснение было вполне доступно и приемлемо для масс. Цели не достигли не потому, что выбрали неверный путь (вопрос о недостижимости абсолюта и жизненности относительностей – простенький, в общем, вопросик – не ставился вовсе), а потому, что недоработали по средствам: не добились. Массы, в общем-то, и сами так думали (см., например: 30, с. 106–109, 205, 208–209, 221–223, 228–229, 262–264)², только не подозревали, кого им теперь назначат во враги.

того что была милитарной, ограниченной в социально-производительном отношении – имела характер «штурмовой», т.е. чрезвычайный, чрезмерный, обеспечивалась преимущественно принудительным (в том числе рабским) трудом. Культурная же революция предполагала не только полную замену «культурного общественного элемента», но и снабжение «новых спецов» идеологически профильтрованным, усеченным и упрощенным, «правильным» (с точки зрения режима) знанием. Советская интеллигенция должна была стать безопасной для власти (режимной). В ходе такой «перedelки» родился советский, т.е. смоделированный сталинской властью и на нее централизованный, человек.

¹ Существование этих «разговоров» очень точно определили М. Геллер и А. Некрич: «История в наивысшей степени сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего – память, история». Обращение к прошлому в 1930-е было подчинено очередным властным задачам – укоренения в данном социальном и геополитическом пространстве и его «переработки». Сталин, подчеркивают Геллер и Некрич, «не может – возможно, и не хочет – быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время когда он – строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков – русских князей и царей – собирателей и строителей могучего государства. После 1934 г. Сталин, а за ним все советские историки, перестают говорить о том, что Россию «все били». Начинают говорить о том, что она всех била... История России, которая после 1917 г. пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, начинает пересматриваться с точки зрения борьбы за создание сильного государства. В центре остается народ: но у Покровского он хотел освобождения, у Сталина он хочет сильной власти» (8, с. 5, 260–261). При этом эксплуатировалась внеисторичность массового, т.е. по преимуществу крестьянского сознания.

² Интересно, что в ходе революции и Гражданской войны со всей очевидностью выявилось (помимо прочих) глубочайшее, антагонистическое противоречие между городом и деревней, существовавшее в массовом сознании (30, с. 126–128). Его основа – подозрения в преимуществах и «незаслуженных» выгодах, т.е. в неравномерном распределении тягот и благ между горожанами (рабочими) и крестьянством, что противоречило традиционному идеалу социальной справедливости. Поэтому «город» согласился на коллективизацию и стал инструментом уничтожения крестьянства, а крестьяне, массово пойдя в города (став «ходоками»/«беженцами»), «задавили» «городских», уничтожив стиль, нормы, структуры дореволюционной городской жизни. Следствием этого стала, как точно заметил А.С. Ахиезер, не урбанизация и «интеллектуализация деревни», а «деревенизация» города (4, с. 577).

На такое социальное строительство потребен был свой вождь – и он во власти нашелся. Сталинский личный задвиг на врагах, вредивших ему, мешавших движению наверх, к вершине – абсолютной власти (в революционности будущего вождя ощущается не только преступно-криминальный дух, но и «старорежимность»: он серьезно относился к карьере, иерархии, да и революцию, видимо, полагал лишь сменой иерархий), наложил на социальный вызов. И страшно срезонировал. Дело в данном случае даже не в репрессиях – это тема не «окончательного» подсчета жертв и их процентовки к пострадавшим, а общественной морали и национального самосохранения, выбора модели развития («народосберегающей» или народозатратной)¹. Главным в нашем социалистическо-террористическом прошлом было то, что советский человек десятилетиями воспитывался страхом и ненавистью к «враждебному окружению». А оно было не только вне его, хотя тема внешнего врага и являлась одной из центральных для советского режима все время его существования.

Сталинская власть (народно-антинародный террорист-строитель, служивший только себе даже тогда, когда вставал на защиту национальных интересов) всю страну воспринимала как потенциального врага, как свое враждебное окружение. И с параноидальной периодичностью выбирала из него жертв, которых называла врагами, а потом «выдавала» народу, чтобы тоже поучаствовал в борьбе². Всеобщее же участие (по принципу «народной расправы») всех превращало в потенциальных врагов и враждебное окружение – самим себе. «Я» как народ и потенциальный враг народа – такое самоощущение вело к раздвоению личности и коллективной паранойе. А ведь все еще были и строителями – героями и энтузиастами – нового, прежде невиданного и потому воображавшегося прекрасным мира. И идейными борцами с врагами – «бешеными собаками», «гнусными подонками», «наймитами мирового капитализма»...

¹ Когда-то С.М. Соловьев, имея в виду грозненский «порядок» и «смутные» времена, писал: «Вредное влияние на народную нравственность оказывали дела насилия, совершавшиеся в обширных размерах: человек привыкал к случаям насилий, грабежа, смертоубийства – привычка пагубная, ибо ужасное становилось для него более не ужасным» (54, с. 128–132). Массовый террор и в сталинские времена воспринимался не как ужас, но ежедневное, бытовое, обыденное действие, которое, если оно не коснулось тебя лично, можно было не принимать во внимание. Только с преодолением этой пагубной привычки возможен выбор тех «народосберегающих» путей, где определяющим ориентиром является ценность человеческой жизни (причем вовсе не для власти, а для этого самого человека), а не какие-то внешние (пусть даже высшие) цели, для достижения которых все средства (в том числе и жизнь) оправданы.

² Назначать врагом (а также героем, святым и т.п.) – это традиционная привилегия русской верховной власти и ресурс ее легитимности. Искать же врагов (как вне, так и внутри себя) – традиционный народный способ восполнения внутренних недостатков, дефицитов, объяснения национальных неудач.

В порядке, искавшем справедливости в гражданской войне, не было правды, а для человека инстинктивное ощущение оправданности – в том числе моральной – социального порядка, видимо, все же необходимо. Точнее, была правда режима – он *так* выжил, *так* существовал. И решал поставленные перед собой задачи – с ужасающей и неотвратимой последовательностью строил свой, новый мир. Утопия Царства Справедливости, религиозно-мистическая в своей основе, реализовалась в 1930-е в форме массового террора, имевшего, помимо прочего, и уравнилельный смысл¹. Справедливость была достигнута – так, как только и могло быть в рамках *такого* режима: всеобщее равенство в бесправии, беззащитности и страхе перед государственной репрессией и относительное равенство в распределении. Созданные системой потребительские преимущества «элит» понимались народом как наследственная «ложь» русских систем – и царской, и советской (см. об этом, например: 30, с. 177–182), а кроме того, компенсировались перманентным тотальным террором против них верховной власти. Искоренение «лжи» (путем уничтожения ее «носителей» – ненавистного «боярства», «сильных», «привластных», «чиновных» людей отчасти оправдывало (и оправдывает сейчас) сталинскую систему в глазах социального большинства.

Но осмысленности существования – какой-то высшей, не связанной только с социально-ущербной, всеупрощающей прагматикой режима, сделавшего ставку на апелляцию к темным сторонам народной ментальности, – человеку, людям, народу порядок 1930-х не давал. А выхода из него – и в прямом смысле слова: за границы системы – не было. Сталинский режим вогнал свой народ в крайне болезненный алгоритм существования, навязав всем и каждому чудовищный синтез социальных ролей: строитель/герой – обвинитель/палач – враг/жертва. При этом постоянно менял ориентиры: кто вчера герой – завтра враг, а послезавтра может опять стать героем (последнее, правда, – лишь исключение из правила); что вчера было единственно верным, завтра становилось ложным. И т.д. Каждое сегодня требовало отречения от вчера и завтра.

¹ Террор подравнивал общество не только в потребительском, материально-имущественном отношении, но – и это важнее всего – тем, что ликвидировал «социальные слои, которые несовместимы с социальной однородностью» (4, с. 419). *Государственный террор* обеспечивал социальное и имущественное равенство, а потому *понимался массами как инструмент осуществления социальной справедливости*. Тем более что сами массы не представляли движения к справедливости без применения насилия. Как показывают «письма во власть» 1920-х годов, «справедливость мыслилась недостижимой без известной доли насилия по отношению к имущим классам и защитникам их интересов» (30, с. 198). Когда-то обнаружив начала справедливости в войне, вызванной ею всеобщей государственной службе, народ зафиксировал это впечатление в культуре. В момент коренного перелома своей судьбы там, в глубинных основаниях культуры, он находил «рецепты» переустройства.

Единственная работающая в таких условиях стратегия выживания – даже не уйти в личное (это ведь не пространство приватности, а тоже «враждебное окружение»), но отключиться, не думать, не помнить, не знать, отказаться от всяких – прежде всего идейных, ценностных, нравственных – ориентиров. Жить по принципу: человек человеку – враг; каждый сам за себя (и по себе); не верь никому – даже себе; кто не с нами – тот против нас. И привыкнув к этому, чувствовать себя нормально. Об этой внутренней перекодировке ненормального в норму см: Дж. Оруэлл «1984». Не надо обманываться тем, что это только литература; в реальности – было еще страшнее. Парадоксальным образом стратегия «самоисключения», которая вела к «атомизации» социума, обеспечивала стабильность режима. Ему легко было иметь дело с человеком, ее практиковавшим. Благодаря этому режим получал возможность монопольно предлагать и контролировать основные практики социального взаимодействия, формируя советского человека как общественный тип. В этих условиях не могла возникнуть солидарность – основа для активного сопротивления режиму (даже в ситуациях активного и массового с ним несогласия, а повседневная репрессивность вызывала такую самосохраняющую социальную реакцию). Появились лишь привычка подчиняться, установка на согласие, которые со временем перестали нуждаться в подкреплении репрессией.

Отечественная остановила перманентную гражданскую. На неправде войны с внутренним врагом (т.е. врагом в себе, с собой как врагом) поставила крест правда противостояния внешнему. Отечественная стала своего рода историческим оправданием нового режима, новой страны. Она дала им будущее, став их дорогой в нормальную жизнь. Это парадоксально с точки зрения обычной человеческой логики, но вполне соответствуют российским историческому опыту, традиции, культуре.

Режим и вождь в народной войне: от «маленькой победоносной» до Отечественной

Войны, как и всякие (особенно самые важные) события в жизни, начинаются совсем не так, как ожидают. Произносятся слова о неизбежности войны, формируя атмосферу «предвоенности», люди, как правило, не верят, что война может стать реальностью. Даже политикам свойственно недооценивать риски, совершать ошибки. Любая война, особенно просчитанная и предсказанная, оказывается в той или иной мере неожиданной и внезапной. Для нашей же страны «вероломное нападение» – пожалуй, классический случай начала войны. Так и начинаются в России Отечественные. И все же 22 июня 1941 г. является вопиющим примером всеобщей

растерянности и распада в ситуации, «под» которую годами «затачивали» страну.

То, как СССР встретил войну, во многом, как мне кажется, объясняется природой сталинского режима. О нем, конечно, можно сказать много, но мою тему определяет одно. Живя войной и с войны, конструируя реальность в милитарных категориях, он внутренне не был готов к противостоянию с реальным врагом. При всех своих ужасающей жестокости и диком прагматизме, умении ставить и решать большие задачи (от Великих строек до Большого террора), режим 1930-х – начала 1940-х был насковзь иллюзорен: являлся фабрикой социальных грез, производя иллюзии и заставляя все население участвовать в их распространении¹. Это лучше всего демонстрирует культивировавшийся в те годы образ войны. Людям годами навязывалось сознание того, что страна обречена на войну («война на пороге» – советское предвоенное клише). Подготовка к этому неизбежному испытанию – одно из главных оснований легитимности режима. И он действительно готовился воевать, но явно не планировал Отечественной. Поразительно, насколько безответственно несерьезный, облегченный, опереточный образ войны предлагал ее будущим участникам тот, кто их к ней вел: «победоносная война» «малой кровью» «на вражеской территории»².

¹ Эти «грезы» (т.е. тиражные творения социальных конструкторов-соцреалистов) суть самоописания, самопредставления системы. Между ними и реальностью был, конечно, гигантский зазор. Но в том, как система себя описывала, проявлялось ее существо. Она выживала, производя двойную реальность, транслируя идеальные образы себя (фиксировали, какими должны быть народ, власть, их ценности и быт). Использовала для этого как настоящее, растворяя в нем социальные ожидания и проекты будущего (сталинское сегодня – это реализовавшееся завтра, «светлый путь», который уже привел к желанной цели, победа социализма «в основном»), так и прошлое («нужные» режиму образы «вчера» суть идеальная модель и «историческое обоснование» дня сегодняшнего). В «совершенно искусственном, воображаемом сюжетном пространстве» «действовали условия, невидимые, скрытые враги и герои, возникали смертельные угрозы всему целому и избавления от них. Но весь этот мир был принципиально непроверяем, неподконтролен частному опыту, поскольку... держался на непреодолимом разрыве между планом коллективных событий и повседневной жизнью» (12, с. 614). В послесталинское время народная вера в образы и стремление рассматривать действительность сквозь их призму сменяются ответным «производством» социальных «двойников». Двоемыслие, двойные экономика (реальная и «теневая») и культура (официальная и «запрещенная») и т.п. особенно пышно расцвели в брежневском СССР.

² Маяковский об образе А.С. Пушкина в фильме «Поэт и царь» (1927) сказал, что это потрафление самому пошлому представлению о поэте, которое только может быть у самых пошлых людей. Так же можно характеризовать сталинскую «двоенную войну» – это самый пошлый образ войны, возникший в воображении самых пошлых людей. Он не предупреждал о реалиях войны, которая уже велась в Европе; противоречил природе режима, ни в чем не обходившегося малой кровью. Современная война представала в нем чем-то вроде экранной битвы русских богатырей с Коцеєм Бессмертным или воинством «злого Тугарина». Изобрести этот унизиельно оболванивающий, отупляющий образ могли только те, кто абсолютно не доверял своему народу.

Людей настраивали не на реальную, а на иллюзорную, «экранную», «постановочную» войну¹. А в 39-м ее вообще «отменили» – внезапно, вдруг, без объяснения причин: союз с Германией. Главный враг исчез – остались навязанная пропагандой уверенность в интернационализме и солидарности с СССР немецкого рабочего, а также вполне понятные недоумение и вопросы у рабочего (и не только) советского, гасившиеся внутренней самоцензурой². Зимой 1939–1940 гг. провели – и для массового «зрителя» вполне успешно – репетицию «маленькой победоносной войны». Все как-то совпало с 60-летним юбилеем товарища Сталина³. Атмосфера праздника укрепляла уверенность советских людей в светлом будущем. Начало Второй мировой, по существу, игнорировалось. *Завороженный иллюзиями режима, СССР не заметил реальности истории*. Жил как бы в параллельном времени, в другой действительности.

И этот импульс – отключиться от реальности – явно шел от вождя. Система, сведенная к одному человеку (Творцу – в том смысле, что он и являлся ее Истиной), была исключительно чувствительна к его представлениям, настроениям, анализам и прогнозам, решениям, кадровой политике. Это неизбежно и естественно – он так ее и творил: для и под себя. В 30-е в своей стране вождь шел от победы к победе, отчего наступило своего рода «головокружение от успехов». Будущее виделось ему в проекции прошлого – без поражений. Это касалось и «большой» (внешней) политики, и войны.

¹ Не случайно главным инструментом продвижения образа в массы являлся киноэкранный. По мнению исследователей, кино тех лет, «предвоенный сталинский киноэкран сливался с действительностью, замещал ее... Сознательно высветленное и тщательно профильтрованное киноизображение своей исконной документальностью и убеждающей фактографичностью уверяло, что “жить стало лучше, жить стало веселее” (Сталин)». В рамки «экрана-праздника» 1930-х легко вписалось кино «оборонной тематики». Даже в первые месяцы войны «на киноэкране продолжалась военная игра, где деревенские старушки и дети разоблачали переодетых германских шпионов, в оккупированных городах Восточной Европы действовало мощное подпольное Сопротивление, а в любом фронтовом поединке советский боец легко побеждал неловкого врага» (28, с. 379, 380). Исключение составял, пожалуй, только «Невский» (с его «Вставайте, люди русские!»), но он «заработал» во всю силу уже во время настоящей войны.

² «Советские граждане, – как точно подметили современные исследователи сталинизма, – выработали тонкое искусство укрывать свои частные сомнения или свою внутреннюю сущность за публичным фасадом конформизма. Еще больше людей просто не разбирались в своих позициях» (31, с. 81).

³ Юбилей, как известно, был значительной вехой на пути роста сталинского культа. Некоторые исследователи считают даже, что культ стал складываться только в конце 1940 г., и объясняют это не влиянием террора, а аннексией государств Балтии (см.: 31, с. 128). Это интересное наблюдение: личный культ персонификатора в России базируется на пространственном расширении, имперской мощи. Здесь даже террор имеет вспомогательное значение.

Утвердившись у власти и строя свой порядок на разжигании гражданской, Сталин, видимо, полагал, что способен на столь же успешное управление европейскими конфликтами, режиссирование европейской войны. Кстати, он мыслил ее по известному ему примеру – Первой мировой; вероятно, хотел имперского реванша, наказания победителей (они же: интервенты) – и руками Гитлера, и вместе с ним (в форме «анти-Антанты–2»: советско-германского или советско-итало-германского блока). В «перманентной» войне Сталин явно видел больше пользы, чем в ленинско-троцкистских безумиях – всемирной, «перманентной» и т.п. революции. Образ (как и практика) войны «малой» были рассчитаны в основном на внутреннее потребление. Представляется, что наш вождь был так же захвачен идеей передела мира в новой большой (мировой) войне, как и немецкий¹. Вот только война – всерьез, не по «периметру», а с другими претендентами на мировое господство – виделась ему в 1930-е отдаленной перспективой. СССР должен был провоцировать, пользоваться плодами, «наращивать мощь», но не участвовать. Иначе политика Сталина (и внутренняя и внешняя) кануна войны (1936–1941) необъяснима, не имеет внутренней логики. Вождь решил, что время еще есть, и люди, страны, история должны были ему подчиниться. Ведь научилась же соответствовать его представлениям о действительности его страна.

¹ При этом для Сталина союз с Германией был явно предпочтительнее войны с нею. Причина – не только в близости природы режимов (антидемократичности, репрессивности, милитарности, популизме) и их лидеров (типа лидерства). Сталин видел сходство в задачах и потенциалах двух стран. Так, в убийстве Рема и других штурмовиков он усматривал окончание «партийного» периода в истории немецкого национал-социализма и начало «государственного» (31, с. 320). Вероятно, тем же был для него 1937 г. А после войны Сталин отмечал, что германский и советский народы «обладают наибольшими потенциальными в Европе для свершения больших акций мирового значения» (цит. по: 8, с. 453). Действительно, обладали – один развязал мировую войну, другой его победил. Такие потенциалы, как, вероятнее всего, считал Сталин, следует объединять, – и весь мир будет в кармане. Собственно, советский вождь поучаствовал во Второй мировой вместе с Германией, как и предполагал, вполне успешно. И союзничал бы дальше, если бы не Гитлер с его стремлением расширить «жизненное» пространство для немцев и презрением к славянским народам как «расово неполноценным» (антикоммунизм здесь, скорее, элемент политики по «решению еврейского вопроса» – борьба с «жидобольшевизмом»). Гитлер сорвал сталинские планы, а вождь тяжело мирился с личными поражениями. Поэтому так сдал в первые дни войны. Однако, надо отметить, что, будучи заинтересован в союзе с Германией, Сталин не был честным союзником. Он прежде всего не желал, чтобы в мире и особенно в СССР его идентифицировали с Гитлером. Даже втянувшись в мировую войну, сталинское руководство делало все, чтобы оправдать агрессию, не выглядеть агрессором в глазах советского народа. Советская пропаганда представила вторжение в Польшу («освободительным походом»), братской помощью украинцам и белорусам, которым «угрожает Германия». Такая позиция союзника была явно неприятна, если не оскорбительна для Гитлера. Собственно, два вождя стояли друг друга – союзничая, предавали и, предавая, союзничали; в этом смысле их игра была равна.

Тем ужаснее для СССР и Сталина была катастрофа 41-го года. Показательно, что, пока страна умирала, попадала в плен, оккупацию, страдала от бомбежек и не могла поверить в происходящее, «ее все» («ум, честь и совесть») просто исчез – из публичного пространства, которое до того никогда не покидал и всегда центрировал на себя¹. «Хитрый режиссер собственной славы, Сталин спрятался в дни поражений. Он появится лишь после Сталинградской битвы» (28, с. 379–380), – указывает исследователь. Справедливости ради заметим, что это не единственный национальный лидер, ушедший в «тень» на первом этапе Отечественной. Стратегию самоизоляции избрал во времена поражений 1812 г. Александр I, причем ее исследовательское объяснение – ожидание Божьего суда² – представляется по меньшей мере неполным. Личные вера, мистицизм, страх и отчаяние персонификатора – дело второстепенное; главное в том, что военных поражений не терпит русская власть. И это «ощущение»/опасность – иного порядка, чем нетерпимость к ним любой другой власти.

Нашей власти поражения противопоказаны – как сигнал уязвимости, нетотальности, «несверхъестественности»; они лишают ее субстанциальности. Милитарный властечетричный социальный порядок отрицает неудачливого в этом смысле персонификатора. Человек власти боится и бежит от поражений, не желает нести за них ответственность, переадресуя ее другим – своим полководцам (в сталинские времена, чтобы понести «заслуженное наказание», им уже не надо было иметь немецкие фамилии), солдатам, народу. Власть оставляет публичное пространство («прячется» в «тени»), чтобы дождаться перелома к победе. На публику же выходит в

¹ Историки кино отмечают: в первый период войны «на экране почти нет изображений Сталина. Ни в хронике, ни даже на портретах и плакатах внутри кадров...» (28, с. 379). До ноября 41-го – только одно обращение: на радио, 3 июля, к «братьям и сестрам» (см.: 55). Показательно, что реального вождя (как и настоящих полководцев, героев труда и т.д.) в деле мобилизации на Отечественную заменили звезды экрана – даже не киноактеры, а экранные образы, киногерои, бывшие кумирами советской толпы: Чапаев – Б. Бабочкин (киноновелла «Чапаев с нами», 31 июля 1941 г.), Максим – Б. Чирков («Боевой киноборник № 1»), почтальонша Стрелка – Л. Орлова (киноборник № 4) и др. (см.: 28, с. 379). Фактором мобилизации на реальную войну стала иллюзия: персонификаторы образа изобильной, счастливой, свободной советской мирной жизни теперь поднимали народ на отпор врагу. Бóльшего авторитета, лучшего «агента влияния» в стране победившей иллюзии не было.

² «В версии православной церкви русский человек в таких обстоятельствах должен терпеть и молиться. Оттого-то Александр I был пассивным наблюдателем происходящего. И он действительно не принимал участия в летней кампании: ждал решения своей личной судьбы, судьбы подданных и... молился. Перелом в ходе войны был воспринят им как божественный приговор Наполеону и прощение России. Лишь после того, как священное решение стало очевидным, император почел себя вправе стать участником военной эпопеи» (6, с. 176).

героическом ореоле; в его блеске поражения забываются (растворяются в «тени» побед).

Вот здесь, пожалуй, ответ на главный для власти (и режима) вопрос 41-го года: что произошло со Сталиным в начале войны? Почему он не стал единственным выразителем идеи и организатором практики Отечественной (ведь именно этого ожидали от власти, приучившей народ к мысли, что она здесь – всё)? Впервые начавшуюся войну Отечественной назвал 23 июня 1941 г. в «Правде» один из немногих в тогдашней партии большевиков с дореволюционным стажем, верный сталинец Ем. Ярославский (71). Он ссылался при этом на войну 1812 года, но явно использовал и пропагандистский опыт Первой мировой. И это знаковый момент. Назвать решающее для страны событие и тем самым придать ему смысл в «Сталин-системе» мог только один человек – Сталин. Потому что (повторю) он и был системой. Сталин этого не сделал. И верховным главнокомандующим назначил себя только 8 августа. Сталин «отпустил» войну, не имея возможностей управлять ею так, как привык – подавляя, уничтожая, контролируя и направляя всё и вся. Это значит, что *с началом войны система стала меняться: от «Сталин-системы» – к сталинской* (из множества вождей, «сталинцев», тех кадров, которые решали все, состоявшей).

Когда началась война, Сталин не был вождем сражающегося населения – только персонификатором власти, режима. Причем власти, неожиданно лишившейся перспективы, утратившей самоуверенность, режима, не выдержавшего испытания войной¹. В ситуации режимного паралича война пошла самотеком, потребовав от всех и каждого самостоятельных решений, самостоятельного выбора. Мобилизация на Отечественную имела значительный элемент стихийности, самодеятельности. В особенности это касается мобилизации символической, цель которой – поднять население на отпор врагу, а главные инструменты – патриотическая риторика и патриотические воспоминания.

В первые же дни и месяцы 1941 г. патриотическое массовое искусство (песни и кино, стихотворение и газетный очерк, плакат, карикатура и др.) сформулировало важнейшие темы, обнаружило жанры и сюжеты, способные дать наибольший пропагандистский эффект. Они были не ин-

¹ Война здесь была не только провоцирующим фактором, но и выявителем. *Режим, разжигавший гражданскую войну, не мог цементировать общество* – больше пугал, вынуждая демонстрировать лояльность, активизировать защитные обыденные стратегии. Несомненной сплачивающей силой обладали символы (образы светлого будущего, общего прошлого, «большого врага»), массовые ритуалы, совместная работа, наделявшаяся пропагандой значением великого строительства нового общества. Но и реальное, и символическое были поставлены под сомнение войной. Режим, демонстрировавший военно-оборонную несостоятельность, утрачивал символическую защиту, быстро терял социальное доверие. Война разоблачила его иллюзорность, дала выход народному недовольству, заставляла обостренно воспринимать его несправедливость и неэффективность.

тернационалистскими, классовыми, социалистическими, а народно-освободительными. Страна запела «Священную войну» (определение войны как «священной/отечественной/народной» и указание на то, при каком условии она обретает такое качество: «Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой»; «Пусть ярость благородная вскипает как волна» – главная находка военного масскульта); откликаясь на зов Матери–Родины, записывалась «добровольцем»; вспомнила о провале исторической попытки внешней агрессии (например, в популярной короткометражке «Случай на телеграфе» из августовского 41-го «Боевого киносборника» Наполеон посылал депешу Гитлеру: «Пробовал зпт не советую тчк»). Отношение к врагу формировала «публицистика ненависти»; ее определяли «Убей немца!» И. Эренбурга (и симоновский рефрен «Убей его!»), «Призываю к ненависти» А. Толстого и др. Первые же «Боевые киносборники», вышедшие в августе 1941 г., сопровождали экранные лозунги: «Все для фронта! Все для победы!», «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» (28, с. 377–378).

И все это вовсе не результат единой, спланированной «сверху» кампании, жесткого и четкого госпартийного руководства, но выражение «низового», массового, народного порыва – на «смертный бой не ради славы, / ради жизни на земле». Деятели официального, соцреалистического искусства 30-х, продвигавшие его в массы в соответствии с директивами партии и лично вождя, не принадлежали больше агитпропу в самом пошлом значении этого слова. Они не только (а может, и не столько) служили режиму, но нашли поле своего сражения в Отечественной: стали голосом воюющего и погибающего народа. А слова/образы обнаруживали и в дне сегодняшнем, и в прошлом.

Военный масскульт (повторю: будучи подцензурным и в этом смысле официальным, он не остался пошло пропагандистским¹), призванный «мобилизовать население на упорный, почти каторжный труд и исключительные проявления личного героизма», был эффективен потому, что резонировал с «естественными человеческими стремлениями выжить, победить, отомстить» (36, с. 329)². Чрезвычайный мобилизационный эффект имело «натуралистическое» искусство, фиксировавшее горе и смерть, горькую правду войны. Это касается прежде всего кино, отданного в 30-е во власть «бесчеловечного владычества выдумки» (Б. Пастернак). «Страдание, боль, разлуки, потери, слезы, голод, страх – все это, изгнанное с экрана в 1930-х, вынуждена была легализовать война» (28, с. 382). Жест-

¹ Например, советское кино военных лет, «начав как агитационно-пропагандистское», стало «народным киноискусством» (28, с. 387).

² Автор, кстати, указывает на изменение с начала войны цензурного режима, благодаря чему только и могли появиться в печати стихотворения К. Симонова, военные песни, поэма А. Твардовского «Василий Теркин» и др. (36, с. 330).

кая военная цензура, не допускавшая в кадр зрелище поражений и смерти, капитулировала перед страшным натурализмом «Разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» (1942), «Она защищает Родину» (1943), «Радуги» (1944) (там же, с. 383–387). То было «кино ненависти», обливавшее врага и звавшее к возмездию. Из соединения народного чувства и патриотического масскульта в первые месяцы войны родился «стихийный яростный патриотизм»¹.

Имело массовое искусство тех лет и другую, психотерапевтическую функцию. Военные литература, кино, музыка давали людям нравственную поддержку; создавали то смысловое пространство, где получали объяснение переносимые ими страдания. Например, легализованную войной любовную лирику М.О. Чудакова сравнивает с фронтовыми «100 граммами», которые выдавали солдатам перед боем (65, с. 239). Ю.С. Пивоваров считает, что «Жди меня», «Темная ночь» (знаменитая песня из фильма «Два бойца, 1944) и проч. заменили людям, порвавшим связи с церковью/Богом, молитву; стали своего рода военным символом веры. Страстное, отчаянное, всенародное ожидание Победы отчасти разряжалось в условно-счастливым, «праздничном» кино (одна из его вершин – «В шесть часов вечера после войны», 1944). Охватывая всех и обращаясь к каждому, военный масскульт в лучших своих проявлениях стал высоким освобождающим искусством, преобразующим системную «человекоединицу» в личность.

Неожиданно быстрые и поразительно точные находки патриотического масскульта «брались» не только из личного таланта авторов или переданного ими народного инстинкта, обостренного войной. Они шли из самого естества национальной культуры, переработанного ею опыта, проводниками которого являлись культурные деятели. Одно это доказывало, что не все связи с прошлым были разорваны, не все забыто и разрушено. Культурная, «ментальная» мобилизация на Отечественную 1941–1942 гг. напомнила о том, что история народа – не открытое, ничем не защищенное, «необработанное» поле («пустошь») для тотальной переделки в интересах текущей политики и текущих политиков, а источник национальных сил, питающий надежды нации на будущее.

С первых же дней война была помещена в историческую перспективу, *рассматривалась сквозь призму образов прошлого*, отчасти уже известных советскому человеку с довоенных времен. Но именно *Отечественная связала их с живой жизнью, вплела в настоящее*. «На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами Кремля в

¹ Определение И. Кукулина (36, с. 329).

Новгороде?» (70), – писал в 1942 г. И. Эренбург. Исторические отсылки во множестве встречаются в публицистике А.Н. Толстого. Вот один только пример: «Навстречу тотальной войне встала сила народной войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная, воодушевленная любовью к родине и правде, нравственная сила советского народа... Вот я сижу на высоком и крутом берегу Волги, у подножия памятника Валерия Чкалова... Направо от него – древний <Нижегородский> белый кремль... Отсюда в самую тяжелую из годин поднялся народ на оборону государства» (61, с. 492).

В 1941-м (да и в 42-м) при дефиците побед и новых героев патриотические воспоминания имели особое значение. Истории о национальных победах стали важнейшим фактором мобилизации. Их сила в том, что они указывали на возможность не просто выстоять, но и победить, «приложить» к безнадежной, казалось бы, ситуации победную логику. Наиболее «эффективными» в этом отношении были события 1812 и 1612 гг., поэтому и вспоминали их чаще. Воспоминания же неизбежно «взывали» к мифу священной войны. И здесь срезонировали два процесса. Ужас тотальной войны на уничтожение дал народу ощущение «последней минуты», которое «запустило» процесс мифологического осмысления происходившего. Отсылка же к соответствующему историческому опыту и связанной с ним информационно-символической «базе» актуализировала тот настрой на Отечественную (справедливую и освободительную), который столетиями реализовывался в истории, формировался в мифе и мифом.

Миф священной войны приобрел тогда как бы практическое значение, предлагая «правильное» (в рамках нашей культуры и в той ситуации) объяснение происходившего и «правильное» решение. Он настраивал на тотальную войну, сводя весь мир и все жизни к единственному противостоянию: «мы»/«они». Миф смирял с безумием, неизвестностью, трагедией первых месяцев войны: все дело в вероломном нападении («мы взяты врасплох»), в силе агрессора. Наконец, миф давал ощущение, что отступление, оккупация, поражения первого этапа войны при всем их ужасе еще не конец – главное будет потом. И в то же время «предуказывал», что расплата за это «главное» будет страшной. В мифологизированном народном сознании жило предощущение невиданной жертвы, которую потребует священная война (более того, понимание, что только жертвенность народная и делает ее священной). Не будем, конечно, забывать, что в советской политической мифологии в 1920–1930-е формировался (и довольно успешно) культ жертвенности¹. Советского человека готовили к самопо-

¹ «С политической мифологией связан особый механизм управления людьми: они должны не просто бояться наказания и подчиняться приказам, но искренне и глубоко верить в необходимость и справедливость такого положения вещей, которое обрекает их на жертвы и лишения. Советская литература и искусство талантливо разработали такую тему,

жертвованию – сначала во имя «светлого будущего всех трудящихся», потом – чтобы «жила... страна родная». Это не в последнюю очередь помогло ему победить, *выстрадать победу*. Но в конечном счете с безмерностью цены могло примирить только одно – народная вера в неизбежность Чуда Победы¹. И она тоже брала начало в мифе, им поддерживалась.

В целом можно сказать, что *миф священной войны, сама русская культура сыграли в 1941–1942 гг. свою патриотическую, мобилизационную роль*. Ни революционно-нигилистическое отношение к традициям в 1920-е, ни сталинская державно-вождистская переделка истории не смогли добыть живительную «генетическую» связь человека, людей, народов, живших в СССР, с многовековой культурой. Война, а не исторический конструктивизм режима 30-х (по нещадности, враждебности к национальной истории не имеющий аналогов) оживили то ощущение, какое только и может быть признано патриотическим: эта земля наша, и мы за нее отвечаем.

Первые пропагандистские, мобилизационные действия власти, эпизодические и бессистемные, не могут быть поняты и адекватно оценены вне учета этого контекста, этих обстоятельств. *Власть больше не указывала направление народного движения – оно обозначилось и без нее*. «Братья и сестры»/«друзья мои», определение характера войны как Отечественной, великой и всенародной, справедливой и освободительной, знаменитый исторический ряд героев-спасителей Отечества, возникшие в сталинских обращениях к народу 1941 г. (см.: 55, с. 7–34), – не первоосновы (отправные моменты), а лишь элементы военного патриотического проекта. В деле его формирования власть/вождь оказались ведомыми; направлялись же они той силой, о которой со времен революции основательно подзабыли – народом (но не его инстинктом саморазрушения, использованным ими в 17-м, а волей к самосохранению, питаемой неразрывной связью с пространством-Отечеством).

как этика и даже эстетика *жертвы*... Предполагалось, что жертвы не только оправданы, но и необходимы, причем более всего ценилось принесение в жертву самого себя – самопожертвование» (62, с. 48).

¹ Русский народ, вообще, приучен к идее чуда (невозможное, если в него верить, обязательно свершится). В народной культуре господствовало сказочное, мифологическое, утопическое отношение к миру. Это продемонстрировала социальная практика XX в. Атмосфера чуда оживилась в войну. О чудесном заговорил даже вождь. «Отечественная война показала, что советский народ способен творить чудеса и выходить победителем из самых тяжелых испытаний», – сказано в приказе верховного главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г. (56, с. 144). Правда, разговоры Сталина о чудесном имеют вполне практическое объяснение: у чуда нет цены; если победы – следствие сверхъестественных способностей народа, снимается вопрос об ужасающих военных жертвах. Это один из примеров того, как режим «ловил» народ, метя в самое естество, в его представления о себе, как использовал в своих интересах особенности народного миропонимания.

Это предполагало основательную перестройку не только властной риторики и символики, но и политики (внутренней и внешней). Пусть некоторые меры и означали для режима проблемы в будущем (например, смещение центра тяжести в руководстве от партийных, идеологических к государственным, т.е. собственно бюрократическим, органам, «свертывание» привычной – социалистической, интернационалистской – основы идеологии и возрождение церкви, этого идеологического конкурента, союз с западными демократиями и др.), в войну, особенно в период поражений, они были необходимы. Режим формировал условия, в которых люди могли бы демонстрировать ему даже не пассивную лояльность, а приверженность, защищая его вместе с Отечеством. Это прежде всего означало признание приоритета идеи Отечества, национально-патриотических ценностей над режимной (уже не «марксистско-ленинской», а сталинско-ленинской) идеологией и «перепроекторивание» идентичности – отказ от социальной, классовой в пользу национальной (национально-государственной, народно-державной). Только так можно было «идентифицировать свои интересы с интересами народа и возглавить патриотический подъем»¹.

Бытует мнение, что такая трансформация уже состоялась до войны, в середине 1930-х годов, и национальная (точнее, национал-имперская) идеология, преемственно связанная с дореволюционным имперским проектом, стала идеологическим основанием сталинизма². Сказать, что это не

¹ Так главную задачу власти в войну определяли М. Геллер, А. Некрич (8, с. 452).

² «Великое отступление» после 1934 г., т.е. «изменение в сторону... националистического мировоззрения», современные исследователи сталинизма вписывают в более широкий контекст «формирования национальной идентичности на народном уровне» (31, с. 127). При этом указывают на постепенное возобладание в политике «преемственности» над «сдвигами» (см., например: 67, с. 81), апелляцию режима 30-х к дореволюционной великодержавно-патриотической традиции. Весьма распространен следующий взгляд: «В предвоенные годы основой советской пропаганды стала имперско-националистическая идеология в социалистической «перекодировке», окончательно оформившаяся после заключения «пакта Молотова–Риббентропа» (см.: 36, с. 329). Здесь следует указать на три момента. Во-первых, речь шла об «изобретении»/конструировании в интересах режима традиции, которую – в тех же интересах – уничтожали все 1920-е годы. Отождествление сталинского СССР и дореволюционной («вечной», исторической) России – лишь пропагандистский ход. Между ними уже не было связи. Во-вторых, не революция, а реставрация добывает старый порядок. Аппелируя к прошлому и «передельвая» его, Сталин окончательно избавил от него советский народ. И наконец, искусственность и чрезмерность сталинского национализма 1930-х объясняется тем, что он был негативной реакцией на большевистско-коминтерновский интернационализм и экспериментализм 1920-х. Например, в архитектуре, бывшей зримой, внешней формой сталинизма, «национальный» стиль определялся как «несовременный, немодернистский». «Слова “модернизм” и “конструктивизм” получили оттенок чего-то безнационального, безродного, космополитического, интеллигентского» (68, с. 77). Фактически русский национализм, по Сталину, означал убийство интеллигентских идеи социализма (ради народного утопизма и «чудобесия»), практики эксперимента, свободного творчества (во имя властной монополии на мысль и социальное действие) и

совсем так, значило бы не сказать ничего. Очевидно, что до войны сталинский режим пытался синтезировать две идеи – социальную (социалистическую) и национальную (в традиционно российском, державном изводе)¹. Характер синтеза был обусловлен спецификой режима – в нем соединилось несоединимое: акцент на национальное (т.е. традиционное) сочетался с «социалистической» переделкой «пережитков старого мира», а интегративная национальная идея – с разобщающей идеологией классовой борьбы, главное требование которой – «убей врага!» (как вне, так и внутри страны). На практике получалась совершенная нелепица, последовательное извращение каждой из идей.

Социалистическое переустройство было неосуществимо без национальной солидарности/сплочения, а велось в режиме перманентной гражданской войны. Устойчивого ощущения общности в таких условиях возникнуть не могло. *Советский народ 30-х – лишь пропагандистское режимное клише*. Идеологией «строительства социализма в одной стране» были в одно и то же время национализм/национальное (это естественно: то, что получалось, строили все же во вполне – исторически, географически, культурно – определенном пространстве) и борьба с ним. Интегративная идея «социалистического национализма» в большевистском, ленинско-сталинском, варианте означала «коренную переделку» традиционного русского человека и его жизненного уклада. Это демонстрировала национальная практика социалистического строительства – прежде всего

революционного интернационализма (в этом смысле он контрреволюционен и реакционен – напрямую связан с неокультурным «почвенным» этническим национализмом, в основе которого – образ «чужого/врага»).

¹ Говоря о «реабилитации» Сталиным «русского патриотизма, русского национализма», вернемся к аргументации М. Геллера и А. Некрича: «Завершив создание своего государства, Сталин нуждается в цементирующей идее, которую не мог дать ортодоксальный марксизм с его обещанием «отмирания государства». Цементирующей идеей становится патриотизм, который называют советским, но который все чаще звучит как русский. Для Сталина важно было, что русский патриотизм имел подлинные корни в русском народе, кроме того, русская история давала материал для воспитания в советских людях некоторых нужных вождю качеств: верности государству, верности самодержцу, воинской отваги. Сталин выбирает из русского прошлого то, что ему нужно: героев, черты характера, врагов, которых следует ненавидеть, друзей, которых нужно любить... Советская история, препарированная Сталиным, приобретает вид чудовищного гибрида: национализма и марксизма... Схема ортодоксального марксизма о борьбе классов хитроумно увязывается со схемой ортодоксального национализма» (8, с. 289–290). Собственно, о том же писал Э. Морен: «Исторический гений Сталина заключается в том, что он совершил интеграцию социализм↔нация, одновременно создав религиозную марксократическую власть, аналог власти теократической: и та и другая являются держателями абсолютной Истины, Авторитета... Сталин понимал значение идей, мифа, контроля за коммуникацией, манипулирования информацией, в то время как марксизм, замкнувшийся на “производительных силах”, был и продолжает оставаться совершенно несостоятельным в этих областях» (45, с. 90, 122).

коллективизация и культурная революция. Только в корне «переделанная» (т.е. утратившая важнейшие признаки, качества национального) нация могла считаться «в основном социалистической». Конструируя и культивируя национализм, режим в то же время уничтожал его естественную основу. В качестве же традиционного сохранялось только то, что было полезно для режимной стабильности: культура несвободы и репрессивности, ориентации на подчинение/«подданничество», иерархичность, милитарность, страх другого и т.п.

Таким образом, от власти в 1930-е годы одновременно поступали как интеграционные, так и дезинтегрирующие импульсы, что вело к социальному расстройству (перманентному кризису – психологическому, этическому, культурному). Тем не менее следует признать, что именно в конце 1930-х обозначился идеологический проект, который был способен обеспечить советской власти общественную поддержку. Наибольший эффект давало самоотжествление с патриотизмом, отсылающим к прошлому, национальным традициям, и с прогрессом, т.е. революционным социальным проектом, образом социалистического и интернационального будущего (создание «светлого завтра» для всего человечества – это завораживающе высокая претензия)¹. Но в 30-е проект был именно обозначен, последовательно же не реализовывался. Режим применял его фрагментарно, ситуативно, с циничным прагматизмом: энтузиазм строителей пятилеток направлялся и поддерживался обещанием социализма и его ожиданием; в войну делалась ставка на патриотизм.

«Развитой сталинизм» есть сложное соединение примитивных, противоречащих друг другу стратегий «переработки» исходной социальности. И национально-патриотическая идея служила той же цели – «переработать» в интересах режима². Скрепляющим началом для всех этих конфликтующих между собой стратегий могло стать лишь принуждение (тотальное государственное насилие, угроза насилия, страх перед насилием). Только примитивнейшее управленческое средство способно заставить работать социальный механизм в крайне травматичных для него условиях. Однако военная реальность настоятельно требовала иных средств, иных

¹ Все элементы этого проекта имели мощный мобилизационный потенциал; при этом по-разному воздействовали на различные социальные слои. Скажем, для выживших «старых элит», а также для менее образованных и более пожилых советских людей более значима была связь с традицией (через культуру и традиционные институты, начиная с православной церкви); для молодых (особенно образованных горожан) – идея социалистического прогресса. И т.д.

² Национализм, имевший преимущественно милитарный, мобилизационный характер, культивировался властью по причине своей «полезности»: «Сталин использует (берет на вооружение) русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти...» (8, с. 260).

стратегий. Первоочередной была нужда в согласии и определенности: *режим и народ «договорились», признав защиту Отечества единственной ценностью, основой всеобщего сплочения и мобилизации.* Это договор на уровне высоких, «предельных» даже ценностей, существо которого очень точно передал потом Б. Окуджава: «Мы за ценой не постоим». Он скреплен патриотизмом стоявших насмерть, но не сдавшихся. На такой высоте невозможно было держаться долго; военный патриотический проект был обречен поэтому на краткосрочность; подлежал пересмотру после войны.

Из этого «договора» и родился властенародный режим, который только и способен побеждать в Отечественных. Местом рождения стал Сталинград (хотя и Москва была важнейшей вехой на этом пути)¹. Не было больше – в высоком, высшем даже смысле – отдельно власти, отдельно народа; они слились – и устремились к общей Великой Победе. (То же, замечу, случилось в 1812 г. после освобождения столицы.) Одновременно произошло взаимопроникновение режимного и народного. Режим растворился в народном, народ в советском (одно из внешних проявлений этого – массовое «хождение» фронтовиков в партию). *Произошел «коренной перелом» – не только военный, но и ментальный, имевший важнейшие социальные последствия.*

Война 1941–1945 гг. стала самым тяжелым потрясением в нашей современной истории, изменившим и народ, и власть. Трансформировались сами основы существования режима. Величие и трагедия Отечественной высветила его неправду, дав ему в то же время подлинную, живую легитимность. Причем легитимность традиционную, укорененную в культуре: сражавшейся вместе с народом и во главе его власти. Народ же обрел в Отечественной собственную идентичность – тоже через связь с историей, традицией. В войне сформировалась основа «властенародного» единства; ею были заложены основы «новой исторической общности людей».

Естественно возникал вопрос: что будет дальше? И здесь следует учитывать несколько обстоятельств. Советские люди предвоенного «обращения», привыкшие к чрезвычайщине, репрессивности, к существованию на грани жизни и смерти, воспитанные войной и для войны, выдержали ее нечеловеческое напряжение. И надорвались – после Великой Отечественной война для нас возможна только как воспоминание. В рамках *послево-*

¹ Не случайно именно в тот момент, во время битвы под Москвой, «возвращается» власть. Сталинград качнул опять к «Сталин-системе», с лихвой вернул власти растрченную в поражениях властную субъектность. Почти полностью утратив легитимность летом-осенью 1941 г., власть наращивала ее от победы к победе. Она не только вела и направляла, руководя рутинной военной работой, но и «сосредоточивалась», готовясь к новому броску на социум, к новому этапу его «переработки». В этом суть сталинской власти: она не могла не «перерабатывать», используя привычное средство – репрессию, принуждение. Ее проблема была в том, что военно-послевоенный социум «перерос» это средство.

енного порядка запустился процесс разложения раннесоветской мобилизационной системы.

В войне и войной закончился «развитой сталинизм» (1929–1941); послевоенная политика, выглядевшая как его апофеоз, в действительности – лишь арьергардные бои. Их смысл – задавить, скрыть внутреннее перерождение режима¹. После смерти Сталина социальная «демобилизация» пошла полным ходом; ее сдерживала только холодная война, милитарная гонка двух систем. Но вектор режимной трансформации вполне определился: от военного интереса – к гражданскому, от системного – к частному, от общего – к личному (мещанско-обывательскому обустройству), который в той системе мог реализоваться только как антиобщественный. Послевоенное советское общество перестало понимать себя как единый военный лагерь – вооруженную «эсэсэрию» в кольце врагов. Оно хотело не выживать, готовясь к войне и жертвуя собой во имя победы, а просто жить. Но логика социальной самореализации осталась прежней: каждый сам за себя – и против всех. В мирной жизни, потребительско-обывательской реальности действовали «понятия» гражданской войны.

В то же время в Отечественной накопился и ждал реализации эмансипационный потенциал. Это неизбежно: войны такого масштаба и накала не выигрывают люди-«винтики», серая масса под дулом заградотрядов. (Карательно-принудительный инструментарий, созданный личной инициативой Сталина, не способен сыграть решающей роли в такой войне. Нельзя принудить воевать, как невозможно сконструировать Отечественную «сверху» – это показал опыт Первой мировой.) Во «вторую Отечественную» народонаселение («популяция», по терминологии «Русской Системы»²) выросло в народ; из подлинно патриотического порыва родился гражданин. Народ-победитель/солдат-гражданин, ощутив себя субъектом истории, вершителем исторических судеб мира, естественно захотел свободы, сужения зоны властного контроля и насилия. В конечном счете *двойной социальный запрос – на свободу и потребление – и уничтожил сталинский порядок.*

В связи с войной возникла и проблема культурного, ментального характера: как о ней помнить. Ощущение себя победителями определяло послевоенную – живую, «участническую» – память советских людей. Но она вовсе не была победной, не центрировалась на все объясняющий и оправдывающий результат. Напротив, нестерпимая боль войны, а также тяжесть и беспросветность (не экономическая только) послевоенной ситуации заставляли обостренно, мучительно переживать проблему цены

¹ О характере этого перерождения см.: 49, с. 76–91.

² Речь идет о работе Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «Русская Система» (см.: Политическая наука. – М., 1997. – № 2, 3).

Победы. Кроме того, то была память, как бы «стремившаяся» к забвению (что, видимо, инстинктивно чувствовала и использовала в своих интересах сталинская власть). Пережившие войну ощущали ее как ужас, трагедию, главную травму своей жизни. Они хотели забыть – перекрыть войну миром.

И наконец, это пример памяти победителя, которому не воздали по заслугам. Послевоенное двадцатилетие прошло под знаком недооцененности народной Победы – власть «забыла» о том, что имеет дело с народом-победителем, отказала в достойной его награде. Видимо, прежде всего потому, что боялась быть призванной этим победителем к ответу за те непомерные военные жертвы, что ему пришлось принести, в том числе по ее вине. Это подвергло эрозии военное единство народа и власти, естественное и неизбежное в эпохи наших отечественных.

Сталинский официоз: народ или вождь

Следует отдать должное массово-мобилизационному, сталинскому режиму. Разлагаясь и преобразуясь под напором перемен и проблем, порожденных войной, он не сдавался. В чем-то уступил, став только прошлым, в другом победил, оставшись нашим настоящим. *Одна из главных его побед – ментальная, культурная: над мировоззрением и памятью позднесоветского и постсоветского человека.* Сталинский режим задал нам алгоритм воспоминаний, сформировал наш образ мыслей, надолго, видимо, заперев в особую мировоззренческую, ценностную систему (своего рода охранную зону, ментальную тюрьму/лагерь, которую – в отсутствие Сталина – мы сами охраняем от вторжения, от перестройки). Наша «особость», «отдельность» от других (в том числе от бывших союзников, современного сообщества развитых стран) – в этих алгоритме и образе. И память о войне занимает здесь едва ли не главное место.

Именно в области памяти режим и вождь взяли реванш у истории, «выправив» ее в свою пользу. При этом воспользовались всеми находками патриотического масскульта, вписавшего «материал» войны в матрицу национального культурного мифа, скрыв их подлинный источник, приписав себе. Результатом «выправления» и присвоения стал сталинский официоз, сформированный в военные и первые послевоенные годы¹. В его основе – образ священной (великой, всенародной) войны. Такое определение

¹ Его основу составили речи, доклады и приказы Сталина (55; 56 (еще в годы войны этот сборник 1942 г. широко внедрялся в систему партийного просвещения); 57); материалы второго издания его биографии (29); речи и выступления политического и военного руководства СССР, публиковавшиеся к 70-летию вождя (см., например: 5; 7). Основные положения сталинской концепции войны тиражировались в исторических трудах, школьных и вузовских учебниках истории, периодической печати, имея для них значение «Краткого курса»-2.

не только придавало войне высшую ценность (качество священной истории), вписывало в российско-советское прошлое (само его единство выстраивалось через героико-патриотические события, вершиной которых была советская Отечественная), национальную культурную традицию и позитивно высвечивало настоящее. Концепция Второй мировой войны как Отечественной позволяла объяснить ситуации и темы, крайне опасные для режима и лично вождя: «предвоенную политику», вступление страны в войну и методы ведения военных действий. *Отечественная обладала неистощимым оправдательным потенциалом, который власть беззащитно и последовательно эксплуатировала.*

В соответствии с официальной концепцией четко выстраивались логика, сценарий, даже хронологические рамки войны. Весь предвоенный период объяснялся «сверхзадачей» подготовки к войне и сдерживания агрессора. По Сталину, коллективизация и индустриализация (курс вождя с конца 1920-х годов) явились необходимыми условиями обороноспособности страны; Советский Союз всегда придерживался политики коллективной безопасности; пакт о ненападении с гитлеровской Германией от 23 августа 1939 г. был единственно правильным для СССР решением в безвыходной ситуации, когда его «предали» западные «демократические» державы; это «инструмент мира», исключительно «мирный акт», имевший целью «облегчение напряжения в международной обстановке»¹; грубое и подлое нарушение пакта немецкой стороной, имевшей к тому же численное превосходство над Красной Армией в боевой технике и живой силе и опыт ведения крупных военных операций в Европе, а также отсутствие второго фронта против Германии, стали основными факторами успеха немцев (см.: 56, с. 10–12, 20–26, 42–44, 79–80, 92, 116, 167 и др.)². В сталинской трактовке нет темы вины режима; более того, она ее не предполагает. Сама война (вероломное нападение, к которому, кажется, нельзя быть готовым, сила немецкой армии, двусмысленная позиция союзников) дала режиму возможность обелить себя: свести начало исключительно к жертвам и героизму, списать все свои вины на внешние силы.

Весь негативный для режима исторический материал был вытеснен в предысторию Отечественной. Общие с европейским агрессором военные программы, завоевательные походы в сталинской концепции войной не считались. Для СССР как бы не было Второй мировой – Сталин вычеркнул ее из советской истории. Война началась 22 июня 1941 г. с внезапной, вероломной агрессии – как Отечественная. История конца 1930-х – начала 1940-х не просто была переработана так, что СССР выглядел в ней исклю-

¹ Правда. – М., 1939. – 24 авг.

² Сталинский проект детально восстановлен в исторических исследованиях (см., например: 37, с. 275–277; 63, с. 88).

чительно жертвой. *Из культурно-исторической посылки, зафиксированной в массовом сознании, — только оборонительная и справедливая война может быть Отечественной — официоз делал свой вывод: раз война была Отечественной, значит, справедливо все, что с ней связано.* СССР изначально был нацелен на оборонительную войну; когда не оборонялся — освобождал, но не завоевывал (см., например: 55, с. 7–9, 13). Сталинской Отечественной фактически подтверждалась советская формула: по своей природе СССР не мог вести несправедливых войн.

Это не единственный пример того, как доведенная до абсурда логика священной войны позволяла извратить историю Отечественной. В сталинском официозе удалось предельно минимизировать интернациональный план войны, придать ему в основном негативный смысл. Война у Сталина выглядит не единым антифашистским фронтом, а, скорее, прологом противостояния двух систем¹. СССР в ней представлен жертвой — причем не только немецкой агрессии, но по существу — враждебного внешнего мира (прежде всего будущих союзников, которые в канун войны фактически «сдали» его захватчику)². Именно общая враждебность «окружения» в соответствии с этой неявной, но вполне внятной установкой, и прорвалась немецкой агрессией.

Вывод очевиден: СССР (конечно, вслед за Россией, которую за победу над Наполеоном Европа «отблагодарила» «титолом» европейского жандарма) одинок в мире; наша историческая судьба — оборона, изоля-

¹ Следует отметить, что в период поражений Сталин подчеркивал и общий европейский контекст Отечественной, и значение для СССР военного союзничества. В первом же обращении к народу (3 июля 1941 г.) он сказал, что в своей освободительной войне советский народ не будет одинок: «...мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки... Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения...» (55, с. 13). В приказе народного комиссара обороны 1 мая 1942 г. указывалось: «против немецкого империализма объединились все свободолюбивые народы»; первое место среди них занимают Великобритания и США, с которыми «мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают нашей стране все большую и большую военную помощь» (там же, с. 43–44, 47). Тональность сталинских высказываний меняется уже в «эпоху» побед; с начала 1943 г. все больше подчеркивается одиночество СССР в войне (56, с. 80, 89). В 1944 г. Сталин опять говорит о «великих союзниках» СССР и признает, что «враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных войск» (там же, с. 143, 157). Однако после 1945 г. история союзничества была принесена в жертву официозу, использовавшему прошлое для «подкрепления» текущей политики и определения задач на будущее.

² Показательно, как сталинские положения были развиты в брежневское время. В исторических исследованиях и научно-популярных изданиях 1970-х годов указывалось на решающую роль СССР в разгроме фашистского блока; политика США и Великобритании представлялась противоречивой и непоследовательной. Утверждалось, что США и Великобритания «стремились повергнуть своих империалистических противников и занять их место в Европе и Азии, а также максимально ослабить войной Советский Союз и превратить его во второстепенную державу». Тема антигитлеровской коалиции в популярных изданиях вообще обходилась (37, с. 301).

ционизм, закрытость. В этом наша сила; мы – особый мир; с тем, что отдельно от нас, можно только бороться за доминирование. Здесь очевидна апелляция к массовому (т.е. крестьянскому) изоляционистскому сознанию (его основная установка: враждебен весь мир за деревенской околицей), а также к выращенной из него режимом глубокой убежденности простого советского человека в том, что его страна окружена «кольцом врагов». Это своего рода завещание, сталинский посыл в будущее: оставаться одиночками и вести справедливую борьбу с «враждебным окружением» за «национальные интересы» – формула нашего исторического существования.

Во многом благодаря мифологии Отечественных Сталину удалось, казалось бы, невозможное: вписать поражения в логику побед и тем самым оправдать их, дать им приемлемое объяснение. Катастрофа начала войны была для вождя личной темой и главной травмой, ставившей под сомнение его властную полноценность. Проблема разрешилась *концепцией «активной обороны»*: поражения и оккупация выглядели в ней управляемым процессом, подчиненным стратегическим и тактическим планам верховной власти, – необходимой подготовкой к победоносному контрнаступлению. Во время войны Сталин в самом общем виде сформулировал эту идею, ссылаясь при этом на опыт разгрома русской армией Наполеона. «Активная оборона», по вождю, – это «контрнаступление после успешного наступления противника, не давшего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение... Хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления» (цит. по: 37, с. 278)¹.

Эта «формула» была немедленно подкреплена историческим материалом, став основой трактовки периода поражений в сталинской науке. «Авантюристической германской стратегии “молниеносной войны” товарищ Сталин противопоставил мудрую стратегию активной обороны... – утверждалось, например, в типичной для своего времени работе 1952 г. – Советская армия должна была жестокой обороной в сочетании с непрерывными контрударами заставить разбросать силы своих ударных группировок, измотать и ослабить вражеские войска, затормозить их продвижение, выиграть время для развертывания главных сил Советского государства» (цит. по: 37, с. 280). Этой версией, совершенно извращавшей историю, весь первый, неудачный, проигранный режимом период сводился к оборонительной войне, сценарий которой хорошо известен по куль-

¹ В приказе народного комиссара обороны 1 мая 1942 г., вероятно, впервые публично прозвучало: «Нельзя считать случайностью тот общеизвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска» (55, с. 48).

турному мифу: от вероломного нападения и героической обороны – к победоносному наступлению, освобождению оккупированных территорий, уничтожению агрессора. Все жертвы и потери начала войны приобретали высокую осмысленность, «работая» на Победу.

Милитарно-имперско-победная логика придавала войне внутреннюю связность, стройность и осмысленность, настаивала на изначальной неизбежности – несмотря ни на что – спасительного исхода. Второй (и главный) этап Отечественной в сталинском официозе центрирован на Победу; фактически *это история не о войне, а о Великой Победе и ее всемирно-историческом значении*. Причем не о мистической, чудесной и потому рационально необъяснимой Победе, какой она представляла в мифологии «первой Отечественной» и отчасти выглядела в сталинских обращениях к народу периода поражений. Победа у Сталина-победителя закономерна не только с военно-стратегической, но и с исторической точки зрения. Из нее исключены факторы стихийности, самодеятельности, случайности; она не является предметом веры, но подчинена действию той «исторической закономерности», знание которой отличало ленинцев-сталинцев и монополю принадлежало их партии.

Победа, по Сталину, есть прежде всего доказательство превосходства советской системы – не над Германией даже (это очевидно), а над всем остальным (т.е. и тем, вместе с которым мы победили) миром. Она важна не сама по себе, а как историческое подтверждение преимуществ социализма, построенного в СССР под руководством Коммунистической партии и лично Сталина (см.: 56, с. 69–70, 136–137, 158–159 и др.)¹. Победоносная Отечественная, как это уже бывало в русской истории, стала основой легитимирующего мифа о «правильности» власти и созданного ею социального порядка. (Это, помимо прочего, свидетельствовало против их реформирования: залог будущих советских побед как бы полагался в неизменности власти/порядка, что делало победу своего рода историческим оправданием советского «застоя».) Но в «работе» над ней Сталин пошел дальше предшественников. Победа у него не субстанциональна, а функциональна: служит питательной средой представления о превосходстве социалистической системы над империалистическим Западом. В отличие от начала XIX в., где мифология превосходства над Западом была краткосрочна и конкурировала с другими мифологемами, этот постулат стал мировоззренческим основанием всей послевоенной политики. Сталинский военный официоз, обеспечив режиму великое прошлое, задал ему задачу на будущее, которая его и сгубила: «перманентная» война с капиталистическим Западом за мировое господство. Она обосновывалась идео-

¹ Отчетливее всего положение о превосходстве советского социализма сформулировано в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа 9 февраля 1946 г. (см.: 37, с. 278–281).

логией несовместимости двух систем и преимуществ собственной. Верой в превосходство, подкрепленной Великой Победой, во многом объясняется самомнение советского руководства, переоценка им сил и возможностей страны в годы холодной войны¹.

В конечном счете все усилия сталинского официоза были сконцентрированы на том, чтобы «перекрыть» войну победной логикой, с помощью Победы вывести «за скобки» (в непубличное и потому как бы несуществующее пространство) сложнейшую, трагически невыносимую военную реальность. *Единственным ответом официоза/режима на непростые вопросы, неизбежно возникавшие в связи с войной, была Победа («а все-таки мы победили»)*. Так решалась и главная проблема Отечественной – цены/жертв. Табуизируя историю потерь², режим установил приемлемую (т.е. ту, с которой хоть как-то можно было смириться) цену Победы – 7 млн. жизней; жертвы не просто героизировались – жертвенность вводилась в норму.

Через победно-освободительную призму рассматривалась вся связанная с войной агрессивнo-экспансионистская история СССР. Значение

¹ «Односторонняя некритическая оценка итогов Отечественной войны, игнорирование и замалчивание людских потерь в войне оказало негативное воздействие на послевоенную политику советского руководства, – отмечает современный исследователь. – Сознание стоящих у кормила власти руководителей партии и государства находилось долгие годы в плену “обобщенного” таким образом опыта войны. Самодовольство и самовосхваление, “сознание превосходства” социализма как системы (в экономическом, политическом и социальном плане) и уверенность в неизбежности его победы над империализмом, усилившаяся под влиянием победы СССР над фашистской Германией и ее союзниками, мешали ему (руководству) реалистично оценивать международную и внутреннюю обстановку и главный ее элемент – соотношение и расстановку сил в мире, питали его авантюризм во внутренней и внешней политике» (37, с. 309).

² Опять же справедливости ради отметим, что это очень напоминает историю о другой Отечественной. Современный исследователь так характеризует послевоенную (начала XIX в.) «политику памяти»: «Память и сознание современников формируются не только наличествующим, но и отсутствующим – “зонами умолчания”. Раздавая награды живым, Александр I явно желал забыть смерть, сопровождавшую войну. Правительство “прятало” убитых. Не было ни больших, ни малых кладбищ павших на войне, не было воздвигнуто значительных памятников и мемориалов. Захоронения погибших не опознавались и не идентифицировались: они производились на полях сражений в массовых могилах с единым крестом или камнем. И это касалось не только рядовых, но и офицерского состава... Поведение власти объясняется тем, что кладбища с идентифицированными могилами позволяют утвердить память о потерях. Само по себе их наличие способствует осознанию современниками размеров национальной жертвы, платы за победу. Но именно это и не “вписывалось” в александровскую концепцию священной войны, где Господь вел и защищал только “правых”, сохраняя для жизни благоверных... Поэтому Александр I не допускал ритуального оплакивания жертв войны – ведь нельзя же, в самом деле, скорбеть об избранниках Господа. Можно лишь молиться за их души и прославлять их ратный подвиг» (6, с. 222, 223). Нейтрализация темы жертв/цены вполне оправдана с режимной точки зрения, а ее актуализация – совершенно в интересах общества, будит его самосознание.

«освободительного похода» приписывалось не только действиям Красной Армии в 1939–1940 гг., но и поглощению Восточной Европы. В официозе оно выглядело так, как об этом сказал Сталин в радиообращении к народу 6 ноября 1941 г.: цель союзных армий – помочь «порабощенным народам Европы и СССР» «в освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов!» (55, с. 29, 30)¹. Создание из этих народов «соцлагеря» трактовалось (а потом и воспринималось) не как завоевание, а как продолжение Отечественной. Освободительная логика войны позволяла придать высокий смысл имперской экспансии, «прочитать» ее в эмансипационном ключе.

Правда, «европейский поход» Советской армии и союзничество с западными державами, связанные с узнаванием Запада советским человеком (и его «искушением» Западом), создавали для режима проблему, неразрешимую только символическими средствами: не допустить появления новых декабристов и февралистов. Справлялись с ней старыми методами – активизацией гражданской войны. «Враг» в ней идентифицировался уже не по социальному признаку (Отечественная обеспечила поравнение/единство народа), а по отношению к внешнему миру, по внешнеполитической ориентации: подвержен влиянию «капиталистического Запада» (хотя бы потенциально) – значит космополит, шпион, несоветский/нечеловек. Репрессии получали мировоззренческое основание и были направлены против «неустойчивых» (подозрительных для режима и социального большинства) в этом смысле сил – интеллигенции (космополитической по своей природе), отдельных представителей «масс» и целых народов².

Внутренние репрессии, как и рост агрессивной идеологии победоносного великодержавия, имевшие целью покончить с «тлетворным влиянием» Запада, уберечь от расширения/космополитизации идентификацию советского человека – это вполне естественная реакция власти на вынужденное открытие советской автаркии. В то же время намеренное разжигание социального противостояния, дестабилизация послевоенного народно-

¹ «У нас нет и не может быть таких целей войны, – указывал Сталин, – как навязывание своей воли и своего режима славянским и другим народам Европы, ждущим от нас помощи» (55, с. 30). Наша война, говорил он, «освободительная, справедливая» (там же, с. 29, 49–50).

² Особый мобилизационный эффект имело придание статуса врага еврейскому народу. Это выглядело особо цинично на фоне разоблачений нацистского антисемитизма, но именно из-за своего цинизма являлось сильнейшим вызовом Западу. Внутри же страны служило самым эффективным средством подъема националистической, погромно-черносотенной волны, изоляционистских, конфронтационных и великодержавных настроений.

го единства доказывают, что *сталинизму был противопоказан «режим» стабильности. Его питала и поддерживала гражданская война (в тех или иных масштабе, формах) – только так он мог существовать.*

Сталинская версия войны, послужившая опорной конструкцией позднесоветского исторического официоза, представляла собой цельную, логическую и весьма примитивную (что облегчало ее усвоение массовым сознанием) схему. Но это была именно версия, лишь отчасти соотнесенная с историей, строившаяся на чрезвычайно ограниченной фактической основе¹. Ее нельзя было проверить, адресуя ей вопросы, – в нее можно было только верить, ища в ней «правильные» ответы². *По существу, это не история, а идеология войны, не знание – мировоззрение (материал для формирования ценностей и идентичностей).*

В узости и антиисторичности – не только сила, но и уязвимость сталинской концепции. Она могла «работать» только в условиях изоляции – в отсутствии других интерпретаций, исторической критики (поэтому была изоляционистской не только содержательно, но и по технологии продвижения/внедрения в массовое сознание). Не случайно ее сразу стали защищать – причем даже не от иных версий (внутри страны их попросту не могло быть; «внешние» – западных историков – игнорировались, о них не знали), а от исторического поиска, естественно предполагавшего расширение базы фактов и документов³. В отношении войны (как прежде – революции) обычная историческая работа расценивалась как фальсификация. Она действительно была способна фальсифицировать сталинскую схему, подорвать ее изнутри – ставя вопросы, указывая на противоречия.

¹ Так по существу строилась в 1930-е годы и сталинская «история» революции. Как показывает Е. Добренко, «Октябрь стал частью советского “опыта”, но не прямого, а “опыта исторической памяти”, которая явилась “продуктом сознательных исторических манипуляций”». При этом «реальный... травматический опыт революции... стирается» (16, с. 383). Исследователь выводит точную формулу: «...единственное, что не приемлет сталинизм, так это “живое прошлое”» (там же, с. 23).

² То есть относиться к ней следовало так, как к сталинской истории партии. Урок такого отношения дал сам Сталин. В конце сентября – начале октября 1938 г. в Кремле состоялось совещание пропагандистов и руководящих идеологических работников Москвы и Ленинграда по вопросу об организации изучения истории ВКП(б). В ответ на попытку некоторых ораторов высказать критические суждения о «Кратком курсе» вождь заявил, что «задачей совещания является не обсуждение и критика... а одобрение этого учебника» (43, с. 257). Это стало руководством к действию для всех пропагандистов сталинизма.

³ Особой защите подлежал предвоенный период, наиболее уязвимый в сталинской версии. Основой для такой защиты стала брошюра «Фальсификаторы истории: Историческая справка» (М., 1948; тираж 5 млн. экз.), изданная в ответ на американско-англо-французскую публикацию 1946 г. «Нацистско-советские отношения, 1939–1941 гг.» с документами из архива МИД Германии (см. об этом: 37, с. 276–277). Концепция и аргументация сталинской брошюры воспроизводились в исторических исследованиях и научно-популярных работах вплоть до распада СССР.

В рамках официоза было тем труднее удержаться, чем больше становилось известно о войне¹. Собственно, он лишь утверждал, *что мы победили*, а факты (и вслед за ними – историк, даже невольно, не желая того) рассказывали о том, *как победили*. Защита/очищение Отечественной от «фальсификаций» (иначе говоря, от историзации – изучения и осмысления) стала своего рода миссией власти.

Норматив идеологической защиты официоза от истории дал, конечно, Сталин. «Пожалуй, историки ни одной войны в прошлом не имели столь законченной концепции истории войны, столь конкретных и категорических социальных установок по поводу того, как писать историю войны и как оценивать ее важнейшие события, какие имели советские историки, – указывает современный исследователь. – Эти установки нельзя было игнорировать в первое десятилетие после войны... Самые общие высказывания и замечания Сталина, с одной стороны, декретировались, а с другой – воспринимались историками как откровения, высшие достижения научной мысли и не подвергались сомнениям или критике. Они становились непререкаемыми постулатами в написании истории Великой Отечественной войны... Для их подтверждения ученые подбирали факты, документы и другие материалы, а нередко и подгоняли их... Большинство работ о войне того времени представляли набор цитат из книг Сталина и его сподвижников или перефразирование их с использованием незначительного по содержанию и объему фактического материала для их иллюстрации» (37, с. 280).

Историки фактически превратились в популяризаторов сталинской концепции Отечественной. Они сами защищали ее от «исторических фальсификаций» – причем в некоторых случаях подправляли самого вождя. В историографии, к примеру, не получило развития сталинское положение: у советского правительства «было немало ошибок, были... моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала»². Видимо, опыт и чутье подсказали популяризаторам, что такие признания могут исходить только от «первоисточника» и не нуждаются в фактическом подтверждении. Но в целом стараниями «служилых» историков

¹ Не случайно уже в конце 1942 г. Центральная комиссия по истории Великой Отечественной войны, которую возглавил начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров, приняла решение: «Поставить хранение материалов по истории Великой Отечественной войны так, чтобы никто не мог бы ими воспользоваться в ущерб делу, не разглашать сведений и по возможности допускать к материалам меньше людей» (цит. по: 64, с. 277). Этот принцип «использования» документов войны действовал фактически до конца СССР. Они являлись не основой исторического поиска, а инструментом агитации и пропаганды.

² Это фраза из выступления Сталина 24 мая 1945 г. на кремлевском приеме в честь командующих войсками Красной Армии со знаменитым тостом «за здоровье русского народа» (56, с. 196).

(а также журналистов, писателей, работников искусства) *сталинская концепция войны была проведена в жизнь, подменив историю Отечественной.*

Очевидно, что официоз подчинен в первую очередь интересам режима. Условием его послевоенного выживания было возвращение советского человека в границы системы (иначе говоря, победа режима над народом-победителем). Необходимо было восстановить прежнюю (довоенную) социальную диспозицию: власть (партия/государство) – субъект советской истории, народ – объект, ведомый и направляемый «сверху»; в этом – сила и непобедимость системы. Трактую в этой логике Отечественную, режим поставил ее себе на службу (как и вся сталинская история, она приобретала «служебный» характер). Прекратилась «демократизация» памяти о войне (ее главным героем стал не человек из народа¹, а человек системы – вождь, солдат, полководец), ей придавался исключительно управляемый характер: все решалось не стихией «народной войны», а партийно-государственным руководством. *Сталин «выдал» народу такую войну, какой она должна была быть; она использовалась для моделирования тех народных качеств, которые требовались режиму.* В этом, собственно, и состояло ее значение для «военно-патриотического воспитания» советских людей.

Такая перекодировка народной памяти в официозе означала только одно. Если Отечественная вынудила власть на «социальный контракт» во имя защиты Отечества, то после войны «Сталин-режим» отказался от «договора» с народом, лишив его даже тех незначительных свободы и самостоятельности, которые у него имелись в военное время. Людям была предложена иная (послеотечественная) «платформа» для объединения. В идеологическом отношении режим эволюционировал к агрессивномилитарному великодержавию, основу которого составила презумпция «естественного превосходства» своей («советско-имперской») «нации» над другими. Закончил сталинизм крайней формой национализма² с харак-

¹ Так, например, одной из центральных фигур кино военных лет была «женщина из народа («партизанка»), защищавшая Родину (см.: 28, с. 383–387). В этом – очевидное сходство с репрезентацией «первой Отечественной» со множеством вариаций образа Василисы Кожкиной (см.: 6, с. 258–260). Партизанская война, легализованная в брежневской версии Отечественной, полностью контролировалась партией/властью и играла роль своего рода внутреннего «второго фронта».

² Здесь будет уместно сказать еще несколько слов о сталинском национализме. В ноябре 1941 г., объясняя и оправдывая свой союз с фашистской Германией, Сталин говорил: «Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием считать националистами» (цит. по: 8, с. 452). Националист, по вождю, это создатель сильного централизованного государства (эффективный государственный), победоносный собиратель «национальных» земель. Сначала с Гитлером, а потом в борьбе против него Сталин открыто явился таким националистом. А так как «собирал» он земли бывшей *Российской империи*, то явился именно *русским* националистом. С этим, кстати, связана старая сталин-

терным реакционно-черносотенным оттенком, хотя и использовал социальную и интернациональную риторику. Сталинский же патриотизм, исторической базой которого являлась теперь война, требовал безусловного подчинения народа власти, воспитывал готовность служить ей и умереть за нее (это род «тягла», безусловная обязанность, не связанная с внутренним личным выбором). Единственным фактором мобилизации служил здесь образ врага (не история или культура). «Режим—Сталин» был органически неспособен синтезировать патриотическую идею с интересами человека, гуманизмом.

Тем не менее официальная (сталинская) версия Отечественной стала «важнейшей частью коммунистической идеологии и одним из наиболее эффективных средств воздействия на массы» (37, с. 282). Причем, вошла она в массовое сознание не только из-за особенностей распространения (тиражирования), хотя они и были таковы, что не оставляли возможностей от нее защититься¹. Сталинский военный официоз был принят массовым сознанием не в последнюю очередь потому, что в нем воспроизводились логика и сценарий мифа священной войны. Недавний военный опыт — настолько тягостный, что ему невозможно было найти аналоги в нашей истории, стал новой основой культурного мифа, дал ему новую жизнь. *С середины XX в. нашей священной Отечественной является уже не война 1812 г. (это, скорее, ее прообраз, ее «предчувствие»), а события 1941–1945 гг.:* те нашествие, иго (т.е. оккупация), сопротивление (в том числе народная, партизанская война), его герои и жертвы, его вожди (от власти/идеологии и от армии), «Великий перелом» (Сталинградская битва и сражение на Курской дуге) и Победа. Сталинская версия Отечественной нашла естественный отклик в народном сознании, так как имела точки соприкосновения с архетипическим образом священной войны. Все, что этому образу не соответствовало, несопадением тревожило и травмировало, отвергалось или получало приемлемое — в рамках мифологического

ская идея «панрусистской империи» (31, с. 223). Сталин — *русский* националист, потому что всегда апеллировал к имперскому *большинству* (причем тем более определенно, что сам принадлежал к «нацменьшинствам»). Не стоит заблуждаться относительно особой любви вождя к русскому народу; все свои народы Сталин любил одинаково, что подтверждает факт их общей и значительной убыли к концу его правления.

¹ Исследователи войны указывают на чрезвычайную навязчивость, «неистребимость» советской пропаганды, исторического мифотворчества: «По мере накопления знаний о войне, более полного ее освещения в исторической науке возникли проблемы, решение которых было необходимо и для познания сущности самой войны, и для обобщения ее опыта. Но серьезным препятствием на этом пути стала уже сложившаяся концепция истории Великой Отечественной войны, составлявшие ее догмы, мифы, стереотипы. Однажды возникшие и вошедшие в печатные работы, а через них и в массовое сознание, они, конечно, преодолеваются с трудом. И дело не только в них самих. Они составили органическую часть идеологии КПСС, одно из важнейших ее направлений и охранялись партией и контролируемым ею государством» (37, с. 288).

сценария – объяснение. Попаданием в самое народное естество, использованием образов и смыслов, давно утвердившихся в национальной культуре, и силен сталинский официоз.

При всей полезности сталинской версии войны режиму, ее адекватности массовым представлениям она не могла составить основу режимной легитимности и народной идентичности. Стержнем сталинского официоза был миф о Сталине – гениальном полководце, который спас страну от смертельной опасности и привел народ к Победе. Главным действующим лицом войны (как, впрочем, и всей советской истории) для Сталина был сам Сталин – не народ, полководцы, солдаты, рабочие и крестьяне. Это утверждают, например, первые послевоенные фильмы о войне, где она показана так, как мечталось вождю – не Великой Отечественной <Оборонительной и Освободительной>, а Великой Сталинской <наступательной и завоевательной>¹. Об этом говорилось в биографии Сталина, вышедшей к его главному (70-летнему) юбилею: «Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу, Сталин привел советский народ к победе... На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки» (29, с. 225, 231). И п.т. Такая претензия – вполне в духе этого лидера, совершенно соответствовала его амбициям.

Война служила тем историческим материалом, из которого вождь лепил образ Сталина – Творца и Спасителя Советской Вселенной. Именно на эту роль он и претендовал, в ней был залог тотальной власти – над людьми, пространством, временем. Земной бог как египетские фараоны², культ которых, кстати, предусматривал поклонение самим себе (фараон-человек поклонялся фараону-божеству), – вот чем должен был быть Сталин «по-Сталину». Этим страстным желанием быть богом Сталин отличался от Ленина с его революционно-партийным вождизмом и разночинным демократизмом.

¹ Триумф власти – главная тема, например, «Падения Берлина» (1950) М. Чиаурели, главного придворного кинорежиссера. Здесь характерно само название – падение, а не «освобождение». Свобода – это не про вождя; она не имела для него ценности. Он ведь и так был свободен (в доступном ему смысле: обладал всей полнотой власти), а в отношении других эта тема исключалась – *свободному человеку не был нужен Сталин*. Победа/Освобождение закономерно превратилась в его руках в раздел мира, порабощение народов Европы (по примеру народов СССР), в военно-силовое доминирование. Причем субъектом такого доминирования был лично И.В. Сталин: он полностью отождествлял себя со страной, которая ему принадлежала и служила. Точны в этом смысле слова, сказанные о нем Б. Окуджавой: «...суть его – пространство и разбой...».

² Символично, что для балзамированного тела вождя поначалу предполагалось построить на Красной площади мини-пирамиду. Уже потом останки родоначальников решили совместить в Мавзолее.

В мае 45-го Сталин получил больше, чем когда-либо надеялся. Теперь для самоутверждения ему не нужно было прошлое (все исторические звезды, засиявшие в войну, как-то потускнели, ушли на периферию; и это понятно: теперь вождь сам был героем-спасителем Отечества); не имело такого, как прежде, до войны, значения будущее. Отныне Сталин видел источник легитимности своей власти не в режиме и не в народе, а в себе, в своей победе. Победоносная Отечественная окончательно превращала Сталина не в «самозванца» от революции, а в народного царя. В таком качестве он и хотел остаться в памяти. История войны – это *его (царская) история*¹. *Сталинский официоз – это не народная и даже не режимная, а сталинская война*. Что естественно: в «Сталин-системе» все (и прежде всего лучшее) должно было принадлежать Сталину. И «разговоры» о «всенародном» характере Отечественной велись им вокруг этого.

Но народ, этот привычно-податливый материал в руках Творца, пройдя войну, преодолев все ее тяготы, разбил сталинскую мечту. Он стал не объектом сталинского «руководства», а субъектом Отечественной, отодвинув вождя с передовой истории в тыл (туда, где он и был всю войну). Сталин не мог смириться с тем, что война не стала *только его* войной (что отчетливо продемонстрировал Парад Победы, после которого Г.К. Жуков вошел в память миллионов советских – и не только – людей как Маршал Победы, причем с подачи самого вождя, у которого попросту не было другого выхода), солдаты – послушными исполнителями *его воли*, реализаторами *его* полководческого *гения*, а победа – *только его триумфом* в истории. Это демонстрируют послевоенные сталинские репрессивная политика и историческое мифотворчество.

Особый, очень личный характер имели два позднесталинских дела – «военных» и «врачей». Они явно выделяются из репрессий как общесоциальных («космополиты») – это история о борьбе с Западом, о «приведении в чувство» интеллигенции; террор против рабочих/крестьян/служащих

¹ Исходил при этом Сталин из той же посылки, что когда-то Грозный, утверждавший: под стенами Казани победили не русские воины, а царская воля (см.: 3, с. 250, 251). Представление о том, что всеми великими делами народ обязан своему царю, традиционно входит в мировоззренческий ряд тиранической, т.е. по-прежнему идеальной (в том числе потому, что «пару» ей составляет безвластие), русской власти. Тот же Грозный открыл другую важнейшую установку из этого ряда: «Когда один немец сказал... что он слышет у всех чужестранцев за тирана, он ответил, что чужеземным властителям легко обвинять его: “те, де, повелевают людям, а он – скотам”» (52, с. 116–117). Очень логично: приобщиться к величию, войти в историю «скоты» могут только через своего грозного властителя. И методы приобщения оправданы: с «ними», «рабами ленивыми, лукавыми», иначе нельзя. Грозненской логикой руководствовался наш великий преобразователь, рубя «окно в Европу». Не был ей чужд и вождь советских народов: воспитывал их в страхе террора, бездумной покорности, жестоком понуждении к «службе», никогда им не доверял (отсюда подозрение в измене и наказание – только по подозрению – целых групп – и социальных, и этнических), но лишь пользовался.

имел перманентный характер, принуждая их к покорности), так и против «элит» (снятие «слоями» партийного «боярства», «перебор людишек» «наверху» для Сталина – просто инструмент управления). Здесь же – нечто большее: так абсолютная власть реагировала на свою ограниченность природой и историей.

«Дело врачей» – совершенно «дворцовое» («кремлевское»): его развязала тотальная и всесильная, но умирающая Власть против тех, кто должен был, но не помог ей победить Время. Только так, репрессией, мог отреагировать Сталин на вдруг открывшееся ему противоречие русской власти: между ее метафизической природой и его, персонификатора, немолимо физиологическим естеством. Вождь уходил – и борьбой с «врачами»-убийцами отрицал неизбежное. Если «дело врачей» было о том, что Сталин не мог быть всегда, то «дело военных» – о том, что он не мог быть всем. Вождь «придумал» главные «легитимационные мифы» советской власти – о революции/гражданской войне и об Отечественной, выправив в «нужном» направлении историю этих событий. И если первый он готов был «делить» с Лениным (см. концепцию «двух вождей партии и революции» в «Кратком курсе»), то отдавать вторую никому не собирался. Борьбой против Жукова Сталин показывал: не может быть двух победителей в одном Отечестве. Однако эта проблема оказалась для вождя такой же трагически неразрешимой, как и проблема смертности/бессмертия.

Реальность народной войны с ее вождями и героями Сталин пытался «переделать» в мифе «вождистской Отечественной». Видимо, как интуитивно гениальному мифотворцу, вождю было понятно, что мифа священной войны со Сталиным, но без Народа-Победителя не получится. В нем не было правды, поэтому он не имел шансов реализоваться в советской культуре. Но от своего проекта Сталин не отказался: покончил с победными парадами, культами маршалов и ветеранов, вернул страх (не погибнуть за Родину, а быть стертым в тюремно-лагерную пыль – тот унижающий и уничтожающий страх, от которого не высовываются, предают, теряют способность к творчеству), немного отступивший в войну. Свое дело в смирении народа сделали послевоенные нищета, разруха, голод. Вождь не отдал Победу, пока был жив.

Хрущевско-брежневская Отечественная – легитимация позднесоветской системы

Сталинский образ войны, по существу полезный для режима и приемлемый для народа, был слишком узок: в нем не оставалось места никому, кроме вождя (таков был и созданный им социальный порядок). То, что это не соответствует новым, послевоенным условиям, было понятно уже при Сталине. Персонификаторы постсталинской системы фактически вы-

полняли историческую задачу «расширения»/адаптации – и порядка, и образа – к современности.

Альтернативная сталинской версия Великой войны была публично оглашена вскоре после его смерти – как символическая заявка на замещение вакантного «поста» вождя/хозяина. В докладе Хрущева, произнесенном вечером 25 февраля 1956 г., после официального закрытия XX съезда КПСС, постулировалось: если бы не ошибки Сталина, то ситуация 1941 г. не была бы такой угрожающей и сражения не потребовали бы стольких жертв; войну выиграл не Сталин, но «партия в целом» и «весь советский народ» (см.: 37, с. 283–284; 63, с. 89). Через антисталинский образ войны легитимировалась новая система – в основе своей сталинская (созданная вождем по своей мерке), но без вождя. Хрущевская версия Отечественной явно имела эманипационный смысл: ее назначение – освободить от Сталина войну, партию, систему и прежде всего себя. Попытка самоосвобождения удалась настолько, насколько это требовалось системе, было возможно в ее рамках.

Борьба Хрущева против образа Отечественной, централизованного на Сталине, была в то же время борьбой за «режимную» войну, которая служила бы всем. Бунт сталинских «назначенцев» против вождя, вылившийся (помимо прочего) в XX съезд, был бунтом всех против одного, «присвоившего» систему. Для понимания режима чрезвычайно важно, что это *посмертное* выступление: сталинские «элиты», опустошенные репрессией, страхом, постоянной борьбой за выживание, не способны были восстать даже против постаревшего, дряхлевшего вождя. Их режим, изначально лишенный внутренней силы, потенции, не случайно сразу нацелился почти исключительно на потребление/передел. Тем не менее революция «назначенцев» против «творца» предполагала и войну с памятью – и о самом Сталине, и о «сталинской Отечественной».

Еще вчера всеисильный Хозяин использовался вчерашними «порученцами» в качестве громоотвода – ему переадресовывались все (внутренние и внешние) претензии к сталинской системе¹. Тем самым они приоб-

¹ «Историографы метнулись из одной крайности в другую. Если в первое десятилетие после войны все успехи и победы в военных операциях приписывались “гению” Сталина, то во второй период <от XX съезда до середины 60-х, точнее – 1965 г.> определяющим стал тезис: коммунистическая партия проводила в жизнь единственно правильную ленинскую генеральную линию, что и увенчалось полной победой в войне, а от Сталина исходили все беды, в особенности накануне войны и в первый ее период (1941–1942 гг.)» (37, с. 294). Такой историографический поворот – не только результат сталинской выучки историков, постоянно колебавшихся вместе с линией партии, но и явная общественная реакция на сталинизм, самоопределение через его отрицание. Об этом хорошо сказал Б. Слуцкий: «Художники рисуют Ленина, / как раньше рисовали Сталина, / а Сталина теперь не введено, / на Сталина все беды взвалены. / Их столько бед, такое множество! / Такого качества, количества! / Он был не злобное ничтожество, / скорей – жестокое величество... / Уволенная и отставленная / лежит в подвале слава Сталина» («Слава», осень 1956 г.).

ретали субъектность, а режим обелялся (очищался от вины, сбрасывал с себя ответственность) через очернение персонификатора/творца. Это, помимо прочего, было своего рода психотерапией – так снимался страх «элит» перед личностью вождя. Страх уходил – основа системы (прежде всего мировоззренческая, определенная ее природой) сохранялась. Порядок, начинавшийся с вспышки антисталинизма, остался сталинским по существу (хрущевский антисталинизм можно определить как «режимный»; он работал не против системы, а на нее). Это означало, что Сталин (Сталин-миф о хозяине/победителе и Сталин-«образец» советского порядка) постсталинизму еще потребуется.

Это едва ли не раньше всего продемонстрировала официальная память о войне. Через эту историю Сталин был разоблачен – в ней же и воскрес. Но не в прежнем виде (Творцом Победы из сталинского мифа Отечественной), а в ином, скорректированном. *Интересы режима требовали превратить войну сталинскую (а потом уже народно-режимную) в войну режимно-народную (а потом уже сталинскую)*. «Минимизация» Сталина в памяти об Отечественной, как и его «изъятие» из Октября («миф основания» отдали Ленину), были одинаково на пользу постсталинизму.

Послесталинский официоз в конечном счете оказался построен на компромиссной версии: не «или/или» (войну выиграл советский народ – вопреки Сталину), а «и–и» – победили советский народ и партия под руководством Сталина. Вполне логичный выбор для «элит»: ведь совершенно устрояя Сталина, они и себя вымарывали из истории войны, оставляли советский народ без руководителей – один на один с врагом. Этот выбор принял и народ, что тоже объяснимо: в конце концов, он действительно и не жил, и не воевал без начальства, без власти. Кроме того, послесталинский официоз строился на утверждении двойной идентичности: народ – победитель/жертва, что, безусловно, соответствовало народному самопониманию. *Ценностный компромисс по поводу войны стал основой социального консенсуса, из которого вырос хрущевско-брежневский порядок.*

В общественном сознании официальная концепция Отечественной – ее история, соотносенная с утвердившимся в русской культуре мифом священной войны и подправленная, измененная, извращенная в соответствии с интересами режима/системы, – утвердилась в брежневский период. Когда к власти пришло поколение, начавшее свой путь во время большого террора, но управленческий опыт и относительную свободу действий получившее во время войны, именно Великая Отечественная стала основным советским символическим проектом. Причины достаточно очевидны.

Во-первых, Отечественная явилась фактором, гораздо более легитимизирующим советскую систему, чем Октябрьская революция: она была ближе, живее, наделена исключительно объединяющим смыслом. Октябрь

17-го – первоначальный акт творения коммунистической вселенной – в позднесоветский период только формально оставался «главным событием» XX в. Это лучше всего свидетельствует о скрытой декоммунизации/деидеологизации, происходившей в недрах режима.

Во-вторых, с войной не просто были связаны личные истории нового советского руководства, хотя и это имело значение¹. Речь шла о консолидировавшей номенклатуру и связывавшей ее с народом памяти о начале постмобилизационного, «невоенного» порядка, придававшей ему высокий (не- и надпотребительский) смысл. В поисках «идеи», его возвышающей и оправдывающей, тот порядок (как и этот, нынешний – его продолжение) просто не мог пойти другим путем. Брежневское руководство фактически «зафиксировалось» у власти тем, что объявило День Победы нерабочим, восстановило статус ветеранов и т.п. С 1965 г. создавался культ войны, породивший целую систему ритуалов, с которыми сроднился советский человек.

Внедряли подновленную версию Отечественной в жизнь (т.е. в массовое сознание) по-прежнему «служилые» (еще сталинские, а также их наследники) историки. Современные исследователи справедливо указывают, что «политика истории» и историческая наука в послесталинском СССР следовали указаниям не доклада Хрущева, а июньского 1956 г. постановления ЦК КПСС, направленного против десталинизации, где не упоминалось о преступлениях и ошибках Сталина в связи со Второй мировой войной (см.: 37, с. 294–297; 63, с. 89)². Уже в 1965–1968 гг. партийное руководство фактически запретило историкам (а также писателям, публицистам, деятелям искусства) изображать прошлое «только под углом зрения культа личности» и тем самым заслонять «героическую борьбу советских людей, построивших социализм». Резкой критике были подвергнуты те из них, кто при рассмотрении Отечественной брал за отправную точку неудачи первых месяцев, негативные эпизоды военной истории. Таких исследователей (литераторов и проч.) обвиняли в умалении «огромной работы партии, правительства, народа по подготовке страны и армии к отражению фашистской агрессии», принижении «величия героических

¹ «Для новых советских руководителей военных экстремальный опыт был *главной эмоциональной ценностью*, которую они могли разделить с большинством людей своего поколения», – отмечает И. Кукулин (36, с. 332).

² Тем самым в послесталинском порядке воспроизводилась сталинская логика работы с историческим материалом: история делилась на «выгодную», полезную для эксплуатации в интересах режима (или, выражаясь режимным языком, для военно-патриотического воспитания), и «невыгодную», которую характеризовали как «очернительство» (37, с. 297). Эта логика у нас постоянно торжествует (как «наверху», так и – теперь уже – в «массах») в ответ и для прекращения естественного процесса свободного исторического познания. Поэтому наша история (ее массовый проект) вовсе не так непредсказуема, как принято думать; напротив, она навязчиво повторяема.

подвигов советских людей, разгромивших под водительством ленинской партии сильнейшую армию империализма», попытке «дегеронизации нашей военной истории», вредной для воспитания советской молодежи (см. об этом: 37, с. 295–297). «Служилые» историки (и т.п.), как и при Сталине, выполняли задачу популяризации официоза – брежневского по форме, сталинского по существу¹.

Сознательное и целенаправленное конструирование советской военной мифологии в массовом искусстве/культуре началось с «Живых и мертвых» К. Симонова (этой попытки создания советской «Войны и мира»), продолжилось «лейтенантской» прозой (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Курочкин и др., конец 1950-х – 1960-е годы). Надо сказать, что именно литературная память войны была особенно сложна и неоднозначна². Став одним из истоков официальной концепции, она в то же время была попыткой сказать правду о войне – ее ужасе, жертвах, вине власти и трагедии народа. Эта тенденция, окончательно определившаяся в прозе В. Быкова, В. Астафьева и др., противоречила официозу, поэтому «военная» литература могла быть использована им лишь отчасти. С середины 1960-х его «опорой» стали маршальские и генеральские мемуары об Отечественной, где она предстала героическим повествованием о Победе³.

Наибольшее влияние на сознание советского человека имели тогда кино и телевидение. Они и сыграли решающую роль в создании военной мифологии. Как раз на «пике» брежневизма были сняты установочные для советского массового сознания фильмы – прежде всего эпопея «Освобождение» Ю. Озерова и Ю. Бондарева (1968–1972), где опять появился «Сталин» как руководящая и направляющая сила и ум войны, а маршала Жукова впервые сыграл М. Ульянов. И сразу фактически стал им, во многом обеспечив успех фильма: доверие зрителя к этому «корневому», но «правильному», настоящему русскому мужику в образе Маршала Победы (и своего рода «контр-Сталина») было и остается абсолютным. Озеров-

¹ Исследователи указывают: «Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. концепция истории Великой Отечественной войны была несколько скорректирована, обновлена и приведена в соответствие с политическими требованиями периода... застоя. Новая концепция мало чем отличалась от сталинской, разве только тем, что имена Сталина и его приближенных назывались реже, а дифирамбов в честь народа стало больше» (37, с. 302). Здесь вырисовывается четкая логическая цепочка: сталинская война – сталинский порядок. Сталин (как идея, миф, система ценностей) продолжал присутствовать в хрущевском и брежневском порядках. Пока в мировоззренческом отношении они оставались сталинскими, СССР был страной Сталина.

² Об освоении военной темы советской литературой см., например: 36, с. 324–336.

³ «Мемуары военачальников, как свидетельствуют данные тогдашних зондажей социологов, в немалой степени составили основу массового читательского спроса в библиотеках и широкого чтения 1970-х гг.» (26, с. 362–363).

скую эпопею и сейчас нечем заменить в массовом («военном») кино, в «те-лепамяти» об Отечественной.

«Освобождение» (характерное, между прочим, название – «рифмуется» с одним из стихотворений Ю. Друниной: «О, хмель сорок пятого года! / Безумие первых минут! / Летит по Европе Свобода...», утверждающее: смысл нашей лучшей войны – в Победе над злом, освобождении от него и своего Отечества, и Европы) показало, как надо снимать войну¹. В нем, помимо прочего, материализовалась важнейшая установка сознания послевоенного человека (и простого и не очень): Сталин – Сталиным, но главное действующее лицо войны – советский народ. В одно время с общенародным военным кино появились «специальные» фильмы для разных слоев населения: свои для защитников Ленинграда («Блокада», 1973–1977), для труженников тыла («Особо важное задание», 1980), для интеллигенции (скажем, «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Женя, Женечка и Катюша», 1967 г.) и т.п. В другой кинолинии, представленной фильмами «Летят журавли» (1957), «Балладой о солдате» (1959), «Ивановым детством» (1962), «Белорусским вокзалом» (1970) и др., война «раскрывалась» через человека. Все это были «варианты» народной войны – живые, искренние.

Так творилась экранно-литературно-художественная эпопея войны – разнообразная (в рамках дозволенного) и одна на всех. Процесс творения военного «эпоса» активно поддерживался и строго контролировался «сверху». В общем, делалось это вполне умно: выполнялось главное требование эффективного продвижения – чтобы в ложь поверили, она должна быть хотя бы отчасти правдой. Правдой официоза были Победа, народный героизм и народные страдания; ложью – сталинская интерпретационная конструкция, врезанная в живую ткань подлинной войны.

Художественные образы оживляли официоз, подчиненный прежде всего целям власти/управления; «через» них он внедрялся в жизнь. *Объединяющим мифом войны – той Великой Отечественной, какой она должна была быть с точки зрения элит, – замечались личные и коллективные*

¹ В киноэпопее представлена «доминантная конструкция войны или интерпретации военных событий» – «история победы, тоталитарного триумфа». «Первые, наиболее драматические годы войны, тем более – предыстория... или ее социальные, моральные и человеческие коллизии в этой преимущественно батальной панораме, выстроенной с точки зрения верховного командования, отсутствуют». «Все прочие версии носили лишь характер жанровых разработок этой темы... выступали в качестве дополнения или аранжировки темы героического самопожертвования, испытания на верность, на подлинность человеческих ценностей и отношений (“Проверка на дорогах” А. Германа), но не предлагали никакой иной версии понимания войны, кроме господствующей» (11, с. 53–54).

*воспоминания, «улучшались» частные военные истории*¹. Официальная версия войны стала основой социализации; на ней строилось обучение, вся система массовых военных ритуалов. И цель режима была достигнута: даже количество в процессе творения и жизни официоза переходило в качество; навязчиво повторявшийся безальтернативный официальный образ войны стал реальностью для миллионов советских людей.

Почти бессознательное принятие официоза в качестве военной памяти объясняется не только традиционным «подданничеством» советской массовой культуры, привычкой советского человека потреблять – во всяком случае, официально, вместе со всеми, напоказ – «спущенный сверху» продукт. «Нормализованная» Отечественная, величие которой в Победе, с приемлемым и контролируемым уровнем боли, со своим культом святых-мучеников, вполне соответствовала брежневской эпохе – стабильной, устойчивой, относительно сытой, потреблявшей, конечно, но в меру, без фанатизма, уверенной в себе (в незыблемости сверхдержавной мощи, конкурентоспособности социалистического проекта). Эпохе «нормализации» советского порядка (возникшего в процессе гуманизации/разложения основ, созданных героическо-кровавыми – не по человеческой мерке – основоположниками) требовалась своя война: не гнетущая, ужасающая и сверлящая единственным вопросом – как это могло быть?, но лишь будоражащая, заставляющая сопереживать, а главное – придающая уверенность в осмысленности и прочности собственного существования. Войну «нормализовали», подправив ее под ситуацию – новый режим и новый народ. (Замечу в скобках: «нормализация» парадоксальным образом была связана с ростом официально признанных военных потерь – тогда они уже не переживались так остро, как во второй половине 40-х. Кроме того, к 70-м годам в массовом сознании прочно утвердился стереотип: великая война – великая жертва. Причем, жертва неперсонифицированная, даже анонимная: не случайно самый известный символ Отечественной – Могила Неизвестного Солдата.)

Показательна позиция ветеранов, участвовавших в создании позднесоветской военной памяти. «Брежневский» ветеран принципиально отличался от ветерана середины – конца 40-х. Прошел ужас, притупилась боль, усталость от войны сменилась ностальгией. «Брежневский» мир уже не оскорблял человека войны забвением и тотальной переделкой воспоминаний, как сталинский, а воздал по заслугам, приобщил к высокой миссии популяризации военной, т.е. и его личной, истории. А история все же не жизнь и вспоминать «по официозу» «благообразнее», надежнее, целесооб-

¹ Под мифом здесь имеется в виду военный официоз, стянувший к себе все (даже отчасти ему противоречившие) образы Отечественной. Он вдвойне мифологичен: связью с культурным мифом священной войны и сталинской версией Отечественной.

разнее¹. Поэтому «брежневская» дозированная, смягченная и скорректированная память о войне – это и память удовлетворенных, стареющих, «коррупцированных» системой и ей «послушных» ветеранов. Они придавали ей легитимность, подтверждали ее фактически – собой.

По мере того как война уходила в прошлое, а молодые поколения утрачивали с нею связь, нарастала потребность в ней как символическом проекте. В брежневскую эпоху одновременно происходили (и сложно взаимодействовали) процессы забывания и сакрализации войны. Чем больше ветшал («обмирщался»/нормализовывался) режим, тем более он нуждался в Отечественной как источнике патриотических ценностей, консолидирующих смыслов². Массовый же советский человек, забывая Отечественную, все больше превращался в потребителя ее официальных образов. Причем, участвуя в официальных церемониях, памятных ритуалах, он не только и не просто демонстрировал лояльность системе. Военный символический проект удовлетворял его потребность в святом/священном. Отечественная напоминала о «правильном», суровом, но простом и понятном миропорядке, в котором осмыслено все – жертва, жизнь, подвиг (об этом – герой А. Папанова в «Белорусском вокзале»: как будто мы снова на фронте и все ясно – там враг и наше дело правое). Сравнение с ним – своего рода самокритика брежневизма, гнавшего от себя высокие смыслы, освобождавшегося от советских идеалов во имя «нормальной», мещанско-потребительской жизни³. Для людей брежневской эпохи война – напоминание о том, каким должен быть «настоящий» советский человек, и указа-

¹ Официальная версия Отечественной, по мнению некоторых исследователей, неявно обосновывала идеологию «через генерационную солидарность»: «Нарастающая консервативная тенденция придала мифу отчетливо ретроспективный характер: миф... стал апологией поколения, прошедшего войну, объяснением априорной правоты старшего поколения, которое выстрадало на войне подлинные ценности. Одновременно этот миф стал эффективным средством вытеснения из общественного сознания результатов молодежного брожения 1960-х и появившихся в это десятилетие настроений, связанных с желанием модернизации, психологического обновления общества, сближения с Западом» (36, с. 333).

² Точной представляется следующая характеристика: «В СССР 1950–1960-х годов, несомненно, имел место кризис идентичности, связанный с шоком от войны, эрозией советской идеологии и представлений о легитимности советского строя, но в подцензурной литературе этот кризис был в значительной степени замолчан, подавлен, его рефлексия отвергалась самими участниками культурного процесса... В условиях замалчиваемого, но осязаемого кризиса советской идеологии в 1970-х годах единственным объединяющим общество мифом мог стать миф о войне и победе». Идеология 1970-х «относила войну к абсолютному мифологическому прошлому и делала ее основой легитимации сегодняшнего режима» (36, с. 332–333).

³ Так, «лучшие фильмы советских 1960–1970-х годов... пронизаны ощущением утраты полноты и экзистенциальной определенности жизни, которая... ассоциировалась с поколением отцов, ставших «ветеранами», или молодых, погибших на войне» (12, с. 639).

ние на то, что они не таковы. При этом память о войне несла в себе страх чрезвычайщины, к которой никто не хотел возвращаться.

Чем дальше уходила Отечественная, тем более схематизированными и мифологизированными становились массовые представления о ней. Массовая память полностью соответствовала мифологическому сценарию, воспроизводившемуся и в советском официозе: вероломное нападение – неисчислимые жертвы, иго (т.е. оккупация) – «коренной перелом» – победа. Логика мифа, реализовавшаяся в массовых представлениях о войне, проста и потому понятна всем: на «начальном этапе» неизбежны поражения; массовый героизм, лишения, тяжелейший труд в тылу и бесконечные военные потери – обязательная плата за победу. Таково устойчивое, имеющее корни в культуре восприятие Отечественной советским человеком, которое плохо поддается изменению. Более того, *такая война и есть советский человек – его память, его мировоззрение.*

Парадокс состоит в том, что в том образе войны, который «сделал» советского человека, ценностей и смыслов, связанных с человеком, было до крайности мало. Отечественная советского официоза не столько жертвенная, трагическая (и потому священная) история о войне, сколько героическое повествование о победе, военный эпос о солдатах, командирах, полководцах и генералиссимусе. Это рассказ не столько о подвигах людей, сколько о триумфе вождя, государства, системы. Официоз воспевает не столько справедливую борьбу за национальную независимость и общеевропейскую победу над фашизмом, сколько имперское торжество, прорыв к едва ли не мировому господству. Сталинско-брежневская Отечественная стротся на традиционных российско-советских доминантах: силе власти, мощи государства, сражающихся и трудящихся «до последней капли» во имя Победы массах, покоренных пространствах. В этом смысле она, безусловно, полезна режиму, каким бы он ни был – сталинским или хрущевским, брежневским или путинским.

Из войны и официальной памяти о ней «вырос» советский народ как «новая историческая общность». «По» официозу не только представляли войну миллионы; на него центрировалась и им оплодотворялась официальная (она же единственная – других для массового сознания не существовало) версия советской истории. В соответствии с ним, через военные аналогии и категории моделировалась советская культура. В конечном счете без военной эпопеи не было бы ни советской эпохи с ее достижениями, ни советского массового общества.

Не случайно именно критическая «проработка» истории войны стала одним из главных факторов разрушения советского символического

универсума¹. Несмотря на принятое мнение, «перестройка» (процесс перемен конца 1980-х – начала 1990-х годов) не была связана с утверждением совершенно нового образа Отечественной. Достоянием гласности стало все то, что уже было известно, о чем догадывались, что наработали со времен «оттепели», – факты, источники, интерпретации, находившиеся в тени официоза. Однако придание оттепельному «материалу» публичности, появление массы новых фактов, документов, критических интерпретаций (да еще по «обвальному» сценарию – все и сразу) произвели ошеломляющий эффект: были восприняты как культурная революция (в смысле разрушения/«отречения» от «старого мира»). «Перестроечные» образы Отечественной сделали явными (доступными, обсуждаемыми, легитимными) смыслы, противоречившие тем, с которыми «срослось» массовое советское сознание. Такое воздействие имело для него как разрушительное, так и эмансипационное, преобразующее, созидательное значение. Весь вопрос в том, в какую ценностную, смысловую систему координат оно вписывалось.

Именно в отношении Отечественной постсоветский человек впервые так отчетливо заявил о себе как об *усомнившемся, но не уверовавшем*. От «перестройки» у него остались вопросы к советской истории, но другой-то у него не было. Отказаться от нее, да еще в момент, когда ему было так плохо и настоящее «било» со всех сторон, он не мог. Постсоветская современность постоянно указывала нашему человеку на то, что он *жертва*; прошлое же позволяло компенсировать это депрессивное ощущение. Оставив где-то на периферии сознания «перестроечные» вопросы, наш человек принял победно-героическую, жизнеутверждающую риторику и символику официоза прежнего, ставшего уже историей режима. *В новый мир он пошел, вооружившись старыми образами прошлого и теми ценностными ориентирами, которые они давали*. Этот выбор определил перспективы – и мира, и человека.

Результатом «перестройки», имевшей целью «перезагрузку» ценностей, «переопределение» идентичности и выработку новых социальных перспектив, явились декоммунизация (т.е. отказ общества руководствоваться какой-либо общеобязательной системой представлений/ценностей), создание посткоммунистического социального порядка и его советизация. Случилось все – и ничего. Изменились все параметры существования человека, общества, страны – доминирующий человеческий тип (с его базовыми ориентациями, стратегиями социального действия) остался прежним. И определил вектор движения – лицом к прошлому: не к истории, а к

¹ В конце 1980-х «никакая другая дискуссионная тема не привлекала такого большого числа участников, как Великая Отечественная война. В силу своего высокого эмоционального воздействия проблема... войны была первой тематизируемой проблемой в исторической дискуссии, одновременно представлявшей наиболее сложной для детабуизации» (63, с. 92).

своим представлениям о ней, пусть когда-то ему и навязанным, но ставшим привычными, очищенным от сложностей реальной жизни, идеализированным.

Едва попытавшись на рубеже 1980–1990-х годов вообразить себя новым, свободным, самостоятельным обществом (а именно об этом – «оттепельно-перестроечный» образ Отечественной), мы так испугались, что шарахнулись назад – к дисциплинирующей полицейщине, сужению пространства публичности и плюральности, «восстановлению основ». В поиске надежных страховок, подтверждающих правильность привычного социального порядка и гарантирующих его неизменность, естественно обратились к войне. Это исторически определившийся путь «нациостроительства» – и в нынешней ситуации распада всех традиционных форм общности его символическое значение неизмеримо возросло¹.

Новый режим – «старая» война

Обращение постсоветского режима к сталинско-брежневской войне объясняется вполне рациональными соображениями. Его управленческие ресурсы (прежде всего привычные – насилие, страх, жесткий и тотальный идеологический контроль) крайне ограничены; их недостаток компенсируется использованием ресурса символического. Главный и самый ценный – «полезное» прошлое, обладающее мощным легитимационным потенциалом². И здесь выбор войны, причем в ее сталинско-брежневском варианте, был если не предопределен, то наиболее вероятен. Ведь он как бы легитимировал выбор социального большинства, смысл которого очевиден: стабилизация постсоветского порядка через дальнейшую потребматериализацию и советизацию. Символическая политика власти послужила реализации этого социального запроса. Здесь воля народа «совпала» с властными интересами.

Постсоветский мир для идентификации и легитимации должен был выбрать войну – просто потому, что выбирать оказалось не из чего. В ельцинской России не сложился демократический национально-патриоти-

¹ Следует учитывать, что в России вообще и особенно в XX в. каждое новое поколение конституируется через войну – память о прошлой великой Победе и ожидание будущего столкновения с внешним врагом. В XIX в. «точкой отсчета» была «первая Отечественная», в 1920–1930-е годы жили воспоминаниями о революции/гражданской и предчувствием мировой войны. Послевоенные поколения самоопределялись через Отечественную и холодную. Новизна нынешней ситуации – в том, что нет исторически близкой «своей» войны (афганская, чеченская и т.п. на эту «роль» не подходят) и реальной (не имитационной, «замещающей») «нацеленности» на будущее военное противостояние. Поэтому основой нашего определения является только Отечественная.

² О специфике исторической легитимности постсоветской системы (и уже – путинского порядка) см.: 49, с. 92, 96–98.

ческий миф. В этом отношении показательна неудача превращения в «места памяти» (установочные для массового сознания исторические события) двух дат: 21 августа (подавление путча 19–21 августа 1991 г.) и 12 июня (принятие Декларации независимости РФ). Они не смогли составить основу объединяющего идентификационного проекта («мифа основания»). Неудача во многом объясняется не массовыми симпатиями или антипатиями, а политикой режима. С содержательной точки зрения «ельцинизм» был попыткой построить новую легитимность на отторжении советского. Попытка не получилась – прежде всего потому, что на негативном фундаменте «миф основания» создать нельзя. У новой России не было того, на чем базировался, например, миф о ФРГ: отрицание гитлеровской Германии уравнивалось не только принятием демократических ценностей, но и идеей строительства пацифистской, технически продвинутой, успешной страны с процветающей экономикой. Этот «проект» определял перспективы, в проекции которых «рассматривались» настоящее и прошлое.

Российский режим, выросший из демократических преобразований, не сформировал символического фундамента «новизны», не дал демократическому «проекту» исторического обоснования. Для этого не было предпринято каких-то значимых усилий. Режим всерьез даже не попытался использовать демократический потенциал событий, действительно фиксировавших тот перелом, которым стал для России 1991 год. Именно на этих символах *могла и должна была* основываться новая самоидентификация общества, связанная с утверждением и соответствующей трактовкой истории¹. Именно и только тогда, в 1991–1992 гг., была почва для конструирования «живой» традиции: с датами «демократического начала» общество (во всяком случае наиболее активная и влиятельная его часть) чувствовало позитивную эмоциональную связь. Уже к 1994 г. в стране, прошедшей через самый болезненный этап гайдаровских реформ, труд-

¹ Б. Дубин указывает на существование у новой России возможности выбора между двумя историческими «траекториями». Первую, по его мнению, могли бы различать следующие символические даты: 1945 (Победа), 1956 (XX съезд), 1986 (возвращение А. Сахарова из горьковской ссылки) или 1989 (Первый съезд народных депутатов либо же кончина Сахарова), 1991 (август и декабрь). В рамках этой траектории, которую исследователь называет путем к свободе, неизбежен пересмотр «значения, фигур и событий» Октябрьской революции, 1920–1930-х годов, войны и т.д. Узловые точки другой траектории («возврата к несвободе»): 1945 (Победа), 1961 (полет Гагарина), 1986 (Чернобыль), 1991 (распад СССР), 1999 и т.д. Выбор в пользу такого взгляда на XX в. означал «символический возврат к советскому, но демобилизованному и разобщенному, раздвоенному и лукавому, равнодушному и всеядному, все более циничному состоянию коллективного сознания» (24, с. 15). Очевидно, что каждая символическая цепочка может быть продолжена и дальше в прошлое. Причем, каждый раз именно ценностная перспектива определяет отбор событий, лиц, значений; в соответствии с ней формируется семантика символов, выстраивается историческая традиция.

нейший 93-й, начало чеченской войны, эта связь ослабла. Демократическая перспектива оказалась под вопросом, а потом и вопрос был снят. К середине 90-х в общественном сознании произошел поворот: идею (томления, мечтания, рассуждения на тему) «стать другими» победил страх «только бы не стало хуже», проблематику и символику перемен вытеснили образы «порядка» («стабильности»/«безопасности», «вождизма»/«подданничества», «особого пути»/«державного величия»)¹. Перестройка, август 1991 г. для большинства населения стали символами «распада, утраты, катастрофы» (24, с. 19), знаком не «начала», а «конца» привычного существования. Эти символические события составили своего рода негативное основание нового (путинского – послесоветского) «порядка». Компенсацией негатива в режимной «легенде» послужила героическая, мемориальная советская история.

Сегодня демократические даты государственного календаря, как и «эмансипационная» версия истории (прежде всего советской), по существу, бойкотируются; большинство общества и власть отказывают им в каком-либо позитивном содержании. У «новой» России нет символического «начала», что не просто ставит под сомнение ее новизну. Тем самым как бы снимается (переводится в область несуществующего, ошибочного, подлежащего исправлению) конец Советского Союза. РФ коллективно воображается как нечто неокончательное, что позволяет полагать СССР чем-то возможным, восстановимым². Пожалуй, это главная, общая для власти и подвластных иллюзия нынешнего порядка и потому – основа его

¹ Социологи фиксируют: уже к концу 1993 г. «главным приоритетом населения стала “порядок и стабильность”». Начали нарастать ожидания «твердой руки», отрицательное отношение к Западу, особенно к США, а вместе с тем – укрепляться (не в последнюю очередь с помощью телевидения) риторика «особого пути», «возрождения великой державы», особых качеств «национального характера...». После середины 90-х «процесс делиберализации публичного поля и неорационализации массового сознания (во многом под воздействием медиа) пошел все более активно. Недаром Горбачев, а затем и Ельцин стали для жителей России сугубо отрицательными фигурами. На горбачевское и ельцинское, еще совсем близкое время россияне перенесли теперь не только тяжелые годы экономических реформ и потерянных надежд, но и воспоминания о еще более давней нищете и дефиците, униженности и бесправии десятилетий советской жизни» (20, с. 102–103).

² СССР, в массовых представлениях, – это не экономика, культура, даже не общее прошлое. Это прежде всего и в основном пространство, география – «свой» мир, мощь которого измерялась километрами. В этом смысле показательно, что «большинство россиян не считают страны, образовавшиеся на территории бывшего СССР, в точном смысле слова «зарубежными». Вынужденная необходимость в отдельных случаях все-таки признавать этот факт... служит... лишь источником дополнительного раздражения» (23, с. 31). Исследователи отмечают также, что в историческом сознании и российской массы, и элиты не сложилось представления о странах и регионах Центральной, Восточной Европы (т.е. принадлежавших СССР или «соцлагерю») как о «самостоятельных социальных, политических, цивилизационных образованиях» (21, с. 14). *На уровне ментальном это пространство остается «нашим», а значит, под историей СССР не подведена черта.*

легитимности. В неопределенности/«неокончателности» – не только препятствие на пути формирования новой гражданской идентичности, но и возможность маневра для режима, позволяющая ему выигрывать в любых обстоятельствах. Не будучи определен, он может быть авторитарным, оставаясь формально демократическим, опираться на разные идеи и социально-политические силы – либералов и патриотов, советчиков и антисоветчиков, западников и почвенников. Оставил же эти иллюзии и возможности «путинизму» в наследство демократический «ельцинизм» – и вовсе, как мне представляется, не по недостатку (или, напротив, избытку) политических воображения, воли и проч.

Режим 90-х был слишком занят собой (политическими конфликтами, войнами за собственность, борьбой за сохранение места в мировой политике, выборами и т.п.), чтобы заниматься страной. Главным для него было обустройство не демократии, а демократов. Характерно, что первый из них, Ельцин, был по преимуществу нацелен не на самоопределение России, а на определение собственной власти. И то, как он ее определил, указывало на перспективы российской демократии. Ельцин пошел привычным для русской власти «кратократическим» путем, который естественно привел его в Россию до- и антисоветскую. Историческое обоснование новой властной конструкции – лидер без партии, Политбюро, идеологии и проч. (т.е. верховная власть без традиционных советских ограничителей) – он нашел в самодержавии. Отсюда – возвращение церкви и дореволюционной символики властнодержавного величия, президентский церемониал, евроремонт Кремля, даже «двор» и «семья». «Негативный», стихийный демократизм Ельцина, т.е. антикоммунизм и бунтарство («природный анархизм» русского мужика), вполне укладывался в «легенду» постсоветского «самодержавия».

Выборы – та цена, которую Ельцин должен был заплатить современному миру за то, чтобы быть «самодержцем». И он эту цену платил сполна (самоубийственной была для него борьба за самодержавное президентство в 1996 г.). Его «самодержавие» – действительно выборное; Ельцин – царь от выборов, самодержец эпохи «прямой демократии». И именно с выборами оказалось связано растаскивание власти: чтобы победить, Ельцин вынужден был делиться ею, расплачиваться властью за власть. В конце концов выборы «съели» новорусское «самодержавие». Когда власти осталось так мало, что он и в своих (не только в народных) глазах выглядел больше самозванцем, чем самодержцем, Ельцин ее отдал. Утрата власти, а не только здоровье, заставили его пойти на отречение. Причем здесь он действовал как политик, имевший опыт и советской «подковерной» игры, и постсоветской публичности. Выбор же наследника – скорее, в самодержавной логике: Ельцин «поставил» того, кто был в силах «собрать» власть, восстановить «самодержавие» – пусть и нейтрализацией

того самого политического выбора (принципа выборности), который был необходим для самоутверждения «ельцинизма» и всего постсоветского порядка.

Интересами удержания власти объяснялось и обращение ельцинского режима к войне. Хотя и здесь Ельцин вел себя как самодержец и демократ, публичный политик и советский бюрократ, жонглируя разными стратегиями. Социальный климат в ельцинской России определяли мировоззренческая и интеллектуальная свобода, плюрализм, дискуссионность. Впервые ни власть, ни общество не ограничивали исследовательский поиск. Это создавало совершенно новые условия и возможности изучения Отечественной, которые дали свои плоды. Благодаря краху идеологии (а вместе с ней и среди прочего – системы «военно-патриотического воспитания») война перестала быть средством «штамповки» лояльных граждан. Она (как и вся советская история) обратилась в зону «неизвестного», проблематичного; не поставляла ответы, а вызывала вопросы. Это делало ее трудноразрешимой образовательной задачей и привлекательным событием (постоянным информационным поводом) для масскульта. Но главное – в том, что в новой России отношение к Отечественной впервые стало *не государственным, а частным* делом. Для общества, воспитанного военным официозом, это имело революционное значение. Власть и здесь не мешала людям (в этом – мера ее новизны и демократичности). Однако когда ей понадобилась война, она (вполне по-советски) приступила к ее «присвоению» и политическому «использованию».

В ситуации острейшего кризиса легитимности, накануне сложнейших выборов (парламентских и президентских) ельцинская власть напомнила народу о событии, которое всегда давало необходимый психологический, культурный, идеологический эффект. 9 мая 1995 г. на Поклонной горе состоялся парад, на который Б. Ельцин пригласил западных лидеров – Б. Клинтона, Ф. Миттерана, Д. Мейджера, Г. Коля и др. Тем самым российские власти показали народу: весь мир признает, что СССР – (и наследующая ему) Россия сыграли решающую роль во Второй мировой войне; мы не забыты; если не страх, то уважение не потеряно. Праздник вновь получал государственное значение и звучание. Зацепившись за войну/Победу, «ельцинизм» стал наращивать легитимность. Через военный миф, по существу, начался возврат «новой России» к реабилитации и легитимации советского (символики, истории, системы ценностей) как своей основы. Так ельцинский режим, имевший несколько вариантов развития, встал на путь, который привел его к «путинизму». На этом пути и вовсе ничего, кроме победоносной Отечественной, у него не оставалось.

Путинский режим сделал войну/Победу своим историческим фундаментом, единственной символической «площадкой» единения с народом. К середине 2000-х он преодолел демократическое наследие «лихих

90-х»¹, перестройку–распад СССР объявил геополитической катастрофой, официально отказался от 7 ноября, учитывая, что не только революции, но и перемены/реформы по преимуществу отрицательно воспринимались россиянами². Призванный заместить его День народного единства пока не «заработал» – смысл его населению не очень понятен. Хотя с точки зрения власти эта дата вполне адекватна: так «новые управленцы» (послереволюционная «когорта» «служилых людей») обозначили конец «смуты» 90-х и свой приход. По большому счету, режиму 2000-х оставалась для самоутверждения только война. Причем именно в сталинско-брежневской интерпретации: «по-брежневски» медиатизированная (сейчас, в эпоху массового информационного потребления, о войне не читают – ее смотрят³), посталински препарируемая.

¹ «Путинизм» рассматривается людьми как продолжение советского порядка, но в новых условиях. Изначально так и формировался массовый «настрой» на Путина, в этой проекции и выстраивался его образ. Поэтому люди с готовностью приняли символическую нейтрализацию ельцинских 1990-х как «антипорядка» (смуты), а также конструирование преемственности с идеализированным советским временем – декорирование «путинизма» под «удушенный брежневизм». Одобрению не мешало даже то, что декорации были явно заемными: стратегии и технологии продвижения лидера соответствовали современным западным стандартам.

² Здесь, правда, следует обратить внимание на одно существенное обстоятельство. Революционный миф, бывший установочным в 1920–1930-е годы, померк уже после войны, растратил свою энергетику. В новом же, посткоммунистическом, мире он попросту не работал. Это лучше всего свидетельствует: этот мир оказалась *послесоветским* (культурно-генетическим продолжением хрущевско-брежневского), но *«антиоктябрьским»* – он противоречит социальным смыслам той революции. Фактически целью горбачевской перестройки было сохранение социализма при избавлении от «советизма» – мировоззренческой основы советской системы, заложенной Сталиным. Получилось ровно наоборот: все социальные достижения старого порядка ликвидированы, мировоззрение осталось. Если раньше его отчасти сдерживала и дисциплинировала гуманистическая социальная идея, то теперь его внутреннюю агрессию гасит только массовый потребительный гедонизм. Однако советский культ личности и постсоветский «культ наличности» суть проявления одного и того же мировоззренческого, ценностного «комплекса». Наш современный социальный «проект» есть закономерный результат эволюции власти и социального порядка, рожденных Октябрем (см. об этом: 48, с. 52–64). Они развивались так, что убивали лучшее в себе, подавляли те тенденции, которые позволили бы «советизму» мирно эволюционировать (сейчас очевидно, что выжить он мог, только соединив социал-демократическую идею с «космополитичной», глобализирующей практикой массового потребления). В постсоветских условиях прошлое «восстанавливается» в сфере образов, в мифологической форме. Так, чем более определенным становится нынешний режим, тем выше социальный спрос на Октябрь как миф о русской революции во имя справедливости и равенства.

³ Современная массовая память о войне питается массмедийными (прежде всего телевизионными) образами. «Телевизуализация» памяти придает ей «искусственную сверхправдивость» и в то же время обрекает на имитационность. *Массовое сознание имеет дело не с историей, а с репрезентациями Отечественной в массовой культуре; память о ней – продукт по существу одного и того же, неизменного с 1960–1970-х годов, видеоряда.* Война для среднестатистического россиянина – лишь образ, телекартинка, сделанная в советское

Поначалу в версии войны, на которую сделал ставку *«режим стабилизации» («ранний путинизм»)*, было больше от Брежнева, от духа той эпохи. И это не случайно. Народ нуждался в «застое»; власть и «путинские элиты» – в том, чтобы отсечь общество от участия (прежде всего политического), отвлечь от политики, наладить на этой основе позитивные связи с социальным большинством. Предпочтения одних совпали с интересами других. «Старые» телеобразы Отечественной (вообще, советский «ряд образов»), путинский победный церемониал, советизированный имидж постелельцинского президентства «возвращали» еще советских по существу людей в 1970-е – по-своему уютные и вольготные, сытые и самоуверенные. Настоящее воображалось как подобие брежневизма, пропущенного через механизмы ностальгии и идеализации. Как и тогда, «застой 2000-х» освящался и наполнялся смыслом через Победу. Новую жизнь получили не только старые образы Отечественной, но и прежние значения.

Власть, имитировавшая «застой по-советски» (и тем прикрывавшая свою новизну/несоветскость), в отношении войны ожидания своих граждан не обманула. Она *легитимировала их привычные, ставшие своего рода «здравым смыслом» воспоминания*: война началась 22 июня 1941 г. и явилась для советского народа оборонительной и справедливой; народные героизм, страдания и жертвы искупило и вознаградило Чудо Победы (пожалуй, только в «возрождении» чудесной природы Победы и подключении к этому церкви состоит новизна нынешнего «проекта»); другой войны не было – СССР лишь защищался и только освобождал. «Путинская» Отечественная поначалу не просто была преемственна с брежневской официальной историей; она ее дословно повторяла¹.

При этом, однако, логика советского официоза оказалась доведена в ней до той степени завершенности, которая дается почти полным отсутствием знаний и окончательным торжеством исторической мифологии. Очищение образа войны от идеологии компенсировалось усилением мифологии. В военном официозе нашего времени сценарий мифа священной войны реализовался еще полнее, чем в советском. Мифологический «крен» вполне соответствует состоянию массового сознания, впавшего в

время или в 2000-е годы по одним и тем же лекалам (меняются только «формат», технологии, лица, а главное – «контекст»). При всей своей условности (особенно очевидной в российском кино) военные телеобразы вполне удовлетворяют нашего массового человека. Более того, именно условность его и привлекает; он ведь зритель, а не участник (*«жюкловист»* – всячески бежит от любых форм участия).

¹ «Инкрустация этого образа относительно новыми элементами (символами великодержавности и православия, с одной стороны, приемами голливудской поэтики и пиротехники – с другой) не затрагивает принципиальных и достаточно устойчивых во времени моментов конструкции “ключевого события” и “истории” в целом, вместе с тем обеспечивая им узнаваемую для массовых читателей, зрителей, слушателей адаптацию к нынешнему дню» (18, с. 62–63).

магическо-химерическое «чудобесие» и агрессивно сопротивляющегося любой рационализации. Постсоветский человек «воображает» Отечественную по мифологическому сценарию (правда, в «варианте», представленном советским официозом); всё, что ему не соответствует, попросту отменяется (по принципу: «этого не может быть»). Здесь работают инстинкт, «чувство», поэтому нет нужды в знании и понимании. «Путинская» Отечественная – это по преимуществу советский миф (его *формула*: «переработка» истории/деформация памяти в интересах режима, но с учетом особенностей народных психологии, ментальности, опыта); факты лишь служат его хронологической «привязкой»¹. В *современных воспоминаниях о событиях 1941–1945 гг. смешались образы всех русских военных побед; не случайно вокруг них выстраивается героический эпос «Великой России»*.

Такая «война» принесла в 2000-е ощутимую пользу и власти, и социальному большинству. Власть, сбросив «диссипативные» элементы, привела себя в порядок; народ расслабился после сверхнапряжения 90-х, укрепил веру в себя. «Старый» образ Отечественной стал основой сращивания путинского режима с массами². Солидаризация вокруг советского исторического официоза стала демонстрацией их *подобия*. («Народ и партия» не «едины» – они подобны. В этом залог их согласия; здесь же основа конфликта.) Людям власти/режима никакие пересмотры «наших лучших воспоминаний» не нужны ровно по тем же причинам, что и социальному большинству. Но у властвующих есть и свои, вполне эгоистические причины «беречь курс» – это помогает им выживать. Их *охранительная позиция – как правящего «класса», господствующего «слоя», консолидированного самим своим положением (вне социума и над ним), – совершенно*

¹ Современные исследователи указывают, что в случае с Отечественной войной имеют дело «не с памятью, по крайней мере, все меньше с ней, а с более сложным смысловым образованием» (18, с. 53).

² На рубеже 1990–2000-х годов постсоветский массовый человек по существу заключил своего рода *коррупционную сделку* с властью, распространявшуюся и на область истории. Смысл сделки очевиден: народ оставляет в руках власти такой ценнейший символический ресурс, как война/Победа, а она расширяет свои социальные обязательства. Получая двойную пользу от сделки (минимальные социальные гарантии и символическое основание гордиться собой), человек («популяции» (из «большинства») в то же время сохранил «фигу в кармане»: оставил «про запас» свою (пусть и «теневую») версию войны и, собственно, всей советской истории, где он – главная жертва. Это серьезная потенциальная угроза для «власти-историка»: народ в любой момент может заявить о своих правах на прошлое, срезав тем самым исторические основы властной легитимности. Не обсуждая моральной стороны этой сделки, замечу: тяга не к прямым и ответственным действиям, ведущим к наращиванию собственной субъектности, а к «теневым» сговорам, позволяющим человеку «большинства» сохранять свою объектно-безответственную социальную позицию, – одно из устойчивых качеств нашей массовой культуры, способствующих сохранению традиционного социального порядка.

прагматична, не отягощена моральными соображениями и в целом *противоположна интересам тех, кто к этому «классу»/ слою не принадлежит*¹.

Все дело – в природе режима, окончательно определившегося в 2000-е. Он настроен на обслуживание эгоистических интересов господствующих групп; существо же этих интересов таково, что для их удовлетворения не нужен весь народ – лишь ограниченный (и очень узкий по общим меркам) социальный контингент. Для режима, выросшего из разложения советского и паразитирующего на этом разложении, главными и самыми опасными являются две темы: социального неравенства (прежде всего и в основном – в распределении/потреблении) и социальной несправедливости. Они доведены до такой степени остроты, так не соответствуют современному миру и препятствуют развитию, что грозят разрушить благополучие «сословия» управляющих и сверхпотребляющих.

Поэтому *«путинский» режим, растрачивая иные смыслы и потенциалы, все больше сводится к одному – обеспечению безопасности: личной, кланово-групповой, общей («корпоративной»)*. И не случайно главные позиции заняли в нем люди из безопасности. Однако охранительных средств у него не так много – по преимуществу репрессивные и символические. Конечно, последние для режима предпочтительнее; «застой» гораздо надежнее террора гарантирует стабильность режимных доходов. *С точки зрения интересов безопасности, Победа/война – самый выгодный для «элит» символический проект*. Обслуживая связанные с ним социальные потребности, они обслуживают и себя, демонстрируя единство с народом в области памяти, ценностей, идентичностей, в самооценке – определении исторических результатов и национальных перспектив. Тем самым зарабатывают на легитимность, восполняют режимные дефициты, гасят риски/угрозы.

Конечно, мощный, принимающий в некоторые моменты истерические формы культ Победы вырос в 2000-е не из социальных предпочтений (хотя люди и поддержали его своими инстинктами, страхами, любовью и ненавистями). Опираясь на них и их используя, его вырастили новые политические и культурные «элиты». Они вкладывают в него средства, защищают от снятия табу, «десакрализующей» исторической критики. В этом – смысл создания в 2009 г. Комиссии при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (после продления срока президентских полномочий это – главное дело Д.А. Медведева). Власть легитимировала борьбу *против частных фальсификаций* (иначе говоря, интерпретаций, толкований) истории, которые

¹ Это вовсе не противоречит инстинктам, убеждениям, историческим предпочтениям представителей господствующего «сословия». В общем охранительном деле – ничего личного.

могут повредить интересам «режимной» России, *в пользу государственной монополии на фальсификацию*. Объектом монополии стал самый «прибыльный» для режима проект – Отечественная; именно здесь конкурентные риски требовалось снизить до минимума. Надо признать, «затейка» удалась: одни испугались, другие «построились», иные разнудались, поняв, что ограничения в борьбе против инакомыслящих сняты.

Все, вроде бы, хорошо; все правильно. Но и здесь возникла проблема, тем более опасная, что, видимо, не осознается «управляющими» в этом качестве. Чем старше и определеннее становится режим, тем больше усилий ему требуется для сокрытия своей сущности и тем более масштабными и агрессивными должны становиться спецоперации «прикрытия». А это создает для режима совершенно новые угрозы, обещающие в перспективе его крах. Самосохраняющая режимная логика, доведенная до абсолюта, может выродиться в свою противоположность.

Одну из таких угроз несет в себе верховная власть, главный охранитель и персонификатор режима, резко (непропорционально по отношению к другим режимным «центрам») усилившаяся в 2000-е и получившая новые возможности для самореализации. Наша социальность исторически «сконструирована» таким образом, что ее единственной символической «сцепкой», если и не удерживающей от распада, то дающей ощущение общности, является лидер/верховный правитель/президент. Стратегии продвижения первого лица в 2000-е имели целью максимальное усиление этого ощущения. Показательно, что именно *президент явился персонификатором культа Победы в Отечественной*¹. Во многом под влиянием общественных симпатий, но и в соответствии с предпочтениями (психотипом) самого лица символическая модель президентства эволюционировала в последнее десятилетие *от «царистской»*, страшно далекой от постсовет-

¹ Это, кстати говоря, вызвано спецификой современной российской ситуации – геополитическим вызовом, связанным с ужатием пространства и неспособностью «элит» на него ответить. Персонификацией культа Победы (и выращиванием на этой основе собственного культа) верховная власть «прикрывает», «ликвидирует» эту проблему. Вину за геополитическое поражение она переадресует бывшим персонификаторам, сама же выступает в победном ореоле Отечественной. Интересно, что в эпохи сокращения территории, которые массовым сознанием традиционно связываются с падением мощи и значения государства, выросли культы двух персонификаторов: Ленина, поднявшийся на революционной перестройке, социальной идее, и Путина, основанный на постимперском синдроме. Этим они особенны и важны. Один культ базируется на замещении имперской идеи революционным мессианством (иначе говоря, идеологией социального реванша «униженных и оскорбленных»), другой – на эксплуатации настроений имперского унижения и реваншистских надежд, что в сочетании с социальными проблемами является питательной почвой для национал-социализма (он, как известно, может выступать в разных национальных формах). Культ Ленина был обращен в будущее, поэтому обеспечивался социальными надеждами и ожиданиями (и, в свою очередь, их обеспечивал), а путинский – в прошлое, поэтому поддерживается «нужными» историческими образами.

ского народа, к «*вождистской*». Однако символическая схема «народ-вождь», традиционно строящаяся на отрицании посредствующих структур и лиц, способна работать не только в интересах режима, но и против него.

Совершенно не случайными представляются неявные, но вполне различимые «отсылки» персонификатора нынешнего режима к советскому образцу вождистско-народного симбиоза, символом торжества которого является у нас Отечественная, – к И. Сталину. Его вождизм остается образцовым для наших людей потому, что через него воплотился в жизнь милитарный идеал всеобщей службы и равенства в обязанностях/потреблении. Таким образом Сталин сделал свою власть неограниченной; в подчинении режима (и «режимных») идее службы – оправдание (легитимация) его самодержавия. И это уже – пример для современного вождя¹. В ситуации повышенных рисков и наш верховный может отказать от режима во имя себя, сохранения своей власти. Это потребует репрессивного укрощения эгоизма правящего «сословия» и создания своего «служилого» режима – «перебором людишек», сменой лиц «наверху». Что и будет означать конец режима нынешнего. Ограничитель для такого варианта социального противостояния (гражданской войны в «верхах») – в том, что рядом с «культом наличности» не может вырасти культ личности. Он требует для себя аскетичной власти, отрешившейся от «мирского» во имя метафизики державно-национального, «кратократического» величия. Со-

¹ Современный миф Сталина, который упорно навязывается «сверху», успешно «работает» в интересах традиционализации (советизации) постсоветских идентичности и легитимационного властного проекта. Хотя, если вспомнить о том, что исторический Сталин – это варварские методы эксплуатации своего народа («татаро-монгольское иго», но в XX в. и в оболочке социалистической утопии) и сведение элитарного взаимодействия к криминально-уголовным схемам, то возведение *этого* в идеал говорит о силе саморазрушительных механизмов, укорененных в нашей культуре. Но *сталинизация Отечественной противоречит основным смыслам и внутренней логике как самой войны, так и национального мифа. Сталину не принадлежит монополия на Отечественную, как советский режим не является монополистом священной войны. У вождя народов – свое место в войне: не военного вождя и народного спасителя, а персонификатора организационно-управленческого начала, лидера режима, историческое время которого совпало с Отечественной. Попытки отвести этому персонажу центральное место в мифологии Священной войны только вредят ей: ее персонификатором не может быть лидер массового террора. Миф национальной культуры внутренне отрицает связь Отечественной с гражданской (в любых ее вариантах и проявлениях). Иначе говоря, у образов Донского и Грозного разные функции в культуре; их не слить в «один флакон». Тезис «Отечественная – это Сталин» столь же исторически и культурно не верен, сколь другой: правда советского режима в войне; по высшему счету и режим, и его персонификатор могут ею оправдаться. Когда речь идет об Отечественной (т.е. народной) войне, народ встает помимо режима и вместе с ним постольку, поскольку в данный исторический момент он оказался в его рамках. Не режим, а народное участие делает войну Отечественной; придавая режиму «ореол» и качество народного, она его не оправдывает. Советский порядок обрел подлинную легитимность в Отечественной. Но сталинский режим этому порядку не равен; его история – предмет отдельного разговора.*

временная власть не имеет ничего общего с традиционным идеалом; в этом – гарантия от ужасов русско-советского мобилизационного порядка. Но внутреннее несходство еще не гарантирует от ее движения в этом направлении и использования на этом пути символических инструментов. Здесь самоутверждающий, охранительный культ Победы способен играть, скорее, провокационно-разжигающую, чем стабилизационную, роль.

«Развитой путинизм», наступивший, как ни странно, в годы медведевского президентства, уже продемонстрировал, каким заражающе агрессивным может быть культ Победы. Он все больше приобретает самостоятельное, отдельное от Отечественной, современное значение, служа доказательством преимуществ России перед миром, подтверждением враждебности мира к России, провоцируя социальные страхи и внутреннюю агрессию, рост образов врага. То есть в конечном счете является реваншистским, символически компенсируя культурно-психологический ущерб от распада СССР, краха убежденности советских людей в конкурентоспособности советского проекта (т.е. в их конкурентоспособности).

В этом смысле официальная версия Отечественной войны рубежа «нулевых»/«десятих» – это уже не «застойный» брежневский официоз. «Путинская» война внутренне становится все более схожа со сталинской, а в чем-то и развивает этот старый образ. У Сталина ведь имелся ограничитель: Отечественная с ее антифашизмом, союзничеством и проч. была только вчера. Одно это не позволяло совершенно подчинить войну режимным (или вождистским) нуждам. Сейчас такого ограничителя нет ни у режима, ни у народа; история Отечественной забылась, зато у всех в памяти крах военной мощи и великодержавного величия. Это создает совершенно другой контекст для военного проекта.

В современных официальных «рассказах» об Отечественной речь все больше идет просто о войне (более того, о войнах – временах, в которых *«мы»* побеждали *«всех»*) и о Великой Победе – залого величия России. *Такой символический проект ориентирует на единственную социальную перспективу: войну.* Причем, парадоксальным образом, не на Отечественную. В современном мире она невозможна – это понятно всем (и властвующим, и подвластным). Кроме того, последним при всей их склонности к риторике восстановления державного величия («вставания России с колен») гораздо важнее то, что происходит внутри страны. А это так мало их удовлетворяет, что в социальных настроениях и социальной практике наряду с «застойным» безразличием все больше утверждается логика войны¹. Мы никак не можем внедрить в социальную практику диа-

¹ Социологи отмечают устойчивость в нашей ментальной «карте» образа врага: «враги... сохраняют свою функциональную значимость и действенность... этот тип представлений входит в центральные символические механизмы конституции общества»; «разнообразные варианты этой “идеологемы” образуют важнейшие компоненты национальной

логовые, компромиссные стратегии, обеспечить «мирное сосуществование» производства и потребления, массовой культуры и высокого искусства, наследия и новейших жизненных форм и т.п. В современной России торжествует мышление в категориях «или/или», а это и есть основа милитарной («военно-гражданской») ментальности. В такой ситуации наши лучшие воспоминания могут сыграть провоцирующую роль.

Самый опасный социальный «ответ» на режим такого рода, который утвердился в России, – *национал-социализм*. У нас вполне возможен такой его вариант, в котором бунт русской этничности наложится на оскорбленное социальное чувство, жажду социальной справедливости. Иначе говоря, националистическая агрессия, скорее всего, примет в современной России (условно) социалистическую форму. В сползании страны к такому варианту решающую роль способна сыграть «химия» от слияния в массовом сознании двух исторических образов: гражданской, в которой проблема социальной справедливости решалась уничтожением «внутреннего врага», и Отечественной с ее торжеством над враждебными России, ее народу силами. Из такого соединения может родиться практика какого-то нового самоубийственного социального противостояния (в нем будет уничтожен тот сектор общества, который хочет жить иначе, чем социальное большинство, – в либеральном, демократическом, правовом порядке). Историческим символом такого противостояния и станет Сталин, «через» которого гражданская соединилась в нашей истории с Отечественной. Это, конечно, только предположение, но сам «вызов» Сталина, захваченность общества мифологией сталинизма свидетельствуют о его реалистичности.

В российском обществе сохраняется почва для гражданской войны, склонность к ней. За столетия мы так и не выработали механизмов нейтрализации этого потенциала. Ощущение исторического поражения, оставленное крахом старого порядка, и общественная потребность в Правде/справедливости, до крайности обостренная новым, – условия для его реализации. Культы Победы и социальных «завоеваний» советской эпохи в отсутствие достижений и понятных всем перспектив постсоветизма являются его катализаторами.

Большинство российских граждан, «реанимированное» «застоем» 2000-х, кажется, уже готово самовыражаться не только в потреблении. Теперь, в начале 2010-х, образы прошлого играют для него не только психо-

самоидентичности» (12, с. 622, 636). *«Враги» и их уничтожение – традиционное «место встречи» русской власти и русского народа.* Практика последнего десятилетия показывает, что встречаться в этом месте мы еще не устали. Упорное, даже демонстративное нежелание расстаться с образом врага лучше всего свидетельствует, что ни власть/элиты, ни народ не извлекли положительного опыта из истории сталинизма. Испуг прошел – замороженность размахом и результативностью борьбы с «врагами народа» осталась.

терапевтическую роль (своего рода «успокаивающего»), но действуют как символический возбудитель. Результаты такого возбуждения могут быть совершенно (и неожиданно) разными. Массы россиян могут «податься» к нынешней власти, став ее опорой в деле национал-социалистического «переформатирования» режима, или дать «добро» на приход «наверх» каких-то новых сил, больше соответствующих их нынешнему состоянию, в котором больше агрессивного, чем послушного. Не исключено, что согласятся даже одобрить очередную либерализацию, если она будет связана с очевидным ростом доходов и внятным планом развития. Россияне образца 2010-х способны на все, могут поддержать, кого угодно, и в этом смысле *опасны* – прежде всего для самих себя.

Логика же действий власти/режима в таких условиях вполне предсказуема: от «провоцировать и разжигать» (как это делается, скажем, в предвыборные периоды – особенно при неожиданном появлении рисков состоятельности) до «охлаждать и осаживать», т.е. от активизации (и имитации) режима гражданской войны до полномасштабного развертывания стратегий сдерживания. (Интересно, что и через 60 лет после Сталина российский режим не изжил в себе готовности «жить с войны»: его питательной средой являются воспоминания об Отечественной, ему *выгодно разжигание гражданской*.) При благоприятной для режима мировой экономической конъюнктуре такая политика социального «эквilibра», с обязательным использованием символического оружия, может давать свои плоды целый ряд (и четыре, и восемь) лет. Но она настолько неустойчива и краткосрочна, не поддержана какими-либо долговременными (не PR, а социальными) ориентирами и стратегиями, что ее потенциал кажется ничтожным по сравнению с теми рисками/угрозами, которые она в себе несет. Порядок, ее практикующий (и уже не ограниченно, а тотально), не имеет перспектив; он обречен.

Недопущение опасных культов, осознание и предотвращение угроз, просвещение и гуманизация общества (в т.ч. посредством воспоминаний), формирование курса на развитие (через преодоление себя) – дело элит: управленческих, политических, культурных. В его эффективном выполнении – их социальное оправдание. У нас (во всяком случае в XX в. и сейчас) «элиты» заняты прямо противоположным: растят культы, провоцируют угрозы, консервируют застой/распад – во имя собственных выгод, в отрицание общих задач. Во всяком случае эта тенденция в советском и постсоветском порядках доминирует. Собственно, потому, что на ней эти порядки и строятся. Все, что против нее, – побочно, факультативно. Этим во многом объясняется *вектор их движения* – в «застой»/тупик.

Займствование нынешним режимом символического инструментария прошлого (советского) порядка говорит о его качестве. Он не производитель/креативщик (хотя и выглядит таковым), а потребитель; ищет не

социальных перспектив, а «корпоративных» выгод в ситуации распада. Консервировать «распадную» ситуацию – в его интересах. В этом смысле показательно, как путинский (т.е. постсоветский в широком смысле) режим оценивает свое начало: 1991 год – историческая неудача. Для «лечения» ее социальных последствий им и предложен населению культ Победы. Но обращаться к настоящему с позиций поражения/«пораженца» – значит, заранее настраивать, обрекать себя на неудачу и ее оправдывать. Тогда любая новизна/перемена обществу опасны – грозят проигрышем; перспектив нет – точнее, их горизонт ограничен прошлым. Правда, и здесь мало ясности – в чем наше будущее: в Отечественной или гражданской?

Символика и риторика «геополитической катастрофы» и Победы как единственного исторического достижения народа в XX в. суть *политтехнологии режима*, применение которых позволяет ему не определять перспектив (точнее, представлять демократическую перспективу опасной, недостижимой, изначально порочной – ведь она «строится» на поражении) и не самоопределяться. То есть жить настоящим – как живется, не обременяя себя существенными вопросами, самоанализом, самокритикой. Прошлое же использовать для «поддержки» и самооправдания. И здесь особое значение приобретают причины выбора режимом подходящего варианта этого прошлого. Сталинско-брежневскую войну выбрали не за ее «советскость» и даже не за заложенный в ней курс ценностей. Главное – нынешнему режиму подходит такой человеческий тип (та «модальная личность»), которого эти образы прошлого моделируют. Этот человек не мешает нынешнему режиму жить. Выбор режимом советского варианта войны – это выбор искушенного, цинично-прагматичного потребителя. И он себя оправдывает. Но применяемые режимом социальные стратегии (в т.ч. в сфере «управления прошлым») краткосрочны – именно потому, что бесперспективны.

Современный режим сам готовит себе альтернативу: такие «элитарные» или общественные силы, которые предложат стране перспективу, т.е. определенную точку зрения на ее настоящее и прошлое. Вариантов здесь немного. Наиболее вероятным для нынешней России кажется, повторно, националистический «проект». Но он *уже был* – человечество *это* уже проходило; опыт агрессивно-милитарного национализма, построенного на образе врага, осужден – и человечеством, и самим прошлым (чтобы это понять, достаточно сравнить до- и послевоенные виды Берлина и других немецких городов). Другой вариант – либерально-демократический. Его эффективность доказана – хотя и не нами; мы к этому «проекту» *настоящему* даже не приступали.

Характерно, что обществу эти варианты развития презентуются «через» прошлое; «проекты будущего» «выступают» с разными образами отечественной истории. Сейчас вопросы о том, какими были наши войны

и мира, какими традициями нам руководствоваться, приобрели качество политических. Сегодняшние конфликты, дискуссии вокруг «памяти» — это политическая борьба за завтрашнюю «повестку дня». Выбор «военного проекта» может оказаться решающим в такой борьбе.

Список литературы

1. Аймермахер К., Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. Предисловие // Мифы и мифология в современной России. — М.: АИРО-XX, 2000. — С. 10–11.
2. Алексеев В.П. Народная война // Отечественная война и русское общество: В 7 т. — Т. 4. — М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1912. — С. 228–230.
3. Алпатов М.В. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII в. // Алпатов М.В. Всеобщая история искусств: В 3 т. — Т. 3. — М.: Искусство, 1955. — 428 с.
4. Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). — 2-е изд. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. — Т. 1: От прошлого к будущему. — 805 с.
5. Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных Сил. — М.: Госполитиздат, 1948. — 153 с.
6. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 384 с.
7. Ворошилов К.Е. Сталин и Вооруженные Силы СССР. — М.: Госполитиздат, 1951. — 288 с.
8. Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. — М.: МИК, 2000. — 856 с.
9. Голдинский И.Е. Воспоминания старожила о войнах 1807–1912 гг. // 1812 год в воспоминаниях современников. — М.: Наука, 1995. — С. 170–177.
10. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. — М.: Богородский печатник, 1998. — 360 с.
11. Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. — М., 2005. — № 2/3(40/41). — С. 46–57.
12. Гудков Л. Идеология «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. — М.: НЛЮ–ВЦИОМ-А, 2004. — С. 552–649.
13. Гудков Л. Победа в войне: К социологии одного национального символа // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. — М.: НЛЮ–ВЦИОМ-А, 2004. — С. 20–58.
14. Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. — М.: НЛЮ–ВЦИОМ-А, 2004. — С. 650–686.
15. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. — М.: Аспект-пресс, 2001. — 389 с.
16. Добренко Е.А. Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив. — М.: НЛЮ, 2008. — 424 с.
17. Драгунский Д. Нация и война // Дружба народов. — М., 1992. — № 10. — С. 56–78.
18. Дубин Б.В. «Кровавая» война и «великая» Победа: О конструировании и передаче комплективных представлений в России 1980–2000-х годов // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 47–64.
19. Дубин Б. Всеобщая адаптация как тактика слабых // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 253–263.

20. Дубин Б. Две даты и еще одна // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 96–109.
21. Дубин Б. К вопросу о выборе пути: Элиты, масса, институты в России и Восточной Европе // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 6–23.
22. Дубин Б. Память, война, память о войне: Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 140–155.
23. Дубин Б. Россия и соседи: Проблемы взаимопонимания // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 23–46.
24. Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et Contra. – М., 2011. – № 5(53), сент.-окт. – С. 6–22.
25. Дубин Б. Симулятивная власть и церемониальная политика: О политической культуре современной России // Дубин Б.В. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 233–253.
26. Дубин Б. Сталин и прочие фигуры высшей власти в конструкции «прошлого» современной России // Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий: Социологические очерки и разработки. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 332–383.
27. Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. – СПб.: Алетейя, 2001. – 640 с.
28. Зоркая Н. Визуальные образы войны // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 377–387.
29. И.В. Сталин: Краткая биография. – 2-е изд. – М.: ОГИЗ, 1948. – 244 с.
30. Квашонкин А.В., Лившин А.Я. Послереволюционная Россия (Проблемы социально-политической истории 1917–1927 гг.). – М.: Изд-во «Университетский гуманитарный лицей», 2000. – 337 с.
31. Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2009. – 328 с.
32. Ключевский В.О. Исторические портреты: Деятели исторической мысли. – М.: Правда, 1990. – 624 с.
33. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – М.: Мысль, 1993. – Кн. 3. – 558, [1] с.
34. Клямкин И. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 261–275.
35. Клямкин И.М. Постмилитаристское государство // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2007. – С. 11–28.
36. Кукулин И. Регулирование боли (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 324–336.
37. Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская историография. – М.: РГГУ, 1996. – С. 274–311.
38. Левин М. Советский век. – М.: Европа, 2008. – 680 с.
39. Левинсон А. Война и земля как этические категории // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 104–107.
40. Левинсон А. Люди молодые за историю без травм // Неприкосновенный запас. – М., 2004. – № 36. – С. 61–64.

41. Ловушки демилитаризации: Обсуждение доклада И. Клямкина «Демилитаризация как историческая и культурная проблема» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. — М.: Новое издательство, 2011. — С. 275–306.
42. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. — М.: Рефл-бук, 1998. — 304 с.
43. Маслов Н.Н. «Краткий курс истории ВКП(б)»: энциклопедия и идеология сталинизма и постсталинизма: 1938–1988 гг. // Советская историография. — М.: РГГУ, 1996. — С. 240–273.
44. Миллер А. Россия: Власть и история // Pro et Contra. — М., 2009. — № 3/4(46), май-август. — С. 6–23.
45. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. — М.: РГГУ, Науч.-изд. центр «Наука для общества», 1995. — 220 с.
46. Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России. — М.: АИРО-XX, 2000. — С. 17–38.
47. Память о войне в современных российских СМИ // Неприкосновенный запас. — М., 2005. — № 2/3(40/41). — С. 353–368.
48. Пивоваров Ю.С. О русских революциях: Послесловие // Труды по руссведению. — М.: ИНИОН РАН, 2009. — Вып. 1. — С. 21–67.
49. Пивоваров Ю.С. Русская история, 2010 // Труды по руссведению. — М.: ИНИОН РАН, 2010. — Вып. 2. — С. 31–108.
50. Прусс И. Советская история в исполнении современного подростка и его бабушки // Неприкосновенный запас. — М., 2005. — № 2/3(40/41). — С. 116–122.
51. Пушкин А.С. Письмо П.Я. Чаадаеву // Пушкин: Письма последних лет, 1834–1837 / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). — Л.: Наука, Ленинград. отд., 1969. — С. 153–156.
52. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. — М., 1905. — 250 с.
53. Розанов В. Последние листья (запись от 12 октября 1916 г.) // Розанов В. Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. — М.: Республика, 2000. — 380, [2] с.
54. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. — М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. — Кн. 7, т. 13. — 726 с.
55. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит-ры, 1942. — 51 с.
56. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — 5-е изд. — М.: Госполитиздат, 1953. — 207 с.
57. Сталин И.В. Речи на предвыборных собраниях Сталинского избирательного округа г. Москвы. — М.: Госполитиздат, 1954. — 24 с.
58. Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX — начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. — М.: РОССПЭН, 2008. — 679 с.
59. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. — М.: Наука, 1980. — 312 с.
60. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. — СПб.: Наука, 1994. — 220 с.
61. Толстой А.Н. Нас не одолеешь! // Толстой А.Н. Собр. соч. — В 10 т. — М., 1961. — Т. 10. — С. 491–493.
62. Топорков А.Л. Миф: Традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в современной России. — М.: ФИРО-XX, 2000. — С. 39–66.
63. Хёслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. — № 2/3(40/41). — М., 2005. — С. 88–95.

64. Хорхордина Т.И. История и архивы. – М.: РГГУ, 1994. – 360 с.
65. Чудакова М.О. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. – М., 2002. – № 58. – С. 223–259.
66. Шеррер Ю. Германия и Франция: Проработка прошлого // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4(46), май-август. – С. 89–108.
67. Шишкин В.А. Власть, политика, экономика: Послереволюционная Россия (1917–1928). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 400 с.
68. Шлёгель К. Постигая Москву. – М.: РОССПЭН, 2010. – 311 с.
69. Щербакова И. Над картой памяти // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3(40/41). – С. 108–115.
70. Эренбург И. Свет в блиндаже // Эренбург И. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Худ. лит-ра, 1966. – Т. 7. – С. 674–675.
71. Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа // Правда. – М., 1941. – 23 июня. – С. 2.

М.М. МИНЦ

***СССР И НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
ДИСКУССИИ О СОБЫТИЯХ 1939–1941 ГОДОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ***

Радикальное переосмысление истории Второй мировой и Отечественной (1939–1945) войн началось в СССР еще в годы перестройки, после снятия первых цензурных запретов. В постсоветский период новый толчок этому процессу дали «архивная революция» и «незапланированная дискуссия» о целях советской военной политики в преддверии нацистской агрессии, начало которой положила публикация в России работ В.А. Суворова. В конце 1990-х и в 2000-е годы произошла реставрация авторитаризма, «архивная революция» закончилась (более того, были повторно засекречены некоторые документы), в официальной пропаганде зазвучали националистические и неосталинистские мотивы. Посмотрим, как эти факторы повлияли на историческую науку, осмысление событий 1939–1941 гг.

В предлагаемой статье проанализированы некоторые наиболее интересные и значительные работы российских и зарубежных историков, охватывающие период с осени 1939 по июнь 1941 г. Тематика этих работ исключительно широкая. Центральными проблемами предыстории и начала Отечественной войны остаются советская внешняя политика и военное строительство в предвоенные годы, ход боевых действий летом – осенью 1941 г., причины неудач Красной армии в первые месяцы войны. Продолжается дискуссия о целях военных приготовлений СССР в первой половине 1941 г. («проблема превентивного удара»). Среди относительно новых тем исследований следует отметить историю повседневной жизни этого периода (31; 32; 34), а также эволюцию представлений советской политической и военной элиты о будущей войне и их взаимосвязь с практической деятельностью советского военно-политического руководства по подготовке к войне, с боевой и оперативной работой в Красной армии (1). К последнему вопросу примыкает и история советской пропаганды, изучение которой позволяет помимо всего прочего проследить военно-доктринальные взгляды советских лидеров и их оценки складывающейся

международной обстановки через те идеологические концепции, которые «продвигались» официальной пропагандой в разные периоды (19, с. 314–340; 23).

С точки зрения методологии, значительная часть исследований, особенно отечественных, по-прежнему относится к исключительно событийной истории – политической (история международных отношений) и военной в ее «оперативно-стратегическом» варианте (силы и планы сторон, ход и результаты боевых действий, потери). В наибольшей степени это характерно для «любительских» работ по военной истории. К числу несомненных новшеств относится, скорее, появление новых тем исследования, а также более тщательная увязка между собой имеющихся знаний по разным аспектам предыстории и начала Отечественной войны.

Интересным примером применения комплексного подхода является монография М.И. Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина» (19), в которой анализ военной политики Советского Союза тщательно увязывается с изучением его внешней политики и общим контекстом начавшейся Второй мировой войны. Такой подход, к сожалению, остается редкостью в отечественной историографии; чаще по-прежнему встречаются исследования, целиком посвященные либо внешнеполитической, либо военной проблематике. Кроме того, во всех главах книги содержатся довольно обстоятельные историографические экскурсы; исследование, таким образом, находится на стыке конкретно-исторического и историографического жанров.

Естественно, что работы по истории Отечественной войны, написанные в нашей стране, неизбежно показывают изучаемые события преимущественно с «советской» точки зрения, тогда как в публикациях германских историков, соответственно, содержится «немецкий» взгляд на минувшую войну. Исследователи из третьих стран, казалось бы, находятся в лучшем положении и имеют больше возможностей для того, чтобы создать целостный образ войны на Восточном фронте с позиций стороннего наблюдателя. Тем не менее, как отмечает Э. Модсли (Университет Глазго, Шотландия) в книге «Гром на востоке: Нацистско-советская война, 1941–1945» (36), значительная часть зарубежных работ по истории Отечественной войны написана в основном на базе документов одной из сторон и, соответственно, также воспроизводит либо «немецкую», либо «советскую» точку зрения на изучаемые события. Сам Модсли в своем исследовании пытается не только переосмыслить историю советско-германского противоборства и его место в истории Второй мировой войны в целом, воспользовавшись плодами «архивной революции» в постсоветской России, но и преодолеть, хотя бы частично (Модсли и сам использует в основном советские источники), разделение западной историографии на «советскую» и «германскую» школы.

Эту непростую задачу в основном удается решить другому британскому исследователю – К. Беллами, который в своем труде «Абсолютная война: Советская Россия во Второй мировой войне» (30) действительно рассматривает советско-германскую войну преимущественно с точки зрения третьей стороны. В книге в основном анализируется событийная история (ход боевых действий и их результаты, дипломатия), в меньшей степени – действия разведки и партизан. Подробно разбираются также вопросы логистики, в том числе ее влияние на исход отдельных операций и кампаний. Из несобытийной проблематики автор затрагивает лишь вопрос о роли женщин в Отечественной войне. Любопытную особенность исследования составляет стремление Беллами описывать изучаемые события в более широком историческом контексте – не только Второй мировой войны, но и в общем контексте мировой истории войн. По ходу повествования автор довольно часто сопоставляет отдельные события и процессы с аналогичными примерами из предшествующих и более поздних войн и военных конфликтов, вплоть до современных.

Исследования В.А. Арцыбашева (1; 2) посвящены анализу представлений командного состава Красной армии (главным образом старшего и высшего) о начальном периоде будущей войны, их эволюции на протяжении межвоенного периода и реализации в практической деятельности военного ведомства (разработка нормативных документов, организация военных игр, учений и маневров, оперативно-стратегическое планирование). Автор, таким образом, обращается к несобытийной стороне советского военного строительства. Он затрагивает также вопрос об адекватности существовавших представлений о начальном периоде войны и их влиянии на исход боевых действий РККА в июне – июле 1941 г. Арцыбашев приходит к выводу, что советское военно-политическое руководство, по-видимому, так и не отказалось полностью от уже устаревшей к тому времени концепции «вползания в войну», вследствие чего Красная армия оказалась неготовой к отражению внезапного нападения немцев, в котором сразу же приняли участие главные силы вермахта, заранее отмобилизованные и развернутые на советской границе.

Еще один план исследований актуализирует М. Брекмейер. В книге «Сталин, русские и их война» (32) он попытался осветить историю Отечественной войны через призму личного отношения к ней ее участников и свидетелей. Брекмейер предупреждает читателей, что им едва затронута батальная сторона войны, поэтому его книгу можно рассматривать «как дополнение и, вероятно, как поправку к сложившемуся в минувшие годы представлению об этом периоде» (32, с. 11). Первая часть книги посвящена предвоенному периоду (август 1939 – 22 июня 1941 г.). Автор, в частности, пытается понять, в какой степени СССР был готов к войне, было ли германское нападение действительно неожиданным, почему наша страна

была застигнута врасплох, какова была позиция Сталина в то время. Во второй части описываются события военных лет – от первых приграничных сражений до взятия Берлина. В третьей части «Народ и система» рассматриваются различные вопросы социальной, культурной истории, истории повседневности периода войны и последующих лет (женщины на войне, евреи на войне, ГУЛАГ, партизанское движение, методы ведения войны, жертвы войны, военное поколение и др.). В последней, четвертой части на примере города Шадринска показана жизнь провинциального города во время и после войны.

Внешняя политика СССР в предвоенный период

Наиболее подробно советская внешняя политика 1939–1941 гг. рассматривается в монографии А.О. Чубарьяна «Канун трагедии» (29). Автор анализирует историю советско-германского партнерства, присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, советско-финского конфликта, нарастания советско-германских противоречий в 1940–1941 гг. Работу отличает скрупулезный анализ доступных источников, тщательный разбор сложнейших дипломатических игр и маневров, комплексный подход к изучаемой проблеме, внимательное рассмотрение самых разных, порой противоречивых факторов, оказывавших влияние на описываемые события. К несомненным достоинствам книги относится и личная исследовательская позиция Чубарьяна, особенно если учесть усилившуюся в последние годы активность ряда авторов, стремящихся оправдать такие шаги Советского Союза, как пакт Молотова–Риббентропа и последующая «добровольно-принудительная» аннексия Прибалтики (называют их вынужденными мерами, призванными отсрочить вовлечение СССР в большую войну, укрепить безопасность советских границ и т.п.). В противовес этим идеям Чубарьян последовательно обосновывает аморальность действий советского руководства, посчитавшего себя вправе решать судьбы соседних народов и государств, игнорируя их собственную позицию и интересы. Нельзя не отметить и исключительно терпимое отношение автора к своим оппонентам. Хотя Чубарьян отвергает гипотезу о том, что СССР весной–летом 1941 г. готовился к нападению на Германию, все его критические замечания в адрес сторонников этой теории в высшей степени корректны и выдержанны.

Покойный ныне Л.А. Безыменский (4) также не был склонен оправдывать политику Сталина. Хотя он и предполагал, что советский диктатор действительно боялся войны и стремился оттянуть ее начало, заключение договора с нацистским рейхом в 1939 г. и тем более секретного протокола о разделе Восточной Европы, по его мнению, нельзя считать вынужденной мерой. Напротив, в сложившейся тогда обстановке Сталин вполне осоз-

нанно выбрал сближение с Германией как наиболее выгодное для себя решение.

Своеобразными вехами в развитии советской, а затем и российской историографии событий 1939–1941 гг. стали многотомные коллективные монографии по истории Второй мировой и Отечественной войн. Последним на данный момент законченным изданием такого рода является выпущенный в 1998 г. четырехтомник «Великая Отечественная война, 1941–1945: Военно-исторические очерки», первая книга которого содержит главы, посвященные кануну и началу войны (8). Для нас этот труд, с момента выхода которого в свет прошло уже довольно много времени, является некоей отправной точкой для анализа. При его подготовке были использованы многочисленные вновь рассекреченные источники, что позволило авторам, в частности, переписать, по сути, «с нуля» историю советско-германского партнерства на основе пакта Молотова–Риббентропа. Тем не менее на общем фоне отечественной историографии 1990-х годов авторы очерков заняли довольно консервативную позицию. Так, по их мнению, внешняя политика Советского Союза в 1939–1941 гг. была обусловлена не экспансионизмом, а прагматическими соображениями: в преддверии надвигающегося конфликта с Гитлером Сталин стремился улучшить конфигурацию советских границ и расширить сферу влияния Москвы (8, с. 29).

Сходную точку зрения высказывает А.С. Орлов в книге «Сталин: В преддверии войны» (24). Основным предметом его исследования являются международные отношения в период между двумя мировыми войнами. Орлов утверждает, что СССР в эти годы проводил сугубо миролюбивую политику. Западные же страны (главным образом Англия и Франция), уклоняясь от предложений советского правительства о создании системы коллективной безопасности в Европе, всячески потворствовали обиженной Версальским договором Германии, помогая ей поднимать свою промышленность и вооружаться. Когда вследствие этого Германия достаточно окрепла и стала представлять серьезную угрозу всей Европе, Англия и Франция, пытаясь умиротворить Гитлера, шли на всяческие уступки, чтобы отодвинуть войну от себя и направить германскую экспансию на восток, так как большевизма боялись больше, чем нацизма. Сталин же, в представлении автора, напротив, понимал всю угрозу гитлеризма и пытался избежать войны или хотя бы отодвинуть ее начало, чтобы подготовить к ней советские вооруженные силы и промышленность. Именно с этой целью 23 августа 1939 г. был заключен с Германией пакт о ненападении.

Израильский историк Г. Городецкий в своей книге «Роковой самообман», переведенной в 1999 г. на русский язык (12), также предполагает, что внешняя политика Москвы в предвоенный период носила прагматический характер: Сталин стремился избежать вовлечения СССР в большую войну, чтобы выиграть время для продолжения внутренней модернизации.

Этим объясняется не только заключение пакта с Германией, но и направление советской дипломатической активности в 1939–1941 гг. Так, попытки Сталина установить контроль над Балканами в 1940–1941 гг. были, по мнению Городецкого, обусловлены не экспансионизмом, а стремлением обезопасить советские границы на случай войны с Германией или Великобританией.

Следует отметить диссертацию А.Л. Сафразьяна (27), основанную на широкой документальной базе (документы РГАСПИ, ГА РФ, АВП РФ, документальные публикации, советская и зарубежная пресса 1930-х годов, мемуаристика – советская и немецкая) и посвященную влиянию коммунистической идеологии на внешнюю политику Сталина в 1930-е – начале 1940-х годов, прежде всего на советско-германские отношения в 1939–1941 гг. Автор не согласен с представлением о Сталине и Гитлере как о прагматичных политиках и настаивает, что внешняя политика как СССР, так и Третьего рейха, была идеологически детерминирована. Это не исключало прагматических решений, наиболее значительным из которых был советско-германский пакт 1939 г., представлявший собой геополитический компромисс между советским и германским экспансионизмом. Однако именно несовместимость этого компромисса как с нацистской, так и с советской идеологией предопределила его непрочность и недолговечность. В то же время упрощенные «классовые» интерпретации нацизма в Советском Союзе, основанные на марксистской доктрине в ее сталинском варианте, не позволили советскому руководству оценить степень влияния идеологии на внешнюю политику Берлина. Следствием этого были недооценка военной опасности со стороны рейха и неудача переговоров в Берлине в ноябре 1940 г. По мнению автора, советская сторона оказалась неготовой к предложениям немцев о новом разделе сфер влияния. Отвергнув эти предложения, вместо того чтобы втянуть германскую дипломатию в их обсуждение, СССР упустил наиболее серьезный шанс отсрочить войну с Германией. Это убедило Гитлера в невозможности дальнейшего мирного сосуществования двух тоталитарных режимов.

В.Н. Свищев в монографии «Начало Великой Отечественной войны» настаивает, что СССР в 1930-е годы проводил мирную политику, предлагая европейским государствам разработать систему коллективной безопасности, однако не находил у них отклика. Тем временем к власти в Германии пришел Гитлер, и угроза войны резко возросла. Как считает исследователь, сам по себе договор о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 г. был необходим обоим государствам. Что же касается секретных протоколов, то II Съезд народных депутатов СССР уже осудил их, признав эти протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента подписания. Однако в 1939 г. «они существовали и координировали действия правительств СССР и Германии

на международной арене» (28, т. 1, с. 254). Германия получала свободу для реализации своих агрессивных планов, тогда как Советскому Союзу пакт позволял выиграть время для укрепления своей обороноспособности.

Вопросы советской внешней политики затрагивает и М.И. Мельтюхов. Категорически отвергая тезис о «некоем патологическом миролюбии СССР» (19, с. 368), он настаивает, что в 1920–1930-е годы Советский Союз под прикрытием лозунга о «мировой революции» фактически проводил экспансионистскую политику, стремясь вернуть статус великой державы и восстановить позиции, утраченные Россией в результате революции и Гражданской войны. Заключение договора с Германией в 1939 г. не было связано со стремлением укрепить безопасность советских границ; Сталин просто посчитал условия, предложенные Берлином, более выгодными по сравнению с тем, что могли предложить Париж и Лондон. Мельтюхов соглашается с существующей точкой зрения, исходя из которой в 1939 г. Сталин рассчитывал использовать Германию для ослабления Великобритании и Франции, чтобы таким образом подготовить благоприятные условия для последующего советского вторжения в Европу. Неожиданно быстрый разгром Франции в 1940 г. сорвал эти планы; Германия получила доминирующие позиции в Западной Европе, что значительно повышало вероятность военного конфликта между ней и СССР. После того как новые советско-германские переговоры в Берлине в ноябре 1940 г. показали невозможность взаимовыгодного компромисса, обе стороны развернули непосредственную подготовку к войне.

Советская разведка и проблема внезапного нападения

По-прежнему активно обсуждается вопрос о причинах убежденности Сталина в возможности оттянуть начало войны с Германией. В.К. Волков в своей статье (10) предполагает, что диктатор стал жертвой умело организованной немцами дезинформации и собственной подозрительности по отношению к Великобритании, но от уверенных выводов воздерживается. О.В. Вишлёв, по сути, принимает аналогичную точку зрения: в крайне неопределенной международной обстановке последних предвоенных недель, настаивает он, Сталин оказался в безвыходном положении, практически исключавшем возможность выработки сколь угодно адекватных решений (9).

Г. Городецкий, анализируя деятельность советской разведки в 1940–1941 гг. (12), обращает внимание на то, что при рассмотрении и систематизации поступающих сведений о военных приготовлениях Германии сработал эффект, свойственный и другим разведывательным службам: выводы аналитиков подгонялись тем или иным способом под взгляды политического руководства, т.е. прежде всего Сталина. Следствием этого,

по мнению Городецкого, стала сталинская уверенность в том, что решение Берлина об агрессии против СССР еще не окончательное; в германском руководстве намечается раскол (войны с Советским Союзом добиваются генералы, а не Гитлер, который пытается сопротивляться их давлению); еще есть надежда вернуть немцев за стол переговоров, а нападению на СССР в любом случае будет предшествовать ультиматум. Городецкий расценивает это как самообман.

Сходные идеи развивает Дэвид Э. Мэрфи (США), был близок к ним и Л.А. Безыменский. Мэрфи в своей книге «Что было известно Сталину: Тайна “Барбароссы”» (37) анализирует работу советской разведки накануне Отечественной войны и реакцию политического руководства на ее донесения. Как и Городецкий, он приходит к выводу, что Сталин фактически видел лишь то, что хотел, да и его подчиненные показывали ему по большей части лишь то, что он ожидал увидеть. Безыменский связывал уверенность Сталина в том, что войны удастся избежать, прежде всего с тем, что советский диктатор в созданной им же самим тоталитарной системе оказался в своеобразном информационном вакууме и жил в своем мире, имевшем мало общего с реальностью; это лишало его возможности адекватно реагировать на возникающие вызовы (4).

К. Беллами, анализируя события, предшествовавшие началу Отечественной войны, также приходит к выводу, что с советской стороны имела место не столько ошибка разведки, сколько неверная политическая интерпретация ее донесений. Об ошибках разведки можно говорить скорее применительно к Германии, поскольку немцы явно недооценили своего будущего противника (как и японцы – США). Таким образом, нападение Третьего рейха на СССР не было по-настоящему внезапным ни на тактическом, ни на стратегическом уровнях. Правильнее говорить об институциональной внезапности, поскольку советские войска к 22 июня 1941 г. еще не завершили запланированные мероприятия по перевооружению и реорганизации, окончить которые планировалось примерно к 1942 г. (30, с. 161).

М.И. Мельтюхов, напротив, показывает, что поступавшие в Москву сведения о германских военных приготовлениях были довольно фрагментарны и вопреки распространенным представлениям допускали различную интерпретацию. «Германским и советским спецслужбам, – заключает он, – лучше удалось скрывать свои секреты, нежели раскрывать чужие» (19, с. 244). В этих условиях Сталину показались более достоверными те сообщения разведки, из которых следовало, что в 1941 г. нападение Германии маловероятно.

Между тем при внимательном ознакомлении с проблемой складывается впечатление, что советская сторона в первой половине 1941 г., по существу, оказалась в той самой ситуации, которую невольно предсказал

годом ранее комдив Г.С. Иссерсон, анализируя опыт германо-польской войны 1939 г. В своей книге «Новые формы борьбы» (15) он доказывал, что ее следует признать войной нового типа, поскольку впервые в истории боевые действия начались внезапным вторжением на территорию противника главных сил нападающей армии, целиком отмобилизованных и развернутых на границе еще в мирное время. Для подготовки к операции такого рода отмобилизование и развертывание приходится растягивать на несколько месяцев, чтобы не спугнуть будущего противника раньше срока (немцы начали подготовку к агрессии против Польши еще в конце 1938 г.). В подобных условиях разведка государства, против которого замышляется нападение, практически лишается возможности с уверенностью определить, действительно ли это подготовка к войне или «только подкрепление дипломатической угрозы», поскольку до фактического начала боевых действий «всегда остается еще шаг» (15, с. 29–30, 36–37).

Возможность столь крупномасштабного и в то же время относительно скрытного развертывания обеспечил высокий уровень механизации и моторизации армии: «Что же касается быстроподвижных мотомеханизированных войск, то при их дислокации на передовом театре угрозу их внезапного сосредоточения следует вообще усматривать в самом факте их существования» (15, с. 37–38). Таким образом, возможности советской разведки в 1940–1941 гг. были существенно ограничены имманентными особенностями подготовки к современной войне, но военно-политическое руководство СССР во главе со Сталиным фактически проигнорировало эту опасность.

Любопытно, что на объективных факторах, не позволивших советской разведке своевременно вскрыть агрессивные замыслы Гитлера, акцентируют внимание прежде всего те исследователи, которые более или менее лояльно относятся к сталинской политике в целом, тогда как их оппоненты продолжают придерживаться той точки зрения, что разведка весной 1941 г. «докладывала точно». Между тем, как мне кажется, трудности, с которыми сталкивались советские разведчики, сами по себе еще не являются оправданием сталинского курса. Иными словами, для того чтобы учитывать этот фактор в своих исследованиях, совершенно необязательно присоединяться к защитникам Сталина.

Планировал ли Сталин нападение на Германию?

Цели советских военных приготовлений в первой половине 1941 г. остаются предметом активной полемики. Поскольку многие важные документы по этому вопросу до сих пор находятся на секретном хранении, историки поневоле вынуждены сосредоточить основные усилия на осмыслении источников, уже введенных в научный оборот (прежде всего

рассекреченных в период «архивной революции» 1990-х годов), а также на анализе советской военной политики в комплексе с другими проблемами кануна Отечественной войны. Среди исследователей, не согласных с тем, что Советский Союз планировал нападение на Германию, – Арцыбашев (1), Безыменский (3; 4), Вишнев (9), Волков (10), Гареев (11), Городецкий (12), Орлов (24), Рунов (25), Чубарьян (29), Мэрфи (37). Этой же позиции придерживаются авторы коллективных монографий «Великая Отечественная война, 1941–1945: Военно-исторические очерки» (8) и «Мировые войны XX века» (22, с. 8–9, 125).

Авторы четырехтомника «Великая Отечественная война, 1941–1945: Военно-исторические очерки» категорически отвергли предположение о том, что СССР готовил агрессию против Германии. По их мнению, Сталин не мог не понимать, что Красная армия не готова к войне, у рейха есть «мощные союзники», которых нет у Советского Союза, и в случае советского нападения на Германию Великобритания и США могут поддержать Гитлера (8, с. 126).

По мнению А.С. Орлова, СССР в 1939–1941 гг. агрессивной войны против Германии не готовил, а известный проект стратегического плана от 15 мая 1941 г. не был утвержден Сталиным, т.е. появление этого документа свидетельствует лишь о том, что его авторы предлагали осуществить в целях самообороны «упреждающий удар (а не превентивный) по изготовившейся к нападению на нашу страну гитлеровской армии. Цель такого удара (в отличие от превентивного) – не разгромить Германию, а сорвать подготавливаемое противником наступление» (24, с. 391). Да и в любом случае «нанести крупное поражение вермахту теми силами, которые находились в приграничных округах, при той степени боеготовности, которую они имели, не представлялось возможным» (24, с. 392–393). Автор объясняет это тем, что СССР готовился к войне, основываясь на устаревших стратегических концепциях, тогда как новые методы развязывания и ведения войны в 1930-е годы освоила только Германия. Как следствие, «наш план предусматривал в течение 10–15 суток, а то и 25–30 суток вести активную оборону, давая время на всеобщую мобилизацию. Время, которого противник не давал. Да к тому же этот вид боевых действий почти не отработывался, все внимание уделялось второму этапу – наступлению на противника» (24, с. 394).

Л.А. Безыменский также отвергал гипотезу о подготовке СССР к нападению на Германию: по его мнению, Советский Союз был не готов к войне, и Сталин не мог этого не знать (4). Анализируя проект стратегического плана от 15 мая 1941 г., Безыменский пришел к выводу о том, что автором документа был Г.К. Жуков, который составил его прежде всего для того, чтобы привлечь внимание Сталина к проблеме германской опасности (3, с. 64). По мнению историка, план был отклонен Сталиным (3,

с. 61–64). Безыменский, однако, ссылался на послевоенные интервью Жукова, которые, по справедливому замечанию Мельтюхова, не могут в данном случае рассматриваться как достоверный источник (19, с. 284–285).

Сходной позиции придерживаются В.К. Волков (10) и М.А. Гареев (11). Последний, в частности, наиболее последовательно излагает популярную точку зрения, согласно которой гипотеза о подготовке СССР к нападению на Германию не соответствует «реальным условиям» 1941 г. Гареев многократно подчеркивает, что «практически события в прошлом развивались на основе не заявлений, прожектов тех или иных, даже самых властных личностей, разновариантных планов, а реально проводимого политического курса» и складывающейся обстановки. В сущности, из этого следует (хотя сам Гареев этого, видимо, не замечает), что для правильной интерпретации событий 1939–1941 гг. определяющее значение имеют не источники (например, советские стратегические планы или записи выступлений Сталина 5 мая 1941 г.), а представления самого историка о том, каковы были объективные условия того времени. Между тем, как мне кажется, с методологической точки зрения было бы гораздо корректнее попытаться выяснить прежде всего, как эти объективные условия виделись Сталину.

По мнению Г. Городецкого, советская военная политика перед войной имела исключительно оборонительную направленность, нападать на Германию Сталин не собирался, а стратегические планы 1940–1941 гг. предназначались для отражения агрессии (12). Внимательное чтение его книги (содержащей, надо сказать, исключительно богатый фактический материал не только по внешней политике СССР в 1940–1941 гг., но и по операциям советской разведки в этот период) показывает, однако, что эти выводы основаны на анализе не столько внешнеполитической, сколько собственно военной проблематики (советское военное строительство, военная доктрина), которой автор владеет крайне поверхностно, допуская явные фактические ошибки. Так, оперативно-стратегические игры в Москве в январе 1941 г. описываются им по воспоминаниям маршала М.В. Захарова, без учета новейшей отечественной историографии. Как следствие, Городецкий по существу воспроизводит старый советский тезис о том, что на этих играх отрабатывалось отражение германской агрессии и были вскрыты значительные недостатки в подготовке РККА к войне (12, с. 156–158). Как уже было установлено, эта версия не соответствует действительности (ср.: 6). Есть и другие неточности, что ставит под сомнение концепцию автора в целом.

Критики теории о подготовке СССР к агрессии неизбежно сталкиваются с парадоксом, на который обратил внимание еще В.А. Суворов: известная осторожность Сталина весной–летом 1941 г., его стремление ни в коем случае не дать немцам повода для войны с Советским Союзом, ка-

залось бы, свидетельствуют о том, что он боялся столкновения с Германией и стремился по возможности оттянуть его до более благоприятного момента, тогда как знаменитая матерная резолюция генсека на агентурном донесении, напротив, говорит о его уверенности в том, что в ближайшее время войны не будет. Если нападение на Германию действительно планировалось, то объяснить это противоречие довольно просто: Сталин считал, что Гитлер не станет воевать на два фронта против СССР и Великобритании, и старался по возможности скрыть свои собственные военные приготовления, чтобы немцы не успели предпринять никаких упреждающих действий. В рамках же гипотезы об исключительно оборонительных намерениях советского руководства удовлетворительного объяснения описанному парадоксу не найдено до сих пор.

А. Рунов одним из доказательств того, что СССР не готовился к агрессии, считает строительство укрепленных районов («линия Молотова») на новой государственной границе: «Нельзя допустить, что сторона, собирающаяся осуществить наступление на территорию противника, станет тратить такие средства на оборону своей территории» (25, с. 21). Другое дело, что «командующие и командиры, имея на руках план прикрытия государственной границы, участвуя в реализации мероприятий инженерного обеспечения этого плана, были уверены, что до проведения масштабных оборонительных операций и боев дело не дойдет, и морально готовили подчиненные штабы и войска к последующим наступательным действиям на территории противника» (25, с. 415). Сооружение укрепленных районов, сопряженное с огромными затратами времени, сил и материалов, на первый взгляд, действительно с трудом вписывается в гипотезу о подготовке к нападению на Германию, тем более что, по данным новейших исследований (см., например: 39), речь шла не о демонстративном строительстве, как в свое время предполагал В.А. Суворов, а о том, чтобы в самом деле в кратчайшие сроки прикрыть наиболее угрожаемые направления на новой границе современными укреплениями (см. карту: 39, с. 11).

Следует, однако, учитывать, что советские стратегические планы вплоть до марта 1941 г. включительно строились на основе доктрины «ответного удара» и на начальный период войны действительно предусматривали оборонительные действия войск прикрытия с опорой на укрепленные районы, хотя и могли быть использованы не только для отражения агрессии, но и для начала боевых действий по инициативе самого СССР. Только майский план 1941 г. предусматривал вторжение на территорию противника главных сил Красной армии, скрытно отмобилизованных и развернутых на границе еще в мирное время (ср.: 20, с. 421).

В.Л. Петров в своем очерке, посвященном особенностям советской политической системы в предвоенный период, также усомнился в агрессивных намерениях Сталина, поскольку в СССР в те годы так и не было

создано эффективного механизма стратегического руководства вооруженными силами, что подтвердили первые дни Отечественной войны (8, с. 71). Аргумент этот, впрочем, представляется малоубедительным, ведь эффективное командование требуется и в оборонительной войне, и его отсутствие в Советском Союзе в июне 1941 г. говорит скорее о том, что Сталин просто не обращал внимания на эту проблему.

М.И. Мельтюхов, напротив, настаивает, что СССР действительно готовился к нападению на Германию. Проведенный им анализ опубликованных к настоящему моменту советских стратегических и оперативных планов 1940–1941 гг. (18; 19, с. 281–313) показывает, что все они с самого начала были выдержаны в наступательном духе и рассчитаны не столько на отражение агрессии, сколько на начало войны по инициативе СССР. В наибольшей степени это относится к плану от 15 мая 1941 г. Начавшееся весной 1941 г. скрытное развертывание советских войск на западном театре подтверждает, что этот план был утвержден Сталиным и введен в действие. В то же время анализ ряда материалов, преимущественно пропагандистского характера, иллюстрирующих общее настроение советских руководителей накануне войны, показывает, что в Кремле вопреки распространенным в историографии представлениям не испытывали страха перед военной мощью Германии и были вполне уверены в боевых возможностях Красной армии (см.: 19, с. 314–340). О готовности СССР к нападению на Германию, по мнению автора, рассуждать бесполезно, поскольку оно так и не состоялось. Однако можно предполагать с достаточной степенью вероятности, что, если бы не перенос сроков нападения с 12 июня на июль, то у Советского Союза были бы вполне реальные шансы выиграть войну уже в 1942 г. (19, с. 380–382).

Близкой точки зрения придерживается П.Н. Бобылев (5; 7). Стратегические планы, разработанные в Москве в августе 1940–марте 1941 г., он, однако, считает все же планами отражения агрессии и ответного удара, а не нападения на Германию. Майский план 1941 г. был, по его мнению, планом упреждающего удара с целью сорвать готовящуюся нацистскую агрессию. Как и Мельтюхов, Бобылев полагает, что этот план был утвержден Сталиным, о чем свидетельствуют советские военные приготовления в мае–июне 1941 г.

Полемику по вопросу о целях советской военной политики в 1939–1941 гг. затрагивает в своей книге и К. Беллами (30), тем более что с Суворовым он знаком лично. Анализируя его концепцию в свете последних исследований и с учетом вновь рассекреченных документов (в первую очередь, разумеется, советских стратегических планов 1940–1941 гг., которые были еще секретными в то время, когда писался «Ледокол»), Беллами в принципе соглашается с тем, что интенсивная подготовка Советского Союза к наступательной войне подтверждается целым рядом

косвенных доказательств, как и с тем, что началом тайной мобилизации в СССР необходимо признать принятие 1 сентября 1939 г. Закона о всеобщей воинской повинности, позволившего Сталину резко увеличить численность Красной армии. Он настаивает также, что майский проект стратегического плана 1941 г. был составлен в Генеральном штабе по поручению Сталина и частично введен в действие в мае–июне.

В целом, однако, автор склоняется к значительно менее радикальной интерпретации событий 1939–1941 гг., нежели Суворов, предполагая, что нападать на Германию Сталин в 1941 г. все же не собирался, поскольку не мог не осознавать, что Красная армия к такой войне не готова. Если он и рассчитывал, заключая в августе 1939 г. договор с Германией, что война между Третьим рейхом и западными демократиями приведет к их взаимному истощению и тем самым создаст необходимые предпосылки для советского вторжения в Европу (как думал Суворов), то после поражения Франции в 1940 г. эти надежды явно рухнули. Таким образом, заключает Беллами, можно предположить, что на 1942 г. Сталин действительно планировал нападение на Германию и в уже упоминавшейся записке Жукова и Тимошенко от 15 мая 1941 г. содержался предварительный замысел такой операции. Но в 1941 г. Советский Союз должен был, по возможности, оставаться вне войны, к чему, по мнению автора, и стремился генсек.

Джон А. Лукач (США) также полагает, что Сталин действительно рассчитывал воспользоваться начавшейся в Европе войной для дальнейшего расширения территории СССР, однако старался сохранять нейтралитет как можно дольше, думая, что время работает на него (см.: 35).

В связи с вопросом о целях советских военных приготовлений первой половины 1941 г. продолжает обсуждаться и проблема применения термина «превентивная война». Дискуссия по этому вопросу осложняется неопределенностью самого понятия, а также тем, что тезис о превентивной войне против СССР в свое время активно использовался гитлеровской пропагандой. Как следствие, многие авторы по сей день обвиняют В.А. Суворова в попытках оправдать нацистскую агрессию против нашей страны, тогда как на самом деле автор «Ледокола» скорее обвиняет сталинское руководство в том, что оно своей экспансионистской политикой спровоцировало нападение немцев и, таким образом, несет свою долю ответственности за трагедию 1941–1945 гг. Кроме того, с появлением в открытой печати советских стратегических планов, особенно майского плана 1941 г., возник вопрос о применимости термина «превентивная война» к действиям самого СССР.

Одно из возможных решений описанной проблемы предлагает Мельтюхов: нацистская агрессия против Советского Союза не может считаться превентивной войной, а советские военные приготовления в первой половине 1941 г. – подготовкой к упреждающему удару с целью сорвать

германское вторжение, поскольку в Берлине не ожидали нападения со стороны СССР в 1941 г., равно как и в Москве не опасались нападения немцев в ближайшие месяцы (19, с. 379).

Ряд авторов разграничивают такие понятия, как превентивный удар и упреждающий удар. В завершённом виде этот подход представлен в монографии Беллами. Под *упреждающей войной* (pre-emptive war) он понимает «действия, направленные на упреждение или отражение “близкой и губительной” угрозы», тогда как под *превентивной войной* (preventive war) — «действия, направленные на то, чтобы предупредить материализацию еще не существующей угрозы» (30, с. 102; в качестве примера превентивной войны Беллами приводит вторжение американцев в Ирак в 2003 г.). При этом в книге подчеркивается, что если упреждающая война «имеет почтенную родословную в международном праве», то к превентивной войне оно «менее благосклонно» (30, с. 102). Таким образом, нападение Германии на СССР не может считаться упреждающим ударом, поскольку нацистское руководство не ожидало в 1941 г. нападения со стороны Советского Союза. Советский стратегический план от 15 мая 1941 г. также не может считаться планом упреждающего удара, поскольку Сталин был уверен, что Гитлер не станет нападать на СССР пока продолжается война между Германией и Великобританией. В то же время понятие превентивной войны вполне применимо к действиям как гитлеровского, так и сталинского руководства.

Такой подход позволяет не только преодолеть терминологическую путаницу, но и разрешить этические коллизии, возникающие при обсуждении «проблемы превентивного удара», поскольку превентивная война в том смысле, какой вкладывает в это понятие Беллами, с точки зрения международного права является акцией по меньшей мере сомнительной и, следовательно, не может считаться оправданием нацистской агрессии против СССР.

Была ли Красная армия готова к войне?

Вопрос, была ли Красная армия в 1941 г. готова к войне с Германией, также остается предметом оживленных дискуссий, особенно в связи со спорами о «проблеме превентивного удара». Ситуацию осложняет неопределенность самого понятия готовности к войне, критерии и методология оценки которой до сих пор не были предметом специального анализа. В этих условиях любые суждения по этому вопросу страдают неизбежным субъективизмом. Следует учитывать и то обстоятельство, что наши сегодняшние оценки боеготовности РККА в 1941 г. базируются, помимо всего прочего, на наших знаниях о ходе и результатах боевых действий в 1941–1945 гг. и, следовательно, вовсе не обязательно должны совпадать с оцен-

ками, бытовавшими в Кремле и среди советских военачальников в предвоенные годы. Тем не менее в литературе до сих пор распространена точка зрения, согласно которой Сталин не мог не осознавать, что Красная армия к войне не готова, и, следовательно, не мог планировать нападение на Германию. Эту позицию отстаивает, к примеру, Орлов (24, с. 391–393), а также, с некоторыми оговорками, Беллами (30) и Мэрфи (37). Ее же придерживался и Безыменский (4).

В.Н. Свищев, напротив, считает неправильными (и даже вредными) попытки некоторых исследователей представить нашу страну неготовой к войне, слабой, отсталой и плохо вооруженной. В своей книге (28, т. 1) он доказывает, что Красная армия к 1941 г. по технической оснащенности не уступала вермахту, а во многом (в первую очередь по количеству и качеству самолетов и танков) даже превосходила его. В то же время обороноспособность страны сильно подорвали репрессии в вооруженных силах: «В результате репрессий у руководящего состава не только ослаблялись такие качества, как инициатива и творческий подход к делу, но возникали и естественные чувства неуверенности, подозрительность к своим сослуживцам, обнаруживалась боязнь проявить высокую требовательность к подчиненным» (28, т. 1, с. 381). Результатом репрессий автор считает и нехватку квалифицированных командиров к июню 1941 г.

Д.Б. Лошков также оспаривает представление о неготовности СССР к войне с Германией: и в экономическом, и в техническом, и в моральном отношении уровень подготовленности к большой войне к июню 1941 г. был довольно высоким, а пропаганда среди командного состава армии в 1939–1941 гг. была организована в «наступательном» духе (17). Причинами неудач РККА в первые месяцы войны, по его мнению, необходимо признать политические и стратегические просчеты Сталина накануне ее начала, а также принципиальный недостаток сталинской системы, в которой решение всех важнейших вопросов замыкалось на одном человеке.

В.П. Кожанов в очерке, посвященном советской экономике накануне войны, пришел к выводу, что к 1941 г. СССР удалось создать достаточно мощную военно-промышленную базу и в целом догнать уже воюющую Германию по темпам производства вооружения и военной техники. Кроме того, была создана система централизованного руководства экономикой, что позволяло при необходимости в кратчайшие сроки увеличить производительность оборонной промышленности еще в несколько раз. Таким образом, в экономическом отношении СССР был готов к войне; даже в тяжелейших условиях 1941–1942 гг. советской стороне удалось довольно быстро вновь сравняться с Германией в производстве военной продукции, а затем и превзойти ее (8, с. 78–79).

Кожанов отметил также существовавшую перед войной диспропорцию «между производством основных видов вооружения и производством

обеспечивающих их боевую деятельность компонентов – горючего, боеприпасов, транспорта, средств связи, инженерного вооружения, средств ремонта техники» (8, с. 79). К сожалению, он не затронул вопроса о связи между этой диспропорцией и характерной для советского руководства в те же годы гигантоманией, проявившейся, к примеру, в создании колоссальных по численности танковых войск (свыше 24 тыс. танков в строю при запланированной штатной численности свыше 30 тыс.) и в производстве боеприпасов (см., например: 26, с. 221–222), обусловленной, по-видимому, спецификой существовавших представлений о характере и масштабах будущей войны.

В.А. Рунов в своей работе прежде всего отмечает, что мало иметь сильную армию, чтобы победить противника, – надо еще обладать военным искусством, которого, как показывается в книге, у советских военачальников в начале войны не было: «Правомерно начало Великой Отечественной войны рассматривать не только с позиции наличия и соотношения сил и средств, как это делают многие современные исследователи, но также и со стороны наличия военного искусства применения их в бою и операции» (25, с. 9). Проводя сравнительный анализ подготовки командного состава Красной армии и вермахта, он обращает внимание на их сильное различие: «В германской армии свыше 85% военачальников высших рангов имели академическое образование, 90% офицеров в звене рота – полк были выпускниками военных училищ» (25, с. 413). В РККА же на 1 января 1941 г. лишь 7,1% командно-начальствующего состава имели высшее образование, «55,9 – среднее, 24,6 – ускоренное, 12,4% – не имели военного образования» (25, с. 413). Отмечаются также низкая квалификация летчиков и танкистов, неопытность командиров. Весьма негативно на состоянии войск западных округов повлияли репрессии 1937–1940 гг.

Учитывая такой разброс оценок, трудно не согласиться с Мельтюховым, по мнению которого «вопрос о реальной боеспособности Красной армии накануне войны еще ждет своего исследователя» (19, с. 335).

Общая оценка политики Сталина

Уместны ли в научном исследовании по истории оценочные суждения – вопрос едва ли не такой же «вечный», как и вопрос об отношении истории к «сослагательному наклонению», и, надо сказать, едва ли не такой же сложный. В самом деле, история недолгоблизает сослагательное наклонение в том смысле, что конструирование сколько-нибудь продолжительных альтернативных историй – занятие практически бесперспективное, поскольку ни один исследователь не в состоянии учесть все бесконечное многообразие факторов, которые постоянно вмешиваются в исторический процесс (едва ли не самый непредсказуемый из них, как из-

вестно, – человеческий). В то же время очевидно, что работа историка не сводится к простому коллекционированию фактов; ее составной частью является выявление важнейших тенденций развития. Следовательно, возможен анализ не только тех результатов, к которым привела возобладавшая в действительности тенденция, но и иных, возникших под воздействием альтернативных тенденций в известных историческом условиях (в конце концов, любое научное прогнозирование сводится к анализу того, куда приведут происходящие в настоящий момент процессы, если не вмешаются какие-либо иные, не известные пока факторы). Анализ отвергнутых (или упущенных) альтернатив содействует более глубокому и всестороннему пониманию прошлого – разумеется, если не придерживаться крайнего детерминизма, полностью исключающего какие-либо альтернативы; в этом случае, впрочем, под сомнением оказывается сама возможность познания.

Появление в исторических исследованиях оценочных суждений, в свою очередь, связано не только с упомянутым стремлением рассмотреть отвергнутые альтернативы, но и с тем, что целью историка является не одно лишь выявление абстрактных механизмов исторического процесса, но и понимание людей ушедших эпох, а сама историческая наука выполняет в обществе помимо познавательной еще и функцию смыслообразующую. Не случайно оценочные суждения встречаются даже в тех работах, авторы которых открыто заявляют о своем намерении воздерживаться от них, равно как авторы, объявляющие своей целью «показать только факты», редко в действительности воздерживаются от выводов. Таким образом, стремление оценить не только настоящее, но и прошлое является, по видимому, вполне естественным побуждением человека, пытающегося найти свое место в настоящем, выстроить собственную систему координат. Тем интереснее взглянуть на оценочные выводы, существующие в историографии, особенно если речь идет о такой болезненной теме, как 1941 год.

Дискуссии об общей оценке политики Сталина в предвоенный период и в начале Отечественной войны развиваются в основном по двум направлениям: вокруг вопросов об интерпретации ее целей и мотивов (был ли Сталин коммунистом, прагматиком-националистом, традиционалистом и т.д.) и ее «качества» (была ли внешняя и военная политика Сталина оправданной или ошибочной, преступной, аморальной или же, напротив, отвечала по крайней мере интересам населения СССР). Естественно, что ответы на эти вопросы зачастую определяются не только (и даже не столько) исследуемым фактическим материалом, сколько особенностями мировоззрения и ценностными установками отдельных авторов.

К числу исследователей, считающих советского «вождя» скорее прагматиком-националистом, нежели фанатиком-марксистом, принадле-

жит, в частности, Дж. Лукач. В своей работе (35) он приходит к выводу, что Сталин в 1930-е–начале 1940-х годов руководствовался не столько коммунистической, сколько этатистской идеологией. Такая позиция, в свою очередь, предопределила его обращение к национализму и империализму. Сходную точку зрения отстаивает и Мельтюхов (19), по мнению которого определяющим мотивом в действиях Сталина являлись прежде всего геополитические соображения, тогда как коммунистическая идеология играла второстепенную роль. А.Л. Сафразьян, напротив, настаивает, что политика как Советского Союза, так и Третьего рейха была идеологически детерминирована (27). Это не исключало прагматических решений (например, пакт Молотова–Риббентропа), но лишь как временную меру на пути к достижению конечной цели. Д. Мэрфи также не соглашается с представлением, будто Сталин был не революционером, а политиком-прагматиком, и настаивает, что «вождь народов», оставаясь убежденным коммунистом, лишь несколько ослабил революционную риторику из тактических соображений. Нацеленность генсека на то, чтобы «добиваться истощения капиталистов/империалистов в войнах», он считает проявлением ленинской идеологии, а не национализма или государственничества (37, с. 24).

Целый ряд авторов открыто оправдывают политику Сталина. О.В. Вишлев, к примеру, пытается доказать, что заключение пакта Молотова–Риббентропа было мотивировано заботой об обеспечении безопасности Советского Союза в условиях назревающей мировой войны, а сам по себе пакт (включая секретный протокол!) не представляет собой ничего предосудительного, поскольку не содержит явных обязательств сторон осуществить агрессию против Польши или прибалтийских государств и в принципе не является чем-то новым для дипломатической практики того времени (9). Более того, пакт может расцениваться как успех советской дипломатии, поскольку границы СССР были отодвинуты дальше на запад. В противовес авторам, критикующим излишне доброжелательную позицию СССР по отношению к Германии в 1939–1941 гг., Вишлев подчеркивает сложный, конфликтный характер советско-германских отношений. А.В. Исаев в своих работах, посвященных боевым действиям на Восточном фронте летом–осенью 1941 г. (13; 14), не считает ошибочной советскую «наступательную» стратегию, а поражения Красной армии в исследуемый период объясняет исключительно объективными факторами.

К числу фактических защитников Сталина принадлежит, к сожалению, и Мельтюхов. Экспансионизм и военная агрессия представляются ему едва ли не единственной формой соперничества государств на международной арене; с этой точки зрения советский экспансионизм, в том числе и пакт Молотова–Риббентропа, также не следует считать чем-то предосудительным: «Конечно, Москва была заинтересована в отстаивании

своих интересов, в том числе и за счет интересов других, но это, вообще-то, является аксиомой внешнеполитической стратегии любого государства. Почему же лишь Советскому Союзу подобные действия ставят в вину?» (19, с. 220–221, 370). Кроме того, утверждает Мельтюхов, у Советского Союза были законные права на территории, приобретенные в 1939–1940 гг., так что «в этом смысле невозможно не присоединиться к мнению Н.М. Карамзина: “Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое”» (19, с. 370–371). Наконец, победа СССР в результате нападения на Германию была бы благом для всего мира, поскольку создание в Старом Свете большевистского сверхгосударства «на основе русской советской традиции всеединства и равенства разных народов (sic! – М. М.) в гораздо большей степени отвечало интересам подавляющего большинства человечества, нежели реализуемая ныне расистская по своей сути модель “нового мирового порядка” для обеспечения интересов “золотого миллиарда”» (19, с. 382).

Некоторые авторы критикуют лишь отдельные решения Сталина. Так, А.С. Орлов соглашается с тем, что секретные протоколы к пакту Молотова–Риббентропа «аморальны, незаконны и недействительны» (24). Тем не менее в целом договор о ненападении с Германией, по его мнению, являлся благом для СССР, поскольку отодвигал границы страны дальше на запад. Уравнивание сталинского режима с нацистским Орлов считает необоснованным. В.Н. Свищев в своей работе отмечает, что именно на Сталине в первую очередь лежит ответственность за репрессии в армии, сильно подорвавшие обороноспособность СССР в преддверии войны. Кроме того, к причинам неудач РККА в летне-осенней кампании 1941 г. он относит целый ряд допущенных «вождем» политических и стратегических ошибок. Тем не менее, по мнению Свищева, «виновность Сталина в массовых репрессиях по отношению к партийным, советским и военным кадрам не умаляет его роли в создании первого в мире социалистического государства и достижении победы в Великой Отечественной войне, начавшейся так неудачно» (28, т. 1, с. 383). «Эта двойственность личности Иосифа Виссарионовича, – продолжает автор, – является проявлением особенностей того сложного времени» (28, т. 1, с. 383–384).

А.О. Чубарьян, анализируя советскую внешнюю политику в 1939–первой половине 1941 г. (29), последовательно обосновывает аморальность действий сталинского руководства. Он доказывает, что решение Сталина заключить договор с Германией не было продиктовано опасениями быть вовлеченным в большую войну. Напротив, мотивы советской стороны были вполне циничными: Гитлер, стремясь любой ценой обеспечить нейтралитет СССР в предстоящей германо-польской войне, предложил Москве заведомо более соблазнительные условия (раздел Восточной Европы и возвращение в зону советского влияния территорий, ранее вхо-

дивших в состав Российской империи), чем она могла бы добиться на переговорах с Великобританией и Францией. Договор с Германией в такой ситуации просто показался Сталину наиболее выгодным и надежным.

Анализируя процесс заключения договоров о взаимопомощи со странами Балтии, автор показывает предельно жесткий, ультимативный характер советских требований, отсутствие с советской стороны всякого стремления к взаимовыгодному компромиссу. Он отмечает также, что выборы в парламенты Эстонии, Латвии и Литвы, проведенные под советским нажимом летом 1940 г., проходили по советскому же образцу, на безальтернативной основе, с одним кандидатом, что во многом предопределило их благоприятные для советской стороны результаты. Упоминается в книге и о том, что к числу основных аргументов в пользу принятия советских требований, обсуждавшихся в Таллине, Риге и Каунасе в 1939–1940 гг., относилась и неспособность оказать вооруженное сопротивление советскому нажиму, а переход в советскую зону влияния и последующее присоединение к СССР воспринимались как выбор меньшего из зол по сравнению с опасностью, исходившей от Германии.

На многочисленных примерах Чубарьян показывает, что прогерманская ориентация советской внешней политики в 1939–1940 гг. была явно избыточной. Такие меры, как заключение договора о дружбе с нацистским рейхом, свертывание антифашистской пропаганды, более того – переход к публичному оправданию нацизма как идеологии и переориентация зарубежных компартий на фактическую поддержку германской политики, не были необходимы даже с точки зрения сохранения нейтралитета СССР в начавшейся Второй мировой войне. Напротив, налаживая все более тесные связи с Германией, Советский Союз в известной мере оказался заложником ее политики, упустив возможность своевременно «уравновесить» улучшение отношений с ней развитием связей с англо-французским блоком и США. Впоследствии это сыграло только на руку Гитлеру, который после разгрома Франции в 1940 г. уже не так сильно, как в 1939-м, нуждался в советской поддержке и мог позволить себе действовать, не считаясь с позицией СССР.

Сходной точки зрения придерживался А.А. Безыменский (4). Весьма критически сталинскую политику оценивает и Д. Мэрфи (37). Д. Гланц (США) в своей монографии «Барбаросса» рассматривает советскую «наступательную» доктрину как одну из причин катастрофических поражений Красной армии летом–осенью 1941 г. (33, с. 16, 206).

Джеффри Робертс (Ирландский национальный университет, Корк), описывая в книге «Войны Сталина: От мировой войны до холодной войны, 1939–1953» (38) промахи, допущенные Сталиным накануне и в начале Отечественной, отмечает также его способность учиться на своих ошибках: к осени 1942 г. он начал гораздо охотнее прислушиваться к своим ге-

нералам, что позволило ему продолжать войну с большим успехом, нежели в предшествующие месяцы. Это обстоятельство, а также то, что Сталину, несмотря на допущенные просчеты, удалось все же избежать в 1941 г. полного поражения СССР в войне с Германией, побуждает автора дать советскому диктатору как военному руководителю в целом положительную оценку. Более того, Робертс полагает, что в условиях созданной Сталиным тоталитарной системы по-настоящему эффективно руководить Советским Союзом в тотальной войне мог только сам Сталин. Автор специально оговаривает, что такие оценки не должны рассматриваться как оправдание сталинских преступлений, но позволяют глубже понять сам феномен сталинской системы, ее сложную и противоречивую природу и столь же сложные и противоречивые последствия.

Заключение

Как видим, минувшее десятилетие оказалось довольно плодотворным и для отечественной, и для зарубежной историографии войны на Восточном фронте. В российской науке продолжается освоение комплекса источников, ставших доступными в постсоветские годы. Значительным достижением на этом пути стало появление на свет ряда фундаментальных обзорных трудов по истории советской внешней и военной политики в 1939–1941 гг. Заслуживает внимания также работа по осмыслению необычайной подоплеку изучаемых процессов, хотя она и находится пока на начальной стадии. За рубежом окончание холодной войны и возможность доступа к рассекреченным документам бывших советских архивов позволили вывести изучение предыстории советско-германского конфликта и его начального периода на принципиально новый уровень. Сильными сторонами западной историографии являются комплексный, системный подход к изучаемому материалу, идеологическая непредвзятость (благо авторы находятся в стороне от российских споров о прошлом), более смелое использование разнообразных методологических новшеств. Из последних наиболее примечательны история повседневности, использование источников обеих враждующих сторон при изучении истории боевых действий, анализ изучаемых событий в более широком историческом контексте и т.д. Следует отметить также преобладающий в зарубежных работах стиль изложения – спокойный, взвешенный, благожелательный к оппонентам. Здесь есть чему поучиться многим российским авторам.

В отечественной историографии событий 1939–1941 гг. сосуществуют несколько направлений. Многие исследователи старшего поколения – такие как Безыменский, Чубарьян, не упоминавшийся в этой статье С.З. Случ – продолжают работать в рамках парадигмы, сложившейся еще на излете перестройки. Ее сильной стороной является последовательно

критическое отношение к политическому курсу сталинского руководства. Это важно не только в ценностном плане (как необходимый шаг к переосмыслению и преодолению тоталитарного прошлого), но и в сугубо научном, поскольку позволяет полнее и глубже постичь внутреннюю механику изучаемых процессов. Представители этого направления до сих пор еще вынуждены доказывать тезисы, выработанные, в сущности, уже довольно давно: не только французская и британская, но и советская дипломатия не была настроена на построение новой антигерманской Антанты летом 1939 г., поскольку решение о сближении с нацистской Германией было принято, по-видимому, еще до начала англо-франко-советских переговоров; заключение пакта с Гитлером было продиктовано экспансионистскими мотивами, а не необходимостью укрепить обороноспособность СССР; расширение советских границ в 1939–1940 гг. было результатом агрессивных по сути своей действий Москвы, а не «добровольного волеизъявления» белорусов, украинцев, прибалтийских народов; вплоть до лета 1940 г. советско-германские отношения развивались вполне конструктивно, несмотря на разногласия по отдельным частным вопросам, а стремление Сталина к их дальнейшему углублению было явно чрезмерным даже с точки зрения сохранения нейтралитета в начавшейся Второй мировой войне и крайне вредным для самого Советского Союза.

С этими выводами трудно не согласиться. Можно лишь добавить, что не следует недооценивать обороноспособность СССР в 1939 г., особенно по сравнению с 1941-м. Летом 1939 г. советская территория не соприкасалась с германской, граница СССР была прикрыта достроенными и на тот момент еще действующими укрепленными районами, а расположенным на ней войскам в случае войны пришлось бы действовать на своей земле, с налаженными коммуникациями, имея в тылу в целом лояльное население. К лету 1941 г. Советский Союз получил прямую границу с рейхом, что резко повышало опасность внезапного нападения. На этой границе пришлось срочно строить новую линию укреплений, в том числе ценой консервации укреплений на старой границе; к началу нацистской агрессии эта работа так и не была закончена. Пропускная способность дорожной сети на вновь присоединенных территориях была существенно ниже, чем к востоку от старой границы, а форсированная советизация этих областей привела к растущему недовольству местного населения в ближайшем тылу тех войск, которым предстояло принять на себя первые удары вермахта. Такова была истинная цена «значительных успехов советской дипломатии», достигнутых в августе–сентябре 1939 г.

В то же время представители упомянутого направления, к сожалению, оказались не готовыми принять гипотезу о подготовке советской стороны в 1940–1941 гг. к нападению на Германию, хотя она позволяет найти ответы на некоторые немаловажные вопросы, которые в противном

случае остаются неразрешенными. Целый ряд исследователей (П.Н. Бобылев, В.Д. Данилов, М.И. Мельтюхов, В.А. Невежин) приняли в 1990-е годы эту парадигму, что позволило им выработать новую, научно выверенную концепцию изучаемых событий, свободную от отдельных натяжек, неточностей и недостаточно обоснованных суждений, свойственных В.А. Суворову. По-видимому, политика Сталина в 1939 – первой половине 1940 г. определялась среди прочего желанием использовать в своих интересах затяжную войну между Третьим рейхом и западными демократиями. Неожиданное поражение Франции в 1940 г. означало провал этих расчетов. В новых условиях советское руководство развернуло подготовку к военному столкновению с Берлином, благо принятая военная доктрина вполне допускала и начало войны по инициативе СССР. В результате постепенной корректировки стратегических планов на протяжении 1940 – первой половины 1941 г. был разработан план внезапного удара по немецким войскам главными силами Красной армии, заблаговременно сосредоточенными на границе, и началась подготовка к его осуществлению. Планов оборонительной войны у советского командования, судя по всему, просто не было, что стало одной из причин катастрофы 1941 г. Любопытно, что специалисты по собственно военной проблематике, в том числе молодые, эту «парадигму», как правило, не разделяют, предпочитая более традиционную, хотя и спорную, «установку» – об исключительно оборонительных намерениях сталинского руководства вследствие неготовности РККА к войне.

В последние годы вновь усилились тенденции к реставрации старого советского мифа о том, что договор о ненападении с Германией был заключен с целью выиграть время для укрепления обороноспособности СССР и даже к оправданию политики Сталина в целом, как продиктованной объективными обстоятельствами. Интересно, что характерно это для представителей разных поколений и течений в историографии. Так, М.И. Мельтюхов в своих последних работах пытается оправдать даже раздел Польши между Москвой и Берлином и последующую подготовку советского руководства к дальнейшему «расширению границ социализма» вооруженным путем. Приходится признать, что смена общественных настроений повлияла и на историческую науку.

Дополнительные сложности создает ситуация с источниками. Поскольку «архивная революция» привела лишь к половинчатым результатам, до сих пор не представляется возможным, в частности, исследовать механизм выработки и принятия внешнеполитических решений в сталинском СССР. Аналогичным образом и материалы советского военного планирования по-прежнему доступны далеко не полностью; в опубликованных к настоящему времени документах содержится лишь довольно фрагментарная информация. В то же время освоение того массива источ-

ников, который все же был введен в научный оборот после 1991 г., довольно далеко от завершения.

Из сказанного выше следует, что в истории предвоенного периода и начала Отечественной войны осталось еще немало неразрешенных проблем. Революционные потрясения 1990-х годов сменились стабильным эволюционным развитием. В нем есть свои преимущества, но не хотелось, чтобы ему на смену пришел застой.

Список литературы

1. Арцыбашев В.А. Начальный период войны в представлениях командного состава РККА в 1921–1941 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. – М., 2004. – 274 с.
2. Арцыбашев В.А. Образ начального периода войны в представлениях командного состава Красной Армии в 1931–1941 гг. – М.: Ипполитов, 2004. – 71 с.
3. Безыменский Л.А. О «плане Жукова» от 15 мая 1941 г. // Новая и новейшая история. – М., 2000. – № 3. – С. 58–67.
4. Безыменский Л.А. Сталин и Гитлер перед схваткой. – М.: Яуза; Эксмо, 2009. – 478 с.
5. Бобылев П.Н. К какой войне готовился Генеральный штаб РККА в 1941 году? // Отечественная история. – М., 1995. – № 5. – С. 3–20.
6. Бобылев П.Н. Репетиция катастрофы: (По материалам совещания высшего командного состава Красной Армии в декабре 1940 г. и оперативно-стратегических игр на картах в январе 1941 г.) // Военно-исторический журнал. – М., 1993. – № 6. – С. 10–16; № 7. – С. 14–21; № 8. – С. 28–35.
7. Бобылев П.Н. Точку в дискуссии ставить рано: К вопросу о планировании в Генеральном штабе РККА возможной войны с Германией в 1940–1941 годах // Отечественная история. – М., 2000. – № 1. – С. 41–64.
8. Великая Отечественная война, 1941–1945: Военно-исторические очерки. – М.: Наука, 1998. – Кн. 1: Суровые испытания. – 544 с.
9. Вишлев О.В. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. – М.: Наука, 2001. – 230 с.
10. Волков В.К. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике Сталина (Весна–лето 1941 г.) // Вопросы истории. – М., 2003. – № 6. – С. 31–58.
11. Гареев М.А. Готовил ли Советский Союз упреждающее нападение на Германию в 1941 году? // Война и политика, 1939–1941 / Отв. ред. Чубарьян А.О. – М.: Наука, 1999. – С. 270–279.
12. Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. – М.: РОССПЭН, 1999. – 384 с.
13. Исаев А.В. От Дубно до Ростова. – М.: Транзиткнига, 2004. – 711 с.
14. Исаев А.В. Пять кругов ада: Красная Армия в «котлах». – М.: Эксмо, 2008. – 396 с.
15. Иссерсон Г.С. Новые формы борьбы: (Опыт исследования современных войн). – М.: Воениздат, 1940. – Вып. 1. – 76 с.
16. Лошков Д.Б. Командные кадры Красной Армии накануне Великой Отечественной войны: (1939 – июнь 1941 г.): Дис. ... канд. ист. наук. – М., 2003. – 180 с.
17. Лошков Д.Б. Система подготовки и совершенствования профессионального уровня командных кадров РККА в преддверии войны / Мос. гос. обл. ун-т. – М., 2003. – 51 с.
18. Мельтюхов М.И. Канун Великой Отечественной войны: Дискуссия продолжается. – М.: АИРО-XX, 1999. – 68 с.

19. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина: Схватка за Европу, 1939–1941 гг.: (Документы, факты, суждения). – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вече, 2008. – 539 с.
20. Мерецков К.А. На службе народу: Страницы воспоминаний. – М.: Политиздат, 1969. – 464 с.
21. Минц М.М. «Стратегия сокрушения»: Стратегическая и военно-техническая концепции будущей войны в структуре советской военной доктрины 1930-х – начала 1940-х годов // Российская история. – М., 2010. – № 3. – С. 3–18.
22. Мировые войны XX века: В 4 кн. – М.: Наука, 2002. – Кн. 3: Вторая мировая война: Исторический очерк / Науч. ред. Поздеева Л. В.; Отв. ред. Кульков Е.Н. – 597 с.
23. Невежин В. «Если завтра в поход...»: Подготовка к войне и идеологическая пропаганда в 30–40-х годах. – М.: Эксмо, 2007. – 317 с.
24. Орлов А.С. Сталин: В преддверии войны. – М.: Алгоритм, 2003. – 415 с.
25. Рунов В.А. 1941. Первая кровь. – М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 511 с.
26. Самуэльсон Л. Красный колосс: Становление военно-промышленного комплекса СССР, 1921–1941. – М.: АИРО-XX, 2001. – 294 с.
27. Сафразьян А.Л. Идеология и внешняя политика СССР, 1939–1941 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. – М., 2008. – 235 с.
28. Свищев В.Н. Начало Великой Отечественной войны: В 2-х т. – М.: SVN, 2003–2005. – Т. 1: Подготовка Германии и СССР к войне. – 2003. – 444 с.; Т. 2: Приграничные сражения. – 2005. – 575 с.
29. Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. – М.: Наука, 2008. – 476 с.
30. Bellamy Ch. Absolute war: Sov. Russia in the Second world war: A mod. history. – L. etc.: Macmillan, 2007. – XXIX, 813 p.: ill.
31. Braithwaite R. Moscow 1941: A city and its people at war. – L.: Profile books, 2007. – 446 p.
32. Broekmeyer M. Stalin, the Russians, and their war, 1941–1945. – Madison (Wis.); L.: Univ. of Wisconsin press, 2004. – XVI, 315 p.
33. Glantz D.M. Barbarossa: Hitler's invasion of Russia, 1941. – Stroud (Gloucestershire); Charleston (South Carolina): Tempus publ., 2001. – 256 p.
34. Hartmann Ch. Wehrmacht im Ostkrieg: Front und militärisches Hinterland 1941/42. – München: R. Oldenbourg Verl., 2009. – 928 S.
35. Lukacs J. June 1941: Hitler and Stalin. – New Haven; L.: Yale univ., 2006. – 169 p.
36. Mawdsley E. Thunder in the East: The Nazi-Soviet war, 1941–1945. – L.: Hodder, 2007. – XXIV, 502 p.
37. Murphy D.E. What Stalin knew: The enigma of Barbarossa. – New Haven; L.: Yale univ. press, 2005. – XXIV, 310 p.: ill.
38. Roberts G. Stalin's wars: From World war to Cold war, 1939–1953. – New Haven (Conn.); L.: Yale univ. press, 2006. – XXII, 468 p.
39. Short N. The Stalin and Molotov lines: Soviet western defences, 1928–1941. – Oxford; N. Y.: Osprey publ., 2008. – 64 p.: ill.

Д. СТРАТИЕВСКИЙ

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА И В ИСТОРИОГРАФИИ ФРГ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Советские военнопленные составляют вторую по количеству группу жертв Второй мировой войны (после европейских евреев). Согласно разным данным, в ходе боевых действий на советско-германском фронте в 1941–1945 гг. в плен попали от 4,5 млн. до 5,7 млн. советских солдат и офицеров¹. Граждане СССР в военной форме расстреливались на обочинах дорог во время многодневных пеших маршей. Они надрывались от работы в каменных карьерах, шахтах и на военных заводах, умирали от голода, холода, издевательств и эпидемий. До 3,5 млн. военнослужащих Красной армии погибли в немецком плену, что составляет около 57% от общего числа попавших в плен (смертность среди американских и британских военнопленных в германских лагерях составила порядка 3,5%)². В истории войн и человеческой цивилизации не было трагедии подобного масштаба. Тем не менее в послевоенной Германии о судьбе советских солдат за колючей проволокой на десятилетия фактически забыли. На это есть причины историко-политического и общественного характера.

Забывтые жертвы Второй мировой

Если спросить рядовых немцев, например, в рамках уличного опроса, о жертвах нацистской тирании, то большинство в первую очередь назовет евреев. Это связано не только с чудовищностью и масштабом преступления нацистов в отношении еврейского народа, но и с его особым положением в ряду жертв гитлеровского режима, что зафиксировано сис-

¹ Различие в данных о количестве советских солдат и офицеров в немецком плену связано с методикой подсчета попавших в плен в ходе различных операций и окружений, а также с особенностью определения статуса «военнослужащего» в немецкой и советской/постсоветской историографии.

² В германском плену находились 232 тыс. военнослужащих армий Великобритании и США. Из них погибли 8348 человек, или 3,5% от общего числа (более подробно см.: 5).

темой школьного образования ФРГ (проведением в рамках уроков истории специальных семинаров о Холокосте, коллективным посещением мемориалов на месте бывших концлагерей и проч.). Далее интервьюируемые прохожие назвали бы инвалидов, синти и рома, гомосексуалистов и политических противников НСДАП (коммунистов, социал-демократов, профсоюзных активистов и отдельных деятелей церкви). В историческом сознании послевоенной Германии и, не в последнюю очередь, в немецкой исторической памяти для советских военнопленных просто не было места. К. Шрайт, автор наиболее известной монографии о советских военнопленных в Германии «Они не товарищи: Вермахт и советские военнопленные, 1941–1945», пишет: «Между судьбами советских пленных и судьбами евреев существуют явные параллели. Советский пленный как образ пострадавшего от нацизма долгие годы игнорировался как на Востоке, так и на Западе» (5, с. 91).

Германская историческая память, систематический анализ событий 1933–1945 гг., особый импульс которому дали студенческие волнения 1968 г. и последовавшие за этим перемены в общественном сознании, считаются в мире образцовыми. От общественных процессов не отставала и германская историография. За прошедшие шесть послевоенных десятилетий были тщательно изучены практически все события и явления, связанные с историей нацизма: Холокост как запланированное уничтожение евреев, факты военной истории, включая отдельные сражения и кампании, оккупационная политика Германии в Западной, Восточной и Южной Европе, структура институтов власти Третьего рейха и т.д. Заметную роль в этом процессе в последние 20 лет играло использование исследователями свидетельств очевидцев, «oral history». После распада СССР немецкие историки получили доступ к закрытым ранее советским архивам. С конца 80-х годов XX в. много написано и о принудительном труде гражданских лиц, в частности в военной промышленности Германии. Лишь библиография этих работ заняла бы отдельную книгу. А публикации о советских военнопленных во Второй мировой войне, изданные на немецком языке до 1990 г., можно поместить на одном листе бумаги. Возникает вопрос: почему это так?

В Западной Германии общественно-психологическое восприятие советских военнопленных в качестве четко обозначенной группы жертв немецкой агрессии против Советского Союза имеет два измерения. Во-первых, само слово «военнопленный» вызывало в ФРГ мгновенную, зачастую неосознанную аналогию с германскими солдатами в плену стран антигитлеровской коалиции, в первую очередь с военнослужащими вермахта в советском плену. Это представление доминировало в быту и литературе, причем даже после освобождения последней группы немецких военнопленных. Характерно, что сама комбинация слов «советский военноплен-

ный» у многих немцев вызывает ассоциацию именно с германскими солдатами в советском плену, а не с советскими солдатами в немецком плену, как это подразумевает логика и семантика этого словосочетания. К. Петерс, немецкий историк и соавтор концепции первой выставки о судьбах советских военнопленных в Германии, указывает: «Соучастники преступления, военнослужащие вермахта, напавшие на СССР в 1941 г., “мутировали” в общественном сознании до статуса “жертв”» (1, с. 11). Во-вторых, в ходе начавшейся холодной войны и усиливавшейся конфронтации между Востоком и Западом к вышесказанному добавилось идеологическое отторжение. Даже в образе жертвы пленный советский солдат, обессиленный, беззащитный, не представляющий угрозы, оставался для немцев солдатом бывшей вражеской армии. Советские военнопленные как группа пострадавших от нацизма образовывали своего рода антиполюс по отношению к жертвам войны из числа мирных жителей; в них ощущалась потенциальная «опасность». В общем и целом в послевоенный период образ врага в лице «русского», «советского» не терял своей актуальности в Западной Германии. Это было связано как с латентной русофобией, существовавшей в некоторых слоях немецкого общества, так и с понятными геополитическими причинами.

ФРГ вступила в НАТО и сделала ставку на вооружение бундсвера. Новой германской армии и структурам безопасности срочно потребовались бывшие генералы вермахта и разведывательных служб (достаточно назвать Гелена, Гудериана, Хойзингера и др.). Не случайно проект создания вооруженных сил Западной Германии, предложенный тремя бывшими генералами вермахта канцлеру Аденауэру в августе 1950 г., так и назывался «Воссоздание германского вермахта». Началось противостояние Востока и Запада, в ходе которого формировались идеологические стереотипы и клише. Исторические события и факты широко использовались в целях пропаганды и контрпропаганды. Образ советского солдата в плену получил вполне определенную смысловую нагрузку. ФРГ активно применяла политику забвения в отношении красноармейцев за колючей проволокой.

Советские военнопленные в «шталаге» в Зандбостеле: типичная история

Германский историк Э. Ройс, сын бывшего немецкого военнопленного, отмечает: «Если где-то в Западной Германии на памятнике можно было увидеть советскую звезду либо серп и молот, то в молодой Федеративной Республике эти “нелюбимые” символы тщательно удалялись. Если на мемориальной доске было названо количество жертв, то это количество тщательно проверялось. Если оно совершенно точно совпадало с архивными данными, то рядом прикреплялась новая доска с количеством жертв

с немецкой стороны. Это был своего рода “ответный счет”» (2, с. 7). Приведем конкретный пример, хорошо иллюстрирующий это общее положение.

В «шталаге» ХБ в Зандбостеле «русские» являлись самой многочисленной группой среди погибших пленных союзных армий. Несколько десятков тысяч человек нашли в этом лагере свою смерть. От железнодорожных станций Бремерфёрд и Бриллиг они были вынуждены пешком идти до лагеря. Один из жителей Энгео, городка неподалеку, так вспоминал об этом: «Пленные были полностью истощены. Я бы назвал некоторых из них “полутрупами”. Один из пленных не мог идти. Конвойные стали избивать его прикладами винтовок. Затем кто-то из охраны ударил пленного штыком в спину. Бесчувственное тело было просто брошено на повозку... В яме возле одного из крестьянских хозяйств стонал русский. Молодой немецкий солдат приблизился к нему и стал избивать ногами. Затем он заколол пленного штыком» (см.: 8). Вот что рассказал об увиденном в Зандбостеле бывший французский военнопленный П. Розе на Нюрнбергском процессе: «Русские прибывали строем, в колонне по пять человек. Люди просто наталкивались друг на друга и падали, заставляя тем самым падать и соседа. Никто из них фактически не мог идти. Самое правильное название, наверное, будет “движущиеся скелеты”. Почти все щурились, так как у пленных не было сил сфокусировать зрение. Они падали, целый ряд сразу. Немцы били их прикладами винтовок и плетками» (см.: 8).

В Зандбостеле советские военнопленные стояли на самой низкой ступени внутрिलाгерной иерархии. Даже товарищи по несчастью из других стран не всегда воспринимали их как товарищей в полном смысле слова. Советский военнопленный зачастую встречал отторжение или настороженную реакцию со стороны пленных солдат американской, британской, французской или канадской армий. Питание советских военнослужащих в плену было совершенно недостаточным для нормальной жизнедеятельности. Французский пленный так вспоминал об этом: «Эти бедные русские находились в таком состоянии, что не всегда могли адекватно воспринимать реальность, понимать, кто они и где находятся. Когда мы им давали небольшую часть нашего рациона, это вызывало страшные драки, которые немцы заканчивали стрельбой прямо в толпу людей. После такой стрельбы на земле всегда оставались трупы» (см.: 8).

«Шталаг» ХБ в Зандбостеле был обычным лагерем для советских военнопленных. Обычным в плане условий проживания, питания, жестокости охраны. 29 апреля 1945 г. британские войска освободили заключенных лагеря. Вскоре после этого на территории бывшего лагерного кладбище был поставлен скромный советский обелиск. Надпись на трех языках гласила: «Здесь покоятся 46 000 советских солдат и офицеров, за-

мученных в нацистском плену». В 50-е годы министерство внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония и администрация Бремерфёрде решили, что количество указанных жертв «сильно завышено». В 1956 г. памятник был демонтирован. С тех пор на бывшей территории лагеря стоят три каменных монолита с надписью «Ваши жертвы – наша обязанность – мир» (3). Вряд ли можно возразить против этих слов, но уже более 50 лет ничего не напоминает о том, что в Зандбостеле погибли десятки тысяч солдат и офицеров Красной армии, граждан СССР.

Исторический поворот: появление советских военнопленных в немецкой историографии

Бывшие советские военнопленные не имели своего рода «лобби» в международной политике и в западногерманском обществе. Неправительственные организации долгое время игнорировали их существование. Лишь в 70-е годы, в период «оттепели» в отношениях между Востоком и Западом, значение идеологических стереотипов несколько уменьшилось. В исторической науке и обществе ФРГ началась, по словам К. Штрайта, «критическая проверка» (6, с. 18) устоявшихся представлений. Это было связано, в первую очередь, с коренными изменениями в отношении западных немцев к собственной истории и являлось фактически одним из результатов «студенческой революции» 1968 г.

Нельзя сказать, что сегодня немецкая историография полностью обходит вниманием тему советских военнопленных. Работу Штрайта «Они не товарищи: Вермахт и советские военнопленные, 1941–1945» можно назвать настоящим прорывом в исследовании этой проблематики. Книга вышла в 1978 г. в Штутгарте и представляла собой измененный вариант докторской диссертации автора, а также первую монографию в германоязычном пространстве, целиком и полностью посвященную пребыванию советских военнослужащих в немецком плену. Работа выдержала уже четыре издания и до сих пор является основным и самым цитируемым трудом в западноевропейской исторической литературе по этой теме. В 1981 г. появилась вторая заметная монография – А. Штрайма «Отношение к советским военнопленным в операции «Барбаросса» (4).

Значительный вклад в дело просвещения современной Германии вносят локальные исторические изыскания местных краеведов. Практически в каждом регионе Германии в годы Второй мировой войны находились «шталаг», «офлаг» или лагерь другого типа, предназначенный для содержания советских военнопленных. (Достаточно сказать, что, например, в маленьком регионе Люнебургер Хайде на востоке страны, между реками Эльба и Вюмме, находилось сразу три крупных «лагеря для русских»: Витцендорф, Оэрбке и Берген-Бельзен.) Миллионы граждан СССР

работали в промышленности, сельском хозяйстве и частных хозяйствах. Судьбы этих людей невольно стали частью истории того или иного субъекта современной ФРГ. В течение последних 20 лет вышло значительное количество монографий, посвященных отдельным местам заключения советских военнопленных (например, лагерям Штукенброк/Зенне, Цайтхайн, Хаммельбург и др.). Как правило, эти исследования осуществлялись по региональному принципу на базе мемориальных комплексов бывших лагерей или в рамках ограниченных по времени научных проектов. Следует отметить, что некоторые заметные историки этой темы (Р. Отто, К. Хюзер, Й. Остерло и др.) не принадлежат к числу исследователей или университетских работников. Все они – сотрудники мемориальных комплексов, музеев или школьные учителя истории. Можно сказать, что изучение этой проблематики является для них хобби.

Эти авторы увлеклись темой советских военнопленных в общем случайно. Р. Отто, например, рассказывает: в 1982 г. один из его учеников обратился к нему с просьбой помочь написать сочинение для конкурса молодежных исторических работ. Старшеклассник выбрал тему «история “шталага” 326 в Зенне» и пожаловался на отсутствие литературы. В городских библиотеках ему сказали, что публикаций по этой теме нет и в ближайшее время не ожидается. Отто помог школьнику провести архивные изыскания. В относительно короткий срок было найдено такое количество материалов, что не только этот ученик написал работу, получившую премию на конкурсе, но и сам Отто решил заняться соответствующими научными исследованиями (7, с. 7).

Необходимо сказать несколько слов об источниковой базе таких работ. Германские историки, занятые изучением тем войны и плена, используют в основном немецкоязычные источники из Федерального архива или Военно-исторического архива ФРГ, реже документы из локальных, городских архивов Германии. Дополнительно включаются американские источники, например, из Национального архива Вашингтона. То есть германские историки отталкиваются от «немецкой» перспективы, основываясь на документах «преступников» – собраниях времен национал-социализма. Практически не привлекаются материалы советских архивов, воспоминания бывших советских военнопленных, так называемой *oral history*, т.е. игнорируется взгляд жертв преступлений.

Важно также, что хронологически работы ограничиваются, как правило, датой освобождения лагеря или окончания войны. Поэтому такие процессы, как фильтрация освобожденных советских солдат и офицеров в лагерях, репрессии в отношении вернувшихся домой советских военнопленных (принудительный труд, ссылка или тюремное заключение) практически не находят отражения в немецкой исторической литературе.

Дефекты немецкой памяти: советские пленные как «исключенные» и «лишенцы»

Весьма показательно, что тема «советские солдаты и офицеры в немецком плену» не популярна в немецких вузах. В 2000–2006 гг. лишь несколько университетов (Гумбольдтский университет в Берлине, Университет Ганновера) предлагали студентам исторических факультетов сформулировать и высказать свое мнение по этой проблеме. В 2000 г. отдельной книгой вышла работа на соискание степени магистра Х. Мёллера «Массовая смерть и массовое уничтожение – “шталаг” 305 в Украине в 1941–1944 годах». Но из-за крайне малого тиража и высокой продажной цены (50 евро за брошюру в 55 страниц) это издание осталось почти незамеченным.

Представляется, что состояние этой темы в исторической науке ФРГ и памяти общества связано с фактом правового непризнания бывших советских военнопленных правительственными структурами ФРГ. Как известно, в 90-е годы в Германии проводились раунды переговоров и общественные дебаты о выплатах компенсации бывшим «принудительным рабочим» из стран Восточной Европы. Германская сторона пошла на компромисс не добровольно, а под давлением адвокатов, опасаясь крупных исков к ведущим немецким концернам («Сименс», «Фольксваген» и «Бош»). В итоге был выработан документ, под которым поставили подписи и полномочные представители России, Украины и Беларуси; создан фонд выплаты компенсаций в размере 10 млрд. марок (по 5 млрд. из госбюджета и от ведущих предприятий немецкой экономики). В августе 2000 г. это соглашение получило статус закона, принятого Бундестагом. Согласно п. 3 § 11 Федерального закона «О создании Федерального фонда “Память, ответственность и будущее”», бывшие советские военнопленные не являются правомочными претендентами на получение компенсации¹. Они лишились юридического статуса «принудительного рабочего», который имеют гражданские принудительные рабочие (так называемые «остарбайтеры»). Более 20 тыс. заявлений от бывших советских военнопленных из разных стран бывшего СССР о выплате компенсаций были отклонены. Из неофициальных высказываний немецких политиков известно, что переговорщики от стран СНГ не настаивали на включении бывших советских военнопленных в число правомочных получателей компенсации. Естественно, не была в этом заинтересована и немецкая сторона.

Показательно, что лагеря для советских военнопленных не были включены ни в список концлагерей, ни в дополнительный список «иных мест заключения», несмотря на то что смертность в некоторых из них пре-

¹ Закон Германии от 2 августа 2000 г. об учреждении фонда «Память, ответственность и будущее». – Режим доступа: <http://www.stiftung-evz.de/rus/o-nas/zakon/>

вышла смертность в Аушвице¹. Германия до сих пор не принесла и формальных извинений бывшим советским военнопленным как отдельной группе пострадавших от нацизма. Впервые в истории современной Германии высшие официальные лица ФРГ (федеральный президент К. Вульф и президент Бундестага Н. Ламберт) упомянули советских пленных в качестве жертв нацизма только в январе 2011 г., в годовщину освобождения Аушвица.

В заключение отметим: события Второй мировой войны по-прежнему оцениваются в германском обществе неоднозначно. Если агрессия нацистской Германии против стран Европы и нацизм как идеология безоговорочно осуждаются подавляющим большинством немцев, то отдельные истории – в том числе судьба советских военнопленных – воспринимаются сквозь призму стереотипов, оставшихся от эпохи холодной войны. В германской историографии и в работе общественных организаций страны в последние 15 лет был сделан качественный прорыв в исследовании проблем войны и плена. Однако до сих пор почти нет литературы, которая бы детально освещала путь советского солдата в немецком плену.

Список литературы

1. Peters K. Biographische Spuren: Ziel, Konzept und Realisierung der Ausstellung // Kriegsgefangene – Vojenoplennyje. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland: Deutsche Kriegsgefangene in die Sowjetunion / Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. – Düsseldorf, 1995. – S. 11–14.
2. Reuß E. Gefangen! Das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg. – München: Olzog Verl., 2005. – 225 S.
3. Schulz N. Späte Besinnung // Frankfurter Rundschau. – Frankfurt, 2008. – 2. Dec.
4. Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangenenlager im «Fall Barbarossa». – Heidelberg: Karlsruhe: C.F. Müller Juristischer Verl., 1981. – 442 S.
5. Streit Ch. Die Behandlung und Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen // Gegen das Vergessen: Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 1941–1945 / Meyer K., Wippermann W. (Hrsg.). – Frankfurt a. M., 1992. – S. 91–101.
6. Streit Ch. Keine Kameraden: Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen, 1941–1945. – Bonn: Verl. J.H.W. Dietz, 1997. – 448 S.
7. Otto R. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42. – München: R. Oldenbourg, 1998. – 288 S.
8. Sowjetische Kriegsgefangene im Stalag X B // Stiftung Lager Sandbostel I Gedenkstätte Lager Sandbostel // Mode of access: <http://www.stiftung-lager-sandbostel.de/sls/sowjetkgf.html>

¹ В советской и российской историографии преимущественно используется польское название Освенцим.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

**ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТОТАЛИТАРИЗМА:
СРАВНИВАЯ СТАЛИНИЗМ И НАЦИЗМ
(Реферат)**

**Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared /
Ed. by Geyer M., Fitzpatrick Sh. – N.Y.:
Cambridge univ. press, 2009. – IX, 536 p.**

Сборник, подготовленный международным коллективом авторов под руководством Ш. Фицпатрик и М. Гайера, являет собой пример сотрудничества специалистов по истории Германии и СССР. Поставив своей целью сопоставить две диктатуры, «параллельное существование и затем столкновение которых наложило громадный отпечаток на всю историю трагического XX в.», участники масштабного сравнительно-исторического проекта предлагают новые подходы, далеко выходящие за рамки устаревшей и политизированной тоталитарной модели.

Дебаты о фашизме и тоталитаризме являлись неотъемлемой частью уходящего в прошлое XX в., указывает во введении М. Гайер. Первоначально сравнением двух диктатур занимались философы, политологи, социологи и, конечно же, публицисты, которые противопоставляли сталинизм и нацизм западной, «либеральной» традиции, что заставляло искать и находить у них общие черты (с. 2). Историки, хотя и по-разному оценивали достоинства теории тоталитаризма, без особого энтузиазма использовали тоталитарную модель, в центре которой находилось монолитное репрессивное государство и догматическая идеология. Они считали, что эта поверхностная механистическая модель, по сути навязанная политологами, не описывает и тем более не объясняет историческую реальность, не помогает в постановке новых исследовательских проблем и в осмыслении эмпирических данных. Кроме того, тоталитарная модель являлась идеологически нагруженной. Однако для проведения сравнений в рамках своей дисциплины у историков не хватало знаний, и особенно это касалось истории сталинизма.

После окончания холодной войны и открытия архивов специалисты по советской истории значительно продвинулись в своих исследованиях, которые долгое время отставали от историографии нацистской Германии. К настоящему времени накоплен огромный эмпирический материал, который, будучи рассмотрен «в посттеоретическом и посттоталитарном ключе», предоставляет возможность дать полноценное, корректное в научном отношении сопоставление двух величайших диктатур XX в. и в итоге понять взаимное переплетение траекторий развития социализма и национализма в европейской и глобальной истории (с. 8–9).

В первой части сборника рассматриваются *вопросы управления и государственной политики*. Как отмечают авторы главы «Политическая (дез)организация сталинизма и национал-социализма» Й. Горлицки и Х. Моммзен, сопоставление внутренней политической динамики двух режимов стало возможным только сейчас, когда историки получили более точные представления о том, как работала советская система. Центральный тезис совместного исследования заключается в том, что при всей кажущейся близости сталинского СССР и нацистской Германии взгляды и поведение двух лидеров, система организации правящих партий и способы взаимодействия между партией и лидером заметно отличались друг от друга, что привело к дивергенции – расхождению путей их развития (с. 41–42).

У нацистского и большевистского режимов было много общего: и Германия, и СССР являлись авторитарными полицейскими государствами, которые быстро расправились с оппозиционными группами и жестко ограничили гражданские свободы. Кроме того, это были режимы, основанные на «массовых движениях», с сильным мобилизационным элементом. Однако роль партии и ее лидера в двух обществах была противоположной, пишут авторы (с. 46–47).

В сталинской системе партия и государство все сильнее переплетались между собой. В первый период (1919–1923) происходило формирование центрального аппарата и иерархии партийных комитетов по всей стране. Второй этап государственного строительства начался в конце 1920-х годов и был связан с принятием первого пятилетнего плана, централизацией управления экономикой. А в 1934 г. завершается централизация и партийного аппарата, когда Москва фактически узурпировала административную власть, прежде принадлежавшую республиканским и региональным органам. Эти процессы сопровождались ростом бюрократии и оформлением номенклатуры, которая управляла государством и экономикой. В гитлеровской Германии участие партии в управлении и ее связь с госаппаратом были гораздо более ограниченными, да и сама НСДАП никогда не являлась строго иерархической централизованной организацией. Задуманная как средство политической мобилизации, нацист-

ская партия фактически не имела собственных структур, ответственных за принятие решений, и, несмотря на обилие общественных обязанностей, институционально не встраивалась в германское государство (с. 52, 60).

Нацистский и советский режимы начали сближение в 1930-е годы, когда Сталин, подобно Гитлеру, принял полномочия полновластного диктатора и возник культ личности, что «окрашивало марксистско-ленинскую идеологию в специфические тона с консервативными и националистическими оттенками» (с. 61). Тем не менее сами лидеры, будучи «душой» государства, представляли собой диктаторов совершенно противоположного рода. Власть Сталина основывалась на внутренних институциональных структурах и идеологических условностях, принятых в партии-государстве. Сталин прекрасно владел не только бюрократическими приемами руководства, но и был глубоко осведомлен в вопросах политики и экономики, любил лично готовить и редактировать документы, работая по 16 часов в день. Ему нравилось быть в курсе конфликтов и противоречий в «верхах», а зачастую провоцировать их, что становилось дополнительным источником информации для управления поведением людей. Фактически это был менеджер-практик, глубоко погруженный в повседневное управление страной. Гитлер представлял собой совершенно иной тип лидера: это был оратор, объявлявший о своих политических решениях в публичных речах, и такие выражения «воли фюрера» заменяли собой долгий процесс выработки политического курса, систематические консультации или регулярное сотрудничество с правительством (с. 64).

Целью Сталина являлось государственное строительство и превращение Советского Союза в великую державу при помощи «партии нового типа». Гитлер, напротив, мало интересовался государственным строительством как таковым и не считал нацистскую партию важнейшим инструментом своей политики. Помимо разных уровней социально-экономического развития двух стран на момент создания в них диктаторских режимов глубокое отличие между ними заключалось в том, что коммунистическая партия разработала скоординированную программу полной перестройки государства и общества, а вся энергия нацистского государства была направлена вовне. В результате в СССР была создана база для сохранения своей политической идентичности и после смерти Сталина. Иными словами, пишут Й. Горлицки и Х. Моммзен, в СССР не только была проведена социальная революция, но и созданы условия для существования стабильного политического строя (с. 86).

В главе второй Д. Хоффманн и А.Ф. Тимм рассмотрели *важнейшую для СССР и Третьего рейха область политики – репродуктивную, направленную на управление рождаемостью*. Несмотря на то что оба режима стремились переделать общество и «переписать либеральный общественный договор в соответствии с нелиберальными, но модернистскими целя-

ми», сущность их проектов была глубоко различной. В гитлеровской Германии утвердился проект мирового господства арийской расы. В СССР во главу угла был поставлен значительно более универсалистский по своему характеру проект создания бесклассового социалистического общества — модели для будущего освобождения всего человечества. Разные цели в соединении с громадными различиями в социально-экономической структуре привели к выработке достаточно несхожей политики в области поощрения рождаемости.

На первый взгляд, пишут авторы, СССР и нацистская Германия были во многом похожи: активное прославление материнства и идеи о социальной помощи государства позволяет предположить, что имела место тоталитарная тенденция интегрировать в государственные проекты частную сферу. Однако различия намного перевешивают подобия и подчеркивают, насколько политика повышения рождаемости была переплетена с более широкими идеологическими целями государства (с. 87–88).

Авторы выделяют три фундаментальных различия между СССР и нацистской Германией: в отношении к существующим институтам, в подходе к евгенике и в гендерных нормах. Если нацистский режим опирался на уже существующие бюрократические структуры развитого индустриального общества в области здравоохранения и социального страхования, то Советы фундаментально перестраивали унаследованную от царской России политическую структуру и насильственно ускорили процессы индустриализации и урбанизации. В отличие от Германии (и других европейских стран), в СССР не смогли согласовать евгенику с правящей идеологией; в результате ее сочли «фашистской наукой», что имело радикальные последствия для политики в области рождаемости. Наконец, прославление материнства и порицание гомосексуализма в обеих странах не означали одинакового подхода к модели семьи: в Германии нормой считалась семья с одним кормильцем, в то время как в СССР «освобожденная женщина» работала наравне с мужем (с. 89–90).

В главе отмечается, что политика управления рождаемостью имеет давнее происхождение и не является изобретением тоталитарных режимов. Людские потери в годы Первой мировой войны поставили вопрос повышения рождаемости на повестку дня во всех европейских странах, и хотя в России высокая рождаемость сохранялась и в XX в., тем не менее советские чиновники и специалисты-демографы с началом индустриализации и коллективизации всерьез занялись этой проблемой. Острота ее усиливалась с распространением социал-дарвинистских идей о международном соперничестве и борьбе наций за физическое выживание, что выдвигало на первый план проблему здоровья населения. Эти идеи были популярны в Европе, но особенно сильны в веймарской, а затем в нацистской Германии, где во главу угла было поставлено не только коли-

чество, но и качество населения. В отличие от нацистской Германии советское руководство рассматривало международное соперничество в идеологическом, а не биологическом или расовом ключе. Считалось, что высокий уровень рождаемости в многонациональном СССР будет демонстрировать превосходство социализма и способствовать его распространению на другие страны мира (с. 96).

В книге подробно прослеживается политика обоих государств в области поощрения материнства и запретов на аборт. Резко отличаясь в СССР и Германии, она в то же время предполагала значительную долю государственного принуждения. Авторы главы рассматривают вопрос о том, насколько фиксация на повышении рождаемости являлась признаком тоталитарного режима. В случае с нацистской Германией, пишут они, наблюдается определенная связь с тоталитарной/утопической идеологией, однако при более глубоком анализе выявляется еще более тесная привязанность к специфической расовой идеологии режима. Совершенно определенно ставит под вопрос применимость модели тоталитаризма советский случай, который имел много общего с другими европейскими странами. Несмотря на риторику, провозглашавшую рождение детей гражданским долгом каждого, советская политика, сводившаяся к пропагандистским и стимулирующим мерам, а после 1936 г. включившая в себя и запрет на аборт, оставалась «достаточно безобидной» по сравнению с немецкой. Советское правительство отнюдь не стремилось ограничить репродукцию для любой категории своих граждан и отвергало евгеническую стерилизацию, практиковавшуюся не только в нацистской Германии, но также в Скандинавских странах и в США. В этом отношении советский случай ближе всего подходил к католическим странам Западной Европы – Франции, Италии, Испании и Португалии, заключают авторы (с. 128–129).

Вторая часть сборника посвящена *теме насилия*, получившей сегодня широкое распространение в мировой историографии. Авторы главы, К. Герлах и Н. Верт, использовали подход, который учитывает мультикаузальный характер политики репрессий. Они отмечают, что исследования сталинизма, получившие развитие в ходе «архивной революции», представляют Большой террор 1937–1938 гг. как соединение нескольких феноменов. Это одновременно результат «напряжений» в среде сталинской элиты и в отношениях между центром и периферией, кульминация политики, направленной против «социально вредных» элементов, и следствие растущей специфической советской ксенофобии, нацеленной против диспорных национальностей (с. 135).

Авторы главы, воздерживаясь от использования модели тоталитаризма, относят нацистское и сталинское государства к типу обществ с чрезвычайным уровнем насилия и ставят вопрос о социальном участии. Для этого исследуют такие практики, как насильственное переселение,

«намеренно недостаточное снабжение», стерилизация, принудительный труд и (избыточное) лишение свободы (с. 138). В главе анализируются три малоизученные группы *жертв государственного насилия*: «социально вредные» в СССР и «асоциальные» в нацистской Германии; перемещенные народы; военнопленные.

В первом случае показано, что категоризация «социально опасных и вредных» элементов проводилась в Советском Союзе в начале 1930-х годов в контексте социального хаоса, возникшего в период индустриализации и коллективизации, когда власти были особо заинтересованы в «очистке» крупных городов, усилении государственного контроля над передвижением населения и установлении порядка в обществе. Все, кому было отказано в получении паспорта – кулаки и раскулаченные, лица без определенных занятий, лишенные и другие категории, так же как и члены их семей, – подлежали высылке из режимных городов и признавались «социально опасными». «Антикапиталистическая революция» 1929–1930 гг., направленная на искоренение частной торговли и предпринимательства, затем тяготы коллективизации с раскулачиванием и последовавший за ней голод способствовали разрастанию этой категории (включала «хулиганов», «спекулянтов» и безработных) и, соответственно, усилению полицейских мер. Высылка в спецпоселения все чаще заменялась заключением в лагерь, так что к 1939 г. «соцвредные» составляли вторую по величине категорию заключенных ГУЛАГа (22 против 35% «контрреволюционеров») (с. 141–142).

В Германии критерии для выделения группы «асоциальных» элементов были крайне расплывчатыми. Она включала в себя нищих, бродяг, уклоняющихся от работы или уплаты алиментов, алкоголиков, проституток, мелких нарушителей и всех, кто был не в состоянии поддерживать «нормальный» образ жизни; заметна тенденция акцентировать биологические основы асоциальности. Соответственно и наказания, применявшиеся по отношению к этой группе, и ее размеры были значительно скромнее, чем в СССР. Цель нацистов заключалась не в «очистке» территории и не в мобилизации рабочей силы, в том числе в лагерях, а в повышении трудовой дисциплины среди немецких рабочих. В обоих случаях насилие против «асоциальных» имело отношение к восстановлению общественного порядка и созданию нового строя, причем первый аспект был важнее для нацистов, а второй – для большевиков. Кроме того, СССР в условиях развивающейся экономики, форсированной индустриализации и коллективизации оказался неспособным интегрировать миллионы вырванных из своей среды и обнищавших людей иначе, как посредством чрезвычайного насилия. Авторы квалифицируют его как «связанное с развитием» (с. 151).

Рассматривая политику двух режимов в отношении *переселения на основе этнической принадлежности*, К. Герлах и Н. Верт останавливают-

ся на центральном для нацистской идеологии плане переустройства Восточной Европы, предполагавшем физическую очистку пространства для заселения его немцами, а также на политике депортаций народов, которая проводилась Советским Союзом с 1933 г. Они отмечают разницу в политических целях: переселение немцев, тесно связанное с имперской экспансией, с одной стороны, и выселение национальных меньшинств из стратегически важных регионов, не предполагавшее их физического уничтожения, – с другой (с. 161).

Политика по отношению к военнопленным рассматривается в контексте немецкого планирования, предполагавшего в качестве одного из действенных инструментов сокращения славянского населения смерть от голода. В результате целенаправленной политики из 5,7 млн. советских военнопленных в ходе войны умерло приблизительно 3,3 млн. человек, причем большинство из них – от голода и связанных с ним болезней. Еще одной причиной массовой смертности были тяжелые условия труда и крайне жестокое обращение, которое, как считают авторы, активно практиковалось непосредственными исполнителями. Среди факторов, обусловивших «избыточное насилие», они называют расизм и антибольшевизм, широко распространенные среди простых немцев, что делало оправданными чрезвычайные военные меры и массовую гибель пленных (с. 165).

В то же время, отмечают авторы, около миллиона советских пленных служили в рядах немецкой армии, что в корне отличалось от политики Советского Союза по отношению к немецким военнопленным, которая, однако же, обрела актуальность только в начале 1943 г. В советских лагерях также была высокая смертность заключенных от голода и болезней (но гораздо ниже, чем в немецких), однако это не было следствием целенаправленной политики, а скорее общей скудости ресурсов и плохой организации. Уровень насилия «снизу» также был высок, но он базировался не на идеологии расизма, а считался законным ответом на фашистские зверства (с. 166, 171).

В заключение К. Герлах и Н. Верт приводят несколько важных наблюдений о характере массового насилия в обеих странах, в разворачивании которого большую роль играла «инициатива снизу» и общественная поддержка. Были важны и другие факторы – как, например, «всеобщая адаптация» к насилию: она обусловлена историческим опытом войн и революций, пережитым обеими странами.

Отмечая, что в обеих странах существовала сильная тенденция к «профессионализации» насилия, авторы указывают, что в стратегическом использовании его «самых сильных форм» два режима значительно различались между собой. Третий рейх направлял острие насилия вовне, и здесь его уровень был чрезвычайно высок: 96% жертв нацистского режима не были немцами. В СССР массовое насилие было, напротив, направлено

главным образом вовнутрь и осуществлялось против собственных граждан. Еще одно фундаментальное отличие заключалось в отношении к планированию. В планы нацистской Германии по применению насилия к собственным гражданам и населению завоеванных стран входило уничтожение десятков миллионов человек, однако многие планы так и остались на бумаге или были изменены под давлением обстоятельств. Значительно более скромные планы советского руководства постоянно перевыполнялись, иногда на 300% (с. 177–178).

В следующей главе, написанной Й. Баберовски и А. Деринг-Мантойфелем, *эскалация террора рассматривается с точки зрения имперской*, поскольку Советский Союз изначально был многонациональной империей, а национал-социалистическая Германия стала ею в ходе военной экспансии. Как пишут авторы, оба режима стремились структурировать и систематизировать кажущийся хаотическим современный мир. Однако это, как ни парадоксально, вело к тем самым анархии и хаосу, которые режимы пытались преодолеть. Террор и геноцид – оборотная сторона процесса строительства лучшего мира, из которого «вычищены» все, кто не вошел в категории «упорядоченного общества» (с. 180–181).

В главе подробно рассматриваются проблемы столкновения нацистской Германии с «Востоком» на оккупированных территориях, история депортаций народов в изолированном от остального мира СССР и подчеркивается общность нацистской и большевистской утопий. В обоих проектах по «упорядочению» территорий этническое и культурное разнообразие воспринималось как угроза. Хотя один режим говорил о «варварах» и «недочеловеках», а другой – о «предателях» и «врагах», и те и другие часто имели этническую составляющую. По мнению авторов, сталинизм, в отличие от национал-социализма, не развернул свою «спираль насилия» в индустрию массовых убийств только потому, что у большевиков имелась альтернативная возможность – отправлять «враждебные» народы в Среднюю Азию, которая стала своего рода резервацией для отверженных (с. 226–227).

Третья часть книги посвящена социуму: проблемам социальной инженерии, механизмам создания и разрыва социальных связей в повседневной жизни, проектам по трансформации индивида в СССР и Третьем рейхе.

Как пишут К. Броунинг и Л. Сигельбаум, организационная работа по категоризации и идентификации населения является крайне важной для установления и поддержания властных функций государства. Рассматривая связь между *практиками идентификации и программами массивированной социальной инженерии* в СССР и Третьем рейхе, авторы указывают на различие траекторий развития социальной идентичности в двух странах.

И нацистская, и большевистская идеологии были направлены на реализацию утопии, идеального общества путем истребления в одном слу-

чае расово и биологически «дефектных» элементов, в другом – классовых врагов (с. 231–232). В СССР использование государством классового критерия идентификации населения достигло своего апогея на рубеже 1920–1930-х годов, а в середине 1930-х уступило место более сложным, многогранным формам, в которых особенно важную роль начали играть национальные различия. В Германии же в 1920-е годы идентичность определялась индивидуально; ключевым для этого времени явилось сильное стремление слиться в «единый народ».

Кроме того, советская политика приписывания идентичности и стигматизации определенных категорий охватывала очень большую часть населения. В Германии «исключенные» из социальной системы составляли ничтожное меньшинство, что позволяло большинству с энтузиазмом поддерживать режим, а также порождало ощущение безопасности. Только после завоевания других стран количество жертв нацистского режима возросло геометрически. В Советском Союзе, напротив, война дала возможность ранее стигматизированным группам «смыть пятно позора» участием в сражениях. Соединение советской идентичности с патриотизмом расширило социальную поддержку режима (с. 265).

Рассматривая *историю повседневности* в двух странах, где в 1920–1930-е годы происходил разрыв старых социальных отношений, Ш. Фицпатрик и А. Людтке отталкивались от идеи Ханны Арендт об «атомизации» тоталитарного общества. В центре внимания авторов находятся связи между людьми, с одной стороны, и между людьми и социально-политическим проектом государства – с другой. Особый интерес для них представляют «эмоциональный заряд», который определял внутреннюю динамику режимов, и «практики (само)возбуждения», вырабатывавшиеся людьми (с. 266–267).

В главе анализируются практики включения в социум, усиливающие идентификацию с режимом и возникающие на их основе социальные связи, а также разрывы этих связей, ассоциирующиеся с исключением из общества. Авторы подчеркивают значение для конфигурации социального опыта драматических событий – Первой мировой войны и последовавших за ней катаклизмов. Они усилили не только социальные, но и гендерные различия, а также значительно обострили конфликт поколений (с. 268).

Механизмы исключения из социума являлись базовыми для обоих режимов и наряду со своими прямыми целями насильственного «очищения общества» от нежелательных элементов имели и другие последствия. Они служили цементирующим фактором для остальных членов общества – немецкого народа в Третьем рейхе и строителей социализма в СССР. Причем в то время как в Германии было относительно ясно, кто может попасть в категорию отверженных (евреи, гомосексуалисты, психически и физически неполноценные и «асоциальные»), в Советском Союзе крите-

рии были расплывчатыми: в условиях быстро модернизирующегося, крайне мобильного общества в стадии становления, понятие «классовый враг» было не так легко конкретизировать. Оно могло быть отнесено к огромному большинству населения, потому что почти у каждого имелось какое-нибудь «пятно» в биографии. В моменты обострения политической ситуации или в результате простого невезения, пишут авторы, могли выплыть наружу отец-священник, дядя кулак или тетья в эмиграции, что влекло за собой наказание – от выговора или исключения из партии, из университета вплоть до ссылки или ареста как «врага народа». Ш. Фицпатрик и А. Людтке замечают, что как раз лица с «запятнанной» биографией являлись самыми убежденными энтузиастами строительства социализма, стремившимися обрести чувство сопричастности (с. 280).

Сравнительное изучение практик повседневности показывает, что в обоих обществах, вдохновлявшихся идеей «мобилизации масс», переплетались, обесценивались, разрушались социальные отношения (например, родственные, классовые, дружеские); при этом трансформировались старые связи и вырабатывались новые. Размывалась сила традиции, молодые получали приоритет перед старшими. Семейные узы не были явно ослаблены в обеих странах, хотя в советском случае реальность более противоречива. Дружеские связи были особенно крепки среди молодежи, причем в Германии они вращались вокруг совместного досуга (например, занятий спортом), а в СССР, в отсутствие необходимой инфраструктуры публичных развлечений, большее значение имела работа. В целом новые профессиональные связи были более прочны в Советском Союзе и включали в себя не только понятие «рабочей солидарности», но и «блат», отмечают авторы. В обеих странах крепкие узы связывали людей, объединенных общим сознанием и опытом, – причем как поколение молодых активистов, обладавших сильным чувством своего особого предназначения, так и религиозных диссидентов, и заключенных в лагерях, и солдат на фронте (с. 299).

Всё это, пишут Ш. Фицпатрик и А. Людтке, указывает на неэффективность тоталитаризма как модели исторического анализа, предполагавшей отсутствие внутренних изменений. В обоих обществах обнаруживается большой потенциал для регенерации старых социальных связей и зарождения новых. Характерное для социального климата обоих режимов стимулирование эмоций и активных действий было многоликим и действовало на многих уровнях, хотя, как замечают авторы, стремление участвовать в «великом деле» невозможно отделить от желания продвинуться или получить экономические выгоды (с. 300–301).

В главе «*Новый человек в сталинской России и нацистской Германии*» П. Фрицше и Й. Хельбек анализируют «антропологические идеалы и практики» обоих режимов, которые стремились к созданию «высшего человеческого типа» и поддерживали «амбициозные инициативы трансфор-

мировать, переделать и усовершенствовать население». Оба режима – один, собиравшийся освободить все человечество, и другой – намеревавшийся создать новую расу господ и переустроить Европу, – строили свою политику как ответ на кризис «старого буржуазного мира». И потому, считают авторы, находились в состоянии диалога между собой, не всегда открытого, но со всей ясностью демонстрирующего радикальное и абсолютное отрицание либерализма с его ценностями свободы и прав индивида. Советский и нацистский проекты по созданию «нового человека» представляли собой альтернативную, нелиберальную модернность (с. 302).

Авторы ставят перед собой двойную цель: рассмотреть не только практику переделки индивида в условиях сталинизма и нацизма, но и феномен «нового человека» как таковой, который как проект возник задолго до начала XX в. Исследователи подчеркивают, что дистанцируются от тоталитарной парадигмы, привязывавшей идею «нового человека» к радикальным утопиям сталинизма и нацизма (с. 303).

Тем не менее сознательная реализация проекта «нового человека» началась именно в этих двух странах, хотя идеал, к которому должны были стремиться граждане, представлял собой два разных типа. Советский «новый человек» (включавший в себя оба пола; гендерные различия даже не подразумевались) создавался в рамках гуманистической традиции, являясь важным компонентом революционного проекта и инструментом легитимации режима. Однако эта фигура, пишут авторы, оказалась привлекательной не только для членов партии большевиков и тех, кого режим признавал образцовыми жителями нового мира, но и для советских граждан самого разного происхождения и возраста. Очень многие обнаруживали склонность и тягу к работе над собой, чтобы порвать со «старым миром» внутри себя и стать настоящим строителем социализма – примером для всего человечества.

Сталинское время, когда от индивида требовали соответствия «прекрасному новому миру», отмечено появлением огромного количества исповедальных текстов. Анализируя некоторые дневники сталинской эпохи, авторы указывают, с одной стороны, на утопичность стандартов, в соответствии с которыми стремились жить их авторы, с другой – на тот факт, что «новый человек» стал в тот период социальной реальностью. Этот человек отрекался от прошлого, осуждал индивидуалистические и эгоистические нормы буржуазной жизни как морально предосудительные и экономически бесплодные и старался влиться в новые, коллективные формы труда и жизни (с. 326).

«Новый человек» нацистов создавался как средство противостояния внешней угрозе и гарантия выживания германской нации. Это был воин, и работать он должен был над своим телом, а не над душой. Понимая, что трансформация немецкого народа в расово чистых арийцев потребует тру-

да нескольких поколений, нацистские идеологи готовили политическую элиту – подразделения СС, которые воплотили в себе идеал «нового человека». Однако нацистский проект требовал расовой дисциплины и сознательности от всех немцев.

Война против Советского Союза, которую считали войной против расово неполноценных, способствовала полному воплощению «нового человека» Третьего рейха – им стал немецкий солдат. В СССР война также явилась определенным этапом в создании «нового человека», но она скорее перенесла возникшие ранее «практики политического воспитания» на поле боя, пишут авторы (с. 335).

Сравнивая два проекта создания «нового человека», Фрицше и Хельбек отмечают, что в советском варианте, при всей насильственности и болезненности разрыва с прошлым, центральное место занимали принципы Просвещения. Советский человек культивировал себя физически и интеллектуально; большой акцент делался на внутреннем мире, причем работа над собой считалась персональным долгом каждого. Центральное место в этой духовной работе занимал текст – дневники, автобиографии, письма. В Германии к текстам личного характера, напротив, относились крайне подозрительно и не культивировали самоанализ. Следовало работать над телом, следить за расовой чистотой и контролировать свои отношения как с арийской супругой, так и с русскими «недочеловеками» или «еврейскими паразитами» (с. 340).

В равной степени преданные дисциплине и коллективу сталинский строитель социализма и нацистский «сверхчеловек» двигались к разным целям: один шел по пути исторического прогресса, к светлому будущему всего человечества, другой – к красоте и силе расы господ. Тем не менее оба представляли собой варианты нелиберальной модерности; реализация обоих проектов повлекла за собой высвобождение громадной разрушительной энергии, заключают авторы (с. 340–341).

Четвертая часть книги озаглавлена «Переплетения» и рассматривает взаимодействия двух режимов: с одной стороны, их смертельную схватку в 1941–1945 гг., с другой – культурные связи и взаимовосприятие.

В первой из глав этой части М. Эделе и М. Гайер анализируют *военное столкновение между СССР и Германией* – самую разрушительную войну XX в. – как систему насилия, жесточайший антагонизм, разворачивавшийся в более широких рамках войны мировой. Признавая, что знание о советской стороне остается по-прежнему неполным, авторы тем не менее предпринимают попытку сделать определенные заключения о характере столкновения, его ходе и результатах. Системный подход М. Эделе и М. Гайер реализуют в ряде положений, основанных на большом корпусе исследовательской литературы.

Во-первых, пишут они, не следует считать источником беспримерного уровня смертности на этом театре военных действий ни разрушительную идеологию той или иной стороны, ни универсальную динамику тотальной войны. Тот факт, что с самого начала война велась абсолютно необузданно, явился следствием взаимной враждебности двух стран. Она не была «конвенционной»; то была схватка не на жизнь, а на смерть, в которой все средства для победы были хороши. Сознательно убрав преграды насилию, обе стороны запустили – каждая в свое время – беспощадный процесс его эскалации, который начинался на местах и шел снизу вверх (с. 348–349).

Во-вторых, это была полномасштабная гражданская война между двумя милитаризованными государствами. Имеется в виду, что она велась с участием общества и против него, что является умышленным нарушением военной традиции. Логика эскалации такой войны заключается в том, что происходит ее радикализация, и она превращается в войну на полное уничтожение; ее компонентом явился Холокост, а характерной чертой – варваризация (с. 349–350).

В-третьих, следует учитывать асимметричный характер ведения военных действий. Война на Востоке началась со стремительной эскалации ничем не ограниченного насилия с немецкой стороны (когда практика превосходила идеологию) и парировалась явным усилением варваризации в ходе защитных мер Советов. Это, в свою очередь, вызвало радикализацию со стороны агрессора. Тотальная оборонительная война СССР в ответ на германское вторжение мобилизовала всю нацию и велась и на фронте, и в тылу врага. В 1941–1942 гг. для Германии она стала войной на уничтожение, имевшей целью истребление внешних и внутренних врагов и ограбление завоеванных территорий Советского Союза (с. 350).

В-четвертых, на психологическом и субъективном уровнях следствием эскалации насилия был процесс «брутализации» (озверения). Этот термин, пишут авторы, более всего подходит для описания и анализа «страстей войны» (по Клаузевицу). Солдаты обеих воюющих сторон совершали невероятные зверства, причем в этом участвовали не только подготовленные к насилию «кадры тоталитаризма», но и обычные люди. Ими владели чувство безнаказанности и убеждение в справедливости своих действий. И здесь авторы также отмечают наличие асимметрии: с немецкой стороны даже «страсти войны» чаще приводились в движение холодным расчетом, по отношению к которому гнев, страх и ярость солдат были второстепенны; преобладал высокий уровень дисциплины. Советская сторона, наоборот, систематически выпускала «страсти войны» на волю, что сочеталось с жестокостью по отношению к собственным солдатам. К сожалению, эти страсти невозможно было остановить, и в 1944–1945 гг., когда это было особенно вредно по политическим соображениям, советские

солдаты в Восточной Европе и Германии «продолжали неистовствовать» (с. 351).

В главе подробно рассматриваются планы операции «Барбаросса» и подчеркивается, что, хотя задачей военных и являлось достижение быстрой победы любыми путями, «обращение к абсолютному, неограниченному насилию было целиком идеологическим» и обосновывалось самим Гитлером (с. 355). Планы военных, нацеленные на массовое уничтожение, привели к эскалации насилия в первые месяцы войны в условиях, когда вермахт чувствовал себя непобедимым. Говорить о том, что ответные удары Красной армии спровоцировали эскалацию немецкого насилия, а также возлагать ответственность на советскую сторону, легкомысленно, пишут авторы. СССР лишь противостоял нападению Германии и сорвал планы быстрой победы (с. 359).

Обращаясь к характеристике советской стороны, авторы отмечают милитаризованный характер советского общества, которое к тому же прошло через войны и революции. В этих конфликтах и родилась та ментальность, которая подготовила почву для сталинизма. Опыт неограниченного насилия сформировал основы советской реакции на вторжение, считают М. Эделе и М. Гайер. Войны ждали давно, к ней готовились и были готовы, по крайней мере психологически, и когда советская пропаганда объявила войну любыми средствами, население откликнулось на призыв (с. 362–364).

Тот факт, что «страсти войны» – ненависть и месть, чувство превосходства и дегуманизация врага – захватили целиком не только сражающиеся армии, но целые народы, является главной проблемой, требующей объяснения, пишут авторы. Они приходят к выводу, что для обоих режимов ситуация исключительности являлась нормальным состоянием, однако не соглашаются с теми, кто считает все тоталитарные режимы одинаковыми только потому, что они насильственны. В конечном счете, пишут Эделе и Гайер, следует посмотреть, какие перспективы видели перед собой сражающиеся стороны. Национал-социализм никогда не предусматривал мира со своими врагами – ни с большевиками и евреями, ни с русскими и поляками. Его целью было порабощение или уничтожение, и это ключевой момент в германских военных планах. Советский Союз также не пошел бы на мир с фашистами, но был готов заключить его с Германией и немцами (с. 395).

Восприятие друг друга в СССР и нацистской Германии – тема последней главы, написанной К. Кларк и К. Шлегелем. Начиная свое изложение с описания немецкого и советского павильонов на Всемирной выставке 1937 г. в Париже, авторы обращаются к истории культурных связей двух стран, в том числе к истории формирования образов России в Герма-

нии и Германии в России, а также к тем переменам, которые произошли во взаимовосприятии после прихода к власти нацистов.

Подчеркивая, что величайшее в мировой истории военное столкновение между Германией и СССР было бы невозможным без мобилизации и инструментализации воображаемого «другого», которого следует разбить и уничтожить, К. Кларк и К. Шлегель в своем исследовании уделяют большое внимание репрезентации образов в риторике и иконографии, а также в нацистской и советской пропаганде. Обосновывая свой подход к предмету изучения, авторы предлагают дистанцироваться от характерного для времен холодной войны противопоставления демократических и авторитарных политических систем, выйти из узких рамок национальных историй и рассматривать нацистскую Германию и сталинскую Россию в более широком контексте кризиса европейской цивилизации «эпохи войн и революций» (с. 398–399).

Культуры России, Германии, пишут авторы, выработали множество образов друг друга – от сентиментальных, ностальгических до примитивизированных. Традиционные образы, базировавшиеся на веками создававшихся культурных моделях и клише, преломлялись в период нацизма и сталинизма, в том числе под влиянием расистской идеологии Германии и универсалистской риторики сталинизма. Неопределенность и двойственность обыденных представлений позволяли каждому конструировать собственный образ «Другого».

Важнейшей составляющей сложного и разноречивого образа России являлось обширное, безграничное пространство – безлюдное, в противоположность перенаселенной Германии, и совершенно неиспользуемое. Оно буквально приглашало к освоению, завоеванию и аккультурации – и именно так его воспринимали во время блицкрига 1941 г. Но после Сталинградской битвы на первый план выходят другие, «опасные» характеристики российских просторов, в которых легко затеряться и погибнуть (с. 408). Сложная смесь «презрения и уважения, страха и восхищения» была характерна и для немецкого восприятия «загадочной русской души». В Германии активно циркулировали такие стереотипы в отношении России, как «Святая Русь», «колосс на глиняных ногах», «азиатская и варварская страна».

С приходом к власти нацистов эти образы претерпели серьезные изменения под влиянием расовой теории и подверглись такой степени дегуманизации, которая «была немислима до 1933 г. даже в самых консервативных политических кругах» (с. 412). В книге указывается, что создававшийся средствами пропаганды национал-социализма образ России, не будучи прямым логическим развитием бытовавших с XIX в. в Германии предубеждений, являл собою нечто качественно новое и имел своей целью установление нового типа расистского государства. Расист-

ские идеи о славянских «недочеловеках», о «еврейском большевизме» в сочетании с тенденцией рассматривать людей как простой «материал» послужили затем обоснованием политики уничтожения, которую нацисты в полной мере начали проводить после своего вторжения в СССР (с. 420).

Советская пропаганда в своей критике нацистской Германии, напротив, избегала «этнического эссенциализма»; подчеркивался классовый характер национал-социализма, представлявшего интересы «крупного капитала». Соперничество двух держав, указывается в книге, разворачивалось в середине 1930-х годов на поле европейской культуры, которая должна была явиться средством легитимации для обоих режимов. Обосновывая свое право на первенство в Европе, и Гитлер, и Сталин претендовали на культурное превосходство своих стран, но культуру они понимали по-разному. Для Гитлера письменная культура являлась чем-то низшим по сравнению с живой речью и яркими визуальными образами. В сталинском СССР, напротив, письменный текст, и в особенности художественная литература, занял необычно высокое место. Культура ассоциировалась там, как и в Европе в целом, в первую очередь с литературой, и потому акты сожжения книг в Германии преподносились как вопиющие примеры «нацистского варварства» (с. 427–428). Таким образом, и тот и другой режимы, претендовавшие на культурную и военную гегемонию в Европе, рассматривали себя как форпост в защите европейской цивилизации – от варварского большевизма или от не менее варварского нацизма (с. 440–441).

О.В. Большакова

**РОССИЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА:
ОБЩЕСТВО МЕЖДУ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
И ИЗОБРЕТЕНИЕМ
(Реферат)**

**Late Stalinist Russia: society between reconstruction and reinvention /
Ed. by Furst J. – Abingdon, Oxon; New York :
Routledge, 2006. – XIV, 287 p.**

Сборник, в котором освещаются проблемы так называемого позднего сталинизма – времени, почти не изучавшегося в зарубежной историографии, – составлен преимущественно из работ молодых историков. Как отмечает во введении редактор книги британская исследовательница Джулиана Фюрст, в статьях представлены не только новые темы, но и новые направления в изучении советского периода, которые пытаются ликвидировать разрыв между социальной и культурной историей. Не будучи ни полностью дискурсивной, ни целиком эмпирической, советская история проделала «антропологический поворот», что позволяет исследователям давать культурные и контекстуальные интерпретации реальных феноменов. Через десять лет после «архивного поворота», продолжает Дж. Фюрст, отличительным признаком исторических исследований стало разнообразие, проявляющееся и в широте спектра используемых источников – от архивных и законодательных документов до интервью и фотографий (с. 16–17).

В помещенных в сборнике статьях предлагается новый взгляд на сталинизм как на особый феномен, обладающий собственной динамикой и логикой. Он характеризуется целым рядом новых явлений, ассоциирующихся с так называемым зрелым социализмом: возникновение (зачаточного) общества потребления, рождение молодежных контркультур, рост среднего класса. Однако главной его чертой является переходный характер возрождавшегося после тяжелейшей войны общества. Оно было «двуликим», как и все переходные общества: одно «лицо» у них смотрит назад, в недавнее и отдаленное прошлое, а другое – вперед, в будущее (с. 2).

Изучение общества периода позднего сталинизма проводится в сборнике по нескольким линиям, сосредоточиваясь вокруг таких аспектов, как «форматирующее воздействие войны», «мания контроля», советская субъективность и индивидуализм, устремленность в будущее.

Как отмечает Дж. Фюрст, характерной особенностью этого периода было отторжение государственным дискурсом любых ассоциаций, связанных с «травмой». Считалось, что все раны войны – и материальные, и психологические разрушения – будут залечены, как только вернется советская власть. Отсюда – крайне будничное отношение к уничтоженным городам, к калекам и сиротам, к возвращавшимся домой солдатам, чьи проблемы попросту игнорировались. Со временем память о народной войне была подавлена и заменена коллективной памятью о войне победоносной, выигранной под руководством генералиссимуса Сталина.

Тем не менее опыт войны сформировал общество как на личном, так и на коллективном уровнях. Война и миф о ней лежали в основе принимавшихся внешне- и внутривнутриполитических решений. Война всегда присутствовала в сознании народа и как тяжелое прошлое, и как угроза будущему, формируя образ мыслей, действий (и взаимодействий) людей. Война сформировала поколения, создала новые узловые точки идентификации и механизм для новой социальной стратификации. В конечном счете, пишет Дж. Фюрст, ее нельзя было игнорировать (с. 6).

Советская администрация прекрасно осознавала те разрушения, которые принесла с собой война. В первой части сборника «Когда окончилась война» в статье М. Накачи (США), посвященной Семейному кодексу СССР 1944 г., демонстрируется, как отразилось понимание властью масштабности людских потерь в законодательстве. Новый кодекс был недвусмысленно направлен на повышение рождаемости. Государство брало на себя заботу об одиноких матерях, поощряя таким образом не только неполную семью (что считалось позором по советским нормам конца 1930-х годов), но и рождение детей вне брака. И хотя этот политический курс был принят в годы войны, когда Красная армия еще не дошла до Берлина, с его результатами советское общество имело дело вплоть до 1970-х годов (с. 45).

Тяжелые последствия войны рассматриваются в статье Беаты Фризелер (Германия) об инвалидах Красной армии. В ней анализируется соотношение советской риторики о социальном обеспечении инвалидов войны с реальностью. Основное внимание уделяется их реинтеграции в трудовую деятельность, что должно было явиться, с точки зрения режима, важнейшей предпосылкой быстреего восстановления народного хозяйства. По мнению Б. Фризелер, в основе того факта, что инвалидами было признано достаточно небольшое количество солдат – всего 7,46%, лежало понимание инвалидности как нетрудоспособности, а не болезни, которое сложилось в годы сталинской «революции сверху». Оно получило свое развитие

в послевоенные годы, когда была выработана чрезвычайно жесткая система медэкспертизы.

Государство считало, что инвалиды войны должны как можно быстрее вернуться к производительному труду, но для этого не было создано никаких условий: система переподготовки находилась в зачаточном состоянии, и трудоустройство бывших фронтовиков (необходимое при низпенских пенсиях) было фактически пущено на самотек. Отсутствовала и какая-либо система защиты инвалидов войны на рабочем месте; их увольняли в первую очередь, понижали по службе, переводили на низкооплачиваемые должности, что не мешало создавать статистическую видимость успеха социальных служб. Политика социального обеспечения вступала в противоречие с задачами подъема экономики, для решения которых требовались здоровые и сильные люди, заключает автор (с. 58).

В статье Тимоти Джонстона (Великобритания) всесторонне анализируются панические слухи о возможном нападении бывших союзников на СССР, получившие широкое распространение в 1945–1947 гг. Показывая, что эти слухи являлись в сущности разновидностью «устных новостей» и имели в своей основе твердое убеждение советских людей в том, что все они являются «участниками международной драмы, в которой их страна играет ведущую роль», автор приходит к парадоксальному выводу. По его мнению, слухи, будучи продуктом социальной сумятицы послевоенных лет, одновременно служили и средством ее преодоления, поскольку способствовали сплочению разрушенного войной общества и в конечном счете его оздоровлению (с. 73–74).

Вторая часть сборника «Бараки, очереди и личное подсобное хозяйство: Послевоенный городской и сельский ландшафт» посвящена тем стратегиям выживания, которые выработали люди в условиях крайней бедности. Отмечая, что голод был частью повседневной жизни рабочих и в довоенное время, Дональд Филцер (Великобритания) сосредоточился на изучении жилищного кризиса и ужасающих санитарных условий жизни городского населения. По мнению автора, причиной нехватки жилья, чистой воды, отсутствия подобающей городской инфраструктуры (включая канализацию), перенаселенности городов изначально являлось отношение властей к населению как к «расходному материалу». Все эти тенденции лишь усилились в результате разрушительной войны и начали преодолевать только после смерти Сталина (с. 96).

В центре внимания статьи Жана Левеска (Канада), исследовавшего положение в послевоенной деревне, находятся проблемы поддержания и сохранения колхозного строя в условиях аграрного кризиса. Поскольку оплата по трудодням составляла лишь одну пятую часть в бюджете крестьянской семьи, основным источником дохода являлся приусадебный

участок, который и стал целью государственной политики репрессий по отношению к крестьянству.

Автор выявляет такие стратегии выживания крестьянства, как фиктивные семейные разделы с целью получения земельного участка, переход на работу в другой колхоз или совхоз, сезонные работы, в том числе в промышленности и строительстве. Благодаря низкому уровню статистического учета многие ухитрились избавиться от официального статуса колхозника и связанных с ним налоговых тягот, продолжая при этом обрабатывать приусадебный участок, а молодежь, хотя и оставалась в деревне, старалась не вступать в колхоз. Ж. Левеск приходит к заключению, что термин «политическая пассивность» неверно определяет характер сельского населения СССР. Исключительное разнообразие стратегий выживания колхозного крестьянства делало невозможным тотальный контроль над ним государства и, кроме того, свидетельствовало о том, что население деревни отнюдь не представляло собой «однородную массу» (с. 117).

В третьей части («Коррупцированное государство: Война и подъем теневой экономики») в статьях американских историков Джеймса Хайнца и Синтии Хупер рассматривается получившее широкое распространение в годы войны взяточничество, которое охватило все общество снизу доверху – от почтальона, требовавшего «магарыч» за доставку письма, до высших чиновников. В центре внимания Дж. Хайнца находится кампания 1946 г. по борьбе с взятками, которая, как показывает автор, была довольно быстро свернута совместными усилиями прокуратуры, МВД, Министерства юстиции и Верховного суда. Прокуратура, в частности, использовала обвинения ее сотрудников во взяточничестве как удобный случай для того, чтобы добиться значительного повышения зарплат работникам юстиции (с. 124).

С. Хупер посвятила свое исследование установлению в послевоенные годы «дружественных отношений» между центральной властью и «средними классами» бюрократии. Она констатирует слияние в этот период структур организованной преступности с «партией-государством» (особенно на местах) и демонстрирует, как происходила ликвидация партийного контроля снизу и утверждалась практика замалчивания в отношении действий чиновничества.

В обеих статьях подчеркивается, что в условиях хаоса и незащищенности послевоенных лет усиливались терпимость населения к коррупции и даже официальное сотрудничество с ней.

Новые поколения, вырабатывавшие собственную идентичность, являются темой четвертой части книги. В статье Марка Эделе (Австралия) рассматриваются политические настроения победителей, которые, однако же, не сформировали монолитную группу, объединенную общим военным опытом. Автор подчеркивает многоголосие сообщества фронтовиков и тот

факт, что их в корне различавшиеся между собой взгляды в отношении сталинизма вскоре стали общепринятыми для населения в целом. Это явление весьма симптоматично для фрагментированного по своему характеру общества (с. 191).

Два других поколения исследуются в статьях Энн Лившиц (США) и Джулианы Фюрст, посвященных, соответственно, детям и молодежи. Энн Лившиц рассмотрела, как в условиях послевоенного восстановления формировалась система воспитания детей и те ожидания, которые с ними связывали государственная система образования и деятели культуры. В создании «культы войны» огромную роль играли детские писатели, предлагавшие в своих произведениях примеры для подражания и создававшие определенную систему ценностей. Соединенными усилиями школа и литература формировали разрыв между видимостью и реальностью, между словом и делом, заключает автор (с. 204).

Стремление части молодежи утвердить свою идентичность путем следования моде, увлечением западными кинофильмами и танцами находится в центре внимания Дж. Фюрст. В статье показано, что борьба государства с «аполитичностью» и «космополитизмом» привела к расколу как внутри самой молодежи, так и между молодежью и государством.

В пятой части книги («Послевоенные пространства: Реконструируя новый мир») помещено исследование Ребекки Мэнли (Канада), в котором конфликты, возникающие в связи с возвращением эвакуированных в свои квартиры, занятые новыми жильцами, позволяют поставить вопрос о новом понимании прав личности после пережитого опыта войны. Статья Моники Рютерс (Швейцария) о реконструкции улицы Горького демонстрирует несоответствия между официальным и народным пониманием значения (и предназначенности) этого места, что свидетельствовало о возникновении своего рода «трещин» в, казалось бы, монолитном обществе (с. 265).

В заключение Ш. Фицпатрик подводит итоги изучению периода позднего сталинизма, подчеркивая, что «плоды победы в долгосрочной перспективе оказались более важными, чем произведенное войной опустошение» (с. 271). Советский Союз стал не просто признанной мировой державой, но одной из двух сверхдержав. Война легла краеугольным камнем в основание советского патриотизма, который психологически воспринимать было гораздо легче, чем патриотизм марксистско-ленинский. Другим «облегчением» послевоенных лет Ш. Фицпатрик считает отказ властей от политики стигматизации по классовому признаку. Принадлежность к советскому народу («советскость») становится естественной для каждого, кто участвовал в войне – на фронте и в тылу.

Однако, замечает она далее, именно обстоятельства, связанные с войной, сделали для многих людей – попавших в плен, подозревавшихся в

сотрудничестве с фашистами или представителей депортированных народов – советский социальный статус проблематичным. Указывая на сильный элемент ксенофобии в послевоенном советском патриотизме, Фицпатрик останавливается на проблеме антисемитизма – как официального, так и бытового, – вышедшего на поверхность в эти годы (с. 272–273).

Отмечает Фицпатрик и серьезные перемены в рядах сталинской бюрократии, где наряду с общей квалификацией возрастает профессиональное самосознание, связанное, вероятно, с приходом нового поколения управленцев среднего уровня, и исчезает понятие «буржуазные специалисты». Как показали в своих статьях С. Хупер и Дж. Хайнцен, этот период отмечен ростом коррупции, особенно взяточничества, процветавшего во время войны. Отсутствие каких-либо успехов в борьбе с этими явлениями авторы связывают с новой политикой «уважения к кадрам», которая в итоге привела к росту «нового класса», описанного в свое время Джиласом.

Еще одним важным изменением Фицпатрик считает повышенное внимание Коммунистической партии к частной жизни своих членов, которое потом стали интерпретировать как главную черту «советского тоталитаризма». В целом же происходит отход от революционной идеологии и политической психологии к мировоззрению, в центре которого была гордость за свою великую державу. Учитывая появление ряда новых явлений в обществе (в том числе молодежных субкультур), период позднего сталинизма нельзя считать исключительно «мрачным воплощением тоталитарной диктатуры». В этот период, заключает автор, были заложены основы и последующих успехов, и окончательного провала СССР как государства и проекта по переустройству общества (с. 277).

О.В. Большакова

**СЕМИНАРЫ ЦЕНТРА
РОССИЕВЕДЕНИЯ**

**В.И. ЛЕНИН И ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКУССИИ**
(Семинар 3 ноября 2010 г., ИНИОН РАН)



И.И. Глебова (ИНИОН РАН): Сегодня на нашем семинаре выступит профессор Будапештского университета им. Л. Этвеша, заведующий кафедрой истории Восточной Европы Тамаш Краус. Тему своего выступления он обозначил таким образом: история, историографические и теоретические позиции в обсуждении ленинской тематики. Я полагаю, выступление так или иначе связано с книгой профессора Крауса, которая совсем недавно вышла в Венгрии, США и готовится к изданию в России¹. Слово докладчику.



Тамаш Краус: Спасибо, коллеги, что пришли на эту дискуссию, несмотря на канун праздников. Я, правда, не понимаю суть этой даты – 4 ноября, но в конце концов это ваш выбор. В рамках 20–30 минут я решил высказать несколько самых общих и предварительных тезисов. Возможны некоторые недоразумения, так как я буду говорить по-русски, а не по-венгерски, но все, думаю, разрешимо в ходе дискуссии.

Прежде всего, несколько слов об актуальности предложенной мною тематики. Я вовсе не произвольно и не так уж давно ее выбрал, хотя и занимаюсь историей СССР много лет. В начале 90-х годов я понял, что новый режим в целях собственной легитимации должен будет актуализировать ленинскую тематику. И действительно, не только в Восточной Европе (в том числе, конечно, в странах бывшего Советского Союза), но и на Западе наследие Ленина было подвергнуто переинтерпретации. Я не хочу называть никаких фамилий, но есть такой российский автор, который первый том своего труда о Ленине опубликовал до 1989 г., а другой после. Между этими томами оказались очень глубокие противоречия. Причина понятна – была нужда в новой легитимационной идеологии.

¹ Krausz T. Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. – Bp.: Napvilág, 2008. Русское издание: Краус Т. Ленин: Социально-теоретическая реконструкция. – М.: Наука, 2011. – 395 с.

Ленинская тема перестала быть научной. Вокруг нее в 1990-х годах вспыхнула прямо идеологическая борьба. Вели и руководили ею люди, которые еще несколько лет назад (даже в перестроечные времена) маршировали под знаменем Ленина. И вот пять-шесть лет назад я решил, что напишу книгу, где расскажу об этой борьбе, о пересмотре подходов к ленинской теме. Мне хотелось подчеркнуть, что при старом режиме была своя, достаточно односторонняя логика в изучении этой темы (как, впрочем, и всего советского периода). Сейчас на основе уже либеральной логики, заместившей старую, определились новые позиции, но тоже весьма односторонние. Исходя из ложной нигилистической посылки, вдруг решили, что можно «выгнать» 70 лет из истории. Но это невозможно – что же тогда останется? У меня это главный вопрос в книге: что останется из ленинского наследия? И можно ли втиснуть всего Ленина, всю ленинскую тему в нарратив терроризма, террора или все-таки для ученых это невозможно?

Что еще мне казалось важным? Я стремился понять, почему Ленина сложно и даже невозможно интегрировать в новую социокультурную систему. Кстати, советская культура, по-моему, по крайней мере не хуже, чем царская. В ней соединилось очень много смыслов, ценностей. На Западе же пытаются критически переоценить даже такие элементы советской культуры, которые, по-моему, неоспоримы. Но это в скобках, в качестве ремарки. Так вот, я понял, почему Ленин не интегрируется в постсоветскую систему. Он (его наследие, конечно) с ней несовместим, работает против нее. Даже элементы его наследия, возникшие во время нэпа, – против этой социальной системы. Против нее – все его высказывания (как демократические, так и о терроре), все его идеи.

Но так же с Марксом: у него, например, есть научные работы, очень серьезные с философско-исторической точки зрения, о капиталистических кризисах. Маркс тоже капиталистическую систему как бы вскрывает изнутри, разоблачает и «взрывает» научными методами. У Ленина нет собственно научных (в Марковом смысле слова) достижений, зато есть исторические исследования – и самое известное «О развитии капитализма в России». Эту книгу читают и сегодня во многих странах, где я бываю, даже в Америке. Там каждая страница – против существующей общественной системы. Поэтому так трудно сейчас заниматься Лениным.

И здесь следует сделать первое, важное для изучающего историографию ленинской темы замечание. И нам, в Венгрии, и вам, в России, следует понять: не надо бояться Ленина; связанный с ним исторический перелом сейчас не повторится. Ленин – это уже историческое явление; зачем воевать против него? Мы живем в новом мире, в котором многое изменилось: не существует того рабочего класса, той фазы развития капитализма, того типа рабочего движения. Октябрьская революция и обусловленный ею исторический процесс закончились, Ленин ушел. И хотя после смены режима

уже появились новые опасности, спровоцированные рыночными радикалами, повторения прошлого не будет. Это ясно – тем не менее борьба против Ленина продолжается. И это – первая проблема.

А вторая – это методология, методологические вопросы. Главный среди них: как понять Ленина, возможно ли это вообще? И здесь надо учитывать несколько моментов. Во-первых, Ленин никогда не будет либеральным. Его, конечно, можно измерять с либеральных позиций, но понять таким образом невозможно. Научный подход – неважно, идет ли речь о Ленине или о ком-то другом, – предполагает анализировать какое-то явление в тех ценностных рамках, которые ему адекватны. Если мы поступаем иначе, о науке не может быть и речи. Ленина следует понимать по его собственной логике и, исходя из нее, можно найти его место в истории. По-моему, это необходимо – ведь мы имеем дело с исторической фигурой, сопоставимой по масштабу в русской истории разве что с Петром Великим. Во-вторых, на Ленина надо смотреть как на целостность. Это самое трудное в работе историка, поэтому, кстати, я так уважаю присутствующего здесь Владлена Логинова; он старается восстановить целое, а не вырывать из Ленина как явления, из его наследия какие-то части. Явление истории нельзя, как машину, разобрать на детали, не имеющие внутренней связи. Так его можно дискредитировать, но крайне затруднительно понять.

Следующий свой методологический тезис я сформулировал бы так: был Ленин, но никогда не существовало ленинизма. Сам Ленин возражал против этого термина, хотя применять его начали в 1906 г. или даже раньше. Надо учитывать, что это понятие утвердилось уже после смерти Ленина и использовалось с легитимационной целью. Но сейчас марксизм-ленинизм как легитимационная идеология остался, а легитимация старого режима умерла. Нельзя Ленина втиснуть в эту идеологию. Для изучения ленинского наследия необходимо снять с него те слои, которые наложались позже. Ленина ведь «препарировали» определенные люди и в связи с вполне определенными интересами. Что же тогда останется от Ленина, спросите вы? Прежде всего то, о чем стоит думать и сегодня, – его постановка социальных вопросов. Это и есть главный нарратив, и я к нему еще вернусь.

Именно этот важнейший нарратив заслонила сейчас проблематика террора. О ней надо сказать хотя бы несколько слов. Здесь важнейший вопрос: где оригинал, откуда она исходит, что имеет своим источником? Иначе говоря, изобрел ли Ленин это явление или унаследовал от каких-то времен? На этот счет в исторической науке, в историографии существуют и конфликтуют очень разные мнения. Мне кажется (и многие историки со мной согласны), что террор (как и революционное насилие вообще) «выходит» не просто из российского исторического развития, из национальных традиций, а прямо из Первой мировой войны. От этого невозможно

абстрагироваться; поэтому Ленина так сложно втиснуть в нарратив террора – точнее, сделать персонификатором террора.

Теперь о главном нарративе. В России в последнее десятилетие опубликовано много работ сторонников концепции Э. Валлерстайна. И это верное решение. Мы в Венгрии знали о ней уже в 60-е годы. Правда, не слишком адекватно представляли ее источники. А ведь элементы этой теории – и достаточно хорошо разработанные – есть уже у Ленина. Это научно-теоретическая ценность, которой мы сейчас не можем избежать. Ленин, пожалуй, первым представил мировую систему капитализма в качестве иерархической системы (центр–периферия–полупериферия).

Что еще из ленинского наследия останется, как я думаю, с нами? Это теоретический анализ русского капитализма – чрезвычайно дискуссионная сейчас тема. Никто не посмеет сказать, что у Ленина нет интересных соображений на этот счет. Хотя, конечно, сегодня его гораздо реже цитируют, чем при старом режиме. Зато мы избавились от старых фальсификаций; ленинское наследие очищено, что облегчает его научное познание.

Особый интерес представляют соображения Ленина о перспективах исторического развития России и Европы. Если сузить, следует говорить о возможностях построения социализма. Многие историки характеризуют ленинские представления о социализме как примитивные, используя метафору «казарменного социализма». По-моему, это просто ложь. Причем таким образом мне лгали даже во время перестройки. Ленин был против введения всякого социализма в России. Он никогда и нигде не говорил, что такую систему можно внедрить политическими декларациями и решениями. Все мы знаем, что весной 1918 г. Ленин говорил о новом хозяйстве, а во время Гражданской войны перешел на другую позицию. Позже, в 1920 г., он критиковал собственные взгляды 19-го года – идею о возможности перехода от военного коммунизма к социализму. В начале 1921 г. Ленин уже считал такой переход невозможным, причем по двум причинам. Во-первых, потому, что русский народ тогда не мог жить без купли-продажи. Во-вторых, большевики ошиблись, приняв за образец для России революцию на Западе. Революция (социалистическая, если мы говорим о начале XX в.), конечно, не русское явление. Это хорошо понимают те, кто знаком с историей международного рабочего движения.

Что, на мой взгляд, останется из ленинской теории партии? Некоторые историки считают это самым слабым пунктом наследия Ленина. Возможно, но и здесь есть некоторые положения, интересные именно сегодня, когда ощущается потребность в партийных экспериментах. Я, конечно, не говорю о так называемых традиционных коммунистических организациях, т.е. о партиях, представляющих собой остатки старого режима. Они – я сужу по Венгрии – вообще не понимают новой ситуации. Не думаю я и о социалистических организациях, которые совсем не знают, куда идти, –

ведь нельзя вернуться в XIX век. Создать новую «партию авангарда» сегодня очень трудно, но об этом надо думать. Сейчас много говорят, что классовая политика – выдумка, она провалилась. Но что пришло на ее место? Identity policy. В новой ситуации классовую политику попросту выбросили. Даже так называемые социодемократические и коммунистические партии обратились к новой «политике идентичности».

? **Ю.С. Пивоваров** (ИНИОН РАН): А что значит – «политика идентичности»?



Т. Краус: Это значит, что социальные, классовые соображения квазиустарели, в политике появились новые ожидания, мир меняется в соответствии с новыми идентификационными ориентирами – этническими, национальными. Везде, от Венгрии до Индии, уже господствует этническая идентификация.



Ю.С. Пивоваров: А раньше доминировала классовая?



Т. Краус: Скорее, были разговоры о таком доминировании. Если бы серьезно принимались классовые позиции, СССР и социализм в советской форме не провалились бы. Кстати, ту систему я называю – по Марксу и Ленину – государственным социализмом. Хотелось бы подчеркнуть: у Ленина (и других деятелей его партии) не было планов, которые могли бы осуществиться в сталинское время. То есть не Ленин породил Сталина как историческое, властное явление. Между ними и двумя «режимами» нет преемственности. Если же Сталин сам создал государственный социализм, следует подумать о его исторических предпосылках. Показательно, что в постсталинские времена постоянно говорили, что надо вернуться к Ленину, – даже во время перестройки. Но при этом каждый раз поступали иначе.


Очень важно, что ленинская тема подталкивает к размышлениям о современных перспективах. Сейчас ведь никто не может сказать, куда идти. Вообще, это интересный вопрос – о конечной цели. По Ленину, две известные формы – частная и государственная собственность – не относятся к системе социализма. Это что-то другое, своего рода предыстория. А где нынешний ориентир движения? Сейчас, наверное, можно верить в русский капитализм – почему нет? Вера сама по себе не вредное дело. Но есть опыт. К примеру, хороший человек приходит во власть – в него хочется верить и поначалу действительно верят. Однако время идет, а ничего не меняется. Это заставляет сомневаться, размышлять. Так вот, Ленин дает возможность задуматься о том, стоит ли верить в хороший капи-


тализм. А еще о том, как соединить социологический анализ общества и практическую деятельность. Это ведь Ленин и пытался сделать.


Вот чем хотелось бы закончить. Один из лидеров российских либералов, Е. Гайдар, как-то сказал: если бы путь от перестройки к капитализму не был выложен миллионами долларов, старая бюрократия никогда не пошла бы на смену режима¹. Это не дословная цитата, но смысл передан точно. Гайдар знал, о чем говорит, поэтому я предлагаю вам об этом задуматься. Если никто не хочет восстанавливать государственную собственность, то что остается? Конец истории? Ленин актуален сейчас именно потому, что поставил вопрос таким образом: возможна ли альтернатива капитализму? В начале 20-х годов никто из новых руководителей не мог его избежать. Конечно, другой вопрос, была ли альтернатива сталинизму? Сегодня, слава Богу, уже не стреляют людей, и можно более свободно подумать об этих вопросах.


Сейчас было бы разумно не сражаться с Лениным – его уже нет, а поразмышлять о его наследии. И в связи с ним – о современных перспективах. Спасибо за внимание.


И.И. Глебова: Коллеги, теперь вопросы. Только представляйтесь, пожалуйста.

 **А.В. Гордон** (ИНИОН): Вы сказали, что Ленин в нынешний режим не может быть интегрирован.

 **Т. Краус:** Я так полагаю.

 **А.В. Гордон:** А Сталин или сталинизм может?

 **Т. Краус:** Я отвечу очень коротко, экономя время для дискуссии. Мне кажется, да – в некоторых своих элементах. В современной России сложился очень интересный капитализм, в рамках которого, скажем, государственная власть изменяет характер новой буржуазии. Методы его нетипичны. Заметны в нем и элементы великорусского шовинизма (сегодня это, конечно, иначе называется). Национальный шовинизм везде неотделимая часть нового капитализма. Неолиберализм и этнический национализм слиты в некое единство. Одно – причина, другое – следствие.

 **Ю.С. Пивоваров:** У меня вопрос вдогонку тому, который поставил Александр Владимирович Гордон. Тамаш, ты начал свое выступле-

¹ См.: Глинкина С.П. Феномен коррупции: Теория и российская практика. Рукопись. С. 27

ние словами, что легитимация нового режима не обойдется без Ленина. Дальше сказал, что Ленина нельзя интегрировать в новую систему. Мне кажется, здесь есть противоречие. Поясни, пожалуйста.



Т. Краус: Может быть, я неточно выразился. Я считаю, что новая идеологическая легитимация требует уничтожения Ленина – именно потому, что его невозможно интегрировать в эту систему.



Ю.С. Пивоваров: А если Ленина нельзя интегрировать в новую систему, то зачем Ленин ей нужен, почему он в ней все время возникает?



Т. Краус: Я сказал, что, если принять тезис о хорошем капитализме, это означает конец человеческого развития. Тогда вполне логичен следующий мой тезис: люди, думающие, что этой системе не нужны альтернативы, стремятся выместить, выбросить из нее Ленина. Они и развязали против него войну. Но он появляется как альтернатива этой системе.

И.И. Глебова: Есть ли еще вопросы, коллеги? Вопросов нет. Тогда давайте обсуждать. Кто-то хочет высказаться?



Б.С. Орлов (ИНИОН РАН): В середине 80-х годов я был в Вене, изучал деятельность австрийской социал-демократии. В библиотеке мне случайно попала в руки книжка «Ленин против Ленина», где были собраны противоположные высказывания В.И. по одним и тем же проблемам. Сравнив их, задал себе вопрос (а тогда я был еще сторонником марксизма): что же, собственно, представляет собой учение Ленина? И когда Вы предлагали понимать Ленина, руководствуясь логикой его размышлений, какую логику Вы имели в виду? Какую логику в каждом конкретном случае нам принимать за ленинскую? Это первое обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание.

А вот второе. Один из теоретиков германской социал-демократии в разговоре со мной однажды сказал, что Ленин – гениальный ошибочный стратег. Я же, изучая ленинские работы в начале перестроечных времен, пришел к другому выводу: он, конечно, стратег, но не гениальный. Вот только один из тех примеров, на которых я основываю свой вывод. Случай, кстати, всем известный. В январе 1917 г. Ленин, выступая в Цюрихе перед молодыми социалистами, сказал: вы, молодежь, застанете время коренных революционных преобразований, а нам, старикам, видимо, до это-

го не дожить¹. И вдруг буквально через месяц он срочно собирается в дорогу: в России революция – демократическая, февральская. В Петрограде, как известно, Ильич провозгласил курс на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Меня поэтому потрясло Ваше заявление, что Ленин никогда не был социалистом.

Еще один известный факт: когда Ленин скрывался от преследований Временного правительства в Финляндии, он писал «Государство и революцию» – своего рода план действий на случай прихода к власти. Эту работу я в свое время прочитал раз, наверное, пять. И пришел к выводу, что это всего-навсего примитивная имитация работы Маркса «Критика Готтской программы». Ну, можно сказать, ошибся человек – Бог с ним, написал и написал. Дело, однако, в том, что установки работы (в частности, о переходе к напрямую товарообмену) были реализованы в жизни. И только когда Россия оказалась из-за этого буквально на грани пропасти, Ленин меняет курс – вводится новая экономическая политика. Как это назвать – гениальным прозрением или попыткой выйти из тупика, – большой вопрос. Все это какие-то метания, стихийные прозрения – может, и гениальные. Но где здесь предвидение, учение, логика?

Еще одно замечание. М.С. Горбачев любил в свое время повторять ленинское высказывание: возникла потребность в изменении коренной точки зрения на социализм². С Горбачевым, конечно, своя история, но вот какую перемену имел в виду Ленин? В его последних статьях (написанных с 22 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г.) много чего есть – в том числе предложение ввести в руководящие органы коммунистической партии представителей трудящихся и т.д. Но это не гениальная стратегия, а какая-то беспомощная попытка оживить его модель социализма. Точнее, добавить социализм в то, что получилось.

Теперь о том, был ли сталинизм логическим продолжением ленинской политики. Я принадлежу к тому поколению «шестидесятников», которое после XX съезда первым столкнулось с этой проблемой. За ответом мы обращались к поздним ленинским публикациям, тюремным высказы-

¹ «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении в Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции» (доклад о революции 1905 г. швейцарским социалистам; датирован ранее 9 (22) января 1917 г.). (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 30. – С. 306–328.)

² «Ленин проявил мужество, когда он заявил, что “мы пошли не тем путем”, допустили главную ошибку, и теперь надо коренным образом пересмотреть точку зрения на социализм» (вступительная речь М.С. Горбачева на Учредительном съезде Российской объединенной социал-демократической партии 11 марта 2000 г.). (См.: Материалы Учредительного съезда Российской объединенной социал-демократической партии. – М.: ООО «Фантера», 2000. – С. 12.)

ваниям Розы Люксембург и тетрадам Грамши, к раннему Марксу, снова к современникам (к тому же Джиласу). Выводы делались разные. Я полагаю, что Ленин сыграл решающую роль в формировании тоталитарной модели партии (с харизматическим лидером/вождем) и, соответственно, модели тоталитарного социализма (с предельно жестким подавлением инакомыслящих). По этим тоталитарным рельсам ленинский паровоз «полетел» вперед, сметая все на своем пути. Сталин лишь сменил у руля Ленина; он – новый вождь, соответствовавший новой обстановке.

И в заключение – о сегодняшнем дне. Не знаю, как в Венгрии, но в России сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, нам предлагают вернуться в XIX век, с самодержавием, православием, народностью (один известный и влиятельный кинорежиссер, например, проповедует эту мысль, где только можно). С другой стороны, ориентируют на ленинскую, т.е. советскую социалистическую (так она во всяком случае трактуется), стратегию. Моя личная позиция – ни та ни другая стратегии Россию в нормальное цивилизованное русло не введут. У меня всегда возникал вопрос: почему коллеги, к которым я лично хорошо отношусь, зациклились на неработающей, тупиковой теории? Ответа на него я не нашел. Но убежден, что попытки актуализации ленинского наследия не обогатят теоретическую мысль.

Ленин, на мой взгляд, – ошибочный стратег. Инициированные им действия, его логика, стратегия привели в нашей стране к тому, что некоторые исследователи называют антропологической катастрофой. Ленин – один из виновников многих бед, случившихся с Россией в XX в.



Т. Краус: Я хотел бы реагировать на выступление г-на Орлова. Я ничего не сказал о гениальности Ленина, не говорил, что Горбачев что-то понял в теории социализма, – он ни в чем не разбирался. Я не предлагал следовать сегодня ленинской политической стратегии. Напротив, подчеркнул: Ленин родился один раз, в определенной исторической ситуации, а сегодня нужно что-то другое. И я постарался показать некоторые элементы его наследия, которые могут быть актуальны. Последнее: не думаю, что ответственность за все катастрофы, которые произошли в этой стране за последние десятилетия, можно возложить на Ленина. Это же смешно. Сейчас совершенно другая эпоха. Надо говорить о новом капитализме, а не о Ленине, умершем в 1924 г.



А.И. Калганов (МГУ): Я не только полагаю, как коллега Орлов, что Ленина можно и нужно критиковать, но и сам являюсь критиком очень многих аспектов ленинской теории. Но, в отличие от коллеги Орлова, считаю: для того чтобы критиковать стратегию Ленина, ее надо знать. Назвав Ленина гениальным ошибочным стратегом, г-н Орлов предложил

неточные аргументы. Я с сожалением должен констатировать, что все они от начала до конца фальшивы, не соответствуют действительности.

Прежде всего о революциях. В начале 1917 г. Ленин говорил, что старшее поколение не доживет до *решающих* событий мировой революции. Причем отмечал (в том же, кстати, выступлении), что ситуация в Европе чревата революцией. Ленин ощущал близость мировой революции, хотя и не был уверен, что доживет до ее победы (или хотя бы до ее решающей фазы). Утверждать, что Ленин не ждал (февральской) революции, совершенно ошибочно, нелепо. Более того, накануне Февраля он даже спрогнозировал состав будущего послереволюционного правительства. Как после этого можно говорить, что революция была для Ленина полной неожиданностью? Второе, да... извините, стал излишне эмоционален, но странно сталкиваться с такого рода непониманием.



Ю.С. Пивоваров: Многие не понимают, не один Борис Сергеевич <Орлов>. Я, например, тоже никогда не понимал.




А.И. Калганов: Теперь о революционной стратегии. От человека, изучавшего историю, очень странно слышать, что Ленин ориентировал на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Ни к чему подобному ни на Финляндском вокзале, ни в «Апрельских тезисах» Ленин не призывал¹. Более того, во время дискуссии по поводу «Апрельских тезисов» он уточнил свою позицию, сказав, что не только не призывает к перерождению революции в социалистическую, но и прямо предостерегает против этого. Ваша информация об «Апрельских тезисах» Ленина заимствована из сталинского «Краткого курса ВКП(б)», что опять-таки странно. Нужно базироваться на первоисточнике.

И наконец, о стратегии послереволюционной. Я разделяю позицию Т. Крауса: ленинская стратегия выросла из определенного времени. Призывы вернуться к ней ошибочны, бессмысленны и контрпродуктивны. Более того, к ленинскому «курсу» 1917 г. следует отнестись критически, потому что он содержал определенные ошибки. Я о них писал, но в данном

¹ Речь идет о знаменитых «Апрельских тезисах», опубликованных в статье «О задачах пролетариата в данной революции» (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1969. – Т. 31. – С. 113–118). В «Апрельских тезисах» Ленин указывал: «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Ленин считал единственно возможной формой революционного правительства Совет рабочих депутатов, требовал «государства-коммуны и... свержения капитала». Он подчеркивал: «...не введение социализма, как наша *непосредственная* задача, а переход тотчас лишь к *контролю* со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов».

случае мне приходится Ленина защищать. Речь идет о его экономической политике периода Гражданской войны. Содержала ли она ошибки? Да, безусловно. Но в целом экономическую политику военного коммунизма я не могу назвать ошибочной. Причина одна: переход на свободную торговлю хлебом означал тогда голод для всей Центральной России. Да, большевики запоздали с переходом к продовольственному налогу в начале 1921 г. Следовало вводить его сразу, как только они выбили своих противников с большей части территории страны. Но не надо при этом говорить: большевики могли и не прибегать к силовому давлению, чтобы изъять у крестьян хлебные излишки.

! **И.И. Глебова:** Мне кажется целесообразным обсудить еще по крайней мере два тезиса Т. Крауса. Первое: он сказал, что мы, русские, не способны быть нейтральными. И особенно отчетливо это проявляется в отношении к Ленину. Так ли это и почему это так? Второе: утверждение Тамаша, что Ленин предложил альтернативу капитализму. Какова она и может ли в этом смысле быть сейчас полезным ленинское наследие? Мы как-то застряли, зацепившись за прошлое – причем в конкретно-историческом, а не в теоретическом плане.

 **В.В. Лапкин (ИМЭМО РАН):** Я позволю себе ответить предыдущему оратору – по одному, вроде бы частному пункту и очень коротко. Невозможно говорить о деятельности Ленина, особенно начиная с февраля 1917 г. (был ли он социалистом, последователем Маркса и т.д.), уклоняясь от принципиального вопроса: а чем он был движим? Ведь понятно, что главным для этого ключевого политика России революционной эпохи был вопрос о власти, ее завоевании и удержании, причем любой ценой. Игнорировать этот аспект в наших рассуждениях (в том числе, о политике военного коммунизма) – значит уклоняться от сути дела. Необходимо учитывать, что небольшая группа людей должна была контролировать огромную страну. Для этого не жалела ничего и никого. Кстати, и тот самый пролетариат, именем которого делалась революция (его численность в крупных городах, как известно, сократилась за те годы многократно). Игнорируя это, мы просто потеряем ориентир, необходимый для обсуждения нашей темы.

Теперь перейду к соображениям по основному докладу. Вообще-то, мы в России должны более спокойно относиться к таким темам. К сожалению, мы сами не занимаемся глубоким анализом своей недавней истории, не даем ответов на поставленные ею вопросы. Поэтому вынуждены принимать многие предрассудки и суждения, которые сформировались в советский период, появились не в России и т.д. Это расплата за невниманье к собственной истории. Я согласен с докладчиком, что современная

Ленину форма рабочего движения себя уже изжила, многое изменилось, что-то ушло в прошлое. Осталась, однако, исковерканная Лениным и его сторонниками страна, и она по-прежнему идет в проложенной большевизмом колее. И поэтому, конечно, тема Ленина и ленинизма актуальна у нас не только в научном отношении.

Я подчеркнул бы, что основным результатом ленинского эксперимента стало уничтожение в стране отношений частной собственности. Мы построили уникальное общество, где нет частной собственности, а значит, частного права и многого другого. При этом развивалась очень эффективная индустриальная экономика, создавались гигантские промышленные предприятия, страна вышла на позиции антагониста мирового лидера. Однако не сформировалась социальная основа для постиндустриальной экономики, осуществления «демократического перехода». И восстановить ее крайне сложно.

Я солидарен с докладчиком и в другом. Ленин и большевики сыграли великую первопроходческую роль; впервые в мировой истории решали многие актуальные проблемы. По их пути еще пытаются пойти другие. При этом, однако, надо помнить: главное, что Россия привносит в мир, – это урок, как не надо решать проблемы. В этом смысле следует говорить о терроре. Большевики, как и прочие революционеры в России конца XIX в., следовали западноевропейской традиции, учились террору у Европы. Вклад Владимира Ильича в это дело – в том, что он вывел террор на уровень государственной политики. Более того, совместил террор государственный с карт-бланшем на нелегитимный террор. Пожалуй, на этом я закончу.



А.В. Бугалин (журнал «Альтернатива»): В данном случае я еще представляю журнал «Альтернатива», где в трех последних номерах публиковались статьи на ленинскую тему¹. Теперь о том, что касается доклада и обсуждения. Начну с методологии. В период перестройки, который мы здесь упоминали, Ленина особенно сильно ругали за то, что он считал общественную науку социально и идеологически окрашенной. Наше обсуждение доказывает, что Ленин был абсолютно неправ. Никакой идеологической окраски в социальной науке нет. Все нейтральны, объективны и корректны. (*Смех в зале.*) Так, по крайней мере одну правомерность у Ленина мы эмпирически доказали.

Дальше ограничусь репликами. У нас пошли в ход разные аргументы: в их числе тот, что целью Ленина был захват и удержание власти. Я не утверждаю, что это неправильно, – просто называю. А разве все иные по-

¹ См., например: Бугалин А. Ленин как теоретик // Альтернативы. – М., 2010. – № 1. «Альтернативы» – ежеквартальный теоретический и общ.-полит. журнал, выходит с 1991 г. А.В. Бугалин – его главный редактор.

литические силы не боролись тогда за власть? Просто Ленин вышел из той борьбы победителем, нейтрализовав всех конкурентов. Осудим его за это? Далее затем, в «Государстве и революции» не представлена концепция планомерного развития экономики после победы социалистической революции. Нет, в работе характеризуется первая фаза коммунистического общества: и в ее рамках, как указывал Ленин, развитие элементов рынка вполне возможно. В отличие от коммунизма как нерыночной системы. Что касается прозвучавшей оценки участия рабочих и т.п. в управлении как популизма – этот тезис доказан всей мировой историей социал-демократии. Конечно, в управлении позволительно участвовать только топ-менеджерам и желательно из номенклатурной среды, но не работникам инженерного корпуса, квалифицированным рабочим и т.д. Можно сделать президентом артиста или культуриста, как в Соединенных Штатах, – губернатором, это тоже нормально.



Ю.С. Пивоваров: И у нас спортсмен был.



А.В. Бузгалин: Совершенно верно. А привлекать к управлению квалифицированных работников – это грубый популизм, допущенный нецивилизованными большевиками. Примем эту точку зрения. Или, напротив, будем считать, что Ленин был прав; привлечение рабочих к управлению – это нормальная демократия. Давайте займем хоть какую-нибудь позицию... Но не занимаем – не можем почему-то. Еще одна реплика – о частной собственности как естественной основе общества. Так ведь, господин профессор (*к В.В. Лапкину*) – естественной?



В.В. Лапкин: Да.



А.В. Бузгалин: То есть данной природой?



Лапкин В.В.: Нет. Данной обществом.



А.В. Бузгалин: Если она дана обществом – значит, является социальной и в этом смысле неестественной. Это просто тезис: то, что дано обществом, – то социально. А социальное развитие, как известно, до того, как восторжествовали институты собственности, тысячи лет приходило в примитивных формах. И появились произведения высокой культуры без всякой частной собственности. Поэтому считать частную собственность изначально и навсегда данным, абсолютным институтом некорректно. Она однажды возникла и, наверное, когда-то может уйти в прошлое. Строим же мы, здесь присутствующие, свою научную и культурную деятельность на основе всеобщей коммунистической собственно-

сти. Отдаем свою продукцию бесплатно, создавая тем самым возможность присваивать ее бесконечно. Мы не патентуем свою интеллектуальную собственность и не получаем за нее материальную ренту. И в современной социал-демократической модели, где имеется и рыночное, и частное, остается практика присвоения и распоряжения чужим продуктом (в разных, конечно, формах). Речь в данном случае идет не о правоте Ленина, а о корректности полемики.

Еще одна важная оговорка. У большинства наших обществоведов почему-то вызывает ненависть диалектический метод. Он ассоциируется с ГУЛАГом, террором. А между тем существует диалектическое наследие как часть общечеловеческого. И вся деятельность Ленина укладывается в его специфическую логику, которая не поддается оценке с позиций стандартных догматов.

Теперь о контексте. Напомню, что Первая мировая война, к которой Ленин и большевики не имеют никакого отношения, унесла 10 млн. жизней. А ведь социал-демократы всех стран проголосовали за участие своих правительств в этой войне. То есть подтвердили их право на легитимное насилие, которое стало одной из причин революций в Германии, Венгрии, России, антиколониальных войн и т.п. Ленинские работы писались в контексте Первой мировой войны. Надо учитывать, что люди сильно зависят от контекста, очень меняются в определенных обстоятельствах. Не только Ленин, но, скажем, Иван Бунин в своих «Окаянных днях» демонстрирует это.

Отмечу еще вот что. Посмотрим на наших коллег из социал-демократического и либерального лагеря. Я не встречал ни одного либерала, защитника прав человека, демократа, который выступал бы за то, чтобы предать анафеме, публичному осуждению тех государственных деятелей США, которые инициировали ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Никого, кто призвал бы американский народ и правительство покаяться. А ведь большего государственного террора трудно себе представить. И таких примеров много. Я не говорю, что Сталин и Ленин были правы, выбирая террор, а предлагаю анализировать причины такого выбора.





Реплика из зала: Те вели себя так хотя бы не в своей стране.



А.В. Бузгалин: Вот очень хорошая фраза – всегда жду, когда ее скажут. В своей стране нельзя, а в чужой, значит, можно. Давайте на этом я закончу свои полемические высказывания. Я часто так выступаю, с одними и теми же тезисами, вопросами – и в этой аудитории мне было интересно посмотреть еще раз на реакцию. Она не меняется – реакция всегда одна и та же. Спасибо.

! **И.И. Глебова:** Неприятно ощущать себя в роли подопытных. И непонятно, почему Вы нам эту роль отвели. Это некорректная, а главное, бессодержательная полемика. Что мы таким образом обсудили? Ваши ощущения от спровоцированных (иногда оскорбительным образом) эмоциональных реакций аудитории?

 **А.В. Бузгалин:** Тогда позвольте несколько слов по существу. Ленин – это такая фигура, такой политик, который всегда вызывает конфронтационный характер полемики. В сколь угодно интеллигентной аудитории. Я просил бы вас непредвзятым взглядом перечитать «Государство и революция» и сказать, какие из признаков империализма, перечисленные в этой работе, неактуальны сегодня. Есть интересная работа «Ленин: Перегрузка»¹, где целый ряд западных авторов со статистикой в руках показывают, почему Ленин до сих пор, к сожалению, актуален. Это относится и к его анализу развития низовой (базовой) демократии, вопросов внутренней политики, проблематики «центр-периферия-полупериферия», о чем говорил Т. Краус. Актуален его анализ эволюции капитализма под влиянием смены исторического контекста. Это не только «Что делать?»; Ленин много писал о разных типах политической организации, о том, как и почему либеральные политики могут двигаться к авторитарной схеме организации общества и т.д. Вот эти правота и актуальность – причина не только жесткой полемики, но и прямого раскола в интеллектуальной среде, в нашем обществе по вопросу о Ленине.

 **Ю.С. Пивоваров:** Позвольте мне тоже выступить. Я начну как раз там, где коллега Бузгалин закончил. Он сказал, что именно по Ленину мы так расходимся; если бы не он, – нашли бы общий язык. И еще одно замечание: он уже 20 лет, говоря похожие вещи в разных аудиториях, получает одну и ту же реакцию. Сначала о реакции. Я внимательно слушал профессора Бузгалина, которого уважаю как человека со своим вполне определенным мнением. И могу сказать, как и Вы: да, одна и та же реакция. А почему она должна быть иной? Опять мне говорят то, что я слышал и 50 лет назад (об американской агрессии, зле частной собственности и т.п.). У вас – одни реакции и у нас – одни реакции. Как Вы понимаете, я не разделяю Вашей точки зрения.

Что касается Ленина, то понятно, почему он так раскалывает и теперь. Безусловно, центральная фигура, человек номер один русской истории XX в. (и даже не только русской, но и мировой). Но для одних это, возможно, научный объект, а для меня – трагедия. Т. Краус в своем, кста-

¹ Lenin reloaded: Toward a politics of truth / Sebastian Budgen, Eustache Howélakis, Slavoj Žižek and others. – Durham; L.: Duke Univ. press., 2007. – 337 p.

ти, жестком и четком выступлении говорит: Ленина нельзя анализировать, скажем, с позиций либеральных, а надо попытаться понять изнутри. А почему я должен понимать его изнутри? Я стою на либеральных позициях, я – либеральный демократ. И не могу изнутри реконструировать это явление, так как отношусь к нему с других позиций. Это первое.

Второе. Докладчик предложил посмотреть на Ленина как на целое. Это тоже очень четкий методологический посыл: возьмите Ленина от первых, начала 1890-х, до последних работ и проанализируйте все. Эта позиция предполагает, что Ленина надо изучать как выдающегося, сложного, великого ученого. Я, правда, не совсем понял, в чем величие, – Тамаш сказал, что в теоретическом отношении от него, вроде бы, ничего и не осталось. Но я не поклонник Ленина и не берусь судить. Я убежден в том, что вопрос о Ленине – это не вопрос о тонкостях его экономической политики. Поясню с помощью грубого, может быть, сравнения. Гитлер тоже не был идиотом, как его показывали в карикатурных фильмах. Это очень умелый политик, который ловко играл на трудностях немецкой истории.

Конечно, Ленин был гений, о чем речь? У него масса достижений; я вообще считаю, что его «учение» о партии нового типа – то же самое для русской политики, что «Государь» Макиавелли для западной. Ну и что? Тамаш говорил о другой фазе капитализма, иных рабочих. Мне это неинтересно; я не марксист и не смотрю на историю как на арену столкновений капитализма – социализма, центра – периферии. Для меня это совершенно чуждые вещи, но я понимаю, что люди могут так думать.

Разве это главное в Ленине? Ленин из нашей страны никуда не ушел. Он остался в памятниках, названиях улиц, в традициях, даже в стиле отношения людей друг к другу. И что такое Ленин для России, я могу сказать – террор, бесконечный, беспощадный. Ленин – это Сталин сегодня. Мне все равно, как размышляют марксисты; я – жертва этого режима, знаете, как евреи были жертвами Холокоста. Им все равно, какие были противоречия в нацистской верхушке в 1942 г., когда решался еврейский вопрос (а противоречия там были большие, и Гитлер был даже против «окончательного» решения). Еврею все равно, почему, по каким теоретико-идеологическим основаниям его загнали в газовую камеру.

Этот политик, его партия и их последователи загнали наш народ в концлагерь. До 1917 г. Российская империя не была идеальной, но после стала просто пыточной камерой. Вот мы рассуждали о легитимности. Но ведь известно: большевистский режим начинается с совершенно постыдного разгона Учредительного собрания. В чем тогда его легитимность, его народные основания, если говорить не о наших сегодняшних идеологических и моральных предпочтениях, а о выборе *того* народа?

Мы говорим, что Ленин – гениальный теоретик. Возможно, но не в этом дело – практика была отвратительна! Это был гений; в его наследии

и сейчас, наверное, каждый что-то может найти. И что мне? Я же живу не с наследием, а в стране. И этот человек – как интеллектуал, как интеллигент – несет личную, персональную ответственность за то, что с этой страной произошло. А произошло здесь разрушение всех общественных основ. Что такое частная собственность? – Одна из фундаментальных ценностей человеческой цивилизации (как семья, язык, государство), выработанных человечеством в ходе эволюции. Против этих основ и обратился большевизм.

С моей точки зрения, 70 лет советского режима были антропологической катастрофой для народов, населявших мою Родину. Установившийся режим был абсолютно диктаторским, тоталитарным, не сравнимым ни с каким другим в XX в. Даже режим Третьего рейха, которым я тоже занимался, был мягче ко всем народам, кроме одного – еврейского. Наш «мочил», говоря языком премьера Путина, абсолютно все народы. И в этом смысле, мне кажется, проблема Ленина – это проблема морального выбора, а не проблема размышлений: что Ильич думал, когда писал ту или иную работу, или как разочаровался в каких-то взглядах, позициях; почему перешел от продразверстки к продналогу. Мне все равно, что он думал, – важно, что делал. И только так, по реальным делам и их последствиям (в том числе отдаленным) можно судить политического деятеля.

Что же касается А. Шварценеггера (профессор Бугзалин его ведь имел в виду?), то да, он – культурист, но Калифорния процветает. Неважно, спортсмен ли, артист, важна реальная практика. Я думаю, что по поводу Ленина, советского «социализма» действительно никогда не договорятся люди. Не социал-демократы, либералы и т.д., а люди, для которых определяющим является либо моральный подход к жизни и политике, либо аморальный.


! **А.В. Бугзалин:** Я хочу, чтобы меня правильно поняли: у нас, вроде бы, совершенно другой (не такой, как в начале XX в.) капитализм, а Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает 60-часовую рабочую неделю¹. Это морально или аморально?

! **Т. Краус:** Одно замечание. Профессор Бугзалин правильно сказал, что русская революция – продукт Первой мировой войны, а она не была инициирована большевиками. Но предпосылки для большевизма созрели во время той войны. Это необходимо учитывать при анализе ленинского наследия, политики большевиков.


¹ Предложение появилось на сайте РСПП в конце октября 2010 г.

! **Д. Свак:** У меня короткий вопрос. Юрий Сергеевич <Пивоваров> очень эмоционально говорил о Ленине. А Вы готовы в том же стиле – о Петре Первом?

! **Ю.С. Пивоваров:** Сегодня не готов – это ведь не тема нашего обсуждения. А потом эмоционально вообще не готов. Я эгоист. Петр Первый задел меня лично меньше, чем В.И. Но я и его не люблю по тем же причинам. Он возвел насилие над человеком в принцип государственного управления.

 **В.Т. Логинов** (Университет Академии образования): Я лично глубоко убежден в бесполезности таких дискуссий. Во-первых, мы никогда друг друга не читаем; во-вторых, никогда друг друга просто не слышим. В данном случае это вполне объяснимо: вопрос о Ленине действительно еще и вопрос о нравственном выборе, о нравственной позиции. Всем известно: интеллигент никогда не совершит подлого поступка, предварительно не обосновав его морально. И если уж выбрал, что надо кого-то зарезать, убить, то будет стоять до конца. Поэтому, я считаю, спорить нам бессмысленно. Единственное: ребята, ну давайте читать хотя бы друг друга! Ведь прекрасные книги о послереволюционном переходном периоде вышли – очевидно, что никто их не читал. Сколько про Февральскую революцию написано – бесполезно.

В содержательном отношении вот на что хочу обратить внимание. Может быть, самое важное, что сегодня было сказано, – о связи между либерализмом и фашизмом. Не обижайтесь, – хотя бы А.А. Галкина почитайте¹: либерализм – это то, что приведет к фашизму. Тамаш <Краус> абсолютно прав: со Сталиным они все помирятся, сделают из него государственника, зафиксируют это в учебниках. Ленина не примут никогда. Это ведь другое понимание демократии, идущее с древних времен. Об этом «Государство и революция». Что касается советской истории и ленинской вины – проблема не в самом Ленине, а в нашей непримиримости. Советскую историю невозможно рассказывать как линейную, как нельзя валить в кучу разные истории (в 1917 г. случилась революция, поэтому в 1985 г. нет колбасы). Это порочная логика.

 **Ю.С. Пивоваров:** Очень странно здесь, в стенах ИНИОН, слышать: проблема в том, что мы – в большинстве его сотрудники, а также служащие в РАН, вузах – не читаем. Это ведь совсем небезобидно. Сказать о людях, профессия которых – читать, что они не читают, – значит обвинить их в непрофессионализме. Видимо, все-таки не в этом объясне-

¹ Речь идет о работе: Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989.

ние нашего взаимонепонимания. У людей просто могут быть принципиально разные точки зрения. Теперь о связи между либерализмом и фашизмом. Вы не декларируйте – докажите. Зачем «шить дело» Галкину? Это явно не его тезис. И потом, оскорбительно для многих миллионов людей либеральных убеждений говорить, что они порождают фашизм.



В.П. Булдаков (ИРИ РАН): Поначалу мне хотелось отмолчаться: дискуссии о Ленине идут уже по десятому, если не сотому, кругу. При этом всякий раз доминируют эмоции, даже страсти. Причем страсти кипят вокруг идолов, некогда воздвигнутых нами самими, что заслоняет существо дела. У нас так всегда. И Ленин, кстати сказать, был человеком того же пошиба. Он до бесконечности мог полемизировать по поводу искусственных понятий, которые сегодня вообще не воспринимаются. Не воспринимаются потому, что они были лишь эмоциональным продуктом тогдашнего (преходящего) ученого воображения.

Тамаш вроде бы назвал меня (или кого-то еще) либеральным автором. Но в научном споре я не либерал, не марксист и тем более не какой-нибудь постмодернист, а просто исследователь, плохой или хороший – это другое дело. Все наши «измы» давно пора бы оставить за бортом. У нас они постоянно превращаются из конвенциональных понятий в настоящие символы веры. Сегодня это выглядит очень по-детски. «Нормально» это смотрелось в Средние века. Или в эпохи, отмеченные откатом (очередным) в далекое прошлое. Так бывает, причем постоянно.

«Время Ленина» – это время настолько мощного социально-экономического рывка европейских империй вперед, что это не могло не вызвать самых невероятных иллюзий – ожили, с одной стороны, самые низменные человеческие инстинкты, с другой – воскресли великие утопии. Мир в полном смысле слова сошел с ума. И в условиях мировой войны Ленин представлял отнюдь не худший вариант умопомешательства.

Феномен Ленина – продукт мировой войны. Не будь войны, он бы представлял небольшую секту в тогдашнем социалистическом движении. Зачем же копыя ломать? Или спорим по инерции, руководствуясь известной интеллигентской привычкой?

Конечно, сегодня идея мировой революции – а это главная страсть Ленина, как и Троцкого, – кажется авантюрой. Но, что бы ни говорили сегодня на этот счет, придется признать, что имя Ленина и в прошлом, и в настоящем неотделимо от образа русской революции. Понять Ленина – значит приблизиться к пониманию революции. Что касается последней, то (не мной было сказано) кто не видел революции, тот и русского народа не увидел.

В нашей дискуссии постоянно звучит: в этом Ленин прав, а в этом не прав. А кто мы такие, чтобы выставлять школьные оценки человеку

иною времени? Нравится нам или нет, но Ленин – это продукт целой эпохи, страшной и грандиозной. А эпоху надо понять и соответственно соизмерить некоторые масштабы. Вот когда мы действительно поймем эпоху Ленина (а на это может уйти еще 100 лет), тогда и имеет смысл судить Ленина... Кстати, Владлен Терентьевич <Логинов> совершенно прав: мы не хотим знать историю – слишком тяжелое занятие. Спорить о символах прошлого гораздо проще, тем более что химеры воображения в наш «информационный» век плодятся в геометрической прогрессии. А надо бы задуматься: что сделал (или попытался сделать) Ленин с тем реальным историческим материалом, который ему достался? И наконец, стоит прикинуть: чем история ответила Ленину?

Характерно, что сам Ленин вышел совсем не из революционной среды. Один мой знакомый, историк со всеми степенями, относительно недавно побывав в Ульяновске, недоумевал: «Как в этой обывательской среде мог вырасти такой человек?» Не помню, что я ответил, но следовало бы вспомнить пословицу: «В тихом омуте черти водятся». А если серьезно, то мы действительно не понимаем и не хотим понимать ни прошлой эпохи, ни специфики соединения ее с той или иной микросредой. Отсюда наши бессильные эмоции: «нравится, не нравится».

История (как наука, если только она уцелеет) – это своего рода идентификационный диалог с прошлым. Строго говоря, здесь «вкусовщина» неуместна (хотя она всегда присутствует). Если быть откровенным до конца, то «понять себя» (современность) легче всего, глядя в «зловещие» ушедших времен. И это очень тяжелое занятие.

Вернусь к личности Ленина. У меня к нему всегда было неоднозначное отношение. Таким оно и остается. Было время, когда я Ленина ненавидел, может быть, даже покруче, чем Юрий Сергеевич <Пивоваров>. Постепенно я приучил себя глядеть в эту личность. Но есть ли смысл копаться в личности разрушителя (а не примитивного террориста) в отрыве от эпохи, реальные (а не выдуманные им самим) противоречия которой он использовал? Вопрос вопросов: почему Ленин был столь популярен? Почему он стал такой ненавистной фигурой? Почему он популярен даже сегодня у людей, которые ничего не хотят знать о реальной истории его возвышения? Вот об этом и надо думать, а не просто выяснять с ним «личные отношения».

Считается, что основной вопрос русской истории: «Кто виноват?» Я давно отвечаю просто: «Сам виноват, потому что не пытаешься понять свою историю». Потому и возникают такие нелепости с Лениным: то он востребован как икона, то как пугало.

Если хочешь понять Ленина, надо правильно оценить возможности его личности на фоне информации, которой он располагал. И тогда окажется, что нелепо делать из Ленина пошлого террориста – он жил интел-

лектуальными и духовными страстями своего времени. Один из его политических противников откликнулся на его смерть словами: «Он был большой человек». Имелись в виду и его большие ошибки. Они также делают честь человеческому уму, ибо вся история – цепь заблуждений и трагедий. «...То, что называется истиной, всегда в большей или меньшей степени включает в себя ошибку – ошибку, на которую каждая эпоха имеет право и без которой она не может обойтись» (Х. Ортега-и-Гассет). Странно только, что мы к этому никак не можем привыкнуть.

Сегодня не случайно сравнивали мысли Ленина с идеями Э. Валлерстайна. Действительно, Ленин пытался разрушить империализм как систему, а вовсе не собирался строить социализм «в одной отдельно взятой стране». Мне представляется, что ленинское понимание «развития капитализма в России» – иллюзия, но его «Статистика и социология» – это серия настоящих прозрений.

Но нужен ли сегодня ленинизм? Думаю, что нет. Так называемый ленинизм – это набор догм, воздвигнутых на «фундаменте» иллюзий ушедшей эпохи. Иное дело «живой» Ленин, которого надо уметь разглядеть.



Ю.С. Пивоваров: А ведь я в своей реплике начал с того, что мне лично Ленин абсолютно не интересен. Мне интересны Струве или поэт Блок – не Ленин. И я не размышляю о нем, тем более с позиций: да кто я такой? Но для меня, как историка, важно как раз, кто же он? Это серый, совершенно провинциальный, малокультурный и малообразованный человек – на фоне той эпохи, выдвинутых ею людей (по-настоящему гениальных, образованных, талантливых). Почему мы крутимся только вокруг Ленина, поддерживаем его репутацию гения?

Да, Владимир Прохорович <Булдаков>, я ведь даже не о Ленине сейчас говорю. Вот Тамаш <Краус> – о Ленине, а я – о ленинизме. Ленинизм для России – это синоним или даже имя того ужаса, что творился 70 лет. Я полагаю, что Ленин страшнее Гитлера: тот разоблачен, а Ленин до сих пор является предметом научных дискуссий. На вопрос – ошибся он или нет? – я отвечаю: нет, он все сделал правильно. Так вот я против этого «правильно».



И.И. Глебова: Благодарю докладчика за четкое изложение своей позиции, а вас, коллеги, – за участие в обсуждении. Оно получилось острым, даже нервным. До срыва мы, правда, не дошли, но продемонстрировали: наше прошлое – зона конфликта, на него есть полярные, противоположные точки зрения. Если учесть, что это и пространство современного самоопределения, становится ясно: Ленин – псевдоним гражданской войны, которая в нашем обществе не закончена. Поэтому предложение

Т. Крауса примириться неосуществимо. В дореволюционной России трагический характер имел раскол на две субкультуры (фактически две страны) – европеизированную (городскую, интеллигентско-мещанскую, чиновную, ученую) и почвенную (преимущественно крестьянскую, традиционалистскую). Он был одной из причин кошмара 1917–1921 гг. В России нынешней существует раскол культурный, мировоззренческий. В его основе – не разные взгляды на современный капитализм, а различные ценностные предпочтения, убеждения. Конечно, этот раскол – один из многих, но едва ли не самый показательный. «Ленинцы», «попутчики», «антиленинцы» – это социальные ориентиры сегодняшнего дня. Здесь начало современных общественных противостояний.

Теперь о докладе. Я напомним, как Тамаш <Краус> формулировал свою задачу: рассмотреть ленинское наследие с точки зрения вопроса – возможна ли альтернатива капитализму? Более того, в ходе обсуждения прозвучал тезис: Ленин (как историческое явление, т.е. не только как теоретик) есть альтернатива капиталистической системе (и в ее прежнем – начала XX в., и в нынешнем видах). Причем, речь идет о хорошей альтернативе.

Тамаш, как мне представляется, выбрал практически беспроектную исследовательскую «площадку». В интеллектуальном наследии Ленина можно обнаружить и критику капитализма, и черты альтернативной ему социальной модели. Однако здесь возникает трудность: Ленин как теоретик – не уникальное явление, а лишь представитель большого «отряда» критиков/альтернативщиков. Уникальность героя Крауса – в практике; его до сих пор поднимают на щит или развенчивают потому, что он перевернул жизнь миллионов людей в огромной стране, его именем (и апеллируя к «леннаследию») 70 лет действовали «продолжатели дела». И если представлять Ленина фигурой супермасштаба (что делает наш докладчик), обращение к практике неизбежно. Тамаш этого и не избежал, вступив на – не скажу зыбкую, но – альтернативную «почву», где профессионализм, стремление быть объективным, избежать «презентизма» не гарантируют «единственной правильности» исследования. Потому что взгляд исследователя определяет позиция: есть хорошая альтернатива плохому капитализму, и это – Ленин.

Опыт «реконструкции», предпринятый Тамашем, оставил у меня несколько вопросов. Первый связан, если пользоваться термином Крауса, с нарративом террора. Докладчик как бы разводит Ленина и террор, оправдывая Владимира Ильича тем, что революционное насилие «выходит» из мировой войны. То есть фактически предлагает исходить из посылки: не Ленин был таким – жизнь такая. Если следовать этой логике, тогда правительственный террор начала XX в. прямо «выходит» из крайностей революционного движения и из первой революции. Меры МВД, военно-

полевые суды – следствие 1905 г., а Белое движение и белое насилие – реакция на Октябрьский переворот. История выстраивается как простейшая цепь причинно-следственных связей; при этом любой исследователь может «развернуть» ее в «пользу» своего героя в соответствии с собственными предпочтениями.

Потом, Ленин – революционер, преобразователь российского социального строя (и в этом смысле его действительная альтернатива). Это известно. Преобразовывать невозможно, не имея конечной цели и инструмента. Цель все-таки – социализм, не будем лукавить; Владимир Ильич ведь использовал этот термин для называния антикапиталистического общества, которое он проектировал. А инструмент преобразования – государство, поэтому оно (во всяком случае, на первом, т.е. ленинском, этапе) – разрушитель, монополист насилия. И Ленин, как его глава, – персонафикатор террора. Он этого не скрывал (см. его работы); зачем нам теперь его «прикрывать», отрицая этот факт. Это не только неисторично – нелогично, умаляет заслуги. Ведь именно здесь Ленин победил: разрушил «в основном» старый строй, чтобы на его месте строить свой новый. А «окончательно» вопрос решали после него: Ленин нейтрализовал реальные и потенциальные силы сопротивления города (террором против интеллигенции, доминировавшей в политике, управлении, экономике, культуре), Сталин преобразовал/переломил – прежде всего насилием – деревню. В этом их преемственность – притом что Сталин, конечно, есть и отрицание Ленина. Такая диалектика. Если это затушевывать, тогда непонятно, чем вообще занимался Владимир Ильич, каков его исторический масштаб.

И наконец, уже при Ленине новая система обрела некоторые определяющие черты, качества альтернативности. Это действительно не капиталистическое общество: минимизированы частная собственность, «буржуазные» право и мораль, открыты шлюзы социальной мобильности (из самых «низов» – на самый «верх») – притом что социальных гарантий (даже минимальных) еще не создано. Но масштабные насыщения «почвенными» («простыми») людьми слоя социальных управляющих в России случались и до Ленина – вспомним петровскую революционную перестройку. Эволюционным образом «круг» социально влиятельных людей расширялся в пореформенный период – без смены социального строя. Что же до остального, то если это и альтернатива, то очень временная: человеческая природа такова, что человеку хочется и частной собственности, и личных прав. На определенном этапе эволюции общества (переход от задач исключительно выживания к задачам развития) появляются условия для реализации этих естественных человеческих потребностей. Можно перекрыть эти возможности – законсервировать примитивную экономику, изолировать от внешнего мира и проч. Но наша же практика показала, что долго запретительные механизмы не работают.

Еще одна черта альтернативного порядка, создававшегося Лениным, – бесклассовость. Действительно, классы убрали, но иерархия осталась. Ее основой стала партия Ленина (причем уже при Ленине). Партийные функционеры заняли место (и места – в том числе жительства) старой иерархии. Плюс такой альтернативы – ее «почвенность». Но это же делало ее (начиная с ленинского времени) менее эффективной, чем прежняя (из-за недостатка или отсутствия образования, опыта, общей культуры, «соотнесенности» с миром). Отсюда – тяготение советских «элит» к простейшим, преимущественно экстенсивно-насилованным методам социального управления. Разрастаясь и все больше работая только на себя, иерархия постепенно «пожирала», обесмысливала социальные гарантии – в конце концов принесла систему в жертву собственному эгоизму.

Для меня не очевидны преимущества альтернативы, основы которой заложил Ленин. И Тамаш не помог мне их обнаружить. В реальном социализме (и ленинском тоже) было столько порочного, что его «плюсы» не стоили принесенных ради него жертв.

Мне кажется, я понимаю внутреннюю мотивацию Крауса. Его «Ленин» – это реакция современного «левого» на мир, который для него сводится к «плохому капитализму». Это, вообще, естественная реакция человека, прожившего в венгерском социализме: он ведь был мягче и человечнее «социализма» в СССР. Казалось, ослабить давление идеологии, дать чуть больше свободы – и с таким порядком вполне можно согласиться. Почему нет? С этой идеей я солидарна: следует улучшать, а не громить наличную действительность. Но Ленин-то ввел в социальную практику как раз погромный алгоритм, задал нашей социальности, и без того склонной к крайностям, порочный принцип преобразования: «или – или». Капитализм плох – даешь хороший социализм; для победы все средства хороши (за хороший социализм все «спишется»), кто не с нами, тот против нас. А разве не так же «сработали» на рубеже 1980–1990-х практики «хорошего капитализма»? Они оказались ленинцами по культурно-ментальному складу. Вот главное, мне кажется.

У нас оказался востребован погромный потенциал ленинского наследия, а не его аналитическая, критическая, интеллектуальная часть. Возможно, потому, что этот потенциал является в «наследии» Владимира Ильича главным – притягивают победный магнетизм, беспощадная последовательность стратегии и тактики, действует пропагандистский образ самого правильного («человечного») человека. Особенно востребован этот потенциал сейчас – как более всего понятная постсоветскому человеку реакция на плохую действительность. Чем она хуже, тем «больше» Сталин–Ленина.

*Материалы семинара подготовлены к публикации
И.И. Глебовой и Ю.Ю. Тыртовой*

Ю.И. ИГРИЦКИЙ

*ЛЕНИН КАК ВОСПОМИНАНИЕ*¹

Как это ни парадоксально, но в сегодняшней России, когда в спектре политических сил и идеологических предпочтений явственно заметны леворадикальные и леводержавные оттенки, Ленин, наверное, чувствовал бы себя неуютно. Не он, вождь российских большевиков и творец Октябрьского переворота, а его «верный ученик» Иосиф Сталин все чаще красуется на щите и знамени левого дела. Не на него, а на Сталина равняются противники капитализма и критики нынешнего режима в России. Не его, а Сталина хотят видеть у власти поборники «сильной руки». И даже сторонники режима с большим историческим почтением относятся не к нему, а к Сталину. Грустно и унизительно для правоверных марксистов-ленинцев. Это ли не лучшее свидетельство того, что для Ленина и его идей остается все меньше места в политической жизни его родной страны? И, воскресни Ленин, обидней всего для него было бы то, что в народе помнят не его, а Сталина, а среди молодежи только узкий слой всяких-разных «кружковцев» интересуется его творческим наследием.

Но понятным образом и память, и интерес сохраняются профессиональными историками. И сегодня, и через десять лет, и через столетие будут изучать историю России конца XIX – начала XX в., а в исторических текстах (и книжных, и электронных) читатели увидят знаковые имена: Ленин, Николай II, Распутин, Столыпин, Керенский и т.д. И сейчас, и потом будут востребованы оценки этих фигур, их исторической роли и значения, да и личностей тоже.

Оценки эти будут, скорее всего, различаться – как разнятся они сейчас. В мировой общественной мысли они различались всегда. Если в СССР официально всегда был один Ленин – марксистско-ленинский, испартовский, КПССный, то за рубежом по большому счету было по крайней мере два Ленина – коммунистический и некоммунистический, а в конечном счете – гораздо больше. Коммунистический Ленин имел два подвида – леворадикальный и умеренный, еврокоммунистический. И некоммунистический

¹ Этот текст мы получили сразу после семинара в качестве реакции/отклика, поэтому печатаем вместе с его материалами.

Ленин тоже делился на два подвида – социал-демократический и буржуазный. Ну и, конечно, все изучающие Ленина за рубежом могли иметь (и имели) свои личные точки зрения на этого политического деятеля и его дела. Это довольно грубое деление ленинианы (в действительности оно более дробное), но и из него явствует, что там, где допускается свободное выражение политических взглядов, единой точки зрения на отца-основателя революционаризма XX в., вождя Октябрьской революции и создателя Советского государства быть не может.

Эмоционально-ценностное восприятие Ленина сглаживается со временем, но и сейчас в среде российской диаспоры за рубежом есть люди, воспринимающие (вслед за Буниным) этого человека как «бешеного и хитрого маньяка», а среди коммунистов – как «человечнейшего человека». Понятно, что он не был ни тем, ни другим – просто потому, что в этом случае он становится одномерным маркузианским человеком, которому не место в политике. Между тем именно в политике (с позиций современности можно сказать: в реальной политике, в *Realpolitik*) он стал одной из самых крупных, если не сказать крупнейшей, фигурой XX в. Тут все надо учесть: и разрыв с идеологией и стратегией II Интернационала (к какой социальной группе мог бы успешно апеллировать в России собственный, доморощенный Бернштейн или Каутский?); и допущение того, что социальный взрыв планетарного масштаба может произойти в крестьянской стране, истощенной мировой войной (а до мировой войны Ленин ничего подобного и не говорил); и ставку на социальную дезорганизацию и политический вакуум в России (а не на созревание парламентской, учредительной поддержки) как на благоприятствующие революции факторы; и готовность в ходе переговоров о Брестском мире с Германией отступить, отдать территорию в обмен на время, необходимое для консолидации власти (хотя обсуждение этого вопроса в партии чуть не вызвало ее раскола); и предложение концессионных сделок классовым врагам-капиталистам (и с ними можно и нужно договариваться к своей выгоде).

Это послужной список (далеко не полный) гибкого прагматичного политика, понимавшего, что на скамье оппозиционера можно просидеть до естественной кончины; революционер же должен не упустить ни одного шанса для взятия власти. Первая мировая война и внутрисоветский хаос дали ему наивыгоднейший шанс, которым он в полной мере воспользовался и без которого Красного Октября просто не было бы. Да, можно сказать еще проще: его не было бы без Ленина. Десяток троцких, сталиных, зиновьевых, каменевых не заменили бы одного Ильича. Мог бы состояться альянс правых и левых социалистов на Демократическом совещании, а позже – на Учредительном собрании, и страна пошла бы каким-то иным путем, тогда этого радикального, разрушительного (не кровавого,

а именно разрушительного; в Феврале было больше жертв) события русской революции, именуемой Красным Октябрем, точно не было бы.

Гражданская кровь, «кровь былей» (Пастернак) начала обильно литься позже, когда Ленину и его соратникам было необходимо удержать власть. Гражданская война явилась ключевым оселком проверки нравственного потенциала победившей партии и ее отношения к собственному народу. Важно, однако, понять, что готовность в борьбе за власть прибегнуть к решительно любым, в том числе кровавым, средствам, выработавшаяся в толще большевистской партии в ходе Гражданской войны, Ленину была присуща изначально. С какого именно момента? После казни брата? Во время первой русской революции? В годы конспирации и эмиграции? Летом 1917 г., когда он скрывался от полицейских агентов Временного правительства? Мнения могут быть разными. Но уже в начале января 1918 г. в споре с Марией Спиридоновой о том, морально ли будет разогнать Учредительное собрание, Ленин сказал как отрубил: «Морали в политике нет, есть только целесообразность».

Целесообразность сохранения и укрепления власти партии, романтически называемая «революционной целесообразностью», проявлялась далее во множестве ленинских указаний: поощрять массовый террор, расстреливать без «идиотской волокиты» (т.е. без суда), «повесить (неприменно повесить, дабы народ видел)» не меньше определенного числа классовых врагов, брать заложников, загородиться от врага живой изгородью из десяти тысяч буржуев, за которыми поставить пулеметы, ограбить церковь (назвав это изъятием ценностей), сжечь целый город (Баку), выдворить за границу или в ссылку элиту российской науки и т.д. И все это ради народа? Во имя диктатуры пролетариата? Эту мнимо классовую, властно-партийную логику развенчивают расправы над самим пролетариатом в 1918–1919 гг.: расстрел недовольных действиями советской власти трудящихся в Предуралье, на Урале, в Сибири и других местах, в том числе митинговавших рабочих в Астрахани (по С.П. Мельгунову, две тысячи жертв; может, меньше, может больше, сути не меняет); жесточайшее подавление Kronstadtского мятежа в 1921 г. Прав оказался, стало быть, осмеянный разномастными историками Керенский, когда на первом Всероссийском съезде Советов назвал Ленина и его соратников «держимордами старого режима», для которых главные средства политической борьбы: арестовать, разгромить, убить. (Еще правее Наум Коржавин: «Все обойтись могло с течением времени, / В порядок мог втянуться русский быт... / Какая сука разбудила Ленина? / Кому мешало, что ребенок спит?»)

Конечно, белый террор был ненамного лучше красного, но классово близкие себе слои белые не репрессировали. Ленин шел на это, потому что рассчитывал как на твердую опору только на «сознательных рабочих (при этом понимал, что таких «передовых и сознательных» в России мало).

«Остальная масса» против нас, заявлял он. Ее надо было учить и воспитывать политически, в том числе методом устрашения («пусть видят и трепещут», говорил он), прививать ей трудовую этику, поскольку русский человек – «плохой работник» в сравнении с трудящимися передовых капиталистических стран.

Испытывая почти паническую боязнь потери власти в неустойчивой военно-политической ситуации лета 1918 г. (ибо проигрыш означал бы уход и полное забвение Ленина и его партии), руководство большевиков совершило еще более жуткое преступление, чем французские якобинцы, каздившие Людовика XVI и Марию-Антуанетту. Те были гильотинированы по решению Конвента путем голосования (праведному или неправедному решению – другое дело). Николай II и его семья расстреляли без суда и следствия из-за угрозы захвата Екатеринбург белочехами, а поскольку детей императора и судить-то было не за что, в прессе сообщили, что казнен один самодержец, а его семья перевезена в «надежное место». (В сентябре 1941 г. точно так же ввиду приближения войск вермахта были расстреляны политические узники орловской тюрьмы, включая Марию Спиридонову, боровшуюся вместе со своими соратниками – левыми эсерами, как и Ленин, против царизма. Этот акт – не вина Ленина, но следствие инициированного им порядка внесудебной ликвидации политических противников.)

Будучи в политике прагматиком и законченным циником, Ленин тем не менее оставался человеком идеи. Всепоглощающей и немеркнувшей, способной адаптироваться к меняющимся условиям (наиболее яркие примеры – допущение возможности антикапиталистической революции в одной, притом не самой передовой стране; после победы революции переход от военного коммунизма к нэпу). Эта идея состояла из двух частей/задач: 1) совершить революцию; 2) заменить капиталистический общественный строй социалистическим. Для выполнения первой задачи было необходимо создать дисциплинированную партию – и Ленин ее создал; для выполнения второй задачи создать новое государство – Ленин создал и его. Тут ни убавить, ни прибавить, а споры могут носить только ценностный характер – хорошо это или плохо. По масштабам XX в. как деструктивная, так и креативная деятельность Ленина не знала равных.

Полагаю, однако, что было бы неверно считать Ленина создателем тоталитарного режима. Незачем было бы ему призывать к обучению кухаркиных детей искусству государственного управления, если цель государства – тоталитарный контроль над обществом; для этого хватило бы и ЧК. Ленин не зажимал, а поощрял внутривнутрипартийные дискуссии, требуя одного – всей партии подчиняться принятым решениям. Впрочем, в этом он не был оригинален. Нет и не было такой политической организации, руководство которой поощряло бы фракционность. Критики в свой адрес

Ленин не боялся, можно сказать, он ждал ее, так как получал возможность лишний раз изложить свою точку зрения и «приложить» оппонентов. Когда в партийных инстанциях обсуждались меняющиеся условия мира с Германией на переговорах в Брест-Литовске, Ленин шесть раз (подсчитали историки) оставался в меньшинстве, однако все же продавил подписание мирного договора. Злопамятным, в отличие от своего «верного ученика», не был.

Но черты личности Ленина и стиль его руководства, вехи его побед и поражений (конечно, были и поражения, взять хотя бы его призывы к гражданской войне в период двоевластия весной-летом 1917 г., приведшие к его преследованию и поставившие всю работу партии под угрозу), – все это имеет самое отдаленное, самое минимальное отношение к современности, так как те исторические условия и сложившаяся ситуация повториться сейчас не могут, и извлечь из них полезный опыт негде и некому. Тактическое наследие Ленина вряд ли дождется своей востребованности.

Тем интересней, обсуждая ленинскую тему, посмотреть, насколько актуально сейчас его *стратегическое, теоретическое* наследие.

Проф. Краус отмечает, что в ленинском труде «О развитии капитализма в России» «каждая страница против существующей общественной системы». Можно понять так, что против российского капитализма не только конца XIX в., но и начала XXI. И это верно. Но еще более верно то, что докладчик говорит далее: «Ленин ушел... повторения прошлого не будет». Действительно, «продолжающаяся борьба» против Ленина – теперь это *modus operandi* небольших групп интеллектуалов. Когда во второй половине 1980-х годов часть советских коммунистов во главе с М.С. Горбачевым пыталась ради сохранения общественного строя реанимировать соображения Ленина о нэпе и будущем социалистического строительства, дискуссии об актуальности ленинизма (употребляю термин «ленинизм» очень условно, он годится для обозначения теории и практики революционной борьбы, но не государственного созидания) были действительно важны. Однако строй подремонтировать не удалось, и, как говорит Т. Краус, Ленин ушел вместе с ним. Тогда в чем сохраняющаяся актуальность ленинских теоретических работ и его соображений по поводу социалистического строительства в России?

Для того чтобы обнажать системные недостатки нынешнего социального порядка в России, Ленин не нужен. Они видны и без Ленина. После него и вплоть до настоящего времени сотни компетентных исследователей самой разной идеологической ориентации показывали (и показали) эти системные недостатки на примере развитых капиталистических стран и государств капиталистической периферии. Капитализма второй половины XX в. Ленин не предвидел – этот капитализм, вместо того чтобы породить пролетарскую революцию, похоронил все надежды на нее. Здесь

главный стратегический просчет Ленина; он почуял недоброе, когда были подавлены революции и вооруженные восстания в Европе, но пересмотреть свою теорию революции не смог или не успел.

Для того чтобы понять, что социализм (как, впрочем, и капитализм, и любая другая общественная система) не вводится декретами, Ленин тоже не нужен. России в ее нынешнем состоянии никакой социализм не светит. Так называемый скандинавский социализм был бы предметом мечтаний, но он предельно далек и от ленинского теоретического наследия, и от нынешней российской действительности.

Для того чтобы обличить бюрократию, которую Ленин (как и Троцкий) смертельно ненавидел, он сейчас тоже не нужен. Другая страна, другой бюрократ (побратавшийся с предпринимателем), а если что и общее, так это невозможность одолеть бюрократию. Ни с Лениным, ни без Ленина. Впрочем, это, как и практически безнадежная борьба с коррупцией, не вопрос теории.

Даже для того, чтобы разжечь революционный пожар в отсталых странах (о развитых речи нет), где больше горючего материала для социального протеста, Владимир Ильич не нужен. Скорее уж сгодился бы Ильич Рамирес Санчес, но только, чтобы бомбы бросать, а не вершить социальную революцию. В этом, может быть, и есть продление жизни Ленина – назовет какой-нибудь радикальный интеллигент в розовеющей Латинской Америке свое чадо «Ильич» или даже «Ленин» и возьмет это чадо в руки уже не «Государство и революцию», а взрывное устройство, чтобы пополнить ряды террористов, последователей народовольцев, эсеров, Камо Тер-Петросяна и Кобы. Только не он станет анафемой погрязшего в потребительском довольстве цивилизованного мира, а террорист этнонационалистического или конфессионального покроя. Опять не по-Ленину. (Но в данном случае – и слава Богу, с Россией будет меньше негативных ассоциаций.)

Изменить такой ход вещей может только глобальная катастрофа, подобная той, которой явилась Первая мировая война и без которой не было бы русской революции, да и о Ленине знали бы только историки. Существование исторической науки остается главным залогом памяти о вожде большевиков. О нем будут писать и в будущем – и, вероятно, во все более спокойных тонах, как пишут сейчас о великих революционерах Запада.

СОВРЕМЕННОКИ О ЛЕНИНЕ

Неожиданно для нас «Ленин» стал чуть ли ни постоянной темой «Трудов по россиеведению». Что это – случайность? – Нет, конечно. И хотя общественное сознание зациклилось на Сталине, с ним-то как раз все ясно. Смесь уголовника-погромщика с московским царьком. Сталин – это **следствие падения** России. Причем как прямого, физического, так и религиозно-нравственного. Сталин – это диагноз и псевдоним нашей болезни (как бы ни раковой). Ленин – другое, это **само падение**. Это, так сказать, жизнь Клима Самгина. Правильно Солженицын считал Ленина (а не Сталина) своим (и России) главным врагом.

Александр Исаевич определил: Россия проиграла XX век. Она проиграла столетие Ленину. (Поражением воспользовался Сталин.) В этом контексте принципиально «понять» Ленина. Кто это? Причем Владимир Ильич Ульянов нас почти не интересует. Наша цель – Ленин. И здесь нам в подмогу современники Ленина – те, кто противостоял ему (в разных формах). Их мнение важно и потому, что именно на них обрушился Ленин. И потому, что они тогда, разумеется, не знали, чем все это закончится. То есть их восприятие этой фигуры было, если так можно говорить, синхронным, непосредственным. Это – прямой репортаж, это – «сразу в эфир».

Ю.С. Пивоваров

В.В. Шульгин

ВЗГЛЯД И НЕЧТО¹

Комната в посольстве... Роскошный ковер на всю комнату. Красивый стол, мрамор с золотом... камин.

У камина нас двое. Один бегаёт по комнате, я лежу в кресле. Он говорит:

– Да... и с этой точки зрения... поймите меня... я хочу, чтобы вы меня поняли... что?

– Ничего... я вас слушаю...

– Мне показалось, что вы не согласны... Моя мысль до вас не доходит... То, что вы говорите, неважно... неинтересно... А меж тем именно вы были правы...

– Когда?

– Тогда... когда вы приехали от большевиков... в июле, в Севастополь...

– Что я говорил?

– Вы говорили... это очень трудно формулировать... вы указали... вы рассказали... что под этой... корой... этой оболочкой советской власти... совершается процесс... процессы стихийные... огромной важности... ничего не имеющие общего... с ней... с корой... с властью... с большевизмом. Процессы, которые у нас не поняли... к которым мы даже не присматривались...

– Конкретнее!

– Конкретнее?... конкретнее – я теперь знаю... Для меня не может быть сомнений... У меня есть свидетельские показания... которым я не мо-

¹ Печатается по изд.: Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. – М.: Новости, 1990. – С. 514–518. В.В. Шульгин (1878–1976) – политический деятель, писатель и публицист, депутат Государственных дум, националист и монархист, принял отречение Николая II, участник Белого движения, после Второй мировой войны находился в заключении в СССР, жил в г. Владимир.

гу не верить... Я знаю, что война с Польшей вызвала движение, национальное движение... подъем...

– Подъем – это слишком сильно сказано. Раскол в душе многих – да... Брусиловское воззвание произвело некоторое впечатление. Оно было написано старым языком и в силу этого действовало на нервы... «За Русскую Землю» – это было уже так много.

– Нет... в Москве было больше... Был подъем... во всяком случае, было изменение психологии... Было... быть может, первое признание сопадений путей... и мы, мы этого... недооценили... что?.. вы согласны со мной?..

– Да... пожалуй... Но разве вы не замечали, что давно уже – давно уже наши идеи перескочили через фронт.

Против воли моей...

Против воли твоей...

Знаете этот романс или стих, ну что-то в этом роде? Он сказал ей: «Не надо, не нужно, не должно...» Мы поставим препятствия и сделаем все, чтобы этого не было. Но если «против воли моей, против воли твоей» это будет, значит, «так в высшем решено совете...». Я говорю вздор, но все-таки это имеет отношение к делу... «Против воли моей, против воли твоей» наши идеи перескочили через фронт... И это так было. Прежде всего мы научили их, какая должна быть армия. Когда ничтожная горсточка Корнилова, Алексеева и Деникина была их орды, – была потому, что она была организована на правильных началах – без «комитетов», без «сознательной дисциплины», т. е. организована «по-белому», – они поняли... Они поняли, что армия должна быть армией... И они восстановили армию... Это первое... Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется «во имя Интернационала», – но это вздор. Им только так кажется. На самом деле, они восстановили русскую армию... И это наша заслуга... Мы сыграли роль шведов... Ленин мог бы пить «здоровье учителей», эти учителя – мы... И это первая наша великая заслуга... Злые силы, разрушившие русскую армию в 1917 г., мы заставили со всей энергией, на которую они способны (а ведь они самая волевая нация), мы заставили работать по нашим предначертаниям на воссоздание нашей русской армии... Мы учили их не рассказом, а «показом»... Мы били их до тех пор, пока они не выучились драться... И к концу вообще всего революционного процесса Россия, потерявшая в 1917 г. свою старую армию, будет иметь новую, столь же могущественную... Дальше... Наш главный, наш действенный лозунг – Единая Россия... Когда ушел Деникин, мы его не то чтобы потеряли, но куда-то на время спрятали... мы свернули знамя... А кто поднял его, кто развернул знамя? Как это ни дико, но это так... Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят... Конечно, Ленин и Троцкий продолжают

трубить Интернационал. И будто бы «коммунистическая» армия сражалась за насаждение «советских республик». Но это только так сверху... На самом деле их армия была поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области. И даже если этого настроения не было... Все равно... все равно...

– Я с вами совершенно согласен... это ясно... фактически Интернационал оказался орудием... расширения территории... для власти, сидящей в Москве... До границ... до границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будут естественные границы будущей... Российской державы.

– Ну, конечно... Социализм смоемся, но границы останутся... Будут ли границы 1914 г. или несколько иные – это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли... Ленин предполагает, а объективные условия, созданные Богом, как территория и душевный уклад народа, «располагают»... И теперь очевидно стало, что, кто сидит в Москве, безразлично, кто это, будет ли это Ульянов или Романов (простите это гнусное сопоставление), принужден, «мусит», как говорят хохлы, делать дело Иоанна Калины. «Мусит» собирать воедино русские земли. «Против воли моей, против воли твоей...» И это два... А третье, что они у нас взяли, – это принцип единоличной власти. Они твердили о диктатуре пролетариата на Большом Московском Совещании в августе 1917 г. А мы говорили: «Вздор... Управление выборным коллективом в условиях войны и революции – вздор...» И вышло по-нашему... Обе половинки России – Северная и Южная – отвергли коллектив, и перешли: Южная – к единоличной диктатуре генералов... а Северная – к «двуличной» диктатуре двух дворян: одного симбирского, а другого иерусалимского... Чтобы не надоедать вам, я кончаю... Резюме. «Против воли моей, против воли твоей» – большевики:

1) восстанавливают военное могущество России;

2) восстанавливают границы Российской державы до ее естественных пределов;

3) готовят пришествие самодержца всероссийского.

– Разве вы не конституционный монархист?..

– Если хотите, да... Десять лет Государственной думы – меня испортили... Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы была конституционная монархия. Но надо различать... желание от возможного... Мне кажется, что желанное невозможно... После всего, что произошло, конституционная монархия вряд ли мыслима... По крайней мере в течение ряда лет и главным образом вследствие причин экономических... Чтобы выйти из положения, придется каждые полчаса подписывать героические решения...

А ведь вы знаете, что русский парламент героических... ответственных... безумно смелых... решений принимать не может... вы знаете... Где соберутся три немца, – там они поют квартет... Но где соберутся четыре русских, там они основывают пять политических партий... Поэтому и в русской действительности героические решения может принимать только один человек...

– Это будет Ленин?.. или Троцкий?..

– Нет... ибо он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом... На этих господах висят несбрасываемые гири... их багаж, их вериги... – социализм... они не могут отказаться от социализма... они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца... и он их раздавит... Тогда придет Некто, кто возьмет от них их «декретность»... Их решимость – принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость – проведение однажды решенного. «Это нужно – значит это возможно» – девиз Троцкого... Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря... И «человеческие глаза». И лоб мыслителя... Комбинация трудная – я знаю, я помню, Маклаков часто рассказывал про Ключевского, как он говорил: «Конечно, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления... если бы... если бы не случайности рождения...». Да, это так... и все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, – это только страшные, трудные, ужасно мучительные...

– Что?..

– Роды...

– Роды?!

– Да, роды... Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца и еще всероссийского!..

П.Б. Струве

**ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ И НЕОБХОДИМЫЙ КОНЕЦ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО КОММУНИЗМА:**

По поводу смерти Ленина¹

Когда умер Ленин, мне приходилось почти со всех сторон встречать какие-то большие ожидания, связанные с этим фактом. Я этих ожиданий не разделял и оказался прав.

Смерть Ленина, сама по себе, решительно ничего не изменила в положении вещей в России. Это неудивительно. Реально и личность, и значение Ленина были вовсе не те и не такие, какими их представляли себе коммунисты и еще более враги коммунистов.

В истории есть два вида значительных людей. Одни таковы в силу своего личного содержания, которым они налагают на исторический процесс свою печать. Другие выражают лишь какую-то большую историческую, добрую или злую, стихию, являясь ее исполнителями и орудиями. Первые люди всегда лично значительны, ибо они сами содержательны, самобытны. Вторые представляют комбинацию каких-то личных свойств, которую можно в известном смысле назвать одаренностью, с силами исторической стихии.

В Ленине перед нами второй случай. Его идейное содержание было неоригинально, и в своей существенной неоригинальности он, как ум, был лишен даже какой-либо одаренности. Все его умственное содержание это – марксизм в его внутренне противоречивом, логически и объективно несостоятельном варианте. Но этот скудный и плоский ум был наделен огромной и гибкой волей, не только безоглядной, но и совершенно бес-

¹ Печатается по изд.: Политическая история русской эмиграции. 1920–1940 гг.: Документы и материалы / Под ред. Киселева А.Ф. – М.: Русское небо, 1999. – Режим доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/emigration/emigration1.htm#_Toc74028924 (Впервые опубликовано: Русская мысль. – М., 1923–1924. – Кн. IX/XII. – С. 313–318.) П.Б. Струве (1870–1944) – один из первых русских марксистов, известный экономист, историк, философ, публицист, политик, автор «Вех», редактор журнала «Русская мысль», видный деятель Белого движения и либерально-консервативного крыла русской эмиграции.

сты же ей. Всякой сильной воле присущ более или менее значительный гипнотизм, некая степень неотвратимой заразительности. Воля Ленина была заразительна, и она вместе с его «революционным» содержанием, соединившись с волнами разбуженной и разнузданной темной исторической стихии, привела к торжеству коммунистической революции.

Воля политического деятеля не есть просто натиск и напор. Она есть всегда упор, она всегда способна осуществлять и на самом деле осуществляет «обходы». Ленин был мастер тактики вообще и «обходов» в частности. Я сказал однажды, что в Милюкове нет ни грана Ленина, но в Ленине сидит нечто от Милюкова. Это значит, что Ленин, будучи революционером, был тактиком. Эта комбинация революционера и тактика, вообще говоря, морально весьма трудная, осуществлялась в Ленине с полной, я бы сказал, артистической легкостью. Ленин был абсолютным аморалистом в политике и потому ему было легко быть таким превосходным и успешным тактиком.

* * *

Политико-психологической комбинации революционера с тактиком соответствовал и личный психологический тип Ленина. Это была смесь палача с лукавцем. То, что в Ленине всегда отталкивало тех людей, которые когда-то были его единомышленниками в главном и основном, была именно эта ужасная смесь. Я уже писал однажды, что и Г.В. Плеханов, и В.И. Засулич, и М.И. Туган-Барановский, и пишущий эти строки, несмотря на все различие своих темпераментов и даже взглядов, испытывали некое общее глубочайшее органическое отталкивание от самой личности Ленина, от его палаческой жестокости и абсолютной неразборчивости в средствах борьбы. Душа прямой и нежно-тонкой Веры Ивановны Засулич прямо содрогалась и сжималась при соприкосновении с этим человеческим воплощением лукавой злобы.

Но именно такой человек и мог напоить своим ядом и оседлать народную стихию. В стихии этой огромную силу с 1917 г. возымели всегда тлеющие в человеческой природе искры и семена злобы и ненависти, предательства и хамства. Как ловкий тактик, Ленин со своими «товарищами» разжигал эти искры, в то же время всю силу своей воли и все могущество своего подпольного гипнотизма направляя на организацию власти. Палач и лукавец, революционер и тактик в одном лице, Ленин был великим органическим властолюбцем.

К власти вообще, и особенно в эпохи социальных и политических бурь, органически призваны только те, кто власть любит и жаждет ее. Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью. В этом страшном властолюбию была его сила как политического деятеля и организатора партии.

Смерть Ленина не изменила и не могла ничего изменить в положении вещей в России. Это вытекает вполне естественно из реальной личности Ленина и основанного на ней реального значения его деятельности, как мы их обрисовали выше. Смерть Ленина если что-нибудь и изменила в положении вещей, то лишь в том смысле, что она еще больше, чем то было раньше, легендой о Ленине закрыла Ленина действительного.

* * *

Легендарный Ленин есть порождение глубокой монархической потребности, живущей во всяких массах вообще и тем более в сырых, детски наивных русских народных массах, с их нарушенным душевным равновесием, с их повышенным до болезненности воображением. Легендарный Ленин, вырастающий в «Красного Царя», есть социально-психологическое явление, подобное «самозванцам» XVII и XVIII вв., столь же уродливое и столь же причудливое.

Коммунистическая партия тщится народную легенду о Ленине превратить в настоящую пристойную (а если угодно совершенно непристойную) коммунистическую «традицию» и при помощи легенды эту традицию прочно внедрить в народное сознание. Здесь возникает для коммунистической партии труднейшая задача, чреватая огромной борьбой и великими неожиданностями и опасностями. Ибо не может подлежать сомнению, что легендарный Ленин есть какая-то не только причудливая, но и прямо фантастическая проекция реального основателя коммунистической партии в душах людей, которые никогда не были и не будут коммунистами, ниже социалистами, никогда не были и не будут интернационалистами. Проекция, или призрак, Ленина либо станет, как я сказал, «пристойной» коммунистической традицией и тогда потеряет свою ему сейчас присущую национальную соль, либо обратится против этой традиции и тем самым против коммунистической партии. В лице ленинской легенды большевизм может стать против коммунизма.

* * *

Я бы хотел еще отметить одно соотношение, существенное для исторического понимания большевистской революции и для политического осмысливания всего нами пережитого. В успехах и победах большевистского коммунизма огромную, можно сказать, решающую роль сыграло наше неверие в успехи коммунизма, наша неспособность и нежелание считаться с их возможностью и вероятностью. Ленин пришел к власти потому, что враги коммунизма не верили ни в его успех, ни, еще менее, в прочность этого успеха. В этом неверии, в этом «нечутком сне» и в этом невнимании к опасности большевизма со стороны его противников — самая главная ошибка, великое историческое заблуждение и, если угодно,

преступление антибольшевиков. Это значение неверия, которое было и непониманием, а тем самым известным пониманием, опровергает те трафаретные исторические объяснения, которые, если можно так выразиться, рационалистически исключают человеческую *ratio*, разум, или ведение, а также человеческое недомыслие и неведение из ряда «творящих» или «определяющих» историю сил. Летом 1917 г. коммунистическому большевизму с относительной легкостью и с огромными шансами на успех не только главы правительства, сперва кн. Львов, а потом и Керенский, но, что еще более существенно, частные лица в порядке революционной инициативы могли нанести разительный и уничтожающий удар. И если они этого не сделали, то только потому, что не верили в силу и прочность коммунистической революции и не учитывали ее значения для всего будущего страны.

* * *

Независимо от вопросов, чем был реальный Ленин, какой смысл имеет легенда о Ленине и во что в истории обернется легендарный Ленин, ставится вопрос о подлинном смысле большевистской революции и утвержденного ею коммунистического владычества.

Коммунистическая власть раскрыла этот смысл в действии, глубоко символическом.

Санкт-Петербург, иначе град Св. Петра, иначе Петроград, переименован в Ленинград.

В этом символическом действии, сочетающем в себе дерзкую святотатственность с подлейшим и глупейшим хамством, сказано о деле Ленина самое главное и самое важное.

Ленин, как вершитель и организатор Коммунистического интернационала, оборвал традицию и разрушил дело Петра Великого, отбросив Россию как государство в XVII в. И сделал он это разрушительное дело сперва при явной поддержке внешнего врага, ведшего с нашим государством войну, а потом при более или менее откровенной или прикровенной поддержке того же дела всеми враждебными нам внешними силами.

Делом Ленина явилось умаление и расчленение Державы Российской. Ленин использовал безумие русских народных масс для того, чтобы на алтаре мировой социальной революции заклать Россию. Ибо, что ему было до России, он ведь не Петр, который, находясь в опасности плена, призывал Сенат думать не о Петре, а о России?!

В этом «призвании» Ленина к разрушению России и ее могущества – ключ к «признанию» русских коммунистов буржуазным миром. Локализованная Россией социальная революция, социальная революция как болезнь одной только России, на руку тому миру, который враждебен могу-

щественной и здоровой России, который целые столетия ненавидел ее, творя о ней ядовитую легенду.

Но в этом деле, т.е. в коммунистическом разрушении России и в его «признании» внешним некоммунистическим миром, есть своя собственная разрушительная для разрушителей логика. С одной стороны, на разрушении нельзя ничего построить, а с другой стороны, те, кто проповедует, творит и поощряет разрушение, и не могут ничего строить. Они только притворяются строителями. Нельзя было произвести коммунистическую революцию в России только для того, чтобы превратить Россию в колонию для буржуазной Европы, управляемую в ее и в собственных интересах коммунистической партией. Действительный Ленин, творец Брест-Литовского мира и погромной демобилизации России в разгар войны, может превратиться в легенду о Ленине как «Красном Царе», но «коммунистическая партия» не может, без великого сдвига и разительного переворота, превратиться в националистическую легенду о самой себе.

А между тем у владывающего над Россией коммунизма есть наследник и преемник, которого никакими ни заклинаниями, ни «признаниями», ни даже «демократиями» нельзя ни отвести, ни покорить. Это стихийный, в унижениях, страданиях и муках рождающийся и возрождающийся русский национализм.

Разве не примечательно и не замечательно, что коммунисты, преследуя своих врагов, походя обвиняют их в «государственной измене» и «шпионаже»? Люди, рожденные от plombированного вагона и духа Интернационала, этими обвинениями сами готовят суд и гибель и себе, и своим воистину похабным инициалам СССР. Вопреки своей воле и они теперь вынуждены проповедовать и, пожалуй, даже исповедовать национализм, т.е. то начало, попрание которого, сознательное у одних, животное у других, составило содержание большевистско-коммунистической революции.

Какая же «партия» сменит коммунистов, не в порядке призрачной эволюции, призываемой и, может быть, пестуемой иностранцами, а в той Божьей грозе и буре, которая неотвратимо должна прийти для России?

У этой «партии» есть только одно имя: русская. И как русская, она не будет партией.

Апрель 1924 г.

Ф.А. Степун

ЛЕНИН¹

Ленин родился в семье директора народной школы в 1870 г., в Симбирске, на Волге. За год до его совершеннолетия старший брат Ленина за покушение на Александра III был приговорен к смерти. Ясно, что при таких обстоятельствах Ленин уже не мог спокойно учиться в Казани. Он тотчас погрузился в революционную литературу и уже через месяц был исключен из университета. Однако ему удалось выдержать государственный экзамен по юриспруденции в Санкт-Петербурге. С этого времени он становится убежденным марксистом, публикует свои первые работы, а в 1895 г. создает «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Работа в Союзе закончилась для него пятилетней ссылкой в Сибирь.

С 1900 г. Ленин на долгое время уезжает за границу. В 1903 г. он расколол социал-демократическую партию и после энергичной борьбы становится во главе ее радикального большевистского крыла. Его главными требованиями, каждое из которых возникло из чувства «актуальности революции», были: 1) строгая дисциплина членов партии; 2) политизация и милитаризация экономической борьбы пролетариата; 3) подготовка пролетариата к руководству предстоящей революцией; 4) решительный отказ от общего фронта борьбы вместе с радикальной буржуазией и союз с деревенской беднотой.

В 1905 г. Ленин возвращается в Россию и с отчаянной энергией агитатора и организатора борется за вооруженное восстание, закончившееся, как известно, неудачей. С 1907 г. он живет за границей. Когда разразилась война, Ленин начал неистовую борьбу против «империалистической бойни». Существенно то, что Ленин ведет свою борьбу не как пацифист, а как революционный милитарист. Его лозунгом был не мир, а гражданская война. Пожалуй, как раз в эти годы Ленин становится достаточно заметен.

¹ Печатается по изд.: Степун Ф. Ленин // Вопросы философии. – М., 2002. – № 8. – С. 93–97. Ф.А. Степун (1884–1965) – русский философ, социолог, историк, литературный критик, общественно-политический деятель, писатель, умер в эмиграции.

Ему удалось то, что удастся только врожденной вождистской натуре: оставаясь одиноким, ни на мгновение не сомневаться в верности избранного пути.

С началом революции Ленин спешит в Россию. За восемь месяцев из странной политической фигуры, которую поддерживали только верные члены партии и безграмотная солдатская масса, он превратился в роковое олицетворение русской революции.

В октябре 1917 г. вопреки воле многих своих товарищей по партии, Ленин захватывает власть. Монументальность его первых декретов сравнима только с библейской историей творения. Не обращая внимания на их исполнимость и результативность, он пытается за одну ночь вызвать к жизни новый мир.

Он начинает с национализации банков, передачи крупных имений крестьянским советам, а фабрик – рабочим. Во второй половине того же года он проводит национализацию промышленности и частной торговли. Вновь созданные продовольственные комиссариаты получают указание подсчитывать и распределять общий продукт. К этому времени для всех непролетарских элементов был введен обязательный физический труд. Его исполнение регистрировалось в специальных рабочих книжках, что служило основанием для получения продуктов питания. Так под полными парусами правила навстречу отмене денег.

Рука об руку с развертыванием этой хозяйственной программы шло развитие большевистской политики в области культуры.

Ее высшей идеей является отрицание буржуазной свободы мнений, в которой истина и свобода находят общую могилу. Для Ленина свобода обозначает не право искать истину, а долг осуществлять давно найденную истину. Для него свобода всегда была познанной необходимостью. Материалистический характер истины, защищаемый Лениным, ведет к тому, что из всех форм причинности признается только причинность механическая. Так возникает основная идея большевистской политики в области культуры – идея механического и насильственного нового чекана русской души и русской жизни.

Все прочее объясняется этим: страстная борьба с церковью, что резко противоречит Декрету об отделении церкви от государства; замена всякой философии марксистско-ленинской догмой в университетах и школах; в искусстве – подавление всего, что не означает крайней революции его форм и всем доступной иллюстрации пролетарской судьбы; не в последнюю очередь этим объясняется советская педагогика, которая повсюду – и в университетах, и в детских садах – преследует одну-единственную цель – по-марксистски организовать сознание и переживание русского человека.

Так все кружит вокруг одного центра.

Конечно, бывали моменты, когда Ленин тоже колебался, уступал; причем не только в области духовно-культурной, но также и в хозяйственно-политической. Однако это было лишь тактикой. Уступая тактически, он никогда не поступался принципом. Картина его жизни и трудов имеет завершенность, которую нелегко найти еще раз в истории. Духовный облик юноши и историческая участь мужчины, умиравшего в имении «Горки», выглядят абсолютно схожими. Ленин принадлежит к тем немногим людям, вся жизнь которых предстает перед нами как одно-единственное непрерывное осуществление его юношеской мечты. Если иметь в виду суждение Гегеля, будто бы гениальность является претворением юношеской идеи в жизни, то можно спросить, был или не был гением великий русский революционер. Ответ на этот вопрос полностью зависит от того, как мы интерпретируем это высказывание Гегеля. Если понимать под преданностью юношеской идее безостановочный – на протяжении всей жизни – подъем к духовной реальности и тогда же укоренение в подлинно творческом слое бытия, порождающем и дарящем жизнь, то позволено будет усомниться в субстанциальной гениальности Ленина. Что он не был гением в этом, как мне представляется, единственно верном, философско-филологическом смысле слова, доказывает полное отсутствие у Ленина действительно нового оригинального мировоззрения. Насколько силен был он в переделке жизни, настолько же малозначителен был его тип видения жизни и мышления о мире. Здесь он всегда и во всем остается только самостоятельным учеником Маркса.

И все-таки в особенностях его дарования и в размерах его было, в широком смысле этого слова, нечто гениальное. Я имею в виду постоянство его страстной воли и теоретическую последовательность его мысли – всегда прикрепленной к воле и ориентированной на практику. Так мы приходим к глубинному ядру духовного своеобразия Ленина.

Его часто именуют догматиком, чуждым миру. Такое понимание совершенно неверно: Ленин никогда не думал абстрактными умозаключениями, а всегда только конкретными решениями. Всеми своими мыслями он постоянно обдумывает одну мысль: что делать и именно теперь, в этой конкретной ситуации? Читая том за томом произведения Ленина, переживаешь странное ощущение не мыслительного процесса, а физической работы по перестраиванию жизненной массы в заданном социальном пространстве. Эта постоянная направленность ленинской мысли на практический результат настолько очевидна, что многие его противники толкуют его, в свою очередь, не догматиком, далеким от жизни, а, напротив, оппортунистом, приспособляющимся в ней. Это тоже неверно. Оппортунист формирует жизнь с точки зрения сиюминутной практической целесообразности. Обстоятельнейшие занятия практическими вопросами у Ле-

нина нацелены на совершенно иное: на попытку отвоевать у всей жизни в целом доказательство правильности марксистско-ленинской теории.

Если бы Ленин был догматиком, оторванным от жизни, то он просто-напросто проигнорировал бы ее, особенно современную жизнь. Если бы он был приспособленцем-оппортунистом, то он приноровился бы к ней. Но он не был ни тем ни другим, а чем-то третьим: фанатичным экспериментатором-фантастом. Каждый экспериментатор имеет дело не с иррациональной полнотой действительности живой природы, а со специфическим отрезком действительности, сконструированным с точки зрения определенной теории. В самой высшей степени это приложимо к Ленину. Всю свою жизнь он имел дело не с эмпирически-конкретной действительностью, а с одним, искусственно сконструированным социальным миром, основанным на точном познании действительности и все же абсолютно неадекватным ей. Мыслительный прием, которым он низводил историческую действительность на социологический уровень своего революционного экспериментирования, был приемом стилизации и упрощения. Это замечали многие его современники и соратники. Уже Плеханов называл его «гением упрощения», а Троцкий писал: «Он (Ленин) воспринимал события *en masse* и мыслил блоками». Этому мышлению присуще нечто таинственное и прямо-таки мистическое, когда его простота усиливается до бессмыслицы и когда он, к примеру, утверждает, что борьба с капитализмом очень проста: нужно только повесить семьдесят капиталистов. Эта примитивность приобретает цинично-демонические черты, когда она охватывает область нравственной человеческой оценки.

В известном смысле, как в античности, Ленин тоже не делал никакого различия между знанием и добродетелью. Добродетельным был для него человек, который владел истиной. Но все истины заключены в марксизме. Поэтому все противники марксизма являются предателями, «шкурниками», лакеями, негодями. У Ленина эти выводы следуют с механической достоверностью, как само собой разумеющиеся. Вообще его мысль зачастую производит впечатление аккуратной работы точнейшего марксистского аппарата. Ленин проглатывает проблему, производит пару движений диалектическим рычагом и выдает марксистский мыслительный продукт. Последнее всегда ясно, точно и сподручно; часто гротескно, иногда монументально. Этой мыслительной механикой объясняется то, что в иных случаях Ленин не воспринимал смысла простейших вещей. Так, он не понимал, что Бог есть нечто иное, чем труп, бальзамированный попами, что социал-демократ может любить свое отечество вплоть до желания его защищать. И также многое другое. Парадоксальный диалектик был никудышным психологом. Свои марксистские схемы он меньше связывал с душевными реальностями, чем с революционными мифами: пролетариатом, партией, революцией, классово-борьбой, Интернационалом. Само

собой разумеется, Ленин отрицал бы это. Как материалистический метафизик был он убежденным врагом всякой метафизики. И все-таки его победа доказывает немаловажное – что еще в XX столетии мифы являются силой, образующей историю.

В чем состоит, однако, особенность ленинского толкования марксизма? Если его нужно обозначить одним словом, то можно использовать только слово «фашистское». Это звучит парадоксально, но верно.

Постоянно, снова и снова в борьбе с «фаталистами» в марксистском лагере Ленин подчеркивал, что люди сами делают свою историю. Конечно, делают ее не в ими выбранных обстоятельствах, а среди обстоятельств, уже сложившихся. Поэтому, по Ленину, крайне неверно уступить буржуазии первую роль в предстоящей революции. Чисто социальную революцию могут ждать только «утописты» и «болтуны», которые ее боятся. «Подлинной революцией должен стать диалектический переворот буржуазной революции в революцию пролетарскую». На такой переворот может рискнуть пролетариат и осуществить его. Но под пролетариатом Ленин понимает не всех пролетариев, как таковых, а некоторое иерархическое образование. Во главе стоят пророки: Маркс, Энгельс, Ленин. Потом следует клир – члены партии. Ступенью ниже – воистину верующий народ: «пролетарский авангард», «рабочая аристократия» и, наконец, несознательные массы – скорее базис, чем субъект революции. Следовательно, все мыслится в форме идеократии. Уже в 1902 г. Ленин разглядел, что революционная идеократия должна быть организована не демократически, а бюрократически, и сказал об этом.

Многие не замечали идеократически-бюрократической структуры ленинского социализма, другие порицали ее как отказ от подлинного социализма. И, однако, она вполне последовательно вытекала из ленинского восприятия социализма. В отличие от многих своих товарищей по партии, Ленин не был ни идеологом, ни воспитателем народа. Он никогда не пытался рисовать в частности картину будущего социалистического парадиза и воспитать пролетариат для этой цели. Он всегда исходил из веры, что пролетариат хранит в своей груди живую идею социализма. Поэтому его самой большой заботой было одно: призвать пролетариат к осуществлению социалистической идеи, что значило – организовать классовую борьбу. Высшей мыслью ленинского социализма является классовая борьба в ее максимальной суровости, силе и чистоте. Но вести борьбу можно только с организацией, которая создана сверху, а не снизу. Ленин много занимается вопросами стратегии и тактики.

Примат идеи классовой борьбы в ленинской концепции социализма объясняет, почему Ленин превращал все вопросы теории в вопросы организации. С максимальным радикализмом подготавливая пролетарскую революцию, он по-своему определял истинную сущность социализма. Для

него социализм являлся только неизбежным результатом классовой борьбы, ведущейся с образцовой чистотой. Чем неукротимее распространялась революция, чем безмернее становились ленинские декреты, тем очевиднее становилось, что происходящее объяснимо не только его сердечным исповеданием бакунинских слов: «Страсть разрушения есть творческая страсть», но также теоретически обоснованной волей к полному уничтожению источника буржуазной заразы, т.е. к радикальному подавлению буржуазной структуры души и буржуазного духа культуры.

Истолкование социализма и направление, которое Ленин как теоретик и тактик придал социализму, прежде всего объясняются тем, что вождь мировой революции (а таковым в первую очередь Ленин и ощущается) был не просто русским революционером, но также типично русским человеком.

В стране без буржуазии и пролетариата (в европейском смысле этого слова) «фаталистическое», законоверческое и хозяйственновверческое истолкование марксизма было бы равнозначно полнейшему отречению от скорой революции. При 80% неграмотных массовая партия едва ли могла быть построена по-иному, чем на принципе послушания иерархии. Путь к диктату пролетариата в форме диктатуры над пролетариатом был унаследован от царской автократии. Религиозный тон русской культуры и богатое русское сектанство объясняют в большевизме примат мировоззренческих вопросов и сектантско-еретический характер большевистского мировоззрения. Факт, что царское правительство сделало невозможным участие революционных элементов русского западничества в практической жизни, отозвался большевистской практикой невозможного, марксистской склонностью к нерусскому, расположением к нерусскому. И все-таки в большевизме прозвенел древнерусский мотив мессианизма. Большевизм тоже полагает, что Россия призвана спасти мир. Вера славянофилов, будто бы Москва есть Третий Рим, снова отразилась в большевистской вере в III Интернационал.

Портрет Ленина будет завершен только в зеркале его дел. Зрелище большевистской революции потрясает нас величием ее масштабов, но одновременно наполняет нас страхом. Миллионы заключенных, миллионы умирающих с голода, миллионы убитых в Гражданской войне. Беспризорные, сифилитичные дети на улицах Москвы. Голод в стране. Подавление свободы – почти в форме возвращения к крепостничеству. Слежка, пытки и падение всей духовной культуры. И при этом, и несмотря на это: победа над белыми армиями контрреволюции. Масштабная и целенаправленная внешняя политика в Китае, в Британской Индии, во всей Европе. Не лишнее значения искусство, блестящие достижения естествознания. Открытие новых научных институтов, какие не всегда были возможны в Европе и Америке. И все это – рядом с самосожжением целых крестьянских

семей из страха перед антихристом Лениным, рядом с государственным преследованием христианства и возвышением социализма до религии: красные крестины, красные свадьбы и иконописное изображение пророка Ленина. Во всем и повсюду причудливая встреча и взаимопроникновение Средневековья и Нового времени, Азии и Европы, отсталости и пророчествования, холодного расчета и лихорадочных мечтаний, творческого безумия и непонятной бессмыслицы.

Так пламенеет небо большевистской революции. Мы должны постараться увидеть на этом фоне лик Ленина, если мы хотим верно понять его значение.

Перевод с немецкого А.А. Ермичева

НАСЛЕДИЕ – НАСЛЕДНИКАМ

Ю.С. ПИВОВАРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние месяцы в русском обществе необычайно – пожалуй, как никогда – обострилась дискуссия вокруг темы «конституция» (мы тоже ее коснулись в этом выпуске «Трудов...», см. с. 72–77). С одной стороны, это связано с «открывшейся» для многих «очевидностью»: ультра-сверх-президентская модель власти, закрепленная в отечественном Основном законе 1993 г., перестала хоть в какой-то мере соответствовать позитивному развитию общества. Более того, является важнейшим препятствием на этом пути. С другой – эта интенсивная дискуссия свидетельствует о зрелости («совершеннолетию») русского социума. Ныне он взыскует не «национальную идею», не единоспасающую идеологию, но – адекватную конституцию. Повторим: это подтверждение того, что 20 постсоветских лет не прошли даром, мы «поумнели» и выросли.

В подмогу этому нашему ментальному прогрессу печатаем в «Трудах...» трех классиков русской конституционной мысли – Б.Н. Чичерина, А.С. Алексеева и Е.В. Спекторского. Надеемся, что в их работах читатели найдут полный набор «доказательств» необходимости для России конституционной системы.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН
(1828–1904)

Политический мыслитель, историк, философ, правовед, общественный деятель, профессор.

Было бы неправильно называть Чичерина отцом-основателем отечественной политической науки, но в его творчестве имеются все базовые элементы, необходимые для ее формирования. Один из лучших представителей русского либерального консерватизма, острый критик социалистических учений, гибкий диалектик. Ставил себе цель: найти для России политическую формулу, в которой бы «сочетались порядок и свобода», «власть и свобода», исторические традиции и «современные потребности». Нельзя не согласиться с утверждением Н.А. Бердяева, что Чичерин дал наиболее убедительное у нас метафизическое обоснование либерализма. В противоположность либерализму «уличному» и «оппозиционному» он свои воззрения квалифицировал как «охранительный либерализм».

Был одним из первых (во времени) в России противников господствовавшей в его эпоху органической теории социального развития. Разрабатывал своеобразную концепцию «открытого общества». Пришел к нетривиальному для XIX в. выводу об антитетических отношениях свободы и равенства. То есть настаивал на онтологической природе неравенства. Чуть ли ни единственный не только в своем поколении, но и вообще в русской мысли отчетливо понимал, что равенство возможно лишь как формальный принцип (начало). И в этом не проявляется его историческая «ограниченность» (буржуазная и т.п.). Равенство прав (формальное) нельзя отвергать во имя равенства состояний (материальное). Последнее – неосуществимо, химера.

В социализме, который, по его мнению, раздавит все проявления дорогого ему «гражданского общества», видел то, что впоследствии будет названо «тоталитарной диктатурой». Будучи в конечном счете сторонником либеральной демократии, подверг ее тем не менее фундаментальной критике с позиции высокой аристократической культуры. Подобно абсолютному большинству русских, не понимал и не принимал одну из «констант» демократии – наличие политических партий. Видимо, это являлось

закономерным выводом из русской истории, но – экстраполировалось на все политики.

Ю.С. Пивоваров

Б.Н. ЧИЧЕРИН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС В РОССИИ¹

Восточная война оставила русское общество в полном недоумении. Те, которые ждали окончательного освобождения христиан и разрешения восточного вопроса, должны были разочароваться; те же, которые не очаровывались с самого начала, не могут не видеть, что, несмотря на блистательные победы, война вместе с экономическим расстройством принесла нам и нравственное расслабление. Того одушевления, которое господствовало после Крымской кампании, нет и тени. Все понимают, что внешнее положение России зависит прежде всего от ее внутреннего развития; для того чтобы она могла исполнить предстоящие ей задачи, необходимо поднять умственный, нравственный и экономический уровни русского общества. Но как приняться за такое дело? Откуда ждать того могучего толчка и того разумного направления, которые были бы способны поставить нас на новую высоту? Правительство, бессильное в своем одиночестве, вызывает к содействию общества; последнее со своей стороны, сознавая собственное свое бессилие, всего ожидает от правительства. Для всех очевидно, что только совокупной деятельностью обоих возможно искоренить гнетущее нас нравственное и материальное зло. Но для такой дружной деятельности не существует почвы. Официально не слышится ничего, кроме заявлений преданности и покорности; но в действительности правительство и общество не знают и не понимают друг друга.

При таком положении дел, естественно, возникает мысль об установлении органа, способного соединить разрозненные силы и дать общее направление течению, идущему сверху, и течению, идущему снизу. Конституционный вопрос, дремавший некоторое время, снова выдвигается на первый план. Заглушить его нет возможности; идти вперед, закрывши глаза, было бы безрассудно. Всякий истинный сын отечества, всякий, кто ищет исхода из настоящего положения, обязан выяснять себе, насколько подобное преобразование у нас возможно и необходимо.

Конституционный вопрос возбужден был уже в первое десятилетие настоящего царствования, вслед за освобождением крестьян. В то время самые разнородные направления соединялись в этой мысли. С одной стороны, дворяне, лишившись крепостного права, думали этим путем сохранить обломки своих утраченных преимуществ и связать настоящее с про-

¹ Печатается по изд.: Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб.: Наука, 1998.

шедшим. С другой стороны, нетерпеливые либералы хотели воспользоваться этим случаем, чтобы с помощью возбужденных страстей провести конституционные идеи. Само правительство, по-видимому, поддавалось этому движению. Оно чувствовало себя как бы в долгу перед дворянством и думало удовлетворить возникающие требования если не дарованием настоящей конституции, то учреждением совещательного собрания или, по крайней мере, призывом депутатов от сословий в Государственный совет. Все умы были заняты этим вопросом; о нем явно толковали в дворянских собраниях; в печати появлялись на него прозрачные намеки.

Многие, однако, считали возбуждение его преждевременным.

Для всякого просвещенного человека не может быть ни малейшего сомнения в том, что все народы, способные к развитию, рано или поздно приходят к представительному порядку. Свобода составляет один из самых существенных элементов как общественного благосостояния, так и политического могущества, а свобода, естественно, неудержимо ведет к участию народа в решении государственных вопросов. Едва ли в настоящее время в среде образованных людей найдется хоть один защитник старых консервативных теорий, которые со злоупотреблениями свободы устраняли и самые законные ее проявления. Свобода до такой степени вошла в плоть и кровь европейских народов, факты с такой очевидностью доказали все ее значение для общественного и политического быта, что даже рассуждать об этом было бы бесполезно. Воображать же, что скольконибудь широкое развитие свободы возможно без представительного правления, не что иное, как праздная мечта. Там, где обществу предоставлено думать и говорить об общественных делах, где оно может высказывать свои желания и требования и в выборных учреждениях, и в печати, там оно неминуемо приходит к потребности перевести свои мысли в дело и участвовать в решении важнейших для него вопросов. Мысль и воля не могут распределяться в государстве между различными органами, ибо они неразрывно связаны в самом естестве человека. В политической жизни одного нравственного влияния недостаточно. Убеждением можно действовать в области науки, нравственности, религии; в государстве же, где властвует принудительная сила, где право составляет одно из основных начал, где все обязанности имеют характер юридический, всякий влиятельный орган непременно должен быть облечен правами. В самодержавии свобода только терпима; силу и прочность она имеет только там, где она сама участвует в решениях власти. Это вечный, неизменный, вытекающий из самого существа государственной жизни закон, одинаково прилегающий ко всем временам и народам. Древние республики облекали политическое право в форму народных собраний; новые народы, рассеянные на более широких пространствах, усвоили себе форму представи-

тельства. Но существо учреждений везде одно и то же: в них выражается правомерное участие народа в решении государственных дел.

От этого закона не изъята и Россия, несмотря на то что ее история доселе представляла мало задатков для развития политической свободы. На всем европейском материке самодержавие в течение веков играло первенствующую роль; но нигде оно не имело такого значения, как у нас. Оно сплотило громадное государство, возвело его на высокую степень могущества и славы, устроило его внутри, насадило в нем образование. Под сенью самодержавной власти русский народ окреп, просветлился и вступил в европейскую семью как равноправный член, которого слово имеет равновесное значение в судьбах мира. Но самодержавие, которое везде играет роль воспитателя юных народов, не соответствует уже эпохе их зрелости. По существу своему оно не в состоянии поднять народ выше известного уровня. Оно может дать вес, что совершается действием власти; но оно не в силах дать того, что приобретаетс свободой. Общество, привыкшее ходить на помочах, никогда не разовьет в себе той внутренней энергии, той самодеятельности, без которых нет высшего развития. В силу исторического своего призвания, как воспитатель, совершивший свое дело, самодержавие само ведет народ к самоуправлению. Чем более оно делает для народа, чем выше оно поднимает его силы, тем более оно само вызывает потребность свободы и этим приготавливает почву для представительного порядка.

Та же потребность возбуждается и извне соседством конституционных государств. Не только распространение либеральных идей, которым никакие китайские стены не в состоянии положить преграды, но и самая практическая необходимость ведет к водворению представительного правления. Государство, в котором задерживается общественная самодеятельность, не в состоянии тягаться со свободными странами, где все общественные силы развиваются на полном просторе и призываются к содействию общей цели. Поэтому, когда среди народов, живущих общею жизнью, одни вступают на либеральный путь, они неизбежно увлекают за собою и других. Как усовершенствования военного искусства, вводимые в одном государстве, вызывают те же усовершенствования и в соседних странах, так и в политической жизни невозможно обойтись без тех высших орудий, которые даются свободой, когда этими орудиями владеют соперники. Такое требование вытекает отнюдь не из слепого подражания иностранным образцам, а из самого существа государственной жизни, в основании которой всегда и везде лежат одинаковые человеческие элементы. Ссылаться на какие-то особенности России, которые изъемяют ее из общих законов человеческого развития, опять не что иное, как пустая фантазия. Мы ничего своего не изобретем по той простой причине, что в

этой области изобретать нечего. Она исследована вдоль и поперек; изведаны цели и средства; вопрос состоит единственно в их приложении.

Из самого существа дела вытекает и то, что для России идеалом представительного устройства может быть только конституционная монархия. Из двух форм, в которых воплощается политическая свобода, ограниченная монархия и республика, выбор для нас не может быть сомнителен. Монархическая власть играла такую роль в истории России, что еще в течение столетий она останется высшим символом ее единства, знаменем для народа. Долго и долго еще она сохранит первенствующее значение в государственных учреждениях. Единственное, о чем позволительно у нас мечтать, это приобщение к ней народного представительства, облеченного действительными, а не мнимыми правами. Такова цель, которую должен иметь в виду всякий просвещенный русский человек, когда он обращается к будущему своего отечества.

Все это – положения, едва ли подлежащие спору. Несомненно, что преобразования нынешнего царствования приготовили разрешение конституционного вопроса и поставили его, так сказать, на очередь. Пока живо было крепостное право, невозможно было и думать о свободных учреждениях. Закрепленное снизу, русское общество должно было оставаться закрепленным и сверху. Но с разрешением вековых уз, с уничтожением всего исторического строя русского общества наступила новая пора. Возвращение гражданской свободы во всех слоях и на всех общественных поприщах, независимый и гласный суд, земские учреждения, наконец, новая в России, хотя и скудная еще, свобода печати, все это – части нового здания, естественным завершением которого представляется свобода политическая. Невозможно сохранить историческую вершину, когда от исторического здания, которое ее поддерживало, не осталось и следа; невозможно удержать правительство в прежнем виде там, где все общество пересоздалось на новых началах. Весь вопрос заключается в том, ранее или позднее наступит пора совершить этот последний, знаменательный шаг на пути свободы. В этом отношении мнения самых просвещенных и либеральных людей могут расходиться.

Когда конституционный вопрос был возбужден вслед за освобождением крестьян, он не мог найти отзыва в тех, которые, живо сочувствуя новым преобразованиям, желали, чтобы они упрочились и пустили корни прежде, нежели приступить к дальнейшим переменам. Переворот, совершившийся в России, был так громаден, все отношения общественные и частные до такой степени выбились из прежней колеи, что нужно было время для того, чтобы общество привыкло к новому порядку вещей и переварило в себе, так сказать, всю приготовленную для него пищу. Эпохи глубоких гражданских преобразований менее всего благоприятны водворению политической свободы, которая требует от общества более или ме-

нее установившихся понятий и согласного действия. В то время Россия представляла зрелище чисто анархического брожения умов. Все прежние понятия перепутались, а новые не успели выработаться. Вся старая опытность оказалась негодною, а новая была еще впереди. Не было ни одного учреждения, которое бы осталось нетронутым, ни одного интереса, который бы не был поколеблен. И все это в обществе, которое под давлением прежнего деспотизма не успело усвоить себе ни теории, ни практики свободы. Избирать такую пору для введения конституционного порядка было бы то же, что пустить корабль по воле ветра и волн. Этим не только отвлеклись силы от самой насущной работы, но вместе с тем давалась точка опоры всем разнузданным страстям и интересам; это была бы новая громадная задача, заданная России прежде, нежели она успела совладать с настоящею. Результатом подобного шага могло быть лишь усиление анархии, а вслед за тем – неминуемое торжество реакции, которая могла уничтожить не только едва зарождающуюся политическую свободу, но и юные преобразования, не успевшие еще упрочиться в народной жизни.

Россия была избавлена от подобного кризиса. С высоты престола были сказаны многозначительные слова: «Спешить было бы не только вредно, но и преступно». Искусственно возбужденная агитация в пользу конституционного порядка на время утихла: взволнованные умы успокоились сами собою, и Россия мирно принялась за применение дарованных ей учреждений. Крестьянский вопрос решен окончательно. В настоящее время эта первоначальная работа, можно сказать, покончена; новые преобразования сделались неотъемлемою принадлежностью народной жизни. Все свыклись с новым порядком вещей; все безропотно принялись за устройство своего быта на новых началах. Точно так же и земские, и судебные учреждения в короткое время вошли уже в нравы народа. Не везде они приносят добрые плоды; многое зависит от местности, от случайного соединения людей. Но русское общество дает то, что оно может дать, и за будущность их нечего опасаться. Мы научились ими дорожить, и всякое на них посягательство было бы встречено всеобщим неудовольствием.

От этой внутренней работы не могла отвлечь Россию даже реакция, наступившая с 1866 г. Выстрел 4 апреля был сигналом поворота в действиях правительства. Обнаруженное им брожение в умах молодежи требовало отчасти зоркой полиции, а еще более – нравственного руководства. Но о последнем никто не думал. Народное просвещение было передано в руки, которые способны были не излечить, а только усилить зло. Полицейская же деятельность, которая в благоустроенном государстве должна занимать второстепенное место, сделалась предметом главной заботы правительства. Русское общество было изумлено, увидев снова тайную полицию, стоящую у самого престола и распространяющую свое влияние на все отрасли управления. Некоторое время можно даже было опасаться, что

на Россию обрушится новый тяжелый гнет, который уничтожит благие семена, насажденные в первую половину настоящего царствования.

К счастью, эти опасения не сбылись. Полицейские розыски исказили, но не уничтожили созданный преобразованиями государственный строй.

Державная рука сохранила свое собственное произведение. Можно сказать, что реакция нанесла вред более всего самому правительству. При виде полицейских агентов, окружающих престол, от него отшатнулись все независимые и образованные силы; доверие было подорвано. Правительство, которое во имя великих дел, им совершенных, могло соединить всех вокруг себя, восстановило против себя значительную часть общества. Но так как существенные основы нового здания оставались непоколебимы, так как реакционные меры ограничивались частными преследованиями и мелочными стеснениями, то общество, в сущности, мало этим тревожилось. Все спокойно обращали свои взоры к будущему царствованию, ожидая от него необходимого завершения нового порядка вещей.

Но России не суждено было мирно дожить до будущего царствования. Восточная война положила конец периоду медленного внутреннего развития. Она поставила русскому обществу новые громадные задачи, которые требуют разрешения. Мы не можем ждать, если мы хотим сохранить свое место в политическом мире и сказать свое веское слово в предстоящих великих европейских событиях. Мы не можем ждать, ибо мы неизбежно придем к материальному и нравственному банкротству, если мы своевременно не примемся за работу.

Прежде всего перед нами возникает грозный финансовый вопрос. Война не только истощила наши средства, но и вовлекла нас в крупные долги. Государству необходимы деньги; надобно открыть новые источники дохода, а где их найти? Платежная способность крестьян напряжена до крайней степени; более с них нечего брать. Со своей стороны помещики не только не богатеют, но едва поддерживают свое состояние. Значительная часть их закладывает или продает свои имения. Что касается до купечества, то последние годы были для него бедственны; настоящее же временное оживление торговли покоится на таких шатких основаниях, что на это рассчитывать нет возможности. Очевидно, что для поправления наших финансов потребуются от народа самые тяжелые жертвы. Правительство, видимо, от этого уклоняется; оно старается ограничиться паллиативными мерами. Но можно наверно сказать, что паллиативные меры не приведут к желанному результату. Если не теперь, то через несколько лет придется прибегнуть к коренному преобразованию налогов, а с этим сопряжено коренное изменение всего государственного строя, отмена вековых привилегий, уничтожение сословий. С наложением новых тягостей связана необходимость дарования новых прав; с требованием денег возбуждается и

требование контроля над расходами. Финансовый вопрос становится вопросом политическим.

Делая такой решительный шаг, русское правительство, равно как и русское общество, должно дать себе строгий отчет в том, что оно совершает. Невозможно приступить к финансовой реформе, не выяснив тех последствий, которые она должна иметь для всей политической жизни народа.

Самодержавие без привилегированных сословий немислимо. Между бесправным народом и полноправным царем необходим аристократический элемент, который один в состоянии умерить произвол исполнительных органов и дать самой верховной власти более прочные основы, связав ее с интересами образованнейших слоев общества. Как бы ни велико было самовластие, оно всегда находит нравственную преграду в духе, требованиях и понятиях привилегированного сословия; оно принуждено уважать этот дух, потому что видит в нем не только независимую силу, но и самую надежную свою опору. Часто говорят, что самодержавие крепко народную любовью; но если это только любовь необразованной массы, то она никогда не предупредит придворных революций и не даст правительству надлежащих орудий действия. Грубая сила, опирающаяся на толпу, может временно держаться, но она неминуемо падет перед невидимым напором образованных элементов, которым всегда принадлежит первенство, потому что у них одних есть разум, необходимый для управления государством.

Аристократический элемент в самодержавном правлении имеет другое весьма важное общественное значение. Это единственная среда, в которой при таком порядке могут вырабатываться чувства права, свободы, чести и человеческого достоинства. Под владычеством безграничного самовластия эти чувства должны искореняться в народе, который вследствие того развращается и падает. Привилегии служат им убежищем и спасением. В самодержавии одно только высокое общественное положение в состоянии внушить человеку сознание права и уважение к собственному достоинству. Русский дворянин некогда обязан был всю жизнь свою служить государству; но если он нес тяжесть, если он подчинялся высшей власти, то он, с другой стороны, не терял привычки повелевать, он сознавал, что он высоко стоит над массой людей, подлежащих безграничному произволу; он знал, что ему подобает уважение; он имел свою честь, которую он отстаивал всеми силами. Когда же жалованные дворянские грамоты освободили его от обязательной службы, когда дворянство получило корпоративное устройство и выборные права, то положение его сделалось еще значительнее. Дворянин освобожден был от подати; он не отправлял рекрутской повинности; он вступал на службу и выходил в отставку по собственной воле. Одним словом, он сознавал себя свободным и полноправным человеком, насколько это было возможно при самодержавном правлении. Вольности дворянства были началом свободы в России.

Таково значение привилегированных сословий в неограниченной монархии. Привилегии составляют изъятие от тяжестей, но вместе с тем и от произвола: они дают исключительное право, но все-таки право. Ими сохраняются и развиваются в государстве те элементы, без которых не может существовать ни одно сколько-нибудь образованное общество, элементы, составляющие самый драгоценный залог человеческого развития. Поэтому, когда привилегии устраняются, они должны замениться чем-нибудь другим, высшим; иначе это будет шаг не вперед, а назад. С уничтожением привилегированных сословий открывается возможность только двух путей: к демократическому цезаризму и к конституционному порядку. Выбор не может быть сомнителен.

В настоящее время в нашем обществе сильно развито стремление к демократическому цезаризму. Всеобщее уравнивание под самодержавной властью многим представляется каким-то идеалом общественного быта. Утверждают даже, что таков дух нашего народа, что в этом заключается смысл всей русской истории. Ничего не может быть вреднее и фальшивее этих понятий. Демократического равенства мы не видим в русской истории ни в какие времена. У нас всегда существовала общественная лестница, и лестница весьма резко определенная. В старину на вершине ее стояло боярство, понятие родовой чести ревниво оберегало каждую ступень и не позволяло низшим подниматься к уровню высших. Впоследствии боярство заменилось чиновным дворянством; дворянский дух и чиновная честь заступили место родовых притязаний. Но лестница осталась столь же определенной, как и прежде: она сохранилась и в правах, и в учреждениях. Уравнивание сословий никогда не было политикой наших царей. Ни в какую эпоху нашей истории мы не видим самодержавной власти, опирающейся на толпу. Первой опорой престола всегда было дворянство, а не крестьянство. А если доступ в дворянство путем образования и службы был относительно легок, то все же оно составляло резко определенное сословие, которое высоко стояло над бесправной массой. Невозможно говорить о демократическом равенстве в стране, где до вчерашнего дня существовало крепостное право в самых широких размерах. Крестьянин никогда не считал и не считает себя равным дворянину, это очевидно при малейшем соприкосновении с крестьянским бытом. И не только низшие, но и средние классы, которые везде в Европе являлись носителями идеи равенства, у нас едва начинают заражаться этими стремлениями. Доселе между ними и дворянством существует глубокое расстояние, которого причина заключается в различии нравов, стремлений, понятий и даже образования. Сближение сословий происходит на наших глазах; слияния далеко еще нет. А потому невозможно утверждать, что демократические идеи лежат в духе русского народа и составляют плод всей нашей истории. Народ о них ничего не знает, в истории мы их не видим, и если в настоящее время они до

некоторой степени распространены в русском обществе, то это объясняется отчасти наплывом европейских идей, а еще более тем брожением умов, которое последовало за преобразованиями нынешнего царствования. Среди овладевшей нами умственной анархии чисто отрицательная идея всеобщего уравнивания всего скорее могла найти себе доступ. Но эта идея является не плодом, а отрицанием истории. Ее приверженцы имеют в виду не сохранение, а уничтожение того, что выработано исторической жизнью русского народа.

Столь же неуместна в устах наших демократов и ссылка на Западную Европу, где сословные привилегии везде исчезают перед началом демократического равенства. Демократия бесспорно занимает видное место в ряду элементов, из которых слагается политическая жизнь народов. Если для умов, глубже вникающих в существо государственных отношений, она не может представляться идеалом, то нельзя не признать в ней одну из самых сильных движущих пружин человеческого совершенствования. Но эта роль принадлежит демократии образованной, а не полудикой, свободной, а не порабощенной. Для того чтобы демократия могла исполнить свое настоящее назначение, необходимо, чтобы она была воспитана под влиянием свободы, а первоначальное развитие свободы всегда и везде происходит в среде высших классов, которые одни имеют для этого достаточно средств и образования, которые одни способны выработать в себе сознание права и прилагать это сознание к своей политической деятельности. Поэтому низведение высших классов к уровню низших прежде, нежели совершилось воспитание демократической массы, прежде даже, нежели водворились в обществе начала политической свободы, может иметь для народной жизни самые пагубные последствия. Равенство без свободы не возвышает, а унижает людей; оно не способствует развитию умственных и нравственных сил общества, а, напротив, заглушает те задатки, которые обретались в высших его слоях. Подведением всех под один уровень уничтожаются те высокие положения, которые одни служили некоторой охраной и гарантией свободы и права. В народе искусственно возбуждаются все дурные страсти, зависть и ненависть ко всему, что возвышается над толпой. Все готовы скорее идти в рабство, нежели терпеть преимущества, естественно принадлежащие высшей способности и высшему образованию. Равенство бесправия – худший из всех возможных общественных порядков; оно служит опорой самому беззастенчивому деспотизму. Подобный политический быт является иногда в истории как временное, переходное состояние, когда неупроченная еще демократия выдвигает всемогущего диктатора с целью раздавить своих врагов. Такова была древняя греческая тирания; таков и новый бонапартизм. Но эти неизбежные иногда создания политической борьбы и глубоких общественных потрясений не обходятся обществу даром. Мы на глазах своих видим во

Франции печальные плоды такого порядка вещей, где личная воля, хотя и обставленная малоправным представительством, господствует над уравненной толпой. Результатом является всеобщее унижение умов. Источник, который производил высшие силы и способности, иссякает, и народ, стоя на краю гибели, слишком поздно видит, куда привел его опасный путь демократического цезаризма.

В законной монархии такая демагогическая политика, стремящаяся привести всех к общему уровню под царствующим над всеми произволом, совершенно немыслима. Законная монархия – не демократическая диктатура, всегда имеющая мимолетный характер. Представляя собою совокупность элементов народной жизни, она не терпит угнетения слабых сильными, но вместе с тем она всегда чувствует ближайшую свою связь с высшими слоями общества, которые одни дают ей средства управления, доставляемые образованием и необходимые в благоустроенном государстве. По глубокому замечанию Аристотеля, царство опирается на высшие классы, тирания – на низшие. Последняя есть орудие борьбы, молот в руках массы; первая есть символ прочного государственного порядка, правильного и всестороннего развития народной жизни. Поэтому законная монархия никогда не должна сознательно ставить себя в положение демократической диктатуры. Если она находит, что плод созрел, что пришло время уничтожить сословные различия, то она обязана сама, во имя верховных начал общественного блага, о котором вверено ей попечение, заменить привилегии политическими правами. Иначе царь превращается в демагога.

Такая пора наступает для России. Крепостное право, на котором с конца XVI в. строилось у нас все политическое здание, уничтожено. С этим вместе поколеблено и прежнее положение дворянства. Оно распускается в массе общества. Как скоро правительство приступит к неизбежному уравниванию податей и повинностей, так уничтожится и последняя черта, отделяющая его от других сословий. С проведением финансовой реформы слово «дворянство» остается звуком, лишенным всякого смысла, старой вывеской над пустым помещением. А так как эта реформа и предстоит нам в недалеком будущем, то очевидно, что, если мы не хотим идти путем демократического цезаризма, нам остается только примкнуть к знамени конституционной монархии.

Принять такое положение подобает прежде всего самому дворянству. Нет сомнения, что как скоро государство требует жертв, так дворянство первое обязано их нести. Но когда полагаются новые, небывалые тяжести, им должны соответствовать и новые права. Наименьшее, что можно сделать для высшего сословия в государстве, это дать ему голос в определении тех повинностей, которые оно на себя принимает. Тут недостаточно ссылаться на справедливость, утверждать, что все граждане одинаково

должны нести государственные тяжести. Справедливость отнюдь не требует, чтобы те, которые носят в себе сознание свободы и права, которые в состоянии думать и говорить, подчинялись налагаемым на них тяжестям на одинаковом основании с теми, которые не способны ни к тому, ни к другому. Прокрустово ложе служит выражением не справедливости, а тирании. Еще менее можно в стремлении высшего сословия к участию в финансовом законодательстве видеть какие-либо революционные притязания. Соответствие прав обязанностям служит, напротив, самой надежной гарантией против революции, ибо в этом заключается единственное основание всякого законного порядка. Вне этого есть место только для произвола и возмущения. Наконец, только этим путем может сохраниться живая связь между прошедшим и будущим, та связь, которая служит самым верным мерилем различия между закономерным развитием и революционным движением. Русское дворянство не вправе кинуть через борт все свои исторические предания, с тем чтобы пуститься в безбрежный океан необразованной и неустроенной демократии. Россия поставила его на то высокое место, которое оно занимает, Россия вверила ему хранение тех скудных элементов свободы и права, которые успели в ней развиться. Оно обязано их оберегать, не жертвуя ими иначе как взамен высшей свободы и высшего права. В этом состоит его историческое призвание.

Но не одно дворянство заинтересовано в деле финансового законодательства. Податной вопрос одинаково касается всех. Никто не желает, чтобы его карман опустошали без его спроса. Всякий сколько-нибудь образованный человек хочет нести общественные тяжести не иначе, как сознательно и свободно, т. е. проверив общественные нужды и убедившись в правильности употребления средств. Здесь для слепого доверия нет места. Доверие может относиться единственно к монарху в решении существенных вопросов жизни, а монарх, стоящий во главе государства, очевидно, не может сам расследовать сметы и проверять расходы. Это дело народных представителей. Таким образом, по самому существу своему, вопрос податной неразрывно связан с вопросом конституционным. Об этом свидетельствует вся история. Где устранялись представительные учреждения, там подати и повинности силою вещей обращались на низшие классы, которые одни не предъявляют никаких притязаний и платят все, что с них берут, по той простой причине, что они судить о требованиях не в состоянии. Высшие же классы, по крайней мере, в странах, где есть малейшее понятие о свободе, изъемятся от податей и повинностей, как скоро они устраняются от обсуждения сметы и от контроля над расходами. Привилегии являются тут знаком уважения к свободе и праву, наоборот, обложение высших слоев общества само собою вызывает требование представительного порядка. В Англии все конституционное развитие вытекло из

податного вопроса. Право самообложения было источником всех остальных политических прав.

У нас, конечно, правительство так сильно, что оно может налагать какие угодно тяжести без опасения встретить противодействие. Пожалуй, будут даже благодарить, как сделали представители многих дворянских обществ, когда на дворянство распространена была рекрутская повинность. Но официальная благодарность не исключает тайного ропота, и чем ближе вопрос касается кармана, тем сильнее будет неудовольствие. Налагая новые тяжести без соответствующих прав, правительство может увеличить свои материальные средства, но оно подорвет свою нравственную силу. Политика демократического цезаризма даже при видимом успехе ведет к упадку, а не к возвышению общественного духа. Монарх, имеющий в виду не личное свое положение, а пользу народа, никогда на это не решится. Зная характер и предания наших государей, мы можем наверное сказать, что этого не будет. А так как финансовый вопрос стоит на очереди, то в недалеком будущем мы неизбежно должны ожидать введения у нас представительного устройства.

Но не одно только исправление печального финансового и экономического положения государства требует приобщения народных представителей к решению законодательных вопросов; к тому же ведет и необходимость серьезно приняться наконец за врачевание глубоко вкоренившегося у нас нравственного зла. Это зло не составляет особенности России. В Германии разрушительные стремления организовались в законом признанную партию, обнимающую значительную часть рабочего класса. Она имеет свои газеты и своих явно выступающих вождей. В недавнее время германское правительство сочло нужным принять против этой пропаганды самые строгие меры. Каковы будут результаты этих мер, покажет будущее. Нет сомнения, что насильно подавляемые стремления отчасти будут вогнаны внутрь и проявятся в подпольной деятельности враждебных государству тайных обществ. С другой стороны, искусно направленная энергия правительства непременно должна воздержат массу колеблющихся и способствовать выселению из государства самой рьяной части агитаторов. Но во всяком случае, если эти меры могут увенчаться успехом, то они обязаны этим единственно тому, что они являются вооруженными всем нравственным авторитетом представителей народа. Против нравственного зла одни полицейские меры бессильны: необходима нравственная поддержка со стороны общества, а вне представительного порядка эта нравственная поддержка превращается в официальную комедию, лишённую всякого серьезного значения. Это мы и видели у себя. Зло, которое нам приходится преследовать, далеко не так опасно, как то, которым страдает Германия. У нас отражаются только в умах незрелой молодежи социалистические тенденции, имеющие настоящую почву в Западной Европе. Между тем про-

тив этой пропаганды приняты самые усиленные меры. Все, что делается теперь в Германии, давным-давно производится у нас в гораздо более широких размерах. Произвольные аресты, административные ссылки, полицейские преследования, запрещения – все это расточается в таком обилии, о котором германское правительство не может и мечтать. И что же? Вся эта усиленная инквизиция, лишенная нравственной поддержки, не только не принесла желанных плодов, но произвела совершенно обратное действие: пропаганда не ослабела, а общество возмутилось. И когда правительство, почувствовавшее наконец полную несостоятельность своих органов, обратилось к представителям общества, последние отвечали оправданием Веры Засулич, оправданием, которому рукоплескала значительная часть журналистики и сочувствовала немалая доля даже образованных русских людей. Дело дошло наконец до того, что государственных сановников стали безнаказанно резать на улицах. Германское правительство в подобном случае обратилось к парламенту, требуя нового оружия борьбы против зла. Русское правительство, которое давно уже владеет всяким оружием, тоже обратилось к обществу, но на этот раз с чисто платоническим воззванием, на что и получило чисто платонические ответы. Представители дворянства и городов спешили заявить, что они не солидарны с убийством шефа жандармов, в чем, конечно, никто не сомневался. Сами податели адресов пожимали плечами, говоря о той странной роли, которую им приходилось разыгрывать. Вместо серьезного дела произошла рутинная церемония, и все на этом успокоилось. Только земские собрания решились откровенно отвечать на сделанный им вызов. Полтавское собрание прямо заявило, что искоренить зло можно только совокупными действиями правительства и земств, но что для такой совокупной деятельности не существует в настоящее время законной почвы.

Такой печальный результат всех усилий правительства, без сомнения, должен быть приписан главным образом совершенной непригодности официальных его органов и орудий. Полиция бессильна не только предупреждать, но и разыскивать совершенные среди белого дня в центре столицы политические убийства; юстиция бессильна преследовать и карать виновных; Министерство народного просвещения, которому вверено нравственное руководство молодежи, бессильно иметь на нее какое бы то ни было влияние. Тут уже разрыв между правительством и обществом, между требованиями государства и действительным положением дел достигает ужасающих размеров. Всякому, кто соприкасается с нашим ученым сословием, известно, что все, что есть в нем живого и способного действовать на молодые умы, от юношей до стариков, питает непримиримую вражду к Министерству народного просвещения. Оно поставило себя так, что внушить русскому юношеству какое-либо уважение к представителям правительства нет ни малейшей возможности. Если среди учащейся моло-

дежи сохраняется еще известная доля благоразумия, то это происходит не благодаря министерству, а несмотря на министерство. Из современных наших язв нет ни одной, которая заслуживала бы такого глубокого внимания и участия, как эта печальная судьба молодого поколения, подверженного растлевающему действию руководителей русского просвещения. Но все это остается скрытым от верховной власти, которая видит только случайно проявляющиеся взрывы и не имеет ни малейшей возможности узнать то, что происходит в действительности, ибо она обретается в заколдованном круге, в котором личные стремления и интересы заслоняют собой всякий политический смысл и всякое живое участие к делу. Единственная забота людей, окружающих престол, заключается в том, чтобы предупредить по возможности взрывы и закрыть как попало прорехи, чтобы с помощью призрачного спокойствия удержаться на своих местах. О нравственном действии на общество при таких условиях, конечно, не может быть и речи. Самая возможность нравственного влияния устраняется созданием официальных призраков, которыми убаюкиваются стоящие наверху.

Без представительного порядка верховная власть никогда не выйдет из своего уединенного положения, из той обманчивой атмосферы, которою она окружена. Это одно может поставить ее в живое, а не в официальное отношение к обществу. Без представительного устройства она не найдет и людей, способных быть исполнителями тех великих задач, которые ей предстоят. Все жалуется на недостаток людей, но где их найти? Люди создаются средою, способною их произвести. Государственный ум требует не только природных дарований, но и опытности в государственных делах. Необходима среда, в которой бы вырабатывались государственные люди. В прежнее время таким рассадником было высшее дворянство, окружающее престол. Оно некогда заседало в боярской думе. Затем великие государи Петр, Екатерина собирали вокруг себя лучшие силы земли, приобщая к старому дворянству новых людей. Просвещенный ум Александра I отразился на окружавших его государственных людях, которые обладали широкими взглядами и значительным образованием. Предания политической мудрости сохранялись непрерывно в высшем сословии. Но ныне этот источник иссяк. Нельзя не сказать, что тридцатилетнее царствование императора Николая тяжело отозвалось на образовании нашей аристократии. Вместо государственных способностей требовались главным образом преданность и покорность.

Широкое просвещение заменилось безграмотностью юнкерской школы или пажеского корпуса. Среда, доставлявшая России государственных людей, в настоящее время так оскудела, что трудно остановиться даже на второстепенном явлении. С тем вместе оскудела и высшая бюрократия, которая только при взаимном действии с просвещенным аристо-

кратическим сословием или с живою и образованною общественною средою способна вырабатывать в себе государственных людей. Без этого бюрократия в своем обособлении погружается в официальную рутину и в мелочные интересы; в ней водворяются или узкие консервативные взгляды, или, что еще хуже, отвлеченный и односторонний либерализм, способный только разлагать, а не созидать. В настоящее время наша высшая бюрократия представляет столь же мало элементов для плодотворной государственной деятельности, как и высшая аристократия, окружающая престол.

Но и этого мало. Если бы правительство, не прибегая к представительным учреждениям, захотело обратиться к обществу, чтобы в нем отыскать людей, то и здесь оно нашло бы такую же скудость. Государственные способности и развиваются только основательным теоретическим и практическим занятием государственными вопросами, а в русском обществе даже чисто теоретическое изучение этих вопросов составляет величайшую редкость. К сожалению, мы должны признаться, что не только в высшей аристократии, но и в средних слоях общества образование понизилось против прежнего. Этому способствовали, с одной стороны, упадок наших учебных заведений и тот гнет, который так долго лежал на русской мысли, с другой стороны, тот хаос ложных понятий и Бог знает где подобранных сведений, которыми наводнила русское общество расплодившаяся журналистика. И это зло идет, увеличиваясь. Истинно образованные люди, окрепшие на серьезной работе, один за другим сходят в могилу, а взамен им даже на горизонте не видать появления новых сил. Преобразования нынешнего царствования в судах, в местных учреждениях, в промышленных предприятиях открыли новые, обширные поприща для общественной и частной деятельности, но самые эти интересы, приковывая к себе людей, отвращают их от более широких вопросов и тем неизбежно суживают их стремления и взгляды. Вначале еще, когда русское общество с жаром кинулось на новые задачи, всеобщее воодушевление поднимало общественный дух. Но этот пыл не мог быть долговечным: он слабел по мере того, как общество свыкалось с новыми учреждениями. Рутинная и личные интриги более и более заслоняют собой стремление к общему благу. Русское общество целиком погрязло в мелких интересах. Судьи, адвокаты, земские деятели, промышленники заняты каждый своим делом. Относительно более общих вопросов они довольствуются тем, что им дают газеты, а это – самый жалкий способ воспитания общественного духа. Во всех странах мира масса газет представляет довольно безотрадное явление: это, можно сказать, оборотная сторона свободы. И чем необразованнее общество, чем менее оно привыкло к политической жизни, тем зло представляется в худшем виде. Та бездна лжи, невежества и легкомыслия, которая этим способом изливается на общество, поистине невообразима. Но там, где

существуют представительные учреждения, обыкновенно из общей массы выделяются несколько органов, которые получают высшее значение. Они становятся глашатаями политических партий, получают направление от их вождей и сами собирают вокруг себя общественные силы. В представительных государствах газеты перестают уже быть единственными руководителями общественного мнения. На первый план выдвигаются выборные люди, которые не только разглагольствуют о государственных делах, но сами принимают в них участие, люди, которые могут удержаться на своем месте только в силу высших способностей. Где этого нет, там всякий самозванец, обладающий достаточной смелостью и несколько бойким пером, становится не только представителем общественного мнения, но и воспитателем общества. Для того чтобы написать книгу, способную выдержать критику, нужна работа, нужны ум, знание, талант; для газеты все это излишне. Фельетонист, никогда ничему не учившийся, ничего путного не знающий, основывает газету, вкривь и вкось толкует обо всем, и все это, ежедневно воспринимаясь без труда, мало-помалу усваивается привычкой. Общественная мысль спускается все ниже и ниже. Люди перестают смотреть на вещи своими глазами, а полагаются единственно на то, что им постоянно твердят единственные существующие органы политической жизни.

Таково печальное положение русского общества. Вывести его из этой низменной атмосферы, поднять его на новую умственную и нравственную высоту можно, только поставив перед ним более широкие и возвышенные задачи, нежели те, которые занимают его в настоящее время. Одних чисто теоретических интересов, которые иногда приковывали к себе общественное внимание, теперь уже недостаточно: они потеряли свое обаяние для современных умов. Необходимы практические цели, которые поставили бы гражданина лицом к лицу с высшими жизненными вопросами, с образом отечества, а таковые могут представить единственно учреждения, привлекающие народ к участию в решении государственных дел. Одна политическая свобода способна вдохнуть в русское общество новую жизнь, воспитать в нем политический смысл, устранить развращающее влияние газет, наконец, создать такую среду, в которой могут вырабатываться государственные люди. Перед народным представительством неспособность ни единой минуты не в состоянии будет удерживать министерский портфель. Со своей стороны правительство в этом живом союзе с обществом почерпнет новые силы и обретет самую надежную опору. Для всякого, кто беспристрастно вглядывается в современное положение России, введение представительного порядка представляется единственным исходом. Завершение воздвигнутого в нынешнее царствование здания силою вещей становится необходимостью. Этот вопрос стоит на очереди и должен быть разрешен в более или менее близком будущем.

Но, ставя себе такую задачу, создавая орган совокупной деятельности всех государственных сил, русское правительство и русское общество отнюдь не должны ожидать, что в этом они немедленно обретут лекарство от всех угнетающих нас зол. Так же как и все созданные на наших глазах учреждения, народное правительство не более как форма, которая должна наполниться живым содержанием, а содержанием наполнить ее весьма нелегко. Мы не можем скрывать от себя, что мы весьма мало приготовлены к такому делу. При низком уровне нашего образования, при ужасающем недостатке в людях, при том хаосе понятий, который бродит в наших умах и господствует в нашей печати, можно даже прийти в некоторое уныние. Представительство могло бы еще идти правильным порядком, если бы правительство в состоянии было руководить обществом на этом новом пути. Но, к сожалению, правительство столь же мало приготовлено к этому, как и самое общество. В среде его нет людей, способных исполнить такую задачу. А между тем задача необходима, ибо каждая сторона порознь оказывается несостоятельной. Только дружным действием правительства и общества мы можем предупредить материальное и нравственное банкротство. Но, вступая на неизведанный еще путь, мы должны сказать себе, что нам предстоит не радостная перспектива свободного и мирного развития, а новый, тяжелый труд, который поглотит лучшие силы России. Мы должны будем вести упорную борьбу не с внешними врагами, а с самими собою, с невежеством, с дикими понятиями, разлитыми в обществе, с укоренившимися веками раболепством, с одной стороны, с легкомысленным либерализмом – с другой. Но этот труд не пропадет даром, он один может поднять Россию на ту высоту, которая подобает ее истории, ее внешнему положению и той нравственной силе, которая таится в недрах народного духа.

Необходимо, однако, заранее подготовиться к такому делу. Если для созыва представительства мы станем дожидаться наступления кризиса, а пока будем довольствоваться современной рутинной, мы будем застигнуты врасплох и не в состоянии будем справиться с затруднениями. Государственный ум видит цель издалека и готовит для нее орудия. Русскому обществу полезно пройти через школу прежде, нежели оно будет призвано к решению важнейших, касающихся его вопросов. Такой школой может служить приобщение выборных от губернских земских собраний к Государственному совету и публичность заседаний последнего. Этим способом и выборные, и общество, и печать будут втянуты в самую сущность дела. Не имея еще решающего голоса, общество привыкнет к обсуждению политических вопросов и будет в состоянии составить себе более ясные понятия о целях и средствах государства, нежели возможно для него в настоящее время. В этом отношении подобное учреждение заслуживает предпочтения перед отдельным совещательным собранием из выборных

от земства. Соединение выборных с людьми опытными в государственных делах скорее может способствовать развитию в них политического смысла. Но необходимо твердо держаться мысли, что это не более как школа, которая должна служить только переходом к настоящему представительству. Иначе весь смысл учреждения затемнится и оно не произведет ничего, кроме разочарований.

Современное состояние русского общества вполне благоприятно для такого нововведения. В нем не господствует дух оппозиции: оно в настоящее время ничего не просит. Оно печально глядит на свое безотрадное положение и не знает, за что приняться. Всякий почин со стороны правительства будет принят с благодарностью. Но если бы после всех тяжелых жертв, которые потребовала от нас война, после всех напряженных и обманутых ожиданий не сделано было ровно ничего, то положительно можно сказать, что неудовольствие будет идти, возрастая, и то, что в настоящую минуту может быть только делом свободной инициативы правительства, скоро явится как требование общества. Правда, подобным требованиям не следует придавать у нас слишком большого значения. Сила правительства так велика, что оно в состоянии подавить всякое неудовольствие. Но увеличивающийся разрыв между правительством и обществом в то время, как всего более требуется дружная их деятельность, не может послужить к пользе отечества. Россия вправе надеяться, что правительство не захочет стать в такое положение. Монарх, который правит ее судьбами, всем своим царствованием доказал свою готовность делать все, что нужно для блага вверенного ему народа. Мы верим, что он завершит воздвигнутое им здание, как скоро он убедится, что это для России необходимо.

Конечно, в истории народа не может быть более торжественной минуты, как та, когда власть, управлявшая им в течение веков, сросшаяся со всей его жизнью, сознает наконец, что времена переменялись, что созрели новые исторические плоды и что пришла пора себе самой положить границы и призвать подданных к участию в государственном управлении. Наступила ли для нас эта пора? Мы убеждены, что мы к этому идем, и не теряем надежды видеть воочию то, что доселе представлялось только в смутных мечтаниях.

Закончим анекдотом из классической древности. Известно, что спартанский царь Феопомп сам предложил и провел ограничение царской власти эфорами. Когда его жена укоряла его за то, что он власть, завещанную предками, передает умаленной потомкам, царь отвечал: «Не умаленной, ибо более прочной».

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ
(1851–1916)

Правовед. В 1873 г. окончил юридический факультет Московского университета. Преподаватель (1879–1911), декан этого факультета (1890–1909), доктор государственного права (1887), с апреля 1910 г. – председатель Московского юридического общества.

По идейным убеждениям близок к кадетской партии, однако членом ее не был и не принимал активного участия в политической жизни 1900-х годов. Труды Алексеева посвящены анализу политических воззрений Н. Макиавелли (переосмысление вопроса о соотношении морали и политики; это – одна из центральных тем его книги 1880 г. «Макиавелли как политический мыслитель») и Ж.-Ж. Руссо (публикация в 1887 г. первоначального текста «Общественного договора», исследования политической доктрины Руссо), проблемам теории государственного права, его истории в странах Западной Европы в эпоху Нового времени и истории государственного строя России. Испытывая влияние идей Руссо и вместе с тем оставаясь в пределах собственно юридического подхода, Алексеев определяет «современное государство европейской культуры» как «высший территориальный союз общественного господства», «союз равных, а следовательно, и свободных людей, признающих над собой не личную власть, а только власть общественную». Государственная власть – «искусственно организованная волевая сила, приспособленная к охране государственного порядка в пределах данного государства». «Во имя безусловно-го господства правового порядка современное государство обладает властью высшею, безусловно, – обладает суверенитетом». Анализируя государственный строй различных стран Европы в эпоху Нового времени и реальные механизмы его функционирования, Алексеев приходит к выводу, что «в современном правовом государстве не существует суверенного органа в смысле учреждения, обладающего высшею решающей властью и что им не является ни монарх в монархии, ни народ в республике». Правительство – «не слуга, не орган монарха или парламента, а слуга народа и орган государства», вместе с тем политически ответственный перед парламентом в республике и конституционной монархии.

Аналізу еволюції державного строю Росії, здійсненому під історико-правовим кутом зору, Алексеев присвятив ряд робіт, в частині, статтю кінця 1905 г. «Начала сучасного правового державства і російський адміністративний строй напередодні 6 серпня 1905 г.», заключительний розділ якої представлений в нинішньому виданні. В цій статті, написаній в зв'язі з публікацією 6 серпня 1905 г. Вищайшого Манифеста про утворення Державної думи як законодавчого органу, він переконливо показує, що верховна влада в Росії, являючись самодержавною, завжди обмежувала саму себе нормами, їй же установленними, законами, якими вона визначала межі і форми своєї діяльності, і підкреслює необхідність во ім'я історичного авторитету верховної влади переходу від фактичної реальності її самообмеження до строго визначеного юридичного порядку. Визначаючи зміст і завдання створюваної Державної думи як інституту влади, виникнення і закріплення якого «забезпечило б єдність і плановість законодавчої і виконавчої діяльності», Алексеев виходив з ідей Манифеста. Висуваний же ним «тезис про бажаність» політичної відповідальності уряду при всій нескількох невизначеній його формулюванні вже виходив за межі Манифеста.

И.Л. Беленький

А.С. АЛЕКСЕЕВ

**НАЧАЛА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
И РУССКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СТРОЙ НАКАНУНЕ
6 АВГУСТА 1905 г.¹**

**Отдел третий
Предстоящая государственная реформа**

I.

***Исторические начала, долженствующие служить
опорными точками предстоящей реформы***

Прошлое и настоящее нашего административного строя показывает, что обновление русского государственного быта не может пойти путем реформы, направленной на переустройство и усовершенствование нашего правительственного механизма. Горький исторический опыт показал, что

¹ Печатается по изд.: Алексеев А. С. Начала современного правового государства и русский административный строй накануне 6 августа 1905 г. // Русская мысль. – М., 1905. – Ноябрь. – Кн. XI. – С. 93–194.

попытки переделать этот механизм приводят лишь к еще большему его расстройству и лишь усугубляют его расшатанность.

Вводимые в него новые колеса и шестерни усложняют его, раздробляют и разъединяют правительственные силы и этим лишь расслабляют власть и лишают ее способности к плодотворной творческой деятельности.

Россия нуждается не в новой ломке и новых починках правительственного механизма, а в преобразовании, которое строгим проведением начала закономерности положило бы предел широкому разгулу административного произвола и которое заменило бы инертные колеса правительственного механизма живыми органами народного тела.

Отправными точками этого преобразования не могут быть отмеченные выше темные стороны нашего государственного строя: ими должны стать его положительные стороны, на которые мы и должны теперь указать.

1. Формальное ограничение власти

Наше историческое прошлое... не выработало самостоятельных общественных организаций, которые соперничали бы с верховной властью, ограничивали бы ее и на признании притязаний которых сложился бы словесный политический строй с ограниченной верховной властью во главе. Русская верховная власть никогда не встречала противовеса в политических требованиях общественных союзов – требованиях, которые служили бы исходными точками для развития юридических норм, определяющих пределы компетенции органов власти по отношению к самостоятельной сфере отдельных лиц и союзов. Эти нормы исходили от самой власти, которая устанавливала их в сознании их необходимости ради упрочения государственного порядка, а не под давлением политических притязаний организованных общественных сил.

Верховная власть в России всегда была властью самодержавной, т.е. властью, которая не была ограничена другой вне ее, рядом с ней или над ней стоящей властью. Она всегда была властью, которая сама себя ограничивала нормами, ею самой установленными.

Когда со времени Петра патриархальные отношения между царем, его сотрудниками и его слугами, основанные на стародавних обычаях и традициях, уступили место крайне усложнившимся отношениям между властью и ее вновь созданными органами, тогда естественно возникла для этой власти необходимость урегулировать их функционирование более точными общими правилами, которые определили бы круг и формы их деятельности.

Петр, сознавая эту необходимость, издает указы, наказания и регламенты, которые точнее нормируют компетенцию подчиненных органов и

этим определяют как сферу непосредственной деятельности монарха, так и границу правительственного вмешательства и отношения органов власти друг к другу. Петр настаивает на строгом исполнении законов и видит в соблюдении их главное условие государственного порядка. В Указе 1721 г. мы читаем: «Как может государство быть управляемо, когда указы не будут действовать? Презрение указов равно измене и еще хуже ее, ибо, слышав об измене, всяк остережется, а этого зла никто вскоре не почувствует, но мало-помалу все разорится... В управлении государством важнее всего хранение прав гражданских, по ней же все законы писать, когда их не хранить, или же в карты играть, подбирая масть к масти, чего нигде на свете нет, как у нас было, а отчасти еще есть и зело тщатся всякие вины чинить под фортецию правды».

Начало самоограничения власти законами стало с тех пор одним из принципов, руководивших нашими верховными преобразователями в их деятельности, направленной на упорядочение русской государственной жизни.

Екатерина II видит в связанности власти законом отличительную черту самодержавного правления. Свобода, которую должна ограждать власть, по ее определению, заимствованному у Монтескье, есть подчинение закону, исключаящее подчинение всякому другому авторитету. «Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют». «Надлежит быть закону таковому, чтобы один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов». Эта свобода есть величайшее в государстве благо. «А какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большого от всех добра». В Манифесте 14 декабря 1766 г. о выборе депутатов в комиссию для сочинения нового уложения Екатерина II ставит себе целью «узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного отечества в своей силе и надлежащих границах течение свое имело так, чтобы и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы в соблюдении доброго во всем порядка».

Самоограничение самодержавной власти законом является принципом, который должен был лечь и в основание реформ Александра I. «Истинный разум всех усовершенствений, – по словам Манифеста 10 января 1810 г., – состоял в том, чтобы по мере просвещения и расширения общественных дел учреждать постепенно образ управления на твердых и неизменяемых основаниях закона». А Сперанский, вдохновитель этих реформ, в своем «Руководстве к познанию законов» видит отличительную черту русского государственного строя в том, что в нем самодержавная власть ограничена законами и действует не иначе, как в пределах закона. Верховная власть по самой природе своей, т.е. в силу того, что она верховная, –

власть неограниченная. Но если в деспотиях она основана на силе и действует произвольно, не признавая себя связанной никакими общими юридическими нормами, то в правильных государственных формах, к каким принадлежит и русская самодержавная монархия, она ставит себе пределы, которые признает для себя обязательными, пока они не будут отменены тем же путем, каким они были установлены. Слово «неограниченность» власти, по определению Сперанского, означает, что никакая другая власть не может положить пределов власти российского самодержца. Но пределы власти, раз установленные, должны быть для него непреложны и священны. «Всякое право, а следовательно и самодержавное, по толику есть право, по колику оно основано на правде. Там, где кончается правда и где начинается неправда, – кончается право и начинается самовластие».

Этот принцип самоограничения самодержавной власти законами выражен в 46-й статье наших Основных законов, которая гласит: «Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих».

Отличительной чертой нашего государственного строя является, таким образом, то, что верховная власть связана не властью организованных общественных факторов, а законами, которыми она определяет пределы и формы своей деятельности.

2. Материальное ограничение власти

Деятельность верховной власти, однако, не только формально ограничена законами, но и материально связана принципами, от воли ее носителей не зависящими.

Являясь источником законов, самодержавная власть, конечно, может всегда отменить их способами и путями, законом определенными, но в этой свободной с формальной точки зрения законодательной деятельности она не может не считаться с теми условиями и требованиями политического быта, на которых покоится ее авторитет и которые являются элементарными условиями государственного порядка.

Одно из таких требований выражено в 41-й статье наших Основных законов, согласно которой «Император, престолом всероссийским обладающий, не может исповедывать иной веры, кроме православной». С формально юридической точки зрения самодержавная власть имеет право отменить эту статью, но она бессильна это сделать ввиду тех религиозных идеалов, которыми живет русский народ. Такими же неприкосновенными для самодержавной власти правилами являются те статьи наших законов, которые определяют порядок престолонаследия. Эта их неприкосновенность для отдельных носителей власти находит свое выражение в

статье 17-й наших Основных законов, которая определяет, что «Император или императрица, престол наследующие, при вступлении на оный и миропомазании обязуются свято наблюдать вышепостановленные законы о наследии престола».

Верховная власть освободительным актом 19 февраля отменила крепостное право, осужденное общественным правосознанием. Но то, что она в согласии с этим сознанием была властна упразднить, она в противоречие с ним бессильна восстановить. Признание за всеми русскими людьми гражданской свободы является теперь также одним из тех устоев, которое безвластно поколебать формально неограниченная самодержавная власть.

Таким же недостижимым принципом является и начало отделения законодательной власти от власти судебной, находящее себе выражение в тех определениях нашего законодательства, которые гласят: «Власть судебная во всем ее объеме принадлежит сенату и местам судебным». «На решение сената жалобы ни в каком случае не допускаются и никем не могут быть принимаемы» (ст. 178 общ. наказ, мин., ст. 1 судеб. учр.).

Авторитет неприкосновенных для самодержавной власти принципов нашего политического быта не определяется давностью их происхождения, а их солидарностью с правосознанием русского народа. Гражданская свобода в России узаконена лишь в 1861 г., отделение суда от законодательства установлено лишь в 1864 г., а между тем принципы эти приобрели авторитет, которому могли бы позавидовать учреждения, освященные вековым прошлым.

Таким принципом является и начало, провозглашенное царским словом 18 февраля, призвавшим зрелые общественные силы к законодательной работе. Хотя этот принцип еще не вылился в соответствующее государственное учреждение, он тем не менее уже теперь является неотразимым требованием русского политического быта и приобрел устойчивость и силу, которыми не могут похвалиться многие из правил, охраняемых многословными и многосложными определениями нашего положительного законодательства. Эта сила заключается в его солидарности с общественным правосознанием, вооружившим самодержавную власть той твердостью, с которой она в знаменательный для России день 5 июня [Правильно: 6 июня. Слова Николая II во время приема депутации Земского съезда. – *И.Б.*] объявила, что ее воля – созывать выборных от народа – воля непреклонная.

3. Привлечение общественных элементов к правительственной деятельности

Русская государственная власть, сознавая свое бессилие при помощи одного административного механизма ввести порядок в управление, дела-

ла неоднократно попытки привлечь общественные силы к правительственной деятельности.

Но эти попытки, которые при Петре не дали никаких сколько-нибудь прочных результатов, а при Екатерине II положили начало искусственной сословной организации по западноевропейскому образцу, не привившейся к русской жизни, не могли увенчаться успехом, пока русский народ распадался на командующие классы и на многомиллионное бесправное население.

Лишь тогда, когда реформами Александра II эти командующие классы были сдвинуты с их господствующей над бесправным населением позиции и когда сложилось общество, объединенное общими правами и обязанностями, лишь тогда была найдена почва, на которой могло осуществиться единение общества и власти в деле совместной государственной работы.

Этот принцип единения и нашел прежде всего выражение в местном управлении – в создании земских и городских органов самоуправления. Эти учреждения, несмотря на все попытки ограничить их авторитет и дискредитировать их в глазах власти, с каждым годом крепили и росли. Они не только стали необходимыми звеньями в системе наших местных учреждений, но и сыграли важную роль в деле общественного и политического воспитания русского народа. Возложенная на них правительственная задача оказалась по силам общественным элементам, которые в этой работе объединились и созрели.

И власть, призвавшая их в 1864 г. к правительственной деятельности в местных учреждениях, актом 18 февраля признала их созревшими к государственной работе высшего порядка. Этот акт является поэтому не чем иным, как признанием неотразимого результата естественной эволюции наших общественных сил, самую власть выведенных на поприще государственной деятельности и на ней окрепших к более тесному единению с этой властью.

Самоограничение верховной власти законами, отражающими народное правосознание, и привлечение общественных элементов к совместной с властью государственной работе являются таким образом теми принципами русского государственного быта, которые выработаны его историческим прошедшим и которые должны определить направление преобразования политического быта России на началах правового государства.

II.

Степень власти и соотношение органов законодательства и верховного управления в обновленном политическом строе России

1. Народное представительство, как орган законодательной власти

Единение власти с народом может получить юридическое выражение лишь путем, который предопределен предшествующим развитием наших государственных учреждений.

Как участие общественных сил в местном управлении выразилось в создании органов власти, являющихся представительством местного общества, так и участие общественных сил в области законодательства и верховного управления, т. е. в общегосударственном управлении, может выразиться лишь в создании органа, который явится представительством всего русского народа.

Создание такого органа будет находиться в соответствии с той тенденцией в развитии нашего политического строя, которое выразилось в постепенной замене личного управления при помощи государевых слуг, действующих по указаниям Царя и по стародавним обычаям, – деятельностью органов власти, компетенция и правила функционирования которых определены законами. До 18 февраля такие органы создавались лишь в области подчиненного управления, знаменательный же акт, которым власть призывает общественные силы к совместной деятельности в области законодательства, ставит на очередь создание таких органов и в области, которая до сего времени составляла сферу непосредственной личной деятельности монарха. Другими словами, *власть, которая ограничивала себя предоставлением определенной степени власти подчиненным органам в области подзаконного управления, актом 18 февраля ограничивает себя и в области надзаконного, и в этой сфере создает новый орган власти – Государственную Думу.*

Потребность в таком органе уже давно назрела.

Государь физически и нравственно не может обнять своей личной деятельностью все те многосложные и разнородные задачи, которые входят в область надзаконной государственной деятельности. Он своими личными силами, которые, будучи силами человека, ограничены, не в состоянии взвесить и детально разработать законы и административные распоряжения, регулирующие во всех направлениях общественную жизнь многомиллионного населения, раскинутого на широком пространстве русской земли. Он поэтому в силу неотразимой необходимости предоставлял в большинстве случаев инициативу и разработку этих законов и распоряжений отдельным лицам и коллегиям. Хотя с формальной точки зрения

Государь в области надзаконной и являлся носителем власти, которая не ограничивалась властью других органов, тем не менее эта его власть фактически была ограничена теми, которым он доверял подготовку решений, нуждавшихся лишь в его формальном утверждении, чтобы стать обязательными актами верховной власти.

Но мы показали выше, что эти лица и коллегии утратили его доверие и что он, минуя их, предоставлял содействующую ему в области законодательства и верховного управления деятельность случайным людям и временным учреждениям. Но воздействие этих случайных людей и временных учреждений на решения верховной власти не могло отличаться устойчивостью и последовательностью и содействовать ее престижу и авторитету.

Во имя этого авторитета существовавшее до сего времени фактическое ограничение власти должно уступить место строго определенному юридическому порядку. Этот порядок должен на место случайного содействия дезорганизованных учреждений и случайных людей поставить законом урегулированное содействие учреждения, устройство которого обеспечило бы единство и планомерность законодательной и правительственной деятельности и ее согласованности с интересами и нуждами народа.

Этим органом и явится Государственная Дума, как орган, обладающий самостоятельной степенью власти в области законодательства и верховного управления.

Единение власти и народа станет действительностью лишь в том случае, если законы, как выражения воли государства, будут решениями, в которых голос Царя сольется с голосом народа, или, говоря юридическим языком, если ни один закон не будет получать своего совершения без утверждения Государя и без согласия народного представительства.

Такое участие народного представительства в законодательной деятельности придаст истинный смысл 47-й статье наших Основных законов, которая требует, чтобы законы, во-первых, исходили от Государя, во-вторых, чтобы они были *твердыми* основаниями государственного управления. Первое условие будет удовлетворено тем, что ни один закон не будет получать обязательной силы без санкции Императора, второе условие – твердость законов – найдет себе выражение тем, что эти законы будут плодом совместной работы Государя и народного представительства, как органа общественного правосознания. Вряд ли может быть сомнение в том, что обязательное участие народного представительства в законодательстве придаст законам больше твердости и устойчивости и вооружит их большим авторитетом, чем необязательное и поэтому непланомерное и случайное участие совещательных учреждений, состоящих из профессио-

нальных должностных лиц, далеко отстоящих от народной жизни и давно утративших престиж в глазах общества.

С достоинством народного представительства, безусловно, не вяжется предоставление ему степени авторитета, одинаковой с учреждениями, состоящими из представителей профессионального чиновничества, и при том таких представителей, высокое положение которых далеко не всегда соответствует их заслугам и дарованиям. «Должности членов наших совещательных учреждений, – говорит профессор Берендтс, – стали не только постами, замещаемыми лицами, коих слова и советы драгоценны, но и креслами, на которых сажали людей, советов коих не желали и голосу которых не доверяли, вследствие их очень невысоких нравственных и умственных качеств... Станный взгляд на безвредность бесполезных членов пустил, к сожалению, глубокие корни. Из государственного совета и сената он перешел в совет военный, адмиралтейство, в совет министров, в совет опекунский. *Все совещательные учреждения по очереди грозили превратиться в инвалидные команды*».

Предоставить полномочия, которыми пользуются совещательные учреждения, заслужившие такие отзывы, тому народному представительству, которое должно обновить политический строй России, значит подорвать государственную реформу в самом ее жизненном корне, значит создать учреждение, которое в силу своего состава будет пользоваться доверием народа, а своими полномочиями – свидетельствовать о недоверии к нему власти, значит не объединять в общей работе Царя и народ, а создать между ними неотразимое разъединение и неотвратимый разлад.

Государственный порядок, при котором законы издаются без участия народного представительства, предпочтительнее политического строя, при котором хотя и существует народное представительство, но его участие не является необходимым условием обязательной силы закона. В государстве первого порядка отношение народного голоса, не имеющего органа для своего выражения, остается скрытым, и существует презумпция, что изданный верховной властью закон соответствует интересам народа, если даже отдельные голоса, не уполномоченные на то законом, против него и возражают. В государстве же, в котором, с одной стороны, существует народное представительство, с другой же – возможны законы, состоявшиеся вопреки его постановлению, эта презумпция отпадает. Несогласие с народным голосом закона, состоявшегося наперекор постановлению народного представительства, получает здесь формальное признание и официальную огласку. А такие конфликты между предписанием власти и требованиями народа, такой формально засвидетельствованный разлад между положительным законом и общественным правосознанием будет иметь самые тяжелые последствия; он возбудит недоверие к власти

и подорвет уважение к закону, другими словами, поколеблет самые устои государственного правопорядка.

Одно из двух: или народному представительству не суждено войти органическим звеном в систему наших государственных учреждений, или оно станет органом законодательной власти, без участия которого ни один закон не может получить своего совершения.

2. Народное представительство как орган верховного управления

Солидарность между актом государства и интересами и нуждами народа устанавливается не только тем, что народное представительство является органом законодательной власти, но и тем, что оно принимает участие в верховном управлении. Такими актами являются утверждение государственной росписи и установление податей и налогов. Мы сказали выше, что это участие народного представительства в финансовом управлении является тем средством, при помощи которого народное представительство регулирует деятельность органов управления, насколько эта деятельность не может быть предопределена и предусмотрена исходящими от народного представительства законами. Все те предметы верховного финансового управления поэтому, которые входят в настоящее время в круг ведомства государственного совета, как совещательного учреждения, с учреждением у нас народного представительства должны перейти к этому учреждению, но не как к совещательной коллегии, а как к органу, обладающему самостоятельной степенью власти.

3. Подзаконность управления

Государственная реформа, которая должна обновить наш политический строй, не может, однако, ограничиться введением народного представительства в систему наших государственных учреждений.

Для того чтобы Россия управлялась на твердых основаниях законов, недостаточно, чтобы эти законы были устойчивы своей солидарностью с народным правосознанием, необходимо также, чтобы они твердо и неуклонно исполнялись и чтобы они служили действительною охраною тех благ, которые являются непременными условиями материального и духовного развития человека, чтобы они действительно защищали неприкосновенность личности, свободу слова и свободу вероисповедания.

Начало закономерности в управлении, которое провозглашается статьей 47-й наших Основных законов, но которое не могло найти себе осуществление при существовавшем у нас административном строе, – это начало закономерности должно стать теперь действительностью.

Главным условием закономерности является, как мы показали выше, строгое разграничение закона от административного распоряжения.

Это условие, с введением народного представительства, найдет себе удовлетворение тем, что законами будут признаваться лишь те нормы, которые получают свое совершение при участии народного представительства; все же акты власти, которые состоятся без этого участия, будут правительственными распоряжениями, подчиненными закону и имеющими обязательную силу лишь постольку, поскольку они согласны с законом.

На стражу закономерности административных распоряжений и актов правительственной власти вообще должны выступить независимые как от законодательной, так и от административной власти судебные инстанции, привлекающие к ответственности правительственных лиц и учреждения, своими распоряжениями нарушающих закон. Во главе этих судебных мест должен стать реорганизованный и обновленный в своем составе сенат, который перестанет быть складочным местом, принимающим для напечатания и опубликования всякие препровождаемые ему министрами распоряжения, а подыметесь на высоту хранителя законов и законности, отменяющего административные повеления, несогласные с законом, и обнародывающего лишь те законы, которые состоялись при соблюдении всех условий, установленных основными законами страны.

4. Политическая солидарность органов законодательства и верховного управления

Но правительственная деятельность не только должна стать строго закономерной, она должна быть и проникнута политическими началами, которые вносили бы единство и планомерность в ее деятельность и которые были бы солидарны с политическими принципами, направляющими деятельность законодательных органов.

Мы сказали выше, что правительственная власть не исчерпывается одним исполнением законов и совершением актов, предусмотренных и урегулированных законом: она правит и в сфере, в которой ее деятельность определяется не юридическими нормами, а началами целесообразности. Установление этих начал не может быть предоставлено усмотрению представителей правительственной власти. Они должны вытекать и определяться политической программой, объединяющей органы верховного управления и законодательства, другими словами, они должны устанавливаться Государем в согласии с народным представительством.

В соответствии с этим требованием должны быть реорганизованы наши высшие центральные учреждения. Они должны уступить место однородному министерству, в компетенцию которого входили бы все без изъятия административные задачи, распределенные без остатка между отдельными министрами. *Эти министры, назначаемые Государем, должны*

не только нести юридическую ответственность за закономерность своих правительственных актов, но и политическую ответственность за солидарность этих актов с принципами верховной политики, объединяющей Царя с народом в их общей государственной работе. Государь дает отставку министерству, нарушившему эту солидарность, и назначает новых министров, берущих на себя обязательство действовать в согласии с принципами верховной политики, исходящей от органов, призванных служить выражением народного правосознания.

Мы не будем указывать на дальнейшее преобразование в нашем государственном строе, вытекающее из установленных нами начал.

Наша задача заключалась не в том, чтобы хотя бы в самых общих чертах наметить план государственного преобразования России, а в том, чтобы показать, что обновление русского политического строя на началах правового государства, соответствуя принципам, заложенным в наш государственный быт его строителями, будет лишь дальнейшим шагом вперед по тому пути, по которому шло развитие нашего общественного сознания со времени приобщения русского государства к общекультурной жизни цивилизованных народов.

Не во имя отвлеченных начал свободы, равенства и братства русское общество взывает о защите русского гражданина от полицейского произвола и административного усмотрения, а во имя человеческого достоинства русского гражданина, во имя начала, которое вдохновило верховного законодателя, давшего своему народу освободительную грамоту 19 февраля, того законодателя, который хотел быть и «на престоле человеком». Не во имя абстрактной доктрины народного суверенитета русское общество ждет народного представительства, а во имя веры в свои силы и в сознании того, что только совместная работа Царя с народом, возвешенная актом 18 февраля, может дать этому народу законы устойчивые и авторитетные. Не во имя теории о разделении властей русское общество жаждет реформы, которая поставила бы закон превыше людского произвола, а во имя того горького опыта, который Россия вынесла из векового бесправия и произвола сильных людей, во имя тех начал, которые были провозглашены еще Петром в Указе 1721 г., но которые были бессильны пустить корни в приказной России и которые могут дать плодоносные ростки лишь на почве, возделанной свободными и живыми общественными силами русского народа.

Обновление России на началах правового государства создаст в нашем отечестве условия политического существования, которые общи всем народам современной культуры.

Но это средство государственных учреждений обновленной России с учреждениями опередивших нас в своем политическом развитии народов менее всего должно смущать нас. В самом деле, если государственная

реформа, которая вызвана настоятельными нуждами русской действительности, даст России учреждения, аналогичные учреждениям Запада, то неужели они не будут хороши для русского народа только потому, что они хороши для других народов? То, что добро для других, неужели явится злом для нас?

Мы должны отойти от зла, хотя бы оно было и нашим, и сотворить благо, хотя бы оно было и чужим. Мы должны отойти от своего зла и сделать чуждое благо своим, родным благом.

Но мы сделаем чужое благо своим не потому, что оно чужое, а потому что оно – благо.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СПЕКТОРСКИЙ
(1875–1951)

Философ, правовед. В 1898 г. окончил юридический факультет Варшавского университета. Преподавал в Варшавском (1903–1913) и Киевском (св. Владимира) (1913–1917) университетах. Доктор государственного права (1917; Московский университет). В 1918–1919 гг. ректор Киевского университета. С 1920 г. в эмиграции. Профессор Белградского (1920–1924, 1927–1930) и Люблянского (1930–1944) университетов, Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (1947–1951), председатель Русской академической группы в Чехословакии (1925–1927) и США (1948–1951). Труды Спекторского посвящены проблемам социальной философии, ее истории (прежде всего в эпоху античности и в XVI в.), исторической семантики ряда терминов и понятий социальных наук, методологии обществоведения, теории права и государства, истории русской культуры и внешней политики России в XIX – начале XX в. По своим политическим воззрениям Спекторский был убежденным сторонником конституционализма в его истинной форме, не соответствующего, как он считал, реальностям строя, утвердившегося в России после 1905 г., т.е. так называемому мнимому конституционализму. В 1917 г. им были изданы три брошюры популяризаторского характера, рассматривающие с присущей всем его работам методологической четкостью и концептуальностью анализа важнейшие проблемы времени: «Государство», «Учредительное собрание и Конституция», «Что такое Конституция».

В последней брошюре, представленной в этом издании, Спекторский писал: «И мы, подобно континентальным государствам Запада Европы, прошли через стадию лжеконституционализма. И теперь нам предстоит путь истинного конституционализма, когда государственная власть не на словах только, а на деле ограничена признанием за населением публичных прав или политической свободы».

Следуя установившемуся различению «писаных» и «неписаных» конституций, он подчеркивал, что «писаная» конституция, т.е. в конкретном случае та, которая будет принята в России «волею народа» Учредительным собранием, должна содержать в себе только «законы об органи-

зации публичных властей, а также законы о публичных правах населения, ограничивающих эти власти». Конституция, по словам Спекторского, «вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса. Зато без нее нельзя разрешить ни одного вопроса».

И.Л. Беленький

Е.В. СПЕКТОРСКИЙ

ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ?¹

Понятие конституции нуждается и в объяснении, и в оправдании. Объяснить его необходимо потому, что и друзья, и враги конституции часто понимают ее превратно. Оправдать необходимо потому, что многие, правильно понимая сущность конституции, относятся к ней равнодушно и даже враждебно.

Когда в 1825 г. декабристы впервые громко и смело заговорили о конституции и вышли вместе со столичными войсками на площадь с требованием ее, некоторые из солдат, поддерживавших их, на вопрос о том, что они собственно разумеют под конституцией, ответили: жену Константина (брата Александра I, отрекшегося после его смерти от престола в пользу другого брата, Николая I). Теперь многие, замечая, что республике обыкновенно противопоставляют конституционную монархию, думают, что где республика, там уже нет и не может быть конституции; и посему в призыве к конституции они видят призыв к монархии; отрекаясь от монархии, они отрекаются и от конституции. Здесь, очевидно, происходит недоразумение. Всякое культурное государство, республиканское или монархическое безразлично, должно быть государством конституционным; и если сторонники культурной монархии настаивают на ее конституционности, то этим они хотят подчеркнуть свое неодобрение монархии абсолютной или лжеконституционной. Но это, конечно, нисколько не значит, что где конституция, там непременно и монархия. Другое недоразумение вызывается тем, что одна из наших политических партий именуется конституционно-демократической (сокращенно к.-д., или «кадетской»). И вот многим кажется, что стоять за конституцию – это значит стоять за кадетскую партию; и наоборот, кто против кадетской партии, тот, значит, и против конституции. Но конституция нужна не одним только кадетам. И не они одни стоят за нее, как не они одни стоят за «народную свободу» (другое название или, так сказать, другая форма этой партии). Словом, и в данном случае происходит недоразумение.

¹ Печатается по изд.: Спекторский Е.В. Что такое конституция? – М., 1917. – 16 с.

Таковы примеры очевидного непонимания конституции. Равнодушные к ней проявляют те, которым кажется, как и двадцать три века тому назад древнему греческому государствоведу Аристотелю, что главным признаком той или иной политической формы является число правящих лиц. И сообразно с этим в поисках наиболее предпочтительной формы они различают монархию, аристократию и республику, иначе говоря, государства, где правят один или некоторые, или многие. Но такое деление было уместно лишь во время Аристотеля. В условиях же нашей современности было бы правильнее разбирать государства абсолютное, лжеконституционное и делать выбор именно среди этих форм. Однако сила традиции такова, что многие предпочитают различать государства с тем или иным числом правящих лиц, чем государства конституционные и неконституционные.

Кроме непонимающих конституции и равнодушных к ней, нет недостатка и в таких лицах и группах, которые правильно понимают, что такое конституция, и тем не менее относятся к ней враждебно. Это особенно часто встречается у нас в России. Во враждебном отношении к конституции сходились и сходятся люди самых различных и даже, казалось бы, противоположных убеждений. Прежде всего конституционное начало, т.е. признание необходимости прочного внешнего порядка государственной жизни, основанного на законе, встречает сильное противодействие в весьма свойственном славянской натуре отрицательном отношении к государству вообще, в ее склонности к анархии, т.е. безначалию. Недаром многие крупные вожди анархизма вышли именно из славянской среды. У одних, как у Бакунина, проповедь анархии носила бурный, революционный характер. У других, как у Хильчицкого в старой, бывшей когда-то самостоятельным государством Чехии, или как у Л.Н. Толстого в России, эта проповедь носила характер мирного непротивления злу. Но и в том и в другом случае конституционное государство не вызвало симпатии уже просто потому, что это все-таки государство. Особенно много приверженцев имела в России вторая разновидность славянского анархизма. Она основана на идеале личной святости, нравственного совершенства отдельной личности. Кто желает исполнить свой долг, как личный, так и общественный, тот должен прислушиваться только к внутреннему голосу своей собственной совести. Всякого же рода внешние предписания, исходящие от государственной власти, считаются насилием над личностью. И всякого рода культурные блага, которые могут доставить человеку эти предписания, рассматриваются как нечто суетное, греховное, не приближающее человека к царству Божию, которое внутри нас. Основываясь на таком убеждении, одни, как Толстой, совершенно отвергают какое бы то ни было государство, ибо всякое государство есть зло. Другие признают государство, но злое, основанное не на праве, а на силе и произволе, ибо в та-

ком государстве больше поводов для подвигов личной святости; так, например К.Н. Леонтьев обращал внимание на то, что при турецком режиме бывали и святые, а при бельгийской конституции немыслимы даже угодники. Третьи мечтают о добром государстве. Но таким государством они считают не конституционное, основанное на внешней правде, на юридическом законе, на гарантиях взаимных прав и обязанностей как властвующих, так и подвластных, а патриархальное, основанное на взаимной любви и доверии, на внутренней правде. Так именно учили наши славянофилы. Так высказывался и Достоевский. Конституционное государство, о котором мечтали так называемые западники, бывшие отчасти предтечами нынешней кадетской партии, оказывалось с этой точки зрения ненужным для России порождением гнилого Запада: ведь в нем все основано на внешней правде, все нуждается в гарантиях, дело делается не за совесть, а за страх. И такой взгляд мог иметь большой успех вследствие слабого развития гражданственности и правосознания у русского общества. «Русский народ не государственный», – настойчиво твердил К.С. Аксаков. И, как иронически объяснял поэт Алмазов,

Широки природы русские.
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

Такая проповедь политической маниловщины или даже нирваны, конечно, вела к полному пренебрежению конституционными идеями. Однако необходимо заметить, что и те течения, которые стали стремиться к деятельному влиянию на государство и его жизнь, делают это не через конституцию, а без нее и без потребности в ней. Так, когда появились у нас народовольцы, эти предшественники нынешних социалистов-революционеров, они выдвинули требование «земли и воли». Иными словами, воля, т.е. свобода, т.е. то именно, что и гарантируется конституцией, было оставлено на втором месте после земли. Аграрная, земельная задача вытеснила политическую задачу, превратила ее в нечто дополнительное, в какой-то придаток, не могущий притязать на самодовлеющее, тем более руководящее значение. Еще дальше пошли в этом отношении наши марксисты, или исторические материалисты, эти предшественники нынешних социал-демократов. Они усвоили учение Карла Маркса, согласно которому конституционные и всякие иные правовые и государственные идеи и установления не имеют ни решающего, ни вообще существенного значения, ибо главное в общественной жизни – это борьба экономических классов, преимущественно капиталистов и рабочих, за хозяйственные блага. В этой борьбе конституции и кодексы как бы сами собой, автоматически надстраиваются над экономическим фундаментом общества, отражая су-

ществоющее в нем реальное соотношение сил. С точки зрения такого понимания вещей бесплодны все усилия юристов и политиков дать своей стране возможно лучшую конституцию или вообще какую бы то ни было искусственную конституцию: ведь у каждой страны и без этих усилий есть своя совершенно естественная конституция, иными словами, реальное соотношение общественных сил. Как объяснял другой немецкий социалист Лассаль в речи «О сущности конституции», сущность прусской конституции состоит вовсе не в статьях основных законов, составленных юристами, а во взаимодействии сил короля, опирающегося на армию, дворянства, владеющего поместьями, промышленников, купцов, но также и ремесленников и рабочих, поскольку они тоже представляют реальную силу.

Все эти рассуждения ошибочны в двояком отношении. Во-первых, они основаны на смешении права и факта. Одно дело правомерное соотношение сил, другое дело фактическое. Когда убийца или грабитель нападает на свою незащищенную жертву, получается вполне определенное реальное соотношение сил в данный, по крайней мере, момент. Но кто станет утверждать, что такое соотношение и есть единственно возможное право? Во-вторых, как бы ни была непримирима экономическая борьба классов, есть известные блага, предоставляемые конституцией, которые равно ценны для каждого человека, независимо от его принадлежности к тому или иному классу. И капиталисты, и рабочий, и горожанин, и крестьянин равно заинтересованы в том, чтобы не подвергаться произвольному аресту, иметь право свободно высказывать свои мнения, участвовать в управлении страной и т.п. Словом, конституция есть нечто такое, что, нисколько не устраняя классовую борьбу и отнюдь не обещая этого, равно необходима для всех, подобно просвещению и другим благам культуры. Тем не менее у нас очень распространено убеждение, что вне экономических классов и их борьбы нет и не может быть ничего в обществе, что подобно с этим у каждого общества имеется и без юристов своя естественная, стихийная конституция и что стремление к искусственной конституции соответствует идеологии и интересам лишь господствующей в настоящее время буржуазии.

Конституционное начало встречает немало и других возражений и притом не только в реакционных, но также и в революционных кругах. Одни отвергают его во имя так называемой диктатуры – диктатуры рабочего класса, пролетариата и т.п. групп. При этом они упускают из виду, что диктатура – это ничем не ограниченная, самодержавная власть. И такая власть всегда может выродиться в произвол и даже деспотизм, совершенно независимо от того, принадлежит ли она одному лицу, например монарху, или же представителям класса, а то и целому классу. Власть всегда опьяняет тех, кто ею пользуется. И чем сильнее власть, тем больше опасность злоупотребления ею. Другие отвергают конституцию потому,

что она рассчитана на мирное, органическое течение государственной жизни. Они же, мятежные, ищут бури. Они предпочитают течение критическое. Они – сторонники непрерывной («перманентной») революции. Но при этом они упускают из виду, что революция – это как бы лихорадка общественного тела. Временная лихорадка обновляет организм, постоянная же убивает его. А кроме того, после лихорадочного возбуждения обыкновенно наступает слабость, апатия, усталость. И вот нельзя рассчитывать на то, чтобы революционное возбуждение длилось годами и даже вечно. Люди не могут долго выдержать напряженного ожидания переворотов, когда завтра, завтра утром, а может быть, еще и сегодня вечером может наступить полное изменение всех общественных и политических отношений. Опыт истории слишком убедительно показывает, что за эпохами революционного подъема неизбежно следуют такие времена, когда общество устаёт, впадает в апатию, теряет веру не только в революции, но даже и в реформы. Тогда оно отказывается от сознательного переустройства своей жизни и предоставляет себя во власть или естественного, косного течения событий, или даже реакционных сил, которые обыкновенно в это время поднимают голову и торжествуют. И вот очень неосмотрительно поступают те, которые, пренебрегая этим обычным исходом революционных движений, тешат себя и других иллюзией вечной революции и не спешат использовать революционный кризис для того, чтобы закрепить фактическую свободу, превратить ее в правомерную и тем достойно подготовиться к борьбе с апатией и реакцией.

Таким образом, конституция необходима для всякого государства. Особенно она необходима для государства, переживающего революцию. Мало сбросить устаревшие формы политической жизни. Необходимо установить новые формы. Мало завоевать свободу. Необходимо ее обеспечить. И обеспечить ее надлежит не только силой, ибо сила может иссякнуть или столкнуться с большей и враждебной силой, а правом и законом. Какое же обеспечение делает данное государство конституционным? Иными словами, что такое конституционное государство?

Прежде всего это такое государство, в котором власть организована, имеет характер учреждения. Сообразно с этим известный и бесконечный спор о том, что предпочтительнее – учреждения или люди, конституция решает в пользу учреждений. Сообразно с этим же все те, кто убежден, что важнее всего настоящий человек на настоящем месте, склонны недостаточно ценить пользу конституции. Когда Наполеону I более или менее робко напоминали, что, кроме его личности и его воли, есть еще закон, конституция, наконец, трон, который он занимал, он совершенно выходил из себя: «Трон, – объяснял он в 1814 г. при приеме законодательной палаты, – это не более как четыре куска золоченого дерева, покрытого бархатом; настоящий трон – это я, с моей волей, с моим характером, с моей из-

вестностью; и я могу спасти Францию». Когда у нас Александр I хотел или, по крайней мере, делал вид, что хотел дать России конституцию, окружавшие его лица отговаривали его на том основании, что он сам – наилучшая конституция. Более правильно рассуждали те, которые, веря, по-видимому, в искренность его добрых намерений, обращали внимание на то, что он только счастливая случайность. Талантливые, творческие натуры – это дело случая. И, конечно, не конституции их создают. Зато конституции стремятся создать такие условия, чтобы общее дело не страдало и тогда, когда таких натур нет. А кроме того, они стремятся к тому, чтобы настоящие люди действительно очутились на настоящих местах, иными словами, чтобы политические дарования не пропадали в тени, а получали возможность выдвигаться и действовать.

Но этого еще мало. В государстве власть может быть уже организована. И тем не менее это еще не непременно конституционное государство. Для этого необходим еще один признак: власть должна быть ограничена. Неограниченная власть не может быть конституционной. Сообразно с этим никакое самодержавие, никакая диктатура недопустимы при конституционном строе. Сообразно с этим же, вступая на конституционный путь, власть обязательно должна поступиться многим, должна сама себя ограничить. Если монарх жалует («октроирует») стране конституцию, он отрекается от полноты своих державных прав и уступает часть их своим подданным. Если державный народ на учредительном собрании учреждает конституционное государство, он тоже отказывается от неограниченной власти и обязуется властвовать только согласно с правом, с основными законами – по крайней мере, впредь до правомерного пересмотра этих законов.

Однако не всякое ограничение власти есть вместе с тем и конституционное ограничение. Лица и учреждения, ограничивающие государственную власть, должны это делать по праву, иметь законное право и обязанность ограничивать. Иначе получится не право, а факт, факт более или менее случайного, временного и закулисного влияния на тех или иных носителей власти. Таковы всевозможные придворные влияния, имевшие место во всех монархических странах под тем или иным названием: в Испании – камарилья, во Франции – фаворитизм и антураж, в Англии – кабль, у нас недавно – темные силы. Таково же давление на власть или просто уличной толпы, или же более или менее могущественных общественных групп (объединенного дворянства, промышленных синдикатов, сахарозаводчиков, духовенства и т.п.). Как бы ни были значительны все эти влияния, как бы они ни ограничивали фактически государственную власть, они не устанавливают конституционного ограничения этой власти, если они не действуют на основании права и закона.

Но и этого еще мало. Бывают случаи не фактического только, но и правомерного ограничения власти. И тем не менее при этом все еще нет конституционного государства. Так, например, в Древнем Египте власть фараонов была сильно ограничена жрецами. Жрецы контролировали их при жизни и судили после смерти, судили так строго, что иногда выбрасывали их тела из тех могил, которые они сооружали себе в течение всей своей жизни и которые именовались пирамидами. Это влияние жречества основывалось не на одном лишь факте, а на праве, на обычном праве страны. И тем не менее оно не делало Египет конституционной страной, как не делал и старая Испания такой страной стеснительный придворный этикет, чрезвычайно ограничивавший ее королей. Признаком конституционного государства является не всякое вообще правомерное ограничение власти в нем, а лишь такое, которое устанавливает публичную свободу или публичные права населения.

Мы различаем двоякую свободу людей – стихийную, или естественную, и правомерную, которая, в свою очередь, подразделяется на гражданскую, или частную, и публичную. Стихийная или естественная свобода состоит в ничем не ограниченном праве каждого и всех делать решительно все, что им заблагорассудится, не считаясь ни с интересами других лиц, ни с предписаниями нравственности, справедливости, права. Иным может показаться, что нет ничего лучше и желательнее именно такой свободы. Но если вдуматься в то, что должно произойти и действительно происходит, когда люди признают и проявляют только такую свободу, то мы легко поймем всю ее неудовлетворительность. Ведь тогда каждого можно упрекнуть: ты для себя лишь хочешь воли. У каждого человека окажется столько права, сколько свободы, и столько свободы, сколько силы. Тогда водворится грубое царство силы, не введенной ни в какие законные рамки. Тогда, как учили государствоведы еще XVII в., двести с лишним лет тому назад, должна установиться война всех против всех или волчье царство, когда люди, как голодные волки, набрасываются друг на друга. Вот почему ни в каком государстве не может существовать такая естественная, стихийная свобода. Она может водвориться лишь временно, в переходные революционные эпохи, когда старой власти уже нет, а новой еще нет, когда ослабевают и бездействуют предписания, сдерживающие человеческий эгоизм, и когда многие опьяняются непривычным молодым вином свободы. Там же, где существует какой бы то ни было общественный порядок, возможна уже не стихийная, безграничная, а правомерная, уже более или менее ограниченная свобода. Такая свобода делится – на гражданскую и политическую. Гражданская свобода означает право частных лиц устраивать свои частные имущественные или семейные дела, т.е. покупать, продавать, заключать всякого рода иные договоры, вступать в брак и т.п. Такая свобода признается и в неконституционных государствах. За-

то политическая свобода встречается только в конституционном государстве. Такая свобода делится на отрицательную и положительную. Отрицательная политическая свобода – это, так сказать, свобода от государственной власти и ее воздействия, иными словами, право граждан свободно устраивать свою общественную жизнь и выражать свою общественную мысль и волю (путем слова, печати, собраний, союзов и т.п.). Положительная политическая свобода – это право граждан законно влиять на состав государственной власти и на ее деятельность, что осуществляется главным образом путем предоставления им избирательного права, активного и пассивного. И вот конституционным государством является такое, где власть не только организована, но еще и ограничена и притом не фактически только, а юридически или правомерно, ограничена же она не чем иным, как признанием за населением публичных прав, или политической свободы. Осуществляя эти права, население превращается из управляемых подданных в самоуправляющихся граждан.

Такому, конституционному, государству противопоставляются государства абсолютное и лжеконституционное. Абсолютное государство – это такое, в котором власть решительно ничем не ограничена. Сообразно с этим все, что ей заблагорассудится, все, что она прикажет, обязательно для населения. Абсолютизм возможен не только в наследственной и самодержавной монархии, но также и в государствах с демократическим источником власти: таковы случаи цезаризма (от римского Юлия Цезаря, которому следовали во Франции оба Наполеона, особенно третий), когда одно лицо, заручившись согласием и поддержкой народа путем более или менее демагогических приемов, начинает править самодержавно; таковы же случаи диктатуры пролетариата и вообще широких масс. Лжеконституционное государство – это государство, имеющее только видимость конституционных учреждений, в действительности же склоняющееся к абсолютизму. Через такую форму прошли континентальные государства Запады Европы. Через такую же форму прошли и мы. Тот строй, который установился у нас после 1905 г., был типично лжеконституционным строем. Это видно хотя бы из той характеристики, которую ему давал альманах Готы, этот адрес-календарь государств всего мира. Россия – это «конституционная монархия, под самодержавным царем»; это значит, иными словами, ограниченное государство с неограниченной властью. Лжеконституционный характер нашего недавнего строя хорошо определил и один из наших министров – Коковцов, когда на одном заседании Государственной думы он объявил: «У нас, слава Богу, нет парламента». Таким образом, и мы, подобно континентальным государствам Запады Европы, прошли через стадию лжеконституционализма. И теперь нам предстоит путь истинного конституционализма, когда государственная власть не на сло-

вах только, а на деле ограничена признанием за населением публичных прав или политической свободы.

Совокупность таких ограничений образует конституцию данной страны, не ту, о которой говорил Лассаль и которая представляет лишь фактический учет реальных сил страны, а ту, о которой учат юристы и для которой право выше факта. Конституции делятся на неписанные и писанные. Образцом страны с неписаной конституцией является Англия, в которой уже около семисот лет тому назад власть стала ограничиваться публичными правами граждан, причем многие ограничения вырабатывались и передавались из поколения в поколение путем предания, без записи и без издания соответственных законов. Странам континента Европы, особенно же России, в этом отношении менее посчастливилось, чем Англии: приходится искусственно устанавливать на будущее время то, чем она гордится как наследием седой старины. Писанные конституции не столько записывают уже сложившийся порядок ограничения государственной власти, сколько устанавливают такой порядок на будущее время. В этом и сила их, и слабость. Сила в том, что здесь открывается простор для политического творчества, для сознательного и планомерного государственного строительства. Слабость в том, что конституция может не войти в жизнь и остаться только на бумаге, как это было, например, с турецкой Конституцией 1876 г., или же оказаться очень непрочной: так, например, в первой половине XIX в. в течение 32 лет Мексике пришлось перепробовать целых 48 писанных конституций.

По способу происхождения писанные конституции делятся на пожалованные, или октроированные, и устанавливаемые волей народа. Конституция октроируется тогда, когда монарх, обладающий всей полнотой державной власти, сам себя ограничивает и уступает населению те или иные публичные права. За вычетом этих уступок вся полнота власти по-прежнему остается у монарха. Иной характер конституций, устанавливаемых волей народа (обыкновенно на учредительном собрании). Здесь вся полнота власти принадлежит народу. Ему принадлежит власть учреждающая. От него же происходят и власти учреждаемые.

По степени легкости изменения в будущем конституции делятся на твердые и гибкие. Твердые конституции – это такие, которые составляются раз навсегда и которые, сообразно с этим, или совсем не подлежат изменению, или же могут быть изменены с большим трудом, путем очень сложной процедуры, созыва специальных учредительных собраний или же обычных законодательных собраний, но с новым составом депутатов и с решением вопросов путем усиленного («квалифицированного») большинства и т.п. В основе каждой твердой конституции лежат две идеи. Во-первых, ее авторам кажется, что они и могут и должны все решительно предусмотреть и притом на вечные времена – подобно тому как в старину

условия мира после войны обыкновенно тоже составлялись на вечные времена (что, однако, нисколько не предотвращало новых войн, начинавшихся нередко очень скоро после заключения мира). Во-вторых, авторы твердых конституций убеждены, что в политике, как и в математике или логике, есть вечные истины, вечно настоящие, обязательные для всех времен. И вот им кажется, что настоящая конституция каждой страны и должна быть такой вечно истинной конституцией. Так, например, в XVIII в. многие считали необходимой принадлежностью истинного устройства власти ее деление, согласно учению французского писателя Монтескье, на три самостоятельные власти – законодательную, исполнительную и судебную. В разделение властей верили до того, что, например, философ Кант истолковывал христианский догмат троичности Божества в смысле разделения небесных властей тоже на законодательную, исполнительную и судебную. Известная французская Декларация прав 1789 г. провозглашала, что государство, в котором не установлено разделение властей, не имеет конституции. Основываясь на этой вере, авторы Конституции Североамериканских штатов положили в ее основание начало разделения властей. Это начало действует в Америке и до сих пор, спустя сто тридцать лет, и является препятствием к принятию Америкой т.н. парламентаризма, т.е. зависимости исполнительной власти министров от законодательной власти палаты представителей.

Гибкие конституции построены на двух началах. Во-первых, на мысли о том, что не следует делать различия между учредительной и законодательной властью, между основными законами и обыкновенными. Такое различие еще уместно в странах с сильной монархической властью, позволяющей подданным участвовать в обычном, будничном законодательстве и сохраняющей за собой распоряжение основными законами в порядке пожалования. Но в странах демократических, где даже и при наличии королевской власти, как в Англии, законодательство в полном объеме принадлежит палатам народных представителей, о таком различии не может быть и речи. Там действует иное начало – верховенство законодательных палат и их всемогущество. Таково, например, всемогущество английского парламента, который, как говорят, не может сделать только одного – превратить мужчину в женщину и обратно. Все же остальное он может сделать, значит, также и изменить ту или иную часть английской конституции. Кроме того, авторы гибких конституций полагают, что в политике все относительно, нет ничего вечного и что сообразно с этим не следует связывать воли будущих поколений, господствовать над ними из могилы. Один из авторов французской Конституции 1793 г. Кондорсе, который, будучи сам крупным математиком, слишком хорошо понимал, как велика разница между математическими и политическими истинами, предлагал даже обязательно созывать новое учредительное собрание через

каждые 20 лет, т.е. с появлением каждого нового поколения, которое могло бы сознательно пересмотреть и усовершенствовать работу предшествовавшего поколения.

Некоторые конституции являются полугибкими-полутвердыми. Такова, например, нынешняя французская Конституция. С одной стороны, она может быть сравнительно легко изменена, хотя и не в совсем обычном законодательном порядке: проект изменения голосуется сначала в обеих палатах отдельно, затем в их соединенном заседании, причем требуется усиленное большинство голосов. Но, с другой стороны, одна особенность французской Конституции, так сказать, бронирована навсегда: это именно республиканская форма правления; она ни в коем случае не может быть отменена. Таким образом, у Франции есть законные пути для изменения избирательной системы, перехода от двухпалатной системы представительства к однопалатной, расширения или сокращения власти президента и т.п. Но для перехода от республики к монархии законных путей нет. Такой переход возможен только в виде насильственного переворота.

Вопрос о том, какая конституция предпочтительнее – гибкая ли или же твердая, решается далеко не единодушно. В пользу твердых конституций говорит то, что они стремятся создать прочный государственный порядок и установить незыблемые принципы общежития людей. Но против них говорит то, что они лишают будущие поколения возможности перестраивать свою жизнь мирным путем и, в случае накопления слишком большого недовольства старым строем, толкают их на путь революции. В пользу гибких конституций говорит то, что они считаются и с эволюцией, т.е. развитием жизни с течением времени, и с необходимостью реформ. Против них говорит то, что они как будто не видят никакой разницы между изменением государственного строя и так называемой законодательной вермишелью, т.е. мелкими законами, которые в большом количестве чуть не ежедневно проходят через палаты представителей при случайном составе депутатов.

Может возникнуть вопрос, что должна в себе содержать писаная конституция и чего в ней не должно быть. Она должна содержать в себе законы об организации публичных властей, а также законы о публичных правах населения, ограничивающих эти власти. Этой последней стороне дела во время Французской революции 1789 г. придавали такое большое значение, что, прежде, чем составлять конституцию, составили знаменитую Декларацию прав человека и гражданина. В нынешней французской Конституции 1875 г. нет ни такой декларации, ни даже особого перечисления политических свобод граждан. Это, конечно, не значит, что эти свободы не признаются во Франции и что они не ограничивают ее властей. Это просто значит, что эти свободы еще до Конституции получили признание и судебную защиту. И посему там можно уже обойтись без специ-

ального упоминания о них, чего никак нельзя сказать про более отсталые в политическом отношении страны.

Вот собственно и все, что должно быть в писаной конституции. Против этого одного погрешают многие конституции. В них много таких постановлений, которые относятся собственно к обычному законодательству и которые только загромождают конституцию. Так, например, прусская конституция предусматривает, что народные учителя будут получать казенное жалование, германская устанавливает понижение железнодорожного тарифа, швейцарская – воспрещение убоя скота по еврейскому ритуалу, конституции отдельных американских штатов – законы против пьянства, азартной игры, проституции и т.п. Все эти законы попадают в конституции или вследствие того, что им придают особую важность, или потому, что не различают по существу конституционных и обыкновенных законов, или, наконец, потому, что, как в Америке, обыкновенный закон может быть отменен судом вследствие его несоответствия конституции, а конституционный закон судом уже отменен быть не может; и поэтому всякого рода мероприятия против пьянства, игры и распутства, как нарушающие гарантированную конституцией свободу личности распоряжаться собой хотя бы и во вред самой себе, могут получить силу закона только путем включения в конституцию.

Наконец, в настоящей конституции не должно быть никаких экономических принципов, никаких экономических законов. Авторы французской Конституции 1848 г. хотели было включить в нее право на труд, но затем отказались от этого. Как бы ни были важны экономические проблемы, как бы неотложно ни было их разрешение, оно должно быть сделано в порядке особого социального законодательства. И оно не должно осложнять собой конституции. Конечно, в благоустроенном государстве нельзя обойтись без обширной социальной политики. Но относительно ее задач и размера отдельные люди и классы, вероятно, еще долго будут спорить, тогда как относительно основ благоустроенной государственной жизни эти же самые люди и классы скорее могут прийти к соглашению. Так, например, по вопросам политическим программа-минимум социалистов почти совершенно совпадает с программой так называемых буржуазных партий, что отнюдь не мешает им расходиться в своих экономических программах. Посему выработка конституции и может, и должна быть выделена в особую задачу.

Сообразно с этим конституция обещает много, но далеко не все. Она не устраняет социальной борьбы, религиозной, классовой и иной. Зато она вводит ее в культурную форму. Она не производит социальных реформ. Зато она создает для них законную возможность. Она вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса. Зато без нее нельзя решить ни одного вопроса, ибо она устанавливает пути для разрешения

всяких общественных вопросов. И хотя конституционная идея имела немало мучеников, пострадавших за нее, особенно у нас в России, она теперь носит уже не столько принципиальный, сколько чисто технический характер. Хорошая конституция это все равно что хорошие пути сообщения. Кто заботится о них, тот не спрашивает, почему и зачем едут пассажиры, должны ли они вообще ехать; тот просто старается увеличить число поездов, ускорить их ход, удешевить проезд и т.п. Подобным же образом и конституция формальна. Она стремится всем обеспечить свободу передвижения, слова, веры, участия в государственных делах. И при этом она не читает в сердцах, не справляется об убеждениях, о принадлежности к той или иной партии. Вот почему, в свою очередь, все партии, при всей своей борьбе по другим вопросам и могут и должны сойтись на вопросе о конституции, ибо она гарантирует общечеловеческие блага – свободу и порядок. И если нам удастся упрочить у себя в России прочный конституционный строй, то, в отличие от наших предков, призывавших варягов, мы вправе будем сказать: земля наша велика и обильна, и порядок в ней есть.

РЕЦЕНЗИИ

**СВАК Д. РУССКАЯ ПАРАДИГМА:
РУСОФОБСКИЕ ЗАМЕТКИ РУСОФИЛА. – СПБ.:
АЛЕТЕЙЯ, 2010. – 176 С. – (СЕР. «РУССКИЙ МИРЬ»).**

Петербургское издательство «Алетейя» выпустило книгу с примечательным названием «Русская парадигма: Русофобские заметки русофила». Ее автор – Дюла Свак – известный венгерский историк, профессор Будапештского университета им. Лоранда Этвёша. В 1995 г. Д. Свак основал в своем университете Центр русистики, который с тех пор завоевал репутацию одной из наиболее авторитетных структур в области российских исследований в странах Центральной Европы. В настоящее время профессор Свак является сопредседателем Венгерско-русской комиссии историков и председателем венгерского Фонда развития русского языка и культуры; в феврале 2009 г. он был избран председателем Общества венгерско-русской дружбы.

«Русская парадигма» – это книга нероссийского историка о российской современности. «Современность» здесь – ключевое слово, хотя большая часть исследования посвящена историческим и историографическим проблемам тех эпох, которые относятся к «давнему прошлому». В этом контексте автор ставит и обсуждает вопросы, относящиеся к российской современности, а именно: «Является ли Россия Европой?», «Как возможна в России модернизация?», «Равноценна ли модернизация европеизации?», «Как должна Россия взаимодействовать с той Европой, европейскость которой не ставится под сомнение (в частности, с Венгрией)?» Но и обсуждением этих вопросов значение работы профессора Свака для нас не ограничивается.

Далеко не случайно, что русское издание книги крупного историка из Центральной Европы появилось в тот момент, когда дискуссии по историческим проблемам перешли в иное качество – качество «исторической политики». Причем инициаторами такого качественного перехода были как раз политики и историки из стран Центральной и Восточной Европы. Российская сторона в данном случае действует реактивно, но тем не менее мы тоже начинаем втягиваться в историческую политику, причем, похоже, всерьез и надолго. Надо полагать, что это будет связано не только

с необходимостью отстаивать собственную версию событий Второй мировой войны и послевоенного периода. Вполне возможно, что в какой-то момент может поменяться сама задача: вместо отпора так называемым «фальсификаторам» историческая наука будет призвана вносить свой вклад в конструирование современной российской идентичности. А в этой сфере, в сущности, продолжает действовать старая формула Эрнеста Ренана, согласно которой нация основывается на единстве двух вещей, одна из которых относится к прошлому, другая – к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе¹. Нельзя исключить, что у нас в какой-то момент историческая политика перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что самые ожесточенные бои за историю (воспользуемся здесь метафорой Люсьена Февра) нам еще предстоит, причем речь может пойти именно о давнем историческом прошлом, начиная с домонгольского периода, т.е. о тех этапах нашей истории, которым и уделяет наибольшее внимание Д. Свак.

«Русская парадигма» представляет собой сборник статей и текстов докладов, которые публиковались автором в период с 1999 по 2008 г. в разных изданиях на венгерском, русском и английском языках. Но объединенные в одной книге прежде разрозненные тексты начинают «играть» по-новому, появляется своеобразная интрига, в которой заинтересованному читателю хочется разобраться. Интригу поддерживают и названия подразделов – например: «Место России в Европе» и «Место России в Евразии» (гл. 1) или «Руслан Григорьевич и Иван Васильевич», «О так называемой «модернизации» Петра I» и «Иван и Петр» (гл. 2).

Вопрос о локализации России в культурно-историческом пространстве Д. Свак уверенно решает в пользу «европейскости» нашей страны. И дело здесь не в «русофильстве» венгерского историка, а в его стремлении тщательно проанализировать и обосновать типологическое единство Киевской Руси X–XII вв., ранних государств соседнего региона и «варварских», дофеодальных государств в других частях Европы (с. 10), а также общую структурную близость процессов генезиса феодализма. При этом автор указывает на отличия, ставшие более отчетливыми в эпоху раздробления Древнерусского государства и возвышения Северо-Восточной Руси. В то время резко возрастает значение патримониального начала, олицетворяемого княжеской властью, становятся достоянием прошлого вечевые традиции и влияние племенной аристократии. Процесс феодализации идет, но темпы его замедляются; социальная дифференциация даже к концу XV в. недостаточно развита (с. 12).

¹ Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? – P., 1997. – P. 4.

И в тот момент властители Московского княжества начинают решать задачи объединения восточнославянских земель, полного освобождения от ордынской зависимости и внутренней консолидации государственной власти. Происходит экспоненциальный территориальный рост, дающий основание называть империей Московское государство первой половины XVI в. При этом власть московских великих князей и царей все более уверенно примеряет на себя роль социальногодемиурга, последовательно ослабляя позиции вотчинного землевладения и поощряя условное землевладение служилых людей, из-за чего процесс феодализации был законсервирован на относительно низком уровне. По оценке автора, устремления власти «были всегда направлены на возвышение низших групп, имевших действительно статус рабов, и принижение высшего слоя, что привело бы к возникновению единого служилого дворянства» (с. 13). Логичным следствием этой политики было становление «квазифеодального» самодержавия, которое к тому же получило идеологическую легитимность благодаря своеобразному синтезу представлений «о власти татарских ханов и византийских басилевсов» (с. 14). По сути дела, «долгий» XVI в. в России (1480–1613) окончательно сформировал парадигму отношений власти и общества, которая определяла русский исторический процесс на протяжении последующих столетий.

Логика дальнейших событий, следовавших после завершения Смутного времени, скорее, свидетельствовала о радикализации ранее сформировавшихся тенденций: «Чем дальше шло государство по пути гомогенизации господствующего класса и его подчинения монарху, тем более широкие права получал этот класс по отношению к угнетенному населению» (с. 16). Автор проводит параллели между установлением в России крепостнической системы и «первым изданием крепостничества» в феодальной Западной Европе, а также «вторым изданием крепостничества» в Центральной и Восточной Европе. При этом он обращает внимание на асинхронность этих процессов, явную задержку в формировании низшего сословия («прикрепленных к земле» крестьян) даже по сравнению с соседними регионами Европы. Таким образом, в формационном отношении Россия тоже пошла по европейскому пути феодализации, но с задержками, остановками и постепенным отклонением от «стандартной модели» западного феодализма.

Нельзя не остановиться еще на одной проблеме, о которой профессор Свак пишет в своей книге и которая звучит очень актуально в контексте современных российских дискуссий о модернизации. Речь идет об оценке автором петровской модернизации или, точнее, о том, что Д. Свак отказывает Петру I в звании главного российского модернизатора. Впрочем, автор совершенно справедливо отмечает, что неопределенность понятия «модернизация» создает затруднения в применении его к той или

иной исторической эпохе (кстати, и в нынешних дискуссиях о модернизации было бы неплохо определиться, о чем мы собственно говорим). Вторых, согласно автору, модернизацией петровские преобразования нельзя считать потому, что в их результате не произошло глубоких социально-политических перемен, не изменилась социальная структура, а с точки зрения эмансипации основных слоев общества, скорее, имел место откат. И в этом смысле преобразования Петра нельзя даже считать «европеизацией», поскольку в «структурном отношении», как отмечает профессор Свак, Россия от Европы отделилась.

Последний тезис, разумеется, может быть интерпретирован по-разному. Автор рецензии склонен считать, что уже применительно к Петровской эпохе (не говоря о сегодняшнем дне) модернизацию следует отделять от европеизации. Массированное заимствование Петром культурных образцов, институтов и техник управления, принципов организации образования и т.д. все-таки (хотя бы в смысле направленности) можно называть европеизацией. Это была особая «европеизация» – не такая, чтобы быть «Европой», но такая, чтобы ею «казаться». Можно сказать, что Петр стремился не к тому, чтобы превратить Россию в Европу, но, скорее, к тому, чтобы сделать из России большую «немецкую слободу». Но это вовсе не значит, что преобразовательная деятельность Петра была только имитационной. Или если это имитация, то она стала такой социокультурной травмой, последствия которой ощущаются и по сей день. В свое время Монтескье давал следующую оценку петровским преобразованиям: «Царь Петр I ввел в управляемом государстве больше перемен, чем это делают завоеватели в покоренных ими странах»¹. Профессор Свак, нисколько не отрицая масштабов преобразовательной деятельности Петра, иначе расставляет акценты: «Петр I выпустил из бутылки джинна нового мира, которого потом уже нельзя было загнать обратно... Традиционный строй России именно благодаря основательному обновлению, проведенному Петром I, выстоял и остался стабильным, несмотря на все последующие порывы, благородные идеи и реформистские устремления европейского типа. По всей вероятности, в этом и заключалась суть крупномасштабного исторического вмешательства Петра в судьбу России: была законсервирована дихотомия, непреодолимая двойственность европейских мечтаний и реальности русской почвы» (с. 78).

В конечном счете для Петра было важно сделать такую заявку на участие в «европейском концерте» (сам этот термин начнет использоваться лишь позднее), которую уже никакая из европейских держав не смогла бы отклонить. И этого он добился. Здесь сразу возникает вопрос цены ус-

¹ Монтескье Ш.-Л. Персидские письма: Размышления о причинах величия и падения римлян. – М., 2011. – С. 482.

пеха. Его обсуждение применительно к эпохе Петра – тема, заслуживающая отдельного разговора. Но хотелось бы подчеркнуть, что этот же самый вопрос «цень» стоит и сегодня, когда разворачиваются дискуссии об очередной модернизации России.

В главе третьей Д. Свак обращается к проблеме генезиса русофобии. Необходимо отметить выверенный, аналитический подход автора к этой теме, лишенный всякой экзальтации и конспирологического уклона. Такая позиция заслуживает тем большего уважения, что в Венгрии рассуждения о российской угрозе до сих пор используются некоторыми политическими силами в качестве электорального ресурса. Согласно Сваку, русофобия, с одной стороны, «является характерным проявлением современного национального сознания, а с другой стороны, речь идет о настоящем историческом явлении, многовековая история которого способна связать друг с другом достаточно разнородные эпохи» (с. 121). И здесь ключевую роль могут сыграть историки, позиция которых, по мнению автора, должна быть следующей: «Историк имеет право изучать антирусские источники. Это не может послужить предметом национальной чувствительности. Опасность состоит лишь в использовании этих источников в политических целях, маскируя ими экономическую и властную конкуренцию» (с. 129).

В последней, четвертой главе книги речь идет о современном состоянии венгеро-российских отношений. Сейчас, по всей видимости, в этих отношениях наступает новый этап, хотя, надо полагать, не критический. После распада Советского Союза и так называемого социалистического лагеря Россия из всех стран Центральной и Восточной Европы именно с Венгрией поддерживала, пожалуй, наиболее ровные и стабильные отношения. Когда Венгрия вместе с другими странами Центральной Европы вступила в НАТО, а затем и в Европейский союз, сложилась качественно новая ситуация, которую в Москве поначалу недооценивали. Считалось, что изменившаяся конфигурация ЕС и НАТО не будет иметь для Москвы очень серьезных последствий, поскольку возникающий дисбаланс можно компенсировать за счет привилегированных отношений с Берлином, Парижем или Римом. Но очень быстро выяснилось, что фактор, который Дональд Рамсфельд назвал «Новой Европой», является очень серьезным, и его невозможно обойти ни в отношениях Россия–НАТО, ни в отношениях Россия – Европейский союз. В этих условиях для России, конечно, было очень важно добиться, чтобы «Новая Европа» перестала играть роль консолидированной силы, задающей европейским и евроатлантическим институтам антироссийский вектор. Для этого нужно было установить хотя бы с некоторыми из стран–новичков ЕС отношения того же уровня и качества, какие есть у России с большинством стран старой Европы. В 2004–2007 гг. российская власть предпринимала для этого определенные усилия, которые в разных странах имели разный эффект.

Но, пожалуй, именно с Венгрией эти усилия оказались наиболее плодотворными.

Здесь удачно совпали сразу несколько факторов. По всей видимости, не только экономический интерес, но и возможность за счет сотрудничества с Россией укрепить позиции Венгрии в различных политических структурах, даже в рамках той же Вышеградской группы, побудили левые правительства Петера Меддеша, а затем и Ференца Дюрчяна начать углубленный диалог с Москвой. Свою роль сыграло и то, что в двустороннем диалоге не было того повышенного эмоционального напряжения, которым обычно характеризуется «спор славян между собой». Даже наиболее негативно нагруженный символ истории двусторонних отношений – 1956 год – все же не стал препятствием для возобновления диалога на новой основе: в Венгрии приняли к сведению и просьбу Бориса Ельцина о прощении за 1956 год, и слова Владимира Путина об уважении к памяти жертв тех трагических событий, произнесенные в их 50-ю годовщину. Разумеется, именно венгерское общество должно решать, закрыт этот исторический счет или нет, но создается впечатление, что даже в существенно изменившихся внутривнутриполитических обстоятельствах власти в Будапеште будут и далее проводить в отношении России прагматически ориентированную политику.

Прежде всего, экономика Венгрии находится не в том состоянии, чтобы игнорировать возможности выхода венгерской продукции на российский рынок, а также перспективы сотрудничества в сфере энергетики. По всей видимости, нынешний венгерский лидер Виктор Орбан это хорошо понимает, и еще до своего успеха на парламентских выборах в апреле 2010 г. он сумел установить рабочие контакты с Владимиром Путиным и «Единой Россией».

Еще недавно казалось, что логика политического процесса в Венгрии должна вести к тому, что партия ФИДЕС, получившая большинство в новом составе парламента, начнет в своих практических действиях смещаться в сторону политического центра. На деле, однако, Виктор Орбан и его соратники не устояли перед соблазном установления авторитарного контроля, в частности, над средствами массовой информации и судебной системой. В силу этого в европейской прессе Orbana все чаще стали называть «венгерским Путиным». На протяжении последних полутора лет напряженность в отношениях между Брюсселем и Будапештом постоянно нарастала, хотя время от времени венгерские власти и заявляли о готовности идти на символические уступки органам Европейского союза. Не исключено, что в какой-то момент правительство Orbana пожелает несколько «уравновесить» прохладные отношения с партнерами по ЕС возобновлением тесного взаимодействия с Россией. Однако такой тренд едва ли будет устойчивым и долгосрочным.

Гораздо более прочную основу российско-венгерских отношений может сформировать развитие диалога по общественной линии, укрепление связей в сферах культуры, науки и образования. Эта та область, в которой профессор Свак играет сегодня одну из ключевых ролей. Будучи историком, Д. Свак рассматривает современность через призму прошлого. Он глубоко убежден, что «искренность в изображении и обсуждении проблем прошлого может облегчить ориентировку в лабиринтах нашего времени» (с. 9). Эта позиция заслуживает всяческой поддержки, поскольку создает платформу для взаимопонимания и заинтересованного диалога между народами России и Венгрии.

Д.В. Ефременко

**ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
МОЗАИКА**

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

*НЕЮБИЛЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД 80-летием*¹

– Как Вас увольняли? В отделе кадров Кремля?

– А меня и не увольняли. До сих пор нет даже записи в трудовой книжке. И с поста генсека ЦК КПСС я не уволен. **Я прекратил свою работу.** И заявил об этом. Я был обязан разорвать свои отношения с верхушкой КПСС.

Большая часть секретарей обкомов партии поддержала государственный переворот ГКЧП. Из-за ГКЧП многие честные из 18 миллионов коммунистов оказались в тяжелейшей моральной ситуации. Ельцин меня упрекнул однажды: что же наделали Ваши люди, они же создали ГКЧП. А теперь, наверное, уже всем понятно: я пытался и сдерживал эти силы, пока не заработают новые законы, пока не состоятся свободные выборы. Но, повторю, я разорвал отношения с партийной верхушкой. Да и с нынешней компартией дел иметь нельзя! Нынешние «коммунисты» остро ставят вопросы, но никогда не следуют за этим решительные шаги. Лояльность их действий, очевидно, выгодна власти.

– Но и коммунисты вряд ли Вас хотят видеть среди них. Помню слова Е.К. Лигачева: «Где же мы его (Горбачева) упустили? Он же стоит на платформе социал-демократии!» Это был ужас для коммунистов?

– По порядку. Социал-демократическая партия или движение нам позарез необходимы, как и во всех европейских странах, чтобы защищать людей даже при «цифровом» капитализме.

– КПРФ эту функцию выполняет?

– КПРФ не компенсирует отсутствие социал-демократии, а замутняет историю.

– И что же Вы? Почему не создаете свою партию? Вам запретили? Кто?

¹ Печатается по изд.: Новая газета. М., 2011. – 16 февр. – С. 10–11. Беседу с М. Горбачевым вел Д. Муратов, корреспондент «Новой газеты». В разговоре участвовал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктов.

— Да. У меня и многих моих друзей есть такое намерение — создать партию. Когда об этом стало известно Суркову, он спросил: «Зачем Вам все это? Мы все равно Вашу партию не зарегистрируем».

— **А Вы?**

— Я ответил: мы будем создавать движение. И создали его. Но движение — это же не партия. В выборах не участвует... Надо иметь не зависящую от власти социал-демократическую партию. Правящий класс демонстрирует всем нам **безобразность своей души**. Они — богатые и распутные. Их идеал где-то в районе Абрамовича. **Я этот идеал презираю**. Вот за это богатое распутство и стыдно. За нас стыдно и за страну.

— **Стыдно? А разве стране все не по «барабану»? Богатые — богатеют, бедные — молчат.**

— Сверхтерпение — закончится. Срастание воров и тех, кто их крышует, уже невозможно. Скоро народ «Дубинушку» гимном сделает...

Венедиктов (в сторону): И Басков поет.

— Посмейся еще, Алексей... Посмейся. Кроме тарифов еще и образование хотят свести на нет, сделать платным. А оно даже после войны бесплатным было. 7% от ВВП на него шло. Народ — не дешевая рабочая сила. Он уже это понял.

Про Ельцина и личное

— Два юбилея за месяц. В феврале Б.Н. Ельцину отметили 80 лет. 2 марта 80 — Вам. Отношения у вас крайне сложные.

— Да не в отношениях дело, к ним ничего не сводится, и ненависти нет. Я прощаться ходил с Ельциным. Знаю, что СНГ многие расшифровывали как «Способ насолить Горбачеву». Я по своему поводу, поверь, не убиваюсь. Но вот с Горбачевым-то они справились, а с СНГ не справились... Не создали ничего. Вот это существенно. А остальное — теперь уже так... мелочь.

— **То есть претензий к памятнику у Вас нет?**

— Вот бы метров на пять повыше!

Про перестройку

— **Вот общий и главный вопрос: почему люди с энтузиазмом в 1985 г. поддержали перестройку, а столкнувшись с пустыми полками, прокляты в большинстве все ценности, не подкрепленные колбасой? И сейчас некоторые проклинают...**

— Вранье. Любимое вранье государственного телевидения. Десять лет назад социология показывала: **40% людей считали, что перестройку проводить стоило, а 45% — что не стоило.**

Сейчас уже более 50% считают, что это было необходимо. Надо корректно задавать внятные вопросы. Например: стоило ли уходить из Афганистана?

– **Я знаю, там был, стоило. А люди что говорят?**

– 90% – стоило. Про свободу религии 90% тоже говорят – стоило!

Венедиктов: Я бы Вам тот орден комбайнерский Трудового Красного Знамени дал за закон о печати.

– Спасибо тебе, Алексей. А свобода выезда за рубеж тоже теперь 90% – «за, поддерживаю»!

– **Еще что?**

– Сами не знаете? Да выборы свободные, которые в перестройку появились, теперь вся страна с нетерпением вновь ждет и целиком поддерживает, что они впервые в стране во время перестройки появились. Так было. Мы сумели. Сейчас стараются забыть, что было сделано. Сводят перестройку к нашим бедам, к пустым полкам, но ведь тогда и произведено то, чем все сейчас пользуются, идя в церковь, покупая визы, залезая в Интернет и покупая газеты.

– **Читая Солженицына, Набокова, Рыбакова и Домбровского, Бродского, Довлатова, Гениса и Померанца, Мамардашвили...**

– Ну, хватит, ты всего и не вспомнил. И фильмы, и книги, и вера. И миру мы вернули Россию, а России – мир. Забыл добавить: избежали катастрофы ядерной войны. Сейчас, повторю, про это не особо помнят. Теперь сама история сделала то, чего мы добивались, чем-то **само собой** существующим.

– **Переживаете?**

– Нисколько. Как-то Маргарет Тэтчер сказала, когда мы вместе с пятью президентами должны были выступать на форуме, дело затягивалось, Маргарет нервничала, я заметил это. В ответ услышал от нее: «Президент Горбачев, я давно поняла, что Вы человек без нервов». Так что не нервничаю.

– **А можно не поверить? Вас Путин и Медведев не трогают, демонстрируют (с разной, думаю, степенью искренности) расположение, но все телевидение, которое контролируется государством, «мочит» Вас практически каждую субботу и воскресенье.**

– Да чуть не каждый день.

– **А чем объясните такое внимание?**

– Внутренней ситуацией.

– **А в чем она?**

– А в том, что горбачевское – это свобода, это демократия, это система, которая включает в себя действующий парламент, плюрализм мнений, плюрализм собственности. Это – институты, это инструменты. Правильную программу выдвигал Путин? Да. Верно о модернизации говорит

Медведев? Да! Но как? Какими силами? Почему не идет? Почему повисли национальные проекты? Хорошие, отличные проекты! Но повисли.

— **И почему?**

— Капитальные вложения, деньги – правильно. Но без человеческого капитала, без вложений в мотивацию интеллектуалов, без развития системы, которая обеспечивает равное участие людей в жизни общества, будет провал. А значит, снова говорим про честные выборы. Про честные, а не те, когда за голову хватаются от фальсификаций. Хуже всего, что общество отвыкает от честной борьбы на выборах, оно знает – все равно обсчитают, общество сломали, оно мирится с фальшью. Но долго так не будет, знаю это.

Недавно Дмитрий Медведев критиковал гласность, я не стану превращать это в острую полемику. Но это расхождение в принципах отношений с обществом.

Не будет свободы слова – будем очень долго ПОЛЗТИ по маршруту демократического транзита. Надо же понять: хорошая жизнь людей связана с демократией, при которой есть контроль над властью, а не с авторитаризмом, который контролирует людей и их свободы.

— **Вы говорите «ползти к демократии». Уверяю: не все доползут. Или так: не все доползут или хотят доползти здесь. Зачем страдать и унижаться? 1 250 000 человек (или больше) уехали из России. Не худшие. Средний класс. Не за колбасой и джинсами, а за «воздухом» – свободой, безопасностью, стремлением жить вне коррупции. Это сравнимо с тем количеством людей, которые уехали в 1917–1918 годах...**

— Да?

— **Да. Уезжает не «распутная элита» (по Вашему выражению), а ответственный средний класс. «Бег»-2 такой... Как остановить? И надо ли? Может, благословить?**

— Я не уеду. Шутки шутками – «не дождетесь». Серьезно – так: я думаю, человек, покинувший Родину... да еще с семьей... – все. Никогда счастья, полного счастья не будет. Так и придется мучиться до конца жизни потому, что где-то там осталось все.

Еще так думаю: если мы демократический проект возродим, не то что уезжать не будут, а возвращаться начнут.

— **При каких же условиях?**

— При неприемлемости ставки на царя, премьера, ручное управление. Народ-то не ручной в своей активной части. Приемлемо считать людей, а не только власть, страной, и развивать ее.

Венедиктов: А ручное управление генсека? Вы разве не ручным управлением пользовались? Была же ставка даже и демократов лично на генсека?

– Была, была.

Венедиктов: То есть было так: как генсек решит, так и будет (будет демократия, например, или не будет). И вечно так могло быть...

– Это была диктатура партии и ее кадров. Для меня это стало невозможно... Невозможна политика, которую предлагают сейчас: бросить все на защиту личной власти, чтобы оставить ее в своих руках.

Венедиктов: Рассуждаете не как коммунист. Коммунисты власть не отдавали. А Медведев, кстати, коммунистом не был.

– Не был? А Путин?

– **Путин был.**

М.С.: Теперь серьезно. Власть не должна, не имеет права тратить все силы свои, народа, ресурсы страны на удержание себя. Главный вопрос: внутренняя жизнь страны. Это – сверхзадача. Как живет страна. И, слава богу, в обществе среди интеллигенции, в бизнесе, в прессе – это понимание есть и доходит уже до всех. Я вижу: и президент, и Владимир Владимирович стараются, оба стараются, но все сильнее в стране **запах имитации**. Нужны реальные шаги, реальные дела, оригинальные вещи, а вместо этого доредактировали до абсурда выборные законы. Ну, как во втором классе: мальчик подпиливает ножки стульчика, чтобы они были устойчивые, а стульчик падает. «Ах, ошибся я немножко». В результате придумывали одно, а получилось совсем другое. А в стране? Главное, что «отпилили»: **выборность!** Только она обновляет, сохраняет, создает. Все ликвидировали: выборы региональных руководителей, выборы по одномандатным округам. Стабильность это? Или сохранение личной власти?

– **А Вы-то как думаете?**

– ...А что делают с партиями? Достают из кармана? Но огромные массы людей, силы людей стоят в стороне. Их отторгают, выталкивают из политики, из общественной жизни. Карманные партии ради выживания дружат друг с другом, публично негодуя... Некоторые заигрывают с националистами, пытаются перетянуть их на свою сторону.

Сперва добились (непечатно), что одни НАШИ, а остальные вообще ничьи, и теперь вербуют сторонников по национальному признаку.

Но мы всегда формировались как политническая и многоконфессиональная страна, с равноправными условиями для всех. За сотни лет прошли мы путь страны для всех, а не «Москва – для москвичей» или «Россия – для русских».

Я вообще горжусь, что принадлежу к славянской, русской части нашего народа. Но это и колоссальная ответственность за других! Ее надо не сбрасывать с себя, а брать на себя. Я испытываю серьезное беспокойство, что нас подталкивают к национализму. Можно и пора провести историческую инвентаризацию всех, кто заигрывал с националистами. Закончили все они очень плохо...

Про патриотизм, юбилей и Интернет

– Вот будет история для националистов: <празднование> юбилея Горбачева в лондонском Альберт-холле.

– 2 марта будем отмечать юбилей в Москве, а 30 марта в Лондоне – благотворительная акция, чтобы поддержать Центр по лечению детской лейкемии им Р.М. Горбачевой.

– Я часто вижу Вас работающим в Интернете. Вы разделяете точку зрения, что в сети люди отделяются от государства, строят свои сообщества и в России при увеличении числа пользователей до 70 миллионов никакая диктатура станет невозможна?

– Берешь провайдера за бороденку, дернешь посильнее – и нет Интернета. И приехали. Конечно, попытки контролировать сеть уже есть: вон всякие «тролли» пытаются замутить любой вопрос. И тем не менее государственное телевидение по скорости и полноте информации Интернету проиграло. (Наш разговор происходил до теракта в «Домодедове», когда все каналы гостелевидения показывали сериалы и ток-шоу и только Интернет давал информацию из аэропорта.) ...

* * *

Давай-ка прощаться...

Он молчит. Берет листочки своей недописанной статьи и... читает вслух:

– «Век был трудным, трагическим. Но я не соглашусь с теми, кто утверждает, что история ничему не учит, что человечество вновь и вновь повторяет одни и те же ошибки. Достаточно сравнить первую и вторую половины XX в. Две мировые войны, опустошившие Европу и нанешие глубокие раны другим странам, стали одной из крупнейших катастроф человеческой истории. За этим последовало изобретение атомного оружия. Если бы история продолжалась в прежней логике, то новая война могла бы уничтожить нашу цивилизацию. Но этого не произошло. И хотя холодная война подвергла мир новому тяжелому испытанию, колоссальному риску, она не переросла в настоящую большую войну. Обошлось без мирового пожара. Поколение политиков, действовавших тогда (это в 80-х годах. – Д.М.), приняло вызов времени и смогло положить конец холодной войне. Весь мир вздохнул тогда с облегчением, думая, что это никогда не будет забыто. Те, кто говорит, что уроки истории бесполезны, ошибаются, и кто стоит у руля политической и экономической жизни, просто не имеют права игнорировать эти уроки. Может быть, у сегодняшних политических лидеров просто не хватает времени? <...>

Когда в 1985 г. я стал генеральным секретарем ЦК, в стране, в мире назрела потребность в больших переменах. Но были и вполне достаточные

ресурсы для того, чтобы еще 10–15 лет плыть по инерции. Я мог бы, говоря словами поэта, «навластоваться власть», как это делали многие политики до меня, делают и сейчас, сегодня. То, что я и тогдашнее советское руководство не пошли по этому пути, считаю нашей заслугой. Хотя мы шли на риск и понимали это, хотя не все пошло так, как мы задумывали.

Мы ощущали в обществе огромный нетерпеливый запрос на перемены: так дальше жить нельзя. Острое понимание этого возникло в самом обществе. “Требуем перемен!” – лозунг, который звучал у людей разных убеждений, принадлежащих к разным слоям».

Отрывается от текста:

– Вот ведь! Все точно так.

И добавляет:

– Надо было решаться. И мы решились.

Е. ПРИМАКОВ

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ¹

Докризисная модель погубит Россию

В минувшем 2010 г. в России не просто наметился, а действительно начался выход из экономического кризиса. Главные достижения – мы сохранили кредитно-банковскую систему, попавшую под молот кризиса. Удалось избежать падения уровня жизни населения. Не позволили вырваться на простор безработице. Начался рост промышленности, обгоняющий рост ВВП.

Вместе с тем 2010 год выявил серьезные проблемы России.

Проблема первая – это продолжение экономического развития России по докризисной модели. Влиятельные круги уповают на то, что основные импортеры нефти выходят из рецессии, а цены на нефть удерживаются на высоком уровне. Они считают, что продолжение курса на поддержку крупных сырьевых компаний воссоздаст благоприятную докризисную ситуацию.

Чем это грозит? Втянутая в кризис Россия представляла собой страну, 40% ВВП которой создавалось за счет экспорта сырья. А внешний корпоративный долг достиг 500 млрд. долл. – практически все «длинные» деньги, полученные бизнесом в виде кредитов, имели зарубежное происхождение. И спасенная банковская система остается абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с зарубежной.

С этим «грузом» Россия вступила в кризис. Отсюда и его масштабы – худшее положение в «двадцатке» и длительность выхода страны из кризисной полосы. Наибольший спад производства произошел в обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении. Накопленные средства не смогли избавить Россию от последствий кризиса, который успешно преодолевают страны, не имеющие никаких «зачаек».

¹ Печатается по изд.: Аргументы недели. – М., 2011. – 10 февр. – С. 12. Е. Примаков занимает пост председателя совета директоров федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НИС ГЛОНАСС. Текст представляет собой выступление Примакова на заседании «Меркурий-клуба», который он возглавляет.

Позади прогресса

Одним из самых негативных результатов экономической модели докризисных лет стала хроническая нехватка инвестиций. В результате этой политики нового машинного оборудования у нас производится в 80 раз меньше, чем в Японии, в 30 раз меньше, чем в Китае.

В апреле 2010 г. Росстат впервые привел сводку о положении России в 1992–2008 гг. Фактически это итог 16 лет реформы экономики. С 1992 по 2008 г. население России сократилось на 6 млн. человек. Средний уровень жизни населения вырос, но усилилось его расслоение по доходам. Соотношение доходов 10% самых богатых и самых бедных возросло в два раза и достигло 17. Почти в два раза сократилось число дошкольных учреждений. На 70% выросло число государственных чиновников. С 1992 по 2008 г. на 40% сократилось число организаций, выполняющих научные исследования. Число сотрудников в них уменьшилось на 50%. Россия окончательно села на сырьевую иглу.

Вывод очевиден: нельзя возвращаться к старой политике. Эта модель даже в условиях высоких цен на экспортируемое сырье не решает задач технологического обновления экономики. А такая задача в острой форме проявилась уже сегодня, на этапе выхода России из кризиса. Далеко не случайно, что в США, Канаде, странах Западной Европы, Японии, Южной Корее, да и в Китае и Индии именно сейчас возросли вложения в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), образование, здравоохранение. В сентябре 2010 г. в США был принят закон о дополнительном выделении из бюджета 30 млрд. долл. для кредитования малого бизнеса. Это позволит создать дополнительно 500 тыс. рабочих мест. Снят налог и на новое оборудование, приобретаемое с сентября 2010 по декабрь 2011 г.

У нас другая ситуация. Государство тратит из бюджета на НИОКР немало, но в то же время затраты на эти цели наших компаний, в том числе крупных, ничтожны. В результате общие расходы на НИОКР в России составляют лишь 1% ВВП, а в США – 2,7, в Японии, Швеции, Израиле – от 3,5 до 4,5% ВВП. Научно-техническое отставание России стало одним из наиболее негативных проявлений характера ее развития.

Экономическая политика России не решила главную задачу – создание конкурентной среды. А ее невозможно создать без устранения практики лоббирования чиновниками всех рангов интересов отдельных компаний. Без разрыва связи чиновничества с бизнесом невозможна также и серьезная борьба с коррупцией.

Недавно принято решение о приватизации значительных долей государства в акциях крупных компаний и банков. Речь идет о 900 предприятиях. Общая сумма акций, подлежащих приватизации, составляет почти

2 трлн. руб. В чьи руки попадут акции? Этот вопрос приобретает и экономический, и политический характер. Даже не прямое, а косвенное приобретение их людьми, находящимися на государственной службе, чревато серьезным уроном для процесса построения гражданского общества.

Кушевский синдром

Появились признаки политической нестабильности в России. Удалось снизить опасность сепаратизма. Сегодня речь идет уже о серьезном недовольстве существующими порядками и методами государственного управления. Проявлением этого было охватившее всю Россию оцепенение в связи с ситуацией в станице Кушевской. «Откровением» стало существование в стране дыр государственной власти, которые заполняют местные руководители властных структур, срастающиеся с криминалитетом.

Необходимо найти механизм, который не позволил бы образовываться вакууму государственной власти на местах. Для этого местные власти всех уровней должны быть подконтрольны не только Москве, но и местному населению.

В связи с этим необходима повсеместная инвентаризация положения дел для выявления ситуаций, подобных кушевской. Мы правильно поступили, выстраивая вертикаль власти: от центра до региональных и местных руководителей. Но такая конструкция не предусматривает обратной связи — от населения через муниципалитеты и региональных руководителей до федерального руководства. СМИ пока в этом не преуспевают. Главное, чего нет и что необходимо незамедлительно вводить, — это обязательную проверку и реакцию на критические выступления СМИ.

Консерватизм по-русски

В Советском Союзе идеология была субстанцией, стоявшей над межнациональными отношениями. Можно соглашаться или не соглашаться с советской идеологией, но создание идеологической надстройки над нашим обществом необходимо.

В этом процессе первостепенное значение приобретает вектор правящей партии — «Единой России». Партия власти объявила своей идеологией «российский консерватизм». Что понимается под этим? Если сохранение всего полезного, что было и в дореволюционное время, и в советский период, согласен. Если речь идет о неприятии неподготовленных и непродуманных идей, я тоже этого не приемлю. Однако традиционное представление о консерватизме включает в себя и другие принципы. Один из них — отрицание необходимости роста и расширения социальных бюджетных затрат. Другой — отказ от радикального реформирования об-

щества. Эти принципы – тоже критерии консерватизма. И с ними я согласиться не могу.

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов назвал российский консерватизм «открытым». Очевидно, имелось в виду, что к партии могут присоединиться все, кто принимает ее идеологию. Но вырисовывается иная картина: в идеологию «Единой России» со всех сторон – и слева и справа – начали вливаться идеологические постулаты, сделавшие российский консерватизм, мягко говоря, всеядным.

Антитезисы модернизации

Несколько слов о модернизации. Нужда в обновлении, несомненно, актуальна. Но у меня есть свое мнение на этот счет.

Антитезис первый. Перевод экономики на инновационные рельсы нельзя осуществить методом единичных научно-технологических прорывов без мощной конкурентоспособной промышленности.

Антитезис второй. Модернизация в экономике не может осуществляться изолированно, без демократизации общественной жизни. В нашей стране процесс демократизации развивается зигзагообразно. До сих пор не обрела независимость судебная система. Законодательная власть, как правило, беспрекословно выполняет волю руководства даже в тех случаях, когда неочевидна правильность поступающих установок. На низком уровне находится политическая конкуренция. Сохраняется практика административного давления, когда «Единая Россия» в открытую оценивает местного руководителя по проценту единороссов, прошедших в орган власти. Сохраняется «руководящий жезл» в отношении СМИ, особенно крупных телевизионных каналов, позволяющий направлять их деятельность в виде синхронных кампаний. Часто игнорируется общественное мнение. Последний пример этого – переименование милиции в полицию. Уверен, что при проведении социологического опроса большинство высказались бы против.

Антитезис третий. Демократизация ни в коем случае не должна приводить к ослаблению государства. Нужны, безусловно, порядок, стабильность, безопасность. Ослабление силы закона противопоказано модернизации. Многие ассоциируют сильное государство с авторитарным правлением. Иногда даже с тоталитарным. Категорически с этим не согласен.

Антитезис четвертый. Нельзя говорить о необходимости сначала провести политическую модернизацию, и только затем приступить к модернизации экономики. Не согласен и с другой последовательностью, что следует, дескать, заморозить демократизацию общественной жизни до то-

го момента, пока не будут достигнуты ощутимые результаты в области экономики. Все должно происходить только одновременно.

Антитезис пятый. Модернизация не означает необходимости «раствориться» нашей стране в западном мире, что противопоставляется иным направлениям, в частности Китаю. Многовекторная политика намного плодотворнее.

Антитезис шестой. Невозможно проводить модернизацию, отгородившись от остального мира и углубившись в чисто российские реалии. На процесс модернизации в нашей стране должна, несомненно, воздействовать российская политическая культура. Но полагать, что она способна определять основные черты этого процесса, не приходится.

Антитезис седьмой. Идеология модернизации не должна быть «пристегнутой» к одному человеку, каким бы способным ни был такой политический лидер.

И. ЯКОВЕНКО

СТАЛИН – КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА¹

Проблема, которая была поставлена передо мной редакцией, формулируется следующим образом: почему, несмотря на массу очевидных и неопровержимых свидетельств преступной и катастрофической политики великого вождя, люди голосуют за Сталина? Что еще нужно опубликовать, о чем еще рассказать нашим гражданам для того, чтобы отношение к вождю народов изменилось?

Проблема Сталина не связана с полнотой информации о тех или иных аспектах политики этого персонажа отечественной истории. Парадокс Сталина кажущийся. Ситуация может представляться непостижимой, если полагать российское общество однородным. Одни ценности, общая картина мира, единые способы понимания. Это не так. В оценках вождя народов проявляется столкновение двух картин мира и двух культур. Наконец, двух мифологий – мифологии модерна, большого общества, либерально-гуманистических ценностей и мифологии традиционного общества, восходящей к культурному космосу русского крестьянства.

Образ Сталина многослоен. Это и великая империя, и русский как старший брат, и языческая религия Победы, и предельный уровень патернализма, когда Вождь думает за всех, ставших под его Высокую руку. Сталин – символ изоляционизма и антизападничества; с его именем связана ностальгия по мифически переживаемому статусу сверхдержавы, распоряжавшейся судьбами мира. Сталин – настоящий хозяин. Грозная и неподкупная сакральная Власть, гроза боярам и отрада простому народу. При нем начальники тихо ходили и знали свое место. Одним словом, он – нашенский. Все это – традиционные для России сущности. Сверх всего есть драматическая проблема исторических итогов XX в. Победа в войне – единственное безусловное достижение, накрепко спаянное в массовом сознании с именем Сталина, – онтологизирует вождя народов как безусловную российскую ценность.

¹ Печатается по изд.: Новая газета. – М., 2011. – 18 нояб. – С. 16–17. Игорь Яковенко – культуролог.

Для одной части общества, ориентированной на традиционные ценности, перечисленные характеристики значимы и безусловны. Другая часть, ориентированная на ценности динамики и модерна, видит желанную реальность совершенно по-другому. Исходит из идеи верховенства закона, ценности человеческой личности и т.д. Для них Сталин – тиран, загонявший страну в тупик. Проблема в том, что диалог между этими позициями невозможен. Кардинально различаются каталоги ценностей, процедуры верификации и пространства идентификации.

В ситуации ценностного конфликта традиционный человек выбирает устойчивые ценности, выбирает мифы, а не истину... Для того чтобы рациональные аргументы могли поколебать ценностные установки, необходима культура мышления, нравственная и интеллектуальная самодисциплина, способность к саморазвитию. В массовой среде, ориентированной на традиционные ценности, эти сущности обретаются в статусе исключений.

Другая сторона – проблема самоидентификации, т.е. решение проблемы «мы/они» и каталог ценностей. Начнем с самоидентификации. Один из ведущих исследователей русского крестьянства Т. Шанин утверждает: крестьянское самосознание покоится на убеждении в глубокой пропасти между крестьянским «мы» и разнообразными «они» – государство, чистые кварталы городов, знать, те, что носят униформу, меховые шубы, золотые очки и даже складно говорят.

Социальный идеал традиционного мира – крестьянская страна Беловодье, мир всеобщего равенства, без городов, купцов, ростовщиков, где царь сам пашет свою землю и управляет малым числом слуг. «Общинная революция» 1917–1922 гг. в значительной степени вдохновлялась этими идеалами. Догосударственное, общинно-родовое сознание, начисто отрицавшее мир города и зрелой цивилизации, видело в большевиках реализацию своих упований. Надо извести под корень, до основания или по крайней мере взять к ногтю всех этих начальников, профессоров с писателями, очкариков и утвердить власть простого человека.

В реальности большевики решали задачи модернизации, что означало окончательное разрушение крестьянского космоса. Десятки миллионов людей переместились в города, изменилась и сама деревня. Однако Сталин смог разрушать традиционный мир только потому, что сохранял базовые характеристики традиционного общества. В этом и состоит суть так называемой консервативной модернизации. Среди базовых характеристик сохранилось описанное разделение общества на два качественно различающихся блока.

Традиционный сектор – малообразованные, тяготеющие к традиционным формам жизни и старшим возрастным группам жители предместий с малыми доходами, выходцы из крестьянской и слободской среды. Это –

те самые «мы», простой народ, о котором говорит Шанин. Сектору «мы» онтологически противопоставлен модернизированный сектор – горожане, люди государства и цивилизации, т.е. «они». Прежде всего это любая элита: хозяйственная, интеллектуальная, бюрократическая. А также в широком смысле «люди города». В этой среде доминируют потомственные горожане, люди умственного труда. Но здесь решает не происхождение, а актуальная культура.

Объяснительная модель, с которой простой человек подходит к проблеме Сталина, такая: они ненавидят нашего Сталина за то, что он гнобил и расстреливал их кумиров, их родственничков и любимчиков. Мы имеем дело с дуализмом мифологического мышления. Раз Сталин бил бояр – значит он помогал простому народу. В реальности народ жил в бараках и пребывал в такой нищете, которую сегодня трудно себе представить. Но это забылось. Мифологическое сознание избирательно. Оно помнит о другом: в ту лихую эпоху парень из глубинки мог сделать стремительную карьеру, за десять лет стать комбатом и приехать однажды в свою деревню на «Победе». В лагерях сидели миллионы самых простых людей. Но справедливо и другое. Число людей с высшим образованием среди репрессированных в 6–8 раз превосходило средний процент по стране. Иными словами, их сажали чаще и больше. И это осталось в памяти.

Традиционному человеку нужен простой и понятный мир, в котором все такие же, как мы. А все эти умники, больно грамотные, умеющие складно говорить, делают жизнь сложной и непонятной, отодвигают мир от идеального состояния и не дают ходу простому человеку. По сегодняшней жизни без них не обойдешься, но товарищ Сталин держал их строго. Вот они его и ненавидят. А что касается войны, так мы ее выиграли. Здесь сливаются два момента: ценностный и познавательный. Так мы переходим к каталогу ценностей. Традиционная культура стоит на примате целого. Семья важнее отдельного человека, деревня – отдельной семьи. А благо государства несопоставимо значимее благополучия любого слоя или множества людей. И вообще, отдельный человек мало чего стоит. Гуманистический пафос, правовой фетишизм чужды и непонятны традиционному сознанию. Все это – интеллигентские заморочки.

Ну, расстреливал. Значит, так надо было. Государству надо. Расстреливал – выиграли войну, а не расстреливал, глядишь, и проиграли бы. Апеллировать к азам логики, приводить известное положение «Post hoc, non est propter hoc» (После того, не значит вследствие того) здесь не приходится.

У интересующей нас проблемы есть и другое измерение. Российская история движется толчками. Власть либо модернизирует, либо подмораживает общество. (Сравните эпоху Великих реформ Александра II и эпоху Александра III.) В эпохи установки на динамику власть опирается на мо-

дернизированный сектор общества. В эпохи застоя – на носителей традиционного сознания. Общество чутко прислушивается и фиксирует доминирующую установку.

Получая реабилитация Вождя, которая разворачивается на наших глазах последние четыре-пять лет, свидетельствует: власть играет образ традиционной, нашенской, власти простого народа. Она не на стороне высколобых, а на стороне простого человека. А это значит, что все будет стабильно, мир будет возвращаться к традиционному и привычному бытию. Не надо будет постоянно чему-то учиться, осваивать новое, становиться самостоятельным и ответственным.

Все это – иллюзия. Цели власти лежат в иной плоскости. Чиновник протаскивает ресталинизацию потому, что Сталин воплощает традицию. А значит – патернализм, сакральный статус власти, послушную прессу, декоративные институты представительской демократии и самое главное – неподотчетность чиновника закону и общественному контролю. Чиновник – человек политически грамотный. Он знает, что осуждение тирании – первый шаг на пути к утверждению демократических институтов...

Если обобщить, то феномен Сталина свидетельствует о незавершенности процессов модернизации в нашей стране. Российское общество расслаивается на две большие группы: людей города и людей традиции. Первые принадлежат культуре Большого общества и приняли ценности динамики. Для них постоянное самоизменение, освоение новых знаний, моделей поведения, норм и ценностей естественно и привычно. Они приняли меняющийся мир и стали его органичной частью. Это и называется модернизация.

Вторая группа в той или иной мере вписана в современный мир, но в своих базовых ценностях, в структурах сознания, в рефлексах и упованиях принадлежит домодернизационному патриархальному миру. Эти люди взыскуют возвращения устойчивого и неизменного бытия идеализированной реальности их отцов и дедов. Не понимают, не хотят, да и не способны меняться. Их идеал – застой, в ходе которого общество медленню, но неотвратимо откатывается к позавчерашним ценностям и моделям поведения. Воспроизводит в новой бытовой и технологической среде традиционную психологию и устойчивые культурные рефлексy.

Принадлежность к одному из этих слоев общества задается структурой личности и напрямую жестко не связана с происхождением, возрастом, уровнем образования. Горожанин с высшим образованием может жить в убеждении, что государство должно накормить людей и дать людям работу, а долг подданного – честно трудиться на своем рабочем месте. Но статистически традиционалистская среда тяготеет к жителям глубинки, горожанам первого поколения, малообразованным, принадлежащим старшим возрастным группам.

Социально-политические и культурные процессы в нашей стране развернулись таким образом, что мифология великого Сталина стала символом исторической инерции. Она реакционна в классическом смысле этого слова, поскольку предполагает возврат к состоянию, пройденному мировым сообществом и Россией в 30-е годы прошлого века. Мифология Сталина превратилась в фактор мобилизации сил, противостоящих давно назревшим и жизненно необходимым переменам стратегического характера.

Российское общество переживает застой. Отсюда и ставка государственно-политической элиты на традиционалистский сектор. Ставка эта реализуется и на информационно-пропагандистском уровне. Манипулирующие массовым сознанием виртуозы политической рекламы играют на ностальгических смыслах, создают образ прекрасного, уверенного и надежного прошлого. Сталин – символическая фигура в этом ряду... В научных монографиях зачастую взвешенные оценки в духе «с одной стороны, нельзя не признать, но, с другой стороны, нельзя не отметить». Учебники пишут об «эффективном менеджере». На телевидении разгораются жаркие дебаты, в которых голосование аудитории показывает – народ за Сталина.

Между тем социологические опросы начала 90-х годов рисовали совершенно иную картину. В то время общество пребывало в уверенности, что мы находимся на пороге больших перемен. Перемены произошли, но результаты этих перемен оказались неожиданными. Осмысление и переживание итогов постсоветского развития запустило процессы пересмотра многих оценок и позиций, формировавшихся в конце 80-х – начале 90-х. Это и отношение к Западу. И отношение ко всему советскому периоду нашей истории. Оказалось, что советская эпоха не исчерпывалась пустыми магазинами и безрадостным бытом. Там были свои радости. Люди были душевней, отношения чище и, вообще, яблоки были вкуснее, а вода мокрее. Идеи вхождения в общеевропейский дом отринуты как наивные юношеские грезы. В России крепнет убеждение: мы не Европа и нам идти своим, особым путем.

Желающих вернуться в Советский Союз ничтожно мало, но образы двух исторических стратегий, реализовывавшихся на пространствах XX в., рисуются совсем не так однозначно, как это представлялось в 1991 г. Плюсы и минусы рыночного мира, правовой демократии и мира социалистического планового хозяйства воспринимаются по-другому.

Пересмотр образа Сталина попадает в этот, достаточно широкий контекст. Серьезные люди, с приличным образованием начинают говорить о том, что в начале XX в. Россия была обречена на диктатуру. Других путей и других способов решения проблем Российского государства тогда не

существовало. Сталин действовал в исключительных, трагических условиях, потому и методы, к которым он прибегал, были чрезвычайными и т.д.

Но то же самое открытие сделало большинство простых людей традиционной ориентации. Заводы закрылись, колхозы разорились. Жизнь изменилась настолько, что весь их жизненный опыт, навыки, привычки, умения девальвированы. Кто-то вписался лучше, кто-то хуже, но в целом в этой среде доминирует более или менее успешная стратегия доживания.

Так смыкаются настроения разных социально-культурных слоев и возникает общность позиций. Интеллигентская среда рождает поэтов и идеологов советской ностальгии. Отсюда выходят как мягкие и осторожные рестаилинизаторы, так и прямые идеологи сталинщины.

История культуры не подтверждает многих просвещенческих иллюзий. В частности, не следует думать, что на смену мифам приходит некое объективное знание. Природа человеческого сознания такова, что миф как способ понимания и переживания мира неустраним. Об этом говорил еще А.Ф. Лосев. В реальности на смену одним мифам приходят другие. Хорошо, если новые мифы более пронизаны моментами рационального и объективного. В постсоветском обществе формируются новые мифы о прошлом и настоящем. В том слое общества, который подвержен советской ностальгии, складывается новый миф Сталина. Как всякий миф, он неуязвим для критики. Молодые ребята, отказывающиеся принимать оскорбляющий чувство справедливости мир современной российской реальности, формируют свой образ идеального Сталина.

У нашей проблемы есть и другая грань. Мир традиции теплый, человек вписан в вечные, естественные сообщества. Ему помогут, не оставят в беде, посочувствуют. А мир автономной личности жесткий и холодный. Автономный человек получает все бонусы, вытекающие из его труда, жизненных выборов, активности. Но вся полнота ответственности за катастрофы, ошибки, неудачи ложится на него и только на него. Это – совершенно иное само- и мироощущение. Традиционный человек живет с убеждением – Бог милостив. А человек, принадлежащий современному миру, знает: в первую очередь Он – справедлив.

При всех ужасах и жесткости советской эпохи, то было традиционное общество. Советская реальность сохраняла сложно формулируемую, но значимую субстанцию традиционно-коллективного бытия. За двадцать лет эта атмосфера окончательно размылась и для многих такая утрата оказалась одной из самых важных. Все это не могло не сказаться на процессах переосмысления советского прошлого.

Политическая элита отслеживает изменение общественных настроений, вырабатывает приоритеты, делает выводы. Надо помнить, что сама эта элита неоднородна. Зстой как доминирующий сценарий развития сложился в силу объективной логики реализации внутриэлитных интере-

сов. Победила тенденция к огосударствлению, бюрократизации, управляемой демократии и т.д. Важно осознавать, что все эти сущности традиционны, привычны и понятны большинству населения. В России 2000-х сложился широкий консенсус по поводу застоя. Пропагандистское обеспечение обозначенного тренда развития известно: лихие 90-е, Россия встает с колен, великая сырьевая держава, суверенная демократия, проклятия всем и всяческим революциям, здоровый консерватизм и т.д. Этот тренд логично и неизбежно требует позитивного пересмотра роли и образа Сталина, что мы и наблюдаем.

Что же будет дальше? Прежде всего застой не вечен. Рано или поздно (лучше рано) застой сменяется исторической динамикой. Это приведет к радикальной смене общественных настроений. Сложится атмосфера, в которой любые апелляции к товарищу Сталину станут категорически неуместны.

Наряду с этим стоит иметь в виду и долговременные процессы общественного развития. Речь о том, что сектор носителей традиционалистских ориентаций постепенно, но неумолимо уменьшается. Дети и внуки этих людей избирают другие жизненные сценарии, проникаются ценностями модерна, осваивают культуру большого общества.

Наконец, давайте вспомним о том, что человек по своей природе конформист. А наш соотечественник, привыкший колебаться вместе с генеральной линией партии, конформист вдвойне. Для того чтобы результаты голосований и опросов общественного мнения разительно изменились, достаточно однозначного жеста со стороны высшей власти. Например, если российский суд в связи с расстрелом польских военнопленных признает Сталина преступником против человечности, сектор убежденных сталинистов мгновенно схлопнется до размеров узкой секты, окопавшейся в крошечных политических движениях и резко оппозиционных изданиях. Книжки, прославляющие великого вождя, сами собой исчезнут с полок магазинов. Надписи и плакаты растворятся в ночи, и утром, глядя на вас честными глазами, администраторы будут удивляться вашему вопросу: а что, разве здесь висел плакат с фотографией Сталина? А массовый человек искренне будет осуждать тиранию и голосовать за демократические ценности.

Если же нам не нужны конъюнктурные колебания... Если мы хотим, чтобы в России возобладали гуманистические ценности и сформировалось сознание, в рамках которого оправдание тирании в принципе невозможно, надо запастись терпением и много и напряженно работать, помня о том, что у нас есть союзник – время, которое работает на нас.

Г. ЯНС

НЮРНБЕРГ–2 ШАГАЕТ ПО ЕВРОПЕ

Дойдет ли он до России?¹

В воскресенье, 20 ноября, неюбилейная, но достаточно громкая дата. 66 лет назад в Нюрнберге начался процесс над руководством фашистской Германии.

Хорошо известно, как болезненно российское руководство реагирует на все, что связано с изучением Второй мировой войны. Эта болезненная реакция переносится и на историю Нюрнбергского процесса. Процесса, который стал своего рода эпилогом войны.

Исторический императив нашего президента и иже с ним сводится к понятному постулату: не допустим пересмотра итогов Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса. Для большей убедительности своего императива президент учредил комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, деятельность которой была «заточена» именно под Вторую мировую войну. Впрочем, «деятельность» этой комиссии – условное и спорное понятие, так как свелась она к спору двух точек зрения – «нужна – не нужна». Жизнь убедительно доказала: не нужна.

Создатели комиссии спутали два понятия: фальсификация фактов и трактовка фактов. В прошлом фальсификацией активно занимались в СССР. На исторических фото замазывали лица «контрреволюционеров», из титров фильма вымарывали имена «провинившихся» сценаристов и актеров. Сегодня знамя «фальсификации» уверенно держит в своих руках телевидение: чик ножницами – и нет участника передачи, героя новостей.

Трактовка – обычное дело в исторической науке. Чем меньше объем фактов и документов, тем больше версий. Именно поэтому комиссия умерла, не успев толком родиться, так как в идеологическом плане она должна была противодействовать трактовкам истории, а не фальсификации.

¹ Печатается по изд.: Московский комсомолец. – М., 2011. – 19 нояб. – С. 3. *Георгий Янс* – журналист.

Приличные люди и настоящие ученые предпочитают спорить об истории, а не бороться с ней. Тем более что никто в здравом уме и трезвой памяти не оспаривает двух важнейших итогов войны и Нюрнбергского процесса. Итог первый: Советский Союз победил фашистскую Германию. Итог второй: на суде не только наказали главных военных преступников – там был запущен процесс денацификации Германии.

Все остальные результаты и последствия или уже де-факто пересмотрены, или находятся в процессе пересмотра. «Незыблемости» послевоенного устройства не осталось даже на бумаге. Развалились СССР, Югославия, нет Чехословакии, зато есть единая Германия. Так о какой же ревизии итогов войны постоянно талдычит наше высшее руководство?

Вопрос стоит просто: является СССР соучастником начала Второй мировой войны или нет? Если события Отечественной войны 1941–1945 гг. в целом трактуются более-менее однозначно, то по началу Второй мировой – много вопросов, на которые не даны окончательные ответы.

Именно на Нюрнбергском процессе впервые всплыли секретные протоколы к пакту СССР–Германия. Всплыли неожиданно. Общеизвестно, что процесс был скорее политическим, нежели юридическим. Поэтому союзники-победители еще до суда договорились, какие неудобные вопросы не будут обсуждаться.

Советская делегация привезла перечень нежелательных вопросов. В нем было девять пунктов. Первым пунктом значился секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и все, что с ним связано. Тем не менее эту тему замолчать не удалось.

О протоколах на допросе в суде говорил Риббентроп, а защитник Гесса предоставил фотокопию документа, но суд ее не принял, так как не было указано происхождение документа. Теперь факт существования протоколов сомнению не подвергается.

Безусловно, тезис о вине СССР в развязывании Второй мировой войны достаточно спорный. Но и обратный тезис абсолютно не бесспорен. Достаточно количество косвенных и прямых фактов позволяет предполагать, что Советский Союз приложил свою «коммунистическую руку» к становлению и укреплению фашистского режима. Не выкинуть из «песни войны» и «освободительный поход Красной армии» в Польшу. При этом глубоко сомневаюсь, что российское руководство в обозримом будущем согласится признать вину СССР в развязывании войны, если она даже будет на 100% доказана. Ведь во многом благополучие нашей нынешней власти связано с тем, что она больше держится за прошлое, чем думает о будущем. В ментальности наших правителей не принято извиняться и признавать вину – ни, упаси бог, свою, ни прошлых лидеров страны. Они привыкли угрожать, оправдываться и врать.

Болезненность судебного процесса, несмотря на прошедшие 66 лет, заключается еще и в том, что он неизбежно порождает прецедент под названием «Нюрнберг-2». Нюрнберг-2 уже бодро шагает по Европе. Если в послевоенной Германии шли по пути денацификации, то на постсоциалистическом пространстве сейчас идут по пути декоммунизации.

В Венгрии отрицание Холокоста и преступлений коммунистических режимов повлечет за собой тюремное заключение. Прибалтийские республики, Чехия, Польша, Словакия запретили (или вскоре запретят) использование коммунистической символики наряду с нацистской. За формулировками «коммунистическая символика», «коммунистический режим» четко просматривается одна фигура – Сталин. Коммунизм равен нацизму, считают в этих странах. Они говорят «Гитлер», подразумевают «Сталин».

Это давно уже не сенсация, что Гитлер и Сталин – однойцевые близнецы-братья. Разница между ними чисто стилистическая (у одного во главе угла стояла расовая нетерпимость, у другого – классовая). Хотя есть некоторые отличия, и содержательные. Как ни странно для кого-то это прозвучит, Гитлер – в большей степени социалист, чем Сталин. Программы борьбы с безработицей, жилищного строительства, поддержка семьи и материнства, развитие физкультуры и спорта – это все Гитлер. Есть даже небесспорная, но и небезосновательная гипотеза о том, что если бы Гитлер закончил войну в июне 1941, то остался бы в памяти немцев национальным героем. Но история сослагательного наклонения, как известно, не знает, поэтому поговорим о другом.

Принципиальная разница между этими двумя историческими персонажами долгие годы была только юридической. Гитлер – преступник, а Сталин нет. И то, что происходит сегодня в Восточной Европе, есть не что иное, как заполнение юридического пробела в отношении Сталина. Эти государства во многом повторяют путь послевоенной Германии. Только в Германии стерли из исторической памяти своего фюрера, а в Восточной Европе освобождаются от навязанного и поэтому чужого исторического наследия.

Наверное, неправильно ставить абсолютный знак равенства между коммунизмом (социализмом) и сталинизмом. Это все-таки неравноценные вещи. Надо отделять зерна от плевел. Но причина такого «знака равенства» вполне объяснима. До сих пор в России как правопреемнице СССР отсутствует юридическая оценка деятельности «вождя народов».

Высказывания первых лиц Российского государства о Сталине, признание вины за Катынь – большие политические заявления. Нет четкой юридической оценки того, что происходило в 30–40-е годы прошлого века. А отсутствие такой оценки компрометирует всю историю СССР, в которой было очень много светлых сторон. Или нам выгоднее поддерживать

стереотип, что социализм и Сталин – взаимозаменяемые понятия? Это, на мой взгляд, вредно и неправильно.

Нюрнберг-2 шагает по Европе. Дойдет ли он до нас? Или мы по-прежнему будем угрожать, оправдываться, лгать и из империи зла окончательно превратимся в империю лжи?

Л. МЛЕЧИН

ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ¹

Результаты выборов были ясны еще до того, как члены избирательной комиссии взялись распечатывать урны.

Первое. Выборы в парламент так и не стали важным событием – это следствие того, что люди не представляют себе, каким должно быть будущее страны. И в поисках модели обращаются к прошлому. А в нашем прошлом выборов не было. Выборы остались церемонией, ритуалом. Население зримо демонстрирует лояльность власти, а в обмен получает то, что необходимо для жизни: газ, воду, тепло, электричество...

Мы живем в обществе с архаическими представлениями о мироустройстве. Страна в целом, отмечают социологи, вообще не приняла идею разделения властей. Когда по праздникам с трибуны говорят, что есть исполнительная власть, а есть равная ей законодательная, все согласно кивают, но всерьез не воспринимают. Привыкли к иерархии власти, к пирамиде, а на ее вершине есть место только для одного. И жизнь каждодневно подтверждает: реальная власть – исполнительная (мэр – губернатор – президент). Начальник – тот, кто владеет материальными благами (и может их дать, а может и лишит, поэтому ссориться с начальством себе дороже).

Что касается представительной власти, то она воспринимается как декоративная, да просто ненужная. Сама процедура избрания депутатов заведомо подрывает их авторитет – настоящих-то начальников назначают.

Второе. Наиболее активная часть общества, озабоченная судьбой страны, провела предвыборную кампанию в спорах о том, как именно не участвовать в голосовании. Политически активные люди исходят из того, что их интересы в принципе некому представить. Высокий запретительный барьер для прохождения в Думу, запрет на формирование предвыборных блоков, практическая невозможность образовать новые партии – все это лишило значительные группы населения возможности отправить в парламент своих представителей.

¹ Печатается по изд.: Московский комсомолец. – М., 2011. – 5 дек. – С. 3. *Леонид Млечин* – писатель, тележурналист. Речь в статье идет о результатах парламентских выборов 4 декабря 2011 г.

Желание немногих оставшихся партий сохраниться сделало их крайне осторожными в оценках и предложениях. Они потеряли лицо и привлекательность. В результате политическая система страны, и без того находившаяся в зачаточном состоянии, деградировала. Вот, что определило безразличие к выборам и нежелание сопротивляться даже откровенному нарушению закона.

Третье. Наши сограждане в большинстве своем и не предполагают, что политические партии создаются для того, чтобы выражать их интересы и добиваться их законодательной и бюджетной реализации. Окружающая действительность подтверждает: партии нужны начальству для собственных нужд, чтобы иметь формальное основание оставаться у власти. Отмена выборов губернаторов, а где-то и мэров городов еще больше отстранила людей от участия в политической жизни.

Четвертое. Предвыборная кампания отравила общественное мнение.

Какие идеи определяли духовное пространство избирательной кампании? Злобный национализм, доходящий до расизма, политическая ксенофобия и социальная демагогия.

Теоретически в ходе кампании мы должны были услышать, что именно предлагают кандидаты, с какой политической и экономической программой они собираются войти в Думу, что намерены для нас сделать. Но вот об этом решительно никто не вспоминал и даже не спрашивал кандидатов! Избирательная кампания превратилась в натравливание общества на тех или иных врагов.

Ораторы обещали легко решить все проблемы, стоит лишь уничтожить тех, кто мешает. Эти призывы с восторгом встречало все затхлое, тупое и ленивое, что есть в нашем обществе. А чем еще были предвыборные речи и лозунги, как не коллекцией различных представлений о врагах, упоением ненавистью, ядом, который подмешивался к политической и духовной пище народа?

Мы видели пустое ерничество... и обращение к низменным инстинктам. Люди, которые этим профессионально занимались, распространяли мерзкие нравы коммунальной кухни на сферу политической борьбы. Они разжигали в публике ненависть к тем, кто выглядит и говорит иначе, чем мы, а то и просто к преуспевающему соседу...

Пятое. Чем предвыборная кампания обогатила наших сограждан?

Уверенностью в том, что все продается и покупается. И уж мало кто верит в честность и справедливость выборов – даже среди сторонников правящей партии.

Оппозиция, которой в эту кампанию сильно досталось от власти, не осталась в долгу. «Партия жуликов и воров» – прочно прилипло, не отдерешь. Конечно же, люди охотно верят, что все вокруг воруют, что все кругом преступники и негодяи, а любой начальник – взяточник и хапуга.

Многие даже и не нуждаются в доказательствах. Они это знали заранее! А если им об этом еще и говорят с трибуны, то они всего лишь сладострастно убеждаются в собственной правоте.

Вполне разумные люди из «Единой России» вправе протестовать: обвинение огульное! Верно. Такое же огульное, как слова о том, что оппозиция разрушила страну, устроила гражданскую войну или кормится у иностранных посольств.

Шестое. Цифры явки и голосования вовсе не свидетельствуют о высокой политической активности. Это результат административных усилий или сохранившейся со старых времен привычки. Власть, кстати, заинтересована в пассивности, поскольку инстинктивно не ждет для себя ничего хорошего от активности людей... На этих выборах и не стремились к высокой явке: чем меньше придет на избирательный участок – тем лучше.

Население не просто пассивно, оно раздражено и озлоблено. Социальное недовольство бедных слоев не переходит в открытое возмущение, потому что люди и не представляют себе, как можно изменить ситуацию к лучшему. Большинство населения страны обитает в небольших городах и в деревне, где, как правило, в принципе отсутствуют ресурсы для изменения жизни. Хроническая бедность сужает горизонты, обрубают крылья стремлениям и желаниям. Потому вдали от больших городов особенно зависят от начальников, даже самых маленьких.

Ощущение ненадежности бытия, неуверенности в своих силах, страх перед непонятым миром – вот чувства, которые руководят избирателем, когда он приходит голосовать. Почему большинство в любом случае голосует за действующую власть? Уж пусть остается тот, кого мы знаем со всеми его пороками и недостатками, чем появится новый, от которого неизвестно чего ждать: «Лишь бы не стало хуже!» При этом люди глубоко не уважают начальство и государство в целом. Они же видят обман, несправедливость и продажность чиновников.

Чего следует ожидать?

Принято считать, что выборы – новый старт, обязательное условие обновления и движения вперед... А что же изменится? В новой Думе появятся сильные и яркие политики, способные вдохновить и увлечь за собой страну?

Когда недавно иностранные политологи попросили Путина перечислить имена молодых политиков, он назвал... Медведева. Гости удивились: странно считать президента, т.е. чиновника, достигшего вершины власти, молодым политиком. А больше ни одного имени не прозвучало!

Но Путин ответил честно. Остальные – чиновники. Они занимают тот или иной пост в стране не волей избирателей, а по назначению сверху. Системе нужны исполнители, причем неяркие, т.е. заведомо неопасные, не способные составить конкуренцию. Они отчетливо сознают, что не только

их карьера и высокие доходы, а и само выживание зависят от сохранения нынешней системы. Им даже не надо приказывать. Они сами делают все, чтобы ничего не изменилось.

Отчего же пошли разговоры о грядущих серьезных переменах, о модернизации, которые начнутся сразу после окончания выборов? Если необходимость реформ осознана и они намечены, зачем ждали выборов? Не хватало поддержки в Государственной думе? Конституционного большинства было недостаточно?

Да разве есть в обществе влиятельные силы, заинтересованные в переменах?

Есть молодые чиновники, твердо намеренные занять места своих расслабившихся и утративших хватку начальников. Есть провинциальные карьеристы, горящие желанием перебраться в столицу и получить доступ к большим бюджетам. Есть служивые люди, намеренные получить вознаграждение за свои труды в избирательную кампанию... Не будет ли кадровая перетасовка единственным практическим результатом выборов?

А в чем прежде всего остро нуждается страна? В раскрепощении, в снятии всяческих оков и ограничений, в создании условий для самореализации и успеха, в обретении уверенности в собственных силах, в ободрении, наконец.

Если послушать, что в своем кругу, откровенно – не на публику! – говорят люди, то это голос еще более разочарованного, никому уже, кажется, не верящего, обиженного на весь мир общества, не знающего, на ком сорвать свое раздражение. Даже мыслящая публика запуталась и не очень отчетливо представляет себе, что бы она хотела предпринять и как вообще изменить ситуацию к лучшему.

Б. ОРЛОВ

«СТОЯНИЕ НА БОЛОТНОЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ: *Предновогодние размышления*

В российской истории встречается такое явление, как «стояние», трудно переводимое на другие языки. Так, в исторических хрониках сообщается о «стоянии на реке Угре», когда войска одного из ордынских правителей и князя-царя Ивана III долгое время простояли на противоположных берегах Угры, не решаясь напасть друг на друга. Это стояние случилось после того, как Иван III порвал басму – символ ордынского всевластия, присланную в Москву послами Орды. Можно вспомнить о «стоянии» на Сенатской площади в 1825 г. войск, выведенных туда декабристами.

И в том и в другом случаях никаких действий произведено не было, но сам факт возникновения такой ситуации обозначал поворот в историческом процессе. Так, после «стояния на Угре» Иван III убеждается в ослаблении ордынского могущества и в 1480 г. демонстративно рвет ханскую грамоту. Позднее историки стали считать это окончанием ордынского ига, длившегося на Руси два с половиной столетия.

С выводом войск на Сенатскую площадь дела оказались посложнее. Лишенные фактического руководства войска были расстреляны картечью по приказу нового царя Николая I. Но сам факт массового вывода войск на главную площадь Санкт-Петербурга сохранился в нашем историческом сознании как проявление неприятия державной власти представителями высших слоев общества.

Спонтанный выход несколько десятков тысяч людей на Болотную площадь в Москве 10 декабря 2011 г. продолжает активно обсуждаться с разных точек зрения. Лично мне он представляется еще одним вариантом российского «стояния». Именно «стояния», ибо собравшиеся не предпринимали никаких действий; они почти не слышали того, что говорилось с подмостков «записными» политиками и др. Они не выдвигали каких-то особых требований; просто самим фактом своего пребывания на площади

демонстрировали, что властям следует обращаться с ними как с людьми, наделенными чувством собственного достоинства.

Это уже на следующей встрече, 24 декабря на проспекте академика Сахарова, зазвучали политические речи, которые по-разному – главным образом свистом – встречали различные группы собравшихся. То был уже, скорее, политический митинг, выразивший резко отрицательное отношение даже не к ныне действующему премьер-министру, а к политике «не-сменяемости» верховной власти. Вместе с тем именно на «сахаровской встрече» обозначилось явное намерение найти выход из положения, не прибегая к революционному насилию.

Наиболее яркий тому пример – выступление опального министра финансов. К его заявлению о готовности быть посредником между протестующими и властями отнеслись по-разному. Преимущественно скептически. За таким отношением скрываются не только обстоятельства, связанные с необычностью поведения человека, долгие годы работавшего в тесной связке с премьер-министром. Здесь видны причины глубинного исторического характера.

Историческая Россия со времен Московского царства была страной преимущественно конфронтационной, а не согласительной (консенсусной) культуры. Хотя и говорили, что, мол, не в силе Бог, а в правде, проблемы – как во внутренней, так и во внешней политике – предпочитали решать силовыми методами. Проводить политику на основе консенсуса пытался, к примеру, в период Февральской 1917 г. революции председатель Временного правительства А.Ф. Керенский. Он до последнего настаивал на вхождении в правительство представителей и левых, и правых сил, за что его люто ненавидели и те и другие. Финал известен. К власти пришли сторонники непримиримой классовой борьбы, т.е. крайней конфронтации.

После распада СССР, в момент перехода России к рыночной экономике и частной собственности, появились новые обстоятельства, ведущие к обострению конфронтации. Это прежде всего разделение общества на бедных и богатых, разница между которыми резко возрастает, причем не только по размеру богатства, но и по образу жизни. Далее, это отношения между предпринимателями и наемными работниками, интересы которых, с одной стороны, совпадают (занятость/зарплата), с другой – расходятся (увеличение прибыли за счет издержек/стремление к повышению заработка). Происходят столкновения представителей различных национальных групп, которые оказались в разной степени приспособлены к условиям рыночной экономики. Творчески одаренные русские к бизнесу-торговле исторически не очень приспособлены. Это вызывает конфликты, особенно в малых городах и поселках, между местным населением и «понаехавшими».

Наконец, следует учитывать, что на ключевые позиции в органы власти в современной России пришли представители силовых структур,

заняты прежде всего выявлением противника и поиском способов его ликвидации. Такой подход определяет их мировосприятие, даже когда они переходят к другим занятиям. Выражения «мочить в сортире», «шакалят у иностранных посольств» — это не оговорки, но отражение именно такого типа мировидения. Этот тип находит выражение в политике — внутренней и внешней. В сегодняшней России в спешном порядке разрабатывается новая стратегема, в основе которой — проведение геополитики времен XX в. с возвращением атмосферы холодной войны. Очевиден поворот к евразийству как новому идеологическому курсу.

Все это не ограничивается только словами. Сформирована соответствующая команда, в составе которой — руководитель президентской администрации с прошлым опытом конфронтационной политики; новый глава военно-промышленного комплекса с явно националистическими наклонностями. А как бы между ними — глава внешнеполитического комитета Государственной думы нового состава, годами внедрявший в сознание телезрителей антиамериканские конфронтационные настроения. Под все это дело предполагается выделить огромную сумму.

Создается впечатление, что в нашей политике «работают» «ушлые пацаны», не берущие во внимание крах политики гонки вооружений советских времен и не учитывающие социальных проблем сегодняшней России. Именно эта команда после возвращения премьера в президентское кресло намерена раскручивать намеченный курс. При этом они будут усиливать конфронтационную атмосферу в обществе, опираясь прежде всего на занятых на предприятиях военно-промышленного комплекса, получающих теперь стабильный заработок.

Остается удивляться, как в таких конфронтационных обстоятельствах возникло социально-политическое и культурное явление, которое я называю «стоянием на Болотной площади». Объяснение у меня есть. Появилось поколение молодых людей с новым мироощущением, новым отношением друг к другу, с осознанием своей личной значимости. Как в свое время в годы правления Екатерины II выросло поколение непоротых дворян, так и сегодня можно говорить о поколении, освобожденном от тяжести тоталитарных запретительных догм, привыкшем к свободному интернетовскому общению и проч.

Примечательно, что массового выхода на Болотную площадь представителей этого поколения не предвидел никто. И в этом еще одна особенность истории России. Никто не мог предсказать Февральскую революцию 1917 г. (в том числе В.И. Ленин). Точно так же не только аналитики, но даже самые матерые представители спецслужб западных стран не смогли предвидеть внезапного развала СССР.

Как пойдут дела дальше? Будут ли предприняты усилия для развития договорных отношений оппозиции с властями или наши отечествен-

ные «ястребы» продолжают свою конфронтационную политику, покажет самое ближайшее будущее. Вопрос пока остается открытым.

Однако при всех обстоятельствах события на Болотной площади останутся в сознании общества как некий нравственный ориентир. Само название площади – Болотная – как бы отсылает нас в далекое прошлое, когда здесь при стечении публики рубили головы смутьянам и жгли в деревянных срубах еретиков. Пройдя сквозь историю, страна подошла к черте; общество созрело для смены власти путем честного демократического волеизъявления. Часы стали отбивать новое время – и Болотная явилась его знаком.

Стрелки можно попытаться остановить, да и вообще разнести в пух и прах весь часовой механизм представительной демократии. В России все возможно. И тем не менее вспомним тючевские строки: «...в Россию можно только верить». Верить, вспоминая открытые приветливые лица тех, кто 10 декабря 2011 г. пришел на Болотную площадь, демонстрируя главное, что есть или должно быть в человеке, – его достоинство.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Афанасьев Юрий Николаевич – доктор исторических наук, профессор, основатель и первый ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)

Беленький Иосиф Львович – старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Беспалов Сергей Валериевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела истории ИНИОН РАН

Большакова Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, заведующий сектором истории России Отдела истории ИНИОН РАН

Булдаков Владимир Прохорович – доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук, руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН, профессор РГГУ

Дённингхаус Виктор – доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Германского исторического института в Москве

Ефременко Дмитрий Валерьевич – доктор политических наук, руководитель Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН, профессор ГУ-ВШЭ

Игрицкий Юрий Иванович – кандидат исторических наук, заведующий Отделом Восточной Европы ИНИОН РАН, главный редактор журнала «Россия и современный мир»

Каменский Александр Борисович – доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории ГУ-ВШЭ

Краус Тамаш – доктор исторических наук, профессор Будапештского университета им. Л. Этвёша

Лапкин Владимир Валентинович – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, первый заместитель главного редактора журнала «Полис»

Мицц Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела истории ИНИОН РАН

Орлов Борис Сергеевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН

Пивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН

Стратиевский Дмитрий – магистр истории и политологии, сотрудник объединения «Kontakte-Контакты» (Германия)

**Труды по руссиеведению
Выпуск 3**

Художник обложки И.А. Михеев

Компьютерный набор Л.К. Исаева

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректор В.И. Чеботарева

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999г.

Подписано к печати 20/ХІІ – 2011 г.

Формат 60×84/16 Бум.офсетная № 1

Печать офсетная Цена свободная

Усл.печ.л. 28,5 Уч.-изд.л. 29,5

Тираж 950 экз. Заказ № 132

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:
Тел. /Факс 8(499) 120–4514
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

